



**ВСТРЕЧИ  
С ПРОШЛЫМ**



**ВСТРЕЧИ  
С ПРОШЛЫМ**

**IX**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА РОССИИ  
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Подготовка сборника осуществлена в 1997 – 1999 гг.  
при поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
(исследовательский грант № 97 – 04 – 06156).

Книга издана на средства,  
полученные по гранту  
Президента Российской Федерации  
на 2000 г.

# ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ

---

ВЫПУСК 9

---



МОСКВА  
«РУССКАЯ КНИГА»  
2000



СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Выпуск 9

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

**Н. Б. Волкова** (ответственный редактор)

**И. И. Аброскина**

**Е. В. Бронникова**

**И. П. Сиротинская**

**С. В. Шумихин** (редактор-составитель)

АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ И СООБЩЕНИЙ

**И. И. Аброскина, Е. В. Бронникова, М. В. Золотова,  
К. Н. Кириленко, Т. Л. Латыпова, М. А. Рашковская,  
И. Л. Решетникова, И. П. Сиротинская, Н. В. Снытко,  
С. В. Шумихин**

В ПОДГОТОВКЕ ХРОНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

**О. В. Викторова, Н. Б. Волкова, С. Ю. Митурич,  
О. В. Рожкова, И. П. Сиротинская, С. В. Шумихин**

ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ

**Н. В. Снытко**

ПРОВЕРКА И СВЕРКА ПУБЛИКУЕМЫХ  
ТЕКСТОВ, ОБЩАЯ УНИФИКАЦИЯ,  
СОСТАВЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ИМЕН  
И ПОДБОР ИЛЛЮСТРАЦИЙ

**И. И. Аброскина, Е. В. Бронникова, Т. Л. Латыпова,  
С. В. Шумихин**

© РГАЛИ, 2000 г.

© Издательство «Русская книга», 2000 г.



В СБОРНИКЕ «ВСТРЕЧИ  
С ПРОШЛЫМ» – ИСТОРИЯ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИЯ БЫТА,  
А ТАКЖЕ ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ  
И ДИЗАЙНА, НОВЫЕ ТЕКСТЫ,  
ДНЕВНИКИ, ПЕРЕПИСКА,  
ВОСПОМИНАНИЯ. ВОТ ИМЕНА  
ТЕХ, О КОМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ:

А. Я. БУЛГАКОВ

А. А. ВАНОВСКИЙ

Ф. А. ВАСИЛЬЕВ

Н. ГУМИЛЕВ

С. Н. ДУРЫЛИН

М. Ф. ЛАРИОНОВ

Вяч. ПОЛОНСКИЙ

Л. Д. СЕМЕНОВ

Ф. М. ТОЛСТОЙ

Р. Р. ФАЛЬК

А. С. ХОХЛОВА

Евг. Л. ШВАРЦ

---

Александр

Александр Вановский

Р. Вавилов

Н. Зиничев —

С. Дрмич

Ph. Felstoy  
—

---

---

М. Нап'оме

Кемерово - Тр-и

Доступно

Р. от А. В. К.

г. Москва

---



---

## ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

---

9-й выпуск сборника архивных материалов РГАЛИ «Встречи с прошлым» выходит в свет на рубеже века и тысячелетия.

В России на протяжении XX столетия несколько раз (как минимум четырежды) менялись, согласно терминологии Маркса, «общественно-экономические формации» и государственные механизмы. Поскольку определенная иерархия присутствует в любой упорядоченной системе, существовала такая и в литературе и искусстве. Последнее десятилетие XX века эту иерархию нарушило походя, как нечто побочное происшедшим глобальным изменениям.

Тем важнее неослабевающий интерес к литературе «не сочиненной», литературе «non-fiction», к документальным публикациям. 9-й выпуск «Встреч с прошлым» посвящен, главным образом, мемуарному, эпистолярному жанру, а также включает обзор фонда Евгения Шварца, написанный еще к столетию драматурга, которое отмечалось в 1998 году. В обзоре дана характеристика материалов Шварца в РГАЛИ — его рукописей, дневников, переписки и т. д. Евг. Шварц не был идеальным архивистом, подобно Александру Блоку, державшему свои бумаги и переписку в величайшем порядке, но ему удалось сохранить значительную часть архива несмотря на неоднократные переезды из города в город, эвакуацию в годы войны.

Публикации воспоминаний и дневников занимают основное место в этом выпуске «Встреч». Обширные фрагменты из дневника московского почт-директора А. Я. Булгакова, который тот вел около 40 лет, содержат сведения о Пушкине, Вяземском, Жуковском, Чаадаеве, А. И. Тургеневе, Денисе Давыдове, Александре Дюма, Герцене, Николае I, Бенкендорфе и др. Реальные исторические факты иногда своеобразно корреспондируют с литературой сочиненной, уточняя, как все было «на самом деле». Так, например,

«шалости» князя Сергея Трубецкого, описанные А. Я. Булгаковым, могли бы стать основой реально-исторического комментария к роману Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов».

Воспоминания об ушедшей Москве конца XIX — начала XX вв. С. Н. Дурьлина поэтичны и немного грустны. Писались они в сибирской ссылке в середине 1920-х годов. «Писать историю, значит — судить. Наоборот: вспоминать — значит прощать», — читаем мы в авторском предисловии.

Воспоминания епископа А. Семенова-Тян-Шанского о своем брате поэте Леониде Семенове, убитом в 1917 году, воскрешают биографию этого революционера, затем толстовца, а в конце жизни — православного подвижника. Поэт Леонид Семенов ныне известен лишь узким специалистам по истории русской литературы начала XX века, а в свое время его ценили Блок и Белый.

Дневник редактора «Нового мира» Вяч. Полонского 1931 года рассказывает о борьбе литературных фракций и группировок: РАПП, «Кузница», «Перевал», «Леф» и «Реф» и др. в 1920-х — начале 1930-х годов, об отношении к писателям-«попутчикам», содержит много новых фактов для реконструкции процесса этой борьбы. Н. М. Любимов, переводчик Боккаччо, Рабле и Сервантеса, написавший интересные мемуары, ставил Полонского, как редактора «Нового мира», выше Твардовского (см.: *Любимов Николай. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний.* Т. I. М., 2000. С. 244). В публикуемом дневнике масса полузабытых и напрочь забытых имен. Произведения Федора Гладкова, Сергея Буданцева, Георгия Никифорова, Павла Арского и им подобных вряд ли кто-нибудь и когда-нибудь снимет с книжной полки (разве что как материал для научной монографии, рассматривая их в качестве, как сейчас говорят, «текстов»). А ведь именно эта масса пишущих и печатавшихся, а не Борис Пастернак с Михаилом Булгаковым, составляла то, что звалось «советской литературой». Впрочем, у Полонского в дневнике много и о «прозе жизни», о квартирном вопросе, испортившем москвичей, о той пайково-распределительной сфере писательской жизни, о которой писал в 1931 году Николай Олейников:

Когда ему выдали сахар и мыло,  
Он стал домогаться селедок с крупой.  
...Типичная пошлость царя  
В его голове небольшой.



Обратят на себя внимание читателя и фрагменты исследования русского мыслителя и философа А. А. Вановского, жившего в эмиграции в Японии, где весьма своеобразно и своеобразно истолковывается самая знаменитая из трагедий Шекспира. Публикуемые части книги Вановского «Сын человеческий». Выявление скрытого иудейского сюжета трагедии Шекспира «Гамлет» содержат более чем нетрадиционный подход к творчеству английского драматурга, который, можно в этом не сомневаться, отвергнет большинство шекспироведов. Но истина как раз и рождается в спорах.

Оттенок живого, непосредственного общения с прошлым придают сборнику письма, в которых звучат голоса людей, думающих, чувствующих, кажется, вместе с нами. Это письма незадачливого литератора и музыкального критика Феофила Толстого, рано умершего художника Федора Васильева, письма художника Михаила Ларионова из Парижа и Швейцарии к актрисе А. С. Хохловой.

По-своему интересна лекция, прочитанная в 1943 году Робертом Фальком студентам художественных училищ, где он рассказывает о Париже 1920 — 1930-х годов, городе, казавшемся им тогда недостижимой чужой планетой.

Археографическая подача материалов, сравнительно с предшествующими сборниками, не изменилась: купюры обозначаются отточием в квадратных скобках, подчеркнутые автором места выделены курсивом. Персоналии, сведения о которых легко отыскать в любом справочнике, в примечаниях не комментируются.

---

## АРХИ-ВЕК

---

Ныне, когда школьники разучиваются писать, когда компьютерная память стирается от постоянно вырубаемого электричества, когда книги диктуются без черновиков, — еще драгоценнее становится рукопись, обрывок дневника или пара писем — ведь мы давно перестали переписываться.

Век торопится закончиться, красные лампочки мигают, нам скучны и раздражительны растекания по древу, словоблудство, вранье, переименование в который раз истории. Приходит литература факта. Документалистика фантастичнее всех романов фантастов, наивных холстов сюрреалистов. Отсюда успех свидетельской литературы. Например, серии издательства «Вагриус», дневниковый жанр. Век спешно формирует свой архив.

И невелик грех, когда в дневнике автор выглядит лучше, чем в жизни, ибо он, человек, — действительно лучше того, чем он предстает, испорченный условиями существования.

Не надо заводить архивы,  
Над рукописями трястись —

эти слова стали классикой, сказанные лучшим поэтом нашего века. Поэт имел в виду художника, который не должен быть озабочен своим самоустройством. Но люди, современники художника, преступны, если не занимаются им. Хотя бы Пастернаком, у которого тома писем и черновиков, исписанных летящим почерком.

Недавно ушедший в мир иной великий американский битник Аллен Гинсберг, Уолт Уитмен нашего времени, похвалялся мне уникальной системой металлических ящичков, хранищем его рукописей. За миллион долларов поэт продал свой архив за два года до смерти Станфордскому университету.

Много лет терпеливые женские телефонные голоса из ЦГАЛИ пытаются собрать мой архив; увы, в бардаке нашей суетности это практически невозможно. Значит, пока и не надо.

Неверно толкуют указующую лукавую пастернаковскую строку (парафраз приписываемого Рембо образа — «как герой в легенде переходит из уст в уста»):

Позорно, ничего не знача,  
быть притчей на устах у всех.

Да, позорно, когда ты ничего не значишь. Но истинный художник не озабочен, но сладостно вслушивается в эхо своего творчества, условно называемого славой.

И вот сегодня с волнением мы читаем, ощущаем источник, повод этого эха — факт, запротоколированный Сергеем Николаевичем Дурылиным и записанный им в сибирской ссылке 1928 года.

Это описание Пасхальной ночи 1908 года, которую тот встречал с Борисом Пастернаком на колокольне Ивана Великого в Кремле. Как по-новому остро читается после этого пастернаковское стихотворение!

Как по-новому воспринимается образ Роберта Фалька, когда вы узнаете его самаркандскую лекцию, прочитанную в эвакуации 1943 года, — о влиянии современного творчества на промышленный дизайн во Франции. Как актуально это звучит сейчас!

И какая предметная точная тоска сквозит в письме из Парижа Михаила Ларионова актрисе А. С. Хохловой: «Неужели Вам не жаль густого как эмаль московского неба и резких, точно нацарапанных сучьев весенних деревьев, блестящих медной проволокой под ярким солнцем...» Одного этого драгоценного эскиза достаточно, чтобы сборник «Встречи с прошлым» стал уникальным.

Не буду пересказывать того, что еще ожидает читателя. Например, воспоминания епископа Александра (Семенова-Тян-Шанского) о старшем брате — поэте Л. Семенове, убитом восставшими крестьянами в 1917 году, накануне его рукоположения. З. Гиппиус отметила, что жизнь этого поэта, «особым образом сложившаяся, как поэма, каким-то единством замысла», сама стала поэзией.

В ожидании чуда всегда таится тайна. Пусть тайна ожидает читателей альманаха.

Я упомянул лишь странички нашего века, но из глубин шевелятся и корни его — в воспоминаниях А. Я. Булгакова, пушкинского современника.

«Все архиважно», — как картаво сказал бы предмет нынешних насмешек и ужаса, безусловно, самая сильная

историческая личность века, о котором тем же размером, что и «не надо заводить архивы», писал поэт:

Я думал о происхожденьи  
Века связующих тягот.  
Предвестьем льгот приходит гений  
И гнетом мстит за свой уход.

Поэт выражает не только беды народа, но и его иллюзии.

Хочется поблагодарить служителей архива, собравших для нас эти бесценные материалы. Они отнюдь не «архивные крысы», по хамскому определению верхоглядов и бездельников, это а н г е л ы архива, их белоснежные крыльшки порхают над пожелтевшими страницами.

В отличие от сконструированных, расчетливых алхимических архивов, здесь во всем дышит почва и судьба. Так создается архив проносащегося века, высшего по напряжению, ужасу, страданиям и духовной страсти среди предшествующих столетий, нашего *archi* — Архивека.

Андрей Вознесенский

---

**ПУБЛИКАЦИИ  
И  
СООБЩЕНИЯ**

---



## «У ТЕБЯ ЦЕЛЫЙ САН-ФРАНЦИСКО В ТВОЕМ АРХИВЕ...»

(из «Современных записок и воспоминаний...»  
А. Я. Булгакова. Записки 1836 — 1859 гг.)

Публикация С. В. Шумихина

Автор 17-томного дневника или, как он сам называл его, «журнала», озаглавленного «Современные записки и воспоминания мои»\* — Александр Яковлевич Булгаков (1781 — 1863) — достаточно известная в нашей истории XIX века фигура, приятель П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, А. И. Тургенева. Не принадлежа к «Арзамасу», Булгаков был, по меткому выражению П. А. Вяземского, «членом-корреспондентом» этого кружка. Впрочем, для наших современников личность Булгакова связана, по преимуществу, лишь с эпизодом перлюстрации письма А. С. Пушкина к жене в 1834 году, когда Булгаков служил в должности московского почт-директора. Эпизод, безусловно, возмутительный, но как-то чрезмерно раздутый из-за традиционной литературоцентричности российского общественного сознания. Не отличаясь «выспренным» умом, Александр Булгаков был в высшей степени земным и практическим человеком, — но все же и сложней, и значительней установившегося представления о нем, как о вскрывателе чужих писем, соединившем в одном лице Шпекина и Загорецкого (определение Ю. М. Лотмана). П. А. Вяземский так рисовал портрет Булгакова:

Он носил отпечаток и места рождения своего [Булгаков родился в Константинополе. — С. III.], и пребывания в Неаполе [около 10 лет Булгаков провел в Палермо и Неаполе секретарем российского посланника Д. П. Татищева. — С. III.]. По многому видно было, что солнце на утре жизни долго его пропекало. В нем были необыкновенные для нашего северного сложения живость и подвижность. Он вынес из Неаполя неаполитанский темперамент, который сохранился до глубокой старости. [...] Игра лица, движения рук, комические ухватки и замашки, вся эта южная обстановка и представительность были в нем как будто врожденными свойствами.

---

\* Из 17 томов 1-й (за 1825 — 1826 гг.) хранится в Санкт-Петербурге в ОР РНБ (Ф. 526. Общество любителей древней письменности), а остальные 16 — в РГАЛИ (Ф. 79. Ед. хр. 4—19).



[...] Впрочем, вместе с этою заморскою и южною прививкою, он был настоящий коренной Русский и по чувствам своим и по мнениям (Вяземский П. А. Воспоминание о Булгаковых. М., 1868. С. 21).

Булгаков получил хорошее домашнее и школьное образование; языки давались ему легко: обязательный французский, немецкий (из Peter-Schule), разговорный турецкий, легко усвоенный в детстве, итальянский, выученный в молодые годы во время жизни в Италии, разговорный польский. Еще была у Булгакова счастливая способность легко составлять сложные записки и доклады, вести переписку. Став московским почт-директором, он получил привилегию первым, еще до иностранной цензуры, прочитывать все получавшиеся Московским почтамтом заграничные газеты и журналы. Здесь, конечно, был один из главнейших источников широчайшей осведомленности Булгакова в том, что творилось в стране и мире. Множество разнообразных, самых свежих и занимательных, а временами просто сенсационных новостей доставляла ему невероятно активная переписка, которую Булгаков вел всю жизнь. Письма от брата, близкого ко двору, от великого князя Михаила Павловича, Вяземского, Жуковского, Александра Тургенева, сына Павла, дочерей Ольги и Екатерины, внука Николая Долгорукова и множества других корреспондентов, шли из Петербурга, с Кавказа, из оренбургских степей, где вел свою Хивинскую экспедицию генерал В. А. Перовский, из Сибири, из Севастополя времени Крымской кампании, из чужих краев. Поэтому Александр Булгаков имел в обществе обеих столиц репутацию образованнейшего человека, а светская ловкость и любезность в обхождении, дополняющаяся личным благоволением государя Николая Павловича (император особенно отличал младшую дочь Булгакова Ольгу, а старшая, Екатерина, до замужества была фрейлиной императрицы), открывали ему доступ в великосветские московские и петербургские салоны и во дворец. Будучи, по собственному признанию, «большим охотником до рассказов стариков», Булгаков записал множество исторических анекдотов, ставших известными ему из бесед с екатерининскими и павловскими вельможами. Очень музыкальный, он был знаком со всеми знаменитыми гастролерами; приезжавшие в Москву А. Каталани, Дж. Рубини, Ф. Лист, актриса Рашель и другие являлись к нему с рекомендательными письмами.

В 1856 году, во время своего пребывания в Петербурге, куда Булгаков приехал на празднование серебряной свадьбы своей дочери княгини О. А. Долгоруковой, в Английском клубе он, совершенно неожиданно для себя, узнал от графа Н. В. Орлова-Денисова (а не по начальству, от графа В. Ф. Адлерберга, как следовало бы) о своем перемещении с поста московского почт-директора в Московское отделение Правительствующего Сената — на должность пустую, праздную, занимаемую обычно малодеееспособными стар-

цами. Прежде не жаловавшийся на здоровье, любопытный к жизни во всех ее проявлениях, считавший себя по кругу знакомств и роду деятельности не только светским, но и государственным человеком, — Булгаков осунулся, погрузился, реже стал заниматься своими записками и ежедневной перепиской. По словам П. А. Вяземского, «когда уволили его из почтового ведомства с назначением в Сенат, он был поражен, как громом. Живо помню, как пришел он ко мне с этим известием: на нем лица не было» (*Вяземский П. А. Указ соч. С. 21*). Оставалось предаваться воспоминаниям о счастливых годах своего почти четвертьвекового почт-директорства, когда по хлопотам младшего брата Константина (Петербургского почт-директора) Булгаков обошел многочисленных конкурентов, стремившихся занять завидное вакантное место:

Так-то в один день последовал со мною ужасный этот переворот: ограниченное мое состояние преобразовалось в роскошное: вместо двенадцати, не более четырнадцати тысяч ежегодного дохода (ассигнациями) имел я в иные годы до ста тысяч руб., пользуясь отопленною, освещенною, прекрасною квартирою. К этим огромным выгодам присовокупились многие другие: приятность ни от кого не зависеть, иметь одного непосредственного начальника (и столь милостивого, каков был кн. Ал. Ник. Голицын), не иметь нужды надевать всякий день мундир и ездить в какое-нибудь присутственное место; этой тяжкой обязанности подвержены и сами даже старые господа сенаторы, члены Государственного Совета, тогда как все текущие дела перерабатываются и решаются в Почт-директорском кабинете, где сидит он себе препокорно, в сертуке, разделяя время с навещающими его приятелями, принимая приходящие почты или экспедиторов своих с бумагами. В этом кабинете стекаются беспрестанно все европейские новости и вести обеих российских столиц. Всякий, приезжающий в Москву или проезжающий через оную, является непременно в Почтамт, до которого какую-нибудь да имеет нужду. Дверь Почт-директорского кабинета беспрестанно отворяется. Конечно, не всегда являются приятели и знакомые, но кто бы то ни был, откуда и куда он ни ехал, от всякого, бывало, узнаешь что-нибудь нового или любопытного. Разумеется, что большая часть из них обращалась ко мне с просьбами. Тут, по-моему, заключалась сладкая сторона Почт-директорства. Бывают случаи, в которых мы одолжения ставим выше истинных заслуг, и я имел отраду оказывать ежедневно множество услуг. Они стоили мне обыкновенно весьма мало труда, а принимались как благодеяния, будучи иной раз большой важности

для просителей. Случалось мне брать большую на себя ответственность и превышать данную мне власть, но, к счастью моему, я не только никогда за это не пострадал, но имел случаи заслуживать частые благодарности и приобрести хорошие связи и знакомства. Одним словом, Почт-директорство было для меня настоящею розою без шипов. Все мне улыбалось, все шло успешно во время службы моей в Почтовом департаменте. [...] Брат давал неопытности моей нужное направление, предупреждения и советы. Я был счастлив в полном смысле слова. Мне нечего было желать!..

(XVII, 53 – 54)

«Современные воспоминания и записки...» Булгакова до сих пор появлялись в печати лишь в миниатюрных, можно сказать, аптечных дозах. Еще в 1917 году была предпринята попытка опубликовать их в сборнике «Старина и новизна», но дальше начала первой части (той, что сейчас находится в С.-Петербурге) дело не пошло, так как выход сборника прекратился (Старина и новизна. Кн. 22. Пг., 1917. С. 100 – 147). В специальном выпуске «Археографического ежегодника» за 1997 год, посвященном 850-летию Москвы, мною опубликовано чрезвычайно подробное и детальное оглавление Булгакова к своим запискам, по которому можно получить более или менее полное представление о содержании всех 17 томов. Запись о разговоре Пушкина с Бенкендорфом по поводу стихотворения «На выздоровление Лукулла» вошла в книгу В. Э. Вацура и М. И. Гиллельсона «Сквозь «умственные плотности». Очерки о книге и прессе пушкинской поры» (М., 1986. С. 206 – 207), – однако без дальнейшей истории Альфонса Жобара, продолжающей этот сюжет и публикующейся здесь впервые. Еще пять фрагментов из записок Булгакова 1848 – 1850 гг. опубликованы пишушим эти строки в малотиражном «Тыняновском сборнике», вып. 10 (Рига; М., 1996 – 1997). Что касается нескольких отрывков, за последние полвека появившихся в разных изданиях, вроде 45/46 «лермонтовского» тома «Литературного наследства» (кн. 2), 24-го выпуска «Временника Пушкинской комиссии» и в периодике, то ссылки на них даны в примечаниях к упомянутому «Авторскому оглавлению». Таким образом, предлагаемая вниманию читателей «Встреч с прошлым» подборка из записок Булгакова – на сей день наиболее объемная и, как мы надеемся, достаточно представительная публикация этого уникального и ценнейшего исторического источника, который, без всякого сомнения, заслуживает скорейшего издания.

Человек, не опускавший пера до последних своих дней, Булгаков был наделен неким «архивным инстинктом» или «инстинктом историка» – недаром столько лет он прослужил в Московском архиве Министерства иностранных дел. Он тщательно сохранял

собственные бумаги, уничтожая старые лишь после внимательного просмотра и «экспертизы ценности». Те письма, которые сохранены Булгаковым, старательно подобраны по хронологии и переплетены. Значение архива почт-директора по достоинству оценили и Вяземский, и Жуковский (последний даже просил Булгакова завещать ему свои записки, но умер на десять лет раньше приятеля). Вяземский так писал о письмах Булгакова: «Нет сомнения, что и они, собранные воедино, могли бы послужить историческим или, по крайней мере, общежительным справочным словарем для изучения современной ему эпохи, или, правильнее, современных эпох, ибо, по долголетию своему, пережил он многие» (*Вяземский П. А. Указ. соч. С. 22*).

Для «Встреч с прошлым» отобраны фрагменты записок, начиная с 1836 года, т. е. после смерти младшего брата Булгакова Константина Яковлевича, последовавшей в декабре 1835 года. Публикация «Современных записок...» за более ранние годы потребовала бы сличения с перепиской братьев Булгаковых, которые писали друг другу ежедневно (она печаталась в 1898 — 1904 гг. в «Русском архиве» П. И. Бартенева, но весьма неисправно, неполно и отрывочно). Во многих случаях московские новости, которые сообщал Булгаков брату, и новости из Петербурга, о которых писал ему брат, должны совпадать с содержанием «Современных записок...».

Определенные сложности при подготовке публикации представляла текстология. Булгаков вел свои записки почти четыре десятилетия. За это время менялась русская орфография, основные нормы которой, продержавшиеся до 1918 года, были установлены академиком Я. К. Гротом уже после смерти Булгакова. Записки представляют собой черновой вариант, где автор не отличался особой щепетильностью в вопросах правописания. При публикации по возможности максимально сохранены индивидуальные особенности булгаковского письма. Исправлены, кроме явных грамматических ошибок и описок, такие повторяющиеся написания Булгакова, как «лутче», «времяни», «верх», «впротчем», «щастие», «нонешний», «всякой», «што», «ето», а также, насколько возможно, унифицировано употребление заглавных и строчных букв. Кроме этого, вмешательство в авторский текст свелось лишь к разбивке длинных периодов, где одно предложение перетекает в другое, не отделенное никаким знаком. Такие периоды, чтобы не затемнялся их смысл, разбиваются на отдельные фразы или же смысловые блоки, отделенные точкой с запятой.

Купюры обозначены только внутри публикуемых фрагментов; пропуски текста между фрагментами специально не обозначаются. Предположительно прочитанные слова заключены в квадратные скобки со знаком вопроса. После каждого фрагмента в скобках указываются римскими цифрами — номер тома, арабскими — номера страниц (по авторской нумерации).

Курсивом даны названия опер, книг, журналов, газет и т. п., при написании которых Булгаков постоянно пренебрегал кавычками. Полуужирным курсивом выделены слова, подчеркнутые автором.

Приятной обязанностью считаю выразить особую благодарность Н. В. Снытко, которая расшифровала и перевела мучительно неразборчивый почерк Булгакова там, где он переходит на французский и другие языки.

## 1836

Я возвратился в Москву в самое Рождество Христово. Все для меня переменялось. Я начинаю новую, несчастную жизнь. Сердце мое кровию обливается, когда вспоминаю потерю мою. Чего не может человек пережить? Ежели бы кто-нибудь, некий глас небесный мне сказал за полгода: «Ты лишишься брата твоего!» — мне кажется, что одни сии слова уничтожили бы мое бытие. Я его потерял, и я жив! Я должен оставить, переменить привычки, наклонности, образ жизни, существование целое, которое в течение полвека (полвека!) составляли счастье, спокойствие, отраду моей жизни. Часто не верю, что его нет, но мне кажется, что я не существую, во мне есть какой-то незамеченный недостаток, я живу, но не вполне. Сколько отравленных горестию минут имею я в течение дня! Всё к нему относилось! Первое движение всегда было: ему написать, его спросить, с ним посоветоваться, его обрадовать или предостеречь, ему открыть горе. Где оно, это ежедневное блаженство, которое я ощущал, когда, бывало, дверь открывалась и Пав[ел] Ив[анович]<sup>1</sup> приносил мне петербургскую почту. Его явления для меня теперь — как нож, который втыкают мне в сердце. Нет уже отрадной этой мысли, которая прежде так часто представлялась мне: пойти брату написать! О, брат! брат! Волшебное слово, которое имело для меня невыразимую силу и приятность. Одно слово было выше его для меня — Бог! О! как Бог этот жестоко нас всех наказал! [...] Одну имею я токмо утешительную мысль; вот она: я не боюсь никакого на свете несчастья после того, которое я мог пережить. Что будет для меня и самая смерть? Блаженство, соединение с братом! [...] Мы братьями родились, росли и жили, я женился 27 лет после того, а отцом был еще позже. Брата дает одна и та же мать, а жену случай. Я не имею духу продолжать горестные сии размышления. Я мог бы ими наполнить всю эту книгу. Вот осьмая часть записок моих. Я более для брата ими занимаюсь с кончины покойного Государя Александра Павловича, благодетеля его, хотя и писал

я брату всякой день. По истечении всякого года я посылал ему оные на прочтение, теперь не буду я оными столь исправно заниматься. Брат мне часто говорил: «Продолжай свой труд, он не будет потерян, это гораздо полезнее журнала твоего, коим ты занимался во время пребывания твоего в чужих краях\* и который наполнен был большею частию любовными похождениями; после кажутся они так приторны, и жалеешь время, употребленное на то, что находишь во всех романах, во всех журналах молодых людей. «Мне жаль, — прибавлял брат, — что не имею твоего терпения и довольно свободного времени, чтобы тоже писать записки свои. Я был свидетелем происшествий, обстоятельств, событий довольно важных, много у меня материалов подготовлено, но когда этим заниматься?» [...]

Итак, буду продолжать сии записки в память брату моему, следуя воле его.

В воскресенье 2-го февраля случилось ужасное происшествие в Петербурге. Балаган штукаря Лемана вдруг загорелся, пламя началось, сказывают, от лампы в комнате, где компания Лемана одевалась, и действие было столь скоропостижно, что всякая помощь соделалась бесполезною. Балаган был набит народом. Вопли, крики, стоны наполняли воздух ужасом. Дверей было только двое, толпа кинулась к ним и, как всегда бывает в подобных случаях, из десяти человек трое выходило, а семеро падали и заслоняли дорогу. Загорелся состав, приготовленный для так называемого бенгальского огня, от коего множество людей задохлись, другие убивались, падая с подмостков, а третьи сгорели. В *Ведомостях* говорят о 126 человеках, лишившихся жизни, но уверяют, что число простирается до 500 человек. Государь, всегда готовый разделять опасности и [подавать?] помощь своим подданным, явился прежде полиции, которую во многом обвиняют. Государь представлял совершенно Ангела, с неба сошедшего. Самовидец мне рассказывал, что нельзя было на него смотреть без особенного умиления. Лицо его представляло не одними слезами горе, которое терзало душу его. Он сам спасал людей с таким самоотвержением, что воротник шинели его загорелся. Я упомяну токмо о двух чертах, доказывающих всю доброту сердца его:

---

\* Прежние мои записки, кои начинались с 1801 года и продолжались до женитьбы моей, сгорели в Московском пожаре 1812 года. (Примеч. А. Я. Булгакова.)

Мужик один кидался часто в объятые пламенем здание и всякий раз вытаскивал кого-нибудь; утомившись от жару, он, наконец, действовал в одной рубашке. — Государь спросил его, имеет ли он тут какого-нибудь родственника, — он отвечал: «Нет, батюшка! Да жаль, народ гибнет!», — и с сими словами опять кидался в огонь. Государь, восхищенный его неустрашимостью и благородными чувствами, подозвал опять к себе, обнял и спросил: «Кто ты таков?» — «Я мужик Ярославской вотчины княгини Голицыной»\*. — «Сколько ты спас людей?» — «Семь, В[аше] В[еличест]во». — Государь сказал об[ер]-полицмейстеру, указывая на него: «Ежели бы вся полиция составлена была из людей, подобных этому храброму и сострадательному мужику, то мы бы не оплакивали столько жертв сегодня!» Государь пожаловал ему 50 полуимпералов и медаль для ношения на шее с надписью *За спасение человечества*.

Государь увидел тут военного (полковника, другие говорят — генерала), который в исступлении смотрел на тело сгоревшего сына. Он подошел к нему, расспросил обо всем и прибавил: «Я вас видеть не могу, увезите тело несчастного робенка, воскресить его только в Божией власти, но моя обязанность будет пещись о благосостоянии прочих ваших детей, я буду им вторым отцом и требую, чтобы вы относились прямо ко мне для всех нужд ваших и семейства вашего».

Императрица лежала больна в постели, всем известна нежная к ней любовь Государя, но он ее оставил, чтобы явиться на пожар. От нее было скрыто сие несчастье. На другой день дворянство давало бал, давно уже предназначенный, и когда явились звать Государя, то он отвечал: «Как заниматься увеселениями, когда погибло столько людей и такую мучительную смертью?» Вместо бала была панихида, на которую Е[го] В[еличество] явился с Наследником и Вел. кн. Мих. Павловичем.

Во время пожара Государь сам сажал раненых и обожженных на извозчиков, приказывая отвозить их в разные больницы. Назначен был немедленно комитет, коему предписано было входить в подробнейшие разыскания о родственниках, оставшихся после умерших, и давать разного рода пособия. Назначены членами двор[янский] предводитель

---

\* Тихон Соловьев. (Примеч. А. Я. Булгакова.)



князь В. В. Долгоруков, генер.-адъютанты гр. Бенкендорф и Делянов. Открыта подписка.

Государь пожаловал 10/т.

Императрица ..... 5/т.

Наследник ..... 2/т.

Великие князья ..... 3/т.

Вел. княжны ..... 3/т.

Всех денег было собрано 43 804 рубля, кои употреблены были с разборчивостию и пользою. Довольно привести один пример: жене сгоревшего кн. Л. А. Пушкина 3000 руб., каждой из его дочерей по 500 р. Сверх того, Государь изволил приказать сына его определить в службу подпрапорщиком, а дочерей, ежели мать пожелает, принять в казенные заведения. [...] Ужасное сие происшествие навело ужасное уныние на весь Петербург, а мы здесь были долго в мучительном беспокойствии, боясь, не сгорели ли там родственники или приятель и знакомый. — Как не содрогнуться, когда подумаешь, что люди вместо увеселения, которого искали, нашли неожиданно мученическую смерть!

(VIII, 3—8)

По случаю пожалования Станиславской ленты попечителю учебного округа и вице-президенту Академии наук князю Дондукову, которого министр народного просвещения особенно покровительствует, известный наш поэт и сатирик Пушкин написал весьма язвительную эпиграмму, которая более касалась до министра, нежели до вице-президента; Уваров, опорочивая и самые стихи, и смысл оных, обращаясь к Пушкину, сказал ему: «Утверждают, что вы сочинитель сей эпиграммы?» Автор *Онегина*, не желая заводить спора, отвечал: «Я признаю моими стихами токмо те, под коими написано имя мое!»<sup>2</sup> Он искал случая отомстить Уварову, и случай представился. Богач граф Шереметев поехал в Воронеж, где занемог отчаянно; по сему случаю вытребован был из Петербурга доктор графа, который спас ему жизнь скорыми и решительными средствами, за что получил 25/т. р. единовременно и 5000 р. пенсии по смерти. Известно, что Уваров и князь Репнин, яко ближайшие родственники графа, и наследники его, ибо родная его тетка, бывшая замужем за графом Алек. Кириллов. Разумовским, была мать Уваровой и княгини Репниной. Скоро разнесся слух, что граф Шереметев умер в Воронеже. Уваров, не уверясь в истине слуха сего, потребовал запечатания всего имущества,

находившегося в доме графа Шереметева в Петербурге. К несчастью, среди всех сих предварительных, преждевременных распоряжений и воздушных замков насчет огромного наследства, получено было известие о совершенном выздоровлении Российского Крезуса. Сие дало Пушкину повод написать весьма едкую сатиру под заглавием *Смерть Лукулла*<sup>3</sup>, и напечатанную в *Московском наблюдателе* с подписью имени автора. Благоразумнее было бы Уварову себя не узнавать и ограничиться молчанием; вместо того, он стал жаловаться в обиде, нанесенной не столько частному лицу, сколь сановнику, облеченному высоким званием министра. Пушкин был призван к графу Бенкендорфу, управляющему верховною тайною полициею.

— Вы сочинитель стихов на смерть Лукулла?

— Я полагаю признание мое лишним, ибо имя мое не скрыл я.

— На кого вы целили в сочинении сём?

— Ежели вы спрашиваете меня, граф, не как шеф жандармов, а как Бенкендорф, то я вам буду отвечать откровенно.

— Пусть Пушкин отвечает Бенкендорфу.

— Ежели так, то я вам скажу, что я в стихах моих целил на вас, на графа Ал. Хр. Бенкендорфа!

Как ни было важно начало сего разговора, граф Бенкендорф не мог не засмеяться, а Пушкин на смех сей отвечал немедленно сими словами: «Вот видите, граф, вы этому смеетесь, а Уварову кажется это совсем не смешно». Бенкендорфу иное не оставалось, как продолжать смеяться, и объяснение тем и кончилось для Пушкина, но не для Уварова, коего ожидало новое оскорбление. Есть здесь некий Жобар, бывший профессор Казанского университета; гонимый Уваровым, он принужден был, наконец, оставить свое место, но, вопреки приказанию начальства своего, он продолжал называть себя профессором. После долгой переписки по сему предмету и разных дерзких бумаг от Жобара, дабы смягчить наказание его, он был признан лишенным ума. Он писал Государю письмо, в коем объявляет, что ему вверено воспитание молодого князя Долгорукова, коего отец платит ему ежегодно 3000 руб. за сие, но что, несмотря на это, он требует, чтобы московское местное начальство приступило к освидетельствованию его, точно ли он ума лишен. — Жобару, призванному в губернское правление, легко было доказать, что он от излишнего ума страдает. Оправданный таким образом, он предался новым нападениям и дерзостям против

министров юстиции и народного просвещения. Князю Дм. Влад. Голицыну были присланы его ябеднические и колкие жалобы, коими требовал он, чтобы оба министра были преданы суду, яко клеветники, а ему дано было приличное удовлетворение и 30/т. деньгами. [...] Дело Жобара не кончено, однако же, до сих пор ничем, но приступим к рассказу, от коего меня удалили сведения сии о Жобаре. Сей чудак лишь прочел стихи на смерть Лукулла, тотчас перевел их на французский язык и имел дерзость посвятить перевод сей самому Уварову, коему послал свой труд при письме, наполненном лестью и написанном так, что невозможно ни к чему придраться, ибо сам охуливает дерзость свою, во-первых, потому что осмелился взять на себя передать на другом языке красоту стихов первого в России поэта, а во-вторых, что дерзнул посвятить труд свой тому, коему столь же свойственно писать прекрасно стихи на французском языке, как Пушкину на русском. — Уваров оставил письмо и послание Жобара без ответа, пользуясь, по-видимому, опытом прошедшего\*.

В Петербурге об ином не говорят, как об ужасном происшествии, там случившемся в конце сего апреля. Бывают они, но только не в миролюбивой России, а разве во Франции или Сицилии, где злоба и мщение внушают величайшие преступления. Некий д[ействительный] с[татский] с[оветник] Апрелев, коего отец был ежедневный посетитель князя Ник. Ив. Салтыкова и графа Аракчеева и служащий где-то контролером (брат его полковником в Семеновском полку), женился на девице Кобылиной. После совершения в домово́й церкви гр. Шереметева, коего делами он управляет, церемонии бракосочетания Апрелев поехал наперед, чтобы на лестнице в доме принять свою молодую жену. Время<sup>4</sup> было хорошо, но несколько холодновато. Все вышли на крыльцо встречать новобрачную. Между прочими и граф П. П. Апраксин, который был отцом посаженным; на него стали надевать шинель, которую он потребовал, а так как она неплотно была на плечах, то человек незнако́мый, в шинели фризовой,

---

\* Жобар лишился свободы своей. Вследствие предписания от князя Голицына из Спбурга он посажен в тюрьму до окончания, сказано, производящегося по сему дела, а есть дела, кои и 50 лет продолжаются. Жобар сидит в Мяснитском [так!] частном доме и написал уже протест. Глупость делает, ежели правда, что призывает защиту французского посла. (Примеч. А. Я. Булгакова.)

подойдя к Апраксину, начал поправлять ему шинель, за что граф его и поблагодарил. Загремела карета. Это была новобрачная, все кинулись ее встречать, тут был и Апрельев. В самую эту минуту незнакомый в шинели, о коем упомянуто выше, подошел к Апрельеву и вонзил ему в правый бок кинжал. Он упал, и кровь потекла ручьями. Так как большая жила была перерезана, то полагали, что он тут же умрет. Можно представить себе всеобщее смятение и отчаяние новобрачной. Между тем убийца не стал нимало искать спасения своего, и был тут же схвачен полициею, которая стала производить следствие. Когда рапортовано было Государю, то Е[го] В[еличество] изволил сказать: «Преступление столь очевидно и совершено при стольких свидетелях, что следствия не нужно, а судить убийцу военным судом». Изверг сей есть некий Павлов, бывший прежде военным, а ныне чиновник 8-го класса. Явные обстоятельства сего гнусного романа известны, но что могло побудить Павлова к совершению такого злодейства? Какая ужасная страсть: любовь ли? мщение? не белая ли горячка? пьяное состояние? Еще не известно. Он приходил в церковь, где обрученных венчали, хотел там исполнить свое адское намерение, но его не впустили, замечая ему истрепанность его одежды. Между тем приговор военного суда исполнен над Павловым. Его, одетого в мундир, в белых штанах, со шпагою и трехугольной шляпою, два палача вели по главным улицам Петербурга к лобному месту за Знаменскою церковью. Здесь сорван был с него мундир, над головою переломлена была шпага, по рассказам иных, палач ударил его по щеке, потом надел был на него серый кафтан, кандалы. Два жандарма посадили его на тележку и повезли в Сибирь на вечную каторжную работу.

Наши московские происшествия не столь мрачны. Мы заняты поднятием большого Царя Колокола, который в земле почти 100 лет. По преданиям в народе, все усилия, сделанные для поднятия его на поверхность земли, были тщетны до сих пор, и колокол сей, имеющий 12/т. пуд весу, все более и более погружался в недра земли, и любопытные лазили несколько сажень вниз с фонарем, чтобы осматривать колокол сей, коего край один совершенно отбит. Государю угодно было приказать, чтобы колокол был выгашен, предоставя себе после решить, что из него делать после. Для сего прислан было из Петербурга архитектор Монферан<sup>5</sup> и в Кремле начались большие приготовления. Наконец, назначено

5 мая для поднятия колокола; около одного устроены были вокруг подмостки с местами для зрителей. Дворцовая контора раздавала также билеты известным особам для занятия окон в Малом дворце. С 8 часов утра Кремль был набит множеством народа. Операция, наконец, начинается, колокол начинал показываться... но увы, вдруг два каната лопают[ся], несколько брусьев ломаются и, к счастью, никого не убивают и не ранят из работников — и принуждены колокол опять опустить на прежнее его темное пребывание. В народе замечены были и ропот, и радость. Толкам народным нет конца. «Вить отцы-то наши, — говорит один, — не глупее были нас, да не умели колокола выгашить!» «Вить колокол-то, — говорит другой, — прирос к земле, его выгашут, когда будет светопреставление». Третий уверяет, что нечего было ждать хорошего. «Вить начинать-то надобно все молитвою, а тут главный — француз, какая тут молитва, он и не нашей веры! Француз Кремль подрывал, ну его ли дело выгаскивать святой колокол?» Многие из участвовавших в работе уверяли, что ежели бы при неудаче сей убиты были работники русские, то Монферан дешево бы не отделался. Он извинился гнилостью канатов и едет за новыми в Петербург, но можно ему сделать вопрос, зачем, не быв уверен в прочности канатов, вместо 6 не взято оных 12 и даже 20? А, быть может, что огромная сия тяжесть не на всех канатах ровно лежала, а более на двух, кои выдержать не могли. Осторожность требовала употребить лучше средства излишние, чем недостаточные. Теперь более, чем когда, вселилась мысль в народе, что колокол сей никакая сила не может выгашить из ямы, в которой он погружен.

Начались толки о причинах, кои побудили Павлова к злодеянию, им совершенному. Вот два разные рассказа. 1-й: Апрелев лет пять, как в связи с Павловою сестрою и обещал ей жениться на ней. Покуда он был холостой, все молчали, но когда Павлов узнал, что он может обвенчаться, то он вознамерился помешать браку совершиться, а как его в церковь не впустили, то он отправился в дом расторгнуть брак тотчас по совершении одного. 2-ое: говорят, что Павлов влюблен был в Апрелева сестру, искал ее руки, имел отказ, но, наконец, все были согласны, кроме брата ее, сего самого Апрелева, который, служа с Павловым в одном полку, отзывался об нем дурно. Сестра, любя брата и следуя его советам, отказала решительно Павлову; тогда сей сделал клятву не

допускать никогда Апрелева до того счастья, коего он его лишил самого, и как скоро он узнал, что Апрелев женится, он решился его убить. Вот две эдиции. Пусть наши Бальзаки выбирают любую для написания романа. Известно, однако же, и то, что сей самый Павлов, бывши еще унтер-офицером, писал к покойному Императору Александру Павловичу, чтобы он взял его к себе во флигель-адъютанты. Учинено было тогда следствие, под рукою, и замечены были в Павлове признаки сумасшествия. Быть может, что белая горячка опять в нем оказалась. К счастью, жизнь бедного Апрелева вне опасности: течение крови остановилось. Поэтому, сказывают, и Павлов не был расстрелян.

Апрелев умер 8-го мая, и Петербург все еще занимается сим трагическим происшествием, которого подробности могли бы служить Бальзаку и последователям сего сочинителя романов к какому-нибудь ужасному произведению во многих томах и в нынешнем вкусе. Государь желал сам допросить виновного, но он ничего не хотел открытъ, сознался в преступлении, коего скрыть было ему невозможно, и находил себя сам достойным ожидающего его наказания. На другой день отец его писал к Императору и открыл Его Величеству все, что ему было известно от самого преступника. Государь пожаловал несчастному отцу 2000 руб. пенсии и позволил проводить сына до места ссылки его, но он недолго пережил жертву свою. В уважение расслабленного его положения, был он отвезен тайно в крепость<sup>6</sup>, где он умер. Говорят, что он себя умертвил, ударившись головою об стену, а так как всё в происшествии, должно, видно, быть необыкновенно, то, по уверению многих, Павлов умер от раны, нанесенной ему палачом в голову, когда была переломлена над оною его шпага. Теперь все согласны в том, что Апрелев был в преступной связи с сестрою Павлова, который три раза вызывал его на дуэль и всегда без успеха. Сей вызов был повторен и накануне свадьбы его. Апрелев не скрыл это даже от своей невесты, и на страх ее, чтобы не кончилось это дурно, он отвечал: «Они все очень бедны, я устрою все это денежным пожертвованием». Оскорбительные сии слова дошли до Павлова, и он тогда поклялся сестре своей умертвить ее соблазнителя. Она от сострадания или, может быть, и от остатка любви, решилась Апрелева предупредить, чтобы он взял свои предосторожности. Тщетно старалась она с ним свидеться, время уходило, бумаге не смела она вверить тайну такой важности. Она решилась,

во что ни станет, найти Апрелева хоть в церкви, оделась в самое простое платье, но ее в церковь не пустили, и злодейство свершилось. В первый день все жалели о несчастном Апрелеве и проклинали его убийцу, но, мало-помалу, участие начало охлаждаться и переходить к преступнику, в коем действовала не корысть, но оскорбленная честь и мщение за сестру. Семейство Павловых очень многочисленно, и сестра эта была любимая им.

Теперь в Петербурге как полоса на несчастные происшествия. Отставной гвардии офицер Столыпин отправился в чужие края, куда сопровождала его и мать, по нежной к нему любви; другие родственники поехали проводить их до Кронштадта. Пароход отъехал верст 6 от Аглинской набережной, время было хорошо, Столыпин сел на самые перилы парохода и небрежно качался, ему замечали, что можно упасть в море, но он отвечал, усмехаясь: «Экая беда! Я плаваю как рыба!» Едва произнес он сии слова, как качнуло пароход, и он упал в воду. Видны были его знаки, коими просил он о помощи, течение судна быстро; покуда остановили, отвязали шлюпку, на которую бросился матрос и один агличанин, путешественник и большой пловец, много было потеряно времени, силы несчастного Столыпина истощились. Агличанин, приплыв к нему, подал ему руку, но тот не мог уже ему содействовать к спасению своему, тело пошло ко дну и уже не всплыло, осталась на воде одна фуражка. Можно представить себе отчаяние всех его родных и особенно матери, которая хотела броситься в море, крича: «Кто лучше матери его отыщет?» У Столыпина много было золота в карманах, он наменял оногo тысяч на десять и не успел еще спрятать на пароходе; сия лишняя тяжесть, может быть, была гибельна для него. Вот так-то иной умирает от недостатка, а другой от избытка денег. Все пассажиры единогласно решились воротиться в Петербург, дабы высадить несчастное семейство утонувшего, и потом отправились опять в путь, и, верно, никто не токмо не сядил на перилы, но даже к ним не подходил. В тот же день застрелился в Петербурге морской офицер по имени Попандопуло.

К нам в Москву приехал граф Толстой, который на время отсутствия князя Дм. Вл. Голицына, поехавшего в отпуск за границу, должен управлять древнею столицею. Здесь находится теперь известный наш поэт Александр Пушкин,



он пишет историю Петра Великого и приехал копаться в архивах и собирать некоторые справки. «Что нового?» — спрашивает он у встретившегося с ним приятеля. — «Да что тебе сказать?.. приехал граф Петр Александрович...» — «Да! — прибавил Пушкин, перебивая речь. — Приехал граф Петр Александрович, да не Румянцов-Задунайской, а Толстой-Узкой»<sup>7</sup>. У графа Толстого есть подмосковная, называемая Узкое, и он четыре дня проводит там, а три бывает в Москве. [...]

Тело несчастного Столыпина было, наконец, найдено каким-то ораниенбаумским рыбаком и принесено матери утонувшего. В карманах его найдено было на 8000 руб. золотой монеты червонцами. Мать обрадовалась, что могла воздать последний долг телу сына своего, а рыбаку подарила все найденные на умершем деньги, которые рыбак мог бы сам себе присвоить, ежели бы захотел. Честность его была щедро награждена.

(VIII, 10—21)

Большой колокол, наконец, выгнали. Архитектор Монферан возвратился из Петербурга со всеми канатами и прибегнул к средству, которое следовало бы ему употребить с самого начала, т. е. употребил силу, соизмеримую для тяжести не 12, а 40 тысяч пудов, и дело пошло хорошо. Надобно полагать, что он все-таки боялся неудачи, потому что поднятие происходило в пять часов утра, однако же народу было довольно. Негодование тогда было велико, но, кажется, что удача не обрадовала зрителей, кои все-таки недовольны, толкуя, что операция стоила будто 60/т. руб., тогда как русский плотник брался совершить ее за 7000 руб. Набожные люди негодуют на Монферана за то, что (будто), уезжая из Петербурга, он ответил знакомому, который спросил его: «Зачем и куда ты едешь?» — «Еду в Москву подымать колокольчик, который 100 лет в земле». — «Ах! он сквернавец! — говорят богомолы, — святой колокол, имеющий 12/т. пуд весу, смеет называть колокольчиком!» Я ездил на другой день, 23 июля, смотреть колокол, он поднят почти на три аршина от земли и очень красив по форме своей и разным барельефам, коими украшен. Тут несколько медалионов с царскими портретами. По обыкновению, множество гуляльщиков, экипажи кружатся в два ряда: дамы спрашивают: «Где же большой язык?», а кавалеры: «Где большая щель?» Отшибленный край не видно, колокол

будучи повернут тою стороною к Ивану Великому. Что будут делать из колокола сего, неизвестно еще. Вероятно, решится сие при личном осмотре Государя. Его Величество ожидают сюда в будущем месяце.

(VIII, 23)

Государь из Нижнего ехал на пароходе в Казань и Симбирск, куда прибыть изволил в день коронации, чем сократил тремя днями путешествие свое. Бала не принял в тот же день, но изъявил согласие для следующего дня. Дамы выписали немедленно уборы из Нижнего и были очень нарядны. Тургенев Алекс[андр]<sup>8</sup> писал мне, что хоть бы в Париже найти такой вкус и щегольство. Государь изволил с ним говорить и благодарить за доставление из чужих краев исторических материалов. Очень был доволен домом трудолюбия и наградил фермуарами бриллиантовыми начальниц Иванову и Кошкину. Пожаловал на заведение 10/т. руб. и 4/т. ежегодно прибавки, доволен был вообще, но нашел город **унылым**, назначил многие перемены в самом городе и украшения, велел устроить спуск с горы, перевозки, набережную и пр. Все это оживило весьма губернию. Губернатора гражд[анского] Жиркевича обласкал, перевел его в Витебск и дал военный мундир, назнача в военные губернаторы города при словах: **«Я тебя посылаю туда, чтобы исправить эту губернию»**. На достройку собора пожертвовал 25/т. руб.

(VIII, 37)

Известный Жобар, бывший профессор Казанского университета, о коем я уже упоминал в свое время, наконец, выслан с жандармом за границу. Он разослал ко всем знакомым и незнакомым карточки со следующей надписью:

Alphonse Jobard  
noble russe, sujet francais  
et chevalier  
chasse de Russie  
par un Jean...d'arme\*  
sans jugement  
p. p. c. 1836

---

\* Jean вместо гер было написано, как видно, умышленно. (Примеч. А. Я. Булгакова. Перевод: «Альфонс Жобар, русский дворянин, французский подданный и кавалер, выслан из России с Жаном...д'армом без приговора».)

Он мог быть прав в существе дела, но кругом виноват формами и дерзостью своею против людей, удостоенных доверенностию Государя. Все-таки следовало его судить, обвинить и потом сослать. Следовало заплатить ему оклады его, ежели бы они ему и не приходились, тогда и наказание имело бы нечто великодушного, он не имел бы права жаловаться. Людей такого рода благоразумие требует не оскорблять. Не желаю быть пророком, но Жобар может наделать вред России. Он 30 лет жил у нас, знает Россию, знает превосходно язык наш, озлобленный на Россию, он может предложить услуги свои Англии или Франции; не всякому дано пользу приносить, но всякий может вредить, когда захочет и когда страсти, особенно мщенье, к тому нас побуждают. Получа удовлетворение, он бы сам представил повинную свою голову и подвергнулся наказанию, которое заслужил, после чего стал бы опять обязан России, ибо не имеет нрав злобный. Я не удивлюсь, ежели увидим его в числе журналистов, изрыгающих яд свой на Россию.

Москва занята теперь другим, домашним, русским Жобаром. Здесь живет некий Петр Яковлевич Чаадаев, вышедший в отставку из военной службы. Он был адъютантом графа И. В. Васильчикова, когда сей командовал гвардиею. Когда случилась известная история в Семеновском полку, и по коей он был раскассирован<sup>9</sup>, то Васильчиков отправил его курьером с донесением к Государю, бывшему тогда на конгрессе (кажется, Веронском<sup>10</sup>). Чаадаев имел многое лично объяснить Е[го] И[мператорскому] В[еличеству], но он ехал не довольно поспешно, и Государь узнал все подробности сей неприятной истории от князя Метерниха прежде, что не могло не быть ему неприятно. Когда Чаадаев приехал, то Государь приказал отобрать у него депеши, к себе не допустив. Чаадаев был вовсе забыт и получил, токмо три месяца после, приказание возвратиться к должности. Оскорбленное его самолюбие не могло этого забыть, первый шаг было оставить службу, а последствие — злоба к правительству<sup>11</sup>. Имея природные дарования, образование хорошее, знание языков и много самолюбия, он, как водится с недовольными, основался в Москве и сделался членом вздорной, пустой оппозиции, которая всегда первая провозглашает и славит успехи России, но которая при неудачах приписывает оные всегда одной причине: что не следовали ее советам, ее мнениям, что не употребляют людей способных, любящих свое отечество, что оставляют в отставке

тех, кои могли бы быть полезны и пр. Чаадаев бросился в философию и мистику. Завел переписку со многими учеными во Франции. Вдруг в *Телескопе* (журнал, здесь издаваемый профессором Надеждиным) показалась статья, обратившая на себя общее негодование. Это письмо, напечатанное в № 15 *Телескопа* под заглавием *Философические мысли*<sup>12</sup>. В письме сём Россия и русские описаны сам[ыми] черными и гнусными красками. Имя автора не было выставлено, но письмо сие, написанное на франц[узском] языке к девице Норовой<sup>13</sup>, было уже давно читано многим самим Чаадаевым. Москва взволновалась. Ч[аадаев] сделался предметом общей ненависти и презрения, и раздражение было столь велико, что он не смел показываться в публику и в Аглинском клубе, где он бывал всякий день. Все №№ *Телескопа* были захвачены. Все ожидали решения из СПбурга, но никто не мог предвидеть то, которое последовало. Государь приказал об[ер-]полицмейстеру явиться к Чаадаеву и объявить ему: что он сам прочел его письмо, в *Телескопе* напечатанное, что люди, вредные правительству, действуют всегда тайно, но что Ч[аадаев], напечатав в журнале письмо, наполненное одною клеветою и нелепостями, доказывает, что ум его поврежден и что, почитая его сумасшедшим, воля Государева, чтобы об[ер-]полицмейстер являлся к нему часто для освидетельствования его состояния, а, между тем, чтобы всякой день ездил к нему доктор и лечил бы его и доносил о его состоянии; бумаги же его запечатать и послать в Петербург. Чаадаев отвечал Цынскому: «Я вижу в решении Государя ум Соломона и милосердие ко мне; когда я писал письмо это, я имел, действительно, припадок белой горячки и лечился; впрочем, письмо это писано 8 лет назад и напечатано без моего согласия и даже ведома. Узнав, что оно в *Телескопе*, я стал выговаривать Надеждину, но он мне отвечал, что я не имею права жаловаться на напечатание статьи, которую *цензура* даже пропустила». Цензор Болдырев сделал чистосердечное сознание, что по дружбе своей и доверенности к Надеждину он всегда подписывал статьи, от него присылаемые, не читая оных. — Болдырев отрешен от цензуры и места ректора Московского университета, а Надеждин сослан в Вологодскую губернию в место, называемое Усть-Сысольск, на житье и размышление. Для Чаадаева нельзя было придумать наказания и милосерднейшего, и жесточайшего. Уж подлинно Соломоново решение!

(VIII, 53 — 56)

Следующее происшествие занимает теперь много обе наши столицы. В Петербурге открылось существование некоторой духовной секты, о которой рассказывают различно; открылось же сие следующим случаем. У тайного советника и члена нашего Почтового правления Васил. Мих. Попова украли 3000 рб. Для разыскания покражи сей взяли людей его в полицию; когда стали у них расспрашивать, кто бывает в доме, то один из людей сказал: «Да кому у нас бывать? Барин никого к себе не пускает, ему не до того!» При дальнейших расспросах оказалось, что Попов занимается единственно своими тремя дочерьми, что двух обратил он в какую-то веру, а средняя на то не соглашалась и потому претерпевает разные мучения, отец держит ее в темной комнате на хлебе и воде, а ночью ее бьет и мучает всячески и пр. Государь приказал об[ер-]полицмейстеру, полковнику жандармов Дубельту и доктору явиться внезапно в дом Попова, забрать его бумаги и сделать следствие на месте. Оказалось, по признанию самих дочерей, это была истина, и у несчастной второй дочери нашли болевые знаки, и она была в самом трагическом положении. Попов был немедленно арестован, выкинут из службы и отправлен в Зилантов монастырь в Казанской губернии<sup>14</sup>. То же самое последовало с главною начальницею секты сей, с полковничьею вдовою Татариновой<sup>15</sup>, ее также сослали в монастырь ... [пропуск в тексте]. Сборища делались у нее. В безумном сём расколе главное основание было вселить в женском поле отвращение и ненависть к мужскому, а равно и мужскому к женскому, но по непостижимому противуречию, все члены собирались у Татариновой<sup>16</sup> без разбора пола, раздевались и нагие совершали разные обряды, плясали до упаду, кидались потом в воду, после гасили огни, и жребий решал, кому с кем надлежало совокупляться, следовательно, Попов мог падать и на дочерей своих. Татаринова собирала доходы, разумеется, в свою пользу, зато имела она видения разные, коими всех членов морочила и держала в страхе и повинении и пр. Тут тоже замешана генеральша Головина, урожденная Фон-Визина. Государь приказал отправить ее к мужу, в Варшаве служащему, на исправление, который, как говорят, той же секты сам<sup>17</sup>. Многие замешаны в сём гнусном деле и также взяты, но имена их еще не известны. Государь знал о секте сей, но, почитая все это простым расколом, не хотел

прибегать к строгости, но когда узнал о жестокостях Попова против собственных детей, то принял решительные меры. «Боже мой, — сказал он, — такие жестокости делаются и, может быть, уже давно, а теперь они токмо открываются!» Императрица взяла на свои руки двух дочерей Попова, отдала их в казенные заведения, а страдальицу препоручила лейб-медику Арндту с приказанием иметь всевозможное попечение о здоровье ее. Преосвященный Филарет, прибывший вчера из Петербурга, рассказывал Тургеневу, что тело несчастной мученицы сравнить можно было с телом солдата, пропущенного сквозь строй. Татарина уже в царствование Императора Александра Павловича была выгнана из Петербурга, где имела она квартиру в Михайловском замке, за подобные поступки, но это не укротило ее рвения, она наняла дом за три версты от города, где и происходили гнусные сии сборища. Французы имели нечто подобного под названием [Treulleur?]. Это смесь духоборства, хлыстовщины и пр. — Я мало знал Попова, но он казался всегда человеком кротким, благонамеренным и усердным к службе. Вот до чего может доводить фанатизм!

(VIII, 91 — 93)

К сожалению, мы делаемся свидетелями происшествий, которыми доньше отличались одни италиянцы и, особенно, французы; не довольствуясь перенимать у сих последних фраки их, прическу и обхождение, наша отчаянная молодежь, начитавшись модных романов Виктора Гюго и бесстыдной mad., называющей себя Георгием Зандом и которую оба пола должны бы отвергать, молодежь наша, говорю я, хочет перенимать и буйство, и безнравственность французов. Есть здесь в Москве некий отставной поручик Дорохов, сын известного генерала, отличившегося в войну 12 года. Он женат на девице Гурьевой, был известен разными шалостями, общество его составляли игроки и французские актрисы, из коих одна (m-lle [имя нрзб.]) была даже у него на содержании явно, в прошлом году. Ныне этот Дорохов начал приволакиваться за княгинию Вяземскою, урожденною Корсаковою. Муж ее был предостережен приятелем своим Сверчковым, что Дорохов позволяет себе весьма неуместные речи насчет княгини В[яземской]. По сему поводу было между князем В[яземским] и Дороховым объяснение, первый написал к последнему записку, в коей говорит ему, что Сверчков явился к нему для переговоров о дуэли, на которую В[яземский] полу-

чил вызов от Дорохова. Ответ Дорохова не был удовлетворительным и довольно оскорбителен для Сверчкова, и он, сидя у Вяземского и рассуждая о деле сём, сказал, что, как скоро увидит Дорохова, то будет требовать от него объяснения, почему он не желал его видеть у себя. В эту самую минуту отворяется дверь и Дорохов входит. Сверчков пошел к нему навстречу и отвел к столу, стоявшему у окна, с разными туалетными потребностями, дабы с ним объясниться. Св[ерчков] возвысил несколько голос, Дорохов также, слова сделались колкими, и Дорохов (как он показал на допросе полиции), не хотя стерпеть обидное движение, сделанное Сверчковым рукой, и увидя лежавший на столе черкесский кинжал, схватил оный и воткнул Сверчкову глубоко между плеча и лопатки. Он целил ему в сердце, но движение, сделанное Сверчковым, спасло его, может быть, от смерти. Дорохов взял хладнокровно шляпу и вышел из комнаты, но был скоро после того арестован полицмейстером Миллером и посажен на гаубвахту до окончания следствия. Он много имел уже подобных историй, но сею, кажется, заключатся его злодейские похождения, и Сибири не миновать. Не жаль мерзавцов таких, но обыкновенно бывают у них жены и дети, о коих нельзя не соболезновать, и Сверčkova жена только что разрешилась от бремени. Каково было ей видеть бедного мужа, коего привезли в дом раненого?<sup>18</sup>

(VIII, 95 — 97)

Недавно лишились мы нашего юного, пылкого и, бесспорно, изящнейшего поэта Пушкина, — а сегодня, 7-го октября, были похороны Нестора русских писателей или, как другие его называют, русского Лафонтена. Ив. Ив. Дмитриев скончался после трехдневной болезни от воспаления в печени, произведенного простудю сильною и излишеством в пище. Я видел его в среду в клобе, он был совершенно здоров и говорил со мною об Александре Тургеневе, который писал мне из Геттингена, куда попал он на 100-летний юбилей университета. «Тур[гнев] меня не жалует», — сказал Ив[ан] Ив[анович], в чем старался я его разуверить. В четверг Ив[ан] Ив[анович] обедал дома и много ел поросенка, после чего выпил большой стакан жирных сливок, вместо кофе велел подать себе шоколату, потом пошел к себе в сад сажать деревья; чувствуя холод, он велел подать себе ликеру. Садовник уговаривал его возвратиться в покои, говоря, что холодно и сыро, но Ив[ан] Ив[анович] ему сказал: *«Ежели не посажу*

*тополи эти сегодня, то никогда их не посажу*». Слова сии были как бы пророчество[м], ибо, войдя в комнату и чувствуя сильный озноб, он лег в постель, чтобы в оной умереть: сделался жар и бред, которые продолжались всю пятницу. В субботу пришел он в себя, хотел воспользоваться облегчением сим, призвали священника, но больной впал опять в беспамятство и в субботу вечером скончался на руках людей своих; никого родных не было, послали эстафету в Симбирск к племяннику его Дмитриеву, который, оказывается, также отчаянно болен. Ив[ан] Ив[анович] был некогда министром юстиции при покойном Государе Ал[ександре] Павловиче и умер действ[и- тельным] т[айным] советником, кавалером орд[енов] св. Алек- сандра Невского и Влад[имира] 1-й степени. Он по летам своим, по чистоте слога, но также и по чину своему был как бы президентом русских писателей и верховным судьей; он был умен, рассказывал приятно, остро. Его сочинения напеча- таны и басням его дают преимущество, но я нахожу более вымысла и народности у Крылова, Дмитриев заимствовал, по большей части, от Лафонтена, Эзопа и других. В Дмитриеве была какая-то смесь европейского просвещения и русского деспотизма. В доказательство сообщу один анекдот, рассказан- ный мне П. И. Полетиною. Он застал один раз Ив[ана] Ив[а- новича] в ту минуту, как его брили, цырюльник его несколько порезал. «Не прогневайся, Петр Иванович», — сказал Ив[ан] Ив[анович], и потом, развернув хладнокровно руку, дал мальчику полновесную оплеуху и продолжал разговор, как бы ни в чем не бывало. Дмитриев оставил хорошо выбранную библиотеку и прекрасную коллекцию старинных редких гравюр, особенно портретов великих мужей всех времен и государств. О душевных его качествах умолчу, о покойниках говорить иначе не должно, как с похвалою! Долго читали все с удо- вольствием послание его к Вас. Льв. Пушкину. Пушкин соби- рался ехать в Париж, Ив[ан] Ив[анович] написал наперед первое письмо Вас[илия] Львовича оттуда в Россию. Тут было совершенно все, что сбилось: штиль, мысли, знакомства, препровождение времени, ощущения и рассуждения Пушкина. Письмо начинается словами:

**Друзья мои! Сестрицы!! Я в Париже!**

Кто знал Вас[илия] Львовича, тот знал, что письмо иначе начинаться не могло<sup>19</sup>.

(VIII, 134 — 135)



Подробности Государева путешествия чрезмерно любопытны. Жаль, что не сопутствовал ему историограф, он бы показал, что Николай I смертный необыкновенный, что он умеет удивлять дикие народы так же, как и просвещенных агличан и французов. У первых наружная осанка великие делает впечатления. Закавказские племена поражены были исполинским ростом, молодечеством, неустрашимостью нашего Государя. Когда он был перед ними, то ничего не видели во вселенной, кроме него. Они составили его конвой, и он беспрестанно вверялся сим телохранителям. Государь, разговаривая с одним из них, стал рассматривать сильное его вооружение, состоящее из пики, шашки, ятагана, кинжала и двух пистолетов, и сказал: «Ну! брат, не советую никому встретиться с тобою где-нибудь наедине!» Черкес, усмехнувшись, отвечал с дикою гордостью: «Я не советую никакой *армии* встретиться с тобою, когда мы тебя охраняем!»

(VIII, 147)

Известный Чаадаев, о коем было говорено в записках сих в свое время, прощен. Государь приказал его освободить, и свобода сия делает конец его сумасшествию; должно полагать, что издатель *Телескопа*, сосланный в Усть-Сысольск, также обратит Государево милосердие на себя. Тяжкий дан урок людям, презирающим свое отечество — и какое еще отечество? Россию! — но урок будет полезен для будущих мнимых умников.

(VIII, 161)

Вот что случилось сегодня с Государем (28 числа) [ноября]. Он поехал к Великому князю Михаилу Павловичу в колясочке парю и один. Съезжая под гору от Боровицких ворот, одна из лошадей, испугавшись чего-то, начала бить и (как бывает это всегда), другая тоже. Коляска была народом остановлена, Государь проворно выскочил, сказав кучеру: «*Ну! Делай себе, как хочешь*». Пройдя несколько шагов пешком, он увидел бедного извозчика с тощею лошадью и плохими, так называемыми калибрами, дрожками, кои заменили несколько уже тому лет дощатые дрожки простые. «*Знаешь ли ты, где живет Вел. князь Михаил Павлович?*»

— Как, батюшка, не знать: на Остоженке.

— *Ну! вези меня туда.*

— Извольте, барин, садитесь, вы меня не обидите.

Извозчик отвечал свободно на разные вопросы Государя, не зная, что он вдруг из дрянного извозчика переобразился в лейб-кучера, но видя, что все снимают шляпы, повторяя: «Государь! Государь на извозчике!» — он испугался и, сняв шляпу, поспешно сунул ее под себя и ехал с открытою головою. Государь, вытаска из-под него измятую шляпу, вдолбил ему оную на голову и приехал, не весьма поспешно, к брату своему. Забавляясь простотою извозчика или желая счастье его удвоить и шутку продолжить, Государь, приказав ему дожидаться, пробыл несколько времени у Великого князя и возвратился домой в том же нарядном экипаже. «Государь батюшка, — сказал он [извозчик. — С. Ш.], подъехав ко дворцу, — прикажи мне ехать домой?»

— *Зачем?*

— Я много доволен, пойду ко всем рассказывать, что я возил Императора.

— *Врешь! Поги и остановись вон там, на углу, под окошком, и жди моего приказы.*

Извозчик повиновался, но со страхом, ему уже казалось, что что-нибудь не так сделал и что его ожидало какое-нибудь наказание. Государь, войдя к Императрице, сказал ей, что он купил дрожки нечаянно, с прекрасным рысаком. Императрица не верила и полагала, что это шутка. *«Пойдем к окошку, я покажу тебе свою покупку».* Императрица подошла к окну, Государь показал ей щегольскую свою колесницу и рассказал ей случившееся с ним. В эту минуту лакей вынес извозчику жалуемые ему Государем 100 рублей. Бедняк оттоваривался, не хотел брать, после, взявши деньги, начал креститься и кланяться в ноги то Успенскому собору, то дворцу. — Народ его окружил, стал спрашивать, что с ним случилось, но он прыгнул поспешно в дрожки и погнал свою клячу домой.

Я не могу себе представить, чтобы расхваляемый историками Лудовик XIV имел в осанке своей нечто более величественного, важного и вселяющего уважение, нежели наш Государь, но в Императоре Николае есть и другое лицо, когда он один или в домашнем своем быту, тут исчезает этот могущественный венценосец, по коего дудке пляшет вся Европа, а виден человек простой, расположенный ко всякого рода шуткам, даже к тому, что называем мы *фарсами*, тут называет он Императрицу своею старушкою, дочерей — дурочками, Наследника — московским калачом, приближенных

своих шутами, тут берет он брата Мих[аила] Павловича за бакенбард и целует его в лоб раз 20, причмокивая губами; шутя, своим генер.-адъютантам кланяется несколько раз низко в пояс и дает всякому разные смешные названия, делает разные забавные телодвижения, одним словом, это уже не Лудовик XIV, а Генрих IV, которого какой-то посол гишпанский застал валяющимся по полу с детьми своими. Минуты сии, очевидно, затруднительны для царедворцев, ибо им надобно и помнить, и забывать, что перед ними их Государь, тут не менее надобно иметь ума или ловкости, нежели при отправлении важных обязанностей по службе.

(VIII, 167 — 169)

## 1838

Во время графа Тормасова<sup>20</sup> был здесь обер-полицмейстером генер.-майор Александр Сергеевич Шульгин. Прежде был он долго уланом при Цесаревиче Константине Павловиче. Человек без воспитания, хвастун, лжец, любил пить, гулять и не пренебрегал выгодами своего места, но проворен, умел обращаться с народом и говорить ему его языком. Целый день виден был белый его султан на улицах, он образовал щегольски пожарную команду, всякая часть имела лошадей особенной шерсти и видных собою, с особенными тоже тесьмами или [знаками?], повозки, лестницы, трубы и весь снаряд пожарный имели приятную для глаз единообразность. Покойный Государь Александр Павлович показывал оную сам прусскому королю на Девичьем Поле, где части проехали рысью, а потом во весь скок. Дом был зажжен и погашен в одну минуту. По сему образцу была устроена и Петербургская полицейская пожарная команда. Шульгин был подчиненный беспокойный. Я знаю, что он был причиною преждевременной кончины кроткого и доброго графа Тормасова. Он мне сказал один раз во время последней своей болезни: «Тяжко мне судиться, в мои лета, в моем чине, с кем? С человеком, каков Шульгин. Ежели Богу угодно будет, чтобы я выздоровел, съезжу в Петербург, пусть оставят здесь меня или Шульгина!» Больной скоро после того скончался, кажется, что помышляя уже о переводе Шульгина в Петербург, куда и был он перемещен, но Петербург не Москва. Великое дело служить под глазом самого Государя. Увидели, что такое Шульгин, и мог ли он заменить такого человека, каков был Горголи?<sup>21</sup> Ловкий, умелый,

благовоспитанный, просвещенный. Настало 14 декабря, и в этот несчастный день Шульгин нашел, как Наполеон, свое Ватерлоо. Он был не побежден, но просто — пьян! Возвращаясь в Москву, он начал проживать все, что имел, с актрисою Медведевою, купил ей дом, нажил с нею детей и, наконец, разорился вконец. Прекрасный его дом на Тверской был продан с публичного торга, дети законные остались без пропитания, дочь его старшая Александра, во всех отношениях достойная почтения, определилась в смотрительницы в Дом трудолюбия и содержит своих братьев и сестер. Недавно писала она мне и просила определить в Почтамт одного из ее братьев, что я ей и обещал. Сам Шульгин скитается здесь по улицам и в такой нищете, что приносит мне письма и просит переслать, не имея, чем заплатить за порт<sup>22</sup>. В нынешнюю Великую субботу Шульгин пришел в известный магазин купца Майкова-Доброхотова, прося дать ему 10 рублей, чтобы разговеться. Хозяина не было в лавке, сиделец предложил Шульгину стул, говоря, что Майков скоро возвратится, но Ш[ульгин] ушел искать счастья в другом месте. Майков был поражен положением человека, бывшего недавно обер-полицмейстером московским и доведенным до такой нищеты. Русское сердце закипело. Он побежал на биржу, где были его товарищи, представил им положение человека, который их любил и часто им покровительствовал, началась подписка, и в четверть часа собрали было вместо 10 — 6000 рублей, кои купечество ему при письме препроводило, уверяя, что ежели бы срок не был столь короток, и все дела ими к празднику кончены, они бы охотно и более пожертвовали. Конечно, Шульгин был доведен до своего положения собственною своею волею, но он не менее того жалок, и черта сия делает честь московским купцам и достойна иметь здесь место.

(IX, 30 — 32)

Ни в одном году охота к странствованиям не обладала так русскими умами, как в нынешнем. Газеты СПбургские и московские наполнены именами отъезжающих за границу. [...] Для выиграния времени и сокращения издержек все кинулись на пароходы, и в трех первых все места были взяты за месяц до отплытия их. Вдруг получено было у нас известие, что пароход *Николай I* в проезде своем из Кронштадта в Травемюнде сторел со всеми бывшими на нем пассажирами, числом до 140 человек. Можно себе представить всеобщий

воплъ и отчаяние нашей Москвы. Не всякому было известно, на котором именно пароходе его родственник или приятель отправился, но у всякого находился на море близкий к сердцу. Дурные известия, как бывает это обыкновенно, всегда долетают, а не доходят, неизвестно какими путями, скорыми и сокращенными. Все присылали ко мне спрашивать о подробностях несчастья, и не спаслись ли такой-то и такой-то. Как я ни уверял, что не имею еще никаких, ни официальных, ни партикулярных, ни газетных известий, все говорили: «Почт-директор скрывает правду. Видно, сведения, полученные, гибельны». Наконец, 12 мая получил я от товарища своего Ф. М. Прянишникова<sup>23</sup> подробности несчастья, постигшего пароход *Николай I*. Он на пути своем из Петербурга в Травемюнде в 12-м часу ночи на 19/31 мая, в миле расстояния от Трав[емюнде], близ Грос Клюц, загорелся. На пароходе было 132 пассажира и 33 человека экипажа. Вечером, около одиннадцати часов, когда дамы и дети разошлись уже по каютам, а мужчины оставались еще за ужином и за картами, раздался крик: «Судно горит!» Вскоре показались дым и искры близ камеры, где производится топка. Капитан, сохраняя присутствие духа, воспользовался еще действовавшею силою машины, чтобы бросить горящее судно на берег и тем спасти людей, и оно действительно было шагах в 100 от земли при Клюце. Ужас и замешательство завладели всеми, каждый искал спасения, иные бросались в воду, другие на шлюбку, к пароходу привязанную. Все, однако же, были спасены, за исключением пяти человек, а именно: г-н Головков, дворянский предводитель в Костромской губернии, служитель г-на Маркелова, г. Мейер, управляющий сахарным заводом г. Берда в СПбурге, и два человека из экипажа. Почтовые чемоданы и депеши трех курьеров не могли быть спасены. Все пассажиры прибыли в Травем[юнде] пешком, без обуви и без шляп, иные лишились всех своих денег и имущества. Пароход застрахован в Лондоне. Причина пожара еще неизвестна; полагают, что горючий газ образовался в сырых, перемешанных со льдом углях; другие утверждают, что пожар начался в самой машине. Всё должно полагать, что нерадение было причиною несчастья сего, которое возбудит, вероятно, отвращение к пароходным путешествиям, по крайней мере, на некоторое время. При сём выписываю имена русских и знакомых моих, на сём пароходе бывших:

Князь Петр Андр. Вяземский;

Княгиня Софья Алексеевна Шаховская, урожд. гр. Пушкина;

Ст[атский] сов[етник] Маркелов;  
Камергер Веревкин;  
Юрьевичева, жена флигель-адъютанта Семена Алек[санд-  
ровича];  
Действ[ительный] с[татский] с[оветник] Колошин;  
Об[ер]-егермейстер Дм. Васил. Васильчиков;  
Фл[игель]-адъютант князь Мих. Алекс. Урусов с женою;  
Г. Тютчев с женою;  
Камергер Ив. Фед. Похвиснев;  
Адъютант В[еликого] к[нязя] Мих. Павловича Шипов;  
Г-жа Шернвальд с дочерью и два ее сына, гвардии офи-  
церы;

Графиня Эмилия Карловна Пушкина, урожденная Шерн-  
вальд, жена графа Владимира Алексеевича.

Сия последняя непременно бы погибла, без молодого Шипова. Она бросилась в страхе своем на шлюбку, которая веревками привязана была (как это на всех кораблях водится) к пароходу, думая тем спастись от огня. Многие последовали ее примеру и хотели, отрезав веревки, спастись на шлюбке сей. Тщетно Шипов представлял графине, что берег уже близок, что опасности нет сгореть, но что шлюбка от тяжести насевших в нее людей провалится в море, или веревки оборвутся, за кои она привязана, и тогда все они неминуемо утонут. Графиня отвечала в исступлении: «Я на смерть согласна, но я предпочитаю утонуть, нежели сгореть живою!» Видя, что все просьбы его тщетны и что графиня, обняв робенка своего, готовилась утонуть, он вдруг схватил ее за руку и силою выгтащил ее из шлюбки, которая в ту же минуту провалилась в море, и тут нашли смерть те пять особ, кои одни только и погибли от своего упрямства. Добрый и сострадательный наш Вяземский, так прекрасно описавший пожар Зимнего дворца в маленькой французской брошюрке<sup>24</sup>, полетел тотчас с Маркеловым в Берлин, дабы быть у Государя заступником и ходатаем товарищей своего несчастья, но Государь не ждет никогда, чтобы его просили о несчастных, когда он знает, что есть такие! Государь, как скоро узнал только о несчастии, постигшем пароход *Николай*, отправил тотчас из Берлина в Травемюнде своего фл[игель]-адъютанта графа Васильчикова, снабдив его 12/т. червонных для оказания всех возможных пособий погоревшим.

(IX, 42 — 46)

20-го числа сего июня происходила в Москве странная церемония. Известно всем, что для увековечения подвигов

1812 года и спасения России от нашествия галлов с двадцати народами покойный Государь Александр Павлович положил выстроить храм во имя Христа Спасителя. Храм сей был действительно Его Величеством лично заложен в 1817-м году на Воробьевых горах. Огромнейший план, составленный молодым простым рисовальщиком Александром Витберхом, не производившим никогда никакого построения, был тогда же признан невозможным к исполнению, но Государь пленился и планом и сочинителем его, коему почти безотчетно вверил сооружение храма сего. Воробьевская гора была почти вся перекопана для фундаментов, ибо храм должен был иметь более 300 сажень ширины в фасаде; все окрестности и Москва-река были завалены лесом и материалами, казна купила 8000 душ с деревнями, крестьяне сии должны были превратиться в плотников и мастеровых для произведения работ; с образа, представляющего *Вечер тайный* Леонарда Винчи, заказана была в Италии копия, имеющая 12 сажень длины, и послан задаток, одним словом все, что относилось к сему храму, имело нечто баснословного: семь огромных колоколов в несколько тысяч пуд всякий должны были вместе составить полный аккорд для благовеста в большие праздники, купол должен был иметь несколько сажень в поперечнике более, нежели купол св. Петра в Риме. Витберх утверждал, что видел план сей готовый во сне, и что он, проснувшись, тотчас поспешил передать его на бумагу. Он был лютеранского исповедания и перешел в нашу веру, желая иметь восприемником Государя и принять имя Александра, на что Государь изволил согласиться. Много в то время подносили планов Императору; Витберх, составя свой, повез оный в Петербург и представил его князю Александру Николаевичу Голицыну. Князь сам мне рассказывал, что план ему понравился, и что Витберх весьма увлекательно и мистически толковал все подробности, но когда князь сказал ему: «Очень хорошо, оставьте мне план ваш, я завтра же покажу его Государю и дам вам ответ», то Витберх отвечал: «Нет! План этот — мое сокровище, и я никогда не соглашусь с ним расстаться ни на одну минуту, я желаю иметь счастье показать его сам Государю». — Князя удивил ответ сей, и когда он доложил Государю, то ответ Витберха возбудил любопытство Его Вел[ичес]тва. Государь потребовал к себе Витберха в Царское Село и, как сказано выше, пленился и планом, и прожектером, — Государь возложил на него построение храма. Витберх

представлял, что он не архитектор и не может взяться за то, что не умеет. Государь отвечал: «Тебе Бог внушил план этот, Бог даст тебе ум его выполнить, я приеду в Москву на закладку». Так и сделалось. Наряжена комиссия, в коей заседали главнокомандующие в Москве, митрополит и другие члены, но Витберх действовал самоуправно, ссорясь со всеми, и одерживал всегда верх. Когда Государь Александр Павлович скончался, рвение к исполинскому сему зданию охладилось, стали открывать бесчисленные злоупотребления. Витберх хотел удалиться, просился в чужие края (в городе говорили, что он хотел бежать с награбленными им деньгами), но вместо этого нарядили комиссию для проверки расходов. Наконец, все имущество Витберха взято под секвестр и он сам сослан был в Вятку<sup>25</sup>. К сожалению, вместе с ним пострадали все, бывшие в Комиссии о построении сего второго храма Соломонова, а все виноваты быть не могли. Дело сие по сие время не приведено еще в ясность, а, между тем, на Воробьевых горах, кроме положенного Государем покойным *камня*, ничего еще нет, а истрачено **20 миллионов!** Прошло 20 лет, обнаженная гора представляла молодые, не дошедшие даже до века, развалины. Исполнение плана Витберха признано невозможным, но Государь Н[иколай] П[авлович], желая выполнить обет покойного своего брата, избрал другое место, в середине города, там, где был до [того] Алексеевский монастырь, который переведен к Сокольникам у Тихвинской Божией матери. В 10 часов утра священники и церковнослужители Замоскворецкого и Пречистенского Сороков собрались к Троицкой церкви, что на Воробьевых горах. Прибыли московские власти, градоначальник и члены Комиссии построения. Литургию совершал Филарет.

Крестный ход, какой только можно видеть в Москве — за хоругвями и образами, с колокольным звоном, при пении тропаря: «Спаси, Господи, люди твоя» — начал шествие от Воробьевых гор к новому месту заложения. В ходу сём находилось многочисленное духовенство, диаконы, священники, архимандриты в богатом облачении, за ними митрополит, князь Дм. Вл. Голицын, власти московские и пр., — через Пречистенку и Троицкие ворота в Кремль. Бесчисленное множество народа сопровождало ход сей, который ото всех церквей по дороге приветствован был колокольным звоном, а перед Успенским собором встречен соборным



духовенством. Собору сему переданы на сохранение вынутые на Воробьевых горах первый камень, положенный там покойным Государем, крест и прочие памятники. Первый нес на блюде протоиерей, а вещи положены были в два нарочно для сего приготовленные ларца. Все сие положено будет в свое место, когда последует закладка храма на новом месте.

Церемония сия дала повод ко многим толкам и имела какое-то печальное влияние на народ московский; не знали даже, как оную назвать и, наконец, назвали перезакладкою Храма Спасителя. «Видно, — толковали мужики, — Богу не угодна жертва покойного Государя». «Видно, — повторяли другие, — заложение храма преобразовалось в столпотворение». «И этот храм, — твердили третьи, — не совершится, зачем не избрали другого места? Зачем строить хотят на месте разрушенного монастыря? Тот храм задумал эретик не нашего исповедания, и этот план делал агличанин»\* и пр. Следовало уничтожить все сии сомнения в народе, и это было исполнено весьма удачно преосвященным Филаретом. По совершении им литургии на Воробьевых горах, перед пением молебна, митрополит, вышед из алтаря с посохом в руках, в ходе беседы объяснил причину и смысл настоящего торжества. Обстоятельства были довольно щекотливы, деликатны, он с большим умом, красноречием произнес речь свою, основывая все доказательства свои на Священном писании. Он рассеял сомнения, кои невольно возникали в народе по поводу перенесения, и поставил на пример Скинию, которая воздвигнута была не на месте видения Иаковлева, и самый Иерусалимский храм, основанный Соломоном, по мысли Давидовой, не в тех местах, где находилась Скиния. На счет же неблагословения Богом места, благословенным Александром избранного, он сказал: «Не суть путие мои, яко же путие ваши. Да смирится велика высота человека, и да вознесется Господь един!» Далее Филарет говорил: «Давид Царь, по сердцу Божию предпринял создать храм: но исполнить предприятие сие суждено было сыну и преемнику его Соломону. Не дивно, если и ныне, чем важнее храмосоздательное предприятие, тем более является владычество Божиих судеб над человеческими начинаниями. И по сему-то мы не со скорбию или смуще-

---

\* Архитектор Тон. (Примеч. А. Я. Булгакова.)

нием идем снять основание несозданного еще храма, но с молитвою и упованием веры и с священной торжественностью, с какою оное было положено. Освященные руки поднимут то, что положено было освященными руками» и пр. [...] Новое место весьма хорошо избрано, оно высоко, на Москве-реке, в середине города, у самого Каменного моста, и будет соответствовать Кремлю. Жаль только, что надобно было ломать церковь, давно уже существующую (Алексеевский монастырь) и переносить ее в другое место. Сказывают, что много было представлено Государю проектов для нового храма, но Государь их отвергал, повторяя: «Я хочу церковь пятиглавную, я люблю древнюю церковную архитектуру».

(IX, 49 — 53)

## 1839

В Москве нет иных разговоров, как о Тришке. Это предводитель шайки разбойников, коему приписывают поступки и деяния то самые варварские, то самые великодушные, то он Пугачев, то разбойник Шиллера. Он грабит только богатых, у посредственно богатых отбирает он только половину, а с бедными делит добычу свою; сегодня он в Смоленске является к военному губернатору князю Трубецкому, коим оценена его голова; он требует содействия его [губернатора], чтобы поймать непременно Тришку, уверяя, что он из одной с ним деревни; замечая, что в объявлении князем нет примет Тришки, без коих никто его отыскать не может, давая приметы сии князю, он делает собственное свое описание и скрывается, обещав возвратиться на другой день, но вместо него является записка, извещающая князя Трубецкого, что он накануне разговаривал с Тришкою. — Через несколько дней разносится слух, что Тришка пробегает с шайкою своею, состоящею из 300 человек, Орловскую губернию — а там рассказывают, что Тришка пойман на границе Киевской губернии. Тришка этот, как уверяют, кучер князя Паскевича, отданный за пьянство в солдаты и бежавший еще рекрутом, а очень быть может, что все эти рассказы не что иное как басни и что Тришка вовсе не существует. Но, между тем, слухи, будто Тришка в Москве, так всех напугали, что наши дамы не смеют вечером ездить со двора. На той неделе носился слух даже в Петербурге, что Тришка там и укрывается в нищенских рубищах, в то же время говорили, что Государь вдруг ночью отправился в Москву. Это дало

Его Величеству повод, на вопрос Императрицы: «Что нового в городе?», отвечать шутя: *«А! В городе две большие новости, я в Москве, а Тришка в Петербурге; неизвестно только, он ли за мной гоняется, или я от него бегу!»* Теперь делают то, что всегда бывает в подобных случаях, т. е. что Тришке приписывают все разбойнические происшествия, случившиеся за 50 лет с Картушами, Ринальдинами, Фрадиаволами и пр. и пр.

(IX, 104 — 105)

Видавшие [Зимний] дворец по возобновлении его<sup>26</sup> не могут надивиться великолепием его. Все сие частью описано в № 73 от 5 апреля Сев. пчелы. Над самым Государевым кабинетом (угловая комната на Неву и Адмиралтейство) устроен телеграф, посредством коего переговариваться можно с Варшавою. По окончании всех духовных обрядов и военных церемоний в четыре часа утра ложились спать. Государь продиктовал депешу в Варшаву, что в самый день Пасхи церковь и дворец были возобновлены, что в оных происходила заутреня, что вся царская фамилия здорова и что известия сии имеют быть сообщены немедленно Его Вел[ичес]тву королю прусскому в Берлин. — Государя разбудили в 40 минут 7-го часа, чтобы ему доложить, что ответ из Варшавы получен, и приказание Его Вел[ичес]тва исполнено. Это значит, что пространство 2500 верст было пробегнуто в 2 часа и 40 минут. «Это значит, — говорит Загоскин<sup>27</sup>, — что, ежели поляки вздумают пошалить в 12 часов в Варшаве, то два часа спустя из Петербурга будет уже отправлена к ним Николаем I *плюха!*»

Во время пребывания Государя Цесаревича в Риме в русскую масленицу все находившиеся в Риме русские собрались к Его Высочеству в русских одеяниях, иные в красных рубашках, и поднесли ему испеченные русские блины при следующих стихах, сочиненных Жуковским:

Прими, России верный сын,  
От Русских в Риме Русский блин  
И скушай на здоровье!  
Счастливый путь Тебе, от нас одно условие:  
Гуляй, любуйся всем и всюду веселись,  
Но только лишь опять не простудись.  
И много лет Тебе с Царем и Царским домом!  
И будь во всем удача вам!

А царства Русского врагам  
Будь все наперекор, будь каждый блин им комом.

*Рим, 1839 года  
Генваря 30 дня*

Тришко-воришко, столько наделавший шуму с шайкою своею и подавший повод к столь разным и нелепым рассказам, наконец, схвачен в окружностях Смоленска. Он, говорят, человек довольно незначущий, но истинными разбойниками и путеводителями его были два его брата. Тришка был семь лет назад сослан в Сибирь, откуда бежал и с тех пор проживал в разных местах с фальшивыми паспортами, а, наконец, набрал себе шайку, с коею грабил по дорогам.

В Петербурге скончалась в мае месяце 2-го числа Елизавета Михайловна Хитрова<sup>28</sup>. Она была одна из дочерей покойного фельдмаршала князя М. И. Кутузова-Смоленского. Она была два раза замужем: первый ее муж граф Тизенгаузен был убит под Аустерлицом, потом вышла она замуж за Ник. Мих. Хитровым, который умер посланником нашим во Флоренции. Ел[изавета] Мих[айловна] по многим отношениям имела некоторую знаменитость в Петербурге и вес, как при дворе, так и в обществах. Старшая ее дочь вышла в Италии замуж за графа Фикельмона, теперешнего австрийского посла при Высочайшем нашем дворе, другая ее дочь, графиня Екатерина Тизенгаузен, — одна из любимых фрейлин Императрицы и обыкновенно сопровождает всюду Ее Импер[аторское] Вел[ичес]тво, как в столице, так и во всех ее путешествиях. Хитрова была образованна, умна и весьма любезна. Можно было упрекать ее в чувствах слишком романтических, в чрезмерном предпочтении общества мужчин и особенно молодых, в одеянии, привычному девице 20 лет, а не женщине 59 [56-ти. — С. III.] лет (она всегда являлась простоволосая и с голыми плечами, кои сохранили свою красоту и белизну до самой ее кончины), но все сии недостатки или слабости не были вредны ни для кого: всякий должен их извинить в женщине, которая была одарена добрейшим сердцем и чувствительнейшею душою. Мы живем в веке, в коем несчастные не находят поддержки в ближних своих родных, а Елизавета Михайловна всегда была готова на услуги первому незнакомому, который к ней прибегал. Она готова была всегда ездить просить, хлопотать, кланяться министрам, генералам, начальникам, родителям за тяжущихся,

влюбленных, за подпавших под гнев или наказания, — одним словом, всякой несчастный, не быв даже с нею знаком, находил у нее защиту или утешение, и по связям своим она могла оказывать большие услуги всякому. Обхождение ее было самое приятное и вольное, и знакомство с нею делалось в одну минуту. После первого моего свидания мне казалось, что я знаю ее давно. [...] Хитрова была на бале у княгини Юсуповой, едучи домой лошади прозябли и горячились, она испугалась, чтобы не стали бить, вышла из кареты и пошла домой пешком. Была в тоненьких бальных башмачках и легко одета или, по обыкновению своему, более раздета, нежели одета, простудилась и тотчас занемогла воспалительною горячкою, от которой скоро скончалась. Добрая наша Императрица хотела доставить больной некоторое утешение; но когда Ее Вел[ичес]тво к ней приехала, она была уже мертва. Видя отчаяние дочери ее, графини Т[изенгаузен], Императрица хотела ее увезти с собою, но она, в отчаянии своем, объявила, что никакая сила, ни власть не отторгнут ее от матери, покуда тело ее еще на земле. Сам Государь явился после с Августейшею своею супругою поклониться телу покойной и изволил передать графине Т[изенгаузен] пенсию в 20/т. руб. в год, которую получала Ел[изавета] Мих[айловна] также после покойного отца своего. Когда человек умирает, мы забываем его недостатки, а помним только хорошие его качества, и весь Петербург сожалеет о кончине доброй Е. М. Хитровой.

Российская армия, общество и литература сделали еще чувствительную потерю в генерал-лейтенанте Денисе Васильевиче Давыдове. Он был храбрый воин и мастерски описывал военные происшествия, в коих участвовал, украшая оные другими, весьма любопытными анекдотами. Во многих журналах наших были напечатаны отрывки Дениса Вас[ильевича], наполненные островами и занимательности. Когда возгорелась Отечественная война 1812 года, Д[енис] В[асильевич] был адъютантом князя П. И. Багратиона, коему дал он мысль учредить в армии нашей партизанов; успехи Д[ениса] В[асильевича] были столь блистательны, что родили в других желание последовать примеру его. Всем известны подвиги наших славных партизанов: Сеславина, Фигнера, князя Кудашева, графа Чернышева, Кайсарова и других, тревоживших беспрестанно французскую армию, перехватывавших их курьеров, обозы, продовольствие. В августе месяце

предполагается сбор 150/т. войска и открытие памятника под Бородиным. Государю угодно, чтобы тут положены были останки покойного князя Багратиона, смертельно раненного в Бородинском сражении. Воля Государева была, чтобы на Давыдова возложено было привезти туда тело покойного князя. Давыдов отправился для исполнения воли Государевой, но воля Всевышнего была, чтобы герой последовал за героем, ученик за учителем, в вечность. Давыдов скончался скоропостижно в Симбирской своей деревне. Он женат был на девице Чирковой и оставил 8 человек детей. Д[енис] В[асильевич] был очень словоохотлив, разговор его представлял остроты и ума. На французском языке был он любезен как француз, но русская любезность его имела еще более приятности. О чем бы ни заговорили, Денис Васильевич имел всегда запас анекдотов, тем более любопытных, что они были, по большей части, исторические и достоверные, он сам был в них действующим лицом, или слышал от лиц, кои в оных участвовали. Его весело было послушать. Я не забуду никогда признание, сделанное им при мне покойному графу Фед. Вас. Ростопчину, коего ум был совершенно в роде Дениса Васильевича. Граф ему выговаривал, что он редко у него бывает, и не принимал его извинений, ни оправданий, и сказал ему, наконец: «Д[енис] В[асильевич], тут что-нибудь, да не так, как мне верить, что вы меня любите? Вот Булгаков меня любит так любит, — он всякий день со мною, ну скажите правду!» Давыдов засмеялся, граф настоял, Давыдов кашлянул (он имел эту привычку) и сказал: «Так быть же так: вы на меня не рассердитесь?» — «Слово даю, что нет, и почту вашу откровенность знаком дружбы ко мне, говорите». — «Так скажу же вам, граф, всю правду: я вас люблю, уважаю, вы мастерски рассказываете, вы не человек, а соловей... но вас надобно всё слушать... а я сам смертельный охотник говорить и рассказывать!» Граф расхохотался, и мы все трое начали взапуски смеяться. Это было в 1814 году. Граф Ростопчин дал полную сатисфакцию Давыдову, он завел речь о военных происшествиях 12-го и 13-го годов, [граф] слушал внимательно, и Давыдов более двух часов, не переставая, рассказывал самые любопытные анекдоты о действиях наших, о русских и французских генералах и о разных тайных пружинах, по-видимому ничтожных, но кои великое имели влияние на события того времени. Ежели бы я тогда занимался уже составлением записок сих, то мог бы передать

бумаге много любопытного. Говорят, что Давыдов оставил записки собственноручные. Это назвать можно не записками, а *сокровищем*<sup>29</sup>. Давыдов был отличный стихотворец в своем роде, стихи его имели отпечаток острого, полупьяного гусара-удальца. Он любил погулять, попить и подраться. Он был мал ростом, имел черные, умные глаза, носик, кверху вздернутый, волосы его были черны, как уголь, а на самой середине головы, где лоб начинается, торчал клочок волос совершенно седых. Лицо его имело какое-то насмешливое выражение, но вместе и приятное, особливо когда смеялся. Трубку не оставлял он ни на минуту, уверяя, что без нее он был бы совершенный дурак, оттого мало бывал в обществах, а навещал только самых близких друзей и приятелей. В последние годы жизни своей был он несколько скуп, занимался очень хозяйством, повторяя: «Слава Богу, что мы нигде не деремся!» — «А Кавказ?» — сказал я ему один раз. — «Не говори мне о Кавказе. Это болячка моя, куда бы хорошо променять мне свой 4[-й] Георгий на 3-ий!!» Он был большой обожатель Наполеона. В первом томе *100 Русских литераторов* есть статья Давыдова *Тильзит*, в коей рассказывает он, как увидел в первый раз Наполеона<sup>30</sup>. Я уверен, что ежели Давыдов чувствовал приближение смерти своей, он не раз сам себе говорил: «Зачем не был я убит в Прейсиш-Ейлау, Бородине, Лейбциге?!» (IX, 111 — 117)

Оренбургскому военному губернатору генер.-адъютанту Перовскому (Васил. Алексеевич) препоручается Государем весьма важная экспедиция в Хиву. Он приезжал сюда в начале октября и посылал через меня к Государю начертания свои и предложения, требовавшие Высочайшего утверждения. Как все сие предпринимается со всевозможною тайною, дабы не возбудить внимание европейских держав и, особенно, Англии, и [потому], что невозможно было в столь большом расстоянии столицы от Оренбурга все устроить, Перовский прибыл в Москву для удобнейшей и скорейшей переписки с графом Несельродом<sup>31</sup> и военным министром, но ему было прислано предписание ехать немедленно в место пребывания Государя Императора. Перовский пробыл в Царском Селе трое суток и получил лично от Государя все наставления. Экспедиция, ему препоручаемая, важна во всех отношениях, в военном и политическом, а равно и по части наук и естественной истории; он

будет сопровождаем многими учеными: минералогами, ботаниками. Хан Хивы нам неприятен, он делает набеги на нас, берет особенно в плен наших рыбных промышленников в Каспийском море, кои претерпевают у него мучения, подобные неграм у агличан и гишпанцов. Трудности, кои предстоят Перовскому, нельзя исчислить, поход его будет истинно баснословный. Он должен все придумывать, все брать с собою, хлеб, воду; ему надобно будет пробираться степями, пустынями, между Каспийским и Аральским морями, везде прокладывать себе дорогу. Все это возможно и понятно, когда странствует один человек с несколькими проводниками, так делается это на Этне, на Монблане и [в] других опасных путешествиях, но здесь Перовский не один: у него большая свита, 5000 войска, 10/т. верблюдов, более 15/т. лошадей, его ожидают зной, ветры, метели, холод. Он 6 месяцев будет отрезан от целого мира, без сообщений, от отечества, без всякой помощи. Когда я его спросил, когда ожидать известий от него? — он мне отвечал: «Я отправляюсь 15 ноября<sup>32</sup>, вы узнаете одно из двух: или что экспедиция удалась, или что я погиб!» Надобно великую решимость и постоянство, чтобы взять на себя таковое предприятие. Я сказал ему, обнимая его в последний раз при прощании нашем: «Je compte sur votre patriotisme, votre attachement a l'Empereur, votre caractère ferme et persévérant, et sur l'attachement illimité que vous faites tous ceux qui vous accompagnent, sur la confiance que vous saurez leur inspirer. Votre étoile heureuse fera le reste». Он, пожав мне крепко руку, отвечал: «Oui! Il faut du bonheur, de bonheur avant tout, car l'entreprise est aventureuse. Et il faut que j'oublie que les deux testateurs que la Russie [affecte?] dans la même but ont complètement échoué!»\*

Перовский отправился отсюда 14 числа ок[тября]. Я посылал за ним вслед в Оренбург множество ящиков, доставленных мне из Петербурга с печью походными и другими разными снарядами, припасами и инструментами. Нет сом-

---

\* «Я полагаюсь на ваш патриотизм, вашу преданность Государю, ваш прямой и твердый характер, безграничную преданность, которую вы внушили всем, кто вас сопровождает на доверие, которое вы сумеете им внушить. — Ваша счастливая звезда довершит остальное». ... «Да! Нужна удача прежде всего, ибо предприятие рискованно. Мне нужно забыть, что двое моих предшественников, которым Россия [поручила?] достичь той же цели, потерпели полную неудачу!» (фр.)



нения, что благополучное совершение экспедиции сей наведет великий страх на агличан, ибо докажет им возможность потрясти владычество их в Индии. Для нас будет это почти половина дороги, и дороги самой трудной. Великая Бухария и прочие земли на дороге населены, и не представится уже тех трудностей. Перовского намерение воротиться из Хивы другою дорогою, восточным берегом Аральского моря, Малою Киргизскою ордою и т. д. Покорение Индии, которое, впрочем, и не имеем мы и в виду, по моему мнению, невозможно. Этот отдаленный мир может только Англии одной принадлежать, не нужно это доказывать, но покорение Хивы, или, лучше сказать, низложение теперешнего хана, нам неприязненного, и замещение его другим, которого Перовский имеет уже в виду, даст России огромнейший перевес в крае сём и заставит Англию быть в беспрестанном опасении; она перестанет восставать против нас в Европе, когда сама будет в страхе в Азии.

(IX, 187 — 189)

Я получил Перовского письмо; в 300 верстах от Оренбурга на походе его, [он] жалуется на ужасную стужу, у них там 30 градусов мороза, но он прибавляет: «Покорность, терпение и добрая воля, показываемая отрядом моим, не могут быть куплены никакими деньгами в мире, надобно быть русским для этого, все переносится без ропота, даже с веселостию». Впрочем, Перовским исполнено все то, что самая нежнейшая попечительность о солдате придумать может, солдаты сыты, весьма тепло одеты, им даются частые привалы и порции водки и сбитня<sup>33</sup>. Сам Перовский жалуется на лихорадку и на глазную боль, ему на походе приставлены пиявки к глазам. Для успеха экспедиции столь многотрудной непременно нужно здоровье его, ибо им все должно двигаться и достигать успеха. Мы условились с ним пользоваться всеми возможными средствами для переписки друг с другом.

(IX, 194 — 195)

1840

[Апрель]

Я получил письмо от генер.-адъютанта Перовского через полковника Григор. Ив. Данилевского, коего он посылает в Петербург для разных личных объяснений касательно состоя-

ния отряда, шедшего в Хиву, и который, по разным непреодолимым препятствиям, должен был вернуться обратно. Ужасные метели, глубокие снега и стужа, простиравшаяся до 34 градусов, погубили в короткое время 11/тысяч верблюдов, невозможно было идти вперед, несмотря на усердие и готовность войск и самого предводителя.

(IX, 201)

В конце июня прибыл в Москву генер.-адъютант Перовский, в проезд свой в Петербург, куда едет он донести лично о всех подробностях Хивинской своей экспедиции и для совещания на счет нового похода в Хиву. Мы виделись всякой день. Он пробыл здесь шесть дней, и рассказы его походят на нечто баснословного. Поход сей, хотя и не был увенчан успехом, доказал твердость Перовского, усердие его, предусмотрительность, ум и попечение о вверенном ему отряде. Передать все его рассказы было бы написать целую книгу, и книгу весьма любопытную. Каких недостатков, трудностей, опасностей и несчастий не приходилось переносить маленькому сему отряду!<sup>34</sup> При всех своих нуждах и несчастиях он шел не только безропотно, но с веселым духом. Неповиновение оказалось, наконец, токмо между киргизцами, коих почитать можно было душою экспедиции, ибо они были путеводителями, им принадлежали верблюды, коими они одни умеют управлять, они их нагружали и выгружали всякой день. Киргизцы объявили, что не хотят идти вперед. Перовский собрал их и объявил им, со своей стороны, что воля Государева должна быть исполнена и что, ежели они не будут повиноваться, он вынужден будет принять меры жестокие, чтобы их к тому понудить, что они не могут отказываться от опасностей, кои он сам, яко начальник главный, с ними разделяет. — Все было тщетно, увещания и угрозы, киргизцы отвечали, что такого холода никогда не бывало, что верблюды мрут во множестве, и что они сами далее не пойдут, и когда Перовский им объявил, что он неповиющихся велит расстрелять, то они отвечали: «Мы согласны лучше умереть теперь и готовы на все». Перовский почувствовал важность своего положения. Без верблюдов нельзя было ничего предпринимать, неповиновение азиатцев могло заразить и наше войско. Он велел выступить капралу и шести солдатам, взять последнего киргизца, с ним говорившего, и тут же, при себе, расстрелять. «Ну, што, поедете ли вы теперь?» — спросил он у остальных. —

«Нет», — отвечали они. — «Ну, так расстреляйте и этого говоруна». Приказание было немедленно исполнено. Он опять спросил: «Идете ли вы?» Опять тот же был ответ: «Не пойдем!» — «Так расстреляйте этого еще». Пять раз был сделан тот же вопрос и пять раз повторялся тот же ответ<sup>35</sup>. Когда Перовский спросил в шестой раз: «Хотите ли повиноваться мне и идти?» — все закричали: «Идем!» Перовский говорил мне, что после сей жестокой, но необходимой меры, он не имел в отряде своем людей, усерднее исполнявших волю его, и когда, шесть дней позже, убедясь в невозможности продолжать поход, он остановился и приказал готовиться к обратному пути, то те же самые киргизцы убеждали его попытаться счастья и идти далее, но он им отвечал: «Вы видите, глупцы, что я ни вашей, ни своей гибели не хотел, но присяга Государю обязывала нас делать все, что было в силах наших, вы будете отвечать Богу за смерть ваших шести товарищей». Перовский говорил мне, что, ежели бы он шестью днями позже начал свое отступление и он, и весь отряд неминуемо бы погибли. Слушая рассказы его, нельзя не удивляться, что маленькое, незначущее ханство может сопротивляться могущественнейшему в мире государству. Вот что значит топографическое положение клочка земли! Хива неприступна.

(IX, 207 — 209)

Известный наш поэт, а мой старый и добрый приятель Вас. Андр. Жуковский женится. Сию неожиданную и странную весть сообщают мне Вяземский и Мих. Виельгорский, яко сомнению не подлежащую. Сколько раз Жуковский говорил мне: «Нет! брат, не останусь я при дворе. Как только устроится судьба моего Августейшего питомца (Вел. князя Наследника), отретируюсь в деревню и буду себе покойно жить». Не то вышло: и Жуковский, избегая хлопот придворной жизни, обременяет себя заботами еще более, может быть, ответственными. Ему скорее более, нежели менее 60 лет. Конечно, и в эти лета можно прибегать к брачным узам, но в таком случае должно это быть, что французы называют *marriage de raison*\*. Почему бы доброму, чувствительному, кроткому человеку, каков Жуковский, не иметь верной подруги в старости, — но он жёнится по любви, берет молодую девушку (имя ее M-lle Reitem), прекрасную собою и 18[-ти] лет<sup>36</sup>. Любя ее, он скорее будет удовлетворять ее прихоти, нежели она его. Она через

---

\* брак по расчету (фр.).

10 лет будет во всем своем цвете, а он будет совершенный старик. Трудно под старость переменять свои привычки, образ жизни. Ежели она честолюбива, любит удовольствия, двор вскружит ей голову, и Жуковскому придется на балах спать где-нибудь в креслах, пережидая окончания бесконечной мазурки или котиллона! Дай Бог, чтобы не так было! Конечно, сделал он выбор хороший, следуя внушениям своего доброго сердца. Кто знает? Может быть, найдет он в союзе сём свое счастье, чего желать должны все, его знающие. Справедливо пишет мне Мих. Виельгорский: «Il n'y a rien à faire, c'est un fait accompli: il faut s'y soumettre et s'obstiner devant votre ami comme de remontrance inutile»\*.

(IX, 219 – 220)

## 1841

С большим удовольствием обнял я приехавшего сюда на сих днях Жуковского. Он поживет здесь несколько времени со своими, а потом отправится через Петербург в Дюссельдорф, где имеет пребывание его возлюбленная невеста M-lle Reitem. Я, кажется, уже говорил в свое время о женитьбе. Поздненько за это взялся добрый Жуковский. Ему не менее 60 лет, а невесте 18, но он еще молод и телом и душою. Ужасно влюблен. Мне нет отбоя в дни, когда ожидаем иностранную почту, беспрестанные присылки<sup>37</sup>. В четверг не было к нему письма; чтобы его рассеять и насмешить, я написал ему: что писем нет к нему, но что это не должно его беспокоить, даже ежели не будет писем и впредь, ибо есть новое постановление по всей Германии, что невестам запрещается писать по почте своим женихам, когда сии за границей. Какое было мое удивление видеть из ответа Жуковского, что он не хотел понимать шутки моей, а отвечал: «Вить ты большой балагур, у тебя не узнаешь правды, что ты пишешь мне за вздор? Неужели подлинно существует запрещение, о коем ты пишешь мне? Уведомь!» Вот как любовь, страсть отуманивает умнейших людей. Я видел у Жуковского портрет его невесты: белая, белокурая, прекрасная немочка, и портрет сей есть, по-моему, совершенство живописи. Писан масляными красками в натуральную величину. Жуковский дал мне вести о Вяземском, который в большом огорчении. Он имел несчастье потерять еще дочь Nadine, она скончалась в Баден-Бадене, и княгиня Вер[а] Фед[оровна] возила ее хоронить

---

\* «Тут делать нечего, это совершившийся факт, ему нужно подчиниться и перестать быть перед вашим другом немым укором» (фр.).

в Мюнхен. По получении горестной сей вести Вяземский переехал жить к Жуковскому.

(IX, 254 – 255)

## 1843

Давно ожидаемый в Россию славный тенор Giovanni [Giovanni. – С. III.] Rubini прибыл, наконец, в феврале месяце в СПбург, быв долго задержан в Берлине. Он будет также в Москву, а потому не стану говорить о пенье его, покуда не услышу его сам, собственными моими ушами. [...]

Теперь скажу покуда, что Рубини давал первый свой концерт в Петербурге ...-го [число пропущено. – С. III.] марта в зале Благородного собрания. Он умело рассчитал, назначив цены умеренные, т. е. 15 руб. в зале и 10 руб. на хорах, ибо всё полезло его слушать. Внизу находилось 2122 человека, а вверху 442. Следовательно, весь сбор составил 36 250 руб. ассигн.

Вот любопытное расчисление, сделанное *Северною пчелою*. В концерте сём Рубини пел пять раз:

1-ая ария Паччини продолжалась .....	11 минут.
2 – дуэт из <i>Donna del lago</i> .....	8 –
3. Трио из <i>Вильгельма Телля</i> .....	5 –
4. Ария из <i>Мар&lt;ино&gt; Фал&lt;ьеро&gt;</i> Донизетти .....	10 –
5. Квартет из <i>Пуритан</i> .....	12 –

Следовательно, собственно пенье Рубини продолжалось 46 минут, и выходит, что он за всякую минуту пения получил по 788 руб. ассигнациями.

После восторженных рукоплесканий, возбужденных ариею Донизетти, Рубини, в знак благодарности, повторил последнюю ее половину, что продолжалось четыре минуты: таким образом, громкие «браво» обошлись ему в 3152 руб. ассигн. Беденький!!

Дело непостижимое! За одну минуту пенья 788 рублей! тогда как есть отцы семейства, которые 365 дней работают с утра до вечера, как каторжники, и не имеют 788 руб. жалованья! На что ум на сём свете? Уж Ж.-Ж.Руссо был, верно, умный человек, а он занимался переписыванием нот,

чтобы иметь чем жить, тогда как Рубини, коему прекрасный голос нимало не мешает быть дураком набитым, ежели бы хотел, Рубини имеет, как оказывается, полтора миллиона франков капитала в одном Лондонском банке\*. Не стану разбирать, что нужно для счастья человеческого, но для приобретения денег, богатства, надобно иметь голос Рубини или Каталани, ноги Таллиони или Ельслер, пальцы Листа или Паганини. Возьмите достояние первых европейских умниц: Метерниха, Пиля, Гизо, с одной стороны, а с другой стороны, соедините фортуны артистов, фигляр, коих выше называю, где будет перевес? [...] Рубини оставляет поприще свое, сохраняя все свои телесные силы: всю жизнь свою пел и умрет *припеваючи*... Такова ли участь министров, которые преждевременно теряют зрение, слух, здоровье и даже жизнь от чрезвычайных усилий и трудов. [...] Рубини должен дать три концерта в Петербурге, а потом будет в Москву. Он хотел выехать уже 16 числа, но, узнавши, что 20-го будет на Большом театре концерт в пользу инвалид[ов], хитрый италиянец спросил, позволено ли ему будет петь на сём концерте, разумеется, без малейшей платы. Государь велел Рубини объявить Высочайшее свое благоволение, а вместе с тем, пожаловал ему перстень в 8/т. рублей. [...]

Наконец слышал и я славного Рубини! Он давал сегодня свой первый концерт в большой зале Благородного собрания. [...] Съезд в концерт начался с пяти часов. Желая иметь хорошее место, и я был там уже в половине седьмого часа, но нашел уже четыре ряда кресел занятыми. Надобно было отказаться от сиденья, но, по праву старшины Собрания, я стал у решетки, так что Рубини был у меня в расстоянии не более двух сажень, и я мог весьма хорошо его наблюдать. Я говорил с князем Гагариным, как вдруг громкие рукоплескания возвестили появление знаменитого певца. Я прежде не только не слышал его, но никогда не видал. Он к сим появлениям перед многочисленною публикою привык, а потому уверен я, что он совершенно покоен, тогда как во мне происходило ужасное волнение. Я готовился слушать чудо, о коем столь много писали и пишут беспрестанно лондон-

---

\* Говорят, что вся fortuna его не может быть оценена менее 3 миллионов с половиною. В Милане Рубини скупил дома целой почти улицы, ибо все они чрезмерно доходны. Он не имеет детей и жена его чрезмерно скупа, отказывая себе не токмо в прихотях, но в вещах самонужнейших. (Примеч. А. Я. Булгакова.)

ские, парижские и все европейские журналы. Выступает Рубини, рукоплескания ободрительные, наконец, перестают, он начинает петь известную, сочиненную для него Паччинием арию [...] Ария кончилась! Кто меня читает, ожидает, что я скажу. Какое мое мнение, что я ощущал? Иные говорят: «Не верь первому впечатлению», а другие утверждают, что первое впечатление никогда не ошибочно, кто прав? Я хлопал, я восхищался, потому что около меня все восхищались, все хлопали и кричали: «Bravo, Rubini». Теперь я выслушал весь концерт. Рубини пел четыре раза. Я могу судить положительнее, не поверхностно. Что я скажу?

Рубини редкое явление: метеор, колосс, чудо! Нельзя далее пойти в искусстве петь, но ежели бы голос его соответствовал искусству, и Рубини жил бы в древние времена, ему воздвигать стали бы храмы, как некогда Аполлону и другим богам. Я в крепком уверении, что голос его был и лучше, и свежее, но то, что похитило время, заменилось искусством, искусством непостижимым. [...]

Повторяю, что Рубини великий, необыкновенный певец, но голос его не отличного свойства. [...]

Дочь моя Ольга<sup>38</sup> знала Рубини в Париже, на водах в Баден-Бадене он часто бывал у нее и пел по вечерам у нее. Она, по несчастию, больна в постеле, сильною простудою, и мысль не слышать Рубини еще более болезнь ее умножает. Ольга послала Рубини через меня прекрасный и огромный букет самых редких цветов, при записке [...]

На другой день концерта своего посетил меня Рубини и просидел более получаса. Мы говорили много об Италии, Петербурге, Париже, музыке и пр., и все по-итальянски. Он удивлялся, что я так твердо говорил сим языком. Он в восхищении от Москвы и хочет из Петербурга опять сюда приехать и прожить здесь подолее. После поехал он к моей дочери и пробыл у нее полтора часа. Когда она изъявила ему свое сокрушение, что не могла быть на его концерте, то он спросил, есть ли у нее фортепиано; ему оное указала Ольга, он сел и пропел ей все арии, кои она потребовала, чем доставил ей почти облегчение от болезни, и уехал с

обещанием опять к ней захватить до отъезда своего в Петербург\*. [...]

Рубини роста среднего, довольно плотен, имеет черты всех италийцев вообще и ничего примечательного в чертах и наружности своей, обхождение его весьма простое и, кажется, он одарен не выпяренным умом. Он родился в Бергаме 1795 года и подданный короля Сардинского. Он не имеет детей и женат на италийке, весьма скупой. У нее ежедневные ссоры в трактире Яра, где они живут, она спорит о всяком гроше, приговаривая: «Что вы думаете, что мы миллионщики, что ли?» [...]

Сегодня, 3-го апреля, Рубини давал свой третий и последний концерт в Большом театре, который был битком набит, хотя цены были утроены. Конечно, сцена для актера то, что трон для царей, не знаю, по этому ли уважению, но Рубини себя превзошел в обеих своих *победных песнях*, в ариях из *Лучии* и *Марино Фалиеро*. Публика приведена была в восторг, который изъяснялся рукоплесканиями и криками. [...]

Замечательно, что раек дал гораздо более денег, нежели ложи первого яруса: там много было людей, кои за креслы не пожалели бы 50 р. сер., но не было уже места нигде, и все бросились в последнее театральное прибежище. Верх театра был как бы унизан человеческими головами. Здешние студенты ожидали Рубини у выхода из театра, кричали «ура» и кидали цветы в его карету. Приличнее было бы, кажется, особенно студентам, кричать «Виват!». «Ура!» кричат, приветствуя Государей наших, или идучи на штурм! Как бы не досталось за это студентам нашим! Сидя в креслах сегодня и слушая Рубини, я часто воображал себе, какое должно быть наслаждение слушать в одной и той же опере:

---

\* Ольга заставила петь Коко, своего 10-летнего сына, который одарен ужасным музыкальным ухом. И в таком робенке уже оказывается самолюбие, голос его дрожал сначала от мысли, что его слушает первый певец в Европе. Рубини удивлялся таланту его, выражению, памяти и верному уху. Он советовал начать его учить не мешкая, не опасаясь худых последствий для груди или здоровья вообще. Рубини рассказывал про себя, что он начал петь и учиться с 6 лет и что в 12 лет пел уже на сцене оперу, представляя женское лицо, ибо имел чистый и сильный сопрано, который скоро, однако же, изменился. (Примеч. А. Я. Булгакова.)



Рубини, Лаблаша, Тамбурины, Персиани. С чем может сравниться подобное наслаждение? Разве лики Ангелов!

Я окончу толки свои о Рубини анекдотом довольно смешным, рассказанным мне Монигетти, у коего в книжной лавке производилась продажа билетов на концерты Рубини. Скриб, верно, сочинил бы водевильчик из сего сюжета. Дверь книгопродавца беспрестанно отворялась и затворялась; приходит русской купец, с бородою, в большой шубе, спрашивает:

К[упец]: «Здесь ли билеты продают?»

Монигетти: «Здесь!»

К.: «А што стоит *билетец*?»

М.: «15 рублей!»

К.: «15-ть рублей? Дорогонько-с! Нельзя ли, батюшка, уступочку сделать?»

М.: «Да вить не от меня это зависит: не я буду петь, а Рубини, он эту цену назначил.»

К.: «Оно так-с, да, право, дорогонько. Послушать-то и хотелось бы, да дорогонько!»

Монигетти забавляло простодушие купца, и он, продолжая разговор, сказал:

«Да возьмите билет на хоры, ежели вам дорого кажется.»

«Ну! а там какая цена?»

«10 рублей.»

«Десять? И на хоры-то десять руб.?! Да вить оттуда ничего не услышишь и ничего не увидишь, я чаю?»

«Почему же? И видно, и слышно, только жалуются, что на хорах жара ужасная!»

«И! Батюшка, это бы ничего. Пар костей не ломит, да 10 руб., право, дорогонько. Как же! Не уступите ничего? Уж я взял бы билетцы [1 нрзб.] на 3[-их].»

«Да вить я вам уже сказал, что цена 15 руб. и я переменить ее не могу.»

«Я понимаю вас... Да вить мы за креслы в театре платим меньше 5 руб., да уж тут я сажу покойно; я места не ищу, а место меня ждет. В Собрание-то ехать надобно, и приодеться, скинуть с себя шубу или шинель, да ежели не рано туда забраться, так и места еще не найдешь. Надобно заплатить 15 руб., а хлопот-то много, да еще за сторожку<sup>39</sup> заплатить.»

«Вы говорите дельно, но такие певцы, как Рубини, веками роятся!»

«Да разве Рубинин-то подлинно так дивно поет?»

«Да вы, я чаю, читали про него довольно в статьях из Парижа и Лондона?»

«Нет, батюшка, не *трафилось* никогда. Он, стало быть, француз или агличанин?»

«Нет, он италиянец!»

«*Италиянец!* Так-с... Да што он, у вас живет?.. Нельзя ли на него посмотреть? Не поскучайте моими вопросами».

У Монигетти сын — большой остряк, заведывающий книжною продажей, мальчик лет в 20. Монигетти, чтобы подшутить над купцом, увидя идущего к ним сына своего, который весь разговор подслушал, сказал купцу, указывая на сына своего: «Да вот и сам Рубини!»

«Так это Рубинин-то? — воскликнул купец, потупя на молодого Монигетти глаза, преисполненные любопытства. — Поди-тка, кто бы подумал, что у такова *молокососа* такой голос! Когда он это успел выгучиться? Доложите его милости, что у меня жена да дочь, так за трех-то придется вить заплатить 45 руб. Большие деньги! а уж меньших дочек своих да племянника я не возьму, а вить все они у меня страстные охотники до музыки...»

«Мусье Рубини говорит, что нельзя, что скорее даром бы вас пустил, ежели бы вы были человек бедный и страстный к музыке».

«Очень его милости благодарен! Ежели в лавку придет ко мне покупать, что нужно, и я даром не отпущу ничего. Всякий живет своим ремеслом, тем, что Бог ему послал... а вы ему только доложите, не отпустит ли он три билета хоть за сорок рублей?»

«Мусье Рубини говорит, что нельзя никак».

«Ну! нечего делать, пожалуйста три билета, да 5 рубл. сдачи, вот вам 5-тидесятная бумажка».

Монигетти дал купцу три билета и синенькую бумажку. Купец раскланивается, не спуская глаз с мнимого Рубини, и идет к дверям. У молодого Монигетти привычка всё напевать француз[ские] романсы, он вдруг запел: «*Oubilons nous!*...» Купец хватался уже за ручку, чтобы отворить двери, вдруг остановился, начал слушать, ахнул и, подбежав к Монигетти, сказал с жаром:

«Батюшка! Еще три билета! Вот вам, государь мой, еще пятидесятная... Ай да *Рубинин!* Екой голос! Да еще сквозь зубов пел. Поди-тка, што там будет! Как развернется, да даст волюшку голосочку! Доложите его милости, что уже ладош жалеть не буду. Мое почтение!»

С сим купец скрылся. Вот бы послушать, что дома будет рассказывать купец наш!

(X, 218 – 240)

Здесь находится с некоторого времени мой старинный приятель Александр Иванович Тургенев. Связь, которая была между нашими отцами, сохранилась и между нами. Он человек весьма образованный и добрый, учился в Геттингенском университете.

Князь Александр Николаевич Голицын, у коего занимал он важные должности, создал для него особенное место с 6000 руб. годового оклада. Обязанность его состояла в том, [чтобы] рыться во всех известных архивах и библиотеках иностранных и выписывать все, что касалось до России. Тургенев почерпнул много любопытного в Париже, Берлине и в Ватиканской библиотеке. Труды его были одобрены Государем и многое напечатано. Многие иностранцы, ему помогавшие, были награждены орденами и деньгами, а он сам получил благоволения царские, орден св. Станислава 1 класса, табакерку с шифром. Когда князь оставил службу, то и Тургенев был отставлен с чином тайного советника и с пенсиею. Тургенев — брат несчастного Николая, который был замешан в заговоре 1825 года и осужден на каторжную работу, но избег наказания, скрывшись в чужие края. Николай живет теперь в Париже, а Александр, как нежный брат, отделил ему половину своего достояния. Николай женат и имеет детей.

Сегодня (12 апреля) Тургенев приход[ит] ко мне. На лице его изображалось смущение. Я спрашиваю причину. Он объявляет мне, что получил через графа Бенкендорфа Высочайшее повеление явиться немедленно в Петербург для *некоторых объяснений*. Тургенев не может себе объяснить причины сего вызова, не зная за собою никакой вины, и я уверен, что оной и не существует, но Тургенев, при уме своем и добром сердце, чрезвычайно ветрен, неосторожен в своих разговорах; живши долго в Париже, он напитался каким-то неуместным либерализмом. Он хочет преобразить Россию на французский лад, помешан на двух темах, за кои все истинные его друзья с ним ссорятся: *le progrès — le siècle marche et fait marcher avec lui* — а как часто твержу я ему: «*Le siècle marche, il peut broncher, et il bronche en France*

comme en Angleterre»\*. Может быть, недоброжелатели его что-нибудь на него донесли. Брат его пишет свои мемуары, быть может, что хотят чрез него помешать изданию оных. Он думает, что может быть запутал его также князь Долго-руков\*\*, который издал теперь в Париже под именем графа д'Алмагро какое-то сочинение о знатнейших российских фамилиях, по коему велено ему выехать из Парижа и возвратиться в Россию немедленно<sup>40</sup>. Здесь не одобрял я также поездки его на Воробьевы горы, откуда отправляются всякое воскресенье каторжные и ссылочные в Сибирь. Тургенев бывает там, всегда привозит им деньги, кои для них собирает. Тут нет, конечно, ничего предосудительного, но Т[ургенев] представляет тут какое-то официальное лицо, входит в причины ссылки виновных, старается их оправдывать, хлопочет об них у князя Дм. Вл. Голицына, которого вооружает против здешнего гражданского губернатора Сенявина, коему такое посредничество не может быть приятно. Не один раз я Тургеневу замечал, что лучше бы обращать сострадание на несчастных, но добродетельных отцов семейств, кои страдают не от своей вины, нежели на ссылочных, кои подверглись наказанию, ими заслуженному, но Т[ургенев], яко слепой филантроп, отвечает на это: «У тех покровителей много, а сии защитников не имеют!» Все это догадка, но истину узнаем мы после. Я уверен, что Тургенев оправдается, но то, что с ним сбывается, весьма неприятно. Сегодня в городе многие уже уверяют, что за Тургеневым прислан был фельдъегерь. Другой его приятель, князь П. А. Вяземский, тоже ему писал из Петербурга, что я здесь ему твержу, но бесполезно, и с Вяземским у него доходило почти до ссоры. Т[ургенев] от меня сел в дилижанс и отправился в Петербург. (X, 242 — 244)

Тургенев уведомляет меня о прибытии своем в Петербург. Он тотчас явился к графу Бенкендорфу. Поводом призыва его было подозрение, что он сообщил некоторые сведения князю

---

\* прогресс — век движется и заставляет двигаться вместе с собой (...) — «Век движется, но может споткнуться и спотыкается во Франции, как и в Англии» (фр.).

\*\* Князь Петр Владимирович Долгоруков, сын кн. Владимира Петр[овича] и племянник известных генералов князя Петра и кн. Михайлы Петр. Долгоруковых. По прибытии его в Петербург был он сослан в заточение в Вятку, где жил более года, после было даровано ему Всемило[стивейшее] прощение и позволение жить в Москве. Долгоруков имеет образование и ум, но горд, запальчив и самолюбив. (Примеч. А. Я. Булгакова.)

Долгорукову, написавшему в Париже книгу о дворянских российских фамилиях. Долгорукову, коего сочинение не было одобрено у нас, послано приказание немедленно возвратиться в Россию и, по последним сведениям, он уже в Берлине, где занемог. Тургенев объяснил графу Бенкендорфу, что он никаких сведений исторических о России не сообщал Долгорукову, а еще менее других каких-либо тайных бумаг, что тесных сношений с ним никогда и никаких не имел и пр. Граф Бенкендорф приказал Тургеневу составить объяснительную записку для Государя, которая и была подана графом А[лександром] Х[ристофоровичем] Его Импер[аторскому] Величеству. Записка Тургенева была найдена весьма удовлетворительною. Он 26-го апреля должен выехать из Петербурга, чтобы сюда возвратиться. Стало быть, путешествие его в Петербург не имело никаких неблагоприятных для него последствий, и многие узнают об отъезде его [и] о причине сего отъезда, когда он уже возвратится сюда. Вчера один вестовщик здешний спрашивал меня: правда ли, что Тургенева *повезли* в Петербург? Я отвечал, что правда, но что его повезли не жандармы, а просто лошади, кои возят всех путешественников!

(X, 254 — 255)

## 1844

Вчера, во время гулянья 1-го мая, происходила в Марьиной роще дуэль между графом Салиасом де Турнемиром (француз, женившийся здесь на дочери дворянского предводителя Сухово-Кобылина<sup>41</sup>) и отставным офицером Фроловым. Настоящая причина сего поединка точно не известна, но вот как рассказывают дело это в городе. Ходит здесь по городу весьма язвительный каталог, в коем все высшее общество описано самыми черными красками, начиная от военного г[енерал]-губернатора князя Щербатова до всех менее значущих лиц. Я не имел в руках сего манускрипта, но многое было мне пересказано. Вот, например, как упомянуто тут о П. П. Новосильцове, здешнем вице-губернаторе: «Histoire d'un ci-devant jeune homme pris dans les filets d'une vieille fille»\*. Дамы описаны особенно самыми гнусными красками. Несмотря на все старания полиции, сочинителя не могли отыскать. Граф Салиас был в Петров-

---

\* «История бывшего молодого человека, попавшего в сети старой девы» (фр.).

ском парке верхом и, сходя с лошади, разговаривал с несколькими знакомыми. Речь зашла о сём каталоге, и он сказал, что дорого бы заплатил, чтобы знать, кто сочинил этот пасквиль. «Я бы, — прибавил он, — отхлестал ему всю рожу этим арапником». Кто-то сказал ему, что сочинитель того каталога Фролов. В ту минуту показался на дрожках Фролов. Салиас, подошед к дрожкам, начал хлестать Фролова по лицу и голове арапником. Тем и кончилось. — На другой день Фролов, будучи в Аглинском клубе, читал всем письмо, которое он писал графу Салиасу и в коем он ему говорит, что он сохранять будет яко памятник обломок трости, которую он переломил, нанося ему удары по спине и голове. Прошло несколько дней, все говорили о сей истории и удивлялись, что она не имеет никаких последствий, как вдруг молодой князь Юрий Ник. Голицын, приехав на пикник, который давался обществом молодых людей в Сокольничьей роще [объявил], что он приехал с поединка, на коем был секундантом у Фролова. Два раза стреляли Салиас и Фролов, не попав друг в друга. Когда принялись они стрелять в третий раз, то граф Салиас долго очень целился, опускал руки и опять прицеливался. Это продолжалось так долго, что Фролов, потеряв терпение, сказал своему сопернику с усмешкою: «Et bien, cela finira t'il? Il paraît que vous voulez absolument me tuer! Sachez Monsieur, qu'un Russe ne craint pas la mort»\*. Произнеся сии слова, Фролов подвинулся к Салиасу на четыре шага ближе, повторяя: «Tirez donc!»\*\* Салиас выстрелил, пуля тронула шейный платок и пробила воротник фрака у Фролова. Этот, став на место, сказал: «Je ne serai pas aussi long»\*\*\*, выстрелил и всадил французу пулю в правую ляжку. Его понесли на руках в карету и повезли домой. Этот Фролов был уже за какую-то шалость по службе разжалован в матросы, имеет фигуру довольно подлую, хромает, довольно дурного обхождения и втерся здесь в общество, предсказывая всем будущее по картам, наподобие M-lle Le Normand<sup>42</sup>, от которой, как уверяют, научился он колдовству. Почему граф Салиас так горячо вступился за честь московских дам и всего здешнего общества? Почему так легко поверил он словам, не подкрепленным никакими доказательствами?

---

\* «Ну, это кончится когда-нибудь? Кажется, вы задумали непременно меня убить. Знайте, сударь: русские не боятся смерти» (фр.).

\*\* «Стреляйте же!» (фр.)

\*\*\* «Я тоже не промедлю» (фр.).

Говорят, что это был предлог токмо и что он не хотел огласить настоящей причины злобы своей против Фролова, который рассказывал во многих домах, что графиня Салиас в связи с каким-то агличанином и ходит всякий вечер мимо окон его, Фролова, к своему любовнику. О сей истории продолжали бы еще долго говорить, ежели бы внимание общее не обратилось на другой предмет, гораздо более всех занимающий. В Москву привезли тело покойного князя Дмитрия Владимировича Голицына из Парижа.

(XI, 72 — 74)

## 1847

10 мая сидел я в кабинете своем и писал. Вдруг отворяется дверь, дело, случающееся беспрестанно у меня по утрам. У меня привычка в сих случаях дописывать всегда, ежели не весь период, то, по крайней мере, начатое слово. Обратив глаза к двери, я увидел перед собою фигуру странную, соединявшую в себе нечто похожее на Отелло, Фрадиаволо, Гамлета и даже Оранга-Утанга: заплаканную, небритую, загорелую. Фигура вскрикнула: «Папинька!» — и прежде, нежели я успел вскрикнуть также: «Костя!!» — мы были в объятиях друг друга. Забыл я о блудном сыне, а видел токмо доброго Костю пред собою. Не время это было браниться и делать нравоучения. Это придет в свое время; предаюсь радости видеть его, наконец отторгнутого от Петербурга, где, после отставки своей, обрадовавшись свободе своей, он занимался единственно фарсами и к прежним, уплоченным мною долгам, наживал всё новые. В прощении потому только я не отказал ему, что он в карты не играл и не может быть обвинен ни в каком не только бесчестном, но даже подлом поступке. Дела мои и без того не в блестящем положении, а он еще более оные расстроил. Прошедшее надобно предать забвению, но надобно также принять меры на будущее время, умерить щедрую, не по карманам, душу Кости и страсть кидать деньги на пустяки. Скажу откровенно, что он отвращение к порядку и всякому хозяйству наследовал от меня. [...]

Давно живу я на свете и довольно я порыскал по свету, а не видел я никогда воздушного шара, на коем предпринимал бы кто-нибудь путешествие. Сегодня принесли огромную афишку, возвещающую, что два смельчака, Вильгельм Берг и Август Леде 25-го мая в Дворцовом саду (что ныне Кадет-

ского корпуса) воспарят на огромном шаре, имеющем в окружности 50 аршин. Они, в честь древней нашей столицы, назвали шар *Москвою*. Итак, наша бедная Москва 25-го мая полетит на воздух! И все не только без страха, но с нетерпением ожидают зрелище сие. Со дня публикации начинается уже продажа билетов. Первые места с сидением у самого шара по 1 р. 50 к. серебром, второе по рублю сер., а за вход в сад платить будут по 50 коп. сер. Надобно ехать на это посмотреть! Жаль, ежели погода помешает.

Вот почти и июнь на дворе, а время очень дурно. Я от ребячества своего холода не боюсь, не ношу шубы зимою, ни калошей, ни шапок, не жалуясь на 20 градусов мороза, но зато люблю летом наслаждаться не только теплою погодою, но даже жаром, зноем. Мы, русские, имеющие столь короткое лето, вправе требовать за сильные градусы мороза равное число градусов тепла, но не так то делается это в нынешнем году; мы не видели более 5 и 8 градусов тепла, а сегодня ночью (9-го мая) ртуть была на точке замерзания.

Воздухоплаватели, или, как называет их менее образованная публика, *балонщики*, видно, вымолили себе хорошую погоду. С 20-го числа сделалось тепло, а вчера, 25-го числа *Москва* полетела. Новое сие для меня и для большей части московских жителей зрелище заслуживает описания несколько подробнейшего. Уже с полудня все поехали или пошли к Немецкой слободе. Так как было воскресенье и прекраснейшая погода, то казалось, что никто не хотел оставаться дома. Иные ехали с рублями, а другие шли без рублей, а потому и старались подвигаться как можно ближе к Летнему саду, чтобы видеть шар безденежно. Все улицы, ведущие туда, были наполнены народом. Отобедав у нас, мы пустились тоже на необыкновенный спектакль. Князь Хилков, мой свояк, Вейтбрехт, Попандопуло, Костя, Грасси (скрыпач славный) и я. Мы взяли первые места, и тут было, верно, до 1000 человек. В саду было, конечно, до 20/т. зрителей. Наполнение шара уже было начато. В него должно было поместиться 20/т. квадратных футов водородного газа. Хотя и было тут 24 бочки с газометром в середине, из 200 пуд купоросного масла, 200 пуд железных опилок с соответствующим количеством воды, но операция шла очень медленно, и Берг забавлял покуда публику маленькими шарами, которые пускал направо. Он должен был поле-



теть в 7 часов, но в это время шар был едва до половины наполнен. Жолубы, кои проведены были из бочек к шару, были неисправно сделаны, газ проходил в скважины, кои беспрестанно надобно было затыкать, и вонь от газа очень нас беспокоила. Многие дамы, не видя конца этой работы, оставили свои места, чтобы идти прогуливаться по саду. Начался ропот между зрителями; *les beaux esprits se rencontrent\**, как говорят французы, и все почти одну повторяли шуточку: видно, Берг шар свой не надует, а надует нас! Какой-то француз всех заставил засмеяться, сказав громко: «*Mais a ce qu'il parait ce M-r Berg au lieu de voler dans les airs a l'intention de voler dans nos poches!*»\*\*

Об[ер]-полицмейстер Лужин подошел, наконец, к Бергу и спросил у него, будет ли этому конец? Берг отвечал, что в 3/4 часа все будет готово. Чтобы занимать публику, начали приносить гондолу, флаги, мешки с песком и пожитки путешественников: шинели, бутылки вина, разные узелки и пр. Когда стали прикреплять лодочку, товарищ Берга Леде отказался совершать путешествие, потому что шар, не быв совершенно наполнен, не в силах будет поднять двух человек, но он просто струсил. По приказанию об[ер]-полицмейстера весь сбор был взят под сохранение, для возвращения зрителям денег, ежели воспарение не последует. Молодой гвардии офицер князь Сер. Влад. Голицын (сын толстого кн. Влад[имира] Серг[еевича]), услыша отказ Леде, подошел к Лужину и просил у него позволения занять место Леде и полететь вместо него. Лужин ничего не отвечал, но племянник мой, Борис Алекс. Перовский<sup>43</sup>, сказал ему: «*Qu'avez-vous, mon cher? Est ce que vous avez perdu l'esprit?*», на что Голицын отвечал ему: «*J'ai essaye de tout, je veux essayer cela aussi!*»\*\*\*, и потом, обратясь к Лужину, начал опять просить у него позволения лететь. «Я вам не могу, — отвечал ему Лужин, — дать этого позволения, а ежели бы и мог, то не дал бы!» — и потом, обратясь к Бергу, приказал ему лететь, хотя и без товарища. — Берг сел в лодку, подрезал веревки, и шар начал подниматься, но, достигнув вышины 5 или 6 сажень,

---

\* великие умы сходятся (фр. поговорка).

\*\* «Однако, этот г-н Берг, по-видимому, вознамерился не летать по воздуху, а залезть в наши кошельки!» (фр.) — игра слов: «*voler*» по-французски означает и «летать», и «воровать».

\*\*\* «Что с вами, голубчик? Вы что, с ума сошли?» — «Я все испробовал, хочу попробовать и это!» (фр.)

шар остановился, начал колебаться и подаваться вниз. Множество голосов начали кричать, шикать и свистать. Берг начал выбрасывать балласт, и когда выброшен им был шестой мешок, то шар вдруг поднялся и величественно воспарил к северо-востоку. Берг снял шляпу, поклонился зрителям и бросил шляпу вниз, потом, взяв знамя, начал оным салютовать. Тогда вместо свистов воздух наполнился криками «браво» с рукоплесканиями. Шар, чрезвычайно облегченный, шел очень быстро. У меня зрение вдаль очень хорошо, и через полчаса можно было разглядеть токмо точку черную, величиною в пушечное ядро и на весьма большой высоте. Я не могу изобразить то, что я чувствовал, воображая, что в этом пушечном ядре на ужасной этой вышине сидит человек живой!

Костя рассказывал мне, что он видел тут жену Берга, которая горько плакала. Он подошел к ней с прапор[щиком] Ал. Корсаковым, и они спрашивали у нее, зачем она плачет, что, верно, муж ее не в первый раз предпринимает такое дело? «Конечно, нет, — отвечала она, — но мой муж [на] этот раз потерял голову, он хотел скорее подняться и слишком много сбросил [бал]ласту, шар делается теперь мячиком, ему нельзя будет им управлять, он должен бы оставаться, идя по ветру, в одинаковом расстоянии от земли, никак не более 6000 футов, а вы видите, что он летит все кверху, он, несчастный, замерзнет там». Несчастливая эта женщина имеет 4-х детей и брюхата.

Об[ер]-полицмейстер послал по направлению шара 12 казаков верхом, для подания Бергу помощи, в случае возможности, но куда же поедут эти казаки, когда шар совершенно от глаз скрылся. Все эти обстоятельства причиною, что я не нашел в этом зрелище того удовольствия, которое ожидал. У всех теперь одно желание: узнать что-нибудь о несчастном Берге. Что не заставляет делать и предпринимать проклятая корысть?! —

Вот дальнейшие подробности путешествия Берга, им самим рассказанные Перовскому: по особенному промыслу Божиему он остался жив. После быстрого направления своего из Дворцового сада он видел ошибку, сделанную им, т. е. то, что шар был им слишком облегчен; небольшой ветерок давал ему направление к северо-востоку, но он все подни-

мался выше и был достигнут ночью темнотою. Чувствуя холод, Берг выбил горлышко у бутылки шампанского, но она разошлась большею частию в пене, и он выпил только стакана полтора, кои его несколько согрели. Холод умножался, он не мог его определить, забыв взять с собою не токмо термометра, но даже часы свои. Кровь показывалась из носу и ушей. Решась во что бы ни стало направиться к земле вниз, Берг начал дергать веревку, коею открывалось отверстие для выпуска газа из шара, но веревка, замерзнув, была тверда, как палка. Долго не знал он, на что решиться, наконец, рассчитал, что, ежели дергая веревку и повредит шар, сделает в нем дыру, лишь бы не слишком большую, то тогда шар от потери газа должен будет постепенно опускаться к земле, и что смерть внизу все-таки предпочтительнее смерти под небесами. Берг начал дергать всеми силами веревку и находил в этом как бы отраду, потому что сильное это движение согревало окаменелые члены тела его. Он услышал, что лопнуло что-то, но за темнотою не мог ничего разглядеть и чувствовал только, что направление шара изменилось и что он шел книзу, и луч надежды блеснул в отчаянной его душе. Полчаса после того он почувствовал треск, шар ударился на постороннее тело. «Что могу я встретить на воздухе, — сказал себе Берг, — это, должно быть, земля». Шар скользил вдоль сосны. Берг погружен был в болото, ударился об пень и ушиб себе ногу, но мысль, что жизнь была спасена, заставила его от радости прослезиться. Он не знал, где находится, он лег на своем воздушном фазтоне и от чрезмерной усталости и изнеможения заснул крепким сном.

На рассвете пошел он, потихоньку, несмотря на свою разбитую ногу и замороженный нос, искать помощи и узнал, что шар его опустился на Троицкой дороге, в 30 верстах от Москвы и пять верст за селом Пушкиным. Он упал в лес; указав дорогу к шару, которым нагрузили одну повозку, а на другую сев сам, прибыл благополучно в Москву и возвратил почти жизнь бедной своей жене. Однако же Берг лежит в постеле и у него оказалась рожа на ноге с сильною лихорадкою. Перовский сказал ему: «*Vous voilà guérites de la manie de voyager en l'air!*» — «*Pas du tout,* — отвечал Берг, — *j'espere dans deux semaines entreprendre un nouveau voyage et que je le rendrai plus intéressant pour le public que celui que Madame Louise Régenti annonce pour le [1] de*

juin»\*. — Увидим, что родится от этого соревнования двух соперников.

Пышная афишка, на которой изображен был воздушный огромный шар, наименованный *Фортуною*, возвестила московской публике, что 1-го июня Луиза Регенти с сопутствующим ей г-ном А. Р. (муж ее) совершит лично большое воздушное путешествие близ Бутырской заставы, на даче кн. Голицына (Влад. Серг.). Настал ожидаемый день, погода была прекрасная и воскресенье. Кому не хочется погулять в такой день. Стечение публики было чрезвычайное. Я несколько опоздал, билеты были уже все розданы, и меня впустили в первое место за деньги, но без билета. Кого встретил я тут первого? Берга! Он, бедный, ходил на костылях, страдая еще ногою после злополучного своего путешествия из Дворцового сада. После нескольких слов о здоровье его я спросил его, что он думает о путешествии г-жи Регенти. Он отвечал с улыбкою: «Не знаю! Увидим, но сказано в афишке, что полет начнется в 6 час. с половиною, а теперь почти восемь, и шар далеко еще не наполнен». Теснота была ужасная, и дело шло очень медленно. — Внимание публики было обращено на г-на Фролова, который объявил всем накануне в Аглинском клубе, что он полетит с г-жой Регенти. Этот Фролов лицо некоторым образом историческое в Москве. Он служил некогда во флоте и за какую-то вину разжалован был в матросы, потом опять дослужился в офицеры. Здесь он был известен яко предсказыватель будущего по картам, и дамы прибегали к этому русскому *Le Noigmand* толпами; потом сделался он известным здесь по дуэли, которую имел с французом графом Салиасом, женившимся здесь на дочери г. Сухово-Кобылина, и коего он тяжело ранил.

Фролов рассказывал важно около шара в дорожном платье, повторяя: «*Je me livre à la fortune!*!»\*\* Публика начинала роптать. Наконец, показалась г-жа Регенти, совсем не так одетая, как ее спутник Фролов; казалось, по наряду ее, что она собирается на бал, а не на небеса. Она держала за руку малень-

\* «Вот вы и излечились от мании путешествовать по воздуху!» — «Вовсе нет... Через две недели я собираюсь предпринять новое путешествие, которое сделаю более занимательным для публики, чем то, что мадам Луиза Регенти назначила на [1] июня» (фр.).

\*\* «Вверяюсь судьбе!» (фр.)

кую девочку, которую кормит, и унимала от слез. Многие чувствительные дамы просили князя А. Г. Щербатова не позволять ей лететь, говорили, что она брюхата. Князь Щ[ербатов] с дамами соглашался, полицмейстеры шепнули кое-кому на ухо магические слова, и раздались крики: «Point de femmes!» Оставайтесь! Не летайте!! Обойдутся и без вас». Мад. Р[егенти] низко поклонилась и исчезла. Шар плохо надувался, нетерпение публики умножалось, и хотя волшебная воздушная колесница не была готова, начали к ней прикреплять лодочку. Фролов сел в нее, посидел минуты две в ней и сошел с нее. Г-н А. Р. начал суетиться, робость им овладела, и он, ходя около шара, повторял с отчаянием: «Man hat mir eine Spass gemacht! Es mach ein Loch sein in ballon!»\*\* Кончилось тем, что при всеобщем крике, свисте и шиканье шар был пущен один. Публика начала расходиться, но некоторые молодцы для изъявления чем-нибудь своего негодования бросились на стулья и скамейки и начали их ломать. Полиция вынужденною нашлась многих арестовать. Удивительно, что так легко позволяют бреднями обманывать публику, и позволили им делать первые свои опыты в столичном городе. Г-жа Р[егенти] должна была представить доказательства, что она прежде летала в других городах, полиция должна была взять весь сбор и предоставить оный шарлатанам сим токмо тогда, когда они выполняют свои обязанности, а, в случае неудачи, их наказать, а сборы отдать на какое-нибудь богоугодное заведение, чему публика, верно бы, не воспротивилась. Нас всех одурачили, а, между тем, г-жа Р[егенти] осталась при своих деньгах. Несчастный Берг как будто предвидел все, что случилось. [...]

Берг совершить должен был еще новое *воздухоплавание*. Хочется мне все спросить у какого-нибудь ученого грамотея, откуда взялось подчеркнутое мною слово (soit dit en passant\*\*\*). Плавают по воде, а по воздуху, кажется, летают. Новый этот полет состоять должен был в том, что на новом этом шаре, названном *Богатырем*, Берг поднимется, сидя верхом на лошади (искусственной) и будет делать на воздухе разные эксперименты, как-то: стрелять и пускать с парашютами разные разноцветные бенгальские огни. И выходит

\* «Никаких женщин!» (фр.)

\*\* «Надо мной подшутили, должно быть, в шаре есть дырки!» (испорч. нем.).

\*\*\* между прочим (фр.).

поэтому, что настоящий богатырь будет не шар, а сам смельчак Берг. Охота, или, лучше, корысть, пуще неволи: Берг едва вылез из всего, что претерпел в первые свои два воздушные путешествия. Худая погода помешала, и зрелище это отложено до следующего воскресенья, 24-го сентября. (XII, 44 — 54)

## 1848

Вероятно, не в одной Москве, но во всех европейских столицах все умы заняты чрезвычайным и неожиданным переворотом, последовавшим в Париже. [...] Дело в том, что Король Луд[овик] Филипп бежал из Парижа, истощив все средства к сохранению престола для герцога Немурского и для маленького своего внука графа Парижского, подписав прежде отвержение от престола; провозглашена республика, учреждено временное правительство, в коем участвуют: Ламартин, два издателя журналов и некий работник по имени Алберт; дворец Тюльерийский был разграблен чернью, а Palais Royal сожжен. Париж покрыт трупами муниципальной гвардии, которая хотела, по долгу присяги, защищать дворец короля, улицы размощены, деревья бульваров срублены для составления баррикад. Дом Министерства иностранных дел, занимаемый министром Гизо, разрушен. Можно было предвидеть падение его и составление нового министерства, король и предлагал ему в преемники Моле и Тиера, но озлобленная чернь, подстрекаемая оппозициею, все предложения отринула, отвечая: «Il est trop tard!»\* Но ни один дальновидный ум не мог предугадать, что все опыты прошедших времен будут потеряны для этих гнусных французов и что они опять примутся за безначалие и Республику, которые столько поглотили у них сограждан! Вот благодарность Филиппу за все его попечения, за доставление Франции спокойствия и доброго согласия с целою Европою! [...]

Происшествия в Европе столь стремительны, что трудно за ними следовать и описывать оные. Рушатся последние оплоты самодержавия. В Вене и Берлине чернь напала на дворцы своих государей с французскими требованиями. В обеих столицах льется кровь. Кн. Метерних, сей умный и твердый блюститель политики, действующий к искоренению всех гибельных замыслов, где бы они ни являлись, должен

\* «Слишком поздно!» (фр.)

был сложить свое звание и почти бежать из Вены; прусский король, с помощью верного своего войска, отразил первые нападения черни, но в Берлин хлынуло из окрестностей, как говорят, до 100/т. вооруженных бродяг, кои обступили войско и содержат короля пленным в его дворце. Наследник престола оставил Берлин и набирает войско для освобождения своего брата и короля! По всему происходящему ясно видно действие тайных обществ, которые всё приутоворяли, и восстания должны были вспыхнуть всюду вдруг, по сигналу Франции. Мы должны Бога благодарить: одна только есть земля, где все покойно и никто не боится за свою собственность: это Россия! Весьма кстати затушили у нас слухи о предполагаемой эмансипации крестьян. Мало было у нас охотников до оной, а теперь господа эти хвост поджали [...]. Не знаю, по точному ли было это убеждению значения слова или для шутки, но вот что один московский купец отвечал генералу и сенатору Д. Н. Болговскому, который ему говорил: «А што, батюшка, каковы французы?» — «Чему же тут дивиться, В[аш]е превосх[одительст]во? Оно так и должно быть. Французы поступают, как им закон новый повелевает: их правление называется Режь-публику: ну! они и грабят, жгут и режут всех беспощадно!» [...]

Получа от князя А. Г. Щербатова записку, коею изъявляет он мне желание иметь со мною переговор, я отправился к нему в то же утро (25 марта). Как скоро я вошел к нему в кабинет, он приказал, чтобы никого не принимали. Посадив меня возле себя на маленьком канаве и притворяя крепче дверь в дальнюю гостиную, князь начал с того, что извинился, что дал мне беспокойство к себе приехать, когда как так мало у меня свободного времени. «Мне очень было желательно, — продолжал князь, — с вами подробно поговорить о многом. Посмотрите, что теперь везде происходит! Короли гибнут, царства разрушаются. Теперь такая минута, что честные люди должны как можно более сблизиться и быть в союзе против мошенников, а мы видим, что они не дремлют и употребляют все возможные средства для ниспровержения порядка всюду. Я знаю, как ваш покойный брат служил, как он был предан Государю, знаю и ваши чувства и усердие, а потому и прошу ваше содействие во всем, что может быть полезно для служения Государю нашему; сообщайте мне все сведения, кои будут до вас доходить. Я почитаю лишним вас уверять, что все это будет оставаться между нами.

Москва предана Государю. Я ручаюсь за ее спокойствие и взял все к тому меры, во всех классах людей. Дух и образ мыслей здесь очень хороши, дурное здесь никогда не родится, а может быть занесено токмо из других мест, и для этого надобно бы вам обратить особенное внимание на корреспонденции. Не худо бы присматривать за этими славянофилами [так!]... Я признаюсь вам, что не люблю их».

Я сократил здесь длинный разговор кн. Щербатова. Он преисполнен благородных чувств, но говорит не красноречиво, а плодовито. Я слушал его, не перебивая речи, и после, в свою очередь, объяснился с ним с равною откровенностию. Благодарил за доверие ко мне и признался, что не разделял с ним опасений его на счет славянофилов, что они не что иное, как ультра Россияне, любящие свое отечество, коего, верно, не нарушат никогда спокойствия. Я знаю, что Аксаков, Языков, Хомяков, Шевырев имеют большую переписку, а что они именно пишут, мне неизвестно; что люди, с коими они переписываются, не из числа тех, кои пользуются дурною славою; что князю, может быть, неизвестны правила наши и неприкосновенность всякого письма; что я, без особенного приказанья начальства моего, не могу себе позволить открыть чье-либо письмо и что желание князя доведу я до сведения гр. Адлерберга<sup>44</sup>. При сём заметил я князю, что, ежели общество вышереченное было бы неблагонадежно, то оно обратило бы на себя неминуемо внимание правительства, и мне даны были бы сходственно с сим приказанья, но я таких не получал. Объяснения мои, кажется, успокоили князя. Однако же он мне возразил, что все жители Москвы не могут иметь те же рассуждения и образ мыслей, как он и я, что есть, верно, люди и беспокойные, и недовольные, что надзор должен быть строгий.

Я князю заметил, что от французов, здесь проживающих, бояться, кажется, нечего, что он их к себе собирал и видел их добрые рассуждения, что бродяг здесь нет, все заняты какою-нибудь торговлею или ремеслом, которым они обогащаются, что они не захотят лишиться выгод сих. Касательно же домашних баламутов, не худо бы обратить внимание на университет московский... «Очень должно сожалеть, — сказал князь, прерывая мою речь, — что гр. Строгонов оставил свое место». В эту минуту пришли доложить, что приехал митрополит. Князя расстроило это невременное



посещение, он колебался — не хотел делать его участником нашего разговора, а может быть, и с ним хотел переговорить без свидетелей; наконец, кончилось тем, что [князь] просил меня выйти в другую комнату и позволить ему переговорить с Филаретом. Я пробыл это время с об[ер]-полици[ейстером] Лужиным, который тут случился. Филарет уехал через полчаса, и я опять возвратился в князев кабинет.

Продолжая начатый разговор, я сказал князю, что, конечно, нечего опасаться от нашей молодежи, но что тут много есть поляков, что во всех европейских бунтах замешаны студенты, что чтение иностранных журналов воспаляет их воображение и может родить наклонность перенимать у франц[узских] и немецких студентов. Князь опять повторил сожаление свое касательно Строгонова, который, по словам его, умел заставлять себя и любить, и бояться студентов, и пользуется уважением публики. «Голохвастов<sup>45</sup>, — прибавил князь, — ввел чрезмерную строгость, но это может молодежь озлобить».

Я заметил князю, что другое опасение может родиться от журналов, имеющих в нынешнем веке столь великое влияние на умы. Иностранные журналы читаются высшим, просвещенным обществом, коего мнения от оных не переменятся, всякий сам цензурует пакости, кои читает во французских журналах, но надобно быть очень разборчивым и осторожным в выборе статей, кои помещаются в переводе в наших журналах. *Московские ведомости*, напр., имеют бесчисленное множество подписчиков, все классы их читают с большим вниманием и любопытством. Князь сознался в этом и прибавил, что он весьма недоволен Коршем, коему вверено издание *Москов[ских] ведомостей*, что он руководствуется совсем другими правилами, нежели *Северная пчела*, которая выхваляет всегда все русское и возбуждает патриотизм. Князь прибавил, что он об этом писал даже к графу А. Ф. Орлову и надеется, что [тот] обратит на это внимание\*.

---

\* Политические статьи, кои Корш заимствует в иностранных журналах и помещает в *Московских ведомостях*, не только не верны в переводе, но Корш позволяет себе даже делать к оным свои прибавления. Напр., в статье из Вены от 14 марта, в коей описывается последовавший в Австрии насильственный переворот, прибавлены слова, коих нет в немецкой газете: «Таким образом и Австрия *присоединилась* к общему движению, обнаруживающемуся в последнее время во всей Германии». (*Примеч. А. Я. Булгакова.*)

Пользуясь благосклонностию, с коею князь выслушал все, что я ему говорил, я заметил ему еще, что не худо бы было доискиваться источника, откуда истекают разные глупые и тревожные вести. Вот, два дня, напр., что в Москве рассказывают, что на границе прусской целая дивизия наша была вырезана поляками и что генер. Панютин<sup>46</sup> был убит, и что кн. Паскевич<sup>47</sup>, узнавши об этом, срыл Варшаву до основания. Агл[инский] клуб был вчера наполнен сим известием. Мерлин, увидя меня, тотчас подбежал, чтобы узнать, правда ли, что шурин его Панютин был убит. Я отвечал ему вопросом: «Кто вам это сказал?» — «Да все говорят!» — «Это не резон: когда рассказывают вести, то должно всегда прибавлять: «Мне сказывал или пишет вот такой-то», тогда всякий рассчитает, можно ли верить или нет. Да ежели и было что-нибудь подобного, то само правительство объявило бы происшествие, столь важное». Князь хотел взять нужные меры против распускателей подобных новостей. Потом говорил много о гр. Вас. Бобринском, Чаадаеве, Павлове<sup>48</sup> и многих других, за коими он прилежно следит. Разговор наш продолжался часа полтора, и я обязался сообщать ему все, что буду узнавать полезного для его соображений. Мне кажется, что (в нынешнее время особенно) — это обязанность всякого русского, преданного Государю и любящему свое отечество, — содействовать ко всеобщему спокойствию и устранять все то, что может оное нарушить.

В настоящее время нужен был бы здесь ростопчинского покроя начальник. Хотя кн. Щербатов не гений, не большой государственный человек, но выпренный ум заменяется у него прекрасными душевными качествами. Воинское его поприще было блистательно и вселяет к нему заслуженное уважение. Он бескорыстен, справедлив, трудолюбив, держится старинных мыслей и правил, искренно предан Государю, а так как он охотно и терпеливо выслушивает правду, то грешно оную ему не говорить. Мысли его насчет многих людей не совсем точны. Он много слишком делает чести, напр., Бобринскому<sup>49</sup>, называя его О'Коннелем<sup>50</sup>. Я князю сказал, что довольно поговорить с Бобринским полчаса, чтобы убедиться, что он ни умом, ни познаниями, ни даже чувствами своими не походит на О'Коннеля. В Бобринском господствует глупое самолюбие: так как он службою своею не мог пробиться далее поручьего [так!] чина, что внуку Великой Екатерины кажется очень обидным, то он хочет во что бы

то ни стало заставить о себе говорить, и теперь его *Steckenpferd\**, как говорят немцы, это освобождение наших крестьян. Бобринский затеял в Туле какой-то комитет, где рассуждают, пишут о свободе, посылали проекты разные в Петербург, но все это произвело ровно ничего!

(XII, 86 — 100)

## 1851

Обе столицы заняты теперь гласным разрывом, последовавшим в Париже в семействе молодых Несельродов. Вот последствия так называемых *mariage de convenance\*\**. Молодую графиню Лидию Закревскую выдали замуж за сына канцлера графа Несельрода<sup>51</sup>. Брак сей совершился вопреки чувств молодой, прекрасной, но ветреной Лидии, вопреки, может быть, и его чувств. Так бывает в союзах царственных, в коих соблюдаются все выгоды, но забывается счастье жениха и невесты. Граф Дм. Карл. Несельроде лишен всего, что может пленять. Он занимался всем, кроме жены своей. Мудрено ли, что молодая, ветреная, легковерная, избалованная в родительском доме девица, окруженная обожателями в таком городе, как Париж, преданная своей воле, лишенная хороших советов, сбилась с пути истинного и впала в искушение? Ее нельзя оправдывать, но можно извинять и сожалеть об ней. Она, к несчастью своему, вместо хорошего ментора и друга нашла в Париже московского знакомого Ив. Мих. Мацнева, который обесславил себя в Москве во всех отношениях. Он сын моей незабвенной второй жены Эмерики<sup>52</sup>, я имел много случаев узнать коротко чувства его души. Он и брат его Михаил сократили жизнь матери своей. — Мацнев ознакомил гр. Лидию с семейством известного писателя Алекс. Дюма. Сын этого Дюма влюбился в графиню и совершенно ее развратил, так что связь сия сделалась столь гласною, что в журнале *L'Indep <endent> Belge* было об оной говорено. По сим известиям положено было между любовник[ами] бежать из Парижа в Брюссель, но они были настигнуты на дороге гр. Несельродом, который увез жену в Варшаву, куда отправилась немедленно отсюда графиня Закревская<sup>53</sup>, которой дал я для сопровождения почталиона. Вот что доселе известно. Ежели все и не так, то

---

\* Конек (нем.).

\*\* брак из приличия (фр.).

все-таки дело это имеет справедливое основание. Я не могу без душевного соболезнования подумать о любезном моем старом друге гр. Закревском, который столь нежно любит дочь свою и полагал в ней все счастье остальных своих детей. Не имею я духу к нему ехать. Да и лучше обождать. Увидим, какие будет иметь последствия поездка графини в Варшаву. В записке своей ко мне, требуя почталиона, Закревский говорит мне глухо: «Агр[афена] Федоровна хочет тотчас ехать... [половина строки выскоблена].»

Следующее происшествие делает теперь много шуму в Петербурге и отвлекло всеобщее внимание от истории молодых Несельродов. Тут также любовь играет главную роль. Была в Москве красавица по имени mad. Bravura, имевшая кроме красоты отменное образование, знала много языков и была преестественная кокетка; много перебывало у нее любовников, наконец, вышла она замуж за одного из содержателей СПетерб[ургского] Аглинского магазина. Она выдала дочь (от первого мужа), так славящуюся в Петербурге своею красотою, за молодого богатого купца Жадимеровского. Не в одно прекрасное утро (как говаривал покойный общий наш приятель Вейтбрехт), но в одну роковую ночь Жадимеровский, просыпаясь, не находит возле себя жены. Это еще не беда. Мало ли, что заставило женщину встать с постели? Ждет, пождет, жена не является. Наконец, встревоженный муж спрашивает у всех в доме, где его жена? Никто не знает. Он едет к теще своей, к родным, к знакомым, делает разыскания. Нет жены! Наконец, является к воен[ному] ген.-губернатору, от коего узнает, что жену его увез молодой кн. Сер. Трубецкой, и что они бежали по тракту в Москву, и что по следам их отправлен жандармский офицер. Об[ер]-полицмейстер Лужин, бывший у сына моего Кости, рассказывал, что гнавшийся за ними жанд[армский] офицер не нашел их в Москве, что они проехали, как думать должно, ночью, с ложным паспортом, под именем Федорова<sup>54</sup>, но куда они скрылись, неизвестно. Двух вещей я не понимаю: во-первых, какая необходимость бежать, когда контрабанда могла спокойно производиться в Петербурге, зачем было Трубецкому покидать жену свою, а Жадимеровской мужа? А потом, какая была нужда ловить их? Впрочем, чтобы судить хорошенько, надобно бы знать все обстоятельства дела сего. Трубецкой, который большой повеса, желал, видно, огласки, желал заставить о себе говорить.

Забыл я упомянуть еще об одном обстоятельстве. Не тайна ни для кого, что король прусский предан крепким напиткам. Говорят, что это было последствием горестей, кои он испытал и кои он, впрочем, сам себе приутоворял непостоянно своею политикою, мнимо либеральными чувствами и планами химерическими. В Варшаве заметили все резкую перемену; любовь к вину заменилась необыкновенною трезвостью, так что он даже шампанское пил только в случаях неизбежных, напр., когда провозглашалось здоровье августейшего какого-либо лица. Записки сии со мною умрут, а потому и могу поместить в них словцо острое сына моего Кости, который в приношениях Бахусу далеко перещеголяет, полагаю, прусского короля. «Vouz savez, — сказал я ему, — que le Roi de Prusse cesse de boire et qu'il ne prend même plus de champagne». — «Cela ne m'étonne pas du tout, — отвечал мне Костя, — depuis bien des années le Roi de Prusse ne fait que des sottises»<sup>55</sup>.

Сын Пашка недавно писал мне, что кн. Сер. Трубецкой с добычею своею проехал через Кахетинию, пробираясь к которому-либо из портов Черного моря. Жадимеровская обрезала свои прекрасные волосы и одета в мужское платье. Бегство продолжалось весьма благополучно до Редут-Кале, где нанято было уже судно, чтобы отправиться в Мальту, но увы! несколько лишних, несчастных партий, сыгранных Трубецким в гостинице в билиард, положили конец этому бегству. Следивший за ними жандармский офицер схватил его и любовницу его в ту минуту, когда они перебирались на нанятый для дальнейшего бегства корабль. Вот и конец этого романа, по крайней мере, конец первого тома. Его и ее повезли в разных повозках в Петербург, и Трубецкой поплатится за эту и за все прежние свои проказы и шалости. Иные обвиняют кн. Воронцова в том, что он под рукою способствовал этому бегству в стране, его управлению вверенной, потому что Трубецкой — родной брат нареченной невесты молодого князя Семена Мих[айлови]ча, но это басенка, выдуманная недоброжелателями князя Воронцова. Ежели бы оно было так, то Трубецкой не предался бы так глупо в руки офицера, который его ловил<sup>56</sup>.

(XIII, 197 — 198)

---

\* «Знаете... прусский король больше не пьет, даже шампанского». — «Меня это ничуть не удивляет... вот уже много лет, как прусский король делает одни глупости» (фр.).

Не одна Россия, но, можно сказать, что вся Европа занимается теперь двумя предметами, совсем противоположными: князем Меншиковым и движущимися столами. В странном живем мы веке, столы сами собою двигаются, тогда как дела турецкие не подвигаются нисколько<sup>57</sup>. Я смеялся рассказам о столах, хотя пишут об этом во всех журналах и есть даже рисунки в *Иллюстрациях* немецких и французских<sup>58</sup>. Говорили мне об опытах, сделанных в Москве, я объявил решительно, что никому не поверю, кроме своих собственных глаз. Теперь верю, ибо видел своими глазами и участвовал сам в сём так называемом кн. Вяземским *столобесии*\*. Вчера сделаны были при мне два опыта, один у графа Ник. Вас. Орлова-Денисова<sup>59</sup>, а другой у дочери моей Ольги. Я обедал у Орловых, нас было человек десять, в том числе и генерал Болдырев, такой же Фома неверный, как и я. После обеда приступили к опыту. Мы составили цепь около самого того большого стола, на котором мы обедали, нас было 14 человек. Некоторые дамы предпочитали сидеть, другие стояли. Мы положили обе руки на краях стола в маленьком расстоянии от одной руки к другой, всякой из нас положил мизинец правой руки на кончик мизинца левой руки своего соседа с правой стороны и так далее. Надобно соблюдать, чтобы платье не имело прикосновения ни к какому постороннему предмету. Проходит 5, 10, 15, 20 минут без всякого успеха. Неверные, в числе оных и я, позволяли себе разные шуточки и насмешки. Наконец, гр. Орлова закричала: «Трещит! Ей-Богу, трещит!» На это Болдырев возразил, хохотавши: «Трещит, ну! положим, что трещит! Мебель коробит, это не новое; нет, пусть изволит стол протанцевать, как хотят нас уверить!» Мы продолжали терпеливо опыт наш, движение стола делалось ощутительно, слева направо. Все закричали, призывая Болдырева, который, соскучась ждать напрасно, ушел в другую комнату. Когда Болдырев вошел к нам, то стол вертелся так поспешно, что мы с трудом поспевали следовать за ним, не отнимая рук со стола. «Полноте морочить меня, — сказал Болдырев, — это Алекс[андр] Яковлевич пихает стол и более ничего!» —

---

\* Кн. П. А. Вяземский пишет мне из Дрездена, что два опыта, кои делались при нем, не удались, что он, боясь нервного раздражения, не хотел принимать участия и что, не веря рассказам, поверит токмо своим глазам. (Примеч. А. Я. Булгакова.)

«Уверяю вас как честный человек, что стол двигается сам», — отвечал я. — «Тьфу ты, пропасть», — возразил Болдырев, крестясь. Он в одну минуту вскочил на стол и сказал, севши на середину стола: «Ну! вас много, а стол не так-то тяжел, пусть он потанцует теперь, во мне без малого шесть пуд!» Мы продолжали опыт наш терпеливо, и можно представить себе удивление наше, когда после нескольких минут стол начал кружиться еще сильнее прежнего; он повернулся раза три и кружение, верно, бы еще более продолжалось, ежели бы мы не зацепили за пальцы гр. Орловой, которые тут стояли. После этого не мог уже я не верить *столобесию*. Толковать этот феномен не мое дело, предоставляю это физикам и медикам, и ученым. Явно только, что во всяком человеке есть более или менее электрической или магнетической жидкости, но почему переходит она в неодушевленное вещество?

Приехав к Ольге вечером, я возбудил рассказом своим всеобщее любопытство. Все захотели делать тот же опыт. Мы стали около стола, на котором пили чай, взяли людей из передней, позвали девушек, поставили тут даже маленького Лукашку, фаворита княгини Екат. Алек. Долгоруковой. С нами был тут также барон Шеппинг, который также не верил чудесным рассказам о пляске столов. По прошествии двадцати минут стол начало коробить и он начал вертеться, так что мы должны были около него бегать. Зять мой Долгоруков<sup>60</sup> в Петербурге теперь. Он пишет, что и там даже при Высочайшем дворе очень занимаются пляскою столов, но он просит жену свою не участвовать в сих опытах, ибо они имеют весьма вредные последствия для особ, коих нервы раздражительны. Я заметил в себе не то чтобы боль, но какое-то особенное чувство в обоих локтях, которое, однако же, прошло чрез несколько часов. Поведет ли это открытие к чему-нибудь полезному? Это также вопрос довольно любопытный.

(XIII, 344 — 346)

Сегодня, 18-го авг., хоронили другого<sup>61</sup> также весьма известного в Москве человека, славного филантропа, доктора Фед. Петр. Гааза (Haas). Он был начальником какой-то больницы, кажется, Полицейской, и, сверх того, главным доктором московских тюремных больниц. Хотя Гаазу было за 80 лет, он был еще весьма бодр и деятелен, круглый год (в большие морозы) ездил всегда в башмаках и шелковых

чулках. Всякое воскресенье ездил он на Воробьевы горы и присутствовал при отправлении преступников и колодников на каторжную работу в Сибирь. Александр Тургенев, который был чрезвычайно дружен с Гаазом, познакомил меня с ним. Они уговорили меня один раз ехать с ними на Воробьевы горы. Я охотно согласился, ибо мне давно хотелось осмотреть это заведение. Стараниями Гааза устроена тут весьма хорошая больница, стараниями его и выпрашиваемым им подаянием ссылочные находят здесь все удобства жизни. Гааз обходится с ними как бы нежный отец с своими детьми, но это сладкое перепутье должно делать еще более горьким дальнейший путь преступника. Из Воробьевского чистилища надобно переходить в Сибирский ад, в вечную муку. Я имел случай заметить тут много дающего повод к размышлениям, много отвратительного, странного и даже смешного. Одно скажу я: я думал уехать из Воробьевых гор с сердцем растроганным, убитым грустью, — вместо того, прелестный вид на Москву составлял главное впечатление, наполнившее в то утро сердце мое. Между всеми сими преступниками не встретил я ни одного, коего лицо, черты родили во мне сострадание. В глазах их не оказывались ни страх, ни раскаяние, ни уныние, ни отчаяние. В глазах сих ссылочных представлялось величайшее равнодушие к своему положению; иные отворачивались, а другие наклоняли голову и упирали глаза в землю. Я спросил у одной женщины, довольно еще молодой, лет около 30, и наружности приятной: «За што ты здесь содержишься?» Она отвечала мне не запинаясь: «За смертоубийство!» — «Кого ты убила?» — «Мужа». Скупые и холодные сии ответы заставили меня содрогнуться. Гааз начал тотчас защиту свою. «Voyez-vous, la faute est plutôt à l'amant de cette pauvre femme, il est aussi ici, très malade, à l'hôpital et je crois qu'il mourra un de ces jours!» — «Mais, mon cher Haas, qu'avez vous a dire quand cette femme fait sans facon l'aveu a moi, un étranger qu'elle vois pour la première fois dans sa vie, qu'elle a tue son mari?»\* — Да ежели верить Гаазу, да даже почти и Тургеневу, то большая часть сих ссылочных осуждена безвинно. Тургенев не

---

\* «Видите ли, виноват скорее любовник этой бедной женщины, он тоже здесь, очень болен, в больнице, и я думаю, он на днях умрет!» — «Но что вы скажете, милый Гааз, на то, что эта женщина бесцеремонно призналась мне, постороннему, которого она видит первый раз в жизни, в том, что она убила мужа?» (фр.)



переставал никогда твердить мне то же самое о брате своем Николае. Я после того расспрашивал о женщине сей уголовного стряпчего, который тут же случился; он объяснил мне все дело этой женщины, осужденной на вечную каторгу: она, живши с своим любовником, не могла его склонить с нею бежать, наконец, начала уговаривать его убить мужа ее, на что он также не хотел согласиться. «Я докажу тебе, что у меня более духу, нежели у тебя». Пришед в одну ночь, по требованию любовницы своей, в дом ее, она повела его к мужу; он лежал на постеле с раздробленным черепом. — «Ну! возьми труп, снеси и брось его в реку». — «Как же понесу я мертвое тело на себе? А как кто-нибудь меня встретит?» — «Ну, вот тебе мешок, — сказала она, — положи тело в мешок». — «Да тело не войдет в этот мешок». Тогда мерзкая эта тварь разрубила мертвое тело своего мужа на несколько частей, наполнила оным мешок, который заставила любовника своего бросить в реку. При осмотре больницы Гааз показал мне этого несчастного любовника, он лежал на своей постеле бледный, с глазами, обращенными без движения в потолок, он походил более на мертвеца, нежели на живого человека, мучаясь, вероятно, угрызениями совести.

Цепь колодников отправлялась при нас в путь, большая часть пешком и весьма немногие на тележках. Гааз со всеми прощался и некоторым давал на дорогу деньги, хлеба и *библии*. Провидение наделило меня сердцем добрым, но я никогда не мог понимать сострадание к преступнику, и ежели идет дело о помощи, то не лучше ли помогать доброму отцу семейства, вдове, сиротам, нежели какому-нибудь отъявленному злодею. Гааз был, конечно, истинный христианин, а Тургенев — добрейшее создание в мире, но сострадание их имело совсем иную наклонность. Говоря уже о докторе Гаазе, не могу не поместить анекдот, который может заменить целую биографию его. Это случилось во время генерал-губернаторства покойного кн. Дм. Вл. Голицына, который очень Гааза любил, но часто с ним ссорился за неуместные и незаконные его требования. Между ссылочными, которые должны были быть отправлены в Сибирь, находился один молодой поляк. Гааз просил князя приказать снять с поляка кандалы. «Я не могу этого сделать, — отвечал князь, — все станут просить той же милости, кандалы надевают для того, чтобы преступник не мог бежать». — «Ну! прикажите удвоить караул около него; у него раны

на ногах, они никогда не заживут, он страдает день и ночь, не имеет ни сна, ни покоя». Князь долго отказывался, колебался, но настояния и просьбы так были усилены и часто повторяемы, что кн[язь]; наконец, согласился на требование Гааза.

Несколько времени спустя, отворяется дверь князева кабинета, и можно представить себе удивление его, видя доктора Гааза, переступающего с большим трудом и имеющего на шелковом чулке своем огромную кандалу. Князь не мог воздержаться от смеха. «Que vous arrive-t-il, mon cher Haas, — вскричал князь, бросив бумагу, которую читал, и вставши со своего места, — êtes-vous devenu fou?» — «Mon Prince, — отвечал Haas, — le malheureux pour lequel j'ai intercédé auprès de Vous a pris la fuite et je suis venu me constituer votre prisonnier à sa place! Je suis plus coupable que lui je dois être puni»\*.

Не будь это кн. Дм. Влад. Голицын, а другой начальник, завязалось бы уголовное дело, но отношения князя к Государю были таковы, что он умел оградить и себя, и доктора Гааза, которому дал, однако же, престокою нахлобучку. Он вышел из кабинета, заливаясь слезами, повторяя: «Je suis un homme perdu et malheureux, le Prince m'a dit de ne plus oser jamais lui demander aucune grâce, je ne pourrai plus être utile a aucun malheureux!»\*\*

(XIV, 370 — 372)

## 1857

Ольга подтверждает мне еще другую новость, о коей прежде писала, но я всё не очень этому верю, а именно: что французский посол граф Морни женится на княгине Трубецкой, дочери известного шалуна князя Сергея Трубецкого, который недавно выслужил прощение свое, быв разжалован в солдаты. Покойный Государь Николай П[авлович] принудил его жениться на молодой фрейлине Пушкиной, коей Трубецкой сделал брюшко. Роль хорошего мужа была, видно, не по нем, он бросил свою жену, увезя прекрасную Жадиме-

---

\* «Что с вами случилось, дорогой Гааз... не сошли ли вы с ума?» — «Князь... несчастный, за которого я просил вас, убежал, и я пришел занять его место узника! Я виновен более, чем он, и должен быть наказан» (фр.).

\*\* «Я человек погибший и несчастный, князь сказал, чтобы я никогда не смел больше просить его ни о какой милости, и я не смогу больше помочь ни одному несчастному!» (фр.)

ровскую, с коею бежал из России, но был пойман на Кавказе. Говорят, что молодая княжна прекрасная собою. Известно, что граф Морни великий охотник до денежек, а княжна Т[рубецкая] не имеет ничего, кроме прекрасного личика. [...] Морни человек не первой уже молодости, и невероятно, чтобы любовная страсть потушила в нем вдруг все расчеты сребролюбия и честолюбия. В Петербурге говорят, что свадьба должна праздноваться 7-го будущего генваря. Я воображаю себе, как английские журналы будут забавляться сим союзом и оный толковать.

[...] более всего занимает публику гименей французского посла графа Морни. Венчание должно последовать 7-го генваря. К нам приехал зять Долгоруков навестить старушку больную, маменьку свою, провести с нею праздник, а в субботу уезжает обратно в Петербург, чтобы встретиться с женою и детьми Новый год. Он говорит, что молоденькая княжна Трубецкая (невеста француз[ского] посла) действительно прекрасна собою. Она не совсем еще сложилась и, по мнению Долгорукова, через год или два будет женщиною беспримерной красоты. Ко всем прежним *скандалным* рассказам о Трубецком прибавляют теперь, что он влюблен в дочь свою, и что на это обращено внимание всех родственников, а повеса и пострел остается все-таки пострелом и повесою. Ежели бы для награждения сих двух прекрасных качеств учрежден был орден, то Трубецкой имел бы, конечно, первую степень оного, да еще и украшенную алмазами, мой Костя имел бы крестик в петлице, а, может быть, и на шее. Он очень любит Трубецкого, который, вынужденный (несколько месяцев тому назад) оставить Петербург, приехал в Москву и остановился у Кости, когда мы жили еще у Красных ворот, в доме г. *Hundiusa*, скверного немецкого старичишки, которого Костя называл всегда Негг *Schweinius*.

Трубецкой спал на большом диване в гостиной. Приходит поутру квартальный офицер, войдя в комнату и увидя, прежде всех, князя Трубецкого, он спросил его: не здесь ли остановился князь Сер. Вас. Трубецкой?

— Никак нет-с! Здесь с отцом своим живет Конст. Алекс. Булгаков.

— Я знаю, но мне сказали, что князь Тр[убецкой] приехал в Москву и живет здесь.

— Не слышал-с! Но я слышал от Конст[антина] Алекс[андрови]ча, что князь Трубецкой в Петербурге.

— Он приехал в Москву и скрывается.

— Не слышал-с! Но вы можете узнать это в другое время от самого Конст[антин]а Алекс[андрови]ча. Он теперь почивает.

Таким образом, полиции верный служитель отправился домой, не отыскав кн. Трубецкого, хотя с ним и разговаривал. Может быть, и сам Костя ничего не знал насчет сего таинственного обстоятельства, он бы рассказал, не быв большой охотник скрывать секреты и свои и чужие. То только верно, что Трубецкой уехал тотчас из Москвы, а куда? не знаю! Однако же, все, мною рассказанное, не имело никаких последствий, ни огласки.

Новое и, можно сказать, блестящее положение Трубецкого не переменило ни образа мыслей его, ни чувств, ни привычек. Вот что он говорит Косте в последнем своем письме: «J'habite le même toit que ma femme et je ne vis pas avec elle; j'habite le même toit que ma fille et je ne la vois pas; après cela quand j'entends chanter: ou peut on être mieux qu'au sein de sa famille? — je reponds: partout!»\* — Пострел!

(XVI, 259 — 264)

(18 января). Теперь, куда ни приезжай, один вопрос и один разговор: история графа Вас. Ал. Бобринского с профессором Шевыревым. Дело весьма неблагоприятное для обоих лиц. Передам здесь, как рассказана была мне история, не ручаясь за достоверность. Правда откроется после, и я сведения свои могу поправить. Было на днях заседание Общества любителей древностей российских. Оно происходило в доме Александ. Дм. Черткова, который президент речённого общества. Как бывает это везде, даже и у нас в Сенате<sup>62</sup>, вместо того, чтобы заниматься целию, для которой съехались, разговор зашел о предметах посторонних, и граф Бобринский, забывши о древностях российских, начал ругать нынешнюю Россию и поносить умножающееся ежедневно число воров, коими она отличается в Европе. Шевырев стал доказывать, что зло, о коем упоминает гр. Б[обринский], не одной России сродно, что корысть к деньгам обладает ныне всеми государствами, с тою разницею, что в России крадут по сотням и тысячам, а в просвещенной Англии и Франции хищения простираются на **миллионы**, и воры скрываются

---

\* «Я обитаю со своей женой под одной крышей, но не живу с ней; я живу под одной крышей со своей дочерью и не вижусь с ней; и потому, когда твердят: где лучше, чем в лоне семьи? — я отвечаю: везде!» (фр.)

в Америку и другие отдаленные страны, где проживают покойно украденные ими капиталы. «Во всяком случае, я удивляюсь, — прибавил Шевырев, — я удивляюсь, что В[аше] С[иятельство]во, по положению вашему, вместо того, чтобы быть опорой и защитником отечества вашего, вы оное так черните». — «Прошу вас, м[илостивый] г[осударь] мой, голос не возвышать...» — «Речь не о том, граф, возвышаю ли я голос, но о том, дело ли я говорю, вы на это должны мне возражать», — отвечал Шевырев.

Бобринский, сложенный как Геркулес, но у коего умственная организация не соответствует телесной, по недостатку в аргументах прибегнул к бранным словам и личностям. Он стал доказывать, что все зло происходит у нас от университетов и профессоров, кои места свои получают не по знаниям и учености, а по связям и проишкам, — и когда Шевырев заметил, что он не знает, о ком гр. Бобринский говорить хочет, то получил в ответ: «Я говорю об вас именно, вы не имели бы ни чина, ни места вашего, ежели не были женаты на побочной дочери кн. Голицына!..» Тогда Ш[евырев], вышед из терпения, дал (как рассказывают) графу Б[обринско]му один из тех знаков дружбы, который нам неприятен, даже когда мы получаем оный от руки прекрасной женщины... Бобринский, схвативши стул, пошел на соперника своего, и, в противность Священного Писания, здесь могучий Голиаф убил бы неминуемо маленького Давида, ежели бы на крик его не прибежали люди из передней. Не ручаюсь за достоверность рассказа сего, а все-таки история эта прескверная и обоим лицам мало приносит чести.

(24 [января]). Наконец последовала развязка ссоры Бобринского с Шевыревым. Последнему велено, при увольнении от службы, жить в Ярославле. Понятно, что ни то, ни другое не последовало по его желанию, а графу Бобринскому иметь пребывание в своих деревнях. На сборы дано ему неделю времени, но когда предъявлен был ему приговор, он сказал с хладнокровною досадою: «Не имею нужды в этой неделе, я нетерпелив оставить Москву, а чтобы выехать из оной, достаточно для меня двух часов!» Президенту Общества российских древностей и Художественного училища живописи и ваяния, тайн[ому] сов[етнику] Александру Дм. Черткову объявлен строгий выговор, со взнесением оного в его формулярный список. Черткову следовало

угушить ссору при самом ее начале, не допуская оную принять столь позорный оборот, кроме того, не следовало обществу собираться у него в доме, но в университете, где присутствие зеркала<sup>63</sup> не позволило бы Бобринскому и Шевыреву выходить из пределов благопристойности. Оба они, равно как Чертков и Рюмин, исключены из списка членов вышеупомянутого общества.

(XVI, 285)

У Кости совершенная ежедневная ярмонка. Собираются многочисленные его рюмочные друзья. Всякий день слышу: «Завтра еду!»<sup>64</sup>, — а, между тем, он все еще здесь. Положение его самое жалкое! Я душевно бы о нем соболезнавал, ежели и не был он моим сыном: рожденный с самым крепким телосложением, одаренный умом, добрым сердцем, различными дарованиями, — все это ни к чему не послужило. Несмотря на любовь к нему покойного Вел. князя Мих. Павловича, он карьеры своей не сделал, посредством выгодной женитьбы также благосостояния своего не устроил, а, предавшись вину, потерял в молодых годах (вероятно, безвозвратно) главное сокровище на сём свете — здоровье! Не одно здоровье расстроено было губительною страстию к вину, все хорошие качества души начали мало-помалу исчезать. Вместо набожности, в коей был он воспитан матерью своею, наступило безбожие и вольнодумство; все то, что людьми уважается, соделалось предметом его презрения или, по крайней мере, насмешек: верховная власть, родство, религия, старость, заслуги. Единственными его кумирами соделались: веселие, вино и деньги! Многого нагляделся я с горестию в последнее это время. Обещавшись Иноземцову<sup>65</sup> строго наблюдать предписания его в Липецке, он как будто хотел, покуда будет еще в Москве, мстить за вынужденное у него обещание. Убедясь в том, что ни ласкою, ни бранью не переменю пагубных привычек Кости, я давно уже не делаю ему никаких выговоров и, несмотря на сердце мое, вообще к любви расположенное, я вступаю в какое-то горестное состояние равнодушия, к кому же? К сыну моему! Я, однако же, довольно еще люблю его, чтобы радоваться, что он никак не видит пропасти, над которою он стоит. Потеряв употребление ног, с ослабившимся зрением, он не токмо не оплакивает свое положение, находясь во цвете лет, но шутит над собою так же беспощадно, как над другими. Обыкновенный ответ его приходящим узнать о его здоровье: «Вели

благодарить и сказать, что, слава Богу, *хуже!*» Он уподобляет себя иной раз расслабленному Скарону, прибавляя, что, может быть, и на него набредет какая-нибудь Mad. Maintenon<sup>66</sup>, но как бы не набрел скорее на этого нового Дон Жуана неотступный Старый Командор.

30 мая. Отъезд Кости все отлагается, а, между тем, время уходит. Он сделал портрет свой для сестры Катиньки<sup>67</sup> и, так как находят его очень схожим, то дал он его фотографировать для раздачи своим приятелям. Это отсрочило отъезд его еще на несколько дней. Наконец принесли [отпечатанные?] оттиски, и он целое утро занимался надписями на оных; не обошлось и тут без особенных проказ. Вот надпись, сделанная им на портрете, назначенном Мих. Ник. Лонгинову<sup>68</sup>:

От юности моя борют меня страсти!

Под сими словами из псалма Давида написал он: «*Veranger*».

С Катинькою, большою защитницею своего брата, был у меня большой спор насчет портрета. Сходство велико, но Катинька утверждает, что сходство это самое неприятное, что Костя не был никогда красавцем, но имел всегда черты лица выразительные, умные и приятные. Я сознаюсь в том, что все это было, но совершенно исчезло, и что живописец должен был представить не *прошедшее*, а *настоящее*. — Настоящее вовсе не привлекательно и изображает грустные последствия буйных, губельных страстей. Первый портрет был дан им мне. Признаюсь, что подарок сей принял я с грустию, которую показать я ему не хотел, но когда показал он мне экземпляр, назначенный Лонгинову, не мог я не сказать ему: «Ты бы подумал, что то, что мы говорим, с нами умирает, но что мы пишем своеручно и подписываем, остается и после смерти нашей вечною укоризною». Он понял справедливость моего замечания, но к чему это послужит? Дело сделано.

(XVI, 303 — 304)

Настала совершенно пустая пора. Нет никаких новостей, ни политических, ни домашних. Говорят о каких-то еще новых переменах в мундирах, как военных, так и штатских. В роде сём много уже перебывало, и для бедных чиновников

это дело довольно убыточное. Жалованья их недостаточно для самонужнейших расходов, где взять им денег на чрезвычайные и неожиданные? На этот случай рассказывают острый каламбур кн. Меншикова. В одном обществе в Петербурге речь зашла о вышепомянутых переменах. Какой-то молодой человек начал восставать против беспрестанных перемен в формах для мундиров и, наконец, увлеченный своим красноречием, осмелился сказать, что Государь не портной, что его дело царствовать, а не шить!

«Советую вам не разглашать суждения ваши так сильно», — возразил кн. Меншиков молокососу, который стал оправдываться тем, что все вообще это говорят. «Тем хуже для них, — отвечал Меншиков. — А что скажете вы, ежели тот, коего (как вы уверяете) все жалуют в портные, вместо того, чтобы *шить*, да начнет *пороть*, начиная с вас?»\*

(XVI, 306)

Теперь в Москве, куда ни поезжай, другого разговора нет, как о случившейся схватке между здешними студентами и полициею. [...] На квартире одного студента праздновались его именины, а можно ли именины праздновать без вина и, следовательно, без шума? Пушки были все налицо, но недоставало пороха; один из студентов послан был за военными припасами в ближний кабаk. Было темно, вечер на дворе. Студент возвращался на место сражения с бутылками и штофами под шинелью. Увидя его, полицейский офицер начал его окликать, но он, вместо ответа, пустился бежать, а офицер пробежал за ним и вторгся в комнату, где праздновались именины. «Зачем ты сюда пришел?» — закричали студенты. — «За воров, который от меня бежал», — отвечал полицейский офицер. — «Какой тут вор, — возразил обиженный студент, — этот вор — я! Я ни у кого ничего не украл, тебе никто не жаловался». — «Пошел вон отсюда, — закричали хором студенты, — или мы тебя вытолкаем!» Офицер, видя превосходство неприятельских сил, счел полезным прибегнуть к благоразумной ретираде и возвратиться на место сражения с подкреплениями и артиллерию. Он возвратился в скором времени с отрядом казаков, коих (как рассказывают) студенты встретили залпом бутылок выпитого шампанского вина. Несчастные студенты

---

\* По рассказам других, каламбур этот был будто сделан самим Государем. (Примеч. А. Я. Булгакова.)



были схвачены, связаны, и так как они оказывали отчаянное сопротивление, то они были жестоко избиты нагайками и даже саблями казаков и приведены в частный дом. Раны семи студентов были столь значительны, что многих отправили в клинику для лечения. Уверяют, что один из них даже умер. [...]

Вяземский писал мне еще в августе месяце, что, для сложения с себя калифства на час<sup>69</sup>, ожидает токмо возвращения из чужих краев министра Норова, и что тогда приедет в отпуск в Москву видеться со старыми приятелями и побывать в своем Остафьеве. Ольга пишет мне, что он отпуск получил и имеет вместе с сим предписание войти в рассмотрение происшедшей с студентами истории. Ожидаю его с радостью и нетерпением [...]

(19 окт.). Вот и любезнейший наш Вяземский приехал наконец. Чтобы непременно застать его дома, я отправился к нему пораньше. Та же была здесь встреча, как и в последний раз в Петербурге. Он вставал с постели и совершал обыкновенную свою операцию, натирая тело свое щеткою. Я нашел его здоровым, бодрым, нимало не переменившимся и по-старому любезным. Он остановился у попечителя здешнего учебного округа, старинного хорошего моего знакомого Евграфа Петров. Ковалевского. Наше, так как и все первое свидание, посвящено было бесчисленным вопросам и ответам, но мы условились на днях обедать вместе втроем: он, Ковалевский и я, чтобы хорошенько наговориться. [...]

Бедный Николай Дмитриевич Караулов не избежал жребия, который приутоворяла ему несчастная страсть к вину. Ее одну, а не другие необходимые нужды, удовлетворял он деньгами, от меня получаемыми. Мало-помалу дошел он до совершенной нищеты, нанимал у пономаря церкви Фрола и Лавра против Почтамта не комнату, а канурку, где едва помещаться могла постель и столик. Узнав, что он очень болен, я тотчас к нему поехал и содрогнулся от положения, в коем его нашел. Нечего было делать, как отправить его в больницу, на что он очень охотно согласился, просивши только прислать ему чаю, сахару и два калача. От него заехал я в большую Екатерининскую больницу к начальнику оной Андрею Ивановичу Полю, прося его принять бедного больного и иметь особенное об нем попечение. Караулову было доставлено все, что он просил, и на другой день отвезли его в больницу, но спасти его не

было уже возможности, и он скончался 21-го октября. Отец его был полковником, имел 1500 душ, он управлял канцеляриею генерала Чичерина во время всеобщего ополчения в 1812-м году, но вел распутную жизнь и растратил почти все свое состояние. Николай Дм[итриевич], сын его, был в военной службе, получил знаки отличия и прусский орден «Pour le merite»\*. Он был человек грамотный и заведовал тяжёбными делами покойной моей жены после кончины тестя моего князя Вас. Алекс. Хованского. После препоручил я ему также и мои дела. Грустно было видеть унижение, ничтожность, в которые мог впасть дворянин, имевший способности и возможность до чего-нибудь достигнуть, продолжая службу. Страсть к вину все это уничтожила. Когда я горестную эту картину представлял своему Косте, то он удовольствовался ответом, шутя: «Я, вероятно, так же кончу, как милый дядюшка Караулов!» Он так всегда называл покойного Николая Дмитриевича. Часто с сердцем, наполненным горести, думаю я о том, что ожидает моего сына, удел мой молчать и сокрушаться, потому что всякий день более и более убеждаюсь в том, что делать нечего, совершенно нечего!..

Обедам в честь Вяземского нет конца, и я от них и не могу, и не хочу отказываться. Третьего дня угощал нас князь Ник. Ив. Трубецкой, вчера Алекс. Петрович Загрязский. Невольно лишнее съешь и выпьешь. После обеда начинается куренье сигар, рассказы о старине, которая как-то отраднее теперешней нашей жизни. Вяземский скоро нас оставляет, не имея времени ожидать развязки студентской истории с полициею: следствие должно продолжиться еще недели две или три. Вяземский обедал сегодня (27 окт.) у Кости. Условлено было, что на обеде этом будем только мы и шурин его кн. Фед. Фед. Гагарин, но этот занемог и не мог приехать. Моя доля в этом обеде были устерсы, только что привезенные из Петербурга, и фрукты. Мы проболтали до 10-го часа вечера. Я показывал Вяземскому целую кипу писем его ко мне, кои я собрал для отдачи в переплет. Нашлись бы охотники дорого заплатить мне, но я драгоценные эти рукописи не отдам ни за какие деньги, в какой бы не мог я случиться нужде<sup>70</sup>.

(XVI, 347 — 353)

---

\* «За заслуги» (фр.) — высший прусский орден.

Сей час (2 декабря) получаю от Вяземского уведомление, что статья моя *Отрывок из записок старого дипломата* напечатана в фельетоне *СПбургских академических ведомостей* от 19 ноября, № 260. Письмо его от 30-го ноября. Вот что он мне говорит:

Надеюсь, что ты себя лицезрел, или рукозрел, или перозрел во вчерашнем № *СПбургских ведомостей* и любовался собою. Отдельные оттиски будут скоро тебе доставлены. Прошу принять к сведению, что, несмотря на свое нездоровье, я сам перечитывал последнюю корректуру, боясь, в особенности, какой-нибудь какофонии и какографии по французской части. Кажется, все исправно. Это должно тебя поощрить. Вытащи еще что-нибудь из своей бумажной кладовой, напр., о Ростопчине. Можешь даже просто выбрать и собрать несколько писем, с приложением к ним объяснительных сведений о времени и обстоятельствах, при которых они писаны были. К этому сами собою приплетутся разные воспоминания, анекдоты, портреты, и всё вместе составит живую и занимательную картину. У тебя целый Сан-Франциско в твоём архиве. Не лежи, как собака на своём сене, или на своём золоте, и поделись с нами. [...] Память о старине с каждым днем обрывается. Мы одни еще (весьма немногие) удержали несколько лоскутков. С нами они пропадут навеки. Сошьем пока из них мячики: для потехи своей, и чтобы недаром пропали дорогие остатки. Около двух недель сижу дома с *гриппом*. Почти весь город прошел сквозь этот строй. С нынешнего дня мне получше, а то ничем заниматься не мог: заливался слезами и соплями. Чуть не забыл я тебе еще сказать, что, по совету Плетнева, исключил я эпилог из твоей статьи. Он был лишним прихвостником в рассказе.  
(XVI, 358 – 359)

Костя, несмотря на свои страдания, продолжает вести такой же губительный образ жизни: не бывши даже мичманом ни в каком флоте, у него в продолжение дня, по крайней мере, двенадцать адмиральских часов<sup>71</sup>. Как скоро гость к нему в дверь (а известно, что гости его не члены славного общества

воздержания), он кричит: «Алексей!\* Подай водки!» Вторая забава — музыка! Третья: карты! Четвертая: обед! Пятая: чтение журналов и особенно книг запрещенных, в коих ругают Россию. Он в величайшем веселом расположении, когда приятели присылают ему свежий № *Колокола*, журнала, издаваемого в Лондоне на русском языке изгнанным из России Герценом\*\*, скрывавшим имя свое под псевдонимом *Искангер*. Шестая: переписка с обожаемою Костею Мариєю Савишною Бем, коей муж дворянским предводителем в Ярославской губернии. Седьмая: ежедневная прогулка в санях или коляске перед самым обедом. Он останавливается у ворот своих приятелей и знакомых и посылает Келя (славный музыкант, пианист, живущий у нас) узнавать об их здоровье. Можно представить себе, какую тревожную жизнь ведет этот несчастный молодой человек. Слушая беспрестанные крики моего Скарона «Кель! Кель! — говорю я сам себе: — *quel souffre — douleur!*»

Kehl de qui,  
Kehl de là,  
Kehl va qui,  
Kehl va là\*\*\*.

Ему еще хуже жить, чем Чеперентоле. Я всегда избегаю говорить о Косте в записках моих: радостного нечего сказать. Довольно посмотреть на его лицо, на коем резко отпечатывается несчастная страсть, укоротившая жизнь его и отнявшая у него владение ногами. Развратная и распутная жизнь довершила начатое вином. Он сделался равнодушным ко всему тому, что прочими смертными почитается святым или священным; вспоминая годы молодости его, я... Но зачем

---

\*... Бывал у него камердинер Илья, славный пьяница и дурак, коего он, наконец, прогнал. Мало он по нем тужил и утешился, напевая: «Не Илья! Mais non, j'oublie qu'il n'y a plus d'Ilya». (Примеч. А. Я. Булгакова. Перевод: «Я забываю, то ли он есть, то ли его больше нет» (фр.) — игра слов на созвучии русского «Илья» и французского «d'Ilya»).

\*\* Герцен — побочный сын Ивана Яковлевича Яковлева. Я часто с ним виделся у сенатора Льва Алексеев. Яковлева. Герцену было лет 13, но и тогда уже случилось мне удивляться смелым его суждениям. (Примеч. А. Я. Булгакова.)

\*\*\* «какой («quel» произносится как «кель». — С. Ш.) козел отпущения!»

Кель откуда,  
Кель оттуда,  
Кель, иди сюда,  
Кель, иди туда (фр.).

буду я предаваться горьким сим размышлениям. Было время, что я сильно скорбел о Косте, теперь не то уже питаю к нему чувство. Я боюсь, чтобы прежняя моя к нему любовь не превратилась со временем в совершенное равнодушие. К нему нельзя даже иметь сострадания, потому что он всегда весел, не жалуется, или редко, на то, что должен претерпевать. Обыкновенный, или, лучше сказать, всегдашний, ответ его к присылающим узнавать о его здоровье, заключается в сих словах: «Скажи, что мне, слава Богу, хуже!» или: «Я не собираюсь еще *околевать!*» Это все еще *цветочки*, слишком было бы грустно говорить об *ягодках*. Теплая вера, служащая всякому страждущему христианину утешением и подмогою, давно изгнана из сердца больного. Давно не замечал я ни одной черты чувствительности в поступках или разговорах Кости, тогда как добродетель эта всегда наполняла сердце его. Нет святого лица, предмета, вещи, обязанности, долга, к которым оказывал бы он малейшее уважение, напротив того, он над всем этим шутит, ему все равно, о ком бы ни говорили, нет изъятия ни для кого. Одним словом, грамота, предоставляющая митрополиту Филарету звание праведного и святого<sup>72</sup>, не столько бы его порадовала, как Костю — слыть замечательнейшим и блистательнейшим *esprit fort*\* в целой Российской империи. Он не упускает ни одного случая выказывать *крепкую эту слабость*, как и все вольнодумцы вообще. Но полно о сём тяжком для сердца предмете. И теперь, писавши сии строки, слышу голос его и крики; не знаю, за что и с кем бранится.

Вот и утешение, посылаемое мне Богом! Как это кстати: письмо от моей бесценной, любезной Ольги. От дочерей идут мне все семейные радости и утешения. Не одна Ольга отрада моя, те же чувства нахожу я в муже ее и детях. Пойду для развлечения прогуляться пешком.

Возвратясь домой с мыслями довольно мрачными, зашел я к своему больному. Быть у него для меня то же, что бороться с чувством сострадания и негодования. Весь вчерашний день жаловался он на ужасные боли, но они не имеют никогда влияния на постоянную, неизменяющуюся веселость, все та же бодрость 25-летнего молодого человека, а не дряхлость безногого старика. Говорит, что прекрасно спал, ездил прогу-

---

\* вольнодумцем (фр.).

ляться, заезжал к Мих. Фед. Рахманову сообщить ему большую петербургскую новость. Повторяю его слова: «Я послал, папинька, Келя сказать Рахманову, что было в Париже покушение на жизнь Наполеона, что в ту минуту, что Е[го] И[мператорское] В[еличест]во изволил подъезжать к театру, разразилась inferнальная машина, что Император и жена его остались невредимы, карета убита до смерти, ранена шляпа Наполеона, но доктора вынули искусно пулю и ручаются жизнью своею, что шляпа останется жива и будет по-прежнему усердно чередоваться с короною, фуражкой и ночным колпачком Его Императ[орского] Величества. Скажи Рахманову (продолжая свои наставления Келю), что, хотя мне было вчера, слава Богу, хуже, я надеюсь совершенно выздороветь, потому что приехал сегодня мой сердечный и истинный друг Сергей Трубецкой».

Что делать с таким человеческим созданием? Думая об нем, каких не даю ему тяжелых для сердца моего наименований, и всё обрушивается на одном слове: пострел!

(XVI, 373 — 375)

Ольга вырезала из полицейских газет и прислала мне следующее короткое объявление, которое напечатано уже, впрочем, в сегодняшней *Северной пчеле*:

### Особые известия

До сведения правительства дошло, что проживающий в СПбурге отставной надворный советник Мухин читал в одном из здешних трактиров находившимся там лицам изданное за границу сочинение преступного содержания.

Произведенным исследованием и собственным сознанием Мухина сведение это подтвердилось, а потому он выдержан под стражею и выслан из СПбурга в одну из отдаленных губерний под строгий полицейский надзор.

---

Сочинение преступного содержания, о коем говорится, как пишет мне Ольга, не что иное как *Колокол*. Под сим названием издает теперь в Лондоне известный изменник отечеству своему Герцен, скрывающийся под псевдонимом Искандера, журнал на русском языке, названный им *Колокол*. Понятно, что пишется это не для англичан, но для

русских, разбросанных по Европе, а равномерно и для русских, в России живущих. Понятна также и благонамеренная, патриотическая цель Герцена. Участь всех скандальных сочинений бывает всегда обращать на себя всеобщее любопытство, а потому и у нас много охотников читать лжи и мерзости, коими наполнен всегда *Колокол* насчет России. Получа письмо Ольгино, я пошел тотчас к Косте и прочел ему присланное сестрою его печатное объявление насчет Мухина. Я надеялся, что это послужит ему уроком, но вместо того он удовольствовался сказать мне довольно равнодушно: «Так что же? Экая беда! Вы сами знаете, папилька, что я имею *Колокол*... есть чем хвастаться?» — «Уж это нехорошо, что ты имеешь у себя скверную эту книгу, но ежели есть у тебя *Колокол*, то, по крайней мере, в оный не благовести. Можно и порох в доме иметь, но надобно держать подальше от него серные спички». Все это не помещается в башке моего блудного сыночка. Дело в том, что и усерднейшие партизаны Искандера и адской гармонии его *Колокола* не могут Государя обвинить в излишней строгости. Тут уже речь не о шалости молодого, ветреного человека. Никто не скажет, что Мухин был неосторожен. Нет! Человек, который несет с собою возмутительное сочинение и читает оное вслух в трактире людям, ему по большей части не знакомым, такой человек записался уже в звонари Искандерского *Колокола*, он хочет вредить своему отечеству, он старается вселить в народе презрение к лицам, которые почитаются у нас священными, а *Колокол* наполняется всегда ругательствами на царскую фамилию и особенно на покойного Государя Николая Павловича и вдовствующую Императрицу Александру Федоровну.

Государь был токмо правосуден. Он был обязан Мухина наказать, но и в наказании самом явил Он милосердие свое. Другая лежит теперь обязанность на Государе. Этот *Искандер*, проживающий спокойно в великодушной Великобритании, дающей щедрое пристанище всем бездельникам, изгнанным из отечества своего, разлученный морями и землями от России, не святым же духом знает все, что в ней происходит, толкуя всякое происшествие по-своему, т. е. в дурную сторону. Откуда получает он все сии сведения? Разумеется, от корреспондентов, которых он имеет в СПбурге и Москве и в других городах и которые сами доставляют ему сведения совсем уже в превратном виде. Пора бы, давно

пора добраться до этих господ корреспондентов г-на Искандера, ежели не для того, чтобы подвергнуть их должному наказанию, то для того, чтобы Искандер сидел, поджавши руки, не имея что вышивать по своей гнусной канве.

(XVI, 384 — 386)

## 1858

Александр Дюма, погостив здесь недели три, уехал, не сделав особенного впечатления на жителей московских. Он не показывался здесь ни в каких обществах, и тем более, что жил в Петровском парке, на даче у Дм. Павловича Нарышкина, который, со своей стороны, живет также с привезенною им из Парижа Madame или Mademoiselle Falcon. Я не имел чести даже видеть великого этого мужа, но Костя, ожидавший с нетерпением прибытия его, не только с ним познакомился, но даже подружился, часто к нему ездил и обедал у него, т. е. у Нарышкина. Бывал бы у него, говорит он, еще чаще, но Дюма ему надоедал беспрестанными просьбами делать ему переводы на французский язык разных русских сочинений. Дюма дал Косте лестное наименование: *charmant mauvais sujet*\*, в одной из записок своих назвал его и настоящим его именем, *ivrogne*\*\* , но не соблюл обязанностей благовоспитанного человека: не навестил его ни одного раза. Вот что написал Дюма в Костином альбоме:

«La femme n'est pas la femelle de l'homme, c'est la femelle des hommes.

A. Dumas.

Pensée à l'usage de Constantin Bulghakow.  
Annee 1858. Petrofsky Parc»\*\*\*.

Не стану делать замечаний. Это повело бы меня слишком далеко. Лучше было бы удалиться от него, но прибавлю еще несколько слов. Должно удивляться (ежели нет на то каких-либо особенных, важных причин), что Дюма уезжает из Москвы, когда вскоре должен прибыть туда Государь

---

\* очаровательный негодяй (фр.).

\*\* пьяница (фр.).

\*\*\* «Женщина — это не самка для мужчины, а самка для мужчин.

A. Дюма.

Мысль, предназначенная Константину Булгакову.

Год 1858. Петровский парк» (фр.).



Император. Для такого зрелища туристу можно бы приехать нарочно, даже издалека. Дюма может объехать всю Европу, ему не представится нигде и никогда подобная картина. [...] Путешественник, не видевший Русского Царя в Москве, не может сказать, что он видел Россию. Дюма дал большой промах [...]. Он отправился в Нижний Новгород, откуда проберется на Кавказ и намерен погостить в Тифлисе. Увидим, что-то выльется из его пера по возвращении во Францию: чернила или желчь, как у Кюстина?<sup>73</sup> Я удивляюсь, что он не посетил ни одного раза Аглинский клуб. У иного германского владетельного принца дворец не так обширен, как дом, в котором помещается наш клуб, не знаю, почему называют его Аглинским? Он не был основан англичанином, и я не встречаю там ни одного англичанина, очень редко по крайней мере.

С отъезда своего из Москвы Дюма один только раз писал к Mad. Falcon (кажется, из Нижнего). Лаконическое его письмо заключалось сими словами: «Je suis un homme de lettres mais je n'aime pas à en écrire!»\* Мы видим из *Московских ведомостей*, что Дюма приехал в Казань в конце сентября. Он остановился не в самом городе, но в предместье его, в Адмирал[тейской] слободе, и всюду являлся в одежде *русского ополченца\*\**, не из особенно, однако же, дружественного чувства к России. Он в одном доме сказал преспокойно (и презязвительно?), «что оставил свой европейский костюм в последнем европейском городе — С.-Петербурге!» Г-н Дюма изволил солгать, потому что в Москве он показывался в парижском фраке, но еще чаще в шароварах и халате. Так как он, находясь еще в России, не слишком женируется\*\*\*, то надобно думать, что когда автор Монтекриста возвратится в Францию, он перецеголяет Кюстина в рассказах своих о России и русских.

Первое письмо Никоши<sup>74</sup> писано из Venezia la felice\*\*\*\*. На заглавном листке рисунок, изображающий la piazza di S. Marco\*\*\*\*\*. Оно дышит радостью, спокойствием —

\* «Я писатель, но не люблю писать!» (фр.)

\*\* Желательно бы знать, кто дал Дюма право носить одеяние наших ополченцев. Это бессмысленница [так!]. Что сказали бы в Париже, увидя русского, гуляющего по бульвару Des Italiens в костюме французск[ой] национальной гвардии? (Примеч. А. Я. Булгакова.)

\*\*\* стесняется (от фр. gene).

\*\*\*\* благословенной Венеции (ит.).

\*\*\*\*\* площадь Св. Марка (ит.).

наполнено разными любопытными рассказами. [...] Он говорит о ненависти итальянцев к австрийцам. Для итальянцев музыка и шутки необходимы, даже когда дело идет о важных предметах, каковы, напр., заговоры, революция, мятежи. Известно, что сардинский король служит итальянцам скрытым предметом и оружием их желаний. Читая газеты, Никоша не понимал энтузиазма венециан к одному Верди исключительно. Все прочие maestri, сам Россини, освистывались при криках: «Verdi! Verdi!», а чтобы кассы театра Fenice не были пусты, надобно было давать беспрестанно *Ернани*, *Травиату*, *Троватора* и пр., — но венециане, не довольствуясь сим, и на улицах, в кофейных домах, при всяком случае повторяли, кричали, воспевали имя всеобщего героя Верди. Министр наш в Вене Балабин<sup>75</sup>, полюбивший очень внука моего, объяснил ему тайну обожания к Верди. Имя Verdi заключает в себе символический девиз чувств и желаний всех патриотов Северной Италии:

V	—	E	—	R	—	D	—	I
Victor		Emmanuele		Rex		Di		Italia

Вот их желания, вот цель их, вот условленный между ними лозунг! В театрах освистывают все оперы лучших композиторов при криках: «Verdi! Verdi!» Крики эти повторяются не только в театрах, но и на улицах, в ресторациях, кофейных домах при всяком удобном случае. Австрийской полиции неловко придирается к невинному, не бранному слову Верди, а потому и вынужденною находит отмалчиваться и притворно ставит Верди выше Моцарта и Бетховена, зато тайная полиция германская не унывает. Никоша не сообщает политических вестей, потому что письма, отправляемые из Венеции, проходят все через Вену и почтовую перлюстрацию, зато обещает он писать свободнее из Ниццы, откуда все письма в Россию идут через Париж.

(XVII, 67 — 93)

## 1859

В этом году и даже в весьма непродолжительном времени мой Костя лишился многих своих товарищей, приятелей и друзей, а именно: профессор Рулье; Александр Павлович Плещеев; князь Алекс. Дм. Салтыков (известный турист, умерший в Париже); князь Мих. Яковл. Несвицкий, который,

проведя с нами вечер в прошедшем месяце, вздумал вдруг на другой день застрелиться; известный разными своими похождениями и авантюрами князь Сергей Трубецкой; славный наш меломан Глинка...

(XVII, 117)

## Примечания

<sup>1</sup> Экспедитор Московского почтамта.

<sup>2</sup> Имеется в виду пушкинская эпиграмма «В Академии наук / Заседает князь Дундук...».

<sup>3</sup> Стихотворение Пушкина называется «На выздоровление Лукулла».

<sup>4</sup> Здесь в значении «погода» (см. «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля).

<sup>5</sup> *Монферран* Август Августович (Огюст Рикар де) (1786–1858) – русский архитектор французского происхождения, на российской службе с 1816 г. Автор Исаакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге.

<sup>6</sup> Вероятно, в тюремную больницу.

<sup>7</sup> Это пушкинское «*bon mot*» Булгаков повторил в письме к своей дочери О. А. Долгоруковой от 10 мая 1836 г. (см.: Русский архив. 1906. № 11. С. 435).

<sup>8</sup> *Тургенев Александр* Иванович (1784–1845) – литератор, историк, публицист, занимался сбором материалов по истории России в архивах и библиотеках Европы, о чем Булгаков пишет в публикуемых фрагментах дальше.

<sup>9</sup> Имеется в виду восстание в лейб-гвардии Семеновском полку в октябре 1825 г. против бесчеловечного обращения с солдатами командира полка полковника Ф. Э. Шварца. После его подавления вместо расформированного Семеновского полка был создан новый – из солдат гренадерских полков.

<sup>10</sup> Конгресс проходил в Троппау (немецкое название чешского гор. Опава).

<sup>11</sup> Булгаков воспроизводит расхожую легенду о причинах отставки Чаадаева, отразившуюся в воспоминаниях Д. Н. Свербеева и А. И. Герцена, которая ничего общего с действительностью не имеет и опровергалась еще в прошлом веке (см., напр.: *Жихарев М. И.* Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989. С. 48–119).

<sup>12</sup> Статья Чаадаева в «Телескопе» называлась «Философические письма к г-же\*\*\*. Письмо I». Все «Философические письма» были написаны по-французски; перевод первого для «Телескопа» сделал Н. Х. Кетчер (по предположениям некоторых исследователей – А. С. Норов).

<sup>13</sup> Ошибка Булгакова: «г-жа\*\*\*», которой были адресованы «Философические письма» – Елизавета Дмитриевна Панова.

<sup>14</sup> Попов В. М. (1771—1842) — директор Департамента народного просвещения при Министерстве народного просвещения, секретарь Библейского общества, член Высшего переводного комитета, редактировавшего русские переводы Библии. После удаления в 1824 г. кн. А. Н. Голицына от должности министра народного просвещения и духовных дел Попов служил под его начальством в Почтовом департаменте. Зилантов-Успенский мужской монастырь, куда он был сослан и где скончался, основан Иваном Грозным после взятия Казани, помещался в 2 верстах от города, на Зилантовой горе, омываемой речкой Казанкой.

<sup>15</sup> В тексте описка: «у Турчаниновой».

<sup>16</sup> Татаринова Катерина Филипповна (рожд. баронесса фон Буксгевден; 1783—1856) — выпускница Смольного института, жена полковника, участника Отечественной войны 1812 года, с которым развелась около 1815 г. Жила в Михайловском замке, откуда была выселена в 1824 г., но, приобретя имение за Московской заставой, основала там свою сектантскую колонию. После ареста и расследования ее дела в 1837 г. выслана в Кашинский женский монастырь. В 1848 г. дала расписку «не распространять ни тайно, ни явно прежних своих заблуждений» и смогла переехать в Москву, где и скончалась. Документально-художественное повествование о ней принадлежит поэте и переводчице Анне Радловой (1931). См.: Повесть о Татариновой // Радлова Анна. Богородицын корабль. М., 1997. (Лотмановский сборник. Вып. 1. Материалы и исследования по истории русской культуры).

<sup>17</sup> Головин Евгений Александрович (1782—1858) — ген. от инфантерии, командующий на Кавказе отдельным корпусом (до 1842), затем ген.-губернатор Прибалтийского края, с 1848 — член Государственного совета. Принадлежал к секте Татариновой, давал показания перед следственной комиссией.

<sup>18</sup> Речь идет о князе Александре Николаевиче Вяземском и его жене княгине Александре Николаевне. Вот как это происшествие преломилось в воспоминаниях Елизаветы Петровны Яньковой:

Князь Александр тоже часто менял наемные дома, иногда и не без причины. К нему по вечерам часто собирались игроки в банк играть, так как он сам был большой игрок [...]. В числе бывавших у него игроков часто езжали какой-то Сверчков и Дорохов. Как их звали и что это были за люди, совсем не знаю. Весь вечер играли, дело было к утру; встали, начали считаться, вдруг проигравшийся опрокинул стол, а выигравший подбежал к письменному столу, на котором лежал кабинетный кинжалец, хватя его и пырнул им в бок опрокинувшего стол; тот упал, хлынула кровь... Пошла суматоха в доме, послали за доктором, за женой раненого и, пока еще можно было, отвезли его поскорее домой, где несколько дней спустя он и умер. Вот они, карты-то, до чего доводят...

(Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 334).

<sup>19</sup> Речь идет о сочинении И. И. Дмитриева «Путешествие N.N. в Париж и Лондон», напечатанном в количестве 50 экземпляров отдельной книжкой

в 1808 г. и начинающейся словами: «Друзья! Сестрицы! я в Париже! / Я начал жить, а не дышать!»

<sup>20</sup> *Тормасов Александр Петрович* (1752—1819) — граф (с 1816), московский ген.-губернатор с 1814 г.

<sup>21</sup> *Горголи Иван Саввич* (1770—1862) — санкт-петербургский обер-полицейстер в 1811—1821 гг. (о нем говорит Пушкин в стихотворении «Noël»: «Закон постановлю на место вам Горголи...»), затем сенатор (1825—1858), историк.

<sup>22</sup> Почтовая такса на итальянском и немецком языках называлась *porto*. Почтовые марки появились в России в 1857 г., на 17 лет позже, чем в Англии, где они были изобретены.

<sup>23</sup> *Прянишников Федор Иванович* (1793—1867) — петербургский почт-директор с 1836 г., назначенный на эту должность после смерти К. Я. Булгакова.

<sup>24</sup> См.: *Le prince Wiasemski. Incendie du Palais d'hiver a Saint-Petersbourg*. Paris, 1838.

<sup>25</sup> Ср. очерк А. И. Герцена «Александр Лаврентьевич Витберг» в его книге «Былое и думы». Герцен в вятской ссылке познакомился с Витбергом, и личность архитектора произвела на него огромное впечатление.

<sup>26</sup> Зимний дворец сгорел 17 декабря (ст. ст.) 1837 г. и был отстроен заново за год; освящение прошло на Пасху 1838 г.

<sup>27</sup> *Загоскин Михаил Николаевич* (1789—1852) — писатель, директор Московской конторы императорских театров.

<sup>28</sup> *Хитрово* (Тизенгаузен-Хитрово) Елизавета Михайловна (1783—1839) — любимая дочь фельдмаршала, светл. кн. М. И. Кутузова и жены его Екатерины Ильинишны, урожд. Бибиковой, в первом браке гр. Тизенгаузен.

<sup>29</sup> Впервые были изданы за границей кн. П. В. Долгоруковым (между прочим, личным врагом Булгакова), под заглавием «Записки Д. В. Давыдова, в России цензурой не пропущенные» (Лондон—Брюссель, 1863).

<sup>30</sup> Имеется в виду мемуарный очерк Д. В. Давыдова «Тильзит в 1807 г.» (Сто русских литераторов. Т. 1. СПб., 1839).

<sup>31</sup> *Нессельроге* Карл Роберт (Карл Васильевич), граф (1780—1862) — государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел в 1816—1856 гг.

<sup>32</sup> Отряд В. А. Перовского (1795—1857) выступил из Оренбурга 14 ноября (ст. ст.) 1839 г., а возвратился в Оренбург в ночь с 13 на 14 апреля 1840 г.

<sup>33</sup> Оптимизм Булгакова входит в противоречие с действительностью. Так, в книге о походе Перовского, написанной по свидетельствам очевидцев и документам, говорится:

Вместо обыкновенных русских полушубков, в которые необходимо следовало бы одеть весь отряд, он одет был Бог весть как — не только скаречно, но просто карикатурно: людям, перед самым выступлением из Оренбурга, дали полушубки, сшитые из чебачи, сшитые самым примитивным способом, практиковавшимся здешними номадами в отдаленные времена

и сохранившимся лишь в аулах у самых бедных киргизов» — и далее, о недостатке продовольствия и топлива, смертности от обморожений, дизентерии, цинги, ежедневных похоронах на походе (Захарьин И. Н. (Якунин). Граф В. А. Перовский и его зимний поход в Хиву. Ч. 2. СПб., 1901. С. 30).

<sup>34</sup> Вряд ли отряд В. А. Перовского мог быть назван «маленьким»: ср. в опубликованных выше фрагментах записок Булгакова упоминание о его численности.

<sup>35</sup> В книге И. Н. Захарьина упоминаются всего *трое* расстрелянных киргизов (Захарьин (Якунин) И. Н. Указ соч. Ч. 2. С. 62—63).

<sup>36</sup> 21 мая 1841 г. В. А. Жуковский женился на дочери своего друга художника Елизавете Евграфовне Рейтерн (Reitern; 1821—1856). Поэт посвятил ей стихотворение «О, молю тебя, Создатель...» (вольный перевод из Н. Ленау).

<sup>37</sup> То есть посыльные от Жуковского к Булгакову, чтобы узнать, нет ли писем.

<sup>38</sup> Младшая дочь Булгакова, кн. Ольга Александровна Долгорукова (1814—1865).

<sup>39</sup> По-видимому, речь идет о плате «человеку для сбережения платья», по-современному — гардеробщику.

<sup>40</sup> Книга, выпущенная Долгоруковым, называется «Заметка о главных фамилиях России» (*Le comte d'Almagro. Notice sur les principales familles de la Russie. Paris, 1842*).

<sup>41</sup> Сестра А. В. Сухово-Кобылина Евгения Васильевна Салиас де Турнемир (1815—1892) — в будущем писательница (под псевдонимом Евгения Тур).

<sup>42</sup> *Ленорман* (Lenormand) Мария-Анна-Аделаида (1772—1843) — французская гадалка на картах и предсказательница, автор нескольких книг.

<sup>43</sup> *Перовский* Борис Алексеевич (1815—1881) — брат В. А. и Л. А. Перовских, граф с 1855 г., член Государственного совета, ген. от кавалерии. Был женат на племяннице Булгакова Софье, почему Булгаков и называет его своим племянником.

<sup>44</sup> *Аглерберг* Владимир (Эдуард Фердинад Вальдемар) Федорович (1790—1884) — граф, министр императорского двора и одновременно начальник Почтового департамента, т. е. непосредственный начальник Булгакова.

<sup>45</sup> *Голохвастов* Дмитрий Павлович (1796—1849) — историк, двоюродный брат Герцена, попечитель Московского учебного округа с 1847 г. Сменил в этой должности графа Сергея Григорьевича Строганова (1794—1882), время управления которого (1835—1847) было, по общему отзыву современников, блестящей эпохой для Московского университета.

<sup>46</sup> *Панютин* Федор Сергеевич (1790—1865) — ген.-майор, впоследствии член Государственного совета

<sup>47</sup> *Паскевич* Иван Федорович (1782—1856) — светл. кн. Варшавский, граф Эриванский, ген.-фельдмаршал, управляющий Кавказским краем в 1827—1831 гг., с 1831 — наместник Царства Польского.

<sup>48</sup> Скорее всего, имеется в виду писатель Николай Федорович Павлов (1803 — 1864). Несколькоими годами позднее, 10 января 1853 г., он был арестован по доносу, сделанному его женой (писательницей Каролиной Павловой) и тестем, сменившему в 1848 г. кн. Щербатова в должности московского генерал-губернатора графу А. А. Закревскому. При обыске в кабинете нашли запрещенные к ввозу книги (Н. И. Тургенева, И. Г. Головина, Л. Блана, А. Ламартина, А. Тьера и др.) и выслали Павлова в Пермь на 10 месяцев (подробнее см. об этом: *Зайцева И. А.* К истории ареста и ссылки Н. Ф. Павлова // НЛО. 1994. № 8. С. 139 — 157).

<sup>49</sup> *Бобринский* Василий Алексеевич — граф, сын А. Г. Бобринского (1762 — 1813), который был сыном кн. Григория Орлова и Екатерины II (фамилия дана ему по названию села Спасского, Бобринки тож, в Тульской губ., купленного императрицей для материального обеспечения своего побочного сына в 1763 г.).

<sup>50</sup> *О'Коннел Даниэль* (1775 — 1847) — лидер ирландского национального движения.

<sup>51</sup> *Нессельроде* Дмитрий Карлович (1816 — 1891) — граф, сын российского министра иностранных дел, секретарь канцелярии Министерства иностранных дел, гофмейстер.

<sup>52</sup> Булгакова (рожд. Ограновичева, в первом браке Мацнева) *Эмерика* Адамовна, жена А. Я. Булгакова (со 2 ноября 1845 г.), вдова его старинного друга, отставного ген.-майора М. Н. Мацнева (ум. в 1843).

<sup>53</sup> *Закревская* Аграфена (Агриппина) Федоровна (1800 — 1879) — графиня, жена министра внутренних дел, финляндского, а затем московского ген.-губернатора А. А. Закревского (1783 — 1865). Как писала О. Н. Оом: «В Финляндии, куда Закревский был назначен в 1823 г. ген.-губ.-ром, Агр. Феод. дарила своим расположением молодых подчиненных своего мужа. В числе их был и поэт Баратынский, служивший в 1825 г. при Финлянд. корпусном штабе. Он безумно влюбился в эту «Фею», на которую, по его словам, «опасно было глядеть», посвятил ей ряд своих стихотворений («Как в много дней» и др.) и изобразил ее в своей поэме «Бал». [...] В 1828 г. увлекся ею А. С. Пушкин, посвятивший много стихотворений «Медной Венере» и уподобившей ее «беззаконной комете в кругу расчисленных светил» (Дневник Анны Алексеевны Олениной (1828 — 1829) / Предисловие и ред. Ольги Николаевны Оом. Париж, 1936. С. 96).

<sup>54</sup> Кн. *Трубецкой* Сергей Васильевич (1815 — 1859) — приятель и сослуживец Лермонтова, сражавшийся вместе с ним на Кавказе, секундانت Н. С. Мартынова во время его дуэли с Лермонтовым, увозя Лавинию Жадимеровскую, воспользовался подорожной своего приятеля, офицера Федорова.

<sup>55</sup> Фридрих Вильгельм IV (1795 — 1851) — прусский король с 1840 г., из династии Гогенцоллернов, с 1857 г. в связи с психическим расстройством отошел от государственных дел.

<sup>56</sup> История бегства кн. Трубецкого и его возлюбленной, по документам III Отделения, описана в очерке П. Е. Щеголева «Любовь в равелине» (Пг., 1922) и дала сюжет для романа Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов» (1976). По предположению Щеголева, Жадимеровская отказала в своей

благодарности Николаю I, что стало причиной несоразмерно жестокого наказания Трубецкого: его лишили дворянства и княжеского достоинства, орденов, 6 месяцев продержали в крепости и перевели рядовым сначала в Петрозаводский гарнизонный батальон, а потом унтер-офицером в Оренбург. Лишь после смерти Николая I Трубецкому было позволено выйти в отставку в чине подпоручика, а 17 апреля 1857 г. ему вернули дворянство и княжеский титул, оставив под секретным надзором. Было дано и специальное указание о невыдаче ему заграничного паспорта.

*Воронцов Михаил Семенович* (1782—1856) — граф, с 1845 г. кн., в 1853 г., при увольнении от службы, пожалован титулом светл. кн. и званием фельдмаршала, ген.-майор, впоследствии — ген.-фельдмаршал, военачальник и государственный деятель, царский наместник на Кавказе. Его сын С. М. Воронцов (1823—1882) и его жена выведены Л. Н. Толстым в повести «Хаджи-Мурат».

<sup>57</sup> Речь идет о событиях перед началом Крымской войны: в феврале 1853 г. в Константинополь был направлен чрезвычайным послом кн. А. С. Меншиков с ультимативным требованием передать всех православных подданных Османской империи под особое покровительство России. Длительные переговоры ни к чему не привели: в мае 1853 г. турецкий султан отверг русский ультиматум, после чего Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией.

<sup>58</sup> Имеются в виду иллюстрированные журналы, в то время обычно называвшиеся «Illustration».

<sup>59</sup> *Орлов-Денисов Николай Васильевич* («Коко Денисов»; ум. 1855), граф, адъютант по особым поручениям московского ген.-губернатора А. А. Закревского.

<sup>60</sup> *Долгоруков Александр Сергеевич* (1809—1873) — кн., чиновник особых поручений при московском военном генерал-губернаторе, камер-юнкер (с 1832 г.).

<sup>61</sup> Публикуемому отрывку предшествует рассказ о смерти в Москве композитора и пианиста И. И. Геништы (1795—1853).

<sup>62</sup> Неожиданно для себя Булгаков узнал, находясь в Петербурге, в январе 1856 г., о своем увольнении из почт-директоров и перемещении в Московское отделение Правительствующего Сената.

<sup>63</sup> *Зерцало* — эмблема законности в виде треугольной призмы, на которую наклеивались экземпляры петровских указов; ставилось во всех присутственных местах царской России.

<sup>64</sup> К. А. Булгаков в июне 1857 г. ездил лечиться на Липецкие минеральные воды, но облегчения не получил.

<sup>65</sup> *Иноземцев Федор Иванович* (1802—1869) — врач, основатель Общества русских врачей в Москве (1861).

<sup>66</sup> *Скаррон Поль* (1610—1660) — французский писатель, автор «Roman comique» (1649—1657) и др. произведений бурлескного жанра (genre burlesque). Вел беспорядочную, разгульную жизнь, пока ревматизм не обратил его почти в калеку. «Это несчастье не помешало ему усиленно заниматься литературной работой и проявлять в своих сочинениях редкое, не сломленное недугом остроумие», — писал Ю. Веселовский в статье о



Скарроне для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В 1652 г. Скаррон женился на Франсуазе д'Обинье (будущей маркизе *Ментенон* (1635–1719), второй жене Людовика XIV), скрасившей последние 8 лет жизни Скаррона.

<sup>67</sup> Старшая дочь Булгакова Екатерина Александровна Соломирская (1811–?).

<sup>68</sup> *Лонгинов М. Н.* (1823–1875) — библиограф, литератор; после окончания Санкт-Петербургского университета служил при московском военном генерал-губернаторе, впоследствии (с 1871) был начальником Главного управления по делам печати. Этот приятель Костеньки Булгакова, по определению В. Д. Бонч-Бруевича, «известный развратник и порнограф» (Звенья. Т. VIII. М., 1950. С. 798), сын статс-секретаря и члена Государственного совета, имел репутацию яростного либерала. Подробный биографический очерк о нем см. в словаре «Русские писатели 1800–1917» (Т. 3. М., 1994). Ряд стихотворных произведений М. Н. Лонгинова опубликовал А. М. Ранчин (Под сению кулис и под кровлею борделя. «Писатель не для дам» М. Н. Лонгинов // Лица. Биографический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1993).

<sup>69</sup> С середины 1855 г. по март 1858 г. Вяземский занимал пост товарища министра народного просвещения и члена Главного управления цензуры (см. об этом в публикации «Жалобы Ростислава» Н. В. Снытко в наст. сборнике).

<sup>70</sup> Письма П. А. Вяземского А. Я. Булгакову 1818–1838 гг. отрывочно и весьма неисправно опубликовал П. И. Бартенев в «Русском архиве» (1879. № 4. С. 503–520). Подборка из писем Булгакова к Вяземскому, под заголовком «Калейдоскоп московской жизни», была напечатана в «Историческом вестнике» (1881. № 5). В настоящее время эта интереснейшая, сохранившаяся практически полностью двусторонняя переписка хранится в РГАЛИ: письма Булгакова в Остафьевском архиве князей Вяземских (ф. 195), письма Вяземского в фонде А. Я. и К. Я. Булгаковых (ф. 79).

<sup>71</sup> *Адмиральский час* — шуточное выражение, укоренившееся при Петре I — время для водки и закуски перед обедом.

<sup>72</sup> Митрополит Филарет много лет спустя действительно был причислен к лику святых: решение Святейшего Синода состоялось в 1994 г.

<sup>73</sup> Маркиз де *Кюстин*, автор книги «Россия в 1839 году», при своем посещении Москвы познакомился с А. Я. Булгаковым; последний отзывался в своих записках о нем и его книге весьма нелицеприятно.

<sup>74</sup> Долгоруков Николай Александрович (*Никоша*) — кн., сын А. С. и О. А. Долгоруковых, внук А. Я. Булгакова. Окончил медицинский факультет Московского университета, в качестве врача принимал участие в обороне Севастополя, затем перешел на дипломатическую службу.

<sup>75</sup> *Балабин Виктор Петрович* (1811–1864) — действительный статский советник, камергер; русский посол в Вене с 1858 г.

## ЖАЛОБЫ РОСТИСЛАВА

(Письмо Ф. М. Толстого к П. П. Вяземскому)

Публикация Н. В. Снытко

Автор публикуемого письма, написанного дрожащей старческой рукой, — композитор, музыкальный критик, беллетрист Феофил Матвеевич Толстой (1810 — 1881), человек, бывший свидетелем политических, общественных и литературных событий трех царствований. До четвертого он не дожил лишь несколько месяцев. Имя его почти не привлекало внимания музыковедов и литературоведов ни XIX, ни XX веков. Лишь Корней Чуковский, много занимавшийся изучением жизни и творчества Некрасова, вспомнил о его существовании в статье «Ростислав и его письма к Некрасову» (Чуковский К. Люди и книги. М., 1960. С. 294 — 336). Ростислав — псевдоним Феофила Толстого, выбранный им не без умысла (имелся в виду «рост славы»).

Ф. М. Толстой родился в знатной и богатой семье. Отец его, сенатор Матвей Федорович Толстой (1772 — 1815), был женат на Прасковье Михайловне Кутузовой (1777 — 1844), старшей дочери полководца князя М. И. Кутузова. Быть внуком Кутузова Ф. М. Толстой почитал за великую честь.

Феофил Толстой, как и подобало отпрыску аристократической семьи, воспитывался в Пажеском корпусе, который успешно окончил в 1827 году. Знатное происхождение, семейные и придворные связи родителей помогли чиновнику 12-го класса в свое время получить звание гофмейстера и пост члена совета Главного управления по делам цензуры. Но ни к придворной, ни к чиновной карьере Толстого не влекло. Он мечтал об успехах на другом поприще, он желал стать знаменитым композитором. Он жаждал славы.

И действительно, среди своих многочисленных братьев и сестер Феофил с детства отличался способностями к музыке. В трудоспособности отказать ему было нельзя. После получения домашнего музыкального образования он усердно изучал теорию музыки у Л. Фукса и И. Миллера в Петербурге, Ф. Гебеля в Москве и Н. Раймонди в Италии. Уроки пения Феофил брал у Джованни Рубини. Он написал более 300 романсов, в том числе на слова Пушкина «Я вас любил...». По свидетельствам современников Толстой обладал прекрасным голосом. В великосветских салонах восхищались и его романсами, и их исполнителем.

Но к концу 1840-х годов интерес общества к музицированию Ф. Толстого иссяк. Его романсы, дуэты, кантаты и даже оперы нашли легковесными и подражательными. Один из его знакомцев Михаил Дмитриевич Бутурлин (1807 — 1876) писал в своих записках, что Толстой «...покинул сколачивание прежних своих романсиков, правду сказать, не особенно даровитых» (Русский архив. 1897. № 3. С. 526).

Не добившись желанной славы, композитор Феофил Толстой в 1850-х годах решает стать музыкальным критиком. Но и в этой области он не завоевал ни признания, ни уважения, хотя перечень его статей, напечатанных в разных газетах и журналах, занимает четыре страницы в словаре Г. Бернандта и И. Ямпольского «Кто писал о музыке» (М., 1979. Т. 3. С. 131 — 134). Одной из причин неуспеха стало то обстоятельство, что в музыкальную журналистику ввел его одиозный Фаддей Булгарин, ставший, так сказать, его крестным отцом. В булгаринской «Северной пчеле» опубликовал Толстой в 1851 году свою первую музыкальную статью.

Аристократ, салонный лев, пожелавший стать профессиональным литератором, пришлось не ко двору в разночинной семье журналистов. Постепенно утвердилась манера писать и говорить о нем и о его творчестве с оттенком иронии. С годами имя Феофил превратили в кличку и варьировали ее кто как умеет. Корнеем Чуковским дана как бы сводка этих прозвищ: «Стасов называет его в своей переписке Фифия, Мусоргский называет его то Фифила, то Фиф. Барон Розен называет его Филька. Серов, по примеру Сенковского, зовет его в своем журнале Феофильтч и даже для пущей обиды делает его имя нарицательным, указывая, что и в иностранных кругах тоже имеются свои Феофильтчи...» (Чуковский К. Указ соч. С. 296).

Дальнейший путь Феофила Толстого-беллетриста был тернист. В публикуемом письме содержится описание лишь одного из злоключений, постигших его очередное творение. Только присущее Толстому трудолюбие и упорство, связи и протекция помогли ему провести в печать многочисленные рассказы, повести, романы и пьесы. Вышел даже двухтомник его произведений. Но слава так и не пришла к нему. Увы, для современников он всегда оставался «Феофильтчем». И. А. Гончаров в своем письме Д. Н. Цертелеву от 16 сентября 1865 года, говоря о бесталанных дилетантах, пишет, что все они «...погибают в пучине, если только не лезут напролом, как Феофил Толстой — он и композитор, и романист, задорный самолюбец, а в сущности, ничтожество, умеющий протекцией своей добиться только печальной известности образцового неудачника» (Гончаров И. А. Литературно-критические статьи и письма. М., 1938. С. 332).

В чем же причина неудач в погоне за славой не совсем уж бесталанного трудяги Феофила Толстого? Пожалуй, в том, что он страдал как бы раздвоением личности. По своему происхождению,

воспитанию, вкусам Толстой принадлежал к проправительственному официозному лагерю. Он был многолетним сотрудником «Северной пчелы». Но одновременно его тянуло к «Современнику» и «Отечественным запискам», он искренно любил и почитал Некрасова. За попытку отстоять от цензуры в 1871 году стихотворение Некрасова «Недавнее время» его уволили из цензурного ведомства.

В. Д. Бонч-Бруевич колоритно описывает способы подкупа цензоров в целях успешного проведения журнала «Отечественные записки» через цензурные рогатки: Некрасов угощал цензоров обедами в лучших петербургских ресторанах, даже нарочно проигрывал им в карты крупные суммы денег. «Купленные цензоры из кожи лезли вон, чтобы доказать высшему начальству, что в тех или других стихотворениях, в тех или других строфах стихотворений нет ничего особенного, нет никаких криминалов. За эту свою ретивость цензор Т. [Феофил по-французски *Theophile*. — Н. С.] Толстой сильно пострадал, пропустив в журнале крайне левые статьи: он был отрешен от должности наблюдающего цензора за журналом «Отечественные записки» (см: Звенья. Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX — XX вв. Т. VIII. М., 1950. С. 798). Но Бонч-Бруевич во многом ошибался. Ф. Толстой отличался от прочих цензоров. «Ретивость» его объяснялась не интересом к бесплатным обедам и крупным выигрышам. Он был человек состоятельный. Руководило этим ретроградом стремление приобщиться к лагерю передовых литераторов, сотрудничавших в «Отечественных записках».

«Зыбкость позиции» (выражение К. Чуковского) определяла Толстого и мешала ему в течение всей жизни. Однако если музыкальные и литературные произведения его забыты и послужили лишь поводом для включения его имени в музыкальные и литературные энциклопедии и справочники, то статьи Феофила Толстого — музыкального критика и по сей день представляют интерес для музыковедов. Он писал их в продолжение сорока лет, и в них отражены все события музыкальной жизни Петербурга и Москвы за это время. Если композитор, писатель и цензор Феофил Толстой не состоялся, то в области музыкальной критики он был профессионалом.

Что побудило Феофила Толстого написать публикуемое письмо?

Одиноким, больной, всеми забытый старик прочитал в газете «Берег» статью П. П. Вяземского о Пушкине, и всколыхнулись в нем все былые обиды. Как! Среди внуков Кутузова, общавшихся с отцом автора статьи, П. А. Вяземским, не упомянуто его имя!.. Ему было понятно, что виной тому репутация «двурушника» и «пустозвона», которая шла за ним по пятам всю жизнь. Слабеющей рукой пишет он письмо-оправдание автору статьи, единственному оставшемуся в живых из многочисленных детей П. А. Вяземского, которого он считал своим благожелателем.

Адресат письма, Павел Петрович Вяземский (1820—1888), провел свое детство в подмосковной усадьбе Остафьево, где частыми гостями его отца были и гуляли по аллее, прозванной «Русским Парнасом», все звезды русской поэзии Золотого века. После окончания Петербургского университета князь Павел был определен на службу в Министерство иностранных дел. Отец его, поэт П. А. Вяземский, проигравший в молодости огромное состояние, с тревогой заметил, что сына тянет к карточной игре. Используя свои связи в дипломатических кругах, Петр Андреевич добился незамедлительной отправки сына в «глухую дипломатическую провинцию» — Константинополь. Там в 1848 году князь Павел женился на молодой красавице Марии Аркадьевне Бек, сестре друга Лермонтова А. А. Столыпина (Монго), гостившей у своих родных в русском посольстве.

Дипломатическая служба была связана с частыми поездками за границу, посещением центров мировой культуры, музеев и библиотек. П. П. Вяземский увлекся собиранием «раритетов». Его заинтересовали связи Древней Руси с Византией. Он изучал палеографию. Возвратившись в Россию и став в 1856 году попечителем Петербургского, а в 1859-м Казанского учебного округа, он продолжал свои занятия. После переезда в столицу П. П. Вяземский в 1877 году основал Общество любителей древней письменности, куда вошли известные петербургские и московские ученые: В. О. Ключевский, В. В. Стасов, Ф. И. Буслаев и др.

Высокие посты, занимаемые П. П. Вяземским в 1880-х годах, не мешали ему активно участвовать в деятельности Общества. Именно в эти годы им было написано большое количество статей, напечатанных в Петербурге и Москве. Впоследствии они были собраны С. Д. Шереметевым, мужем его дочери Екатерины Павловны, и вошли в «Собрание сочинений князя П. П. Вяземского 1876—1887» (СПб., 1893). Более двадцати лет посвятил Павел Вяземский написанию книги «Замечания на «Слово о полку Игореве». Будучи незаурядным историком литературы, археографом, коллекционером, он был и недурным живописцем. К сожалению, не сохранился плафон в овальном зале остафьевского дома, на котором П. П. Вяземский вместе с итальянцем Сан-Джованни изобразил всех своих родных и друзей в маскарадных костюмах. Последние годы своей жизни П. П. Вяземский провел в Остафьево, постепенно превращая его в музей.

Несколько статей о П. П. Вяземском написал в конце 1880-х годов его зять, граф Сергей Дмитриевич Шереметев. В 1915 году в Петербурге был издан «Сборник в память князя П. П. Вяземского». Интересные воспоминания о Павле Вяземском Е. Н. Опочина опубликованы Е. В. Бронниковой (см.: Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1990. С. 32—47).

Есть что-то, что роднит Феофила Толстого и Павла Вяземского. Обоих можно назвать разносторонне одаренными дилетантами.

Но одного со знаком минус, а другого со знаком плюс. Если первый, не покладая пера, стремился прославить свое имя, то деятельность второго была посвящена прославлению русской письменности и культуры.

Письмо Ф. М. Толстого в оригинале написано на французском языке, с отдельными словами и фразами по-русски, по-итальянски и на латыни. Публикуется оно в русском переводе. Текст, написанный Ф. М. Толстым по-русски, выделен курсивом; слова, подчеркнутые автором, даны полужирным шрифтом. Письмо хранится в составе «Остафьевского архива» (Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 4590)

1880. 20 июля

Князь!

Ваши статьи, опубликованные в «Береге»<sup>1</sup>, восхитительны и захватывающе интересны: эта газета (кстати сказать) не заслуживала чести их получить, ибо «Берег» часто **выходит из берегов** и кончит тем, что его засосет **песок** общего безразличия, если только газета не изберет более твердое направление и более пристойный тон... Ваши статьи кажутся даром небес среди всей этой вялой, бессвязной, а иногда и до чрезвычайности грубой прозы.

В номере от 16 июля Вы пишете, между прочим: *«И Пушкин, и отец мой сохраняли по смерти самые дружеские отношения ко внукам Кутузова, недавно скончавшемуся Николаю Матвеевичу Толстому, Павлу Мат[веевичу], княгине Анне Матвеевне Голицыной и графине Тизенгаузен»*<sup>2</sup>.

Это требует уточнения. — *Все, названные Вами потомки Кутузова сохранили действительно Кутузовские традиции, т. е. большое уважение к общественной деятельности, как Вы красноречиво выражаетесь, и горячую любовь ко всему, что составляет славу русского имени. Но из всех названных Вами потомков Кутузова только Catherine Tisenhausen была близка с Пушкиным, прочие же ценили его, преклонялись пред его гением, но в дружеских отношениях с ним никогда не находились.*

*То же можно сказать относительно покойного Вашего отца»*<sup>3</sup>. Братья мои, и Павел, и Николай, знакомы были, конечно, с Князем и глубоко уважали его, но в дружеских отношениях с ним не находились.

Из братьев моих более всего сблизился с покойным Князем Иван Матвеевич<sup>4</sup> во время совместного их пребывания в Царском, в Китайской деревне. Они жили бок о бок и часто видались. Это было уже при нынешнем Царствовании.

Что касается меня, я человек незначительный, однако являюсь единственным внуком Кутузова, который имел честь в былые времена поддерживать постоянные отношения с Вашим знаменитым отцом, о чем Вы узнаете из дальнейшего.

В 1833 или 34 году, точно не помню, я летом регулярно ездил на день-два в Павловск, где жила великая княгиня Елена<sup>5</sup>, которая приглашала меня почитать ей вслух. Поскольку железной дороги тогда еще не существовало, я призраивался или к Жуковскому, или к Вашему отцу.

Должен признаться, что в те времена князь смотрел на меня до некоторой степени как на мальчишку, однако путешествия в экипаже и дни, проведенные с Вашим отцом в Павловске, оставили у меня самые приятные воспоминания.

С тех пор я стал посещать время от времени Ваш дом, а двадцать лет спустя Ваш добрейший батюшка имел возможность оказать мне помощь и содействие.

Вам, вероятно, неизвестно, князь, что в 1850 г. мне пришла в голову несчастная мысль перейти из стана музыкантов в стан литераторов.

Я довольно подробно объяснил причину этого перехода в статейке о композиторе Глинке, опубликованной в «Русской старине»<sup>6</sup>.

Но дебютировал я, увы, как музыкальный критик в «Северной пчеле» Булгарина статьей (о «Роберте Дьяволе»), подписанной псевдонимом Ростислав — каковой я сохранил до настоящего времени, несмотря на враждебность, которую ко мне не перестают питать мои сотоварищи музыкальные критики<sup>7</sup>.

Некоторое время спустя я опубликовал под собственным именем в «Современнике» Панаева повесть, действие которой происходит в Италии<sup>8</sup>. — Булгарин осыпал эту повесть преувеличенными похвалами, сопровождаемыми нападкамии на «Натуральную школу» и даже самого Гоголя. Разъяренный, я отправил ему письмо, в котором отрицал какую-либо общность взглядов между нами. Под моим нажимом Булгарин был вынужден опубликовать мое письмо, но заявил, что отныне не скажет ни слова о моих писаниях,

и действительно даже не закончил обсуждения моей повести. Все это не выбило оружия из рук моих врагов, я был заклеямен **Булгаринизмом** и остался в полном **одиночестве**, как и предрекал Булгарин.

Разжигаемый демоном литературного творчества, я продолжал борьбу и разродился повестью под названием «*Моргун капельмейстер самоучка*», в которой действие происходило в лоне «*Sara Patria*»\*, на фоне прелестей крепостного права. Эту повесть я намеревался отдать в «*От[ечественные] записки*», которыми тогда руководил Краевский<sup>9</sup>.

К несчастью, я попал к тупому цензору (*Елагин*<sup>10</sup>, если не ошибаюсь), который до такой степени охолостил повесть, что я был вынужден отказаться печатать свое творение в столь изувеченном виде.

Все мои уверения, все просьбы ни к чему не привели — эта скотина уперлась и не отступила ни на шаг. Тогда мне пришла в голову мысль послать эти измаранные корректурные листы барону Корфу<sup>11</sup>, который был тогда председателем так называемого тайного цензурного комитета.

Барон возвратил мне корректурные листы с любезной запиской, в которой говорилось, между прочим: «*С большим удовольствием прочел я Вашу повесть и подивился удальству и тупоумию цензора! Долго ли еще десяток-другой цензоров, — взятых не по строгому выбору, а, так сказать, наугачу, будут налагать цепи своего невежества на русскую интеллигенцию.*»

Я возликовал и поторопился сообщить содержание письма Краевскому, а этот трус ничего лучшего не придумал, как передать его через некоего Волкова, состоящего при министре народного образования, Норову<sup>12</sup>, в ведении которого находилась тогда цензура. Грандиозный скандал! Норов встречает в день св. Александра [Невского] барона Корфа на Невском и устраивает ему ужасную сцену. Я был в отчаянии, собирался избить Волкова и предателя Краевского, но, по счастью, князь, Ваш отец, утихомирил бурю и примирил враждующие стороны, то есть Норова и Корфа.

Я счел себя на этот раз побежденным, вернул Краевскому аванс и отказался публиковать повесть.

Молчал я довольно продолжительное время, ограничиваясь тем, что ломал копыя со своими собратьями. Но однажды я узнал, что Ваш отец назначен помощником министра

---

\* Дорогой отчины (*ит.*).



народного просвещения, и мне пришла в голову мысль послать ему этот «casus belli»\*, то есть измаранные корректурные листы моей повести. Он благожелательно отнесся к моему делу и посвятил ему целый вечер. Моим слушателем были только Плетнев<sup>13</sup> (бывший тогда ректором университета) и сам князь. Читая, я интонацией голоса подчеркивал все **кастрированные** места, от чего эти господа хохотали до упаду.

После того, как я закончил чтение, князь сказал мне: «Не следует оставлять это дело без последствий, жалуйтесь в Высший цензурный комитет и продемонстрируйте ему этот **шедевр** цензуры».

Я так и поступил. Известный г-н Скрипицын<sup>14</sup>, собрат по оружию архиепископа Семашко<sup>15</sup>, одним росчерком пера присоединивший к православию сотни тысяч униатов и тоже состоявший членом цензурного комитета, был уполномочен дать заключение по этому спорному вопросу. Дело затянулось надолго, и узнав, опять через Вашего отца, что этим вопросом занимается Скрипицын, я отправился к нему, будучи знаком с ним еще с Витебска, куда он ездил вместе с Семашко.

Г-н Скрипицын не заставил себя упрашивать и сообщил мне содержание своего доклада — в нем он категорически не соглашался с мнением **цензора**, и даже нашел нужным восстановить первоначальный текст, удалив и те исправления, на которые дал согласие автор.

Я торжествовал и был уверен в победе, ибо на моей стороне, кроме докладчика, был и Ваш отец. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним! —

Однажды вечером я встретил князя на лестнице Аничкова дворца (это было после пожара Зимнего дворца)<sup>16</sup>. Поднимаясь по лестнице, князь сказал мне: «Так вот, как раз сегодня утром дело разбиралось, и **мы проиграли**. — Председатель (граф Блудов<sup>17</sup>) и начальник Третьего отделения (Тимашев<sup>18</sup>) категорически возражали против публикации вашей повести... Они сказали, что затрагивать вопрос о крепостном праве в настоящее время неуместно».

Я был ошеломлен не столько тем, что запретили мою повесть, сколько явным пристрастием этого приговора. Растоптали повесть, которая не могла иметь большого значения, а, между тем, читали и восхищались «*Записками охотника*» Тургенева — произведением куда более важ-

---

\* «причину войны» (лат.).

ным. Князь, увидев, что я совсем пал духом, сказал с благожелательной улыбкой, которая завоевывала ему все сердца: «Не отчаивайтесь, пошлите свою повесть в Москву, — цензоры *«Русского вестника»*<sup>19</sup> сговорчивее здешних».

— Я последовал совету милейшего князя и послал свою повесть Каткову — она была напечатана полностью в первом же № *«[Русского] в[естника]»* под заглавием *«Даровитость русского человека»*, и все сделали вид (даже Третье отделение), что ее не заметили.

Вся эта история, рассказанная в нескольких словах, длилась больше 2-х с половиной лет. Хорошо еще, что это произошло со мною, а если бы на моем месте был стесненный в средствах юноша, к тому же наделенный подлинным литературным талантом!! Потерять больше 2-х лет, отбиваясь от нападков цензуры — есть от чего впасть в отчаяние самому храброму человеку.

Как видите, князь, Ваш достойнейший батюшка относился ко мне доброжелательно, и я имею право быть обиженным тем, что, перечисляя имена моих братьев, с которыми его отношения ограничивались простой учтивостью, Вы опустили имя того, кто обязан ему вечной благодарностью. —

А теперь несколько слов о фразе из письма Вашего батюшки от 15 апреля 1830 г.: *«Филарет<sup>20</sup> нашел (стихи) у общей нашей приятельницы Елизы Хитровой, пылающей к одному (т. е. к Филарету) христианской, а к другому, т. е. к Пушкину языческой любовью»*<sup>21</sup>.

Бедная женщина! В эти годы она была уже стара, вся в морщинах, она и думать не могла о плотских утехах — да к тому же и Пушкин не прельстился бы старческими прелестями. — Признаюсь, я бесконечно огорчен, что эта инсинуация вкралась в блестящие, остроумные письма Вашего покойного отца. Ведь в письме от 9 мая прямо говорится, что ее чувство к поэту отнюдь не было страстью. Боюсь, что эта фраза может огорчить Екатерину Тиз[енгаузен]<sup>22</sup>.

Несмотря ни на что, я еще раз благодарю Вас за то высокое наслаждение, которое доставила мне Ваша статья. Даже *Буренин*<sup>23</sup>, этот литературный башибузук, превозносил Вас; это он-то, который оплевывает всех и вся. Самое смешное, что, зараженный Вашим пылом, он дошел до того, что признал женщин света, таких, как г-жа Хитрово и графиня Фикельмон<sup>24</sup>, существами высшего порядка, — и это он, который недавно утверждал, что один мизинец прачки стоит больше, чем самая знатная дама.

Простите за мои каракули. Я еще не совсем оправился после болезни и с трудом держу перо. Мне хотелось бы вознаградить Вас за то, что Вы разбирали мою пачкотню, рассказом о сцене между великим князем Михаилом Павловичем и моей тетушкой, при которой я присутствовал вместе с нашим поэтом<sup>25</sup>, но, увы, силы мои иссякли.

Преданный Вам *Ф. Толстой*

20 июля 1880 г.

*Лесной. Институтский проспект, № 5.*

### Примечания

<sup>1</sup> «*Берег*» — политическая и литературная газета проправительственной ориентации. Выходила в 1880 г. Судьба ее была Ф. М. Толстым точно предугадана: вышло всего 227 номеров, т. е. газета не просуществовала и одного года. Две статьи П. П. Вяземского под общим заглавием: «Александр Сергеевич Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям» были напечатаны — первая (1816—1825 гг.) в № 74, а вторая (1826—1827 гг.) в № № 111, 113—115. В публикуемом письме Ф. М. Толстого упоминается вторая статья.

<sup>2</sup> Речь идет о следующих лицах: *Толстой Николай Матвеевич* (1802—1879) — ген.-адъютант; *Толстой Павел Матвеевич* (1800—1883) — ген.-майор; *Голицына* (урожд. Толстая) *Анна Матвеевна* (1809—1883); *Тизенгаузен (Tisenhausen)* Екатерина Федоровна (1803—1888) — дочь Е. М. Хитрово от первого брака, фрейлина, петербургская приятельница Пушкина. Слова П. П. Вяземского из его статьи о внуках Кутузова дважды цитируются Л. А. Черейским в книге «Пушкин и его окружение» (М., 1975. С. 410 и 417).

<sup>3</sup> Кн. Петра Андреевича Вяземского (1792—1878).

<sup>4</sup> *Толстой Иван Матвеевич* (1806—1867) — министр почт и телеграфа, обер-гофмаршал, сенатор. В свете считался одним из любимцев Александра II (см.: *Арнольди Ю.* Воспоминания // *Русский архив.* 1884. № 3. С. 87).

<sup>5</sup> *Елена Павловна*, вел. княгиня, урожд. принцесса Вюртембергская *Фредерика-Шарлотта-Мария* (1806—1873). С 1824 г. жена вел. князя Михаила Павловича. Покровительствовала наукам и искусствам. Ее салон в начале царствования Александра II играл заметную политическую роль.

<sup>6</sup> См.: *Толстой Ф. М.* По поводу записок М. И. Глинки // *Русская старина.* 1871. № 4—6. С. 431—456.

<sup>7</sup> См.: *Ростислав.* Незванный гость и Роберт (Roberto Diavolo). Опера Мейербера // *Северная пчела.* 1851. № 288.

<sup>8</sup> Речь идет о «Повести из великосветского быта», напечатанной И. И. Панаевым в «Современнике» под давлением возглавлявшего цензуру попечителя Петербургского учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина, отозвавшегося о повести Ф. М. Толстого в таких выражениях: «В кои-то веки в вашем журнале появилась повесть, написанная порядочным человеком, в коей нет ни мужиков, ни кабаков...» (см.: Чуковский К. И. Ростислав и его письма к Некрасову // Люди и книги. М., 1969. С. 502).

<sup>9</sup> Краевский Андрей Александрович (1810–1889) — журналист. С 1839 г. стал издателем «Отечественных записок».

<sup>10</sup> Елагин Николай Васильевич (1817–1891) — литератор. С 1857 г. служил чиновником для особых поручений в Главном управлении по делам печати.

<sup>11</sup> Корф Модест Андреевич (1800–1876) — барон, с 1872 г. граф. Воспитанник Царскосельского лицея, с 1847 г. государственный секретарь, с 1861 г. управляющий 2-м отделением собственной е. и. в. канцелярии, с 1864 г. председатель департамента законодательства Государственного совета.

<sup>12</sup> Норов Авраам Семенович (1795–1869) — писатель, академик. Министр народного просвещения в 1853–1858 гг., сенатор, член Государственного совета. С 1861 г. и до конца жизни — председатель Императорской Археологической комиссии.

<sup>13</sup> Плетнев Петр Александрович (1792–1865) — поэт, критик, издатель. С 1832 г. занимал кафедру словесности Петербургского университета, в 1840 г. стал его ректором, которым оставался в продолжение двадцати лет. С 1837 г. продолжал издание пушкинского «Современника». Был близок с Карамзиным, Жуковским, Баратынским. Пушкин посвятил Плетневу «Евгения Онегина».

<sup>14</sup> Скрипицын Валерий Валерьянович (1799–1874) — директор департамента духовных дел Министерства вероисповеданий.

<sup>15</sup> Семашко Иосиф (1798–1868) — архиепископ Литовский и Виленский. Член Особого комитета по униатским делам в 1835–1837 гг., в результате деятельности которого униатская церковь в России была подчинена ведению обер-прокурора Св. Синода.

<sup>16</sup> Зимний дворец сгорел в декабре 1837 г. и вновь был отстроен за год (освящение состоялось на Пасху 1839 г.). События, о которых пишет Ф. М. Толстой, происходили после 1850 г., так что 70-летний литератор допустил очевидное хронологическое смещение.

<sup>17</sup> Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1884) — главноуправляющий собственной е. и. в. канцелярией, председатель Государственного совета и Совета министров, президент Академии Наук.

<sup>18</sup> Тимашев Александр Егорович (1818–1893) — ген.-адъютант, с 1856 г. начальник штаба Корпуса жандармов и управляющий III Отделением. В 1868–1877 министр внутренних дел.

<sup>19</sup> «Русский вестник» — журнал, издававшийся с 1856 г. М. Н. Катковым. Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — публицист. Издавал кроме «Русского вестника» с 1863 г. газету «Московские ведомости». Получил орден Владимира 2-й ст. «за укрепление истинных начал рус-

ской государственности». А. И. Герцен называл Каткова «полицейским содержателем публичного листка в Москве» (см. коммент. Л. Б. Каменева в кн.: *Герцен А. И. Былое и думы*. М.; Л., 1932. Т. 3. С. 678).

<sup>20</sup> *Филарет* (в миру Дроздов Василий Михайлович; 1782—1867) — с 1826 г. митрополит Московский и Коломенский. Канонизирован Российской православной церковью.

<sup>21</sup> Имеется в виду письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 25 апреля 1830 г. (см.: Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 3. С. 193).

*Хитрово* (урожд. Кутузова, по 1-му мужу Тизенгаузен) Елизавета Михайловна (1783—1839), пылкая поклонница и преданный друг Пушкина. Была близко знакома с его друзьями (П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. И. Тургеневым и др.).

<sup>22</sup> Речь идет о письме Е. М. Хитрово Пушкину от 9 мая 1830 г. Автограф хранится в РГАЛИ (Ф. 384. Оп. 2. Ед. хр. 23), опубликован: *Пушкин А. С. Полн. собр. соч.* Т. 14. М.; Л., 1937. С. 91). Пушкин познакомился с Е. М. Хитрово в 1827 г., следовательно, тогда ей было 44 года, однако Елизавета Михайловна носила настолько декольтированные платья, что получила в свете прозвище «Лизы голенькой». О взаимоотношениях ее с Пушкиным см. статью Т. Г. Цявловской «Неизвестные письма к Пушкину от Е. М. Хитрово» (*Прометей*. № 10. М., 1974. С. 241—260).

<sup>23</sup> *Буренин* Виктор Петрович (1841—1926) — журналист, критик, пародист. С 1876 г. член ред. и постоянный фельетонист «Нового времени». Его критические статьи и пародии многими считались чрезмерно беззастенчивыми и грубыми.

<sup>24</sup> *Фикельмон* Дарья (Долли) Федоровна, урожд. Тизенгаузен (1804—1863) — дочь Е. М. Хитрово от первого брака, внучка М. И. Кутузова, жена австрийского посланника Ш.-Л. Фикельмона. В салонах Фикельмон и Е. М. Хитрово (мать и дочь жили на разных этажах в доме австрийского посольства) частым гостем был Пушкин.

<sup>25</sup> Пушкин неоднократно встречался с вел. князем Михаилом Павловичем (1798—1840) в дворцовых и великосветских кругах. Командир отдельного гвардейского корпуса и главный начальник Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов, Михаил Павлович был непопулярен среди молодежи за свое пристрастие к муштре офицеров, кадет и солдат. 22 декабря 1834 г. Пушкин записал в своем дневнике: «Разговор [с Михаилом Павловичем] обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай Бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра!» (*Пушкин А. С. Собр. соч.* М., 1962. Т. 7. С. 339).

## «КАК ТЯЖЕЛО НАДОЛГО РАССТАВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ БЛИЗКИМИ...»

(Письмо Ф. А. Васильева к Е. А. Шишкиной)

Публикация И. Л. Решетниковой

Земная жизнь Федора Александровича Васильева промелькнула на небосводе художественной жизни России подобно комете. Он прожил всего 23 с половиной года. Но искры, рассыпанные этой кометой, оказались из того вещества, из которого делают звезды. Федор Васильев остается крупнейшим пейзажистом второй половины XIX века. В его искусстве органически слились личные переживания и исключительная чуткость к дыханию времени, стремление к самовыражению и преданность высоким эстетическим идеалам, романтическое преображение природы и верность натуре. Его картины хранятся в крупнейших музеях России. Его литературное дарование проявилось в письмах. Почти все они опубликованы<sup>1</sup>. В предисловии к одному из его писем В. В. Стасов писал: «Я спешу представить новые письма Васильева [...], потому что нахожу не только много интереса для его биографии, но и выражение взглядов и мыслей, нечасто встречающихся у наших художников»<sup>2</sup>.

Публикуемое письмо Ф. А. Васильева к сестре Евгении Александровне Шишкиной, хранящееся в фонде художника И. И. Шишкина (Ф. 917. Оп. 1. Ед. хр. 86), ускользнуло от внимания исследователей. Введена в научный оборот лишь часть его, непосредственно касающаяся Шишкина<sup>3</sup>.

Письмо было послано Ф. А. Васильевым сестре из Ялты, где он тщетно пытался побороть смертельный недуг — наследственный туберкулез, открывшийся у него весной 1871 года после тяжелой простуды. В феврале 1873 года он еще надеется на выздоровление, полон творческих планов, готовится к ежегодному конкурсу в Обществе поощрения художеств. Картину, которую Васильев готовил к конкурсу, он успел закончить — это пейзаж «В Крымских горах», за который он получил первую премию в марте 1873 года. Картина была куплена П. М. Третьяковым для галереи.

Евгения Александровна Васильева (1847—1874) была тремя годами старше брата. 28 октября 1868 года она вышла замуж за Ивана Ивановича Шишкина. Знакомство семейства Васильевых с художественным миром Петербурга произошло, по всей вероятности, через семью Ковалевских-Кожевниковых. Сестра Ольги Емельяновны, матери художника, Любовь Емельяновна

Полынцева в 1858 году вышла замуж за Василия Федоровича Кожевникова, сестра которого, в свою очередь, была замужем за Павлом Михайловичем Ковалевским, поэтом, беллетристом, художественным критиком. Скорее всего это он посоветовал талантливому мальчику поступить в 1863 году в вечернюю рисовальную школу Общества поощрения художеств. Там в конце 1866 — начале 1867 года произошла его встреча с И. И. Шишкиным, который заинтересовался работами юного художника, стал помогать ему советами. Тогда же И. И. Шишкин познакомился с Евгенией Александровной. Два лета 1867 и 1868 годов И. И. Шишкин и Ф. А. Васильев провели на этюдах, работая вместе. Вначале — на Валааме, на другой год — в деревне Константиновке близ Красного Села под Петербургом, где провело лето все семейство Васильевых.

Ко времени отъезда Васильева в Ялту имя его было уже широко известно в художественных кругах Петербурга, чему немало способствовали победы на конкурсах Общества поощрения художеств. В 1868 году за картину «Возвращение стада» он получил первую премию, как и за картину «Оттепель» в 1871-м. Конкурс следующего, 1872 года принес ему вторую премию за картину «Мокрый луг». Его известность способствовала получению заказов от великого князя Владимира Александровича (в то время товарища президента Императорской Академии художеств) на несколько картин, одна из которых, «Вид из дворца Эриклик», предназначалась в подарок императрице к Рождеству 1872 года. Большому художнику пришлось отрываться от работы над другими картинами, тратя силы и деньги на ежедневные дальние поездки во дворец на этюды, чтобы написать одну из самых неудачных своих работ, так как она была сделана на заказ, а не по вдохновению. В результате, вместо ожидаемых 2000 рублей Васильев получил за нее всего 800, а объяснялось это тем, что за картины А. П. Боголюбова того же размера было заплачено по 800 рублей! Кроме того, Васильеву не удалось отказаться от следующего заказа на четыре панно для ширм с видами Крыма, который повис над ним тяжелым бременем. Об этих неприятностях, о планах и надеждах художника и идет речь в публикуемом письме.

Вместе с художником в Ялте жила его семья — мать и младший брат Роман. Александр — средний из сыновей Ольги Емельяновны, умер в 1872 году. Литературный критик А. М. Скабичевский, который знал семью Васильевых, когда дети были еще маленькими, в своих воспоминаниях писал: «С Васильевыми я больше не встретился, потерял их из вида. В конце концов (как узнал я впоследствии) злодей доканал и жену, и детей: все они перемерли от чохотки один за другим...»<sup>4</sup> В сентябре 1873 года умер Федор, а в марте 1874 — Евгения Александровна. Мать художника скончалась в 1881 году. Приписки Ольги Емельяновны и Романа Васильевых на письме к Е. А. Шишкиной приподнимают завесу над бытовой стороной их жизни в Крыму.

В оригинале письма дата отсутствует, но поскольку Васильев, говоря о погоде в Крыму, упоминает только январь, можно предположить, что оно написано в первых числах февраля.

Ялта

*февраль 1873*

Получил я твое, милая Женя, письмо от 29 декабря, за которое очень тебе благодарен. Извиняюсь только за то, что так долго не отвечал; но дела столько, что, положительно, те минуты, которые у меня остаются, употребляю на отдых, видя, что в эти минуты письма не напишешь. Очень жаль, что ты так неоткровенно пишешь о моей последней картине<sup>5</sup>, говоря, что она по исполнению всем очень нравится. Поверить этому я не могу, потому что я ясно вижу и видел раньше всю мерзость этой картины и никак не ожидал, что она дорогой изменится к лучшему; не ожидал также и того, что ее все увидят, чего мне, признаться, совсем не хотелось, потому что ее стали бы судить, не зная условий, при которых я ее работал. Но кончу об этой картине; продолжать писать о ней, значит ее оправдывать, чего она совсем не заслуживает; да и вообще мараить бумагу из-за такой картины не стоит. Ты пишешь о том, как тяжело надолго расставаться с людьми близкими, с которыми привык делить все пополам. Я это совершенно понимаю, не беспокойся, но когда нет возможности устроить иначе, то и тревожиться об этом нечего: невозможное потому и тяжело переносится, что устранить его нет средств. Во всяком случае, спешу тебя уведомить, мы скоро увидимся, т. е. не позже августа: дольше этого срока я сам, кажется, не выдержу здесь, как ни велика моя уверенность в необходимости держаться здесь до последней возможности. Дело в том, что ведь выехать не штука — взял да и уехал — но какой от этого толк будет? Нужно постараться, чтоб мое здоровье и вообще мои дела были устроены *здесь* и чтоб в Петербурге явиться с приобретениями, хотя ничтожными, но все-таки с приобретениями, иначе зачем же я в Ялте жил два года, зачем же тратил деньги и время? Словом, срок отъезда совсем не пустая вещь, и о нем стоит подумать посерьезнее. Что же касается до того, чтобы ехала матушка одна, то это совершенно расстроит мои планы, так как за ее отъездом я должен буду принять на себя всякие дрязги хозяйства и принужден буду не лечиться и работать, а заниматься сче-



тами, расчетами и проч., так что не будет ни малейшего смысла в моем пребывании здесь. Я бы мог отпустить маму, если бы жил в городе благоустроенном, там можно было бы обойтись и без нее, но Ялта — это совсем другое дело. Поехать же мамаше на время к тебе еще менее возможно, если принять в расчет дорожные расходы в Петерб[ург] и обратно; это ведь не из Москвы к Троице-Сергию поехать, сюда ведь 3000 верст с хвостом. Успеешь, увидимся же.

Здоровье мое опять сильно захромало, почему — не знаю и не ведаю. Доктор<sup>6</sup> ходит через день, всяких банок с сигнатурками — вволю. Доктор у меня хороший. Хотя дóрог немного. Он говорит, что в Петербург ехать я могу только летом и то на самое короткое время. Зимовать же в Петербурге мне предстоит, при таком медленном ходе выздоровления, не ранее как года через два-три. Вот это уже совсем неутешительно! Так что в нынешнем году мы увидимся на короткое время, а там, в начале октября, надо за границу ехать, иначе плохо.

Очень рад, что Лидочка<sup>7</sup> такая милая девочка. Очень бы хотелось самому ее повидать. Что дядя Ваня<sup>8</sup> поделявает теперь? Мне Крамской<sup>9</sup> в каждом письме — которых очень много — описывает подвиги Ивана Ивановича, которым я по родству, во-первых, и по художественной связи со всем прекрасным, во-вторых, душевно радуюсь. Иван Иванович очень, очень много может сделать — только бы убедился в необходимости и возможности достигнуть цели, чего он часто не хочет сделать, почему — Бог его знает. Крамской пишет, что эти его картины<sup>10</sup> еще лучше прошлогодней конкурсной, особенно заметна выработка тонов, что Иван Иванович считал обыкновенно лишним. Поздравляю его со всею горячею к нему моею привязанностью и из глубины души желаю как можно чаще слышать о его подвигах, которые в других поднимают, конечно, не совсем схожие с моими чувства; но тем дороже успех, чем больше производит завистников: это лучшая мерка успеха.

Григорович<sup>11</sup> меня известил о том, что конкурс<sup>12</sup> отложен до 1 марта. Попробую окончить одну картину<sup>13</sup>. Это может и даже должно казаться безумством, когда у меня работы по горло, а именно к последним числам марта я должен написать четыре картины<sup>14</sup> Владимиру Александровичу<sup>15</sup>, которые еще — о ужас! — не начаты. А тут еще на конкурс? Да разве можно в два месяца написать пять картин? Попробую. Успею — хорошо, не успею — тоже. *Прошу тебя*

никому этого не говорить. Я это пишу тебе по обыкновенной родственной откровенности, зная, что гурного ничего не подумаешь, а другие сейчас заорут: так вот он как обращается с заказами, так вот как он...! и проч. Никто ведь не знает, что я имею полное право так относиться к этим заказам, которые мне приносят убыток, а не заработок. За прошлую картину<sup>16</sup>, которую я, правда, писал только месяц, я получил всего 800 руб.! Назначил же я за нее 2000. Сначала покажется, что 800 руб. красная, краснейшая цена этой картине. Но это только покажется тому, кто не знает, что я на эту картину собственных денег истратил 350 руб., следовательно, за картину остается 450 руб. И это все-таки, судя по достоинству картины, цена сносная, но ведь я из-за нее не мог работать с 7 августа 1872 г., ведь это время я шатался из конторы в контору, из управления в управление, чтобы позволили въезжать в экипаже в сад дворца<sup>17</sup>, чтобы мог получить комнату, для того чтобы там поесть, и проч., и проч. Вот когда возьмешь в расчет все эти обстоятельства, то окажется, что картина не только не оплачена как следует, но ясно видно, что я потерял 2 или 3 тысячи руб. Черт знает для чего. Никто, конечно, этого не знает и не хочет знать, и всякий только ругает картину! Это, впрочем, хороший урок для меня, и заказы теперь для художника Васильева не существуют, а если кому будет угодно что-либо мне заказать, то я приму заказ не иначе как с условиями, мною самим назначенными, т. е. не я буду подчиняться заказчику, а заказчик мне. Ну, все эти поганые дрязги в сторону. Здоровье мамаша совершенно удовлетворительно, Романа<sup>18</sup> и еще лучше, о своем писал. Когда же исполните обещание и пришлете карточки свои и те, о которых я просил? Альбом есть, но совершенно пуст, а очень бы было приятно иногда посмотреть знакомые лица. Неужели все карточки нашего альбома растеряны? — Это будет очень жаль! Мы же прислать своих не можем, потому что здешний фотограф работает только летом — время приезжих. Время проводим крайне однообразным сидением, кто за книгой, кто за другой, кто за третьей. Не правда ли, разнообразно? Положительно больше нечего делать, потому что разговор может вертеться только на воспоминаниях, совершенно истрепанных, или на безобразиях города Ялты и его жителей, что также не может доставить чего-либо приятного, совсем даже наоборот. Вдобавок ко всему мне опять запрещено говорить, что, впрочем, мне исполнять очень легко: разговари-

вать не с кем и не о чем. Изредка заедут навестить знакомые, количеством которых похвастаться не могу, потому что во всей Ялте и ее окрестностях есть всего-навсего два-три хороших семейства<sup>19</sup> — ими и ограничиваюсь. Мама же положительно ни с кем не желает быть знакома. Летом другое дело, и скучать некогда: нужно пойти погулять, выкупаться, насладиться ароматами поспевающих фруктов или полюбоваться темно-зеленым морем с бульвара, который облеплен, как мухами, приезжими. Замечательно то обстоятельство, что в Ялте нет дурно одетых. Все, без исключения, разряжены в пух и прах, с княгинь до прачек и судомоек буквально. Словом, на бульваре и по набережной блеск и только. Но до какой степени хорош южный берег, даже сама Ялта летом, это можно судить по тому, что ты, знающий все неприятнейшие стороны Ялты, не видишь их летом. Этот чудный колорит неба, моря и гор совершенно закупают в свою пользу всех без исключения. Представь себе прошлое лето, например, в продолжение которого не было ни одного ветра, ни одного дождя, ни одного облачка на небе, и это продолжалось, как ты думаешь, до каких пор? — до первых чисел декабря!!! до первых чисел декабря термометр показывал до 20° тепла! Этакое постоянство. Но, нужно признаться, весь почти январь стоит преподлый. Неба не видно, туман без промежутков и ветер с дождем чуть не каждый день.

Жду обещанных фотографий с картин Ивана Ивановича. Целую тебя тысячу раз. Лидю тоже. Иван Иванович не любит вообще излишней, а потому жму ему руку и от всего сердца желаю написать еще 1000 прекрасных картин.

Твой брат

*Ф. Васильев.*

Нецветаев<sup>20</sup> прислал письмо до такой степени глупое, что я не знаю, как отвечать ему. Он очень, кажется, сердит на меня за последнее письмо, и на всех художников вообще.

\* \* \*

Да, Женя, свиданье-то надо отложить еще месяцев на 7, а если бы ты знала, как мне-то хотелось поскорей увидеть вас, и много, много есть, что передать вам, если бы не заказы проклятые, то мы были бы в Питере в мае месяце, а теперь не ранее августа. И Федя значительно поправился прошедшее лето, а эти заказы настолько испортили его здоровье, на починку его надо много времени и много денег, вот уже

другой месяц через день к нам жалует доктор, за визит приготавливай 3 руб., да лекарства в неделю рублей на 5 или на 6, различные микстуры, порошки, пилюли, рыбий жир, зельтерская вода да разные мази, спирты и Бог знает чего только нет, все и не припомнишь, да, Женя, здоровье его очень плохое, я не думаю, чтобы он совсем поправил свое здоровье. Может быть, оно и поправилось бы, только совершенно при других условиях, жить, ни о чем не заботиться, то есть быть всем обеспеченному, но, как ты знаешь, что это невозможно, значит и здоровье поправляется очень медленно! О себе скажу: 1 — постарела, 2 — почти постоянная боль в голове, грудь болит, глазами вижу гораздо хуже, чем прежде, да и поплакала же я здесь, Боже мой, и тоска тоже чего-нибудь стоит, от нее-то, мне кажется, и грудь болит, но я особенно не очень беспокоюсь, только бы вы, все дорогие моему сердцу, были здоровы. Ты, Женя, одевайся теплее, береги свое здоровье, потерять его легко, а возратить тяжело, а иногда и невозможно! Климат здесь и природа действительно прекрасные, а я почти и не замечаю их, мне кажется, только людям счастливым и богатым доступно наслаждаться всеми благами природы, а не нам, грешным, да еще в Крыму; я еще допускаю это наслаждение где-нибудь в деревне да поближе к родине, где проще и дешевле, а здесь я носу не покажи на улицу, иначе как по последней моде; по этому случаю я больше сижу дома; Женя, голубчик, купи мне, пожалуйста, шиньон, такой, как у тебя, а именно — две косы, и цвет такой же, как у тебя, мои волосы почти все выпали от постоянных головных болей, только чтобы косы были — чистый волос, без войлока, а то вообще эти шиньоны очень тяжелы и моя голова их совсем не выносит, да, кстати, пришли мне мерку Лидиных штанишек и ночных рубашечек, я ей здесь нашью, у меня, кстати, есть голандское полотно, и выбери побольше рубашечку, она ведь растет; как бы мне хотелось ее расцеловать, мою красавицу Лидюшу, да, а деньги на покупку шиньона спроси у Нецветаева, я думаю, у него остается что-нибудь с дохода дома. Мой глубочайший поклон Ивану Ивановичу, а всем нашим общим знакомым мой искренний поклон, мысленно целую вас, дорогих моему сердцу, любящая вас мать Ваша *Ольга Васильева*.

\* \* \*

Из Москвы я довольно часто получаю письма, мне Мария писала, что бабушка будет у вас на короткое время; из-за

границы мы получили два письма, сестра<sup>21</sup> пишет, что они еще на год остаются в Иерусалиме для приведения в порядок дел; у них монахи взбунтовались и выгнали Патриарха, и по этому случаю у них большая переписка с Синодом; вам Макаров<sup>22</sup> передает подробности, он был там с В[еликим] князем<sup>23</sup>, нам писала сестра об этом.

Не оставили места, а то бы больше написал.

Целую тебя, дорогая моя Женя. И Ивана Ивановича, и Лидю. Желаю вам всего, всего хорошего. Федя купил Лиде локомотив с вагонами. Он заводится ключом.

Остаюсь твой любящий брат *Роман Васильев*

## Примечания

<sup>1</sup> Письма Ф. А. Васильева к И. Н. Крамскому. 1871—1873 // Вестник изящных искусств. 1889. Т. VII. Вып. 4. С. 331—380; Вып. 5. С. 445—475; Вып. 6. С. 540—589; Письма Ф. А. Васильева к разным лицам // Вестник изящных искусств. 1890. Т. VIII. Вып. 3. С. 226—237; Вып. 4. С. 298—320; Вып. 5. С. 385—404; *Васильев Ф. А. Письма и документы*. М., 1937.

<sup>2</sup> Вестник изящных искусств. 1890. Т. VIII. Вып. 3. С. 225.

<sup>3</sup> Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике. Л., 1984. С. 255.

<sup>4</sup> См.: *Скабичевский А. М. Литературные воспоминания*. М.; Л., 1928. С. 128.

<sup>5</sup> «Вид из дворца Эриклик». (Эриклик — небольшой дворец в Ливадии, построен для имп. Марии Александровны.)

<sup>6</sup> Олехнович.

<sup>7</sup> Шишкина *Людия Ивановна* (1869—1926) — племянница Ф. А. Васильева.

<sup>8</sup> Шишкин *Иван Иванович* (1831—1898) — художник-пейзажист, зять Ф. А. Васильева.

<sup>9</sup> *Крамской Иван Николаевич* (1837—1887) — живописец, один из создателей Артели художников и Товарищества передвижных художественных выставок.

<sup>10</sup> Речь идет о картинах «Лесная глушь», «Полдень. Перелесок».

<sup>11</sup> *Григорович Дмитрий Васильевич* (1822—1899) — писатель. Учился в Академии художеств. Был секретарем Общества поощрения художеств (1864—1884).

<sup>12</sup> Ежегодный конкурс по жанровой и пейзажной живописи Общества поощрения художеств проводился с 1865 г. на средства гр. С. Г. Строганова.

<sup>13</sup> Речь идет о пейзаже «В Крымских горах».

<sup>14</sup> Панно для ширм с видами Крыма. (Рисунок ширм делал архитектор И. А. Монигетти.)

<sup>15</sup> Великий князь *Владимир Александрович* (1847–1909) был товарищем президента, а с 1876 г. — президентом Академии художеств.

<sup>16</sup> См. примеч. 5.

<sup>17</sup> Имеется ввиду *Ливадийский дворец*, принадлежавший царской семье.

<sup>18</sup> *Роман Александрович Васильев* (род. 1862) — младший брат Ф. А. Васильева.

<sup>19</sup> П. А. Клеопин, Я. М. и Е. И. Иконниковы, Лазаревские, кн. Трубецкие — знакомые Васильева в Ялте.

<sup>20</sup> *Нецветаев Александр Сергеевич* — штаб-ротмистр кирасирского полка, впоследствии — полковник, художник-любитель, сначала был близок Санкт-Петербургской артели художников и Товариществу передвижных выставок, а затем конкурировавшим с передвижниками Обществом художественных выставок. Вел дела по управлению домиком Васильевых на 14-й линии Васильевского острова.

<sup>21</sup> Двоюродная сестра Ф. А., Р. А. Васильевых и Е. А. Шишкиной, дочь Любви Емельяновны и Василия Федоровича Кожевниковых.

*Кожевников Василий Федорович* (ум. 1885 г.) — вице-консул в Фиуме (с 1860 г.), консул в Тернове (1863), консул в Иерусалиме (1886), генеральный консул в Рушуке (1876) и генеральный консул в Иерусалиме (1880–1885). Был одним из деятельнейших российских дипломатов на Среднем Востоке.

<sup>22</sup> *Макаров Евгений Кириллович* (1842–1884) — художник, академик, преподаватель Рисовальной школы Общества поощрения художеств. Товарищ И. Е. Репина по Академии художеств и совместному путешествию с И. Е. Репиным и Ф. А. Васильевым по Волге в 1870 г., когда писались Репиным этюды к «Бурлакам на Волге».

<sup>23</sup> Е. К. Макаров сопровождал вел. князя Николая Николаевича в поездке в Турцию и Палестину в 1872 г.

## С. Н. ДУРЫЛИН МОСКВА

Публикация М. А. Рашковской

Автор публикуемых записок о Москве Сергей Николаевич Дурьлин (1886—1954) — историк литературы и театра, археолог и этнограф, священник, поэт, мемуарист. Постоянные читатели наших сборников могут помнить его имя по предыдущим томам «Встреч с прошлым»<sup>1</sup>. Представленный здесь текст — первая попытка С. Н. Дурьлина написать воспоминания о своей жизни. Автор начал работу над ними 2 июня 1928 года в Томске, сибирском городе, в котором он оказался не по своей воле. Уже не первый раз за прожитые 42 года Дурьлин должен был начинать жизнь заново. Позади были поездки в Оптину пустынь к старцу Анатолию Оптинскому, жизнь в Сергиевом Посаде, общение с Павлом Флоренским, беседы и переписка с умирающим В. В. Розановым, жизнь в Муранове, занятия с детьми в семье потомков Ф. И. Тютчева — Пигаревых — и в мурановском архиве. Позади было двухлетнее церковное служение. В марте 1920 года Дурьлин был рукоположен в сан священника и до своего ареста в 1922-м служил в церкви святителя Николая Мирликийского в Кленниках и в других приходах (где настоятелем был его духовный отец, московский старец Алексей Мечев). Дурьлин был освобожден из тюрьмы по ходатайству А. В. Луначарского под обещание снять с себя сан. С января 1923 по конец 1924 года он жил в ссылке в Челябинске, работал в краеведческом музее, занимался археологическими изысканиями, историко-краеведческими исследованиями. Возвратившись в Москву, Дурьлин становится сотрудником Государственной академии художественных наук, пишет статьи, читает доклады о творчестве Достоевского, Лескова, Константина Леонтьева, работает над гоголевскими публикациями. Летом 1927-го — новый арест и ссылка в Томск.

Вероятно, эти нелегкие жизненные обстоятельства во многом объясняют горечь, сквозящую в авторском предисловии:

Воспоминания пишут тогда, когда подводят итоги своей жизни, своему делу, своему творчеству. Я начинаю писать свои «Записки» тогда, когда убедился, что никакого итога не могу подвести ни жизни, ни делу, ни творчеству своему — мало того, начинаю вспоминать свое прошлое тогда, когда должен бы сурово спросить себя:

да было ли у меня дело? было ли у меня творчество? — была ли у меня и самая жизнь? Ведь жизнь — это не некоторое количество «я», рассеянных по дням, годам и десятилетиям, и внешне только объединенное общим обозначением: «Сергей Дурылин». Жизнь — это нечто единое, целостное, одноформное. А я знаю, что и умру, не создав формы своей жизни. Я — никто: я — «не», «не» и «не»: не ученый, не писатель, не поэт, хотя я и писал ученые статьи, и был писателем, и слагал стихи, я — никакой профессионал. Никакое профессиональное дело не сделано мною в жизни. Я многое делал, но ничего не сделал. Жизнь не жила, а скорее мне снилась, — то хорошо, то дурно. Рассказывать сны! — кому интересно? И лучше, и проще сказать, что жизни у меня не было, ибо часто-часто повторяю я (и давно, с 20 лет начал повторять) осмеянные когда-то слова В. Я. Брюсова: «Желал бы я не быть «Валерий Брюсов»!»<sup>2</sup> Желал бы я не быть тем «Сергеем Дурылиным», о котором приходится писать, если хочешь говорить о прожитом!

История есть суд, давно сказано. Писать историю, значит — судить. Наоборот: вспоминать — значит, прощать. Обвинительные речи, обращенные к прошлому, всегда лживы: прошлое молчаливо; позванное на суд, оно не может ничего сказать в свою защиту, оно не может выставить свидетелей в свою пользу: все они в могиле. Если нет сил прощать, не надо и вспоминать. Всех надо простить в воспоминаниях: и это простить — здесь будет значить — понять, всех надо простить, кроме одного — кроме себя самого.

Был «Сергей Дурылин». Ребенок, отрок, подросток, юноша, взрослый человек, почти старик, он жил, но часто — и чем дальше, тем чаще — «Сергеем Дурылиным» тяготился тот, кто десятки десятков раз повторял, относя к себе приведенные брюсовские стихи, и кто мог бы так — совершенно иначе — определить себя:

Я — это ТЫ, о НЕВЕДОМЫЙ,  
Ты, в моем сердце ОБИЖЕННЫЙ.

Вот, значит, есть и хорошо осведомленный судья «Сергею Дурылину». Только сумеет ли он судить. И так, и суд, и прощение должны быть в этой книге. Пусть они объединяются в «сердца горестные заметы» и в те припоминания «памяти сердца», которые будут посвящены тем, о коих нельзя говорить

...с тоской: их нет!  
Но с благодарностью: были!



Работа над осмыслением своего внутреннего опыта, встреч с людьми всегда была для Дурылина существенной потребностью. В архивном фонде Дурылина сохранилось множество записных книжек, дневников, рабочих тетрадей, которые он вел с юности. Часть их получила авторское название «В своем углу». Эти тетради включали дневниковые записи, черновики писем к близким, копии наиболее интересной корреспонденции, выписки из книг, необходимые для научной работы, размышления по поводу прочитанного, воспоминания о друзьях и знакомых, умерших, эмигрировавших, или о тех, с кем он был разлучен (В. Я. Брюсов, Н. К. Метнер, В. В. Розанов, М. А. Волошин, М. В. Нестеров, Б. Л. Пастернак...) Большая часть этих тетрадей заполнялась автором в челябинской и томской ссылке, на поселении в Киржаче и не предназначалась для издания<sup>3</sup>. После возвращения в Москву летом 1932 года Сергей Николаевич перестал их вести. А вот записки, о которых идет речь, скорее всего, должны были стать первой частью обширных воспоминаний о прошлом. Следом за ними, вероятно, предполагались воспоминания о детстве, родителях, годах учения. Эти воспоминания, объединенные общим заглавием «В родном углу», писались в 1930 году в Киржаче, куда Дурылин переехал по окончании срока томской ссылки, а затем в Болшеве во время войны. Томская же тетрадь в черной клеенчатой обложке так и осталась первым, незаконченным опытом. Всего были написаны 4 главы (части). Для пятой автор записал только эпиграф из стихотворения А. Ф. Мерзлякова «Юбилей»:

Что знамя мыслей, чувств и духа?  
Что умственный народа лик,  
Его являющий для слуха  
Вселенной и времен? Язык.

Этот эпиграф, в некоторой степени, позволяет догадываться о возможном замысле ненаписанной главы.

Мемуарист назвал свой текст записками и, действительно, более четко определить их жанр было бы трудно. Здесь и воспоминания, и историко-культурный очерк, и эссе. Это характерно для Дурылина, в те годы и мировоззренчески, и стилистически находившегося под обаянием личности и творчества Василия Розанова. Суть же розановского художественного влияния на Дурылина в том, что эстетика произведения определяется процессом непрерывного авторского собеседования с читателем и одновременно с самим собой; само авторское «я» вовлекается в круг собеседников. Как всегда у Дурылина, это еще и рассказ умного, очень знающего, доброжелательного и немного печального наблюдателя жизни. В 1928 году он вспоминает и любовно воссоздает приметы не слишком давнего, но уже навсегда ушедшего быта: маршруты конки и трамваев, цены на билеты, типы извозчиков, звуки ночной и дневной Москвы; купола и звоны московских церквей, московский говор.

Все это описано подробно, обстоятельно, с живыми сценками и характерными участниками, в числе коих и реальные московские жители. Писатели, ученые, священнослужители, предприниматели, художники, актеры, гимназические учителя и соученики по гимназии — все эти люди вовлечены в общий круг московской жизни и воскрешены под пером мемуариста. М. Ю. Лермонтов и Артем, И. Ф. Горбунов и А. А. Яблочкина, Б. Л. Пастернак и В. И. Суриков, М. А. Волошин и М. П. Садовский, С. Н. Булгаков и Е. Н. Трубецкой, патриарх-мученик Гермоген и С. И. Мамонтов не случайно упомянуты в записках о Москве и не случайны для их автора. Жизненные пути многих из них непосредственно пересеклись с жизнью Дурылина, творчество и личность других стали предметом его дум и исследований.

В Сибири он тоскует и по ушедшей Москве, и по настоящей. Любовь к ней сказывается не только в любовно припоминаемых реалиях старого, размеренного быта, но и в обстоятельных описаниях примет нового времени. Москва детства и юности автора — бурно развивавшийся индустриальный город, за которым стояла огромная духовная и культурная традиция коренной России. Многообразии взаимодействующих планов городской жизни начала XX века с неповторимой тонкостью запечатлено автором. И это не случайно. За этой тонкостью стоит опыт не только даровитого писателя, но и ученого археолога и этнографа, умеющего видеть, осмысливать и описывать некоторые уникальные явления исторического наследия и текущей народной жизни. Труды Дурылина по этнографии Русского Севера до сих пор сохранили свой научный и общекультурный интерес. Одна из тем его историко-культурных занятий в предреволюционную пору — место града Китежа в русском народном сознании, то есть тема исчезнувшей, но подспудно сохраняющейся святыни. Этому посвящена его книга «Церковь Невидимого Града» (М.: Путь, 1913). Святыня может уходить с поверхности, может быть гонима, может таиться в глубине сознания, но рано или поздно ей надлежит проявиться и подняться из глубин жизни. Вероятно, задачей этих записок было сохранение в памяти и запечатление образа Москвы-Китежа.

Записки не были закончены Дурылиным, и этим объясняется их черновой характер. В 1928 году он еще пользовался старой орфографией. В рукописи множество зачеркнутых и вписанных над строкой и на полях слов и фраз, некоторые из них не поддаются прочтению. Имеются пропуски в тексте. К отдельным абзацам автор вынес на полях тематические подзаголовки-пометы, например: «Церковная тишина», «На Иване Великом в пасхальную ночь с Борисом Пастернаком». Скорее всего, эти подзаголовки носили подсобный характер и помогали ему быстро отыскать необходимый отрывок в цельном тексте. При публикации, чтобы не затруднять чтения, эти пометы не воспроизводятся, так же

как и не оговариваются авторские вставки и исправления. В некоторых случаях публикатор дополнительно разбил текст на абзацы.

Текст печатается по современной орфографии, явные описки исправлены без оговорок, общеупотребительные сокращения (такие, как «напр.», «т. к.», «мн. др.») раскрыты, иные — раскрываются в квадратных скобках. Авторские подчеркивания переданы курсивом. Рукопись записок хранится в РГАЛИ в фонде С. Н. Дурылина (Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 217).

Москва не есть обыкновенный большой город, каких  
тысяча; Москва не безмолвная громада камней  
холодных, составленных в симметрическом  
порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь.

*Лермонтов*

Москва!.. Как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось, —  
Как много в нем отозвалось!

*Пушкин*

Мы же все любим родную Москву! — Что мы в ней  
полюбили?  
Всё: и людей, и обычай, и стены, и камни, и гробы.

*М. Дмитриев*

## 1

Москва до конца XIX века была тихая, златоглавая, великорусская Москва. С начала XX века, с японской войны и первой революции, в нее впервые пришел шум трамваев, автомобилей, новых железных дорог — она перестала быть тихой; началась, с этой же примерно поры, усиленная стройка домов в 5, 6, 8, этажей\*. Их высокие громады, до революции 1917 г. еще пытавшиеся перенять от умиравших барских особняков их изящный облик *empire*'а, скрыли своими плотными коробкообразными массами старинные низенькие

---

\* Первым домом в 8 этажей был дом Ефремова у Красных ворот, построенный около 1905 г. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

церкви, — и Москва постепенно перестала быть златоглавой; война 1914 г., революция 1917 г. и последующие годы наводнили Москву пришлым людом с двух частей света, — и Москва перестала быть великорусской.

Москвичи старой Москвы, — Москвы, гудящего звоном Кремля, тихих улиц с густыми садами, златоглавых церквей, — Москвы Малого театра с Ермоловой, Федотовой и Садовскими, Московского университета с Ключевским, нарождающегося Художественного театра — Москвы многонародных летних крестных ходов в окраинные монастыри, шумящего веселого Вербного гулянья на Красной площади, — народной, ядреной великорусской речи на Сухаревке, на Трубе, в трактирах с белыми половыми, — москвичи этой московской Москвы уже не составляют всего населения теперешней Москвы. Огромное число теперешних насельников Москвы — не москвичи, связанные со своим городом давними, исторически крепкими связями, а случайно попавшие в Москву жители. Если б им переселиться в Петербург, в Одессу, в Лондон, в Шанхай, в Нью-Йорк, они остались бы там такими же жителями со стороны, квартирантами, какими были в Москве, и не принесли бы с собой ничего московского. Грибоедов утверждал в 1820-х гг., что «московский отпечаток» на всех москвичах приметен «с головы до пяток» — жители Москвы, поселившиеся в ней с войны 1914 г., конечно, не обладают этим «отпечатком» и в ноть величиной — ни в речи своей, ни в бытовом складе, ни в «памяти сердца», ни в «рассудка памяти печальной». Они случайные прохожие, осевшие в Москве; так могли бы они осесть в любом городе мира, всюду одинаково не «местные» и без «отпечатка». Грибоедовская Москва давно умерла, но «московский отпечаток» продолжал существовать, пока существовала старая Москва. Его нетрудно было различать на людях самых разных житейских положений и культурных уровней. В. О. Ключевский был знаменитый историк, человек скептического ума и взора, М. П. Садовский был славный актер Малого театра, приятель и совершенный исполнитель Островского, Ф. Н. Плевако был прославленный на всю Россию присяжный поверенный, либеральный обличитель игумении Митрофании<sup>4</sup>, В. М. Васнецов был благочестивый художник Владимирского собора, монархист по убеждениям. Протопресвитер Большого Успенского собора Н. А. Любимов, огромного роста, огромной толщины и с огромным басом, был такой величественной красоты, что про него говаривали:

«Есть в Москве Царь-колокол, есть Царь-пушка, а есть и Царь-поп». Но вот если б рядом с этими знаменитыми ученым, актером, художником, с именитым протопопом — поставить обыкновенного московского купца из Замоскворечья или Таганки, мастерового с Немецкой улицы, фабричного из Даниловской мануфактуры [18]90-х гг., букиниста от Владимирских ворот или полового из московского трактира, — на них на всех сказался бы единый «московский отпечаток», — и не в одной только речи. На первой неделе Великого поста они все и встречались в Большом Успенском соборе за мефимонами\*: Любимов читал мефимоны<sup>5</sup>, с великолепною, московскою, соборною стильностью древнего прекрасного богослужебного чина, Плевако, церковный староста, «ктитор» Успенского собора, шел с блюдом, а Ключевский, Садовский и Васнецов вместе с таганскими купцами, даниловскими фабричными, мастеровыми с Зацепы, вместе с забежавшим половым от Арсеньича<sup>6</sup>, с приказчиком из Теплых рядов, а иной раз и вместе с гимназистом С. Дурылиным, стояли в толпе молящихся, переполнявшей древний собор, и молились, и умилялись, как москвичи XVII ст., на суровое великолепие, необычайную словесную красоту, умиленность великопостной службы. На всех них, от служащего протопопа, от собирающего на собор ктитора-адвоката, от молящегося скептика-профессора русской истории до мастерового и гимназиста лежал тогда один «московский отпечаток» — не тот, конечно, над которым подсмеивался Грибоедов. Этим «отпечатком» объединялась Москва и в пасхальную ночь на Кремлевской Соборной площади в Светлую Заутреню. Бесчисленные огоньки желтых, красных и зеленых пасхальных свечей ярко и мудро озаряли тогда этот «отпечаток» на лицах всех, кто бывал тогда на Соборной площади. А тут, плечо о плечо, с фабричным-ткачом и сидельцем из амбара готового русского платья Стулова, стаивали и тот же Ключевский, и Владимир Соловьев, и специально для Кремлевской Светлой Заутрени

---

\* Допускаю здесь хронологическую неточность: Н. А. Любимов сделался протопресвитером Успенского собора, сколько помню, уже тогда, когда умерли Ключевский и Плевако (года через два после их смерти). Но предшественники его, протопресвитеры, были также, в своем роде, «Царь-попы»: с мощными фигурами, глубокими басами, коренные москвичи. Любимова беру лишь потому, что он был классическим типом протопопа, чем и стяжал вышеприведенное прозвище. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

приехавший из Петербурга москвич И. Ф. Горбунов\*<sup>7</sup> с московскими актерами, и, случалось, А. П. Чехов, и художники-москвичи: Ап[оллинарий] Васнецов, покойный Переплетчиков и многие другие.

«Московский отпечаток» лежал на них всех и тогда, когда встречались они все на Вербное на Красной площади, — или рылись в лавочках букинистов на старой Сухаревке. Ключевский искал редкие издания грамот царских, Садовский — водевиль начала XIX ст., мастеровой — «Разбойника Чуркина». Каждый свое. Но каждый искал, не стирая с себя общего «московского отпечатка».

Когда Ключевский рассказывал с кафедры Московского университета про тишайшего москвича, царя Алексея Михайловича, когда Плевако говорил в суде, когда Садовские играли в пьесах Островского на Малом театре — студент, слушатель, зритель слышали ту народно-яркую, емко-меткую, самоцветно-живую московскую речь, которая, разумеется, не в столь совершенной художественной обработке, — также звучала из уст московских купца, мастерового, фабричного и той московской просвирни, у которой Пушкин советовал учиться чистоте и правильности русской речи<sup>9</sup>. На речи великого историка, знаменитого актера, славного адвоката, как и на речи мастерового и купца, лежал один и тот же «московский отпечаток», который так высоко ценил москвич по рождению и языку Пушкин.

Этого многообразного московского «отпечатка» нет ни на йоту у пришлых, новых, современных жителей Москвы. Отпечаток этот стерся почти на глазах наших. Стоит старому прирожденному москвичу прислушаться к современной речи в Москве (не хочу ее называть московской) в трамвае, в театре, на лекции, где угодно, даже в церкви во время проповеди, и ухо сразу уловит в речи какой угодно отпечаток — одесский, киевский или еще более западный, или какой угодно восточный, — только не московский. Артист Малого театра М. Ф. Ленин сказывал мне, что, когда в труппу Малого театра в 1909 г. вступил К. В. Бравич

---

\* А. А. Яблочкина рассказывала мне в 1926 г., как ей в молодости приходилось ходить в Кремль к заутрене с Н. А. Никулиной<sup>8</sup> (из московского купеческого рода) и с И. Ф. Горбуновым, который, приехав из Петербурга, нарадоваться не мог, что он в Москве, в Кремле, с народом: «московский отпечаток» сиял на его умном, русском, простом лице: он был родом из подмосковных, пушкинских фабричных. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

и пришлось ему играть в русских классических пьесах, старых актеров Малого театра неприятно поразило в речи этого умного артиста отсутствие того, что я называю «московским отпечатком» и что в течение 100 лет господствовало на Малой сцене. В его речи не оказалось той прирожденной верности речевому строю Грибоедова, Островского и др., которая одна помогала вскрывать все словесное богатство этих драматургов-москвичей и наполнить этим богатством сценические образы.

То, что почувствовали в Бравиче актеры Малого театра, выросшие в атмосфере чистейшей русской речи, может чувствовать лишь москвич, а не житель Москвы, — и указать, в чем тут ущерб, тому, кто наносит этот ущерб, конечно, невозможно. Но огромную порчу языка, исчезновение из него Пушкиным утвержденного «московского отпечатка» можно проследить и иначе. Стоит сравнить язык московских газет, скажем, 1927 г. с языком московских же газет 1897 г., чтобы не ходить далеко: «московский отпечаток» газет 1897 г. (каковы бы они ни были, либеральные или консервативные, профессорские или уличные) заменился в 1927 г. отпечатком несравненно более юго-западным, — во всяком случае таким, которому москвич Пушкин не послал бы никого учиться.

Но «московский отпечаток» смыт не только с людей и языка их, он смыт и с самой Москвы. Ее «лица необщее выражение», которым приезжали на моей памяти восхищаться Кнут Гамсун, Верхарн, Уэлс, с каждым годом исчезает все больше и больше, сменяясь обычной гримасой рядового европейского города, пыгающегося торопливо американизироваться. Уничтожение целого ряда архитектурных памятников, характерных для Москвы (достаточно назвать Красные ворота и целый ряд церквей XVII — XVIII ст.), застройка новыми домами коробочно-американского типа серой, а не типичной для Москвы белой окраски, проведение новых улиц, перемещение рынков и упразднение некоторых из них (достаточно назвать упразднение старых «Сухаревки» и «Трубы»), уничтожение древних московских народно-церковных установлений (крестные ходы вокруг Кремля и в окрестные монастыри) и народных торжищ и гульбищ (Вербное гуляние на Красной площади, великопостное торжище «на льду» между Устьинским и Москворецким мостом), вырубка садов и снос множества старых деревянных домов в бестопливную эпоху 1919 — 1921 гг. Все это и многое

другое уже уничтожило на три четверти тот «московский отпечаток» во внешности города Москвы, которым любовались Гамсун и Верхарн. Пройдет еще немного лет — и Москва будет напоминать собой не Рим, как напоминала она Шевыреву<sup>10</sup> в 20 — 30-х гг. XIX ст., не сказочный восточный город, каким показалась Гамсуну в 1903 г., и не тот с детства мечтаемый рыцарский Кремль-Замок, которым Москва предстала Верхарну в 1913 г., а будет напоминать те шумящие города, от воздуха до глубины недр разорванные воздушными железными дорогами, трамваями, автобусами, метрополитенами, города, каких существует много, однообразных и скучных, в Европе, Америке, Австралии.

Жить и умереть в такой Москве я бы не хотел. Желал бы умереть тогда, когда еще нашлось бы мне место в земле московской, под березами, а не в отвратительной, всепожирающей огненной пасти крематория. Пока же жив, пока «память сердца» предъявляет вне места и времени тех, о ком не надо «говорить тоской: их нет, но с благодарностью: были» — первой вспоминается родина — Москва. Ей первой, горько зная, что ее уже нет, хочется сказать «с благодарностью: была!» Вот почему начинаю свои записки с воспоминания о старой Москве. Умерла она в [пропуск в тексте] году.

## 2

Порфироносная вдова.

Пушкин

Москва была тихая, как и подобало быть «порфироносной вдове».

До самого конца 90-х к ней вели вместо 11 современных только 6 железных дорог: Николаевская, Ярославская, Нижегородская, Рязанская, Курская и Брестская. Из них только Николаевская, Курская и Брестская были не меньшей длины, чем, скажем, в 1914 г.; остальные были короче и гораздо проселочнее, если так можно выразиться. С маленького, в два этажа всего, беленького «Троицкого» вокзала — так называли тогда все, и извозчики, и пассажиры современный Северный вокзал — можно было доехать только до Ярославля; в Ярославле надо было переправляться через Волгу, как кто хочет: на парходике или на лодке и, взобравшись в гору, садиться в крошечный поезд узкоколейной, совсем проселочной железной дороги и доехать в нем до тупика —



до недалекой Вологды. Линия до Архангельска, построенная гениально-прозорливым С. И. Мамонтовым, убыточно уложившим на нее огромные средства и через то подсекившим до краха свое состояние, была открыта только в 1898 г. «Троицкий вокзал» верно выражал истинное значение для Москвы этой дороги: конечно, больше всего по ней ездили на богомолье к Троице, к Преподобному. Дорога и была сперва построена только до «Троицы». Казанская линия Рязанской жел[езной] д[ороги] также проложена была лишь в середине 90-х гг., Нижегородская упиралась в тупик. Крохотные, тесные деревянные вокзальчики Курской (там же, где теперь) и Нижегородской ж[елезной] д[ороги] (где теперь Москва-2 Нижегородской дороги) показывали, как невелико было движение по этим линиям.

Окружной дороги не было. Любопытно посмотреть в газетах середины XIX ст. расписание поездов, отходящих и приходящих в Москву, и сравнить его с расписанием лета 1914 г.: оно поражает своею бедностью — мало железных дорог, еще меньше поездов, дальних две-три пары в день да две-три пары ближних, — вот и все. Населеннейшее кольцо таких подмосковных поселков, как Лосиноостровская (теперь — город!), Чухлинка и др., — отсутствовало. Почти до самого 1905 г. на месте современного города Лосиноостровска, куда ходит до 10 — 15 поездов в день, был прекрасный сосновый лес, часть знаменитого древнего Лосино острова, в котором в изобилии водились лоси, выбитые в эпоху 1918 — 20 гг.

На шести железных дорогах не было такого огромного числа промежуточных между станциями платформ, какие есть теперь. Дачных мест под Москвой было немного; зимние поселения при пригородных станциях отсутствовали. Поэтому и такого напряженного, почти непрерывного движения поездов дачных и пригородных, какое есть теперь, тогда не было.

Главная улица, ведущая к главным вокзалам, — Мясницкая середины 90-х гг. и Мясницкая 10-х, 20-х гг. XX ст. — это две совершенно различные улицы двух совершенно различных городов. Теперешняя Мясницкая — это поток трамваев, автобусов, автомобилей, мотоциклетов, извозчиков, льющийся к вокзалам и давно уже переливающийся до того через край, что есть прямая нужда отвести часть этого потока под землю, в метрополитен. Поток этот смыл на своем пути и чудесный памятник Елизаветинской эпохи —

Красные ворота\*, и прекрасную, также Елизаветинской эпохи, Церковь Архидиакона Евпла, на углу Милютинского переулка<sup>11</sup>, ту самую, в которой, в единственной в Москве, не прекращалось богослужение во все время пребывания Наполеона в Москве\*\*, и грозит снести и древние церкви Гребенской Божией Матери и Флора и Лавра\*\*\*.

Мясницкая — по непрерывности, силе и мощности совершающегося по ней движения — едва ли не самая напряженная улица новой Москвы, так как она — кратчайшее расстояние между главными вокзалами и центром. Таково же, конечно, было географическое значение ее и в старой Москве, но была она тогда совсем иная: достаточно сказать, что почти вплоть до 1905 г. по Мясницкой не только не проходили бесчисленные линии трамваев, а не проходила по ней и тишайшая московская конка. Это была улица серьезных технических контор и легковых извозчиков, отвозивших пассажиров на три вокзала, — улица деловая, но вовсе не стремительная, а скорее следовавшая темпу: «медлительно спешить».

И эта улица — без трамваев и без конки — считалась одной из самых шумных в старой Москве. Отнюдь не шумный характер этой самой шумной улицы прежней Москвы подчеркивался еще и тем, что на ней находились здания, не любящие шума, — богатые особняки известного мецената К. Т. Солдатенкова (с картинной галереей, пожертвованной впоследствии в Румянцевский музей), Стахеева, Мазурина и др., Духовная консистория, больница, Училище живописи — бывший дом масонских лож, реальное училище Воскресенского, женская гимназия и др.

Москва окружена теперь кольцом непрерывного свиста паровозов, не разрывающимся ни днем, ни ночью. Этого кольца также не было. От этого отдельные свистки паровозов воспринимались на фоне обычной тишины как несдержанные вскрики острой, почти человеческой грусти. Теперь, когда эти вскрики почти сливаются в непрерывное кольцо, этого восприятия уже нет. Все стало будничней,

---

\* Такова, по крайней мере, официальная мотивировка их сломки, лишившей Москву и Россию одного из совершеннейших памятников Елизаветинского барокко, строенного классиком русской архитектуры — Ухтомским. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

\*\* Опять-таки такова официальная мотивировка сломки и этого замечательного памятника архитектуры XVIII ст. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

\*\*\* Разговоры об этом уже идут. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

обычной. Во вскриках утерялось что-то личное, неповторимое, остро-человеческое.

Москва окружена и перечеркнута теперь вкривь и вкось линиями трамваев. Первая линия (пробная) по Малой Дмитровке появилась в 18[*пропуск в тексте*] году и долго оставалась единственной. Любители прогулок ездили по ней кататься. Прокладка настоящей трамвайной сети началась только перед самым 1905 г., даже, кажется, в этом именно году, — и новенькие трамвайные провода послужили отличным материалом для построения баррикад. Делалось это очень просто. Помню баррикаду на Покровке в декабре 1905 г. Революционеры подрубили два-три трамвайных столба с большим участком проволоки; из столбов и [лут] этой проволоки легко устроили такое заграждение поперек широкой улицы, что оно не уступало и японским на полях Маньчжурии. Без трамвайной проволоки труднее было бы воздвигать баррикады.

Место трамваев в старой Москве занимали конки. Было два общества конно-железных дорог. Первое владело линиями по главным улицам, второе — второстепенными линиями. И тех и других было немного, — несравненно меньше, чем трамвайных. Первое общество содержало линии, шедшие радиусами от центра, от Лубянской площади: по Маросейке — Покровке до Преображенской заставы, по Маросейке — Черногрязской Садовой и Сокольничьему шоссе до Сокольничьего круга, по Солянке и Николо-Ямской до Рогожской заставы, по Арбату до Дорогомиловки и в Замоскворечье по Полянке до Серпуховской площади.

Второе общество (Бельгийское) содержало кольцевые линии, соответствующие теперешним трамваям А и Б, линию от Устьинского моста по Пречистинке до Новодевичьего монастыря, по Пятницкой от Чугунного моста до Серпуховской заставы, линию от Устьинского моста до Городской прачечной у Краснохолмского моста, линию по Калужской улице до Заставы, линию по Землянке и Андроньевке, по Мещанской от Сухаревой башни до Крестовской заставы, — и электрическую линию от Страстного монастыря по М. Дмитровке до Бутырской заставы. От Бутырской заставы до Петровско-Разумовского и от Калужской заставы до Воробьевых гор ходили паровички с вагонами, а от Сокольничьего круга до с. Богородского в летнее время ходила конка. Вот и вся нехитрая стальная паутина, которою покрывала старушка-конка Москву. Где ей сравниться с цепкою и частою трамвайной паутиной!

Сколько улиц, теперь зашумленных, zagrożенных, zagrożенных трамваями, были тихи, пусты, почти дремотны: Новая Басманная с особняками барскими и купеческими, с целыми рощами за ними, стародворянская сонная Остоженка, университетская Моховая, бойкая Мясницкая, оживленная Б. Дмитровка, купеческая Немецкая, родная улица Пушкина, захолустная 2-я Мещанская, с «Балконом» и прочими деревенскими палестинами между 1-й Мещанской и Тверской, и много других сонных провинциальных уголков Замоскворечья, Таганки, Семеновского, Рогожской, Ольховской — все они были без конок, без рельсов, без проводов и столбов!

На Театральной площади коночные линии робко жались к Китайгородской стене; огромная площадь, — песчаный, никем не пересекаемый прямоугольник, служивший для военных парадов, — была пуста; по Охотному ряду не проходила конка. На Красной площади дышали еще древней тишиной Кремлевские стены, Василий Блаженный и Лобное место: их древней дремоты не тревожил визг трамваев. Когда подняли вопрос о прокладке трамвайных путей через Красную площадь, представительница Археологического общества гр[афиня] П. С. Уварова энергично протестовала, указывая, что трамвайное движение будет колебать древние здания и порушит весь облик исторической площади. Москва разделилась: одни были за мнение графини, другие — против; однако, по настоянию графини, трамвайная линия была перенесена от Кремлевских стен, где она была сперва проложена, ближе к Верхним рядам, где находится и сейчас.

Коночные рельсы, узенькие, тоненькие, лежали не двумя параллельными путями, как линии трамвая, а всюду были в одну колею; это вызывало необходимость разъездов. Они были довольно часты. Между Земляным валом и Ильинскими воротами таких разъездов было три: число, соответствующее числу теперешних трамвайных остановок. На этих разъездах вагон ожидал встречный вагон; там, где на перегоне предстоял подъем, на разъезде поджидал конюфореитор с пристяжной лошадей, обычно подросток, прямо из деревни, путавшийся в форменной шинели не по росту. Дождавшись вагона, он прицеплял к обычной паре лошадей, везших вагон, свою пристяжную, — и ехал на ней до следующего разъезда, а затем возвращался на прежний разъезд поджидать новый вагон. На линиях 1-го общества ходили двухэтажные вагоны, с открытым «империадом»

наверху, на линиях 2-го общества — вагоны одноэтажные и меньшего размера. Внутри вагонов шли две продольные скамьи для пассажиров, по 10 чел. на каждой; стоять внутри вагона запрещалось, да в этом обычно и не было нужды: мест всем хватало. Встречались на линии 2-го общества вагоны с перегораживающими внутренность вагона сиденьями. Летом по линиям 2-го общества ходили открытые вагоны с поперечными скамейками; от ветра, солнца и дождя с боков закрывались особыми парусиновыми полотнищами. Кондуктор обходил такой вагон по боковым продольным подножкам, цепляясь руками за особые скобки. На империал пускали только мужчин; одним из действительных «завоеваний» революции 1905 г. было то, что женщин пустили на империал, — впрочем, и это «завоевание» было непрочно, так как скоро после 1905 г. конки уступили место трамваям. Внутри вагона потолок был весь обклеен рекламами торговых фирм. Плата за проезд одной станции взималась внутри вагона — 5 к.; по цене это было около того, что платят теперь на трамвае (проезд примерно от Ильинских ворот до Преображенской заставы и теперь, и тогда стоил 15 к.), но дороже, чем стоил проезд на трамвае до революции 1917 г. Проезд на империале был очень дешев: за станцию брали всего 3 к., и огромное расстояние от Ильинских ворот до Преображенской заставы, стоящее теперь 15 к., обходилось всего в 9 к. На конке существовали не существующие ныне на трамваях «передаточные билеты», дающие право пересаживаться на пересекающихся линиях с одной на другую: это также делало езду более дешевой, чем теперь. Езда же эта была очень тихой ездой. Тихоходность конки была постоянным предметом острот тогдашних юмористических журналов. Мой гимназический товарищ Костя Толстов распевал превесело:

Эй, старушка конка,  
Догони цыпленка!

И суровый инспектор Корольков, — по-гимназическому «Красносиний», — слушал и не гневался, даже улыбался: безобидная сатира близка была к действительности. Тяжелый вагон, ведомый парой исхудалых лошадей, плохо кормленных, двигался настолько тихо, что мы, мальчишки 10—12 лет, с грузными ранцами за плечами, в любом месте пути могли на ходу вскочить на площадку вагона без всякой почти опасности для себя. Когда к паре подпрягали третью

форейторскую лошадь, вагон несся в гору с визгом колес, криками кучера и форейтора-мальчишки, с беспрестанным звоном колокольчика, — но, по правде говоря, во всем этом было больше гаму и зыку, чем быстрой езды, а иногда, особенно зимой, и гам и зык этот особенно не помогал, и вагон никак не мог въехать в горку. Случалось, что от излишних стараний и зыков вагон сходил с рельс, и тогда пассажиры выходили из вагона и помогали кондуктору толкать вагон на рельсы, и кучер немилосердно хлестал в это время лошадей и дергал колокольчик, а мальчишка-форейтор подсвистывал и тоже хлестал пристяжную. Ожидание на разъездах встречного вагона еще более замедляло движение конки. Хороший рядовой ходок, выйдя одновременно с выходом вагона, в одно время с ним приходил к месту, если не обгонял его минутою-двумя. Было мученье, имея малый запас времени, успевать на конке, например, в театр — опоздание было обеспечено. Движение вагонов конки начиналось часов в 7 утра, а оканчивалось не позднее 9 1/2. В 1900 г. была сделана попытка подавать специальные вагоны к окончанию спектаклей в Императорских театрах. Не все называли конку конкой. «Я сел в вагон», — говаривали иногда. Тетушка Мария Васильевна выражалась даже: «Я села в карету». Слово «конка» так крепко вошло в обиход московской речи, что, когда перестала уже существовать, и ходил только трамвай, можно было часто услышать: «Я поехал по электрической конке». Однако, это противоречивое сочетание слов оказалось недолговечным, будучи вытеснено словом «трамвай». Столь же противоречивый «перочинный ножик», которым в наше время чинят что угодно, только не стальные перья, оказался несравненно долговечнее: с 10 — 20-х годов XIX ст. он живет до сих пор.

Конка была типичным способом сообщения тихой Москвы: самое ее существование свидетельствовало о тихом темпе московской жизни, о том, что уличного движения в Москве было несравненно меньше, оно не было таким стремительным и не захватывало таких огромных пространств. Москва была домоседнее нынешней. У москвичей была невелика «охота к перемене мест». Битком набитых вагонов и внутри, и на площадке, как теперь в трамваях, на конке почти не бывало: внутри никогда не стояли, а площадка была набита только в утренние и вечерние часы, когда служащие ехали «в город» и «из города». В обычное же время на площадке стаивали только те, кто хотел курить, да

мы, гимназисты, из особого молодечества непременно торчали на площадке. Кондуктора же усердно приглашали: «Господа, занимайте места внутри вагона!» Позже восьми часов вагоны конки были совсем пусты и оттого ехали заметно быстрее. Конка была тише трамвая не только по ходу, по пространству, на котором раздавалось повизгиванье ее колес и дзиньканье обыкновенных «валдайских» колокольчиков, но тише и по времени своей работы. В наше время в Москве в час ночи можно услышать грохочущий шум трамвая; он возобновляется около 6 часов утра, и только пять часов в сутки его не слышно. Конка же оканчивала свою работу, как я сказал, в 9 1/2 часов и до 7-ми, в течение около 10 часов, в Москве было тихо. Было множество тихих улиц, без конки; я уже перечислял некоторые из них. Трамвай, а затем линии автобусов уничтожили их тишину, загнанную теперь в самые далекие окраинные переулки и тупики.

Те, кто был посостоятельнее, но не настолько, чтобы ездить на извозчиках, могли ехать на линейках. Линейных линий было немного. Самая важная — это от Ильинских ворот, по Маросейке, Покровке и т. д. до Преображенской заставы. Ходили линейки еще в Измайловский зверинец. От Трубной площади линейки ходили в Останкино. Линейка была открытый экипаж с навесом — седоки садились на лавки с двух сторон, человек по 6 с каждой, спина к спине, 7-й мог сесть на козлы к ямщику, одетому в старинную ямщицкую одежду, с поярковой шапкой, утыканной головками павлиньих перьев, на голове, с ярким поясом, лихо перехватывавшим кафтан синего сукна. Ямщик правил парой. За проезд в линейке брали, примерно, вдвое дороже, чем за такое же расстояние на конке. Линейка трогалась в путь, когда наполнялась пассажирами. Движение по улицам было слабое. И усевшимся на место седокам приходилось немало ждать, пока линейка наполнится: они роптали на ямщика, что он не едет, грозили сойти, требовали немедленного отъезда. Ямщик успокаивал, а сам, стоя на козлах, зазывал седоков. Главной целью «зазыва» было переманить пассажиров с конки. Много блесков яркой народной речи с «московским отпечатком» здесь рассыпалось: ямщик утверждал, что конка не поедет до вечера, так как ее лошади сейчас «прикажут долго жить» — то есть попросту издохнут, что «на них напала собачья старость», клялся, что конка «поедет с кислым молоком», а он «во как прокатит седоков!». Махнув рукой на конку, к ямщику пересаживались

один-другой седок; подманив еще одного-другого из прохожих, ямщик, наконец, трогал. Ехал он, действительно, быстрее конки, а, главное, у него не было бесконечных разъездов. Кто хотел сойти с линейки, тот дергал за веревку, и ямщик в любом месте останавливал лошадей. Когда желающих ехать в линейке было много, ямщик старался втиснуть как можно больше седоков. Раздолье для ямщиков наступало тогда, когда с конкой случалась какая-нибудь катастрофа, и движение приостанавливалось или замедлялось: все устремлялись тогда на линейку, ямщик, злорадно издеваясь над конкой и над теми, кто ею всегда пользовался, заламывал несосветимые цены и так напихивал линейку седоками, что сидели чуть не на коленях друг у друга.

Зимой линейка заменялась санями. Их у нас в доме звали «узелками»; не знаю, было ли это их широкою кличкою, но кличка эта была очень верна: это были, действительно, «узелки» — широкие, емкие сани, напоминавшие формою емкий кругловатый узел. И сидеть в них было также тесновато, плотно, кучковато, как в узле. В нем было 3 сиденья по три седока на каждое. Лучше всего было сидеть на заднем сиденье с высокою спинкой, обитою ковром, на втором сиденье с низенькою спинкою седоки сидели лицом к счастливым с заднего сиденья, сидевшие на третьем сиденье, отделенном спинкою от второго, смотрели в спину ямщика, который, стоя перед ними, правил лошадьми, им было теснее и неудобнее всего. Но тесно было и всем седокам, в особенности, если у них на руках была поклажа. А люди со сколько-нибудь ценною поклажей и стремились обыкновенно ехать в узелках, если им не по средствам было нанять извозчика. Ехали как бы завязанные в узел: сиди не двигаясь. Зимой мостовые изобиловали ухабами, и случалось, ямщик, разогнав лошадей и не сдержав на ухабах, вываливал седоков из узелка в сугроб. Помню, как наша портниха Ираида Антоновна проливала слезы над узлом с платьем для сестры, выходящей замуж: она бережно на руках несла дорогой узел и, чтобы лучше сохранить его и не смять дорогой, села не в «карету» (так она называла конку), а в узелки и еще на лучшее место — на заднюю скамейку — и все шло отлично, как вдруг у самого Богоявления на Елоховской площади узелки опрокинулись в сугроб, да еще накрыли собою всех, кто в эти узелки был увязан, в том числе и «Раиду Антонну» с ее драгоценным узлом. Дети, мы очень любили ездить в узелках, но нас неохотно в них возили: «Вывалит еще!» Линейки и узелки исчезли с первым трамваем.



Извозчики в прежней Москве делились на три непохожих разряда. Небольшое число их ездило на резиновых шинах, — это были лихачи, которых можно было найти только в центре города, у вокзалов и у ресторанов. «На лихачах ездит!» — в среднем купеческом и дворянском круге Москвы это считалось нехорошей рекомендацией: «ездит на лихачах» — это значит кутит, так как ехать на лихаче в семейный дом или в город за делом, или даже в театр, никому бы из этого круга не пришло в голову. У отца был отличный месячный извозчик Андрей, отвозивший его ежедневно в город; у него была прекрасная лошадь, удобная, спокойная пролетка; сам он в синем, хорошего сукна, ямского покроя кафтане, подпоясанном красным кушаком, в черной пояровой кучерской шляпе — румяный, степенный мужик с большой рыжей бородой, — был отличный кучер, любитель хорошей быстрой езды (особенно, когда ездил с матерью), но он не был лихач и ездил на простых железных шинах, а не на резиновых. Не на резиновых ездил и другой «наш» извозчик — Степан. Этот был поплоче, помедленнее, подешевле, отличный деревенский старик с седой бородой, долгие годы извозничавший в Москве, но так и не научившийся ничему городскому: ни водке, ни куренью, ни ругани. С ним обычно посылали нас, детей, к бабушке в сопровождении няни Пелагеи Сергеевны. «На резинах» не пришло бы в голову ни отцу, ни матери поехать куда-нибудь. Женщине же из хорошей семьи и вообще невозможно было бы поехать по городу на лихаче — это просто означало бы, что она не принадлежит к числу приличных женщин. Лихач — это был способ езды, точно соответствовавший образу жизни — прожигательному или предосудительному. С проведением трамваев все московские извозчики перетянули колеса с железных на резиновые шины, а лихачи перетянули обыкновенные резиновые шины на дутые. С этого времени изменился и тип извозчицкой пролетки: появились пролетки высокие, с узким неглубоким сиденьем, на котором еле умещается двое нетолстых седоков.

Прежние московские пролетки были гораздо ниже и гораздо поместительнее, с более глубоким сиденьем, на котором легко умещалось трое не очень плотных седоков. Откидной верх был обширнее, и в него было можно накласть немало покупок, которые ловко выкрадывались оттуда уличными ворами. Бывало, мама, поехав со мною «в город», в пассаж за покупками, наказывает разумному и почтенному

Андрею: «Андрей, посматривай, пожалуйста, за покупками!» — «Будьте покойны, Настасья Васильевна», — и сидит на козлах вполуоборота к откидному верху. Если покупок было много и они были в мелких свертках, оставляли в пролетке и меня, с наказом: «посматривать!» Извозчики разрешали садиться в пролетку и троим, и четверым седокам; четвертый приставлялся на кожаном фартуке, свертанном на ремнях в сверток наподобие скамеечки, или иной раз, если извозчик был попроще, даже и на козлах с извозчиком, положив ноги к седокам. Величайшим наслаждением для нас, детей, было усестись самостоятельно на этакий фартук — скамеечку и ехать к бабушке. Извозчики ездили без таксы, цены были различные, смотря по пролетке, и сбруе, и лошади (Андрей брал дорожке Степана и не со всяким еще, бывало, поедет: не понравится седок или не внушит доверия, он, не повернув головы, отрежет: «Занят» и «Не поеду»). Различалась цена и смотря по времени, по расстоянию: в глухие места или не ехали вовсе, или брали дорожке, влияло на цену и место, откуда брали извозчика — например, от вокзалов, от театров извозчики были всегда дорожке. Назначал извозчик цену и по седоку. Но, в общем, цены были несравненно дешевле нынешних: даже в 1899 г. извозчики возили за гривенник на такое расстояние, за которое теперь возьмут не меньше 60 копеек. С извозчиком можно было торговаться, — и, как и всюду почти в Москве, никто не давал первой запрошенной цены: она всегда была с запросом.

Были у москвичей и свои приметы и наблюдения при найме извозчика. Покойная няня Пелагея Сергеевна никогда, бывало, не наймет того извозчика, лошадь у которого смотрит нам навстречу. «Этот, — скажет, — дорого возьмет: у него лошадка не в наш путь смотрит». Даже и торга не начнет с таким извозчиком, а выберет такого, у которого лошадь смотрит в ту сторону, куда мы идем. Иногда, бывало, идешь, идешь, а лошади все смотрят не по пути. Няня и скажет: «Ну, теперь, милые, и нанимать не стоит — дошли уже. Недалеко тут!»

Ночью в Москве были совсем другие извозчики, чем днем. Ни Андрей, ни Степан ночью никогда не выезжали. Последние выезды дневных извозчиков были в театры, в концерты, к вечерним поездкам. После этого они отправлялись на постоянные дворы, а с дворов этих, с окраин, выезжали смиренные «ночнички» — извозчики, ездившие с вечера до утра. Они были поплоше дневных: лошади были не такие, как у Андрея,

мало чем уступавшие купеческим «своим лошадям» средней руки, а были это деревенские сивки, бурки, каурки, мохнатые, добродушные, приземистые, с вислыми ушками, привыкшие к сену больше, чем к овсу. Ночнички работали главным образом зимою, не имея пролеток: это были деревенские люди, или старики или подростки, отправлявшиеся в Москву на зиму извозничать в подсобье своему хлебопашескому бедному хозяйству. Плохонькие санки, деревенская сбруишка, лян-ляные извозчичьи халатишки, — и, в соответствии с этим, была и езда — тихая, деревенская, с жалостью к «скотинке». И брали они дешевле дневных извозчиков. Седок не обижался на тишость езды, на немудренность кучеров, плоховато знавших город, на плохоту санок, сбруи, да и самой лошадки, немало потрудившейся за лето и осень в деревенскую страду; спешить особенно было некуда, — да и хорошо помнилась и седоком, и возницей, а может быть, и самой лошадкой, мудрая пословица: тише едешь, дальше будешь. Ни трамвай, ни автомобили не пугали лошадок — улицы ночью были тихи и пустынные. Если был мороз, на площадях и на «курьих ножках», — то есть на перекрестках улиц и переулков, пылали костры, ухабы тускло и белесо обозначались под светом луны (почему-то зимою казалось, что луна так и не сходит с неба, все светит), или при тусклом рыжеватом свете копящихся керосиновых, а на главных улицах — и газовых фонарей. При этих ухабах, право, оказывалось иногда верным, что «тише едешь, дальше будешь». Я любил ездить на этих «ночничках», точь-в-точь таких, какого Чехов любяще увековечил в трогательном рассказе «Тоска», — и нанимал, бывало, самого немудрящего из немудреных. Путь далек; едешь полчаса, а то и боле, — и много, много, бывало, услышишь от него рассказов про деревню, про бедность, про маету и отраду крестьянской жизни, — услышишь такого, что нужно было слышать молодой совести и открытому юношескому сердцу. Лошадка трусит легонькой трусцой, моргая умными, кроткими глазами, а возница, если не начинаешь разговора сам, непременно завяжет разговор каким-нибудь вопросом, иногда деревенски-наивным, а иногда и умно-участливым к седоку. Ответишь — и пошел разговор до самого дому. «Прощайте, барин. Счастливо оставаться! — скажет, бывало, такой возница-ночничок, получая деньги, а иногда попросит: — Прибавили бы что-нибудь. Заехал бы погреться за ваше здоровье. Озяб». И прибавишь, не считая. Иногда такой ночничок ездил с определенной целью: «выездить» на лошадь, на корову, на пода-

ти, — и обо всем этом узнавал седок, и что-то человеческое завязывалось между ездоком, возницей и лошадкой. Представлялось живо, что на постоялом дворе он побеседует еще со своим кауркой об этом самом седоке, с которым беседует сейчас, пока каурка плетется с Театральной площади в Гавриков переулок. И не хотелось получить плохое кауркино мнение о себе, требуя «подгонять!» — и ехали тихо, как-то душевно, по-домашнему беседуя, — будто и не по Москве ехали, и не после «Двенадцатой ночи» в Охотничьем клубе, со спектакля Общества любителей искусства и литературы, зародыша Художественного театра.

Какой разговор может быть с кожаным шофером такси, с мертвым мотором вместо живой сивки? Нанял, сел, доехал, заплатил, — вот и все. Все стало механичнее и гораздо беднее «человеческим», — тем самым необходимейшим для бытия «человеческим», которое хоть на полчаса в морозную московскую ночь объединяло в один человеческий комок сивку и деда из Калужской губ. с их седоком-москвичом — профессором, студентом, купцом. «Не все, — скажут, может быть, на это, — разговаривали с этими сивками и дедами и не все слушали их невеселые деревенские повести, — как это и Чехов показал в своем рассказе». Не все. Но какое-нибудь слово перепало же в душу или в совесть из этих наших разговоров, да и у Чехова, в его грустном рассказе, осиротелый старик-извозчик, ночничок Иона, все-таки нашел себе, в конце концов, собеседника — своего же Сивка. Шофер в положении Ионы вряд ли стал бы беседовать с бездушным мотором!

У вокзалов и на немногих площадях (Лубянская, например) стояли для найма кареты и коляски, запряженные парюю. Когда мы собирались переезжать на дачу в Сокольники, посылали к знаменитому содержателю экипажей Ечкину за линейкой, и когда на Пасхе ехали на кладбище, посылали за коляской. У Ечкиных и других каретников брали кареты и для свадебного поезда. Невесту везли в раззолоченной карете, — грубоватом подражании придворным каретам, — с сиденьями и стенками, обитыми розовым и белым шелком, с огромными зеркальными фонарями. Многие бедные невесты, выходя замуж, ставили жениху условие: «Чтобы была золотая карета!» — хотя бы от дома до церкви было нужно только переехать улицу. И женихи считали это требование неотменно справедливым и старались его исполнить. «Она в золотой карете венчалась!» — Это была аттестация на всю жизнь, хотя бы всю жизнь заведомо предстояло бывшей невесте ходить пешком.

Перед началом спектаклей развозили в каретах актрис в театры, и обычай этот был так крепок, что вплоть до революции 1917 г. даже при устройстве благотворительных концертов за актрисами непременно посылали кареты, вытесненные автомобилями. В каретах, ландо и колясках разъезжали представители высших дворянских кругов и даже именитого купечества. Мама помнила такую сцену с участием коляски. Знаменитому откупщику-славянофилу В. А. Кокореву, московскому богачу, случилось потерять значительную часть своего состояния. Ему грозило полное разорение. Это стало всем известно, недавние прихлебатели, приятели и друзья сразу же отвернулись от него; многие перестали даже кланяться. Однако Кокореву удалось поправить дела и вернуть с избытком потерянное было состояние. Молва быстро разнесла об этом весть по «городу». Кокорев велел заложить великолепную коляску и на чудесных рысках в яблоках медленно проезжал по Ильинке, Никольской, Варварке, по самым торговым улицам. Все наперебой спешили приветствовать его почтительными поклонами. Кокорев любезно и исправно отдавал поклоны на две стороны, но не наклоном головы, а наклоном туго набитого мешка с надписью «200 000 руб.», который держал у себя на коленях и которым кивал то направо, то налево. Москва долго помнила этот кокоревский выезд на коляске. Собственная коляска же участвовала в подвигах купеческого сына Василия Ивановича Еремеева, о которых речь впереди. 1-го мая в Сокольниках — по Майскому просеку — и в Петровском парке, а в Вербное воскресенье на Красной площади происходил как бы смотр московским экипажам: на майское и вербное гулянья выезжали барские и купеческие выезды в отличных экипажах, на породистых рысках, с кучерами, устраивавшими себе непомерно толстые ватные зады. Катались медленно, почти шагом, — это был именно показ экипажей, упряжи и лошадей. Среди обыкновенных лошадей и экипажей попадались пони, везшие колясочки с детьми. В Прощеное воскресенье бывало купеческое катанье на санях в Таганке: тут был смотр не только саней и лошадей, но и полостей, медвежьих, волчьих, лисьих, и великолепных салопов и ротонд купчих, крытых светлым бархатом, с чернобурыми лисьими воротниками или большими пелеринами. На Каретном ряду, на Покровке, между Земляным валом и Покровскими воротами, на Кузнецкой в Замоскворечье было много огромных, сараеобразных

каретных магазинов. Все они исчезли вместе с каретами и колясками при появлении автомобиля. Исчезли и гулянья — катанья в Сокольниках, Петровском парке и на Вербном торгу.

Последними каретами, дожившими до революции, были те огромные, особые кареты, в которых возили по городу для молебствий на дому тяжелые чудотворные иконы: Иверскую, Боголюбскую, Спасителя от Москворецкого моста, Николая Чудотворца из часовни с Никольской, мощи целителя Пантелеимона и др. святыни из Афонской часовни, святыни Успенского собора и др. Боголюбскую икону, очень высокую, с полукруглым верхом, возили в особой карете, соответствовавшей высоте и тяжести и форме иконы. Карета эта стояла всегда у каретников Ечкиных на Покровке. Грузная карета, в которой возили самую чтимую из этих икон, Иверскую, была известна всей Москве; покойный Серов оставил ее рисунок. Карета была массивная, тяжелая, с высокими дверцами. Икону ставили туда, где в обычных каретах бывает переднее сиденье. Перед иконой горела свеча в особом переносном фонаре, носимом за крестными ходами. Иеромонах в ризе и другой монах за псаломщика помещались на заднем сиденье, лицом к иконе. На запятках стоял прислужник, в монашеском полукафтани, без шапки, но с головой, повязанной теплым шарфом. Таким же шарфом была повязана голова кучера. В карету впрягали шесть лошадей: четыре коренные и впереди две пристяжные с мальчиком-форейтором с головою, повязанною шерстью. На дверцах кареты, помню, была какая-то священная эмблема; на дверце кареты Николая Чудотворца, точно помню, была изображена архиерейская митра над скрещенными дикирием и трикирием<sup>12</sup>.

Когда известная всей Москве карета Иверской Б[ожией] М[атери] ехала днем ли или глубокой ночью по улицам Москвы, все снимали шапки и крестились. Ездил же она непрерывно весь год, день и ночь, привозя икону в часовню у Воскресенских ворот только к 1 часу ночи, к ночному «общему молебну»; икона оставалась в часовне только до 7 часов утра и после утреннего общего молебна опять увозима была в карете для домашних молебнов по всей Москве. В революцию 1905 г. карета с Иверской случайно попала в район революционных действий и по чьему-то глупому приказу, растерявшегося ли иеромонаха или какого-нибудь рачительного полицейского, вместо того, чтобы быстро выехать из района революционных действий, карета с чтимой иконой

завезли, как в тихое пристанище, на двор какой-то полицейской части и оставили там до утра. Это дало повод революционерам, да и не только им одним, говорить, что московская полиция самое Иверскую Божию Матерь отправила в часть.

Автомобиль появился после революции 1905 г. Даже в 1909-м их было еще немного в Москве, — главным образом у богатых людей из торгового и биржевого мира. Дворянство оставалось верно каретам и коляскам. Наемных автомобилей еще не было. Автомобиль принес шум и дым на московские улицы — и множество несчастных случаев. Помню, в 1909 г. мы с художником Л. О. Пастернаком выходили из Благородного собрания с одного из первых концертов Кусевицкого<sup>13</sup>. Ряд автомобилей ожидал своих владельцев, бывших на входивших в моду концертах. Пастернак неприязненно посмотрел на них и сказал: «Посмотрите, дрожат от нетерпения и в ожидании портят воздух!»

В 1909 г. летом состоялись в Москве первые полеты на аэроплане французского летчика Леганье, а с 1924 г. появились первые автобусы. Москва становилась все шумнее и шумнее — с торжеством механических двигателей.

Зашумели автомобилями, мотоциклетами, автобусами, трамваями ее улицы, — и сверху, с неба, стал доноситься все назойливее и чаще трескучий цокот вредительных и мирных стрекоз — аэропланов. Самое грохочущее, что было на улицах прежней Москвы — ломовики, которые не имели права езды по лучшим улицам, заменилось не более тихим, а еще более громким и к тому же зловонным — огромными, безобразными грузовыми автомобилями, отравляющими воздух целыми залпами бензинного дыма. Ломовые были, по крайней мере, бездымны.

В прежней Москве было тихо не только потому, что было мало уличного движения, не громыхали еще трамваи и не кричали своими истерическими голосами автомобили, а еще и оттого было тихо, что у московской тишины были свои излюбленные места, разбросанные по всему городу, где эта тишина до того была не пугана, до того сгущалась, что можно было воскликнуть с Ибсенем: «Слушай, как говорит молчание!» Были целые кварталы, целые районы тишины, и в каждом из них была своя, особая тишина, по-своему, по-особому ненарушимая. Между Никитской, Арбатом, Пречистенкой и Остоженкой была тишина дворянская, с мягкой усадебной грустью доживающих век деревянных особняков, с колоннами и гербами, «со львами на воротах»,

отмеченными еще Пушкиным, с липовыми садами и палисадниками из сирени и жасмина; по Поварской, по Сивцеву Вражку, по переулкам вроде Ст[аро]конюшенного или Столового езды транспорта было не больше, чем по какой-нибудь Дворянской улице в каком-нибудь «дворянском гнезде» вроде Симбирска. И езда эта была — не современный громыхающий автотранспорт, от которого пугливо дрожат старые московские церковки, а настоящая, легкая «дворянская» езда на своих лошадях.

В Замоскворечье, в Таганке, в Елохове жила купеческая тишина — ей было привольно и укромно в огромных густых садах, в тихих владениях-усадебках с поросшими травой дворами, — такими обширными и пустынными, что в них иногда бывали целые прудики. Огромное пространство между улицами Новой Басманной, Ольховской и Елоховской площадью, перерезанное ныне двумя длинными улицами, застроенными домами, было одним сплошным садом с вековыми деревьями и с целыми двумя прудами. Зайдя в это владение с Елоховской площади, мы, гимназисты, бывало, бродим, бродим по нему до усталости. Охотники до купанья купаются в пруду, другие играют в индейцев, благо были тут пруды, болотца, высокие деревья и протекала даже речка Синичка, спрятанная в трубы только при пересечении ею мостовых. Сидя на заборе, Барабошкин, будущий доктор медицины, георгиевский кавалер, а тогда — нечто вроде чеховского «Монтигомо Ястребиного Когтя» — приглашает зловещим шепотом Дубенского, будущего эффектного адвоката: «Бледнолицый брат мой, давай подстрелим кагуара!» Кагуар был какой-нибудь полудикий рыжий кот, охотящийся в пустырях за птицами. Нагулявшись, наохотившись на кагуаров, мы, перелезши через забор, спрыгивали на пожарный двор Басманной части и спокойно шествовали длинным двором мимо пожарных, и никто из полицейских или городских, дежуривших около арестного дома, и не думал нас остановить, и мы свободно выходили на Новую Басманную.

Иногда брали мы обратное направление и из садов перелезали на безлюдную Ольховскую. Это огромное пространство было так пустынно, будто никому не принадлежало; летом приходили туда погулять мастеровые, заходили няньки с детьми, вечером бродили какие-нибудь влюбленные парочки — места для всех было достаточно. Перед революцией 1905 г. ходили мы туда обсуждать свои революционные



планы и замыслы. И до сих пор я не знаю, кто был хозяин этих огромных пространств — вход туда всякому был свободен, а населено это пространство было только по окраинам, были какие-то дома, выходящие на Н[овую] Басманную и Елоховскую да заборы на Ольховскую. Таких пространств с тишиною, если не деревенскою, то захолустно-уездною, в Москве было множество, и в местностях далеко не захолустных, как видно из приведенного примера. Наш дом, где я родился и вырос, был в Плетешках, в минуте ходьбы от Елоховской, по которой ходила конка и ездили линейки; поверит ли кто теперь, что в наш сад, далеко не на окраине Москвы, каждый год прилетали весной соловьи и пели весь май в кустах сирени! Отец, приехав из «городу», сядет, бывало, вечером на балконе, выходящем в цветущий сад, вдыхает аромат яблонь, вишен и сирени и слушает, как щелкает соловей у нас в саду и в соседнем, более запущенном саду старого барина Макиеровского, предков которого писал Боровиковский<sup>14</sup>. И других птичек в саду было множество!

В Замоскворечье было немало переулков и даже улиц, где заборы тянулись непрерывными лентами и из них свешивались на улицу пахучие в цвету ветви лип, легкие ажурные кружева берез, а иногда и темные лапы елей собирались остановить редкого прохожего и завлечь в зеленую тишину сада. Весной над таким переулком стоял чудесный запах цветения, и веселая древесная тень перекрывала тротуар и часть мостовой. Некоторые купеческие сады, например, Найденовых подле Яузы, были огромны — это были настоящие парки и рощи, вкрапленные в Москву. В иные частные сады пускали гулять всех, кто хочет.

Наряду с купеческой была церковная тишина: вокруг большинства церквей были так называемые «монастыри», то есть обнесенные оградой незастроенные пространства, с зеленой травой, с целыми рощицами старых деревьев. В них ютились только невысокие деревянные с мезонинами «поповки» — домики причта. Никаких чужих строений не было. «Монастыри» были любимым местом гулянья для нянек с детьми: так там было зелено, тихо и чинно! Такой «монастырь» сохранился доньше вокруг церкви Никиты Мученика на Ст[арой] Басманной: с детства мы ходили туда гулять, а когда были гимназистами, там устраивались «бои» между гимназистами 4-й гимназии и реалистами немецкого училища св. Михаила.

«Монастыри» московских церквей — остатки старых кладбищ, бывших до самого конца XVIII века при каждой

приходской церкви. Только после чумы 1772 г. было запрещено хоронить покойников в ограде церквей. На многих «монастырях» еще сохранялись могилы. За алтарем нашей приходской церкви Богоявления в Елохове под липами стоял чей-то простой деревянный крест, точь-в-точь как на каком-нибудь далеком деревенском кладбище. Никто не знал, чей он был, и, маленький, я загадывал, бывало, кто лежит здесь под липами в зелени такой высокой травы. «Монастыри» вокруг церквей сохранялись даже в самом центре города. Небольшой зеленый с березами монастырек был и вокруг церкви Введения Божией Матери на углу Кузнецкого моста и Большой Лубянки, уничтоженной в 1924 г., и сквер против теперешнего памятника Воровскому образовался из деревьев этого «монастырька». «Монастырьки» эти придавали особую красоту московским церквям: они их обособляли от остальных построек, делали как бы древними островками среди современного моря, своею зеленью оттеняли белизну и золото церковок. Каждая церковь, благодаря «монастырькам», была доступна с любой точки, — и таким образом, ярко открывалась архитектурная красота церкви. Сохранившийся «монастырь» Никиты Мученика — прекрасный тому пример: великолепный архитектурный ансамбль церкви, колокольни и пышной ограды в стиле Елизаветинского барокко, созданный знаменитым архитектором Ухтомским, открыт отовсюду и оттого вдвойне прекрасен. «Монастырьки» вокруг древних церквей сохраняли куски царской Москвы XVI—XVII ст., это были одни из лучших кусков того архитектурного пейзажа, которым славилась Москва и который так восхищал в ней иностранцев. Первыми, кто начал разрушать эти «монастырьки», были сами церковные причты: после японской войны их обуяла жадность к строительству доходных домов, и безобразными 3—5—6-этажными коробками они загромоздили многие «монастырьки», закрыв и спрятав старинные церкви первостепенного архитектурного значения. Самый яркий пример гибельности такого уничтожения «монастырька» представляет церковь Рождества Богородицы в Путинках, на углу М. Дмитровка и Страстного бульвара. Этот знаменитый памятник шатровой архитектуры Московской Руси закрыт ныне домами, и нет уже надлежащей точки, с которой открывалось бы все своеобразие и красота его легкой и воздушной архитектуры. Причт церкви, уничтожив «монастырек», построил на его месте огромный доходный дом, задавивший свою безобразную громадою маленькую хрупкую

церковь. Пройдет еще немного времени — и все монастырьки при церквях исчезнут (в значительной части вместе с самими церквями) — и вместе с этим исчезнет одна из очаровательнейших особенностей московского пейзажа и будет вырвано из книги прошлого Москвы несколько десятков интереснейших страниц.

Против самой церкви Никиты Мученика был дом купца Рожкова, он был старостой этой церкви. Случилась у него в доме свадьба, и было решено, что молодые из церкви домой не поедут в карете, а перейдут через улицу в торжественном свадебном шествии по розовой шелковой дорожке, перекинутой через мостовую с паперти в дом Рожкова. Так и было сделано: молодые с провожатыми торжественно проследовали по розовому атласу через мостовую. А уличное движение, еле-еле струившееся, на несколько минут позадержалось. Это было [нрзб]. Вероятно, околоточному за это немного досталось от начальства\*.

Церковная тишина, которой предстоит скоро исчезнуть из Москвы, была не на одних только «монастырьках» вокруг ее приходских церквей: ее слагаемыми были и 22 московских монастыря, расположенных по всей Москве от центра до окраин: окруженные высокими стенами, немногочленные, замкнутые, наполненные стариной. Они были вместилищем стойкой, неуходной тишины, и достаточно было войти, например, с шумной Петровки в ворота Высокопетровского монастыря или с оживленного торгового Златоустинского переулка внутрь Златоустинского монастыря, чтобы сразу почувствовать зеленую дрему старой, старой тишины, веками накопленной за этими стенами, вокруг этих древних соборов, таких малочленных в эти будние дни. И вековые деревья шумели там с особою уверенностью, что никто их не срубит, никто не прервет их столетней жизни. Срубили их в год 1919-й, когда Москва леденела без дров, без угля, без топлива.

Самая стойкая вековая тишина обитала в самом центре Москвы — в Кремле. До революции 1905 г. пятеро ворот, ведущих в Кремль, были открыты для свободного прохода и проезда день и ночь\*\*, около них не было никаких часовых.

---

\* По Ст[арой] Басманной ходила конка и ездили линейки, но улица была настолько тиха и малочлюдна, что можно было устроить на ней такую штуку. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

\*\* Тайнинские ворота от Москвы-реки всегда служили только для прохода. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

Ворота оставались открыты для свободного прохода и проезда через Кремль даже во время пребывания в Кремле государя. Так было и в 1900-м, и в 1903-м, когда царь проводил в Кремле Страстную и Пасху. Не запирался Кремль и в 1912 г. во время торжеств по случаю столетия 12-го года. После 1905 г. остались заперты навсегда Тайнинские ворота, а другие ворота для проезда через Кремль стали запираются на ночь, с 12 ч. ночи. Однако калитки в Троицких и Никольских воротах всегда оставались открыты и богомольцы свободно проходили к утрени, начинавшейся в Успенском соборе в 3 ч. у[тра] по древнему обычаю. Кремль всегда был открыт, но в будние дни там всегда было пустынно и тихо. Город своей житейской суетой заплескивал только ту небольшую часть Кремля, где были здания Окружного суда и казармы, но к 3 часам дня оканчивалось присутствие в суде, — и кремлевская тишина заливала и это пространство между Никольскими и Троицкими воротами. На исторической площади между соборами было не шумнее, чем в самих соборах, полутемных, прохладных, наполненных молитвенною тишиною. Только в 12 часов и еще в немногие определенные, редкие сроки проходила смена караула перед Грановитую палатой, и бой барабана на краткие минуты нарушал соборную тишину. Мимо дворца и Ивана Великого из Боровицких ворот в Спасские или из Никольских в Троицкие проезжали нечастые легковые извозчики — это и была вся езда. Никаких учреждений, кроме Суда, Синодальной конторы и казарм, в Кремле не было — некому было и идти туда «по делу». В Кремль шли молиться Богу и обозревать древности. Этих людей зачаровывала древняя тишина Кремля и делала тихими. Шумных экскурсий с десятками и сотнями участников тогда и в помине не было.

На Соборной площади у Ивана Великого, подле Успенского собора, на ступеньках высокой паперти Чудова монастыря можно было всегда найти богомольцев, пришедших на поклонение кремлевским святыням со всех концов Руси. Это была крестьянская Русь, забредшая в Москву зачастую пешком, с котомками за плечами, в чистых льняных онучах, в липовых лаптях, — благообразная, тихая, страждущая и благодарная. Для нее Москва была не город с университетом, железными дорогами, кипучей торговлей, огромными фабриками, а город святынь, град Богоматери и московских угодников: Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Эти богомольцы с проселочных дорог приносили с собою из заволжских

лесов, из черноземных заокских полей особую миротворную тишину русской деревни и сливали ее в древнюю тишину Кремля. Я еще в раннем детстве с каким-то особым душевным влечением приглядывался к этим богомольцам в Кремле. С детства, как только научился читать, я хорошо знал по путеводителю историю Кремля и его святынь. Еще мальчиком случалось объяснять что-нибудь калужскому какому-нибудь деду или вологодской старушке, благоговейно терявшимся в величавом сумраке Успенского или Архангельского собора. Богомолец, мужик с котомкой, седой странник-крестьянин в белых онучах были такими постоянными фигурами Кремля, что их заметил даже чужестранец. Когда в начале 1914 г. Москву посетил Г. Уэллс, он так был поражен суровой религиозной красотой странника-крестьянина, которого увидел молящимся в сумраке Успенского собора, что отвел ему самое восторженное место в своем восторженном очерке Москвы, которое тогда же напечатал в «Русских ведомостях». В очерке этом, по тону и содержанию совершенно несозвучном суховатой, щепетильно-рационалистической профессорской газете, знаменитый романист утверждал, что народная Россия «полна веры», что «вера, как мирра, каплет» отовсюду на Руси. Нигде в мире нет этой прекрасной мирры веры. Это были впечатления от Успенского собора, Кремля и богомольцев, пришедших туда за сотни верст\*. Этот богомолец московский исчез из Кремля только тогда, когда летом 1918 г. окончательно замкнуты были его ворота.

После обеден в Кремле появлялись приезжие провинциалы и иностранцы, желавшие осмотреть достопримечательности. Соборы закрывались после вечерни. До этого времени они были открыты для всех. Сторожа соборов в особых суконных кафтанах показывали достопримечательности, сопровождая показывание фантастическими зачастую объяснениями. Непременно указывали в Грановитой палате в стене, примыкающей к собору Спаса, за золотую решеткой окно, из которого упал будто бы на площадь Гришка Отрепьев. Подводя к древней иконе, непременно поясняли: «Риза — чистого серебра, весит столько-то пудов, стоимости в столько-то рублей». И вес, и цена всегда были преувеличены из особого

---

\* Замечательный очерк Уэллса я привел в отрывке в моей книжке «Лик России» (Книгоиздательство «Творческая мысль». М., 1916). (Примеч. С. Н. Дурылина.)

патриотизма. В объяснениях огромную роль играл Иван Грозный. Сторожа хорошо учитывали одно обстоятельство. Для иностранцев только два имени в русской истории были хорошо знакомы — Грозный и Петр Великий. Но с Петром в Кремле ничего не связано, зато Грозному приписывались сторожами чуть не все достопамятности, и он являлся участником чуть ли не всех исторических событий, случившихся в Кремле — и иностранцы, слышав знакомое имя, сочувственно улыбались и кивали головами: «Oui, oui, Jean le Terrible». Того только и надобно было.

Помню, в 1909 г. пришлось показывать собор Василия Блаженного одному профессору Оксфордского университета. Разговор у нас с ним шел то по-немецки, то по-французски. Я был в затруднении, как объяснить протестанту-европейцу этот греко-православный праздник, которого нет ни у протестантов, ни у католиков. Сторож соборный, следовавший за нами и принимавший мои объяснения англичанину за незаконное присвоение собственных его неотъемлемых прав, решительно выдвинулся вперед, взял англичанина за рукав и, указав на иконостас Покровского придела, молвил громко и внушительно; «Мусье, се шатель сен Вазиль, где молился царь Жан Терибль». Услышав «Жан Терибль», англичанин сочувственно закивал головой, — и сторож не без язвинки заметил мне: «Они поняли. Я им объяснил-с».

После вечерен, когда запирались соборы (в них служились утрени вместо всенощных), Кремль пустел, и только бой Спасских часов, отбивавших четверти часа, а в 12 часов вызваивавших «Коль славен наш Господь в Сионе», не нарушал, а еще более углублял, казалось, эту тишину, давал ей голос, меланхолический и дальний. Так тишина, накопленная веками, связанная с двухсотлетним вдовством «порфиноносной вдовы», жила в самом центре города, рядом с кипучими торговыми Ильинкой и Никольской. Москвичи любили повторять изречение Александра III: «Москва — храм России, а Кремль — алтарь его». Если в храме всегда тихо, то алтарь — самое тихое место храма.

Если так тихо было в алтаре и храме Москвы, то не шумнее было в ее притворах, на окраинах. «Шумели» там только отдельные островки-заводы: Гужон за Рогожской заставой, Бромлей у Калужской заставы, Прохоровская мануфактура на Пресне и другие, — но островки эти были именно «за заставой», то есть уже не в Москве: Москва еще не слилась с ними, как теперь. Целые огромные прост-

ранства садов, рощ, парков, прудов, речек, даже болотцев вмещались на этих окраинах. Поверит ли кто теперь, что железнодорожное движение по Северной дороге было так мало, что там, где теперь целые паутины путей, целые дебри вагонов, там еще недавно, в начале 900-х гг., под боком у Троицкого вокзала был большой Красный пруд, и рабочие железнодорожных мастерских катались на лодках в праздничные дни, и засыпан он был уже около 1905 г.

Между путями Рязанской железной дороги и Сокольническим и Стромынским шоссе, где теперь бесчисленные Сокольничьи улицы с однотипными двухэтажными деревянными домами и огромная Сокольничья больница, было раскинуто огромное Сокольничье поле — с буераками, ямами, колдобинами, прудами, оврагами, поросшее травой, бурьяном и кустарником. Еще в начале 900-х от Покровской общины на Покровской ул. можно было через большую рощу, где отдельными домиками раскинулся летний лагерь кадетского корпуса, пройти настоящим полем, шагая через овраги и обходя прудики, и выйти на Ермаковскую улицу, прямо в Сокольничью рощу. В 1898 г. мы жили на даче в селе Богородском. Между ним и Преображенской заставой тянулся Камер-Коллежский вал — настоящий песчаный высокий вал, и место кругом было незаселено и пустынно. Теперь между Богородским, Черкизовым и Благушей вся местность густо заселена, а чрез Измайловский зверинец она смыкается с Рогожскими и Новой деревней. Сокольники, за исключением небольшого и в летнее время шумного Старого гулянья, были тихим лесным полуостровом, с небольшим числом дач, с пустынными просеками и дорожками; в Сокольничью и Оленью рощу забегали лоси из Лосино полуострова, еще не перерезанного Окружной дорогой и не обезображенного дачами и хищническими порубками во время революции, обиловавшего лосями, которых всех перебили в революционное время окрестные мужики. До урагана 1903 г. жива была еще Анненгофская роща. Огромные пустые пространства были в Сущеве, на «Балконе», в местах бывшего знаменитого Старого Эрмитажа времен Лентовского.

Вместо шумного кольца Окружной дороги Москву окружали настоящие поля тишины и зелени. Поля эти почти не были нарушаемы до самой японской войны. Иногда и самая шумная улица в Москве получала перемычку тишины. Не редкость было встретить на улице через всю ее ширину от тротуара до тротуара сплошной густой настил соломы.

Громыханье экипажа по булыжной мостовой вдруг сменялось здесь тишиной. Это значило, что в доме, перед которым лежит такой соломенный настил на мостовой, находится кто-нибудь тяжелобольной, нуждающийся в полной тишине.

Современным гражданским праздникам соответствовали в прежней Москве «царские дни». И число их приблизительно равнялось числу революционных праздников. При Александре III их было четыре — дни рождения и именин («тезоименитства») императора, императрицы, [но] не наследника, при Николае II стало шесть — прибавилась вдовствующая императрица. Но дни эти, если они не совпадали с праздником сами по себе, как, например, именины Николая II, приходились на зимнего Николу, никак не праздновались. В то время как в дни современных гражданских праздников происходят сотни тысяч демонстрации и шествия на улицах, мчатся автомобили, маршируют солдаты, на улицах шум и движение, — царские дни проходили как будни: воинский парад бывал в один или два из них, по случаю праздника на улицу никто не выходил, чиновники казенных учреждений и учащиеся просто сидели дома, отдыхая, в городе же шла обычная торговля. К торжественному богослужению являлись в собор только самые важные чиновные лица в городе. В приходских церквях в царские дни служили обедни, а перед ними всенощные, но церкви были пусты. Ни от кого не требовалось ходить к этим службам. И в этом отношении Москва была тише: улицы ее не видели тогда никаких прохождений толпы. Если не считать студенческих волнений 1901 г., первая уличная демонстрация произошла в Москве 5 декабря 1904 г. Проходили по улицам Москвы время от времени в положенные сроки крестные ходы из Кремля и из приходских церквей, но это были тихие ходы, не сгонявшие тишину с московских улиц, хотя и были они многолюдны.

И Пасха, и Рождество не справлялись особенно шумно. Самыми шумными днями были в прежней Москве, пожалуй, последние дни масленицы и Прощеное воскресенье. Шумели гуляния на Девичьем поле, а впоследствии за Пресненской заставой. На улицах было много пьяных, поющих и подпевающих. Было много масленичной езды — веселой, безалаберной; тройки с бубенчиками мчались за город — знаменитые московские тройки, сохранившиеся еще со времен поэтов быстрой русской езды — Орловского и кн. Вяземского<sup>15</sup>. На следующий день, в Чистый понедельник, все утиhalo.



Вместо теперешних 30-ти театров, в Москве 90-х годов их было 9; не было, конечно, ни одного кинематографа (они появились после революции 1905 г.) — легко судить, насколько меньше было в Москве вечерней уличной суеты, ежедневно предшествующей началу вечерних представлений. По субботам, под все двенадцатые праздники, в первые дни Пасхи и Рождества, в день Ивана Предтечи и Воздвижения никаких спектаклей не было. Не было спектаклей и в течение всего Великого поста: на это время закрывались все театры, и спектакли бывали только Итальянской оперы или другой какой-нибудь нерусской труппы. Только с осени 1900 г. было разрешено частным театрам давать представления по субботам и на второй, третьей, пятой и шестой неделях Великого поста, и я помню, как мы собирались на «Демона» в частную оперу Солодовниковского театра, шедшую в первую такую субботу, — и как казалось странно: в субботу идти в театр. Императорские театры стали играть по субботам и Великим постом уже только после 1905 г. До самой революции 1917 г., однако, ни один театр не играл под двенадцатые праздники, в Воздвижение, в Иванов день и на первой, четвертой и седьмой (Страстная) неделях Великого поста. И здесь тишины и отдыха актерам было больше в прежней Москве.

Несравненно меньше было и художественных выставок. На Пасху открывалась очередная Передвижная выставка; были еще выставки периодические московского товарищества и петербургских художников.

При меньшем количестве театров, концертов, выставок, при отсутствии кинематографов Москва тише проводила свои вечера и раньше ложилась спать.

При отсутствии автомобилей, при меньшем окружении железнодорожным кольцом, тише были ее ночи. И внутрь домов и квартир меньше проникал шум извне: не дребезжали назойливо звонки телефонов, они были в редких только домах, а о радио и речи не было. Москва была тихая, и ничто так хорошо не показывало ее тихости сравнительно с современным шумом, как то, что пугливые соловьи пели не только во многих московских садах, дворянских и купеческих, но и в Кремлевском саду. Под горой у Тайнинских ворот петь было также хорошо и непугано привольно, как в какой-нибудь орловской липовой аллее или тенистом ольшанике извилистой среднерусской речки.

И Лермонтов, и народные песни и поговорки правы, называя Москву златоглавой: она такую и была.

Первое, что видел из окна вагона всякий, подъезжавший к Москве, — была огромная золотая глава Храма Христа Спасителя. Даже в пасмурные дни сверкало ее золото, когда путники были еще за несколько верст от Москвы; в ясные же дни солнечные лучи, ударяя в огромную главу, делали ее ослепительной, плавил ее золото до белого огня. Глава эта осталась, видит ее и теперь всякий, подъезжающий к Москве, но златоглавою Москва перестала быть. За десятилетие революции потускнели до черноты золотые главы кремлевских соборов и уже не «в шапке золота литого» стоит древний великан Ивана Великого, а в черной хмурой скуфье\*.

Ключевский говорит в своем «Курсе русской истории», что нельзя себе представить среднерусского пейзажа без того, чтобы где-нибудь поблизости или на горизонте не зеленел хоть небольшой лесок. Совершенно также нельзя себе было представить уголка Москвы, чтобы откуда-нибудь из-за зеленых кровель, уютных мезонинчиков и кудреватой зелени садов не выглядывала «золотая голова» какой-нибудь древней церковки. Этого не было ни в одном городе России. Над Петербургом тускнеет один мрачный Исаакий, и золотой купол Храма Воскресения на крови кажется ошибкою — капля сусального золота, случайно капнувшая на сумрачно-строгий офорт «Петра творения». В Киеве только один Михайловский монастырь и преданием определен как «Златоверхий». Ни Новгород, ни Ростов, ни Ярославль не «златоглавы»: они белоглавы, синеглавы, среброглавы, но не златоглавы. В Москве две высшие архитектурные точки, господствовавшие над городом, — Иван Великий и Храм Христа Спасителя — сияли, были настоящие «шапки золота литого»: к ним присоединялась третья огромная «шапка» на окраине — золотой купол колокольни Симонова монастыря, превышавшей высотой даже Ивана Великого. А ниже

---

\* Когда я ребенком 8—9 лет впервые прочел «Два великана» Лермонтова, то для меня «В шапке золота литого старый русский великан» был Иван Великий, древний, белый, великий — и с золотой головой. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

их по огромному пространству города, в купах зелени, в белизне зданий были разбросаны большие и малые шапки, шапочки, шатры и уборы «золота литого». С Воробьевых гор в солнечный день на Москву было радостно и больно смотреть: радостно — от великолепных осколков солнца, сияющих там и тут, близко и далеко, над зеленью и белизною, и больно глазам от нестерпимо яркой игры этого золота, щедрыми пригоршнями разбросанного по всему городу. Зеленая и ярко-белая оправа еще сильнее подчеркивала ослепительную и мощную игру этого золота. Иностранцы, попадавшие в Москву и в 20-х, и в 80-х, и в 90-х годах, неизменно приходили в восторг от этих сияющих червонцев, разбросанных по Москве под игру среднерусского солнца.

Москвичи любили эти «золотые главы». Каждое лето можно было видеть, как та или другая «глава» золотится мастерами. Для этого главы обшивали деревянными лесами, покрытыми сверху и по бокам прочным брезентом, и в этих брезентовых или парусинных коробках работали мастера сусального дела. Подновленные главы сияли еще ярче. Золотое покрытие иных куполов было столь прочно, что выдержало 14-летнее испытание без малейшего ремонта: есть еще главы церквей в Москве, которые сверкают золотом.

С Воробьевых ли гор, с Поклонной ли горы, откуда смотрел на Москву Наполеон, с вышки ли Пашкова дома, откуда кланялся Москве прусский король в 1818 году, с верхнего ли яруса Ивана Великого, или паперти церкви Никиты Мученика на Швивой горке, — отовсюду было видно это золото в лазури. Это был остаток древнего уклада и строя великокняжеской и царской Москвы. В старом русском — да и не в русском одном — в старом христианском городе — стоял ли он на берегу Тибра, Рейна или Москвы-реки — жилища Бога всегда возвышались над жилищами человеческими. Но готические и романские церкви Запада не знают золотых куполов: они возносят к небу только кресты, и то не всегда золоченые. Золото московских куполов давало величайшую радость глазу своей игрой под спящим, тусклым, мрачным северным небом. Был как-то неистребим золотой налет радости над обыденным серым городом. Кресты церквей — верховная точка города. Я любил рисунок Ропса, изображающий дьявола, шествующего над Парижем: его копыта погружены в тяжелые деревянные сабо: он боится получить смертельные уколы золотых мечей крестов, венчающих купола церквей. Вот такому путешественнику трудно

было бы прогуляться по кровлям старой Москвы: без заколдованных деревянных башмаков исколол бы он себе до смерти ноги о кресты московских «сорока сороков».

Кресты эти были верхние предельные архитектурные точки, господствовавшие над городом как архитектурно-пространственным целым, — и точки эти, легкие, золотые, разрешали тяжелую каменную и деревянную косность и массу города в сверкающее в воздухе — золото в лазури. Это было великолепное завершение города как единого целого. Москва со всею своею ширию и простором много веков сводилась к верховенству золотой точки — кресту Ивана Великого; впоследствии к ней прибавилась вторая — купол Храма Христа Спасителя. Все архитектурные диссонансы города были разрешены в этой гармоничной, завершающей высочайшей ноте, поистине золотой! Крест соборного храма, соборной колокольни были естественной верховной точкой, господствовавшей над городом, его символом. К знамени креста, как к последнему знаменателю, была приводима вся жизнь города. Такой золотой крест, видимый за десятки верст, был для Москвы то же, что для древних Афин золотое копьё Афины Паллады, видимое далеко с моря.

Современный город не имеет такой верховной точки. Париж заменил свою древнюю верховную точку — башни Notre Dame — Эйфелевой башней; от этой новой точки, как известно, в ужасе бежал Мопассан, не могший вынести ее торжествующей нелепости и безобразия. В других городах крест, как высшая точка, заменен фабричными трубами и безобразными небоскребами. В Москве постепенно росли новые пяти-шести-семиэтажные дома, и жилища человека становились выше жилищ Бога — древних златоглавых и златокрестных храмов. За стенами высоких домов, которые особенно рьяно принялись строить после японской войны, старинные церкви скрылись как в тюремных камерах и коридорах. Вместо высших точек из золота такими точками оказались безобразные высокие трубы центрального отопления. Один из самых горячих ценителей красот старой Москвы и глубокий знаток ее прошлого, европейец-энциклопедист по образованию, Вл. А. Кожевников\*, помнится, в 1897, либо в 98-м написал горячую статью о гибели старых церквей за безобразными стенами домов. Статью охотно

---

\* Про него С. Н. Булгаков<sup>16</sup> говаривал: «Владимир Александрович знает все и еще кое-что»<sup>17</sup>. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

поместил истый москвич П. И. Бартенева в своем «Русском Архиве». Но это был голос вопиющего в надвигающейся пустыне современного города, никем не услышанный\*.

А были люди, которые могли и должны были бы его услышать; услышав, они могли бы сделать многое. Я говорю про причты тех церквей, вокруг которых еще уцелели «монастыри». Если б «монастыри» эти самим причтом не застраивались высокими доходными домами, то многие древние церкви остались бы на таком же просторе, а не в «теснине стен» (Брюсов), как, например, церковь Покрова в Левшине или Воскресения в Кадашах.

Не только люди убежденного философского «отцелюбия», каким был покойный Вл. А. Кожевников, ученик и биограф Н. Ф. Федорова, но и люди иного философского и политического склада, как покойный князь Е. Н. Трубецкой<sup>18</sup>, больно переживали этот плен златоглавых церквей в «теснинах стен» новых доходных домов и фабрик. Е[вгений] Н[иколаевич] не любил Храма Христа Спасителя, особенно после своих поездок по России в 1914–15 гг., когда он открыл для себя и страстно, до проповедничества полюбил красоту и мудрость древнерусских храмов и иконописи Новгорода и Пскова. Помню, как он в одном своем публичном чтении назвал огромный золотой купол Нового Собора (так звали в Москве многие Храм Спасителя) — «сияющим, ярко отчищенным тульским самоваром», и как С. Н. Булгаков возразил ему на это, что какова бы ни была эстетическая ценность этого купола — для многих миллионов русских людей он — увенчанная крестом глава чтимого храма, а креста над самоваром не бывает. Но и кн. Е. Н. Трубецкой погоревал, когда четыре безобразные трубы электрической станции воткнулись между золотых куполов соборов и церквей и как частоколом загородили вид на Храм Христа Спасителя со стороны Замоскворечья. Евгений Николаевич не раз указывал, что эти грязные, назойливо коптящие небо трубы, разрушившие великолепие вида на Храм Спасителя и на Кремль, — настоящий символ надвигающегося скучного утилитаризма, который не оставляет в жизни места для красоты и, как гвоздь в картину Рафаэля, вбивает в древний прекрасный лик города безобразные острые трубы.

К началу мировой войны вид на Москву с Воробьевых гор уже далеко не был сходен с тем, которым любовались в 60-х годах одинаково и славянофил Шевырев, и западник

---

\* Кажется, она так и называлась «Голос умирающих церквей». (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

Герцен. Убыло зелени, спрятались многие золотые купола за острые стены и померкла былая ослепительная белизна Москвы. За десятилетие революции потускнели и почернели золотые главы, некоторые из них потеряли свои кресты, другие были отсечены совсем. Переставая быть златоглавой, Москва переставала быть белокаменной. Теперь это особенно заметно. Все новые постройки в Москве, сделанные за время революции, все грязно-серого цвета, а не белого. От новых домов веет серо-зеленой унылостью петербургских рядовых строений; в них есть тот серо-унылый «дух неволи», о котором писал Пушкин, но «стройного вида» петербургских, покорных архитектурному пейзажу зданий они лишены. В прежней Москве основным цветом зданий был белый, «вторыми» цветами были — розовый, бледно-желтый, — но никогда серый, изжелта-серый или серо-зеленый — цвета Петербурга. Кремлевские соборы, с Ивана Великого — все до одного белые — давали основное пятно «белого» в Москве, в самой ее сердцевине. В начале XVII в. и пестрый ныне Василий Блаженный был белый. Архитектурные разведки, предшествовавшие уничтожению в 1927 г. Красных ворот, показали с очевидностью, что и эти, знаменитые своей раскраской, Красные ворота были в XVIII ст. белыми, с золотыми украшениями\*. На основании этих разведок их оштукатурили сызнова (ценные елизаветинские монограмма и герб были сшиблены после революции 1917 г. при советской власти), окрасили в белый цвет, — и последний свой, предсмертный год, Красные ворота простояли белыми.

Широко стягивавший Москву огромный белый пояс стен Белого города исчез при Екатерине II, но из его кирпича был построен целый городок белых зданий Воспитательного дома. И получилось неподалеку от Кремля огромное белое пятно. Большими белыми пятнами на зеленом фоне Москвы были монастыри — Рождественский, Андрониев, Алексеевский, Даниловский и другие. Старинный белый пояс

---

\* Был, однако, момент, когда они сделались ненадолго зелеными. Помню, мама рассказывала мне, что генерал-губернатор Закревский в 50-х годах велел их окрасить в зеленый цвет. На это была сложена эпиграмма, я ее помнил в детстве со слов матери. Над Закревским в ней смеялись, между прочим, и за то, что он

*Все окрасил в цвет зеленый.*

Москва, любившая золотое, белое и розовое, не простила своему нелюбимому начальнику, что он хотел обрядить ее в зеленый цвет, более естественный ее антиподу Петербургу («Цвет небес зелено-бледный»). В памяти у меня сохранился только один этот стих. (Примеч. С. Н. Дурьлишна.)

Китай-Города стягивал «город» — торговую часть Москвы. Такие типичные для Москвы здания, как великолепный Пашков дом, Теплые ряды на Ильинке, больницы (1-я Градская, Голицынская, на Калужской, Странноприимный дом и больница гр[афов] Шереметевых на Сухаревской площади), Архив Министерства иностранных дел на Воздвиженке и многие другие были все белого цвета. «Новые ряды» (Верхние Торговые ряды), преемники Гостиного двора екатерининских времен на Красной площади, — пережив классический еmpire на так называемый русский стиль эпохи Александра III, не сменили окраску — остались такими же белыми. Наоборот, огромные красные кирпичные кучи, крытые железом, называемые Историческим музеем и Городской Думой, вносили своим красно-кирпичным безобразием резкий диссонанс в окружающий архитектурный пейзаж.

Чрезвычайно распространенные с 90-х годов в провинции храмы и здания из красного кирпича с зелеными куполами и крышами, испортившие столько пейзажей старинных городов и монастырей\*, вошли в Москву в небольшом, сравнительно, количестве и лишь частично обезобразили ее. Наряду с белыми зданиями — и в тон им, в увеличение богатства оттенков — были здания в стиле московского еmpire'a — бледно-желтой или бледно-розовой расцветки. В 910-х годах пробовали строить и многоэтажные доходные дома в этом стиле, но еmpire — строгий, аристократичный, внутренне-целостный — тускнел и блек на этих огромных фасадах, ради доходности изрешеченных бесконечными окнами.

Нет сомнения, что с торжеством железобетона исчезнет славная белокаменность Москвы, придававшая ей такой праздничный вид. Уже с конца 90-х годов Москва начала менять свой белый подвенечный наряд, свой основной цвет — белое с золотом — на более будничные и хмурые цвета. Была Белокаменная (этот эпитет стал ее собственным именем) — станет серобетонная.

Еще один цвет исчезает в Москве вместе с золотым и белым — зеленый. В 1903 г. от урагана погибли Анненгофская роща и великолепный Лефортовский сад. Для постройки доходных домов вырублены были после японской войны множество монастырей, садов, садиков и палисадников в цент-

---

\* Пример — безобразный красно-кирпичный новый собор Хотькова монастыря под Москвой, задавивший собою и разрушивший чудесный прежний архитектурный ансамбль этого подмосковного монастыря. (Примеч. С. Н. Дурылина.)

ральных частях и на окраинах города. Опустели и отощали сады владений по Садовой. В бестопливные годы (1918 — 1921) вырублено огромное число деревьев в уцелевших от застройки садах; поредели Петровский парк, Сокольники, Оленья роща, Лосиный остров.

Зеленого также невозвратно убавилось в Москве, как и золотого и белого. Так будет идти, конечно, и дальше.

Опоясан лентой пашен,  
Весь пестреешь ты в садах, —

этого давно уже нельзя сказать про Москву, как говорил сто лет назад Ф. Глинка<sup>19</sup>. Вместо ленты пашен — ремень зловонно дымящих черно-красных заводов, вместо садов — на окраинах — пустыри с крапивой и свалками, в центре — дома, дома, дома, серые, безобразные, унылые. Глинка писал про Москву сто лет назад, Кнут Гамсун в 1903 г., всего четверть века назад, — приезжай он теперь в Москву, он уже не нашел бы в Москве того множества кусков белого мрамора, изумрудов и золота, которыми любовался тогда с Ивана Великого («В сказочной стране»).

Москва народной песни белокаменная, златоглавая — умирает вместе с этой песней. Песню заменила пошлая, бойкая фабричная частушка, Москву белокаменную и златоглавую — обычный европейско-американский серо-фабричный город, тянущийся во всем за другими, более солидными городами того же типа. Судьба неумолима к городам не менее, чем к людям. Она не только москвичей, но и Москву боярского охабня, екатерининского камзола, широкорукавной рясы, поддевки и обруселого фрака, переряжает в однообразную, всюду и везде одинаковую будничную фабричную блузу, просоленную около машин. В ней, вероятно, очень удобно работать, но на эту блузу вряд ли приезжали бы любоваться Гамсун, Верхарн и Уэллс — они ее видели-перевидели и у себя на родине.

#### 4

Скучно и без москвичей, и без московских газет, и без московского звона, который я так люблю.

А. П. Чехов — В. М. Соболевскому.  
Из Ялты. 6 января 1899

Надо бы говорить о москвичах, о великорусской или, вернее, просто русской Москве, но от Москвы златоглавой



к ним переход через московский звон, по которому так нежно тоскует Чехов, усланный врачами в далекую, чужую ему Ялту. В этом звоне была какая-то крепкая и прекрасная связь у москвичей с Москвою, — и не только у тех, для которых Москва была «златоглавою» — городом храмов и святынь, а и для тех, кто, подобно Чехову, давно потерял детскую веру, но не потерял любви к красоте, связанной с этой верой. Московский звон — был московская красота. Тот же Чехов писал в 1899 г., сняв квартиру в Москве: «Квартира прекрасная, на М[алой] Дмитровке, — это в центре города близ Страстного монастыря. Высоко, светло, слышен чудесный звон» (Письма, V, 396)<sup>20</sup>. Как Чехов, любили московский звон и поэты — от Хомякова и Майкова до Вячеслава Иванова. Первый написал «Кремлевскую заутреню» с Ивановским звоном, второй — прекрасное стихотворение «Духов день в Москве», где передал торжественную, благовествующую мощь московского звона<sup>21</sup>. Юноша Лермонтов хорошо сказал, что у Москвы «есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!» — колокольный звон: «Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена, в которой густой рев контрбаса, треск литавр с пением скрипки и флейты образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!.. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого!»

То, что Лермонтов высказал в романтически-приподнятой форме, Чехов, скупой на слова, выразил в трех словах: «слышен чудесный звон!» — но уже то одно, что и романтик Лермонтов, и славянофил Хомяков, и трезвый позитивист Чехов, и символист Вяч. Иванов сошлись в одном впечатлении, в одной оценке — свидетельствует, что тут бесспорная красота и несомненное, сияющее ее явление.

Звон, заливающий весь город, свойственен только старым русским городам, как Новгород, Ростов, Москва. Сколько бы ни звонили, например, в Петербурге, это будет звон отдельных церквей, но он не сольется в тот единый «язык сильный, звучный, святой, молитвенный», о котором писал юноша

Лермонтов. На Пасху или на Рождество Москва пылала звоном, как огнем\*, охвачена была им, как пожаром, вся целиком, с середины и до крайних краев. Соборный звон в Ростове, с 7-ю его особыми «композициями», был великолепен своей тончайшей музыкальностью. «Это колокола Вагнера в «Парсифале!» — воскликнул Эмилий Метнер, слушая вместе со мною эти ростовские звоны соборной звонницы в июне 1914 г. Но нигде, — ни в Киеве, ни в Ростове, — не было того, что бывало в Москве, когда сияло звоном сердце Москвы — Кремль, и в ответ ему отзывались все близкие и дальние, сходящиеся к нему артерии церковей и монастырей. Под большие праздники, в самые их дни, и в особенности на Пасху, в Светлую ночь Москва польхала звоном, горя и сияя в нем, как Неопалимая Купина.

Исток московского звона, его чистейший и глубочайший родник был Кремль, а в Кремле — Иван Великий. За исключением маленьких колоколен с небольшими колоколами Чудова и Вознесенского монастырей и двух колоколенок церковей под Кремлевской горой — Благовещения на Житном дворе и Константина и Елены, в Кремле не было других колоколен, кроме Ивана Великого. Он служил колокольной для всех кремлевских соборов и храмов. По подбору колоколов, по весу их (главный колокол 4000 пудов), по умягченному временем благородству звука Иван Великий не знал себе соперников не только в России, но и в мире. Главный колокол его давал звук единственный в своем роде: это был голос самой старины, серебряный, как ее седины, глубокий, как прошлое, умягченный, как мудрость старости, — и вместе твердый, мощный, необыкновенно величественный — настоящий «глагол времен и металла звон»<sup>22</sup>. Чтобы раскатать язык этого первого колокола в России и в мире, надобно было усилие четырех заслуженных звонарей, — и сколько бы раз в жизни ни слушать его звон, всегда первый удар его в Пасхальную ночь или в другой торжественный день производил впечатление совершенной, потрясающей неожиданности, — как будто, действительно, сама Москва, сама Русь начинали свой вещий, священный разговор. Первое же мое впечатление, еще ребенка, от этого колокола было потрясающее, таким оно осталось навсегда.

---

\* Именно такой звон отображен Вяч. Ивановым в его стихотворении. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

С ударом этого колокола в течение столетий были связаны едва ли не все исторические события, протекавшие в Москве. Я помню, как он возвестил огромной народной толпе начало прославления патриарха Ермогена в 1912 г.<sup>23</sup>, помню, как он призывал к чтению манифеста об объявлении войны Германии в 1914 г., открытие церковного Собора и поставление патриарха в 1917 г. Но у всех москвичей больше всего, конечно, связано с этим колоколом воспоминание о пасхальной ночи в Кремле. Я о ней не буду здесь говорить, скажу после, здесь же скажу только о самом пасхальном звоне.

Часов с 6 вечера Великой Субботы Москва затихала. Переставали ходить конки. Редки становились извозчики. С 9 часов была в городе полная ласковая тишина, всюду и у всех тишина, о которой теперешние жители Москвы не имеют и понятия. Толпы народа отовсюду двигались в Кремль, — тихим, могучим потоком, — безмолвным и неуклонным. Я не пойду сейчас с ним в Кремль. Это я сделаю в другом месте «Записок». Я буду слушать тишину торжественной, замершей Москвы из ограды какой-нибудь приходской церкви. Тишина полнейшая: не Москва, а поле, лес, луга, спящие тихой, ясной ночью. «Есть некий час в ночи всемирного молчанья». Вот почти такая тишина: с молчанием неба. И в людях тишины больше, чем во все другие часы и дни года. Все ждут. Все вслушиваются в тишину. Должен быть голос в ночи. Но тихо, тихо. Тишина, тишь, тихмень, затишье, оттишь — все слова нужны, чтобы выразить все оттенки, все уголки этой тишины, — единственной в году. Все колокольни до одной молчат, хоть двенадцать часов близко, хоть есть уверенность, что полночь уже наступила. Но молчит Иван Великий, — и нет полночи. Тихо, тихо. И вдруг — мощный, мягкий, величавый звук — один в целом огромном городе — прорезывает — нет, не так: раздвигает ночь невидимыми могучими руками и светлым лучом звука возвещает всем и всему: «Воскрес! Опять Воскрес!» Это уже был не язык седой Москвы, это был голос древней веры в воскресшего Бога. Все крестились, все, кто дождался и слышал этот звук. И тысячи колоколов подхватывали его и превращали звук — в море, в океан звуков. Тут уже не романтика — эти «море» и «океан», слышавшиеся Лермонтову в московском звоне, а сама реальность. Море звуков колыхалось над Москвой в гулкой темноте весенней ночи и казалось таким же огненным, как звезды в небе, как взлетающие к ним ракеты, фейерверки, как огни бесчисленных иллюминаций.

Я понимал актера Горбунова и моего учителя Артема<sup>24</sup>, которые неизменно встречали пасхальную ночь в Москве: нигде в России радостнее и прекраснее она не встречалась. Действие кремлевского звона в эту ночь было неотразимо на всех, кто имел хоть каплю поэзии в душе.

Иван Великий бывал полон в ту ночь народом. Купцы по старинному обычаю договаривались со звонарями, кому достанется первый удар в колокол в эту единственную ночь. Верили, что этот удар, поднимающий недельный неумемный звон всей Москвы, приносит на год счастье и удачу. Так как желающих первым ударить в колокол было много, то, случалось, бросали жребий. Тот, кому доставался первый удар, давал деньги — четвертной билет и больше — в пользу звонарей.

Народ на Ивановской колокольне ждал первого удара с особым нетерпением — и первый удар этот воспринимался где-то и тут, и близко, — и вместе с какой-то неизмеримой высоты доносился он. Его подхватывали голоса других колоколов на той же колокольне, — и древний столп, увенчанный «шапкой золотою», сотрясался от медной бури, бушевавшей внутри него.

В 1908 г. я пошел в Кремль в Пасхальную ночь с Борисом Пастернаком: тогда это был Боря, стеснительный гимназист старшего класса V казенной гимназии, единственной, которая к тому времени оставалась вполне классической, с греческим языком и даже с «Антигоной» на греческом языке, которую разыгрывали гимназисты\*. Боря был еврей, я был православный по паспорту, но оба мы тогда были люди неверующие. И вот, влившись с многотысячной толпой в Кремль, мы, в числе многих других, поднялись на столп Ивана Великого и пристроились где-то на одном из верхних ярусов. Вся Москва, замершая в ждущей тишине, была пред нами. Церкви были уже освещены изнутри, но еще не горела иллюминация. «Внизу народ на площади кипел» (Пушкин).

Не помню, о чем мы говорили с Борей, когда шли в Кремль (я заходил за ним в Училище живописи на Мясницкой, где была квартира его отца), — вероятно о музыке: она тогда значила для него гораздо больше, чем поэзия, и на него смотрели, как на будущего музыканта. Вероятно о музыке и о стихах говорили мы и стоя на высоком ярусе Ивана Великого. И вдруг — сразу, в мгновение ока — мы перестали

---

\*Антигоной был Шура Пастернак, брат Бориса, теперь ученый-архитектор<sup>25</sup>. (Примеч. С. Н. Дурылина).

слышать друг друга; стояли, прижатые народом к каменному парапету, рядом, лицо было у лица, губы шевелились — и мои, тонкие, и его, крупные, пушкинские, губы «арапа Петра Великого», — но мы не слышали ни слова, ни звука! Нас заливала медная волна, кружила, хлестала над нами, — и вдруг расплылась над Кремлем, захватила всю Москву, — и медное море бушевало вокруг и всюду, куда хватало глаз. Мы потонули, исчезли в нем. Почему-то мы вошли внутрь башни, — и нам стало страшно, показалось, что башня, уходящая далеко вверх над нашими головами, вся сотрясается под действием невидимых гигантских таранов; они отовсюду бьют в ее стены, огромные катапульты мечут целые тучи каменных ядер, и башня вся дрожит сверху до основания. Еще приступ — и она рухнет. Я почти что всунул губы свои в ухо Борису и крикнул что было сил: «Боря, мы в осаде! Как у Д'Аннунцио, во «Франческе да Римини», — внутри осажденной башни люди в куче, а стены таранил враг. Вот-вот обрушится башня!..» У Бори блестели глаза. Он улыбался широчайшей улыбкой — я ее про себя называл ганнибаловой: зубы у него блестящие, как у «арапа Петра Великого». Он, без шляпы, умиленно кивал головой, что-то кричал мне, но я улавливал только его веселое возбуждение, захватывающее дух: «Да! Да! Да!»

А стены дрожали под ударами стенобитных орудий. Вдруг все смолкло. Это крестный ход обошел вокруг Успенского собора, вошел в собор, и началась утренняя. Мы сошли с колокольни потрясенные, — точно вернулись из Средних веков, из Римини, осаждаемого гвельфами. Кремль остался в стихах у Пастернака<sup>26</sup>. А в ту ночь ему звон Ивана Великого был нужен и дорог не меньше, чем Чехову «чудесный звон».

В последний раз Иван Великий говорил в Пасхальную ночь в 1920 г. В 1917-м и 1918-м в Кремлевских соборах еще были Пасхальные утрени, Иван Великий, как всегда, сзывал Москву — и народ еще пускали свободно в Кремль. Но к осени 1918 г. доступ в Кремль для богомольцев был прекращен, во всех церквях прекратилось богослужение, и в Пасху 1919 г. первый раз за все свое существование Иван Великий безмолвствовал.

Подходила Пасха 1920 г. В Москве существовало тогда некое странное полуофициальное учреждение, помещавшееся в Златоустовском монастыре, — с нелепым названием Исполком Духа. Это был какой-то совет по религиозным делам, в котором заседали кто-то из православного духовенства, чуть ли не епископ Антоний, пастор лютеранский, раввин,

еще кто-то. Почему-то заседал умный и хитрый Иван Дмитриевич Сытин<sup>27</sup>. Задачей этого Исполкома религиозных организаций было вести представительство перед советской властью всех религиозных организаций Москвы, без различия вероисповеданий. Я нередко видывал Сытина в эти месяцы, благо жил рядом с его бывшей конторой на Маросейке. И вот Сытину пришла мысль через этот Исполком Духа добиться у правящей власти разрешения позвонить на Иване Великом в Пасхальную полночь, подкрепляя ходатайство тем, что разрешение звона произведет самое лучшее впечатление на москвичей. Разрешение было дано, и Сытин звонил в Пасхальную полночь на Иване Великом. Соборы же по-прежнему были заперты, и в Кремль никого не пускали. Звон этот, — столь хорошо знакомый Москве, старый Иванов звон, — на этот раз, при запертом Кремле и безмолвных соборах, производил странное, даже жуткое впечатление. Впрочем, Сытин ликовал: «Мы добились звона в Кремле на Пасху!» На следующий год Иван Великий молчал, — и это было лучше.

Ивановский звон производил на меня с детства еще особое впечатление. Суриков говорил однажды Волошину: «Верю в Бориса Годунова и в Самозванца только потому, что про них на Иване Великом написано»<sup>28</sup>. Я помню с детства эту надпись черно-золотою вязью на шее у Ивана Великого, но верю я в Бориса Годунова и Самозванца потому, что слушал Ивановский звон: он и при них звенел, он о них и мне звенит... В 1910 г. я часто хаживал в Кремль, часто слушал Ивановский звон, — и однажды, ложась в постель, придя из Кремля после всеобщей, схватил клочок бумаги и в темноте, не глядя на нее, нацарапал вот что:

Старая царевна  
Московских времен  
С капустных грядок гневно  
Сгоняет ворон:

Кыш с огорода!  
Каркать без пути!  
Нового-то брода  
Неужто не найти?

В Питер бы летели,  
Петькин чертов град.  
Времена приспели —  
Антихрист у врат.

Братец приветит,  
Петрушка тароват —  
У качелей встретит,  
Где детушки висят.

Туго с хлебом, с солью —  
Мясо нипочем:  
Человечинки вволю  
С красным кваском!

Одному не скушать,  
Все-то не испить:  
Помогите рушить!  
Пособите пить!

Старая царевна  
С палкой на ворон.  
Загудел так гневно  
Ивановский звон.

Прочтя это стихотворение, Борис Садовской писал мне: «Нету Мусоргского — вот кто бы написал музыку на эти слова!» Перечитываю эти строки теперь и вижу: стихи писаны дольником, которым теперь пишут все, а 18 лет назад не писал почти никто; язык какой-то свой, и русский, и мой; какой-то кусочек старины будто застрял в стихах и, может быть, хоть на  $1/10$  и есть правда в отзыве Садовского, — и вот вижу это, и знаю: все это не я написал, а Ивановский звон назвонил мне в тот вечер, а я лишь записал коряво назвоненное. Утром, помню, я с удивлением прочел, еле разбирая, корявый листок, — и удивился, откуда это у меня? Я писал тогда гладкие символические стихи, «Францисканские сонеты» («Антология» Мусагета. М., 1911), — и вдруг этот русский, истошный выплач, царевнин стон! Не мое. Звоново. Это с Иван-колокольни.

В Кремле, как я сказал, были еще две маленькие колоколенки, в близком соседстве друг от друга: Чудова монастыря (мужского) и Вознесенского (женского). И вот в детстве еще кто-то научил меня различать, как звонят монахи и как монахини. Вознесенские монашенки начинают мельenkими голосками, жалостно, жалостно, жиденько:

К нам! К нам! К нам!  
К си-ро-там!

Монахи Чудовские через стенку отвечают им басами сочно, громко, грузно:

Бу-у-дем! бу-у-дем!  
Не за-а-бу-у-дем!..

Жалостно, жалостно капал над Москвой великопостный звон. Капель весенняя капала с крыш, медная тоненькая капель капала и с неба, весеннего, голубого, с кучевыми белыми облаками. И теперь, конечно, звонят Великим постом в Москве. Но того звона, который был в прежней Москве, уже не услышишь. Улицы теперь стали шумны, бойки, деловиты; они запружены, загружены назойливыми звуками трамваев, автобусов, автомобилей, мотоциклетов, — колокольный же звон любит тишину, и только в ней открывается вся его музыкальная красота. В громе трамваев, в шуме автобусов, в истерических взвизгах автомобилей он теряется, никнет, пропадает; особенно же постный перезвон. Он требует тихих будней: под воскресенье и в самое воскресенье, когда в городе меньше движения, постного тихого перезвона не бывает, — и вот в прежней Москве всюду, подалее от трех-четырёх шумных улиц, бывали эти тихие будни, и с необыкновенной лёгкостью, с светлую грустью капала на них весенняя капель великопостного звона. Можно было не идти в церковь к трогательно прекрасным великопостным вечерням или утрням, можно было быть далеким от всякой прямой и определено выраженной веры, но не предаваться хрустальному очарованию этого тихого вечернего или утреннего звона над весенней тихой Москвой — было невозможно, — невозможно, по крайней мере для того, у кого «душа» ещё «стесняется лирическим волненьем» (Пушкин). Вот отчего любил этот звон Чехов.

Москва же с ее неисчерпаемым богатством колоколов и звонов — всех ладов — от торжественного призывного зова Ивана Великого до тихого почти шепота какой-нибудь старой шатровой колоколенки в Замоскворечье, — создавала людей, которые весь смысл своей жизни, все ее дело, наконец, самих себя — находили в звоне и колоколах.

Я знал и многие в Москве знали одного такого человека. Это Павел Федорович Гедике.

Его отец — Ф. К. Гедике — был профессор Московской консерватории, композитор, пианист и органист, первый учитель Н. Метнера; родной брат — один из известнейших



современных композиторов, также профессор консерватории, А. Ф. Гедике; сестра — камерная певица; двоюродный брат — сам Н. К. Метнер. А сам П. Ф. Гедике — звонарь на колокольне Сретенского монастыря на Б[ольшой] Лубянке.

Когда, бывало, на улице остановишься с ним, а мимо пройдет знакомый, не знающий Павла Федоровича, неизбежен впоследствии вопрос: «С каким это странным субъектом вы разговаривали наемдни на улице?» И это была еще осторожная формулировка вопроса; пожалуй, точнее его можно бы даже формулировать: «с каким это оборванцем»... Маленького росту, взлохмаченный, густо заросший черною, с проседью бороною, в рваном, почему-то всегда ватном, зимою и летом, пальто, «в пуху», с наческами ваты на порыжелом, позеленелом сукне в пятнах, в какой-нибудь давным-давно инвалидной шляпе, в нечищенных рыжих штиблетах, над которыми болталась бахрама брюк, — звонарь Сретенского монастыря производил впечатление, действительно, оборванца.

А между тем этот оборванец вырос в чинной музыкальной строгой семье, и музыкальных данных — наследственных в этой замечательной семье — у него было не меньше, чем у других ее членов. Он мог бы легко и успешно идти той же почтенной и прямой музыкальной дорогой, которой — с разными талантами и успехом, но с одинаковым правом и честью — шли его дед, отец, брат, сестра, двоюродные братья. С этой музыкальной дороги он свернул на другую — музыкальную же, но совершенно необычную и никем не признанную. Этот мальчик, выросший в неправославной, хоть издавна московской семье, у которого отец был лютеранин, а мать — католичка, влюбился с детства в московский колокольный звон, заслушивался его часами, стал его мастером, художником, творцом... Обладатель совершенного слуха и совершенно исключительных, по признанию его брата-композитора, — музыкальных способностей, — он взошел с ними, иноверец, на московскую колокольню: там он нашел тот музыкальный инструмент, которому отдал всю свою жизнь: колокола.

Я не знаю в точности, как это случилось, но православные колокола привели его к православному храму и православной вере. Он принял православие. Но этого мало сказать: он принял весь русский оттенок этой веры. Кровь веры заструилась в его жилах. Отец его был органистом во

французской церкви; брат-композитор игрывал там на органе и наследовал от отца любовь к этому музыкальному голосу католичества и протестанства: сделался лучшим органистом России, профессором органа, автором композиций для него. Павел же Федорович не только ушел от этого инструмента, но и от храма, от веры, которых он является глашатаем. Колокола московских церквей назвали ему лучше всяких проповедей ту веру, которую вестил их звон. П. Ф. Гедике стал одним из православнейших людей Москвы. Глядя на него, беседуя с ним, я вспоминал, что подвижник, подвизавшийся самым национальным русским подвигом, — юродством, блаженный Прокопий Устюжский — был родом «немчин». Что-то от юродивого — в его простоте, чистоте, «нищете душевной» и «нищете телесной» было и в Павле Федоровиче, — даже и в его одежде, и в отношении к ней. До смерти своих родителей (уже после революции 1917 г.) он жил с ними; после их смерти жил у брата-композитора.

Звонарь Сретенского монастыря, он ничего не получал за звон, — и в глазах хозяйственных и плутоватых Варлаамов и Мисаилов Сретенского монастыря (Пименов там в эти годы не было) он был чем-то средним между юродивым и шутком гороховым. Содержали его родные. «Колокола» не кормили его, а ни от чего другого он кормиться не хотел, отдав им всю жизнь свою и талант. Отец и мать, а впоследствии брат, непрестанно одевали его, следили за тем, чтобы он был чисто и прилично, и тепло одет, — но эта «чистая одежда», только что обновленная иждивением родных, очень скоро «исчезала» на нем: непостижимо быстро ветшала или заменялась другой, отнюдь не «чистой, приличной и теплой». Как это случалось — никто не знал, и с течением времени у родных выработалось отношение к этому, как к неизбежному: за обновлением следовало ветшение и исчезновение. Вот почему иначе, как в виде «странного субъекта», а грубее и такое — полуоборванца — нельзя было встретить Павла Федоровича на улице. Если в глазах сретенских монахов была юродством и «шутогороховством» его служба безвозмездным звонарем на колокольне их монастыря, то в глазах общих знакомых и в глазах отца, матери и брата было полубезумием и болезнью, несчастьем семьи то, что прекрасный музыкант с большими природными данными губил себя на колокольне. Об этом не говорилось, — и вообще избегалось говорить о Павле Федоровиче, — но чувствовалось, что это — несчастье семьи.

Для самого же Павла Федоровича его бескорыстное, [нрзб.], юродивое, на суд других, звонарство было несомненным счастьем. Вероятно, он был бы прекрасным органистом\*, но себя нашел он только в колоколах. Его единственный, уготованный ему инструмент, на котором одним призван он был творить, находился на колокольне Сретенского монастыря, — и что ему, истинному художнику, было за дело до того, что этот инструмент не давал ни славы, ни денег, ни консерваторского признания, ни газетных отзывов, — ничего из того, что дают фортепиано, скрипка, оркестр! Он остался верен своему инструменту навсегда.

Он творил на нем чудеса. Старая Москва колоколов и церковного звона нашла в нем своего последнего художника. Лермонтов, Хомяков, Чехов слушали московский звон, любили его, ощущали чудо его красоты («чудесный звон!»), благодарно вспоминали его. Но они не взошли на колокольню и не стали, — конечно, и не могли стать, — художниками звона. П. Ф. Гедике, с детства заслушавшись московского звона, взошел на колокольню и стал художником звона. Для этого нужна была огромная, самоотверженная любовь, — ибо, повторяю, любовь эта не могла рассчитывать ни на какое утешительное воздаяние, — ни на что, кроме насмешек, осуждения, подозрения в ненормальности. «Звонарь!» Это какое-то последнее, смешное, полупьяное существо с отмороженным носом и корявыми пальцами. «Звонарь» — должность, которую может занять всякий, кто ни на что другое не способен. Смешнее же всего было, что на эту должность — угрожавшую спившимся псаломщикам, слепым послушникам и церковным сторожам — напросился лютеранин — сын и брат профессоров консерватории! Конечно, это могло быть только из юродства или из болезни. Таково было общее решение. П[авел] Ф[едорович] подчинился этому, но еще более своему решению.

«У него удивительный слух, — рассказывал про него его брат-композитор. — В праздничный день, когда звучат тысячи колоколов, брат безошибочно выделяет звон любой церкви. Узнает звук любимых колоколов. Это много. Это значит в море, в прибое различить гул каждой волны, высоту ее звука».

Две зимы я, живя близко от Сретенского монастыря, слушал и будничные, и праздничные звон Павла Федоровича.

---

\* Он замечательно играл на других инструментах и поражал всех. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

Колокола Сретенского монастыря не представляли ничего особого: хорошие московские колокола, какие висели на десятках московских колоколен. Но Павел Федорович так их «обзвонил, настроил, спаял в звоне», — что они представлялись особым музыкальным инструментом, единым по строю, — с благороднейшей тончайшей звучностью. Звучность эта напоминала знаменитую ростовскую звучность — древних звонов звонницы Успенского собора. На этом инструменте, заключенном в восьмиугольную башню — в невысокую колокольню (в 2 яруса всего), — Павел Федорович создавал что-то свое, необыкновенно прекрасное, чего нельзя передать в слове. Я про себя называл это «Звон колоколов в подводном граде Китеже»: как будто в воздух проникает он через чистый хрусталь воды, — и оттого в нем слышится что-то серебряное, тонко-звучное, преображенное, как будто языки колоколов касаются не медных, а тонких фарфоровых стенок. Но этот подводный звон несся сверху, с неба, — и нес православную древнерусскую молитву. По строю, по ладу это был настоящий православный звон, — мало того: московский звон. То, что было лучшего и прекрасного в обычном, исторически сложившемся московском звоне, как через очистительную стихию воды, прошло через чистую, глубокую душу этого лютеранина-музыканта и понеслось в Москву чудесным православным звоном с древней Сретенской колокольни.

Шли годы. Сретенский монастырь переживал разные перемены в своем существовании. Прекращены были крестные ходы в него на Владимирскую, некогда собиравшие туда множество народа. Монахи его окончательно вступили на дорогу Варлаамов и Мисаилов. Водворился в нем запрещенный в священнослужении архиерей<sup>29</sup>. Народ перестал ходить в его храм. А Гедике все звонил и звонил, все радовал и радовал своим звоном. И было грустно думать, что этот китежский звон сзывает к службе запрещенного в служении архиерея-самозванца, окруженного сослужащими Варлаамами и Мисаилами, в глазах которых их звонарь — шут гороховый. Когда П[авла] Ф[едорови]ча спрашивали, почему он не уйдет в другую церковь, он отвечал: «Я звоню Богоматери». Что могли значить эти самозванцы и Мисаилы для его серебряной, металлической хвалы Пречистой? Он по-прежнему всходил на колокольню и слал умиряющие, умиленные призывы колоколов, полные высокой и строгой красоты, — и вместе — «милости мира».

Слушать его звон сходились любители со всей Москвы. Бывало, в час благовеста ко всенощной проходишь мимо Сретенского монастыря и там и тут замечаешь людей, остановившихся на шумном тротуаре и внимающих звону. Поят, остановленные этой властной красотой звона, послушают — пойдут дальше, вновь остановятся: слушают, — и, поймав себя на том, что, не веря в Бога, а веря в суету дня и дел его, заслушались церковного звона, — махнут рукой и решительно сольются с движущейся толпой улицы.

В храмовые праздники других церквей Павла Федоровича приглашали звонить. Он не отказывался и звонил безвозмездно, налаживая звон на чужих колокольнях, сглаживая разнозвон колоколов, добиваясь красоты звучания. Когда ему нельзя было идти в чужой приход из-за звона на Сретенской колокольне, он заходил на приходской праздник позже, но всегда в храмовый праздник там или тут его можно было встретить в церкви, не за обедней, так за всенощной, а то и просто во внебогослужебное время... Из всех московских звонарей только имя Гедике было широко известно в верующей Москве. Это был народный художник Божию милостию.

В 1928 г. был нарушен музыкальный инструмент этого художника: снесена с лица земли древняя колокольня Сретенского монастыря\*.

Нашел ли он себе другой инструмент и исполняет ли он на нем свои композиции, я не знаю. Но захотелось воспоминанием о нем закончить страницы, посвященные Москве колоколов и церковного звона. В нем, повторяю, эта Москва нашла своего последнего художника, своего рыцаря без страха и упрека, верного до конца.

В московский чудесный звон, каким заслушивался Чехов, вливалось смиренное и высокое искусство этого самоотверженного художника, подвижника колоколен. В искусство это вложена была целая жизнь — и высокая душа.

*[Томск. 1928]. 29. IX с[тарого] с[тиля]*

---

\* «Снос колокольни и трапезной бывшего Сретенского монастыря дает возможность выравнивать направление улицы в наиболее стесненном участке ее» — «Почему сносятся некоторые церкви. Беседа с зам. предс. Моссовета тов. Волковым. «Известия», 1928, № 145 от 24/VI. (Примеч. С. Н. Дурьлина.)

## Примечания

<sup>1</sup> *Рашковская М. А.* В поисках сути искусства. (Письма Р. Р. Фалька к С. Н. Дурылину) // Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988. С. 169–179; Две судьбы. (Б. Л. Пастернак и С. Н. Дурылин. Переписка) // Встречи с прошлым. Вып. 7. М., 1990. С. 366–407.

<sup>2</sup> Из стихотворения В. Я. Брюсова «L'ennui de vivre» («Скука жизни»).

<sup>3</sup> Некоторые записи из этих тетрадей опубликованы в книге: *Дурылин С. Н.* В своем углу. М., 1991. Там же напечатаны отдельные главы из цикла «В родном углу».

<sup>4</sup> Игуменья Владычье-Покровского монастыря *Митрофания* (в миру баронесса Прасковья Григорьевна Розен) обвинялась в 1873 г. в подделке векселей. Ф. Н. Плевако был участником ее процесса. Автор имеет в виду следующую фразу из его речи: «Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не видно было дел, творимых вами под покровом рясы и обители».

<sup>5</sup> *Мефимоны* (от греч. — с нами) — вечерняя служба на первой неделе Великого поста с чтением покаянного канона св. Андрея Критского, во время которой часто повторяется возглас: «С нами Бог...»

<sup>6</sup> Вероятно, имеется в виду известный в 1900–1910-х гг. трактир С. М. Арсеньева в Лубянском проезде.

<sup>7</sup> *Горбунов Иван Федорович* (1831–1896) — актер, писатель, рассказчик-импровизатор. Дурылин писал о нем в своей монографии «Художники живого слова».

<sup>8</sup> *Никулина Надежда Алексеевна* (1845–1923) — актриса Малого театра.

<sup>9</sup> Это высказывание Пушкина из заметок «Опровержение на критики» звучит следующим образом: «...не худо нам иногда прислушиваться к московским просвириям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком».

<sup>10</sup> *Шевырев Степан Петрович* (1806–1864) — поэт, историк и философ, издатель журнала «Москвитянин».

<sup>11</sup> До ареста в 1927 г. С. Н. Дурылин жил в доме № 15 по Милютинскому переулку, в приходе упомянутой церкви.

<sup>12</sup> *Дикий и трикий* — двусвечие и трехсвечие, которыми архиерей благословляет молящихся.

<sup>13</sup> *Кусевицкий Сергей Александрович* (1874–1951) — дирижер, основатель Московского симфонического оркестра, один из первых исполнителей произведений А. Н. Скрябина.

<sup>14</sup> Ошибка мемуариста. Имеется в виду портрет работы художника Д. Г. Левицкого «Мальчик в маскарадном костюме» (1789).

<sup>15</sup> Художник Александр Осипович *Орловский* (1777–1832) известен своими рисунками, изображающими всадников и скачущие тройки; П. А. *Вяземский* написал стихотворение «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»).

<sup>16</sup> *Булгаков Сергей Николаевич* (1871–1944) — философ, экономист, богослов; с 1918 — священник. Его письма к С. Н. Дурылину см.: Вопросы философии. 1990. № 3. С. 156–164.

<sup>17</sup> *Кожевников Владимир Александрович* (1852–1917) — историк культуры, публицист, последователь философа Н. Ф. Федорова. Имеется в виду его статья «Плач церквей московских».

<sup>18</sup> *Трубецкой Евгений Николаевич* (1863–1920) — философ, богослов и правовед, деятельный участник Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева и издательства «Путь», в которых сотрудничал и С. Н. Дурылин.

<sup>19</sup> Цитируется стихотворение Ф. Н. Глинки «Москва».

<sup>20</sup> Письмо А. П. Чехова к В. К. Харкеевич от 20 мая 1899 г.

<sup>21</sup> Упоминается стихотворение Вяч. И. Иванова «Духов день» из цикла «Северное солнце». Первая строфа звучит следующим образом:

Как улей медных пчел,  
Звучат колокола:  
То Духов день, день огневой,  
Восходит над Москвой.

<sup>22</sup> Из «Оды на смерть кн. Мещерского» Г. Р. Державина.

<sup>23</sup> Священномученик Ермоген (Гермоген), Патриарх Московский и Всея Руси в 1606–1612 гг., за отказ сотрудничать с польскими интервентами был заключен в Чудов монастырь и умерщвлен голодной смертью. Канонизирован в 1914 г.

<sup>24</sup> *Артем* (Артемьев Александр Родионович) (1842–1914) — актер Московского Художественного театра; был преподавателем словесности в 4-й гимназии, где учился Дурылин.

<sup>25</sup> *Пастернак Александр Леонидович* (1893–1982) — архитектор, брат поэта Б. Л. Пастернака, автор книги «Воспоминания», в которой много писал об облике Москвы времен своего детства и юности.

<sup>26</sup> Имеется в виду стихотворение Б. Л. Пастернака «Об Иване Великом».

<sup>27</sup> *Сытин Иван Дмитриевич* (1851–1934) — издатель и книготорговец, автор воспоминаний «Жизнь для книги».

<sup>28</sup> Надпись на колокольне не упоминает Самозванца, она гласит: «Изволением Святыя Троицы, повелением Великого Государя, Царя и Великого Князя Бориса Феодоровича, Всея Руси самодержца и сына его благоверного Великого Государя Царевича и Великого Князя Феодора Борисовича всея Руси храм совершен и позлащен во второе лето Государства их 108 года».

<sup>29</sup> В начале 1922 г. при негласной поддержке советской власти зародилось и организационно оформилось так называемое «обновленческое» движение в православной среде. Обновленцы потребовали удаления от управления Церковью Патриарха Тихона, реформы богослужения и ряда церковных канонов (женатый епископат, второбрачие духовенства) и, главное, тесного сотрудничества с атеистической властью. Сретенский монастырь был захвачен обновленцами и в нем служил обновленческий епископ Антонин (Грановский).

## «ЕСЛИ ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ СЧАСТЬЕ — ЭТО ЛЮБИТЬ ВАС...»

(Письма М. Ф. Ларионова А. С. Хохловой.  
1915 — 1925 гг.)

Публикация И. П. Сиротинской

Александра Сергеевна Хохлова (1897 — 1985) — актриса немого кино, преподаватель ВГИКа, жена и сподвижник кинорежиссера Льва Владимировича Кулешова. (Помните знаменитый «эффект Кулешова» — монтаж кадров с изображением Ивана Мозжухина и различных предметов?) Она снималась в фильмах Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «По закону», «Великий утешитель» и др. Сама поставила фильмы «Дело с застешками», «Саша», «Игрушки».

Но как мало дают эти анкетные данные, чтобы воссоздать облик пленительной женщины, умного, тонкого, самобытного человека...

Я пришла к ним в 1968 году. Мы чинно сидели у круглого стола на огромном полосатом диване и сдержанно беседовали. Александра Сергеевна сидела между мной и Львом Владимировичем, касаясь то его, то меня своим веселым взглядом.

Вдруг что-то ей понадобилось в соседней комнате, и она легко нырнула под стол и выскользнула с другого его конца. Хозяин дома укоризненно пророкотал: «Шура...» А она, озорно блеснув глазами, побежала по своим делам. Кулешов, вздохнув, сказал: «Александра Сергеевна внучка Третьяковской галереи и Боткинской больницы». (Внучка Павла Михайловича Третьякова и Сергея Петровича Боткина.) Такую блестящую родословную, естественно, только украшала веселая артистичность Александры Сергеевны, которая, собственно говоря, была всего лишь самой естественной манерой ее поведения.

Мы разбирали их общий огромный и интереснейший архив сначала с Львом Владимировичем — в 1968 году. В 1970 году он умер. И мы продолжили это дело с 1971 года — с Александрой Сергеевной.

Подружились. Если не встречались два-три дня — перезванивались. О чем только не говорили! Конечно, интереснейшей темой были ее воспоминания — о детстве, юности, работе в кино.

О, кто только не был другом семьи Третьяковых — Боткиных и Кулешова — Хохловой! Александр Бенуа и Валентин Серов, Федор Шаляпин и Константин Станиславский, Лиля Брик и Сергей Эйзенштейн, Владимир Маяковский и Галина Уланова... Обилие извест-



ных имен просто сокрушало. «Александра Сергеевна, — умоляла я, — скажите прямо, с кем из великих вы не были знакомы. Это будет короче».

Впрочем, с такой же пристальностью внимания и уважения Александра Сергеевна говорила и о своей няне, и о портнихе, и о знакомой деревенской старухе, о шофере и столяре.

Со всеми — от могущественного Секретаря Союза кинематографистов Льва Кулиджанова до домработницы она обращалась одинаково: всегда оставаясь самой собой. Но, пожалуй, домработницу ценила немного больше.

Главным словом в ее лексиконе было слово «работа». Полная и безоглядная отдача себя — работе: кинематографу, преподаванию во ВГИКе, бесконечному пестованию молодых талантов, писанию мемуаров...

Помню ее слова, которые она произнесла, узнав о смерти близкого человека — Василия Шукшина: «Как жаль, что он не поставил и не сыграл Разина! Что смерть! — но он не успел сделать главного дела своей жизни, главного, что он хотел сделать».

Александра Сергеевна была мужественным и сильным человеком. Никогда я не слышала от нее ни одного слова жалобы, даже когда она болела, слепла...

Как-то сказала: «О-би-де-лась... Что такое обидеться? Надо понять другого человека. Обидеться — чепуха».

И лишь в самые последние годы однажды сказала без обычной веселости: «Меня никто никогда не жалел. Мне этого было не надо. А теперь — надо, но все равно меня никто не жалеет».

И правда, жалости она не внушала — всегда деятельная, живая, бодрая.

На юбилее П. М. Третьякова в Третьяковской галерее в 1982 году я спросила ее: «Как живете, что делаете, Александра Сергеевна?» И услышала знакомый ответ: «Работаю».

А в 1971 — 1972 году мы еженедельно вместе разбирали архив. Нам помогала ее внучка Катя Хохлова и даже пудель Точка. Я составляла опись, систематизировала документы, а остальные извлекали их с антресолей, из шкафов и прочих труднодоступных мест. Точка, охваченная общим азартом, тоже принесла мне какую-то бумажку в зубах и вручила, радостно виляя хвостом. А. С. все комментировала непринужденно и весело. И вдруг над «пожелтевшей связкой старых писем» ахнула:

— Сохранились! Поразительно! Ах, как был влюблен, как влюблен...

— Кто, Александра Сергеевна?

— Ларионов.

Да, это были письма Михаила Ларионова, с рисунками, сказками, стихами, удивительно сохранившие юный облик Александры Сергеевны... (Михаил Федорович Ларионов (1881 — 1964), известный живописец. С 1915 года жил за рубежом, оформлял спектакли «Русских балетов Дягилева», писал пейзажи в духе импрессиониз-

ма и фовизма, примитивистские композиции. Создал так называемый «лучизм», близкий абстрактному искусству.) Ее «тонкая, дрожащая тень» неуловимо витает над этими листками, над строками, написанными с такой страстной и нежной любовью.

Они познакомились в апреле 1915 года, когда Ларионов вернулся с фронта. Потом Александра Сергеевна уехала в Петербург, летом 1915 года вернулась на подмосковную дачу родителей в Болшеве, затем Ларионов уехал в Швейцарию, в Париж «на три месяца», но, как оказалось, навсегда.

«Русские балеты Дягилева», революции и войны разлучили влюбленных.

Хохлова и Кулешов побывали в Париже в 1962 году, в разгар поздней славы Кулешова, когда в Синематеке проходила неделя его фильмов. Ларионов был еще жив. Но Александра Сергеевна сказала: «Я решила с ним не встречаться. Все было так давно и иначе».

Да, это была *другая жизнь*.

Которая живет лишь в воспоминаниях.

. . .

В настоящей публикации представлен основной массив писем М. Ларионова. Письма, не имеющие дат, датированы в квадратных скобках по почтовому штемпелю. Указание адреса А. С. Хохловой на конверте или открытке воспроизводится, если он изменился относительно предыдущих писем.

1

[Москва, 28 апреля 1915]

Ее высокоородию  
Алекса́ндре Серге́евне Хохловой  
Потемкинская, 9  
Петроград

*Среда*

Дорогая Александра Сергеевна!

Сегодня первый день, что я Вас не вижу — как-то странно даже. Я как будто не чувствую остро Вашего отсутствия. Наверное, это гораздо хуже, чем если бы я чувствовал все это очень остро — нет, совершенно ничего не знаю. Ваше письмо было приятно получить, хотя и с печальным известием. На одном из домов на Садовой осталась Ваша дрожащая тонкая тень. Вы не верите?! Мне кажется, что Вы в Москве — только не знаешь, где Вас в данное время можно найти и куда позвонить по телефону. Хотя, быть может, все это только

кажется — даже я думаю, это наверное так. — У нас гости, и я пишу не сразу, приходится подниматься наверх. Расскажешь несколько вещей — совсем невпопад, и думают, что я выдумываю, и серьезно слушают. — Как все глупо и вместе с тем поразительно хорошо на свете выдуманно — мне кажется, что хорошо бы было все по-своему переделать. — И все-таки думаешь, что так, пожалуй, как есть, гораздо лучше. Вот все-таки мне остались перчатки и фотография и пустая, до невозможности безразличная Москва (не забудьте, в первый раз — безразличная) — не случись Вашего отъезда, я бы всего этого не знал. Позвольте поцеловать Вашу тонкую ручку.

Ваш М. Ларионов

2

*[Москва, 30 апреля 1915]*

Дорогая моя, милая Александра Сергеевна!

Смотрю я, прикованный, неизвестно почему, к тонкой солнечной полосе — на белом подоконнике, и в душе моей проходят непонятные волнения и переживания непередаваемые. — Этот аромат человеческих чувств волнует меня и туманит мысль.

Я думаю: Господи Великий! Если есть на земле счастье — это любить Вас.

Господи Всемогущий! Если есть на земле радость — это видеть Вас.

Господи Всесильный! Если есть на земле горе — это расстаться с Вами.

Господи Милостивый! Если есть на земле несчастье — это лишиться навсегда Вас.

И все-таки я чувствую полный покой. Меня не беспокоит, что Вы далеко. Я спокойно смотрю на светлое голубое небо — и вижу только его прекрасную голубизну, его очаровательную свежесть и спокойствие. Я не спрашиваю у него, такое ли оно над Вашей головой, и не сравниваю его ни с чем. Мне вполне достаточно его бесконечной глубины и его великолепного голубого цвета — от которого мои глаза, наверное, тоже стали голубыми. Я смотрю на твердую, блестящую землю — одетую асфальтом и булыжником, и этот блеск радует мои чувства, спокойно укладывается в моем сердце, и самое сердце мое, наверное, полированная шкатулка японского лаку. Мягкий ветер, сдувающий пыль с карнизов до-

мов и легким туманом угоняющий ее в конец переулка, — освежает мне лицо и грудь. Я у него не спрашиваю больше — обвил ли он Ваши тонкие руки и шею, и почему от него не пахнет лавандой и вербеной — я доволен его пыльным запахом асфальта и вялой сирени.

Господь знает, почему я так спокоен.  
Целую Вашу руку. Ваш М. Ларионов

### 3

*[Москва]. Четверг, 30 апреля [1915]*

Милая Александра Сергеевна!

Сегодня светит солнце и небо темно-синее. Мы могли бы пойти с Вами к Василию Блаженному кормить голубей. От церкви через всю площадь падает тень до самых рядов, где Вы смотрели жемчуг... Ветер сметает с камней пыль и по небу гонит жемчужные облака, пролетающие одно за другим стаей птиц мимо граненых куполов...

Я думаю, что эти облака долетят до Петербурга, но уже не отдельными жемчужинами, а рядом ожерелий, которые унижут шею Александровской колонны, повиснут на шпиле Адмиралтейства и будут дрожать серым блеском над гладкой, как кусок небеленого холста, Невой...

Если это так — неужели Вам не жаль густого, как эмаль, московского неба и резких, точно нацарапанных, сучьев весенних деревьев, блестящих медной проволокой под ярким солнцем — покрывающих мраморной сетью голубой фон?.. Не жаль деревенской простоты и специфически московского стремления к нелепой новизне ощущений, очаровывающих, главным образом, своей непосредственностью?..

Ведь всего этого нет в чиновном «Петрограде». В Москве можно тосковать, не испытывая неудовольствия, а в Петербурге сама радость печальна... Прошу, пожалуйста, не сердитесь, я знаю, что Вы любите Петербург и, главным образом, имею в виду себя самого. Возможно, если бы я сейчас очутился там, моя радость была бы печальной? — Что должно значить то, что я сейчас написал, я сам не знаю — просто личная антипатия к Петербургу. Во всяком случае, извиняюсь, что пишу такие вещи, которых сам не понимаю.

Посылаю Вам все свои лучшие чувства. Позвольте поцеловать ручку — до следующего письма.

Ваш М. Ларионов

[Москва, 3 мая 1915]

Е[е] В[ысоко]б[лагородию]  
 Александре Сергеевне Хохловой (Боткиной)  
 Потемкинская, 9  
 Петроград

Воскресенье

Очень был рад, милая Александра Сергеевна, получивши Ваше письмо. Я уже начал думать, не надоел ли я Вам чрезмерно — литературой, живописью и музыкой. Только старыми и раскольничьими. Я уже Вам писал, что С. П. Дягилев<sup>1</sup> хочет, чтобы мы поехали к нему северным путем. — Если Алек[сандра] Николаевича<sup>2</sup> в Питере больше оценили, то это скорей хорошо. — Он ведь работал, и ему желательно было, чтобы его кто-нибудь оценил. Конечно, можно не соглашаться со всем тем, что он делает, но это другое дело. — Мне бы очень хотелось Вас увидеть. Может быть, это и случится. Петербурга я, конечно, не люблю (я этого никогда не скрывал), но мне кажется, в своих письмах я его и не ругал. Может быть, так вышло, но, право, это случайно. У меня что-то на душе очень скверно. — Это у меня иногда, правда редко, но бывает. Ваше письмо пришло вовремя, но, к сожалению, я всегда неизменно остаюсь при самых радостных и печальных впечатлениях и том состоянии, в каком меня они застают. В данном случае, мне еще стало печальней. Для меня очевиднее стало, что Вас здесь нет.

Целую Вашу руку. Ваш М. Ларионов.

Если можно, напишите поскорее что-нибудь.

[Москва, май 1915]

Воскресенье, 4

А у меня много чернил всяких  
 цветов — так же, как душу мою  
 волнуют много чувств сразу.

Весь стол залит яркими, больно блистающими лучами весеннего солнца. Цветы белой яблони, пахнущие горьким миндалем, тянутся по обоям стены белыми звездами, а внизу

весь стол белый от нежных лепестков. — В раскрытое окно теплым ветром сдуло все звезды и голые ветки вплелись в орнамент обоев. — Лепестки сдуло со стола на пол... Ах, это мои воспоминания, которые уносит теплый весенний ветер, и голые ветки отцветшей души стараются вплестись в орнамент окружающей жизни.

У Вас солдаты маршируют по улицам, а у меня в сердце. У Вас они прячутся в доме и делают [наступления?], у меня они идут длинными колоннами, как телеграфная проволока — без конца идут — доходят до Франции, до Парижа, под ноги им бросают цветы... Ах, как это невыносимо глупо... но их песни у меня звучат в ушах — даже не в ушах, а где-то вообще, но звучат всегда, и я знаю каждую мельчайшую частицу их обихода. Мне очень приятно, что Вы обратили на них внимание.

### *Понедельник, 5-го*

Нарциссы с желтой серединой, похожие на белых пауков, и Ваша карточка в кровати с согнутой ногой, где Вы сидите точно за столом. — Весенний серый день дрожит в окне и плачет. Тонкие струйки сбегают по стеклу, оставляя светлый след. — В тонких сетях весеннего дождя застряли все дома и проходящие люди. И, как сейчас, я помню Вас, когда Вы уезжали. У Вас развились волосы и лентами соломенно-светлыми упали вдоль щек. — В Вашем купе на столике также лежал букет, в котором между розами было несколько нарциссов, и они казались точно вырезанными из бумаги.

### *Понедел[ьник]. Светлый вечер*

Моя тоска почему-то совсем прошла, и я рад дышать свежим воздухом — боюсь, что всеми своими писаниями Вам наскучил и утомил Вас. Я совсем не умею писать писем. Это нехорошо и скучно — я это прекрасно понимаю, но Вы это письмо можете разорвать на кусочки, писанные разными чернилами и читать в отдельности и не все сразу. — Нет, я окончательно поглупел — ведь всякий читает письмо с начала, а все, что я сейчас пишу, это в конце, и Вы все раньше уже прочли. — Но здесь, пожалуй, нет определенного начала, очень может быть, что Вы начнете читать как раз отсюда... Еще извиняюсь за свой неряшливый и беспорядочный почерк — я с этим совсем уж ничего не могу сделать — Вы не дошли до кинематографа — а мне сегодня нужно идти к Таирову и Коонен<sup>3</sup>, на улице так хорошо, что я не знаю, дойду ли. От города я за весь год утомился вообще, главным

образом, от всяких постановок, театров, сцен и друг[их] вещей. Я Вам писал, кажется, одно время выходило так, что мне приходилось ехать в Петербург — там Фокин<sup>4</sup> хотел ставить некоторые вещи, но теперь у него расстроилось. — Хотя это и канительно, но в Петербург я теперь поехал бы. Был на Сухаревке, собираю теперь старые крюковые песнопения старообрядцев — это очень интересно — но только Вы об этом, пожалуйста, никому не говорите — я хочу их подарить Стравинскому<sup>5</sup> — и чтобы это было сюрпризом — Дягилев все шлет телеграммы. Не знаю, какой толк из этого выйдет, так как денег пока не прислал. Господи, Александра Сергеевна, какие я Вам всё хозяйственные вещи рассказываю. Прошу прощения. Целую ручку, до свидания.

Ваш М. Ларионов

6

*[Москва, 6 мая 1915]*

Милая Александра Сергеевна,  
только что собрался запечатать и заканчивал последними буквами наклейку письма к Вам, которые Вы найдете на следующей странице, как позвонился почтальон и подал Ваше письмо. — Я сейчас же распечатал его, и первое, что мне бросилось в глаза, это желтые лепестки. — Эти желтые лепестки не «несчастные», а гораздо хуже. Как это вышло, я не знаю, но мне прежде всего пришло в голову, что это ужасно нехороший знак. Я вспомнил (Господи! чего только я не знаю) ужасно глупую вещь... Позвольте Вас спросить, знаете ли Вы о существовании такой нелепой вещи, как язык цветов (выдуманный, безусловно, старыми девами), но все же он меня беспокоит. — На этом глупом языке желтый цвет означает измену. Я пишу ужасно глупые вещи, но эти цветы на меня ужасно скверно подействовали, и Вы меня простите, я посылаю Вам их обратно. — Если можно и будет желание, пришлите какие-нибудь другие. Очень жаль, что Вы простудились, но, пожалуй, это хорошо. Вы не будете ходить на Васильевский остров в те места, которые Вам не нравятся. Моя «вещь» была наклеена и послана Вам для того, чтобы напомнить, что я еще существую в Москве — а является оно соединением всех впечатлений, связанных с Вами во время Вашего пребывания в Москве. — То письмо, которое в середине здесь — это между писанными

страницами, я Вам все же отправлю, хотя Ваше второе письмо и получил. Трояновскую видел, а Наташу Сапожникову — нет<sup>6</sup>. Относительно моих настроений, могу сказать, что их так много сразу, потому что я их помню, по крайней мере, ближайšie, и могу одно за другим рассказать. Если Вам это не нравится, я больше не стану о них писать. Вопрос Ваш я не совсем понимаю, относительно сущности и настроения. Конечно, сущность одна и та же, но настроения разные. Вы спрашиваете, из чего создается настроение — конечно, из окружающих предметов, но предметы рассматриваются в зависимости от духовной сущности самого рассматривающего. О моей духовной сущности в настоящее время не спрашивайте — Вы можете легко понять, почему. — Пока я еще не решил, куда я еду, и не совсем ясно все на этот счет представляю себе — когда все выясню, тогда напишу. — Очень приятно было бы увидеть Вас.

Усердно собираю сейчас старые книги, русские, духовного содержания, и персидскую поэзию в русском переводе — кое-что собрал. Приходится иногда наталкиваться на такие экземпляры, что, кажется, все бы отдал, но даже всего не хватает. — Очень дорого стоят, 300 руб., 500 и 2700 и т. д. Очень жаль, что я, не имея денег, имею вкус и любовь к хорошим вещам — в конце концов, я эти вещи достану себе — не сейчас, но немного погодя. — Да... к тому времени еще новые подспеют и еще дороже будут — вот это досадно. Целую Ваши тонкие руки и надеюсь, что, если Вы еще немного похвораете, то напишете мне скоро.

Ваш М. Ларионов

7

[Москва, 9 мая 1915]

Милая Александра Сергеевна!

Я очень извиняюсь за злые письма. Не сердитесь на меня, пожалуйста, но я очень был огорчен почему-то, и желтые цветы меня расстроили вообще. Поедем мы все-таки за границу через Петербург. Посылаю Вам два живописных контраста — один на блестящей поверхности эмали, а другой на бумаге акварелью. — Это как объяснение контрастов, характера человека вообще. Целую руку.

М. Л.



[Москва, май 1915]

Еще не остыла теплота Ваших губ — мягких, как солнечный свет. И вкус слюны Вашей во рту моем остался. А в памяти запах лаванды и пармской фиалки от Ваших волос. Ощущение легкой ткани и гибких движений. Тонкая дрожащая струна.

(Персидский поэт XVI века)

Дорогая Красавица!

Ведь это так просто — так просто делать человеку то, что он хочет и может, и все-таки — человек делает то, что ему предлагает жизнь — говорю к тому, что вчера получил письмо из Звенигорода. — Там для меня приготовили дачу и все, что нужно, — большой сад, хорошие места. И вся эта «невыясненная» проклятая заграница. Сию минуту, не успел я еще Вашего письма дописать, пришла телеграмма из Смоленск[ой] губернии, и там тоже нашли хорошее сухое место. — Мне очень надоел город. Но уезжать именно сейчас очень не хочется. Люблю я всякое дело и всякое движение, но... если бы Вы знали, как это сейчас неприятно оставить Россию, хотя бы ненадолго. —

Все-таки, так или иначе, я все укладываю, так как в городе быть больше не могу. Я себя чувствую самым счастливым и, в то же время, самым несчастным человеком. — Догадайтесь, пожалуйста, сами, почему. За границей меня будут беспокоить другие чувства: что происходит здесь без меня. Вообще, тысячи беспокойств. А пока ожидаю с нетерпением понедельника. Целую Ваши прекрасные руки, будьте здоровы и не забудьте меня совсем, хоть пока я здесь.

Ваш Мих. Ларионов

Е[ë] В[ысокоблагородию]  
Александре Сергеевне  
Хохловой.  
Фабрика Сапожникова,  
дача Боткиных,

почтовое отделение  
Болшево  
Московской губернии

*[Москва, май 1915]*

Милая Александра Сергеевна!

Совсем не хочется ехать за границу сейчас, а нужно. После 13-го мне не пишите, так как меня в Москве не будет. В Москве манифестации по поводу объявления Италией войны. Я еду в Париж.

Целую Вашу руку. Ваш *М. Ларионов*

10

Е[ë] В[ысоко]б[лагородию]

Александр Сергеевне

Хохловой.

Смоленский бульвар, д. № 22, кв. 1.

Боткиных

Москва

*Петроград, 22 июня 1915*

Трудно сказать,  
какие места можно,  
а какие нельзя целовать.

---

Я ушел от любимого друга  
и расстался с ним, быть может,  
надолго. — Но в тот день я не мыл  
своих рук — потому что на них  
следы прикосновений к другу  
моему — и мой друг в моем  
представлении и сейчас со мной.

---

Откуда это? Быть может,  
из меня самого.

Опять я на Мойке, и в окно номера моего виден купол Исаакия. О, прекрасный Петербург! Как мне больно тебя видеть на этот раз. — Милая, дорогая Александра Сергеевна, не знаю, поймете ли Вы, как мне тяжело снова попасть

сюда. — Я Вас вижу днем наяву в каждом месте — я чувствую Ваше присутствие в этом городе — и все-таки, сознание, что Вас нет, причиняет мне большое страдание. — Я очень рад, пожалуй, что в Камерном не случилось того, что я так желал, но если бы и случилось, то все было бы так же — и, может быть, если это еще возможно, было бы еще тяжелей. — Теперь этот город мне кажется пустым, как когда-то, после Вашего отъезда, казалась Москва. — Желание видеть Вас теперь еще сильнее, чем тогда, когда Вы были ближе. — Как хочется, чтобы все шло скорее и скорее, и опять Вас увидеть. — Насколько Вы изумительно прекрасны были во все время нашего знакомства — я только теперь понял — и как мне до отчаяния жалко, что я сам Вам не могу этого сказать.

В Петербурге голубое небо и яркое солнце, здесь жарко — мы идем вечером к Екатерине Александровне<sup>7</sup> — и там опять Вы будете стоять в каждом углу, будете рассматривать каждую вещь со мной и сидеть за столом. — Как это безвыходно тоскливо... тоскливо... Здесь в кресле в другом конце комнаты сидит Таиров, он тоже поехал до Петербурга со мной.

Я хотел бы Вам без конца писать и не вставать из-за столика, и так и не уехать завтра в 8 часов утра отсюда — но — но Таиров меня беспокоит, я ему зачем-то нужен.

До свидания, дорогая моя. Целую Ваши прекрасные руки и прошу — не забудьте, что и мне было бы приятно получить от Вас хоть несколько слов, хоть через месяц, когда я Вам пришлю адрес или Вы его узнаете по телефону 244—13.

Будьте здоровы, позвольте еще раз поцеловать Ваши руки и еще раз не забудьте меня.

Ваш М. Ларионов

## 11

*[Лозанна, 25 июля 1915]*

Дорогая Александра Сергеевна!

До чего скучна, однообразна Швейцария: пожалуй, другое такое же скучное место трудно найти. Есть на свете скучные места, есть скучные люди. Сам я не склонен скучать где бы то ни было — люди, с которыми я встречаюсь, тоже не скучные. Всякие новые постановки занимательны — и если бы были все те люди, которых я желал бы сейчас видеть, всё было бы очень весело. Сегодня как раз дует ветер,

который здесь дует очень часто. Озеро совершенно бирюзового цвета. Отель у меня тихий — в Лозанне, и вообще во всей Швейцарии народу весьма мало. После долгого воздержания на днях танцевала Дункан<sup>8</sup>. Придется мне *здесь пробыть всего 3 месяца. В ноябре буду в Москве.* Не знаю, все ли Вы получили, что я Вам писал. Приходится почти все время проводить или у Дягилева, или в театре, где ставится новый балет Мясина<sup>9</sup> — Мясин очаровательное существо и весьма талантлив как балетмейстер. Он, главным образом, работает с Гончаровой<sup>10</sup> и Стравинским. Я же работаю с Нижинским<sup>11</sup>, все это очень интересно, но очень утомительно. Сюда получают наши газеты с черными помарками цензуры. Живу я в бывшем и закрывшемся, по случаю войны, пансионе для девиц не старше 16-ти лет. Их было здесь несколько десятков разных национальностей. У меня балкон, выходящий на озеро, перед которым большой сад. У Дягилева громадная вилла, шикарная, старой ренессансной постройки, с фермой, огородом, большим садом и со всякими остальными прелестями, также на самом берегу озера. Мы живем близко один от другого, чтобы легче сообщаться. Половина его труппы уже здесь, остальная приедет на этих двух неделях. Несколько спектаклей будет здесь дано в Лозанне и в Женеве, затем они едут в Америку. А я поеду в Москву — очень было бы приятно, чтобы в Москве за это время не произошло особенных перемен — во всяком случае, я на это очень надеюсь.

Желаю Вам всего хорошего, целую ручку.

Ваш М. Ларионов

Извините за карандаш, пишу на берегу озера.

12

*[Лозанна, 4 августа 1915]*

Это тот пансион, в котором я живу, т. е. жил всего день назад. Пансион, в котором раньше жили и воспитывались молодые девицы разных национальностей и, благодаря войне, все до одной разъехались. Крестиком обозначена моя спальня и «чистая» комната наверху и мастерская внизу. А с другой стороны здания такое точно помещение у Гончаровой.

А это тот вид, который открывается из моих окон. Надо сознаться, что не особенно веселый — но типично швейцарс-

кий — в самом плохом смысле этого слова. Но зато всех этих беленьких гуляющих девушек здесь больше нет, и хороший сад. — Вилла старая и недалеко от «палаццо» Дягилева, но вот вчера мы нашли еще ближе, у решетки его сада, и взяли новую виллу. И, так как приходится быть все время у него, и только спать и завтракать у себя, то новое помещение еще удобнее. Вилла совсем новая, в ней до нас не жили. — Сад еще больше — и с дягилевским садиком — получается огромное пространство, которое действительно можно назвать *Campanne* (дягилевский сад больше версты длиной по берегу озера, и в глубину столько же). Наша вилла примыкает к забору его сада.

Новый адрес, значит, как и раньше: *Lausanne. Onchy* вилла *La Printaniere*. На днях был национальный праздник — может быть, бывает и еще скучнее, но я не видал. Вечером была скудная иллюминация. Чтобы лучше ее посмотреть, мы взяли паровой катер и поехали по направлению к *Monteux*. Дальше Вы увидите вид *Monteux*, который Вы знаете, конечно, но сознайтесь — это трогательно — соответствующие случаю виды. В середине путешествия поднялась гроза, пошел дождь. Дягилев залез под скамейку. Вообще, было трагично и здесь даже весело — мотор был пущен со всеми силами, какие в нем только были. Мы смеялись, Дягилев был мрачен. Самое нелепое было то, что, когда мы через полчаса вернулись назад, то все озеро было совершенно спокойно. Конечно, над нами не летали аэропланы и была ночь (как жаль, что нет ночной открытки!). На таком маленьком пространстве много нельзя написать. Я Вам пришлю вслед письмо — и с тех мест, с которых не существует открыток, сделаю рисунок.

Всего хорошего. До свидания. Звонят к завтраку.

Целую Вашу руку. *М. Ларионов*

### 13

Е[ë] В[ысоко]б[лагородию]  
Александре Сергеевне  
Хохловой.  
Знаменка, Ваганьковский  
пер., д. № 3, кв. 4.  
Москва

Милая Александра Сергеевна!

Вы пишете, что получили мои открытки, а разве письма закрытые не получили? Открытки были написаны позднее. Конечно, я живу, как мне кажется, не так неудобно, как это было в момент объявления войны с теми русскими — с теми несчастными, застрявшими за границей помимо своей воли — какими были и Вы с Тасей<sup>12</sup>, когда приезжали искать Ваших знакомых в Опшу. Вася Нижинский на днях должен приехать — я как раз с ним вместе должен ставить «Шута»<sup>13</sup>. Случилось так, что вместо заказанных по телеграмме двух балетов, одного мне и другого Гончаровой, здесь, на месте, добавили еще по-одному. Один я ставлю с Мясиным, над которым сейчас работаю, а другой с Нижинским. Гончарова ставит «Литургию» и «Свадебку»<sup>14</sup> — оба балета Мясиной постановки. Из Мясина вышел прекрасный балетмейстер, несмотря на его молодость. Писать придется здесь только один балет, который и пойдет в Швейцарии<sup>15</sup>. Три же остальных придется закончить в эскизах и до конца обдумать, так как они для следующего, или даже 17-го года.

В Америку поедут со старым репертуаром в январе месяце. Все время здесь жить не придется. Собираемся или в Испанию, или в Италию — все-таки потеплее — а, главное, не так скучно, как здесь. Сейчас здесь начинается осень и у меня болит душа. Как-то несколько дней подряд шли дожди — тонкие струйки непрерывно резали серое небо. Город не было видно, и озеро глухо шумело. Я очень вспоминаю Москву, и хотелось бы туда скорее попасть. Что теперь делается в Камерном театре, какие у них новые вещи, а, может быть, он в этом сезоне не играет? Что делаете Вы? Я думаю, когда это письмо придет, Вы будете уже жить в городе. Одна Ваша открытка мне очень напомнила Новодевичий монастырь, его окрестности. На самом же деле это даже с другой губернии, кажется, Владимирской. Теперь здесь как раз Бакст — он очень облез и как-то постарел — у него не только лысина, но даже и усы вылезли<sup>16</sup>. Он получил из Финляндии фотографии от Любови Павловны<sup>17</sup> — ее и сына. Показывал и говорил, что у него сын удивительный художник — правда, какой художник, неизвестно, но на карточке очень милый мальчуган. Дягилев потолстел, поседел, но так же очень мил. Хотя мы живем отдельно, но наши виллы бок о бок, и обедаем, и весь день мы проводим, вот уже

скоро два месяца вместе. Всякий народ, итальянский, швейцарский и американский меняется ежедневно, с изумительным, поистине, разнообразием, начиная от всяких певцов, танцоров, техников театральных и кончая всякими капельмейстерами, композиторами, антрепренерами и капиталистами. Приезжают разные хозяйские друзья, вроде художника Серта<sup>18</sup> (испанец), не знаю, Вы знаете ли его — Мися Эдвардс<sup>19</sup> и т. д. и т. д. Самыми забавными оказались американские рецензенты — это прямо черт знает что. Здесь уже вся труппа и идут репетиции в здешнем театре при Народном доме. Аргутинского<sup>20</sup> я не видал, но Дягилев говорил как-то, что он должен на днях приехать сюда. В Париже я его тоже не видел. На меня нынешний вид Парижа произвел впечатление скорее приятное, и вовсе он не так мертв, как рассказывают — в нем просто нет иностранцев — и это лучше. Вообще, должен сознаться, все путешествие через Швецию, Англию и дальше, если бы я не так любил Москву и [не] скучал по ней, скорее приятное и даже удобное, и все, что рассказывали об этом, как-то странно с действительностью не сходится.

Теперь каждое утро хожу гулять по озеру, так как наступили хорошие, светлые дни. Это гуляние, правда, очень скучное, но все же лучше, чем сидеть дома, когда не работаешь — смотришь на чаек, перебирающих своими тонкими перепончатыми лапками по камням набережной или кучками плавающих по озеру, на толстых лебедей, чистящих перья и лениво выгибающих свои длинные, блестящие шеи. Проходят купальщики и купальщицы (а мне, несчастному, купаться нельзя, для меня это самое большое огорчение, скажу по секрету, что все же один раз выкупался с Мясиним, и пока ничего). Сейчас иду на репетицию и опущу Вам письмо (это уже Ваш стиль). Я очень желал бы с Вами говорить, а не писать. Целую Ваши руки, не забывайте меня совсем и напишите, что делается в Москве. — Какие театры, выставки и все прочее.

Всего хорошего.

Ваш М. Ларионов

14

*[Лозанна, 10 октября 1915]*

Дорогая Александра Сергеевна!

В Onchu осень — очень тоскливо, так хочется в Россию, как никогда, а дягилевские балеты растут и растут — теперь

уже мы работаем 5 балетов. Часть для Америки — другие на следующие сезоны. Сейчас я вернулся с прогулки, одинокой прогулки — расстроенный осенними ощущениями. Подберите 14 открыток по номерам — и перед Вами предстанет моя прогулка — я думал о Вас и мне хотелось, чтобы Вы, если Вам это не покажется слишком скучным — прошлись со мной. На открытке № 1 представлена набережная Opncy с голыми деревьями на фоне светлого озера, на другой стороне которого водуазские Альпы. Моя прогулка (каждодневная) до самого видимого на открытке конца набережной. Там, где она по фотографическому озеру подходит почти к горам.

Я иду по набережной, проходя мимо каменных полукругов (как на № 2), с которых люди кормят хлебом чаек и белых лебедей. Подхожу к краю круга и смотрю вниз. Только у этих полукругов разрешается удить швейцарским жителям рыбу. Удильщика нет ни одного внизу — зато целая семья лебедей — большие белые, а маленькие серые.

Маленькие сбились в кучу и ловят бросаемый хлеб, большие только смотрят на это занятие. Проплывает яхта — так как поднимается ветер, и уходит в озеро. Я слежу за ней глазами, пока мне для этого не надо сильно оборачиваться, и теряю ее из вида.

Конец набережной. Дорога поворачивает в Лозанну — жидкие осенние деревья с редкими рыжими листьями дрожат в прохладном воздухе — я около минуты стою на повороте и не решаюсь: вернуться назад или пойти в город. Медленно перехожу на ту сторону, где отели, и иду назад.

На этом повороте находится башня, нелепо-трогательная, так сказать, «поэтические швейцарские развалины» — длинные ветки деревьев спускаются над ней и усиливают «поэтичность». Но что же делать, приходится и такие скучные башни обходить, раз они попадают на пути — живешь в Швейцарии.

Надо было послушаться некоторых знакомых и не ездить в такие тоскливые места. Ветер поднялся совсем большой и резко дует в лицо. Волны перебрасываются через набережную, несмотря на шум ветра и воды, какая-то непрерываемая тишина стоит кругом. Как-то никого нет точно, а кто и есть — держит себя так, чтобы его как будто не было.

Чайки одиноко сидят на железных перилах и тоскливо пищат. — Ветром их сдувает, они по очереди поднимаются на миг и снова садятся. Находят какие-то тучи, скорее туман,



сыро и холодно, я невольно начинаю идти скорее, чтобы согреться и как раз время пить чай. На последнем полукруте, от которого поворот к моей вилле — я отказываюсь от чаю и решаю пройти в обратную сторону по берегу озера — сидящие тоскливые люди окончательно не позволяют мне вернуться.

Снова к людям, да еще таким знакомым, какими бывают люди у себя дома — а рассчитывать на неожиданных гостей мало надежды. Ветер не дает поставить рыбакам паруса — все-таки здесь есть какая-нибудь жизнь. Я люблю ветер и отправляюсь в St. Sulpice — место за три километра от Лозанны. Дорога очень пустынная, и только попадаются по пути вот такие странные сооружения — как на этой открытке. Солнце начинает выходить из-за тучи, я чувствую себя голодным и усталым. Может быть, и Вы со мной устали немного?

Пока я дошел до St. Sulpice, небо стало ясным, здесь оно быстро становится темным и ясным. Солнце освещало церковь и виллу на берегу, как раз то здание, над которым я поставил крестик — кафе, и здесь, где мне пришла мысль купить открытки и написать Вам, как я гулял и очень вспоминал осеннюю Москву.

И на обратном пути, уже с открытками в кармане, на этом самом повороте (как удобно здесь снят каждый уголок их несчастного озера!), я думал, что при отъезде я себе и представить не мог, как я буду тосковать по милой Москве и как безразлична жизнь в этой идиотской стране.

Вот я снова почти дошел до дому — солнце садится — в блестящей ряби опять уже спокойного озера мелькают темные лебеди, и у меня в душе надежда, что раньше, чем к Рождеству, я все же буду в Москве. Не забывайте меня совсем и что-нибудь мне напишите. Крепко целую Ваши тонкие руки.

*М. Ларионов*

15

*[Лозанна, 10 октября 1915]*

Милая Александра Сергеевна!

Вчера весь вечер писал Вам открытки, которые как раз подобрал по своей прогулке. Тупая, но аккуратная страна, изготовившая фотографии со всех углов и поворотов своего «Lac Léman». Но и из этой тупости человеческое чувство,

если оно есть, может извлечь пользу: не выбрасывайте моей прогулки и, если нетрудно, сберегите эти открытки, я хотел бы по ним, когда приеду в Москву, написать открыточную Швейцарию. Вы мне так давно ничего не писали... и потом... я не знаю, такая ли Вы, как я себе Вас в настоящее время представляю, т. е. Ваш вид — когда долго человека не видишь, то начинаешь видеть... или, вернее, думаешь, что видишь и, быть может, это уже не тот... Видишь совсем, быть может, не те черты — иногда, когда я смотрю на Нижинского, то могу представить себе Вас, но это совсем не то. Я послал Вам фотографии с меня, Гончаровой, Дягилева, Мясина, виллы дягилевской и нашей и т. д., послал такие же Таирову на Камерный театр, так как забыл его адрес. Я ему писал, но что-то от него пока не получил ни одного письма — или они пропали, или просто Камерный театр уже «не работает», а потому он и моих писем (Таиров) не получил. Теперь в Швейцарии новые правила почтовые. Посылать больше одного листа — размером — в тот, на котором я сейчас пишу — нельзя, конверт должен быть без подкладки — это для того, чтобы проще осматривать — говорят, что если этих правил не соблюдать, то письма могут не дойти. Когда Вы получите то, что я пишу, это будет, по крайней мере, через месяц, наверное, у нас будет лежать снег. Здесь, говорят, бывает очень холодно. В Москве тоже будет снег. Я теперь хочу привести все свои дела в такой порядок, чтобы к Рождеству вернуться домой. Мы с Вами пропустили осенний сезон — извиняюсь — я пропустил. Но, быть может, это еще не так плохо или, во всяком случае, поправимо? Я буду опять в Москве как раз в то время, как и в прошлом году, когда вернулся после войны. Так что получится как будто заново — начать год с зимы. Только хорошо бы было, если бы разные границы и пути не были закрыты — теперешнее путешествие — какие-то каторжные работы.

До свидания.

Ваш М. Ларионов

16

[Лозанна, 22 ноября 1915]

Дорогая Александра Сергеевна,

Сию минуту прочел Ваше письмо — я его ждал, как чуда. Оно меня так обрадовало, что, кажется, большей радости у меня еще не было. Вы так долго не писали, что я думал...

Бог знает, что я думал... Я хворал и много все время работаю. Каждый день я думаю о том, как я поеду в Россию, и чем дальше, тем упорнее об этом думаю. Не знаю, что случилось с фотографиями. Я с Вашими послал и другим. Таиров, Трояновский, интересно, получили ли они свои? Известий от них никаких у меня нет. Пошлю Вам еще фотографии, что у меня есть — так как я не всё оставил у себя, что было снято, а некоторые негативы уничтожил.

Пожалуйста, будьте милы, несмотря ни на какие обстоятельства, пишите. Если бы Вы знали, какое для меня большое огорчение не быть сейчас в Москве. Я думаю буквально о Москве каждую минуту с самого дня приезда сюда. Чем дальше, тем жить здесь становится невыносимее. Это какое-то недоразумение с Вашей стороны, меня это очень обрадовало и огорчило в то же время сильно (если только я правильно понял). Вернусь я, вернее всего, около 25 — 29 декабря нашего стиля. Дягилев дает в Париже 18-го декабря большой спектакль в Орега в пользу раненых, под председательством английского короля, президента Пуанкаре и т. д. Будет идти вещь с моими костюмами, декорациями, вообще моя постановка. Придется все время проработать и остаться на спектакль. Так долго приходится здесь пробыть оттого, что вместо одного балета вышло 5, которые надо сделать частью совсем и частью в эскизах. Швейцария настолько скучна, что я теряюсь, можно ли вообще о ней что-либо написать? Одно хорошо: здесь, по-видимому, много теплее, чем в Москве. Снега еще нет — топят неплохо. Скука смертная. У Дягилева полдня, полдня у себя дома, иногда у Стравинского, с которым очень подружились за последнее время. Я пишу его портрет. Он посвятил мне и Гончаровой несколько песен. Война только здесь не так чувствуется, как везде, но чтобы это прибавляло к жизни что-нибудь, сказать нельзя, скорее, убавляет. Очень было бы хорошо, если бы Вы были здесь — когда я прохожу по набережной. Думаю, что в прошлом году Вы ходили по этим же камням — Вы быстро переходили улицу (как всегда), Ваше милое лицо двигалось мимо этих скучных парусов и бедной, дрожащей от холода (сейчас) воды. На горах в Savoie низко спустился снег. Огни Eviana ясно видны ночью. И перед самым носом плавают по озеру целые стаи диких уток. Гулять вечером очень тоскливо.

Целую Ваши холодные руки. Ваш *Ларионов*.

P. S. Завтра посылаю еще письмо — пишите мне, пожалуйста.

[Париж, 1925]

Милая Александра Сергеевна,  
давно я Вам ничего не писал, и Вы тоже. Но скорее Вы в этом виноваты, чем я. Вы как-то написали, что так, как я Вам пишу, Вам не нравится. Дело в том, что я не мастер писать. На таком расстоянии, как Париж от Москвы, много не скажешь. А вот видеть Вас я бы очень хотел. Я Вас по-прежнему помню, как в последний раз. Даром, что прошло 10 лет. Сейчас в Россию как-то не собираюсь, хотя думаю, что там много интересного, судя по словам Киры Алексеевой<sup>21</sup>. Да я в этом и не сомневаюсь. Главное — в области духа, но так было всегда — а здесь, в Париже, простая физическая жизнь поставлена хорошо, и она на меня действует успокоительно. А так как мне все хочется сосредоточиться, то я пока этой жизнью доволен.

Театры и кинема здесь скверны очень. Но, как мне говорили, что Вы можете на сцене совсем складываться, как перочинный нож, то я думаю, здесь для Вас нашлось бы дело. Киру, жаль, я мало видел. Она занята все разными покупками и живет все больше в деревне.

Адрес мой: 43 rue de Seine, Paris, 6-e.

Напишите мне несколько слов, я буду очень рад.

Целую Ваши руки.

Ваш М. Ларионов

## Примечания

<sup>1</sup> Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – театральный и художественный деятель, один из создателей художественного объединения «Мир искусства», организатор «Русских сезонов», с 1907 г. за границей, создатель труппы «Русские балеты Дягилева» (1911–1929).

<sup>2</sup> Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) – художник, историк искусства.

<sup>3</sup> Таиров Александр Яковлевич (1885–1950) – режиссер, организатор (1914) и руководитель Камерного театра.

Коонен Алиса Георгиевна (1889–1974) – актриса Камерного театра в 1914–1949 гг., жена А. Я. Таирова.

<sup>4</sup> Фокин Михаил Михайлович (1880–1942) – артист балета, балетмейстер. С 1898 г. – в Мариинском театре, в 1909–1912 гг. и в 1914 г. руководитель балетной труппы «Русских сезонов» С. Дягилева.

<sup>5</sup> Стравинский Игорь Федорович (1882–1971) – композитор и дирижер, с 1914 г. жил за рубежом.

<sup>6</sup> Трояновская – видимо, Трояновская Анна Ивановна, дочь Ивана Ивановича Трояновского (1855–1929) – врача-терапевта, коллекционера произведений русских художников конца XIX – нач. XX в.

Сапожникова Наталья Владимировна – дочь двоюродного брата К. С. Станиславского, фабриканта В. Г. Сапожникова, подруга А. С. Хохловой.

<sup>7</sup> Видимо, балерина Е. А. Облакова, о которой упоминает А. Н. Бенуа в связи с «Шурочкой» (А. С. Хохловой). См.: Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Т. 2. М., 1990. С. 268.

<sup>8</sup> Дункан Айседора (1877–1927) – американская танцовщица, одна из основоположниц школы «модерн» в танце.

<sup>9</sup> Мясин Леонид Федорович (1896–1979) – артист балета и балетмейстер, в 1912 г. артист Большого театра, с 1913 г. в труппе «Русские балеты Дягилева».

<sup>10</sup> Гончарова Наталья Сергеевна (1881–1948) – живописец, с 1915 г. оформляла спектакли «Русских балетов Дягилева». Жена М. Ларионова.

<sup>11</sup> Нижинский Вацлав Фомич (1889 или 1890–1950) – артист балета, в 1907–1911 гг. в Мариинском театре, в 1909–1911 гг. – участник «Русских сезонов», в 1916–1917 гг. – в труппе «Русские балеты Дягилева».

<sup>12</sup> Упоминается Анастасия Сергеевна Боткина (в замужестве Ноттафт; 1892–1942) – сестра А. С. Хохловой.

<sup>13</sup> Балет «Шут» на музыку С. С. Прокофьева оформил М. Ф. Ларионов, хореография М. Ф. Ларионова и Ф. Славинского (1921).

<sup>14</sup> Декорации и костюмы к балету «Литургия» были написаны Н. С. Гончаровой в Лозанне в 1915 г. Ею же была оформлена «Свадебка» – хореографическая кантата И. Ф. Стравинского, посвященная С. П. Дягилеву (1923).

<sup>15</sup> В Лозанне в 1915 г. был поставлен балет М. Равеля «Histoires Naturelles» в декорациях М. Ларионова.

<sup>16</sup> Бакст (Розенберг) Лев Самойлович (1866–1924) – один из ведущих деятелей «Мира искусства», живописец, график, театральный художник, педагог.

<sup>17</sup> *Гриценко Любовь Павловна* (1870–1928) – третья дочь П. М. Третьякова, с 1904 г. – жена Л. С. Бакста.

<sup>18</sup> *Серт Хозе-Мария* (1876–1945) – испанский художник, живший во Франции, принимал участие в оформлении балетов Дягилева совместно с Л. С. Бакстом – «Легенда об Иосифе» (1914) и др.

<sup>19</sup> *Мися Эдвардс* (ум. 1950) – пианистка, большой друг С. П. Дягилева. Впоследствии стала женой Х.-М. Серта.

<sup>20</sup> *Аргутинский-Долгоруков Владимир Николаевич* (1874–1941) – дипломат, коллекционер произведений искусства. После революции – хранитель Эрмитажа; в 1920-х гг. уехал во Францию.

<sup>21</sup> *Алексеева-Фальк Кира Константиновна* (1891–1977) – дочь К. С. Станиславского, подруга А. С. Хохловой.

## «СВЯТОЕ БЕЗУМЬЕ МОЕ...»

(Неизвестное стихотворение Николая Гумилева)

Публикация И. П. Сиротинской

В 1996 году заместитель начальника Управления регистрации и архивных фондов ФСБ В. А. Виноградов передал в РГАЛИ бумаги Николая Степановича Гумилева. Информация об этом через несколько дней, 27 февраля 1996 г., появилась в «Вечерней Москве» (Панфилов А. «И умру я не на постели...»).

Однако самый ценный документ Гумилева — черновой набросок его неизвестного стихотворения — был опубликован только частично (одна строфа).

Дело в том, что стихотворение написано карандашом на обороте членского билета Дома искусств на 1920 г., подписанного М. Горьким. Карандашный текст, нанесенный на гляцевую поверхность членского билета, легко стирался и в кармане владельца, и в архиве КГБ. А к тому же поверх стихотворения Гумилев небрежно записывал телефоны и адреса знакомых (это, конечно, и предопределило изъятие билета при аресте).

Вторая и особенно третья строфы стихотворения читались буквально по полужнаку, по следу буквы. Слова, в правильном прочтении которых остались сомнения, взяты в угловые скобки со знаком вопроса.

Стихотворение Гумилева посвящено, видимо, Ирине Одоевцевой, а может быть, Нине Берберовой — последним увлечениям вечно влюбленного поэта. Обе прекрасные дамы написали мемуары, где есть место и их романам с Гумилевым (И. В. Одоевцева — «На берегах Невы», Н. Н. Берберова — «Курсив мой»).

\* \* \*

Какое отравное зелье  
Влилось в мое бытие,  
Мученье мое, веселье,  
Святое безумье мое.

Пытают сладчайшие губы  
Как <мавра?> в застенках дворца,  
Ея невинные груди  
В двух розовых нежных венцах.

По ним провели губами,  
Слегка ущемили, скользя,  
Вставая двумя бугорками,  
Свой час <утаить?> нельзя.



# ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ

(Воспоминания А. Д. Семенова-Тян-Шанского)

Публикация Т. Л. Латыповой

История одной жизни — воспоминания семейные, брата о брате, Александра Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского (1890 — 1979), будущего епископа Александра Зилонского, — о поэте, революционере, толстовце, а под конец жизни православном подвижнике Леониде Дмитриевиче Семенове (1880 — 1917). В наши дни лишь историкам литературы известно имя Леонида Семенова, но в начале XX века он — яркая и заметная фигура в литературной и общественной жизни. Он был представителем одной из выдающихся дворянских семей, внуком известного географа, путешественника, бессменного в течение сорока одного года вице-председателя Русского географического общества, удостоенного права носить фамилию Семенова-Тян-Шанского за исследование горной системы Тянь-Шань. Заявив о себе как многообещающий поэт, Л. Семенов привлек внимание современников неонародническими устремлениями в период первой русской революции, а позже поразил всех резким разрывом с дворянской интеллигентской средой, отходом от литературной деятельности и практикой толстовства. Его имя ставили рядом с именем поэта-богоискателя А. М. Добролюбова. Одни в его поисках видели образец пути интеллигента к народу, другие обвиняли Л. Семенова в индивидуализме и аристократизме.

Л. Семенов был убит бандитствующими крестьянами 13 декабря 1917 года, накануне своей свадьбы и рукоположения в священнический сан.

После трагической гибели поэта его дядя Андрей Петрович (энтомолог, переводчик) предполагал издать собрание сочинений Л. Семенова; знаменитые литераторы (З. Гипшиус, Д. Мережковский, Ф. Ф. Зелинский, Федор Сологуб и др.) изъявили желание участвовать в сборнике его памяти. Однако эти замыслы, по причинам известным, остались неосуществленными. В последующие десятилетия интерес к деятельности Л. Семенова упал, хотя в мемуарной литературе 1920 — начале 1930-х годов встречались упоминания о нем (см., напр.: *Пяст В.* Встречи. М., 1929; *Чулков Г.* Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., 1930). Позднее имя Л. Семенова было забыто и мелькало лишь в общих работах о символизме, как правило, рядом с именем А. М. Добролюбова, в связи с их «уходом в народ». Внимание к фигуре Л. Семенова

возрождается в 1960 – 1970-х годах (см.: Герасимов Ю. К. Об окружении Александра Блока во время первой русской революции // Блоковский сборник. Тарту, 1964. [ Вып. 1]; Салогов В. А. Лев Толстой и Леонид Семенов. (Об одном корреспонденте Л. Н. Толстого) // Ученые записки. Филологическая серия. Кострома, 1970. Вып. 20; Мицн З. Г. Л. Д. Семенов-Тянь-Шанский и его «Записки» // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1977. Вып. XXVIII). В наши дни большой вклад в дело изучения творческого наследия Л. Семенова внес историк литературы В. С. Баевский, автор обстоятельного биографического очерка «Леонид Семенов – жизнестроитель и поэт» (Вопросы литературы. 1994. Вып. V). Можно надеяться, что в скором времени в нашей стране появится уже подготовленное к изданию Полное собрание сочинений Л. Семенова.

Значительна и фигура автора воспоминаний епископа Александра Зилонского. Сын действительного статского советника, он получил образование на юридическом факультете Петербургского университета. Разразившаяся мировая война превратила его, юриста и начинающего поэта, в офицера лейб-гвардии Егерского полка. Затем случилась революция, сокрушившая старую Россию с ее вековыми устоями быта и бытия. Революционные годы стали трагическими для Семеновых-Тянь-Шанских. Семья сократилась чуть ли не вдвое: умерли родители, два брата и сестра, были расстреляны другие родственники. У Александра начались скитания, поиски случайного заработка, приходилось постоянно доказывать свою благонадежность. Последовала эмиграция. С начала 1920-х Семенов-Тянь-Шанский жил в Берлине, в 1925 году переехал в Париж. На чужбине он вернулся к поэзии и, сверх того, обратился к публицистике. В те годы в русских зарубежных газетах и журналах: в «Руле», «Русской мысли», «России и Славянстве», «Возрождении», «Перезвонах», «Современных записках», «Пути» – печатаются стихотворения и статьи писателя. Эти труды весьма ценились в литературных кругах русского Парижа.

Его священническое призвание проявилось поздно. В возрасте 47 лет он поступил в Богословский институт в Париже, который окончил в 1942 году, а в 1943-м был рукоположен во священники. Пастырское служение началось в трудных военных условиях. Являясь человеком большой и утонченной культуры, о. Александр, казалось, был призван целиком отдать себя богословию. Но он, несмотря на неизменный интерес к этому предмету, о чем свидетельствуют многочисленные статьи, в течение трех десятилетий печатавшиеся в «Вестнике РСХД», избрал путь пастырства – пастырства как благовествования. «Благовестие: проповедь, раскрытие Благой Вести – тут было подлинное призвание владыки Александра, жажда, которой он жил: передать другим ту полноту жизни, которую он сам обрел во Христе и в Церкви и которой сам он беспрестанно радовался», – вспоминал о нем протопресвитер Александр Шмеман (Русская мысль. 1979. 21 июля). Епископ Александр

много потрудился в деле духовного окормления молодежи. В 1950-х годах он был одним из руководителей Национальной организации витязей (НОВ), основанной еще в 1934 году и возобновившей после войны свою деятельность. Владыка принадлежал к тому исчезающему поколению русских людей, которые не только ценили ушедшую Россию, но в которых эта Россия продолжала жить, и молодежь, не помнящая или не знавшая Родину, через них могла приобщиться к русскому духу и русской культуре. С 1956 года о. Александр служил в парижской церкви Знамения Божией Матери. Уже совсем старым он был хиротонирован во епископа. «Внешне оно [епископство] могло казаться как бы ненужным, «не исполненным», ибо никакой власти — епархиальной, административной — он не имел, никакой официальной ответственности возложено на него не было. Но это так только извне. Ибо все те, кто общался с ним в эти последние годы его жизни, знают и могут засвидетельствовать о том, до какой степени сильно было в нем то, что составляет саму сущность епископства: чувство заботы, ответственности, боли за церковь в целом, за ее «благосостояние», за верность ее своему призванию и назначению, как глубоко переживал он все нелады в церковной жизни, как радовался всему положительному в ней, сколько усилий делал — старый, больной, безвластный — чтобы помочь Церкви — быть Церковью» (там же).

Став священником, он не замкнулся на сугубо религиозных темах. По словам о. Александра, всю жизнь «болея... пристрастием ко всякому искусству», он с неослабевающим интересом откликался на литературные новинки, новые имена, выступал в качестве тонкого и умного рецензента. Никогда не оставлял пастырь занятия поэзией, ища в ней выражения главного, вечного. Перу владыки Александра принадлежат три книги: «Отец Иоанн Кронштадтский» (Нью-Йорк, 1955), «Православный Катехизис (Париж, 1961), «Пути Христовы» (проповеди и статьи) (Париж, 1969). Публикуемые ныне мало кому известные воспоминания о брате — его первый опыт духовного жизнеописания, предшествовавший книге о святом о. Иоанне Кронштадтском. Повествуя о жизни героя, автор не ограничивается биографическими комментариями; он не ставит себе целью писать о Л. Семенове только как о поэте и писателе, хотя и приводит цитаты из произведений брата. Это опыт духовной биографии, смысл которой погружение во внутренний мир человека, вчувствование в то, что для самого Л. Семенова было источником исканий, уяснение пути его, полного кризисов и отречений, пути к Богу и Церкви.

Воспоминания печатаются по роталитному изданию, не зафиксированному авторитетными библиографиями, выпущенному Православным детским домом «Милосердный Самарянин» в первые послевоенные годы в Мюнхене. Этот Дом помещался на Мауэркирхер-штрассе, 5 и был передан «Милосердному Самарянину» американскими оккупационными властями. При Доме со временем осветили церковь во имя Серафима Саровского — по

найденной в груди щепня иконке святого. В гимназии, открытой в обители, дети обучались Закону Божьему, русскому языку, литературе, истории, географии. Деньги, вырученные от издания книги о. Александра, пошли на благотворительные нужды Дома.

Сохранившийся в РГАЛИ в фонде С. К. Маковского экземпляр «Истории одной жизни» (Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 623) был послан владыке Иоанну (Шаховскому), в ту пору епископу Бруклинскому, а позднее архиепископу Сан-Францисскому, давнему знакомому о. Александра, который повлиял, по свидетельству современников, на выбор Семеновым-Тянь-Шанским священнического пути. Отметим, что в 1942 году в Берлине под его редакцией был напечатан вариант данного очерка в издании прихода св. равноап. кн. Владимира «Летопись. Орган православной культуры», вып. 2., которое также является библиографической редкостью.

Праведник уходит,  
но свет его остается.

Достоевский  
(Слова старца Зосимы)

## I

Брат мой Леонид был вторым сыном и ребенком в семье и родился в 1881 году<sup>1</sup>.

Печать некоторого избранничества лежала на нем с малых лет. Физически он был здоровее, стройнее и красивее других детей\*.

Унаследовал он внешние характерные черты нашего рода, в частности курчавые волосы и черные глаза. Он не был любимцем родителей, честь эта обычно принадлежит первенцу и младшему ребенку, но с малых лет он привлекал особое внимание к себе, казался не таким, как все, и возбуждал чувство ожидания чего-то необыкновенного в его судьбе. А между тем своим поведением он долго не давал повода к такому ожиданию. Он был очень бойким, живым, веселым мальчиком, как все, — разве что особая аккуратность во

---

\* Поэт Пяст в своих мемуарах в главе, посвященной брату, называет его хромоногим. Вероятно, это замечание было вызвано случайной хромотой<sup>2</sup>; Зинаида Гиппиус в статье, посвященной брату<sup>3</sup>, говоря о его красоте, говорит, что Поликсена Соловьева<sup>4</sup>, отзываясь о нем, говорила, что он был «красив даже до неприятности». Это преувеличение, — какой-либо классической, тем более приторной красоты в брате не было. (Примеч. автора.)

всем да раннее уразумение грамоты (в 4 года) выделяли его. Чувство же, что Леля (так звали в семье брата) особенный, было и в нас, младших детях. Уже четырехлетним — пятилетним мальчиком я сознавал это твердо. И помнится, это важно отметить уже в этом возрасте, мы, младшие дети, были несколько иными в его присутствии, чем в присутствии других старших. Уже тогда его присутствие всегда чувствовалось. Иные люди в раннем детском сознании почти не чувствуются, отчасти составляя как бы одно целое с домашним уютом, брат же Леонид всегда чувствовался, как нечто, иное, чем всё и все. И, больше того, с ранних лет наших он входил в душу как некий суд. При нем, например, нельзя было слишком раскапризничаться, хотя он никогда не давал повода более, чем другие, остерегаться хотя бы словесной репрессии.

Не могу не отметить и противоположного чувства особой радости, когда удавалось чем-либо отличиться в его присутствии.

Очень рано вокруг брата у нас стала складываться и настоящая детская легенда. В нашем сознании вокруг него стал возникать мир образов и вещей, неотъемлемо ему принадлежавших, с ним связанных. Так, брат вставал всегда раньше всех и уже 13-летним мальчиком летом любил утренние прогулки, определенно предпочитая для них более дикие уголки природы, преимущественно рощицы тонкоствольных белых березок.

Днем иногда по нашей просьбе он показывал места своих прогулок, и вот понемногу в нашем детском сознании раннее утро и нестеровские березки неразрывно сплелись с образом брата и стали его как бы лейтмотивом в пейзаже. Мы так и говорили, что Леля — утренний, а тонкие березки — Лелины. Таким образом вокруг него совершалась двойная проекция, он отражался на многих вещах и, наоборот, как бы сам воспринимал в себя отблеск некоторых вещей.

Правда, и многие другие нас окружающие люди ассоциировались с вещами. Были у нас, детей, на даче и «папины дорожки», и «мамина лужайка», ибо всякая любовь создает такие проекции, но все же это были проекции иного рода, чем те, что совершались вокруг брата Леонида. Явления, вещи и пейзаж, которые стали характеризовать брата, были всегда более отчетливого, устойчивого стиля и типа, и тональность или колорит этого стиля были — чистота, строгость, свежесть (утро, белые молодые березки) и, кроме того, заповедность и тайна.

Первым увлечением брата Леонида была живопись акварелью. Увлёкся он этим потому, что крестная мать его, наша тетьа О. П. Семенова<sup>5</sup>, была известной в свое время акварелисткой. Работы ее имеются в музее Императора Александра III<sup>6</sup> и [в] Третьяковской галерее. Но, увлекшись акварелью, 13-летний мальчик не развлекался только этим делом, а старался отдаться ему всецело, не только желая стать художником, но начиная видеть в живописи самое важное свое дело. Для мальчика своего возраста он стал писать вскоре очень недурно, и сюжетом его акварелей чаще всего были белые березки. В этом, впрочем, сказалоcь влияние его крестной. Кроме того, он стал упорно биться над другой темой, стараясь изобразить Жанну д'Арк, с трепетом взиравшую на небесный свет, пронзающий темную тучу.

Брат воспитывался в немецкой школе св. Екатерины на Васильевском острове и там научился любить Шиллера, который стал его любимым поэтом. Любимой же героиней его стала Жанна д'Арк. Образ Орлеанской Девственницы как бы преследовал его. В этом его детском увлечении и этих детских попытках написать Орлеанскую Деву было нечто пророческое о его судьбе, что будет ясно из дальнейшего. Останавливаюсь на этом потому, что жизнь и развитие некоторых людей всегда полны таких символических предвещаний о своей судьбе. И это до некоторой степени объяснимо. Те, кто не только живут этой жизнью, а стремятся к жизни высшей, в пределе вечной, вневременной, уже частично обладают ею, а тем самым и своим будущим. Нельзя не упомянуть, что брата как бы преследовал другой образ: девы-мстительницы. Наряду с Жанной д'Арк он не раз пытался изобразить голову Медузы Горгоны.

Но увлечение живописью продолжалось у брата недолго, и в 14—15 лет, отчасти благодаря увлечению тем же Шиллером и его гимном Радости, он пришел к Бетховену и музыке вообще. Музыке он отдался с еще большей страстью и волей. Музыку он уже принял как служение и культ. В детских дневниках брата по этому вопросу были заметки, написанные в наивной форме, но напоминавшие по смыслу идеи Скрябина о преображении мира музыкой.

И в области музыки брат вскоре достиг сравнительно крупных успехов. Его любимыми композиторами были Бетховен, Шопен, Чайковский, позднее Вагнер, отчасти Григ.

Здесь следует заметить, что брат, оставаясь очень резвым, азартным мальчиком, увлекавшимся и спортом (лодка, плавание и др.), так серьезно относился к своим музыкальным занятиям, что внушал и другим к этим своим занятиям особое уважение.

На почве увлечения музыкой брат впервые обнаружил одно из основных своих свойств, которому он не изменил никогда, а именно то, что вера его у него не расходилась с делом этой веры, или, иными словами, что он человек поступков и свершений.

Хотя родители мои никогда не мешали проявлению наших индивидуальностей и шли всячески навстречу брату в его занятиях музыкой, приглашая к нему хороших учителей как для игры на рояле, так и по теории музыки, все же они воспротивились желанию брата бросить учение в гимназии и идти в консерваторию до окончания гимназии. Но брат считал, что в музыке смысл его жизни, считая, что остальное ему уже не нужно, и настаивал на своем. Кончилось это почти трагически.

Видя такое упорство в этом вопросе родителей (упорство справедливое хотя бы потому, что музыкальное дарование брата не было все же слишком ярким), брат сделал даже попытку самоубийства. Сознывая, однако, что родители настаивают на своем не из желания ему зла, и не желая огорчить их явным наложением на себя рук, он стал вызывать в себе искусственную простуду и добился тяжелого плеврита... Во время болезни он раскаялся и уступил, но в гимназии преднамеренно стал учиться на средние баллы, хотя раньше шел первым. Впрочем, в этом была и другая курьезная идея, — он вдруг не захотел выделяться среди других.

В средней школе, будучи хорошим товарищем, он был одинок; настоящих друзей у него не было.

## II

По окончании гимназии брат поступил вместе со старшим братом<sup>7</sup>, следуя семейной традиции, на естественный факультет. Мысль о консерватории он оставил и к музыке стал относиться холоднее.

По личным последующим признаниям брата, от музыки как дела универсального, исключительного значения, его от-

толкнуло простое наблюдение. «Я заметил, — говорил он впоследствии про этот музыкальный период его жизни, — что музыка не производила никакого изменения и преобразования жизни. Возвращаясь с концертов, люди, да и я сам, оставались такими же холодными, как раньше, и слова шиллеровской песни о братстве, пропетые хором в 9-й симфонии Бетховена, — оставались только словами».

Ради таких переживаний не стоило многим жертвовать, а брат инстинктивно искал всегда такого дела, ради которого стоило жертвовать всем.

Это подчеркивалось еще тем, что брат, чем старше становился, тем меньше занимался чем-либо, что можно считать простым убийством времени, иначе говоря, тем, что легко может приобрести характер пошлости.

Брат никогда не играл в карты, не курил, не танцевал, не участвовал в пирушках, где напиваются, и не признавал легких родов искусства, как-то: оперетту, фарс и т. п.

Такая строгость была у него совсем естественной и уживалась с живым юмором и веселостью.

Никакой морали он не читал, никого не обличал, но сторонился праздности, особенно претендовавшей сойти за дело.

Насколько знаю, брат также никогда не рассказывал нечистых анекдотов и не любил нескромностей.

Притом никто из его товарищей никогда, насколько я слышал, не пробовал поднять его на смех за этот натуральный пуританизм.

Думая об этом, невольно вспоминаю Достоевского, с такой верностью изобразившего взаимодействие среды и духовно устремленной личности (Алеша Карамазов).

Но было бы неверно сравнивать брата в этот период жизни с Алешей; скорее вспоминается образ Ивана.

В юные годы у брата не было мягкости, он часто казался твердым, гордым, порой резким, задорным. Зинаида Гиппиус так характеризует его в период студенчества: «Он вначале производил впечатление студента-«белоподкладочника», избалованного барица. Он и при дальнейшем знакомстве оставался выдержанным, в меру веселым, умным собеседником, и как будто ничего другого в нем не было. Он был скрытен — особой скрытой скрытностью, которая в глаза не бросается, порой лишь безотчетно чувствуется. Из-за нее, вероятно, из-за того, что он никогда не говорил «по душам», — многие находили его несимпатичным»<sup>8</sup>.



### III

Во время своего пребывания на естественном факультете (1 или 2 года, в точности не помню) у брата возникло много и других увлечений, казавшихся, как все, что он ни начинал, всегда несколько неожиданным именно для него, потому что он никогда не занимался всем сразу и понемножку, а увлекался чем-либо почти всецело и как чем-то совсем новым.

В деревне летом брат стал страстным охотником и собирателем насекомых; в университете увлекся политикой и, наконец, вскоре поэзией.

Брат примкнул к правому студенчеству и скоро стал лидером его, будучи выбран в первый Совет студенческих старост, несмотря на то, что большинство студентов было левыми.

Студенты же поэты объединялись тогда вокруг приват-доцента римского права Бориса Никольского<sup>9</sup>, под редакцией которого был выпущен сборник студенческих стихотворений<sup>10</sup>. В сборнике наряду с братом принимали, между прочим, участие сверстники брата А. Блок, А. Кондратьев<sup>11</sup> и рано кончивший жизнь, очень одаренный, богатый еврей Виктор Поляков\*.

К этому же времени примерно относится ряд любительских спектаклей в нашем доме, где брат проявил большие способности актера.

Поэзия, увлечение Ницше (естественный переход от увлечения Вагнером) и основной характер духовных устремлений брата заставили его скоро перейти на историко-филологический факультет, где он стал одним из любимых учеников пр[офессора] Ф. Ф. Зелинского<sup>15</sup>.

В университете брат сдавал экзамены блестяще. С переходом на историко-филологический факультет брат выступил и на более широкую литературную дорогу. Он стал

---

\* Виктор Поляков<sup>12</sup> совсем неверно описан у З. Гиппиус<sup>13</sup>. Это был юноша среднего роста, очень красивый, с лицом древнего египтянина, весьма строгих манер. Поэзия его, близкая по духу Лермонтову, отличалась тонкостью и изяществом... Вот слова брата о Викторе Полякове: «Виктор! Разве не знал я, что он застрелится и застрелится именно так, как это было... там, где-нибудь на бульварах Парижа, револьвером в рот, в сумерки, когда так явственно подступает к нам вся непрерывная безобразная будничность их жизни, весь неугомонный, вечно один и тот же их шепот, которого он так боялся. Виктор! Виктор! Какой же ты победитель?!»<sup>14</sup> (Примеч. автора.)



А. Я. Булгаков. С акварели, опубликованной в приложении к «Русскому архиву» за 1906 год



А. И. Тургенев. Рисунок Б. Ф. Соколова. 1816 год

Константин Александрович  
(Костя) Булгаков.  
С акварельного портрета  
из собрания Государственного  
Исторического музея



Рисунок пером Матвея Юр. Вьельгорского с не очень понятной надписью П. А. Вяземского: «Может быть гр. Михаил Вьельгорский [а письмо?] может быть Константином Булгаковым».

Под Константином Булгаковым здесь следует понимать Константина Яковлевича (1782 – 1835), Санкт-Петербургского почт-директора



Доктор Ф. П. Гааз. 1820-е годы



И. Н. Крамской. Портрет Федора Васильева



Пейзаж-набросок пейзажа  
Фед. Васильева, членского в. молодого  
В. аммосов О. И. Фельдмана. Водяной.  
2 марта 1895.

Федор Васильев. Пейзаж в альбоме О. И. Фельдмана.  
2 марта 1895 года

Открытка с видом Ялты. 1907 год

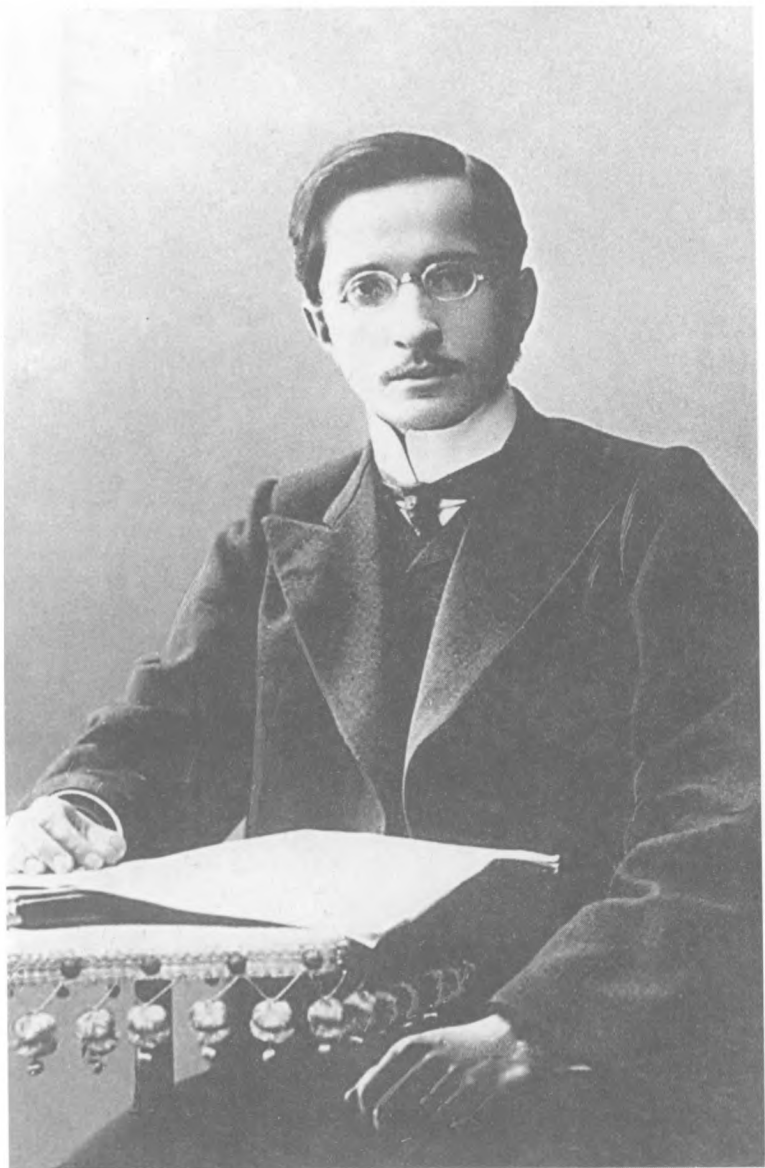


Кривизна и до свидания!

Русские художники (слева направо): стоят: К. Е. Маковский,  
А. К. Бегтров, С. Н. Аммосов, П. А. Ивачев, А. Д. Литовченко,  
И. И. Шишкин, Н. В. Неврев, А. А. Киселев, К. В. Лемох,  
Е. Е. Волков, Н. А. Ярошенко, И. М. Прянишников, И. Е. Репин. →  
Сидят: В. Е. Маковский, К. А. Савицкий, И. Н. Крамской,  
Г. Г. Мясоедов, П. А. Брюллов, В. И. Суриков, В. Д. Поленов. 1886 год





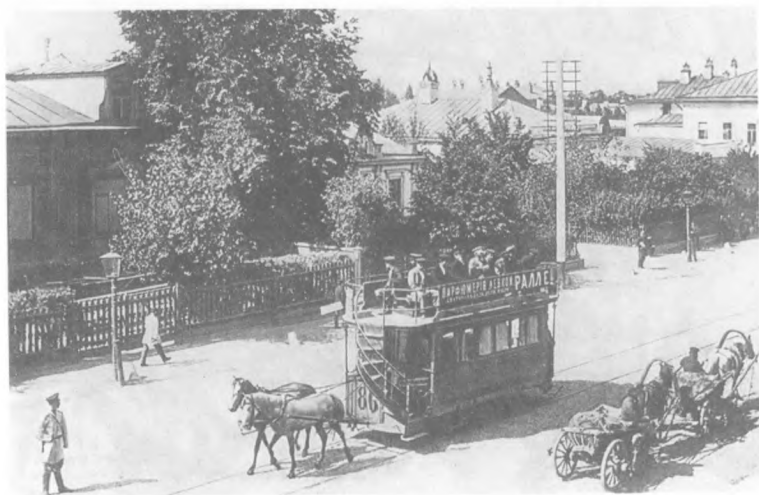


С. Н. Дурылин. 1908 год

Один из первых  
московских трамваев у  
Бутырской заставы.  
1900 год



Конка с империалом на  
Садовой ул. Конец XIX  
века



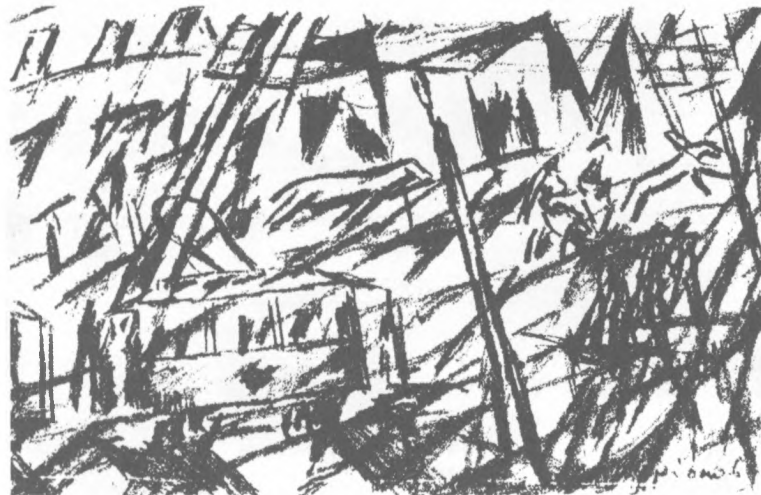


Москва до Коломны, даже до Рязани, образуются по преимуществу обозами, восточно тянущимся по пути в продолжение всей зимы... Во многих местах тяжёлые экипажи с сытыми лошадыми



**Лесные баржи на Москве-реке. 1860-е годы**

**Мих. Ларионов. Рисунок на открытке к  
А. С. Хохловой. 1915 год**





А. С. Хохлова. 1910-е годы



Мих. Ларионов. Рисунки на письмах к А. С. Хохловой.  
1915 год





М. Ф. Ларионов (сидит в центре) среди художников.  
Рядом с ним — Р. Р. Фальк и А. И. Куприн.  
Середина 1910-х годов



Леонид Семенов. 1910-е годы



Епископ Александр Зилонский (А. Д. Семенов-Тян-Шанский). 1970-е годы





Вяч. Полонский (третий слева) среди членов Всероссийского Союза писателей. На снимке также И. В. Евдокимов, Ф. В. Гладков, А. М. Эфрос и И. Э. Бабель; в центре — Н. Н. Никитин и М. П. Герасимов; в нижнем ряду — Г. И. Чулков, В. В. Вересаев, Б. А. Пильняк (с девочкой на руках), П. Н. Сакулин и др. Москва, Дом Герцена, 1925 год



Преподаватели и студенты Литературно-художественного  
института им. В. Я. Брюсова.  
В центре – В. П. Полонский. 1925 год

В Государственном издательстве. Стоят: Вяч. Полонский,  
О. Ю. Шмидт, Я. А. Яковлев (Эпштейн). Сидят: В. М. Познер,  
А. И. Свидерский, Н. А. Мещеряков, неустановленное лицо,  
Г. К. Суханова (Флаксерман). 1924 (?) год





**А. К. Воронский**

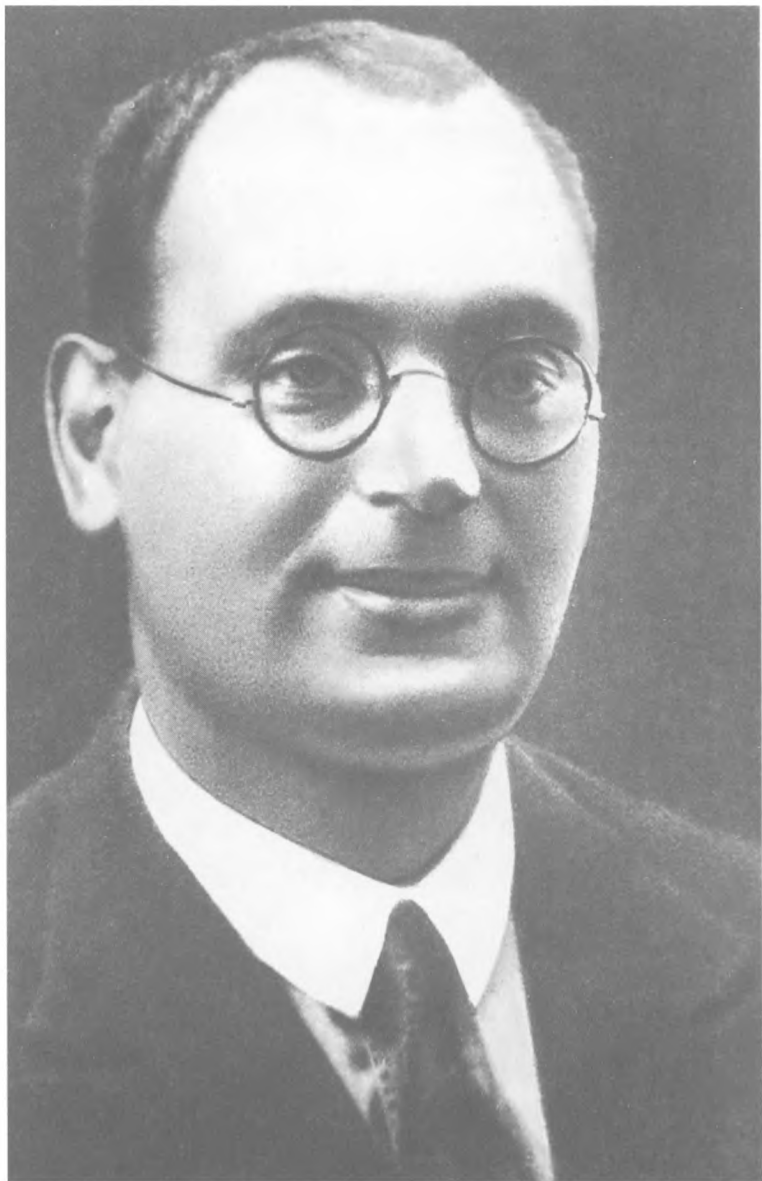
Абрам Эфрос. Портрет  
работы Юрия Анненкова.  
1921 год



Ф. В. Гладков.  
Портрет работы художника  
В. Сварога. 1930-е годы



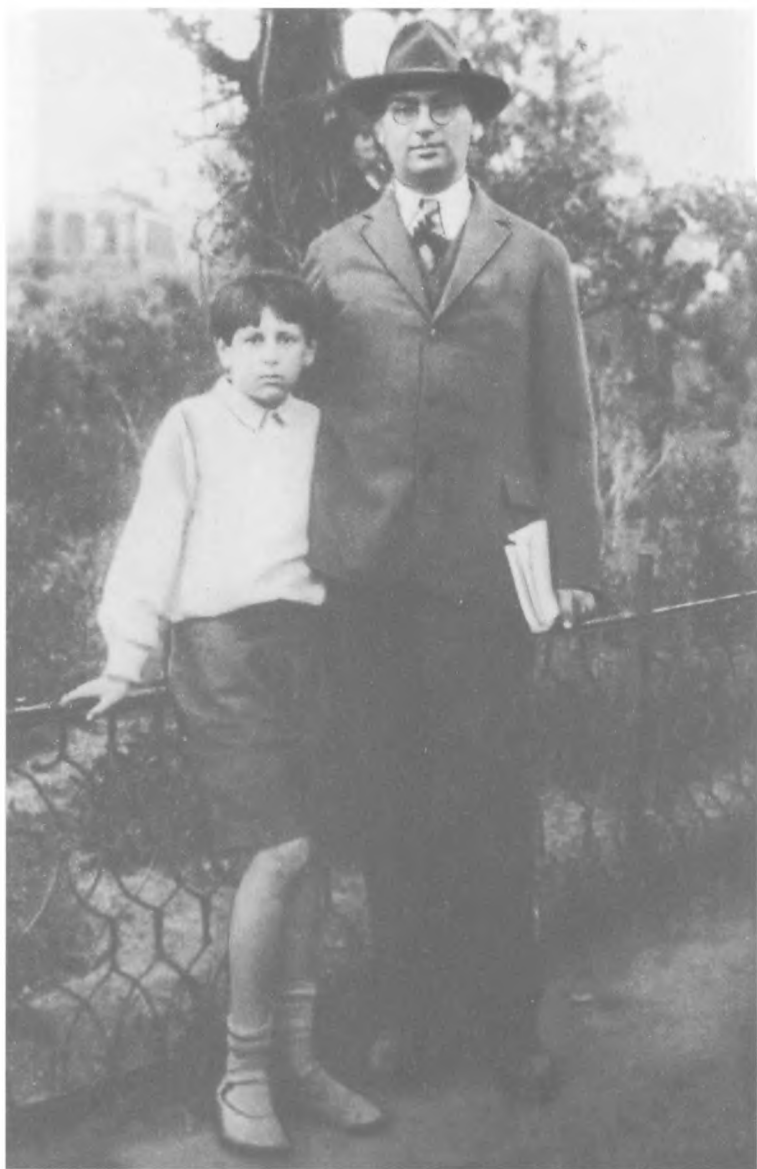
**Всеволод Мейерхольд и Илья (Карл) Сельвинский.  
1929 год**



Р. Р. Фальк. Париж, 1930-е годы



Учащиеся Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Первый справа – Роберт Фальк. 1910-е годы



Р. Р. Фальк с сыном Валерием. 1927 или 1928 год





А. Вановский. 1926 год



Роберт Фальк (третий справа в верхнем ряду) на карнавале в Париже. Конец 1920-х (?) годов



«Гамлет» в постановке  
Московского  
Художественного театра.  
Дух отца Гамлета —  
Н. А. Знаменский. 1912 год



Эскиз к постановке «Гамлета»  
Г. Крэга. 1910 год



«Гамлет» в постановке Московского Художественного  
театра. Гамлет — В. И. Качалов и Гертруда —  
О. Л. Книппер. 1912 год



Евгений Шварц — студент Московского городского народного университета им. Шанявского. На обороте надпись: «Одной из девочек один из студентов Университета им. Шанявского».



**Евгений Шварц, Н. И. Грекова, Маша Тагер  
и неизвестная. Коктебель, 1932 год**



Е. Л. Шварц. Комарово. 1956 год



**Евгений Шварц. Конец 1940-х — 1950-е годы**





Евгений Шварц. Конец 1940-х — 1950-е годы

печататься в издаваемом З. Гиппиус и Перцовым<sup>16</sup> журнале «Новый путь» и других журналах и познакомился почти со всеми тогдашними поэтами и писателями.

Ближе всех сошелся он, пожалуй, с Блоком, который нередко заходил к нам. Наибольшее же влияние на брата в ту пору имел Розанов<sup>17</sup>, и, как брат потом мне признавался, в известной мере губительное — потому именно, что у брата слово и мысль никогда не расходились с делом, или, во всяком случае, с намерением... Это влияние, о котором говорю, осложнило, в частности, первый роман, который переживал в то время брат, и привело вообще к изменению его прежде строгой жизни.

В этот краткий период жизни брат уехал от нас, нанял комнату на Невском, желая жить самостоятельно, в частности на свои средства и заработки (уроки музыки главным образом). Вышедший вскоре в 1903 или 1904 году сборник его стихотворений «Ожидания»<sup>18</sup> и некоторое литературное признание, которого он добился (наряду с А. Блоком и А. Белым он считался в то время многообещающим поэтом), повлияли и на его самоуверенность. В это время в нем стала изредка проявляться даже некоторая заносчивость и намечалась, пожалуй, некоторая рисовка... Этот период впоследствии брат считал самым досадным в своей жизни и, осуждая себя за многое справедливо, часто готов был отвергнуть в нем и то, что имело свою цену; в частности, все свои стихи, среди коих многие замечательны, по справедливому мнению З. Гиппиус, именно как предчувствия, пророчество о его собственной судьбе<sup>19</sup>.

Осуждая себя впоследствии за этот период жизни, брат пояснял, что все же и тогда он соблазнялся не просто приманками широкой «прохладной жизни», а, главным образом, ложным смыслом, которого в них искал, лживым словом, и падения его, по его словам, были все же исканиями, опытами.

Слишком много соблазняющих дух слов выбрасывалось тогда на рынок поэтами, мыслителями и «богоискателями». Брат же говорил, что для него было всегда переживанием великого позора мыслить и говорить что-либо, а не делать.

Поэтому и в этот период жизни брат не брался за карты, не коснулся папирос и никогда не посещал ни оперетты, ни фарса. Если доступную женщину лукавые слова могли иногда превращать в жрицу некоего бога, то папиросный дым никто без иронии не мог назвать фимиамом, а театр

фарса или оперетты — храмом. Поэтому, по словам брата, он уберется этих соблазнов.

Все только что описанное охватывает 1901 — 1904 года. Вскоре началась японская война, а потом революция 1905 года, и тогда в жизни брата наступил первый более решительный перелом — брат стал революционером.

#### IV

Брат, как говорил и писал и как мог бы засвидетельствовать почти каждый, кто знал его, всегда искал и жаждал такого дела, такого смысла, которых нельзя превратить в игру. Такого дела, ради которого можно и надо всем жертвовать. Естественно, когда полилась кровь японской войны, а потом революции, когда появились настоящие жертвы, тогда и наука ради науки, и искусство ради искусства, и, наконец, культы крайнего индивидуализма, упирившиеся в тупики сексуальной разнузданности и преступления, показались брату малодушной, постыдной игрой, и ему показалось, что «настоящее» там, где есть и настоящие жертвы.

Уже при начале войны у брата было одно время желание идти на войну, хотя бы санитаром, но брат этого тогда не сделал, вероятно, потому, что не успел увидеть ясно тупик, к которому он двигался; к тому же война была обычнее революции и не могла, может быть, достаточно поразить его воображение.

Но были еще два обстоятельства, которые толкнули брата именно к революции. Первое и главное из них — это встреча с одной девушкой, Марией Михайловной Добролюбовой<sup>20</sup>, сестрой известного сектанта Александра Добролюбова<sup>21</sup>. М. Добролюбова явилась на пути брата как раз тогда, когда он сумел оборвать свой первый роман и сознал ложь и стыд своих последних исканий, не зная сам, куда дальше двинуться.

М. Добролюбова поразила брата не только редкой красотой, но, главное, своей исключительной напряженной духовностью, которая также отражалась на ее наружности. Когда брат ее увидел, он сразу вспомнил Жанну д'Арк; ему показалось, что такой именно и должна быть женщина-героиня, женщина-святая.

Как впоследствии писал и рассказывал брат, при встрече с М. Добролюбовой он так растерялся, что не знал, что говорить, что делать, не смел поднять глаз, но не мог не искать ее, хотя сразу же понял, что во всяком случае здесь не может

быть речи о земной страсти, земном увлечении. Брат просто считал, что М. Добролюбова — его судьба, его совесть, вестница неизбежного.

Я никогда не видел М. Добролюбовой, но слышал не только от брата, что подобное же впечатление живого укора, нездешнего призыва она производила на многих. Судя по фотографиям, М. М. была просто строга, красива и серьезна, но фотографии едва ли когда-нибудь передавали духовную сущность\*.

Жизнь и поведение М. М. Добролюбовой соответствовали впечатлению, которое она производила. С начала японской войны она была сестрой милосердия на фронте, где работала в самых тяжелых условиях, а вернувшись в Петербург, всегда помогала всем, кому могла.

М. М. постоянно болела душой за кого-нибудь, часто молилась, имела пророческие сны, иногда проявляла ясновидение. Несмотря на духовную серьезность, была проста, женственна, весела, умела одеваться.

Дневники ее были похожи на сплошную молитву, разговор, часто спор с Богом, но о ней самой в обычном смысле там не было ни слова.

Вернувшись с фронта, где она успела, общаясь с солдатами, привязаться к простому народу, которому всячески хотела служить, М. М. легко поддавалась интеллектуальному влиянию революционеров, среди которых тогда еще были идеалисты.

За М. М. пошел и мой брат, пошел еще и потому, что жаждал не только настоящего дела, но теперь уже и духовного очищения, искупления.

Брат прямо рассказывал, что присутствие М. М. прежде всего заставляло его глядеть глубоко в себя, все время быть начеку, чтобы делать только то, что не ложь, к чему не пристают тщеславие, гордость и т. п. мотивы. И это-то чувство и привело его очень скоро к выводу, что «настоящее» дело, настоящая духовная жизнь и есть прежде всего прислушивание к какому-то внутреннему голосу, который то стыдил и корил, то куда-то звал. То же чувство подсказало брату, что его прямой долг смириться перед М. М., признать не случайностью встречу с ней, признать святость ее силы и идти туда, куда идет и она.

---

\* Зинаида Гиппиус неверно описывает М. М. Добролюбову как «белокурую мадонну»<sup>22</sup>. Волосы ее были «иссиня-черными, как вороново крыло», так говорил про нее брат. (Примеч. автора.)

Когда он как-то ей почти во всем прошлом покаялся (а покаяние перед такими людьми почти неизбежно), М. М., не помню хорошенько, не то заплакала, не то закрыла лицо руками и стала дивиться на свою собственную греховность. Ее греховность, как оказалось, заключалась в том, что на войне она как-то загляделась на красивого спящего раненого офицера и, кажется, захотела погладить его голову.

С мирской точки зрения, такая чистота может называться смешной, но брат, рассказывая про это, конечно, не смеялся... Такие люди умеют находить искру Божию в каждом, но видят и незримую неразрывность цепей соблазна, начиная от дыхания мгновенного помысла до явного порока, и для таких людей и самое легкое веяние злой мысли — грех.

Вторым особенным обстоятельством, заставившим брата поверить революции, было с юных лет испытываемое им чувство, которое он называл «стыдом перед простым народом».

Брат признавался, что он никогда не мог спокойно в присутствии «простого человека»: слуги, крестьянина и т. п. — не только заниматься спортом, напр[имер], кататься для удовольствия верхом, но не мог спокойно играть на рояле. Ему было стыдно. Стыдно было ему принимать и услуги простых людей. Вообще он стыдился барства. Вот это-то свое чувство в период своего похода к революции он и признал за голос совести, не только осуждавший социальную несправедливость современного общества, но и оправдывающий социализм.

Как человек интеллектуально развитой, он не мог, конечно, ограничиться только следованием этому голосу и одной слепой верой в правду, в которую поверила М. М. Добролюбова. Разумеется, он принялся изучать и теоретически политическую экономию и социалистические доктрины, но когда он говорил о них, чувствовалось, что это у него не главное, что он даже не любит, в сущности, об этом говорить, что он точно торопится, не хочет на этом останавливаться, боится, что его вдруг собьют.

Теоретической убежденности в нем тогда не ощущалось.

## V

Брат агитировал в Старооскольском уезде Курской губернии, вербуя членов в Крестьянский союз. При его доверчивости и прямоте дело вскоре, в начале 1906 года, кончилось арестом. Заключение брата было непродолжи-

тельным. Брат был по суду оправдан. Осенью, после роспуска 1-й Государственной Думы, он вновь поехал на юг и вновь был арестован<sup>23</sup>.

В тюрьме на него стали находить первые сомнения в верности избранного им пути революционера. Брат, по его словам, стал понимать, что, кинувшись в революцию ради духовного очищения и любви, он другим ни любви, ни очищения, словом, того начала, которое встретил в М. М. Добролюбовой, не несет, а по-прежнему занимается чем-то, что нередко не имеет никакого прямого отношения к его духовной жажде, а иногда прямо ей противоположно. Кроме того, если он сам в этот период своей жизни уже отчасти сумел подавить в себе гордость и тщеславие, сознательно, несмотря на свои дарования, образование, некоторое литературное имя и т. п., выступая в роли рядового партийного работника, то он не мог не видеть, что не все его товарищи так же чисто настроены, особенно революционные верхи. Наконец, сидя в тюрьме, брат столкнулся ближе со многими простыми людьми, которые стали его как интеллигента забрасывать различными метафизическими и этическими вопросами, на которые брат по совести не мог отвечать, ограничиваясь только жалким катехизисом марксизма.

Брат почувствовал, что многие вопросы, идущие из самой глубины простых сердец его собеседников, гораздо страшнее, чем вопросы социальной несправедливости, но в ответ он должен был молчать, т. к. понял, что на многое, очень многое у него самого нет ответа. В большинстве таких случаев невольно, сам себе удивляясь, брат стал отсылать своих собеседников за ответом к Евангелию.

Несмотря на сомнения в своем революционном деле, брат все еще старался настроить себя на боевой лад, искусственно держал себя вызывающе и, наконец, бежал из тюрьмы.

Но во время своего бегства, вместо чувства торжества или страха погони, которую уже слышал, брат вдруг почувствовал всю искусственность, театральность и ненужность своего положения.

Понял, что, став революционером, сам не стал свободен, что только переменял роль, в лучшем случае образ мыслей, а поступает по-прежнему, по внешним соображениям, рассуждениям.

И им внезапно овладела жажда вот именно теперь, начиная с данной минуты, поступать только по внутренней

необходимости, по самой глубокой внутренней правде, раз навсегда отбросив все внешние соображения.

Только во внутренней правде и необходимости, почувствовал он, и есть свобода.

Он понял вдруг, что теперь именно не должно быть в нем никакой игры, чем бы это ни кончилось.

Охваченный такими переживаниями, он остановился и залег в канаву. Он понимал, что решается его духовная судьба. Теперь или никогда.

Между тем погоня приближалась, и чем ближе приближалась, тем стыднее становилось ему играть какую-то роль, да обманывать к тому же тех, кто гнался за ним.

И вдруг ему все сильнее стало хотеться порадовать этих людей, к тому же ведь также «людей народа», своею сдачей.

Когда погоня пролетала мимо него, хотя он мог отлично остаться незамеченным, он поднялся и, оставив свое прикрытие, окрикнул преследователей. Жандармы или стражники (точно не знаю) были жестоки с братом. Его избивали долго, топтали ногами несколько человек и, наконец, бросили в яму с нечистотами.

Кажется, на следующий же день, не то в тюремном лазарете, не то в тюремной камере, брат ответил истязателям кроткой простой песенкой-стихотворением, которое начиналось словами: «Они цветы мои сорвали и растоптали все мечты»<sup>24</sup>.

С этого дня, хотя с братом и случались рецидивы угрызений «революционной совести», с точки зрения которой он оказывался дезертиром, трусом, в его душе все крепло сознание, что он поступил правильно и что истина не там, где он ее искал прежде.

Когда к нему в камеру поместили одного арестованного крестьянина, очень кроткого по нраву и чистого сердцем, брат, по его словам, уже окончательно понял, что единственное, что надо дарить людям — это самую любовь, потому что она и есть самое сокровенное «я», потому что только в ней и есть свобода. Наконец, тогда же он стал понимать, что не надо думать о формах любви, о пользе, о последствиях своих поступков, заботясь только о чистоте самой любви, форму же любви, характер дела найдет она сама, найдет дух, скажет Бог. После этого нетрудно догадаться, что чтением брата стало Евангелие, а состоянием духа — радость. Радость усилилась присутствием в его камере чистого сердцем крестьянина, с которым

брат понемногу стал делиться своими новыми переживаниями, что крестьянин отлично понял.

Это понимание, по словам брата, наполнило его таким трепетом духовной радости, что этот месяц в тюрьме брат стал называть медовым месяцем своей духовной любви.

Но в самом начале уже сознаваемого обращения к Богу брата ждали самые тяжелые испытания. Письма от М. Добролюбовой, которых он ждал, как чего-то самого дорогого на свете, вдруг перестали приходить, а брату вскоре приснился сон о венчании М. Добролюбовой. Сон этот брат понял как весть о ее смерти. Разумеется, до конца предчувствию не поверил, но мучиться стал несказанно. Подбодряло только обещание скорого выпуска его из тюрьмы. Свобода и весть о смерти казались несовместными. Думал, что еще встретится с М. М., что они, уже не как товарищи по партии, а как брат и сестра по духу, начнут какое-то новое, еще неясное служение Богу и народу. Но надежда не оправдалась: день выхода из тюрьмы был вестью о смерти Марии Михайловны<sup>25</sup>. Друзья М. М. и брата боялись сообщить ему страшную новость в тюрьму.

Несмотря на юность, М. М. умерла от неисправности сердца, которое точно перегорело от любви, его переполнявшей. Так говорили, по крайней мере, те, кто ее знал.

Когда весной 1907 года, по своему освобождению, брат снова вернулся в Петербург, внешне он имел вид человека, разбитого горем. Помню, несколько раз я заставал его рыдающим, иногда одного, иногда в обществе то матери, то нашей няни. Когда его, всегда такого сильного, я увидел первый раз плачущим, я почувствовал всем своим существом, что теперь он еще сильнее, и не было у меня страха за него.

Вскоре брат всецело отдался служению памяти М. М.: ходил на ее могилу, разбирал ее бумаги, посещал ее друзей и хлопотал об увековечении ее памяти путем создания народной школы ее имени. Потом по какой-то инерции стал ходить в клуб приказчиков, где прежде (летом 1906 г.) агитировал, но вместо революционной пропаганды стал рассказывать своей аудитории про свои жизненные искания, свои сомнения, жажду Бога, смерть М. М., про все, что переживал.

Его слушатели были потрясены, и многие из них так же, как брат, отреклись от революции, прося только, чтобы они не покидал, показал духовный путь, куда идти.

Я увидел некоторых из этих полуинтеллигентных людей и был поражен, с какою нежностью они говорили о брате, с какой трепетной жаждою искали его.



Понемногу, для меня неожиданно, брат стал беседовать и со мной, рассказывая о себе.

Мне было 16 лет, многого я не мог совсем понять, но каждая беседа наполняла меня какой-то несказанной радостью. Помню, что в одной из таких бесед брат рассказал мне почти всю свою жизнь. Поделится со мной он и таким своим переживанием, как рассказом о великой радости, которую он испытал на могиле Мар. Мих. Пришел он туда в унынии, и вдруг точно волна теплого света захлестнула его душу, и он ясно почувствовал, что этот свет, эта радость и есть дух самой Мар. Мих., который коснулся его. Тогда же он сказал, что он думает, что это явление и есть воскресение, подобное воскресению Христа. Какая-то правда почувствовалась мне в его словах, но что-то и огорчило. Хотя я сам не мог назвать себя тогда очень верующим, мне хотелось все же и тогда думать о воскресении иначе, не только о воскресении духа, но и тела, но тогда я не смел говорить с братом об этом. На вопрос о том, что будет брат делать в дальнейшем, он отвечал неопределенно, говоря, что Бог укажет.

В начале лета брат уехал неизвестно куда.

Под осень я впервые самостоятельно поехал в имение деда, чтобы, наконец, повидать этот родной, ранее запретный по воле матери, для меня уголок — эту сказочную, обетованную страну моего детства. Уже перед отъездом я узнал, что брат появился там, но поселился не в усадьбе, а в деревне в качестве батрака у одного крестьянина<sup>26</sup>. Узнал я и то, что брат побывал у Толстого<sup>27</sup>.

## VI

Первое знакомство с родной усадьбой и жизнь в ней очаровали меня, но, несмотря на это, острый интерес и любовь к брату не были заслонены. Брат и весь остальной мир, казалось, встали передо мной точно две равные части одного целого.

В первый же день приезда я увидел брата и в первый же день почувствовал его новую силу. В мужицкой одежде, загорелый, похудевший, с отросшей курчавой бородкой и усами, не закрывавшими губ, он показался мне действительно другим, новым человеком, таким, каких я не видал нигде.

Особенно острый, немного жесткий и сухой огонь его глаз и виноватая, кроткая улыбка не скрытых усами губ производили неотразимое впечатление. Необычайным показалось и приветствие брата: «мир тебе». В первые

мгновения я почувствовал смущение и вспомнил все то, что успели мне написать и рассказать о брате, что будто бы не то он больной, ненормальный, не то нарочно корчит из себя неизвестно что. Но мое сознание тотчас же отвергло эти предположения.

Кроме непривычных слов: «мир тебе», брат сразу же заговорил со мною просто и приветливо и в отношении меня никаких «странностей» не допускал. Мне стало очевидным, что, вероятно, его просто не понимают и потому и считают странным. На деле оказалось, что истина была до некоторой степени посередине. В усадьбе брат действительно держал себя необычно, и действительно не все его понимали. Так называемые «странности» его выражались в следующем: если ему приходилось сидеть со всеми за столом, то он почти всегда молчал, когда разговор касался светских, мирских тем (напр[имер], о политике, искусстве и т. п.), и принимал участие только в разговорах, касавшихся крестьянского или усадебного хозяйства, вообще в таких разговорах, которые имели практический смысл. Когда же его старались втянуть в мирской разговор, он виновато улыбался и говорил, прося прощение, что у него нет слов для разговора. Но еще решительнее он уклонялся при всех от бесед на темы религиозные, говоря, что ему очень трудно так сразу и легко говорить и отвечать на эти вопросы. «У меня нет свободы говорить об этом», — пояснял он. Обращало на себя внимание также, что брат стал есть только растительную, строго вегетарианскую пищу, почти совсем перестал читать газеты, совсем не читал мирских книг, словом, решительно, абсолютно отказался от всех занятий образованного общества. Наконец, бросался в глаза и новый характер его речи вообще, неопределенность ответов и часто крайне нерешительный оборот фразы; чувствовалось, что он точно ищет слов. Все это противоречило в корне его прежней, экспансивной манере вести беседу, его прежней речи, часто полной юмора, энтузиазма, энергии и блеска. Невольно для тех, кто не знал его внутреннего пути, казалось, что брат или подавлен, надломлен, или играет трудную роль. Поэтому многие говорили о нем или с грустным сожалением, или с благодушной иронией и то оплакивали погибшие способности, то выражали надежду и уверенность, что все это пройдет и брат переменится, как менялся столько раз и прежде.

Меня же подобные мнения не смущали. Я твердо чувствовал, что брат не переменится потому, что никогда не ме-

нялся в глубине своего ищущего духа, и потому, что действительно нашел то, чего искал, если не окончательную цель, до которой никому не дано дойти здесь, то настоящий свой путь. Мало того, увидав брата, его глаза и улыбку, я почувствовал впервые и раз навсегда, что цель жизни есть, что эта цель может быть только одна и что вот брат уже видит эту цель. Наконец, и это, может быть, было одним из самых удивительных ощущений, увидев тогда брата, я ясно почувствовал, что исполнились какие-то сроки, что сбывается что-то, чего ждал, о чем гадал инстинктивно с детских лет, что наступает то, о чем пророчила моя душа, о чем пророчила и сама жизнь брата. Последующая его судьба и потом смерть научили меня большому, и теперь бы я мог восстановить, пожалуй, всю цепь предзнаменований его обращения к Богу, а может быть, и его кончины.

Очень возможно, что жизнь особо духовных людей как бы в миниатюре отчасти повторяет священную историю человечества. Сперва жизнь предварительных исканий и предзнаменований, подобная жизни ветхозаветного человечества, потом встреча с Христом, богоусыновление и часто насильственная смерть и, как прообраз истинного грядущего воскресения, духовное воскресение в сердцах близких и последователей.

Доверие, точнее, вера в брата, когда я увидел его в деревне, подтверждалась тогда и доверчивым отношением к нему и других лиц. Помимо того, что почти все в нашей семье, особенно младшие, близкие мне по возрасту, относились к брату так же, как я, я не мог не обратить внимания, что и мой дед, государственный деятель и ученый, ценивший почет и почести, которые заслужил, относился к брату в высшей степени благожелательно, без тени иронии или осуждения. Дед теперь особенно радовался приходу брата и подолгу беседовал с ним наедине. Один же эпизод, характеризующий отношение деда к моему брату, особенно поразил и тронул меня. Как-то вечером за чайным столом зашел общий разговор о брате в присутствии деда, и многие высказывались о нем менее мягко, чем обыкновенно. Я слушал молча, с затаенной горечью, не смея, впрочем, никого особенно осуждать за такие речи, как вдруг обратил внимание, что мой дед тоже молчит и хмурится. Сперва мне показалось, что дед, может быть, не вникает в разговор и думает о чем-либо своем, как это часто у него бывало, но какое-то нетерпеливое вздрагивание его губы заставило меня убедиться, что он недоволен

темой разговора и вот-вот что-то скажет. Я стал ждать и гадал, что же он может сказать. Мне казалось, что едва ли его точка зрения может отличаться от общей, утилитарной, но я ошибся. Ответ деда был неожидан. Он вдруг встал с своего места, сделал знак рукой, как бы призывая к молчанию, и громко, вдохновенно, по-старинному, слегка нараспев произнес наизусть стихотворение Лермонтова «Пророк».

Заключительные слова он произнес с особенной силой, а когда кончил, твердо и просто сказал: «Вот мой ответ относительно Леонида, за меня отвечает Лермонтов». Дед слегка улыбнулся своей обаятельной улыбкой и вышел из комнаты.

Не мог я не обратить внимания и на то, что многие из крестьян и другие простые люди относились к брату с особой нежностью.

Но особенно поразило меня отношение к брату старого, жившего на покое сельского священника, некогда венчавшего моих родителей. Несмотря на то, что брат был явным сектантом, еретиком, этот священник охотно виделся с братом и радовался его посещениям. Однажды я посетил его вместе с братом и был свидетелем странной сцены. При нашем прощании старик священник, вообще грубоватый на вид, вдруг особенно смягчился, кротко улыбнулся и сказал: «Да, Леонид, если бы не твои ереси, какой бы праведник, может быть святой, из тебя вышел. Что бы тебе прийти ко мне исповедаться да приобщиться?» — «Не могу», — тоже кротко улыбаясь, ответил брат. Старик на это вздохнул, а потом вдруг пристально посмотрел в лицо брата и, положив руку ему на плечо, сказал: «А это будет, это будет!» — «Нет», — тихо ответил брат. На это священник опять улыбнулся и, обратившись ко мне, сказал: «Вот твой младший брат свидетель, он помянет мои слова, я не умру прежде, чем ты, Леонид, не исповедаешься и не причастишься Святых Таин».

Слова старого священника оказались пророческими. Он скончался в 1916 году, как раз месяц или два спустя после того, как мой брат снова приступил к таинствам Покаяния и Св. Причащения. Не знаю, вспомнил ли старик свое предсказание, но оно тогда сильно поразило меня, и мне помнится, что, если я ему тогда и не поверил вместе с братом, я с тех пор никогда не мог забыть его и всегда чем-то светлым веяло в душе, когда я вспоминал вышеописанную сцену.

Впоследствии, когда брат стал вновь православным, я напомнил ему об этом, и он мне рассказал, что накануне

его первой встречи с Толстым он посетил в Москве одного епископа на покое, который сказал, что ему, Леониду, дано будет, так или иначе, послужить православной вере\*.

Наконец, не могло не действовать на меня отношение к брату гр. Льва Толстого. Хотя взгляды Толстого, поскольку я успел с ними ознакомиться, тогда во многом меня, пожалуй, отталкивали (его поучения казались мне скучными, холодными), я как-никак преклонялся перед его личностью и гением.

Отношение к брату гр. Толстого я мог видеть из писем последнего, т. к. брат не только показывал их мне, но давал на хранение (к сожалению, они у меня пропали впоследствии)<sup>29</sup>.

Письма Толстого к брату поразили меня как содержанием, так и формой. Скажу прямо, из всех писем Толстого, которые довелось читать, эти письма мне действительно кажутся самыми удивительными.

Содержание их отличалось от многих других удивительным смирением, кротостью и теплом. Толстой никогда не поучал брата, а часто жаловался на недостаточность своего духовного горения, укорял себя в холодности и даже просил совета. Помню хорошо, что в одном из писем Толстой горько упрекал самого себя, что он сам до сих пор судит и проповедует обо всем с высоты своей верховой лошади, тогда как брат действительно имел бы право поучать, так как делает все, во что верит.

Наконец, во всех письмах к брату Толстой всегда говорит о своей нежной любви к нему, признаваясь, что полюбил его, как сына. Некоторые выражения Толстого были при этом удивительно нежными, ласковыми.

В стиле этих писем обращали на себя внимание неожиданные фразы на французском языке, на котором были написаны наполовину два письма. При «опрощении» обоих корреспондентов, казалось бы, это должно было казаться диссонансом, но на меня это производило впечатление особой непосредственности.

Здесь уместно сделать отступление и рассказать все, что помню из рассказов брата о графе Льве Толстом и о их взаимоотношениях.

---

\* По-видимому, это был епископ Антоний (Флоренсов), упоминаемый в мемуарах Андрея Белого<sup>28</sup>. (Примеч. автора.)

## VII

Когда брат впервые летом 1907 года посетил Ясную Поляну, в нем было много, как он сам в том признавался, отголосков его «революционерства» и самомнения. Поэтому, встретив Толстого в саду Ясной Поляны, он на вопрос Толстого, кто он, ответил: «Я революционер». На эти слова Толстой сразу же рассердился и, резко сказав, что он с революционерами не желает иметь ничего общего, повернулся и пошел к себе. Брату пришлось ждать до вечера, когда он, встретив Толстого опять в саду, обратился к нему уже как-то иначе, и тогда Толстой повел его в свою комнату.

Эта первая беседа закончилась уже тем, что оба собеседника разрыдались и навсегда полюбили друг друга.

Из вполне авторитетного источника я знаю, что Толстой так полюбил брата, что выражался о нем приблизительно в том смысле, что брат е д и н с т в е н н ы й настоящий толстовец, который его ничем не постыдит.

Брату же Толстой говорил неоднократно, что он полюбил его навсегда и бесповоротно и простит его и будет любить его и в том случае, если он совсем отречется от него, Толстого.

Зная брата, я ясно чувствовал, что мистическое устремление брата не может ужиться с той рационалистической закваской, которая сквозила в поучениях Толстого, и не раз выражал это брату, на что брат всегда возражал, что я не знаю настоящего Толстого.

Как пример расхождения книжного и живого Толстого брат приводил отношение Толстого к личному бессмертию. По писаниям Толстого выходило, что личное бессмертие, если им и не отрицается всегда, то не утверждается и не чувствуется, на деле же, по словам брата, Толстой не только все более и более верил, но духовно приближался к «мирам иным», не допуская и возможность духовного, молитвенного общения с этими мирами, в том числе и с усопшими людьми.

С большим умилением рассказывал мне брат, как Толстой ему, не без смущения, признался, что, молясь, он не может отвыкнуть креститься и иногда становится на колени.

Это признание казалось брату трогательным, хотя сам он в это время отрицал внешние формы молитвы.

Из рассказов брата о Толстом не могу не упомянуть, что однажды они произвели следующий духовный опыт. Толстой и брат разошлись нарочно в разные комнаты и взяли с собой, разделив пополам, всю полученную за этот день

Толстым корреспонденцию и затем, «помолившись духом», стали писать ответы на все письма.

Когда каждый закончил ответы на взятую себе половину писем, они обменялись этими половинами и продолжали отвечать каждый на другую половину. Таким образом, в конце концов, оба ответили на всю почту. Потом они сошлись и стали сличать свои ответы. В результате, к их общей радости, оказалось, что ответы обоих были не только совершенно тождественны по содержанию, но очень близки и по форме, а отвечать приходилось многим лицам, разных возрастов, пола и положений, и на разные запросы, иногда драматические, иногда даже комические.

## VIII

Первое мое пребывание в деревне было непродолжительным, но тем не менее оставило во мне много сильных впечатлений, среди которых на первом месте был брат. Поэтому осенью, когда брат появился в Петербурге, я был очень обрадован и сильнее прежнего потянулся душой к нему, но тут впервые резко почувствовал, что между ним и миром, вернее, мирской жизнью, такая бездна, которую не всегда легко переходить. Когда брат, сухой, загорелый, в мужицкой одежде, со своим сухим, жгучим блеском глаз и кроткой, виноватой улыбкой, появился в городе, странные, противоположные чувства возникали в душе.

С одной стороны, от брата точно веяло миром и тишиной русских рощ и полей и неизъяснимой отрадой действительно каких-то иных миров, с другой — было тяжело. При нем все наши городские интересы, разговоры, хлопоты, заботы вдруг начинали казаться смешными, нелепыми, иногда постыдными.

Брат никого, по крайней мере резко, не осуждал, не судил, но при всех, в суете, молчал, порой крепко молчал. И вот это молчание, может быть, или что другое точно переворачивало все крутом, и на все я начинал смотреть другими глазами... Точно маски спадали с людей, с разговоров, вещей и слов, и все выступало странно обнаженным. Если кто, хотя бы невинно, прихвастнет при нем, сейчас уж это заметно, кто рисуется — видишь яснее, кто чем-то недоволен, сердится — чувствуешь до ужаса внятно, и потому досадно, стыдно за того при брате.

Каждый признак пошлости, каждое праздное слово выступают как огненные буквы, и все неловко, и все больно

и за всех, и за себя. А то, наоборот, вдруг светло и радостно вот потому, например, что мать так горячо, хорошо что-то сказала, что отец такой простой, добрый, его слова, вот так и знаешь, никогда не режут ухо брату и потому мне точно устилают душу. Но сам не знаешь, что сказать, что делать. Вот, бывало, тогда набегает шутка на язык, но язык не поворачивается, чувствуешь, что это ни к чему, не нужно. Ведь брат-то не улыбнется праздной шутке, а хочется сделать что-то, что порадовало бы его, прежде всего его.

Но молчать неискренно — это притворство. Нет, притворяться, разыгрывать при нем из себя праведника нельзя. Только не это. Вот нарочно закуливаешь при нем лишнюю папиросу. Он этого не любит. Но пусть, лишь бы не притворяться. Но лишнюю папиросу, притом нарочно, тоже не надо курить. Я это знаю. Так что же надо? Нет правды, какой-то правды, но не правды своей повседневности, своих дурных привычек. Когда брат здесь, нельзя лгать, но нельзя оставаться и самим собою. Надо быть каким-то другим. Но каким? Невольно смотришь на него вопросительно, тревожно, а он вдруг в этот момент неожиданно кротко улыбнется, начинает расспрашивать о чем-нибудь просто, мягко, и вот внезапно снова веет тишиной березовой рощи, несказанным миром и покоем русских полей, и ответ сам рождается в сердце: надо быть таким, как он, хотя бы отчасти таким, как он: надо быть чистым.

Становится легче, а брат подходит, смотрит пристально и кротко и говорит: «Пойдем гулять, у меня есть теперь свобода говорить с тобой. Пойдем хотя бы на острова. В комнатах, в городе мне трудно говорить. Здесь все так давит меня».

Мы идем. Сперва долго молчим. Что сказать? Хочется сказать так много, но что главное? Мысли толпятся, не выберешь. Наконец, цепляешься за что-то случайное. Вот вертится на языке вопрос о музыке. Неужели брат так-таки совсем отменяет музыку. Но не успеваешь спросить, как вдруг брат сам начинает говорить.

«Как странно у вас, — начинает так, примерно конечно, говорить брат, — все у вас все спешат, сами не зная хорошенько куда. А уж о мыслях и нечего говорить. Кто здесь хозяин потока своего сознания? Тут не многие и слышали, что можно управлять потоком своих мыслей. Почитали бы хотя бы своих святых, и о них почти ничего не знают. Так многие до самого конца и не знают, что главное. Не знают, где самое сокровенное «я», что ему нужно».



Я слушаю брата и немного вздрагиваю, когда он начинает говорить. Его слова точно отвечают на то, что хотел спросить, но не нашел. Хочу сказать об этом, но молчу, а он продолжает. Рассказывает опять про Толстого, потом вспоминает про св. Серафима Саровского<sup>30</sup>.

Оказывается, что брат его очень почитает, чтит он многих и других святых. И это стало у него с самого начала нового пути.

До войны я был очень изнежен, избалован, мало ходил пешком, и такая прогулка пешком, как, например, на острова, меня обычно утомляла. Но, идя с братом, я расстояния не замечал. Вот мы уже в рощах Елагина острова. Я удивляюсь про себя, как скоро мы дошли туда, а брат опять, как бы в ответ моим мыслям, говорит: «У того, кто начинает гореть духом или даже в присутствии другого чистого, сильного духа, время, пространство и связанное с ними утомление почти не замечаются, все это исчезает», — и в пояснение своих слов он начинает рассказывать, как, помимо привычки, он теперь уже мало утомляется на крестьянских работах потому, что научился во время работы думать о другом, творить внутреннюю работу, но то же самое с ним бывает, когда около кто-либо чистый и высокий духом, тогда присутствие такого человека все преобразует вокруг. Только в городе, по его словам, трудно сосредоточиться: там все давит, все рассеивает. Природа же сама по себе всегда чистая, она не давит, вот почему у него мало слов и свободы говорить в комнатах.

«Вот вам, всем образованным, — поясняет брат, — чтобы наслаждаться природой, надо смотреть, любоваться пейзажами, а можно ведь и не глядя познавать и различать ее. Даже и у березок, и травок, и камней есть свой простой, чистый дух, который может вполне внятно, непосредственно говорить нашему духу. Только люди забыли, что у них самих-то есть дух; большинство теперь только душевные, а духовных людей так мало. А между тем даже и ваша церковь, все отцы ее учат, что в человеке три состава: плоть, душа и дух. Для души действительно нужно искусство и музыка; она, думаю, все-таки самая чистая, высшая из всех искусств, а тому, кто начал жить духом, тому этого уж не надо, тот иначе может постичь красоту всякой твари этого мира, да понемногу узнавать еще красоту и других миров, иных царств».

«Значит, ты музыку не совсем отрицаешь?» — цепляюсь я за слова брата, отчасти чтобы что-нибудь сказать.

А он поясняет опять, что для многих — «душевных людей» — она, может быть, самое высшее, для Бетховена, наверное, даже истинно духовное его дело. Ему уж так, значит, дано было от Бога, но вообще для духовных людей музыка мирская уже не нужна, а для многих средних людей часто вредна, т. к. она, как вино, просто дает временное забвение, нередко только убивая и заглушая и ту малую духовную жажду, которая есть.

Я чувствую, что брат во многом прав, но недоумеваю: что же делать? Не всем же, как он, опроститься. Я высказываюсь в этом смысле. Брат отвечает, что не всем дан одинаковый путь, не все должны буквально подражать Толстому ли, ему ли, но все должны не бояться прислушиваться к внутреннему голосу, и никто не должен заглушать его. Надо раз-два послушаться этого голоса, не побояться насмешек, а дальше сам этот голос укажет путь. «Вот бы ты хоть бросил курить», — неожиданно заключает брат.

«Это же мелочь», — возражаю я.

А брат отвечает, что первые шаги во всем мелкие, что нельзя пренебрегать и многим мелким, надо в чем-нибудь совершить поступок, пусть смешной, лучше даже смешной, чтобы положить грань между собой и миром, и тогда только начнется творчество жизни.

Люди больше всего думают о последствиях поступков, вычисляют всякую пользу и запутываются, иногда до самой смерти просидев над своими вычислениями. Но большинство последствий мы знать все равно не можем, и поэтому не надо думать о них. Люди все хотят опираться на свой малый разум даже там, где он ничего сказать не может, но надо не бояться быть и безумным, ибо «мудрое человеческое безумно перед Богом».

Люди часто думают о благе всего человечества и забывают благо, которое они могут сделать кому-либо одному. Да и это не так легко. Если вычислять и о таком благе — запутаешься, ибо наш разум и здесь последствий знать не может.

«Так что же делать? Тогда вообще ничего нельзя делать?» — спрашиваю я.

«Это ты отчасти хорошо сказал, — говорит брат, — есть стадия духовного развития, когда многие приходят к этому выводу; вот и «брат» Лев Николаевич одно время так думал, что ничего нельзя делать. Так и надо сперва думать, потому что по своей воле, по своему разуму действительно мы ничего делать не можем. Разум наш говорит, как делать, а

что делать, он не знает. Но есть другая Воля, другой Разум. Его надо слушать. Это вот и есть первое, основное дело. Это сперва трудно. Надо действительно сперва убить свою волю». И в подтверждение своих слов брат рассказывает, что, разочаровавшись в революции, он одно время даже думал, что ничего нет осмысленного в жизни, что ничего делать нельзя, и абсолютно потерял всякий вкус к жизни; он стал думать даже о самоубийстве, но вот тогда-то и понял вдруг, что его жажда настоящей жизни, эта жажда смысла, этот огонь, поедавший его, уже не времяпрепровождение, не игра, не выдуманное, а настоящий голос жизни, голос его самого сокровенного «я». «И я стал внимать этому голосу, — говорил брат, — и понемногу начал жить — новой жизнью. Сперва это было отрицание, отказ от всего бессмысленного, что делал прежде, а понемногу я стал слышать, что надо делать положительного. Пути Господни неисповедимы, и у Него часто, может быть даже всегда, так бывает, что рождающихся духом Он не оставляет в одиночестве, всегда посылает как бы восприимчивых. Вот и мне Он послал тогда брата Льва Николаевича и других еще братьев по духу. Они многому научили, и вскоре я понял, что тот голос, который сперва заставлял меня все отвергать, оказался голосом любви, так как он хотел видеть и любить и в других ту же жажду, и стал ненавидеть все то, что и другим мешает гореть духом. Когда я увидел Толстого, как он весь горит, трепещет от духовной жажды, я сразу полюбил его и понял, что именно надо любить, чему надо любоваться в людях, что надо им дарить.

Я очень большое значение придаю в словах «возлюбите ближнего, как самого себя» последним словам. Только поняв, как лучше возлюбить самого себя и что такое я сам, только поняв, что нужно моему сокровенному «я», можно знать, как возлюбить других, что им давать.

Когда я понял, что во мне самое основное, вечное — эта моя жажда смысла, это горение и любовь ко всем, кто так же жаждет и горит Духом, тогда я узнал, что нет и большего дара из всех даров, какие могут дать людям, как зажигание в них того же духовного огня, той же любви, ибо это и есть вода, текущая в жизнь вечную.

А как ее давать, эту Любовь, сама уж Любовь научит, если довериться ее голосу и заботиться только о том, чтобы слышать этот голос.

Иногда, может быть, твой дар окажется простой улыбкой, иногда словом, куском хлеба. Наперед не знаешь, и знать

не надо. У любви есть свой разум, он точнее, вернее, чем все наши соображения, вычисления. Надо доверяться ему. Это и есть вера в Бога. Бог не понятие, Бог — Живой Дух, Он дает ответы на все вопросы. Впрочем, надо сперва научиться слышать голос своего духа. Это не то же, что голос Бога, но для того, чтобы это различать, надо долгий опыт. Этому тому, кто не знает, не объяснить; да и я сам нахожусь в начале пути. О многом не дерзаю и спрашивать, но многим и великим перед Богом всего не открывается, хотя жаждущим никогда открываться не перестанет». — «Я вижу, — заканчивает брат свое разъяснение, — что ты, хотя не все понимаешь, спрашиваешь меня не только из любопытства, вот почему у меня есть сегодня некоторая свобода говорить с тобой».

Передавая свои беседы с братом, я передаю, конечно, не одну какую-либо его беседу, а слагаю то, что пришлось слышать от него не раз и в разное время в тот период, который он называл периодом своего толстовства.

В передаче его слов я убежден, что не погрешил против их смысла, точную же форму его речи я передать не претендую.

Наконец, разумеется, я передаю не все, а только то, что мне казалось существенным.

## IX

Для большей полноты общей картины моих городских встреч с братом за этот период его жизни считаю нужным рассказать еще о кое-каких его взглядах, словах, поступках и взаимоотношениях с окружающими.

Кроме разговоров, так сказать, о самом главном, не раз брат беседовал со мною и на другие темы.

Зная, что едва ли я смог бы довольствоваться тогда чисто духовной литературой, брат нередко, только отнюдь не навязывая, называл мне и светские книги, которые считал полезными для чтения. Эти книги были Виктора Гюго «*Les Misérables*»\*, первые полуфилософские сочинения М. Метерлинка, В. Джемса «Многообразие религиозного опыта», многое из Толстого, но не рассуждения, а беллетристика, из философов больше всего брат ценил неоплатоников, особенно Плотина, Якова Бёме и, наконец, помню, любил «Мысли» Паскаля и «*Les ornements de nocés spirituelles*»\*\* Руисбрука Удивительного<sup>31</sup>.

---

\* «Отверженные» (фр.).

\*\* «Красота духовного брака» (фр.).

Нередко брат говорил со мною про различных людей, чаще всего стараясь в них отыскать какой-либо признак духовной жажды, томления, которые ставил им в заслугу. Если же в ком-нибудь такие признаки трудно было найти, брат останавливался на каких-либо других хороших свойствах и хвалил разбираемых людей за простоту... Такие слова брат говорил обыкновенно тоном некоторого радостного удивления.

С годами похвалы тем или иным людям у брата все возрастали, и он находил все больше в людях хорошего, все сильнее на это хорошее умиляясь, но первое время в брате как-никак чувствовалась большая (сектантская) суровость, хотя он редко открыто кого-нибудь осуждал, но тем не менее давал определенно почувствовать свое отрицательное отношение. Выражалось это или в молчании, или в таких выражениях: «У меня к В. В. нету слов совсем», или: «У меня нет свободы говорить с М. М.», или даже прямо: «Как тяжело с Р. Р., он такой непросветленный».

Не могу не отметить, что брат претендовал на возможность знания человека помимо разговора и помимо впечатления глаз, но таким познанием не гордился, говорил, что оно становится для вступивших на религиозный путь почти неизбежным и часто бывает тяжелым.

В виде примера однажды он рассказал мне, что вот он был по формальному делу у одного неизвестного человека, которого не застал сперва дома, и уже от одной комнаты человека, его вещей стало ему, т. е. брату, так тяжело, что он понял, что находится в комнате «как бы вроде преступника», что вскоре и подтвердилось, т. к. незнакомец тот был судим за очень темные деяния и действительно был очень нехорошим по жизни человеком.

Еще помню, что на высказанное кем-то брату прямое обвинение, что с ним тяжело, он ответил, для меня неожиданно гордо, что «тем, кто тянется к свету, тем с ним не тяжело».

Как ни показались мне тогда гордыми его слова (которые едва ли бы брат произнес позже), я невольно стал обращать внимание на степень близости к брату различных людей и не мог не прийти к выводу, что тянулись к нему больше действительно те, кто был или добрее, или проще душой, или больше других внутренне чего-то искал.

Дальше всего от него были самоуверенные, самодовольные, и нетрудно было видеть, что о самодовольных брат говорил с большею горечью или о них молчал.

Увлекаясь новейшими течениями русской литературы, я не мог не удержаться иногда от расспросов о некоторых литераторах, которых брат знал лично.

Он неохотно отвечал на такие вопросы, часто бросая горькие фразы вроде того, что все они заменяют жизнь словами или путаются в словах, хотя некоторые, может быть, вначале и горели духом по-настоящему.

Помню, что брат выделил однажды из всех бывших литературных товарищей Андрея Белого\*, про которого сказал, что в нем более всего было подлинного горения и чистоты и что, быть может, он когда-нибудь еще выберется из лабиринта слов на путь творчества жизни.

Показалось мне, что теплее говорил брат о Мережковских. Несмотря на все возрастающее с годами увлечение творениями отцов церкви, брат долго относился отрицательно к культу и иногда, проходя мимо церкви, называл ее кумирней, а священнослужителей — жрецами, впрочем, никогда не позволяя оскорблять культа при тех, кому культ дорог.

Свое собственное прежнее литературное творчество брат, по примеру Толстого, почти целиком отрицал тогда, очевидно, не замечая, что в нем бессознательно, иногда почти пророчески, отражались его будущие духовные искания, быть может, и события жизни.

Помню, как-то раз брат взял сборник своих стихов и отметил только одно стихотворение как, по его мнению, «чистое», т. е. как искреннее, духовное, это было стихотворе-

---

\* В своей книге «Начало века» Андрей Белый посвящает моему брату целую главу. Отрадно отметить, что Белый, несомненно, почувствовал особую, светлую его духовность. Это сказалось в том, что Белый, только что потерявший отца, позволяя впервые познакомившемуся с ним моему брату — и только ему — сопровождать его на могилу отца.

«Проходили с ним воротами монастыря, мимо красного домика в зелень, цветы, к белоствольным березкам на фоне зазубренных башенок; здесь он затихал; отдав кудри ветрам, расширял он глаза на градацию красных зубцов и на купол сверкающий розового и большого собора; мы садились на лавочку, чтобы помалкивать; делался нежным, внимательным, чутким; меня без единого слова как бы приводя в состояние светлой грусти о близком, утраченном друге, отце [...] и то, чему как-то не вняли во мне Соловьев, Кобылинский и др., внял этот странный, случайный пришелец».

Много и других примечательных слов имеется в этой главе, напр[имер]: слова о «доброй детской улыбке» и о том, что «сухой огонь бегал в жилах его — не кровь».

Замечательно также, что убеждения брата, главным образом революционного периода, по мнению А. Белого, брат «точно на себя взваливал [...] он подбирал их, таскал, с охом, с кряхтом»...<sup>32</sup> (Примеч. автора.)

ние «Дева». И то в этом стихотворении вычеркнул несколько слов, как написанных «ни к чему», так, «для упражнения», «для рифмы», или, как он еще выражался, «написанные вроде как для кокетства».

Такую же операцию для примера он произвел с каким-то чужим произведением, объясняя, что он ясно чувствует, какие слова продиктованы внутренним голосом, какие на-слоились из чуждых духу побуждений.

В 1907 году осенью и зимой 1908 года брат долго пробыл в Петербурге и писал и хлопотал о напечатании своего «У порога неизбежности», напечатанного потом в альманахе («Шиповник»)<sup>33</sup>. Этими листками брат как бы прощался окончательно с миром и хотел, по их издании, окончательно бросить писать. Но летом, волнуемый происходившими еще тогда казнями, написал и по настоянию Толстого, с предисловием последнего, опубликовал в газете «Русское Слово»<sup>34</sup> (если не ошибаюсь) еще рассказ о повешенных, имевший некоторую аналогию с вышедшим почти в то же время «Расказом о семи повешенных» Леонида Андреева.

Одновременно той же зимой брат продолжал разбираться в рукописях М. Добролюбовой и знакомиться с различными набросками ее брата, известного сектанта А. Добролюбова, к которому намеревался поехать.

Но об А. Добролюбове, с которым брат потом сблизился и в колонии которого жил как бы в особом духовном послушании, брат ни со мной, ни с кем из родных, кроме как с моей младшей сестрой<sup>35</sup>, никогда не говорил, потому что считал его тогда настолько духовно высоким, что разговор о нем с непосвященными признавал, вероятно, чем-то вроде кощунства.

## Х

### Отрывки из «У ПОРОГА НЕИЗБЕЖНОСТИ»<sup>36</sup>

#### Песнь II

Я песнь пою о великом, неслыханном голоде,  
О голоде, который пожрал все вокруг,  
Все богатство, всю бедность,  
Все книги, всю мудрость, всю жизнь...  
О голоде, который гоняет человека по лицу земли,  
От которого ему негде укрыться,  
Который найдет его везде, который прогонит его сквозь всю  
пустоту его жизни,

Вознесет его на бесконечные, снежные вершины гор  
И оттуда свергнет в бездонную пропасть,  
О голоде, который погружает его в самые сокровенные глубины  
его морей,

Его сокровенного «я».

И который все же никогда не приведет его к смерти.

Это голод Бога!

Он хочет, чтобы все кругом было полно такого же голода,

Чтобы все горело им!

Ненасытный и жадный.

### Л и с т к и

Я хочу, чтобы все было осмыслено. Не хочу примириться,  
чтобы в жизни моей был случай, это значит из всего извлекать  
смысл, все делать осмысленным.

---

Довольно искать все причины, причины... Пора ставить  
цели. Так должен жить человек. Это я зову сознательностью.

---

И все ложь, все ложь в этом обществе!

Они любят драмы, говорят о драмах, ходят в театры на  
представления драм, которые должны ведь изображать их  
жизненные драмы, и любят слушать лекции о них.

Но разве это не ложь? Разве не ложь все, что они говорят  
об этом?! Потому что разве не придут они домой такие же  
чуждые и далекие друг к другу, как и были. Отчего вся жизнь  
их — будни?! Отчего нет никакого строительства в их жизни?!  
Отчего не знают они все новых и новых ступеней?!  
Отчего и после их восторгов и упоений все остается у них  
по-прежнему, и не видели мы нового человека в них?! Отчего?!

---

Ложь в том, что, когда я пишу, говорю, я уже не имею в  
себе внутреннего ощущения. Оно уже пережито для меня,  
и вместо него забота о том, как и кому я скажу. Но я жажду  
полноты ощущения каждый миг — и не говорите, что это  
невозможно, что это не есть, — потому что это бывает!

---

Есть один путь: оставить всякие заботы, потому что  
полнота ощущений есть самозабвение, есть самоотречение,



оставление всяких забот. Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не жнут, и станьте как лилии, тогда распустятся в душе вашей настоящие цветы жизни и будет — свобода.

---

Все внешнее мне подвержено закону железной необходимости — сцепления причин и следствий. Также и я, когда я внешний себе. Но разве я — только я внешний?

Этот закон царствует только в мире явлений, но разве человек только явление?

---

Пока мы будем думать о явлениях, заботиться о них, мы и будем жить только жизнью явлений, т. е. не свободно, в законах железной необходимости, убивая в себе внутреннего человека, не зная свободы.

---

Свобода — это слушаться всегда внутреннего человека, не сбивая себя никакими внешними мыслями, никакими заботами о том, какое следствие в мире явлений вызовет наше дело [...] каждая мгновенная мысль о внешнем подчиняет тебя ему.

---

Оставление забот о внешнем есть первый шаг к вере. Доверие внутреннему голосу без страха, который порождается в нас рассуждениями о внешнем, рассуждениями, почерпнутыми из наблюдения над явлениями, — только это доверие и приведет нас к свободе. Оно есть признание перво-степенности этого внутреннего голоса перед всеми другими знаниями. А до тех пор [...] мы будем все высчитывать [...] приспособляться к жизни, но так жизни самой и ее свободы и не испытаем. Будем идти в хвосте жизни. Мы поистине можем быть не рабами ее и не игрушками ее законов, а ее творцами и даже творцами ей нового закона. Такими мы призваны быть.

---

Заботой о внешнем я считаю не только заботы о твоём теле, о твоей наружности, о твоём завтрашнем дне [...] но и

всякую заботу о последствиях твоего сейчасного дела [...] хотя бы эта забота шла из источника любви.

---

Всякая забота о внешнем подчиняет тебя внешнему.  
А внешнее управляется не тобой, а своими законами [...]  
А ты поистине рожден творцом нового человека.

---

Долго я искал [...] кого ненавидеть. Потому что ненависть есть и была во мне, когда я видел кругом горе, страдание, тупость и ложь!

---

Ненависть — другая сторона любви. Я ненавижу все то, что мешает любви. Но что я люблю? Ужели людей такими, как они есть?! Их мелкие привязанности, их пошлость, их сытость, их тупость и их несвободу?! Нет, никогда! Когда я шел к людям, я звал их не к тому, чтобы сделать их сытыми: моя любовь хотела видеть их свободными, хотела сделать их смелыми, забывающими себя, отдающими все от себя, прекрасными, гордыми, сильными, хотела их подвига, их самопожертвования.

Этого требовала моя любовь и ненавидела все, что мешало их свободе, что делало их темными, тупыми, мелкими, злыми, ненавидела их привязанность к этому миру. Эти истинные цели людей — их рабство.

---

Отчего я пишу это? Какое я право имею на это, кто дал мне власть учить и судить людей?! Не есть ли это сомнение, — оно входит, как язва, в человека, незаметно и тихо, а потом глядит из него, из всех его пор, превращая его в посмешище!

---

Мы часто и свободы боимся. (Даже и это бывает!) Потому что боимся тогда остаться перед пустотой. Как жить?! Что делать?! Что делать, если не делать того, что делают все кругом?! Все делают, значит, это нужно, значит, и нечего нам рассуждать об этом. И спешим закабалить себя первому попавшемуся делу, только бы не самим решать вопрос о смысле своей жизни, о целях ее. Боимся такого вопроса, но

не есть ли это самая ужасная трусость?! и не такое же ли это самоубийство, как всякое другое?

---

Есть минуты страшной ответственности за других людей, и тогда чувствуешь, что не смеешь играть, что требуется что-то страшное, настоящее — и не знаешь, где взять его.

---

Что делать?

Каждая чистая улыбка есть дело. Дать, подарить ее людям, вызвать ее у них — уже есть дело. Разве мало дела нам?

---

Человек ведь новая тварь в ряду созданий, об этом говорит даже и наша наука, так почему же невозможна и еще новая тварь? Творите новую тварь в себе. Об этом отчасти говорил и Ницше. Но не на тех путях. Новая тварь, — ее знали апостолы. И я знал новую тварь.

---

Чего я ищу? Может быть, только более глубокого ощущения жизни. Травы растут одним ощущением, животные — другим, более высоким, наконец, люди — третьим, самым высшим на земле. Но ничто человеческое меня не удовлетворяет. На их языке: я потерял вкус к жизни, да! но не вообще к жизни, а к их жизни! и ничто еще не заставило меня разочароваться в надежде, что есть настоящее. В их жизни его нет для меня. Из нее я должен уйти. Но какая-то сила во мне, жажда, искательство, не позволяет стать самоубийцей — и я живу, я живу. Пусть это страшно мучительно!

---

И все-таки в глубине души есть предчувствие, или есть убеждение, или хотя бы допущение возможности такой грядущей полноты, когда каждая душа и каждая пылинка этого мира очнется, воскреснет и узнает себя во всем и в едином. Тогда все будет полно такой неслыханной дрожи, такой любви и такой радости о жизни, о какой не смеем теперь и мечтать. Господи, Боже мой, Боже!

Маша, неужели этого не будет?!

Летом 1908 года, по окончании гимназии, я опять попал в Рязанскую губернию, где снова был и брат.

Уже в это второе лето сектантской жизни брата для меня стало заметно, что в нем несколько меньше суровости и той некоторой натянутости, как бы сектантской обрядности, которая была заметна в первый год.

В деревне брат по-прежнему работал батраком у крестьян за стол и угол, но для многих, самых бедных, работал даром, выложил печь одной совсем одинокой вдове, починил избу и т. д.

Круг его знакомства значительно расширился, и к нему приходили сектанты из далеких мест, нередко и он уходил навещать своих новых «братьев».

Сознавая, что духовное общество, братство, община для религиозной жизни необходимы, брат хотел было пристать к одному, но открыл в большинстве местных сектантов совершенное своеобразное противопоставление своей общины и мира, не чуждое, впрочем, и некоторым представителям церкви, с которым он, конечно, согласиться не мог.

Сектанты эти считали советы христианской морали обязательными только в отношении своих. Основывались же они на собственном толковании притчи о милосердном Самарянине, т. к. по этой притче «ближним», по их мнению, называется только «оказавший милость», — остальные для них были «внешними».

Жажда войти в какую-либо братскую общину, а вероятно, и жажда послушания, была у брата так сильна, что, потерпев неудачу найти общину людей, близких совсем по духу, в Рязанской губернии, он, кажется, уже зимой 1909 года отправился к А. Добролюбову в Саратовскую губернию. Путь свой он совершил больше чем наполовину пешком.

После этого лета, вспоминая в разлуке брата, я чаще всего вспоминал его сидящим неподвижно на опушке леса, освещенным вечерним солнцем, с глазами, устремленными вдаль. Таким нередко я видел его, катаясь вечером верхом. В эти минуты я боялся тревожить его. Я твердо уже знал, что праздным он не бывает даже в минуты отдыха, даже перед сном, и я помнил его слова: «Можно научиться управлять не только потоком сознания, есть способы управлять и своими снами. Можно почти всегда увидеть и во сне, кого ищешь духовно, и во сне также получать указания. Господь всегда бодрствует и внемлет нам».

Потом долго я брата не видал. Он жил с год у Александра Добролюбова, странствовал и по многим другим местам России. Не раз бывал у Толстого и у нас в Рязанской губернии. Я же сам в Рязанской губернии более не бывал и о брате узнавал больше от других и только иногда из его редких писем.

Из рассказов о брате узнавал, что он жил по-прежнему по-мужицки, читал все больше книги духовного содержания и все более удалялся от мирской жизни, говоря, что, может быть, уйдет совсем куда-либо в глушь, в леса Урала или Сибири. Новое в рассказах о нем были вести о все более возраставшем его духовном влиянии.

Многие люди, чаще простые, иногда образованные, стали приходить к нему даже издалека, они искали его советов и слов, хотя он сам не считал себя вправе выступать с какой-либо проповедью.

Знаю достоверно, что из приходивших к нему людей многие, сами того не желая, раскрывали ему свои тяжкие проступки.

Известно мне также, что почти безнадежные алкоголики после беседы с братом решительно расставались со своей несчастной привычкой.

Один подобный случай, рассказанный мне людьми, которым не имею основания не верить, особенно ярко подчеркивает то влияние, которое брат мог иметь.

Однажды по навету одного помещика, все подозревавшего в брате тайного революционера, было отдано распоряжение об аресте его.

Приехавший за этим местный полицейский чин, увидя кроткое поведение брата, внезапно упал перед ним на колени и стал каяться во всех своих слабостях, главной из которых было пристрастие к вину. Арест брата так тогда и не состоялся, а полицейский чин после этого свидания с братом действительно нашел в себе силу побороть навсегда свою дурную привычку. Это подтвердил впоследствии со своей стороны и брат, вообще неохотно говоривший про этот случай.

Ручательство деда или моего отца (в точности не помню) прекратило дальнейшие попытки политического преследования брата, но зато указанный выше помещик нашел иной способ воздействия, обратив внимание кого следует на то, что брат не отбывал воинской повинности.

Брат знал, конечно, что его призовут и что призыв повлечет вследствие заранее решенного отказа от службы пресле-

дования, но не считал возможным торопить миг своих страданий, полагая, что Бог лучше знает все сроки.

Разумеется, знали о положении этого вопроса и все члены семьи начиная с деда, но не считали себя вправе заниматься доносительством, понимая, что отказ от военного долга таких людей, как брат, исключительный случай, который должен был бы быть как-либо регулирован законом, как сделано это для монашествующих.

Несмотря на решительный отказ брата служить в войсках, вместо непосредственного судебного преследования он был насильно отправлен в Екатеринбург, где и был зачислен в пехотный полк.

Отказ подчиняться требованиям полкового начальства вызвал его арест при полку, после чего начальство полка, видя, что устрашение не действует, прибегло к методам продолжительного увещания. Каждый день в карцер брата стали являться то те, то другие офицеры полка, часто сам командир. Эти увещания привели к довольно оригинальным результатам, так как уже через неделю превратились в духовные беседы офицеров с братом. По очереди, один за другим, почти все приходившие офицеры стали рассказывать брату истории своих жизней, свои слабости и горести, часто просили духовных и житейских советов, причем каждый просил не говорить другим о характере беседы.

Брат, все еще тогда имевший, как сам выражался, «остатки революционных предрассудков», относился сперва к военным с некоторым предубеждением и был удивлен, встретив среди них сразу столько хороших сердцем людей.

Впоследствии он даже утверждал, что с военными ему гораздо легче, потому что они ближе к народу, чем большинство штатских, и потому, вероятно, проще и горячее сердцем.

Духовное сближение с офицерами полка поколебало брата в решении безусловного отказа, и он после того, как командир убеждал «не губить его авторитет, карьеру», расстроившись, желая чем-либо порадовать людей, которых горячо полюбил, позволил себя остричь и обмундировать в надежде, что, может быть, от винтовки его избавят.

Когда же брат взять винтовку все же решительно отказался, тогда против него было возбуждено судебное дело, и он был отправлен в тюрьму в Казань.

О многих офицерах он сохранил самые лучшие воспоминания и долго еще получал от них письма, которые называл удивительно хорошими.

Наша семья не могла остаться равнодушной к судьбе брата, и отец поехал посоветоваться, что можно тут сделать, к Столыпину<sup>37</sup>.

Столыпин видел единственный исход в испытании душевного здоровья брата, т. к. с этой точки зрения легче всего признать такого человека, как брат, непригодным к военной службе. Соответствующее направление и приняло дело, и брат был помещен на испытание в дом умалишенных в Казани.

Почему-то брата поместили в общую камеру, и общество душевнобольных стало для брата новой мукой, просто пыткой. Брат спасался тем, что стал писать свои воспоминания. Просто сосредоточиться, уйти в мистическое созерцание он в такой обстановке не мог.

Мало облегчали его положение и беседы с врачами, среди которых многие смотрели на него все же как на интересный для наблюдения объект.

Признался брат, что и сам он одно время вместо прислушивания к «внутреннему голосу» стал иногда смотреть на себя с внешней точки зрения, как на объект, и это было самым тяжелым. В частности, сознавался он, некоторое время смущал его и избавивший его от военной службы диагноз: «дегенерат высшего типа».

Когда, наконец, врачи вынесли свое решение, брат был зачислен в ратники 2-го разряда.

Из Казани, с заездом в Петербург, брат опять уехал в Рязанскую губернию.

В это свое посещение Петербурга брат, помимо рассказов о своих мытарствах, поделился со мной и написанными им воспоминаниями о своей жизни, которые продолжал писать и у нас. В этот период он по-прежнему считал целью человеческой жизни, как об этом учил св. Серафим Саровский, «стяжание Духа Божия» (углубление брата в святоотеческие писания все возрастало).

Результатом такого стяжания Духа Божия людьми должно когда-нибудь быть полное одухотворение и преображение вселенной и воскресение всех мертвых.

Зачатки духовной, но плененной материей силы брат видел в основе всего, у каждой твари, и очень любил повторять слова апостола Павла: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, — потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего (ее), — в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства

тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доньше»<sup>38</sup>. Отсюда понятно трогательное отношение брата к природе и животным.

Не могу не отметить, что мне всегда приходилось наблюдать, что домашние животные всегда ласкались к брату, так же как и дети, несмотря на то, что мужицкий костюм брата и его довольно молчаливое поведение, казалось бы, могло их смущать.

Среди средств, способствующих духовной жизни, брат большое значение придавал труду, и труду физическому в особенности. Из сказанного видно, что верования брата уже тогда были весьма близки во многом к учению Церкви, расходился же с Церковью брат тогда в том, что кроме непризнания таинств и обрядов не верил по-настоящему и во Христа.

Христос, хотя и был тогда для него Высшим, самым могучим, совершеннейшим из всех сынов Божиих, не был еще для него вторым, предвечным Лицом Святой Троицы и Искупителем мира.

Догматы церкви и церковь брат считал тогда только неизбежной, может быть когда-то высшей, но преходящей исторической формой духовного развития человечества. «Жил бы я столетиями двумя раньше, — нередко говорил брат, — конечно, я был бы православным иноком».

Каково было отношение брата к жизни сексуальной?

Первое время после своего обращения он в ней не видел ничего, кроме природного факта, безразличного самого по себе с точки зрения этической и греховного только тогда, когда сексуальная жизнь мешает духовному росту или становится кумиром. Но по мере дальнейшего своего духовного развития брат стал смотреть на сексуальные отношения более сурово, считая их для людей, ставших на духовный путь, абсолютно недопустимыми, и называл влечение к женщине как таковой «нечистой страстью». При полном аскетизме (в этом смысле) брата, который, знаю, дался ему легко (брат говорил, что ему достаточно только назвать мысленно «нечистым» малейший помысел, чтобы он сразу исчез), его строгие воззрения были понятны, но нам в наши студенческие годы было трудно примириться с объявлением всей эротической романтики в жизни и искусстве в нравственном смысле дурным или, в лучшем случае, совершенно безразличным. Мы ждали, что брат и здесь скажет когда-либо другое слово. И однажды брат сказал: «Бывает не только страсть,



но и любовь. У Бога так устроено, что, когда впервые приходит плотская страсть, Он вкладывает в сердца юноши и девушки часто настоящую духовную любовь. Она зовет к совершенству, к высшему. Эта любовь — прообраз той любви, которую надо иметь к Богу, которую имеют святые, но люди чаще не понимают этого и остаются только при одной страсти, оправдываемой рождением детей. Эта любовь иногда великий урок...»

В 1913 году стали заметны перемены и в некоторых других взглядах брата. Так, он, по примеру Толстого и по прежней социалистической закваске отрицавший частную собственность, стал признавать ее большое духовное значение и сам приобрел в лесу деда участок земли, где построил себе домик и организовал собственное хозяйство.

Интерес к хозяйственной жизни у него настолько возрос, что он стал принимать участие в хозяйственной жизни именина деда и после смерти последнего в 1914 году иногда временами управлял имением, хотя говорил, что это ему тяжело. В этих делах брат проявлял практические способности, вводил улучшения и следил за техникой сельского хозяйства, искренно увлекался всем новым, в том числе и разными иностранными изобретениями. Брат охотно делился разговорами об этом с отцом и другими родными.

## ХII

В 1915 году, к удивлению его знавших, брат стал называть себя прямо православным и говорил, что он уже принимает все догмы церкви, но таинств и обрядов, кроме некоторых (крещения), все же еще не признавал.

В 1916 году стало известным, что брат побывал летом в Оптиной Пустыни, откуда, побывав там осенью вторично, приехал к нам в Петроград уже совсем православным.

Странно было видеть его благоговейно крестящимся на церкви, иконы и каждое утро возвращающимся с ранней обедни. Но еще более необычным был в этот приезд он сам.

По-прежнему он был в крестьянской одежде, по-прежнему редко принимал участие в общих мирских разговорах, но тем не менее он, еще раз [повторяю], казался совсем другим. Прежней суровости уже не было в нем. Все лицо его постоянно светилось доброй, ласковой улыбкой, и не чувствовалось в нем уже никакой принужденности, хотя и бросалась в глаза какая-то постоянная, робкая стыдливость, бережность всех слов, всех движений.

Брат всем почти привез из обители иконы и на каждой из них сзади написал карандашом имя, кому она принадлежит.

Я с 1914 года брата не видал, и меня поразила его внешность. Он уже постарел слегка, курчавая борода была довольно густой, длинной, но губы, как всегда, оставались не совсем прикрытыми усами. Курчавые волосы были тоже длиннее, и все это как-то больше подчеркивало тонкий, точно вытянутый нос и глаза. Многие, особенно посторонние, люди говорили, вот бы с него писать икону, и действительно чем-то древним, иконописным, благодатным веяло от его лица.

Рассказывая о старце Анатолии<sup>39</sup> и Оптиной Пустыни, брат заметно умилялся, и в его голосе все чаще чувствовалась расстроганность. Нельзя было не сознавать, что многое, что он говорит, он говорит от радостного внутреннего переполнения.

Его новый и последний духовный переворот, насколько знаю, произошел таким образом.

Все более углубляясь в духовную литературу, брат все более убеждался, что духовная мудрость, высота и полнота; таится в лоне Православной церкви; понемногу брат стал убеждаться и в том, что то, что он называл внешними формами религии, не случайно почитается ее лучшими представителями. Брат стал думать о том, что если любимые им св. Серафим Саровский, св.Тихон Задонский<sup>40</sup> и другие святые никогда не ошибаются в вопросах внутренней жизни духа, то не могут они, вероятно, нелепо заблуждаться и в вопросах культа. Ему стало очевидным, что он сам чего-то еще не понимает, и он стал упорно прислушиваться к своему внутреннему голосу и понял, что надо смириться и искать совета других людей, тех, у которых, как он знал, было не меньше духовного опыта, чем у него самого, и которые тем не менее, как прежние святые, были служителями культа.

Брат поехал в Оптину Пустынь, ту самую, к воротам которой напрасно подходил несколько лет перед этим Толстой.

Старец отец Анатолий встретил брата очень ласково, и не успел брат даже начать со старцем беседу, как тот дал брату листки духовного содержания и сказал: «Прочти это, прочти».

Листки, изданные монастырем, подробно и точно отвечали как раз на все те сомнения, которые мучили брата.

Брат был поражен.

Не знаю, как и о чем началась потом беседа брата со старцем, но слышал от брата, что старец поразил его и иного рода прозорливостью. Не зная подробностей о составе нашей семьи, старец стал расспрашивать брата о каждом из

нас, сам всех перечисляя, причем говорил: этот вот на войне, этот тоже<sup>41</sup>, а вот этот скоро поедет на войну. Последние слова относились ко мне. Я действительно тогда ждал отправки на фронт. После этих расспросов старец долго, молча глядел на брата, а потом заплакал и дал брату прочесть листок, где говорилось об особой славе, уготованной Богом для тех, кто приял мученический венец или был невинно убиен.

Брат был смущен и истолковал поведение старца как провидение того, что кто-либо из нас, братьев-военных, будет убит. Брату казалось, что провидение, вероятнее всего, касается меня.

Но об этом брат не говорил ни мне, ни родителям, признавшись о своем опасении только сестрам, о чем они сказали мне значительно позже.

После последней беседы со старцем, которая, кажется, не была долгой и во время которой старец ни в чем брата не убеждал и ни в чем не корил, брат попросил отца Анатолия исповедовать его.

Исповедь поразила и тронула брата не меньше беседы.

«Был я страшным отступником истинной веры, — рассказывал брат, — а старец об этих и многих других больших грехах моих и не спрашивал и говорить не давал, а ставил все такие простые, но дивные и странные вопросы: «Не гневаешься ли ты на бессловесных животных, не забываешь ли всегда вовремя их покормить? Не забываешь ли ты и дровища? и птиц твоих? Не изнуряешь ли землю Божию?» Просто удивительно, о всякой твари вспомнил», — заключил брат свой рассказ, а я по голосу брата понял, что у него на глазах слезы.

Но я тогда не решился взглянуть на него, быть может, в первый раз в моей жизни. И жаркая волна подступила к моему горлу. Какой-то внутренний голос как будто шепнул мне слова: «свершилось». Я всей душой ощутил действительное достижение брата, то, что его жизнь была не напрасной: весь его рассказ дышал ясным, кротким смирением, и из него я не мог не понять, почему о. Анатолий ставил брату на исповеди такие вопросы. Мне было ясно, что отец Анатолий спрашивал брата только о тех грехах, на которые он еще был способен.

После исповеди брат приобщился Святых Таин и навсегда вернулся в лоно Церкви.

Вскоре по приезде брата я узнал от младшей сестры (ей одной он тогда поведал это, она же по слабости не

удержалась и сообщила мне), что брат, вероятно, вскоре, согласно настоянию отца Анатолия, примет священнический сан.

Принятие сана должно было сопровождаться для брата большой духовной жертвой, которую налагал на брата старец Анатолий. Вместо пострига, к которому духовно брат был готов и которого жаждал вследствие десятилетней строго аскетической жизни, старец благословлял брата на брак с одной совсем юной девушкой<sup>42</sup>, простого звания, примыкавшей к религиозно группировавшимся вокруг него лицам и с детских лет самоотверженно преданной ему и помогавшей во многом.

На нее-то о. Анатолий указал брату как на жену.

Девушка, о которой говорю, несмотря на то, что родилась в сектантской семье, и, несмотря на то, что была духовно близка к брату и верила в него, с детских лет таила у себя иконы и молилась, чтобы брат вернулся к Церкви. Она же подбодряла брата ехать в Оптину Пустынь, куда и сопровождала его.

Несмотря на духовную любовь к этой девушке и на понимание совета о. Анатолия, брат жаждал иноческого чина. «Какой же я буду родитель? — кротко жаловался брат моей сестре. — Как буду воспитывать детей, к этому надо ведь готовиться».

Но тем не менее брат решил быть в послушании у старца до конца. Как-то брат взял с собой сестру и неожиданно для нее вошел в дамский магазин и попросил ее помочь выбрать подарки. «Я в этом теперь ничего не понимаю, я хочу порадовать подарком», — пояснил брат, назвав имя.

Сестра при этом поняла женским сердцем, что выбирал брат подарок (были тут платки и ткани) с тихой радостью и вниманием.

Еще более удивил брат сестру, попросив сопровождать его к фотографу. Его просили сняться, и он решил сделать и это. Перед сниманием он подходил к зеркалу, чего раньше избегал, и спрашивал сестру, все ли в порядке у него. «Ведь я уже теперь не знаю, забыл все это, ты помоги», — говорил он, виновато улыбаясь. «Как все это было странно, — рассказывала мне сестра, — но между тем я чувствовала, что он несколько не изменяет себе, он во всем такой же чистый!»

Не менее удивительным было для сестры, когда брат взял ее первый раз с собою в Казанский собор, который, казалось, еще недавно при ней же называл «кумирней», хотя с той же почти доброй улыбкой, как теперь называл святым храмом. В соборе брат умилялся на его красоту и

сильно прослезился, увидав у иконы принесенные в дар украшения: кольца, серьги и т. п.

«Ведь это все живые человеческие упования и благодарность так сверкают», — сказал он.

### XIII

Вскоре после приезда брата сестра заболела скарлатиной, и брат и я принуждены были выселиться к родственникам. Мы двинулись вместе на извозчике. Был мороз, ночь, звезды. Это было в январе 1917 года. Брат начал говорить первым. «Вот я все читаю последнее время о святом воине благоверном князе Александре Невском и не могу читать без слез», — начал брат.

Я удивился. Культ Александра Невского мне казался в те времена не вполне понятным с религиозной точки зрения, и особенно удивляло, что именно брат заговорил о нем. Верно, это потому, что я сам Александр, решил я.

«Св. Александр — хороший политик и воин, конечно, благочестивый, — сказал я, — но разве немало и других таких; я грешен, не понимаю его особой святости».

«Как же, — возразил брат, — а сколько любви к народу было у Александра. Он ведь горел, страдал за него. Ездил в Орду, жертвовал собой, и Церковь Святая была ему всего дороже. Вот так и вижу, как в мороз, такой, как теперь, едет он степью к хану».

Я удивился и стал спрашивать брата, не кажется ли ему, что Церковь наша уж слишком отдалась государству. Спросил, не слишком ли часто поминают в ектениях<sup>43</sup> государя. Я объяснил, что я служу царю и чту его, но не вижу в этом неразрывной связи с религией.

«Как же не молиться за царя? — сказал брат, — я давно за него молюсь, ведь сколько от него зависит, и разве не под охраной русского царства крепла Церковь. Но, конечно, если бы народ или царь отступились от Церкви или бы не стало в нашем народе совсем веры, тогда уж лучше пусть не будет ни царя, ни народа. Без славы Церкви и святых ее, конечно, мне, грешному, по крайней мере, не нужна вся русская слава и сама держава наша».

Вдруг страшное любопытство охватило меня. А чем кончится все это? Война, смута вокруг двора? Может быть, оптинские старцы что-нибудь знают. Я осторожно спросил об этом брата. Брат сказал, что, конечно, батюшке Анатолию дано многое провидеть, но что он не любит много говорить про это.

«А все-таки как он думает, долго ли будет война?» — не удержался я повторить вопрос.

«Батюшка сказал, — ответил брат, — что большая война кончится поздней осенью 1918 года, немцев одолеют, но еще много других тревог впереди».

Затем брат объяснил, что теперь, если его призовут, он отказываться не будет, только не хотел бы в строй.

Брат сообщил, что батюшка Анатолий смотрит на это так: что есть духовные ступени, на которых действительно надо отказываться от воинского долга, среди схимников, например, могут быть такие люди, но, слава Богу, таких закон чаще милует, других же, которые ясно чувствуют немыслимость лишения жизни, Господь сам и в бою не попустит убить, хотя долг свой воинский они и выполняют.

Потом брат огорчился, что теперь все хвастают, что не боятся смерти. По мнению брата, не надо быть трусом, но духовно смерти страшиться необходимо. Ведь смерть — неповторимая минута жизни, от которой многое зависит в будущем. «Умирать надо умеючи и внутренне быть приготовленным», — пояснял он. Помню, тогда же заговорил я с братом о Св. Таинствах. Я признался, что, хотя я приступаю к ним благоговейно, иногда смущаюсь мыслью, почему такие великие дары подаются в такой как бы случайной, неизменной и внешне почти грубой форме принятия еды, погружения в воду и т. д. Брат ответил, что в этом магического ничего нет, т. к. все великое в мире воплощается в условные как бы формы, и, чтобы увидеть великое, надо прежде всего смирение и смиренное принятие формы.

Не помню точно выражения брата, но смысл его слов был таков. Еще брат прибавил, что со времени, как он приступил к Таинствам, Господь стал подавать ему такие духовные дары, о которых он или вовсе не знал, или едва дерзал мечтать.

«Я знаю теперь это опытно и всякий раз, как дерзаю приобщаться, испытываю это все сильнее».

Еще говорили о поклонении святым. Брат сказал, что многие личности, чаще это бывают женщины, не могут как бы непосредственно поклоняться Духу, они могут поклоняться только личности (духовной), служить святому человеку, но это тоже особый вид настоящей духовной любви, и нет тут идолопоклонства. «Этого раньше мы с покойным братом Львом Николаевичем не понимали», — заметил брат и потом добавил, что нельзя смеяться и над тем, кто особо дорожит телесным образом, даже вещами почитаемого человека.

«В этом тоже много умильного, возвышающего, хотя бывает тут и грубое суеверие».

От этой темы разговор перешел на нашу тетю (вскоре мученически погибшую) Наталию Яковлевну Грот<sup>44</sup>. Когда-то мы посмеивались над ее богомольством, всегдашней «беготней» за о. Иоанном Кронштадтским<sup>45</sup> и другими; теперь же брат, казавшийся недавно ее антиподом, был дружен с ней и как раз ехал остановиться у нее. Брат очень хвалил ее духовность и каялся, что за внешними ее, подчас действительно смешными, слабостями не видел ее духа.

Потом брат рассказывал, что очень почитает о. Иоанна Кронштадтского, духовные сочинения которого обнаруживают совершенно исключительную высоту духа.

Еще несколько раз брат выражал радость, что вернулся к Церкви, у которой вся полнота, все сокровища духа.

Про сектантов брат говорил, что, конечно, Бог не оставляет и их, но что это только бледные, переломленные лучи той же Единой Церкви.

«Какое счастье принадлежать нашему народу, которому вверено хранить нашу Церковь, — говорил брат, — только ужасно, что нигде нет настоящего духовного образования. Вот и наша семья, хоть и благочестива, а говорили ли нам что-нибудь, да знали ли что-нибудь о настоящей вере, в особенности в школах... А могли бы ведь быть даже школы пророческие».

Говоря об этом, брат скорбел, что ему пришлось до последних лет учиться многому у сектантов, и снова радовался, что Бог его не оставил и все шаг за шагом вел к истинному источнику. Особенно радовало брата, что многие его «братья по духу», некоторые совершенно назависимо от него и одновременно с ним, вернулись к Церкви. И назвал тех лиц из сектантов, близких ему, которые вернулись к Церкви.

Среди этих имен мне говорило только одно имя нередкого спутника и сожителя брата, бывшего врача А.

А. пришел окончательно к Церкви, кажется, главным образом, увлекаясь чтением книги «Основы христианства» проф[ессора] Тареева<sup>46</sup>. Брат сказал, что это удивительная книга, где почти все, что он хотел бы сказать близким, излагается теоретически современным интеллигентским языком, и рекомендовал прочесть книгу, хотя предупредил, что есть в ней кое-что еретическое, с чем нельзя согласиться, и что есть люди, которые даже называются «тареевцами».

Затем, после некоторого молчания, брат сказал: «И все-таки многого в моей жизни могло бы не быть: ни моего революционерства, ни толстовства, ни многого другого. Ты помнишь, в первые годы моего студенчества я ездил в Киев так просто, чтобы сделать что-либо самостоятельное, хотя бы путешествие, и вот тогда еще я мог бы стать тем, чем стал теперь. В номере, в котором я остановился, я нашел, когда ложился спать, кем-то оставленное житие святого Сергия Радонежского<sup>47</sup>. Я стал читать нехотя, почти от нечего делать. Прочитал полночи, остальную половину молился. И я был совсем близок от того, чтобы тогда же тотчас же все бросить и идти в монастырь. Но упоение молодостью, призраком ложной свободы, юг, новый город взяли тогда свое. Это был первый, может быть, самый сильный призыв, но и потом Бог не оставлял меня. И ни одна книга, может быть, не попадалась мне случайно... Только путь мой был долгим, не прямым».

Еще брат жаловался, что его тяготит крестьянская работа, скорее, заботы о хозяйстве, тяготит так же, как тяготила мирская интеллигентская жизнь тогда, когда он уходил в толстовство.

«Прямо не дождусь, когда это кончится, хочу как-нибудь прямо, непосредственно служить Богу, петь Ему, точно стораю в этой жажде!»

Зная, что мне сообщила сестра, я понял, что брат говорит о священстве, но т. к. тогда он держал это от других в секрете, я не допытывался более точных пояснений.

Когда мы подъезжали к цели нашего путешествия (ехать пришлось больше часу), брат, как бы продолжая разговор, прерванный года три тому назад, сказал, что он «не прав был перед Федором Михайловичем Достоевским», про которого говорил раньше, что тот только литератор и, «пользуясь своей эстетической интуицией, чуть ли не для славы, для художественных эффектов во всяком случае, пишет о высших вопросах духа».

Теперь брат признавал высокую, чистую, подлинную духовность Достоевского, говорил, что многие его писания были настоящим его религиозным делом, особенно подчеркивая, что страшные вопросы Ивана Карамазова были продиктованы Достоевскому духом великой его любви. «Но на эти вопросы нельзя найти ответы по рассудку, только разум Любви, а у Любви есть свой разум, своя логика, знает на них ответы. Они простые, но вообще не на



всякой ступени можно услышать все ответы на разные вопросы. О многом, очень еще многом, — заключил брат, — я не дерзаю спрашивать, а только молюсь».

На этом ли именно закончился наш разговор, не помню, но помнится, этими темами исчерпалась моя последняя большая беседа с братом на земле.

Потом, когда я посещал брата и не заставал его, тетя Наталия Яковлевна Грот, посещавшая также Оптину Пустынь, рассказывала мне, как о. Анатолий горячо полюбил брата, настолько, что плачет, когда говорит о нем.

Говорила тетя и про самого о. Анатолия, показывая его фотографии, описывая его внешность: «Он такой весь маленький, худенький, и волосы у него, как пух, как у малого ребенка, и уж кроткий-прекроткий и всех насквозь видит, вот уж прозорливый-то, вот и наш Леонид будет таким, и теперь-то он уж такой удивительный».

Разумеется, брат остался вегетарианцем, постником, но как-то сказал, что теперь знает, что человек может убивать иногда животных для своей пользы.

Особенно новая мягкость брата чувствовалась, когда он говорил о людях. Теперь он почти в каждом находил что-то особое, хорошее.

Между прочим, очень хвалил он однажды одного архимандрита, а потом про него же сказал: «Только у него одна беда, никак не справляется с ней, очень пьет иногда, только ты про это не говори».

Как-то раз попались брату его «У порога неизбежности», которые он написал лет 9 тому назад, уходя из мира в толстовство. Брат перечел их и сказал, что «хотя там много от духа, но много и гордости, и все уж такое мрачное».

Я заговорил тогда об Александре Добролюбове. Брат ответил неохотно, сказав, что и на высотах духа можно соблазняться и что у каждой ступени есть свои искушения.

#### XIV

После отъезда брата вскоре я пережил Петроградскую революцию, а затем фронт. В августе 1917 года я был эвакуирован по болезни и жил на даче в Царском Селе с родителями. В это время начались волнения в деревнях, и вскоре мы получили известие, что оба моих старших брата, один живший в бывшем дедовском имении<sup>48</sup> и Леонид, продолжавший жить в своем лесном домике, пережили страшные дни.

Толпа, руководимая бывшими каторжанами, схватила обоих моих братьев, порешив их убить. Над обоими братьями издевались, били их, заставили сколачивать себе гробы: «казнь» отложили до следующего дня, заперев каждого в отдельности в каком-то сарае. Освобождение было какое-то неожиданное.

После этого брат продолжал готовиться к принятию священнического сана, о чем уже заявил всем нам открыто. Он посещал местного рязанского архиерея, часто проживал в окрестных монастырях и постоянно переписывался с о. Анатолием, считая себя его послушником.

Брат теперь довольно часто писал письма всем нам, чаще всего родителям. В этих письмах он нередко выражал надежду, что теперь родители, вероятно, будут довольны им, что наконец-то он нашел себе дорогу, а скоро будет иметь и положение, для них понятное и такое, которое надо уважать.

Родители, конечно, были довольны, хотя и раньше не осуждали брата. Под влиянием брата моя мать стала переписываться с о. Анатолием, прося его молитв за всех нас. Но религиозность матери возросла и по той причине, что три ее сына участвовали в войне. Особенно тяжело ей было мое отправление на войну, т. к. я, как младший, был ее любимцем и редко надолго с ней расставался. Когда я уехал, она наложилась на себя обет каждый день ходить к ранней обедне и молиться о нас. Обет свой она выполнила и благодаря этому внешне спокойно пережила разлуку со мной. Я удивлялся ее выдержке и во время моего отъезда, чего вовсе не ожидал от нее. Она улыбалась, крестя меня, и только по легкому вздрагиванию ее губы я знал, чего это ей стоило. Когда же я вернулся, ее спокойствие, какая-то умудренность сильно поразили меня, но бросилось в глаза, что она похудела и постарела. Мне было больно ее видеть, но вместе с тем я тайно радовался на нее, особенно тому, что теперь она невольно тянулась к брату Леониду. Узнал я тогда, что как бы склонился перед Леонидом и старший, ныне покойный брат<sup>49</sup>, который, может быть, именно как старший и почти ровесник, хотя всегда и любил Леонида, доверял меньше других его исканиям. Теперь он обо всем часто совещался с Леонидом, ссылаясь на его слова в своих письмах, — словом, явно чтил его.

Несмотря на безумие, совершившееся вокруг, ужас перед наступавшим крушением, постоянную тревогу и тяжелые мысли о стране и беспокойство друг за друга, я чувствовал, что во всех членах семьи, особенно отце и матери, все более проступает какое-то внутреннее просветление и смирение.

Казалось, что что-то завершается, сходится к одной цели, и фокусом, воплощением этой цели более чем когда-либо, казался брат Леонид. Но временное мое благодушие продолжалось недолго. Вскоре старший брат был тяжело ранен выстрелом в окно флигеля, где он жил, и тревога одолела всех. Брат Леонид принял живейшее участие в судьбе старшего брата. Привозил ему доктора, священника, ухаживал за ним и способствовал переселению старшего брата и его семьи в уездный город, т. к. в усадьбе стало невыносимо оставаться.

Когда старший брат был ранен, к нему поехала младшая сестра, из всей нашей семьи бывшая духовно всего ближе к брату Леониду.

Здесь нельзя не сказать несколько слов о моей покойной сестре Ариадне, т. к. она была примером редкой чистоты и красоты духа.

Всю свою недолгую жизнь (умерла она от скоротечной чахотки в 1920 году 34 лет от роду) она всегда во всех людях видела лучшее, иногда сильно обманываясь и страдая от того, и никогда никому не отказывала в помощи, когда могла что сделать, жалея буквально всех и каждого. В то же время она была жизнерадостной, на редкость простой, увлекающейся и женственной и делала свои добрые дела действительно так, что правая рука не знала, что делает левая.

При таком природном светлом складе души естественно, что все ее любили, и в особенности брат Леонид. Также понятно и то, что она в свою очередь больше всех беззаветно верила брату Леониду. Про мою сестру можно сказать, что она одновременно была и Марфой и Марией, т. к. любовь ко всему возвышенному у ней неразрывно сочеталась с потребностью практически помогать людям и служить им.

На смертном своем одре, недели за две до своей кончины, она однажды просила меня помолиться за нее. Она хотела жить. «Выздороветь бы хоть для моего ребенка», — шептала она. Я ответил, чтобы она и сама об этом помолилась, т. к. верю в ее молитву. На это она заплакала и сказала: «Ах, я такая глупая, совсем будто дура какая, я не умею молиться о себе, я никогда не молилась о себе. Вот о других так легко молиться».

Когда старший брат стал поправляться, волна погромов и убийств стала разливаться в нашей местности все сильнее и сильнее. Был зверски убит двоюродный брат деда — старик П. М. Семенов и многие другие помещики; остальные же почти все бежали.

Решил в принципе уехать и брат Леонид, ожидая только указаний о. Анатолия о сроке принятия священнического сана, которое должно было состояться в Рязани. В это время произошел октябрьский переворот, и 3 дня спустя отец, который не мог перенести поражения России, внезапно скончался.

Известие о смерти отца очень поразило брата Леонида, и он уделил отцу в своем дневнике много горячих строк; брат умилялся кротости, смирению и скромности, действительно украшавшим отца, можно сказать, в глазах решительно всех его знавших.

Незадолго до смерти отец написал длинное письмо брату Леониду, в котором благословлял его на путь священства и просил молиться за него. Свое письмо отец кончал словами, что он надеется, что, быть может, и сам найдет какое-либо оправдание у Бога, т. к. ничего не делал, что бы не считалось принятым у большинства «честных людей». Скромность и смирение этого письма в особенности умиляли брата и примирляли с кончиной отца.

Больше тревожила брата смерть П. М. Семенова, почти неверующего человека. Но брат утешался мыслью, что ужасная смерть все искупала. Утешало брата и то, что П. М. последние дни жизни очень любил его и, как-то смиряясь перед ним, в своих разговорах искал путей к вере.

Удивили меня очень только одни сказанные братом моей сестре слова по поводу этой смерти: «П. М. такой неопытный духовно, его так и убили с открытыми глазами, а надо перед смертью закрывать глаза». Смысл этих слов так и остался мне неясным.

Со времени октябрьского переворота брат то жил у себя, то навещал старшего брата в уездном городе, то пребывал там же в монастыре, заканчивал изучение церковной службы.

В той же обители он нередко говел. Посещал брат и тетю Наталию Яковлевну Грот, жившую в усадьбе по соседству с именем деда.

В дневниках брата чем дальше, тем больше восторженных молитвенных рассуждений о Пресвятой Троице, о Таинстве Евхаристии, мыслей о Пресвятой Богородице и многих святых, подвиги которых его восхищали. Читая эти строки, чувствуешь, что брат душой находился не на нашей грешной земле.

Из событий текущих дней он с умилением пишет про Церковный Собор и избрание Патриарха Тихона<sup>50</sup>.

Последние записи сделаны 12 декабря 1917 года.

14 декабря брат должен был ехать в Рязань, чтобы стать священником, но 13 декабря 1917 года, когда он вместе с невестой ночью подъехал к своей избе, выстрелом из ружья в затылок он был убит. Тело было брошено в овраг. Когда позднее его подняли, глаза его были закрыты.

Шайка преступников ограбила его домик и уничтожила немало рукописей.

Преступление объяснялось будто бы тем, что разбойники, уже обогрившие руки кровью, боялись брата как человека, знавшего всех в округе, к тому же когда-то писателя, который может вдруг обо всем рассказать.

Тетя Н. Я. Грот писала вскоре после смерти брата, что он летом 1917 года еще раз был в Оптиной Пустыни и что старец Анатолий тогда опять встретил его горькими слезами и давал ему все читать листки о блаженстве неизреченном, ожидающем невинно убиенных.

Тетя Н. Я. Грот вместе с князем С. Н. и княжной Н. Н. Шаховскими были схвачены в январе 1918 года и расстреляны в овраге.

В феврале приехала из Рязанской губернии сестра с мужем. Она стала невестой незадолго до смерти брата, который ее благословил на брак. Сестра рассказывала обо всем самом ужасном и вечером вынула показать фотографию брата в гробу. Узнать было нельзя — лицо было сильно повреждено.

Стало мучительно страшно и тошно. Хула набегала на уста, хотелось вслух сказать какое-то жесткое слово... и вдруг закрылись мои глаза, и небывалое, не испытанное никогда прежде торжество, ликование, радость и свет наполнили душу. «Какая слава, Господи, какая слава!» — невольно вырвалось вслух.

## XV

В мою задачу не входит писать о брате Леониде как стихотворце и писателе. Но, тем не менее, мне хочется отметить некоторые черты его поэзии и других ранних писаний и привести некоторые образцы.

Для юношеской поэзии Леонида Семенова, как верно заметила Зинаида Гиппиус, характерно ее пророческое значение в отношении его собственной судьбы.

Некоторые его стихотворения можно рассматривать действительно как образцы этого рода, а во многих, едва ли не в большинстве других, нельзя не заметить особой мифологической и культовой окраски или тональности. И в этом тоже есть эстетическое предвкушение духовных путей их автора.

Вот для начала стихотворения, которые можно рассматривать как конкретное пророчество о нем самом.

Прежде всего это стихотворение «Вера», которым открывается единственный сборник его стихотворений «Ожидания».

## В Е Р А

Заря боролась со звездами,  
тебя я ризою обвил,  
осыпал пышными цветами  
и кротко с тихими мольбами  
земле родимой возвратил.

И над тобою преклоненный,  
я долго плакал в тишине  
и внял обет душой смущенной,  
что ты подругой обновленной  
однажды явишься ко мне.

С тех пор прошел я путь тяжелый,  
скитался долго одинок  
и, обходя чужие долы,  
из терний, тихий и веселый,  
для встречи новой сплел венки.

1903

Вот еще совсем юношеские, почти отроческие, пьесы, где эстетически предвосхищается истинная религиозная настроенность.

## К М Е С С И И

Томительна глухая ночь,  
но мирно теплятся лампы,  
и духа, полного отрады,  
забвенью сна не превозмочь.

Мы ждем. Мы рано в храм пришли,  
надели белые одежды  
и в полночь — мира и надежды  
достойно жертвы принесли.

Печать позорную греха  
мы смыли чистыми слезами,  
престол украсили цветами  
и ждем с молитвой Жениха.

И мы дождемся: Он придет —  
при звуках радостных цевницы  
и с первым отблеском денницы  
нам искупленье принесет.

К Нему навстречу потечем  
мы с громким гулом ликованья  
и со слезами упованья  
мольбу за спящих вознесем.

И будет тих — глубокий взгляд  
святых очей Его над нами,  
и над склоненными главами  
слова прощенья прозвучат.  
Мы ждем. Молчит глухая ночь,  
но ярче теплятся лампы,  
и в сердце веянья отрады  
забвенью сна не превозмочь.

1901

## Г И М Н

О пойте, пойте гимн страданью,  
слагайте песнь его огню!  
От испытанья к упованью,  
от упованья к ликованью —  
наш путь к сияющему дню!

За счастьем жалким, счастьем дольным  
мы раболепно не пошли,  
не сном плененные крамольным,  
от мук невольных к мукам вольным  
свою святыню понесли!

Нет, выше мира, мира тленья —  
мир исступленья, мир мечты.  
В огне ступени искупленья  
и от паденья до спасенья  
все звенья пламенем чисты!

О пойте, пойте гимн страданию,  
пути так близки наяву!  
От испытанья к упованию,  
от упованья к ликованию,  
от ликованья к божеству!

## НА М Е Ж Е

Я сын своих полей — без пышности и сана  
молюсь родной земле, молюсь подземным силам,  
живительной росе полночного тумана  
и с темной высоты сверкающим светилам.

Молюсь один, когда в селеньях люди спят,  
молюся на меже, где благостней святынь  
мне о Тебе в тиши колосья говорят  
и на Тебя глядит пахучая полынь.

Молюсь в ночи — святой и благодатью сильной,  
без алтаря и слов, без крови жертвы тучной,  
молюсь, как молятся цветы мечтой беззвучной  
о ниве зреющей, о жатве дня обильной...

1903

И наконец жуткое, помещенное последним в сборнике.

Священные кони несутся...  
Разнуздан их бешеный бег.  
Их гривы, как голуби, вьются,  
их пена белеет, как снег.

Вот гнутся макушками елки,  
и пыль поднялась на полях.  
Над лесом косматые челки,  
подковы сверкают в лучах.



Как моря взволнованный ропот,  
несется их ржанье с полей.  
Все ближе, все ближе их топот  
и фырганье гордых ноздрей!

Спасайся, кто может и хочет!  
Но свят, кто в пути устоит:  
он алою кровью омочит  
священную пыль от копыт!

Вот стихотворение, где чувствуется сила культовых образов.

Из цикла «ВИДЕНИЯ»:

## СТРАЖА ВТОРАЯ

Царя подъяли на щиты.  
Кругом воздвигли копыя лесом.  
Как мрамор — царские черты  
под звездоочитым навесом.

Царя несут. Блестит парча.  
Теснее в ряд дружина стала.  
В руке у каждого свеча.  
На взоры спущены забрала.

Идут. Поют. «Царю поем.  
Восстань, восстань на брань и суд!  
Мы все здесь, верные, кругом.  
Ты слышишь? верные зовут!»

Но царь не слышит; на щитах  
он также ровен, лик без крови.  
Чело в венце и меч в руках,  
Недвижны стиснутые брови.

«О тише, верные, он спит,  
Сомкнуло время бездну с бездной,  
И хаос мирно ворожит  
над царским прахом пылью звездной.

Но час настанет, встанет царь  
и совершит свой суд любовный.  
Воссядет отрок на алтарь  
для жертвы новой и бескровной...»

## ЦАРЕВИЧ

Лежу я в раке убиенный,  
но жив дыханием Твоим;  
над плотью чистой и нетленной  
лампадный свет неугасим.

Мне хорошо: под тяжким платом  
меня увили полотном,  
чело мне вокруг сковали золотом,  
парчу расшили серебром.

Приходят люди и лобзаньем  
коснуться ищут ног моих.  
Их внемлю шепот с воздыханьем,  
их чую страх и трепет их.

Им надо чуда. Чудо было:  
просветлена нетленьем плоть.  
Благоговейте! с вами сила,  
и в плоти отрока Господь.

Наконец, стихотворение «Свеча» — единственное, которое брат продолжал любить во все периоды своей жизни:

## СВЕЧА

Я пустынею робко бреду  
И несу ей свечу восковую.  
Ничего от пустыни не жду,  
Ни на что не ропщу, — не тоскую.

Тени жадно столпились вокруг,  
Их пустыня мне шлет роковая.  
Неповинен пред ней я ни в чем,  
Как невинна свеча восковая.

Кем, зачем мне она вручена?  
Я не знаю, пред тайной робею...  
Но не мною свеча зажжена,  
И свечи загасить я не смею...

1903

Среди статей брата обращает на себя особое внимание одна. «Великий Утешитель»<sup>51</sup>, написанная по поводу постановки на сцене Александрийского театра «Эдипа». В ней ярко говорится о необходимости и значении Искупления и его предвкушении, хотя не полном, в культе Диониса.

Очевидно, в этой статье, как и в стихах, значение и смысл Христианства самим братом предвкушалось как бы эстетически и интеллектуально, и не производило в нем еще, выражаясь по-современному (по-модному), сублимации.

Иначе не объяснить последующие этапы его жизни: «розановский», кратковременный материализм и социализм, а потом внекультовый мистицизм и почти полное приятие Толстого.

Поразительно, что в этой статье имеются, например, такие места: «как в е р у ю щ и е\* во Христа причащаются Его Телу и Крови, принесенным за них Им в жертву — и испытывают вместе с Ним радость Его подвига и искупления, так элины и все те, кто, как они, еще не дождались своего Искупителя, причащаются в литургиях в честь бога Диониса — его духу — и находят в этом свое воскресенье. Это еще не радость христианского искупления. Ее еще нет у Диониса — если бы и она была, у него было бы уже все; но это — радость творчества\* [...]»

[Она] состоит в том, что, созерцая трагедию, мы, чтобы постигнуть ее, должны творчески воспроизвести ее в себе, т. е. приобщиться к тому единому и вечному творчеству, которое было и в художнике и которое одно, как первопричина, творит с в о б о д н о\* все: и свои страдания, и свои радости. Но творчество и любовь одно, а свободные страдания — уже не страдания».

И далее: «Толстой, столь далекий от всякого мистицизма и позволяющий себе наивно смеяться над таинством Евхаристии, неуклюже толкует про способ познания мира любовью». И наконец — «Дионис, оправдывая в наших глазах

---

\* Выделено автором.

наше страдание, еще далек от того, чтобы оправдать перед нами чужия страдания, те «слезы младенцев», о которых говорит Достоевский. А этих младенцев [...] гораздо больше, чем думает Иван Карамазов; к ним должны мы причислить и не одних людей, но даже и некрасовскую лошадь и всякую тварь, которой недоступны и потому не нужны таинства Диониса, но у которых все же есть, — ведь это мы знаем, — свой плач и свое рыдание. Как искупить их? Снова открывается нам, как необходимость\*, все та же идея о БОГЕ — ИСКУПИТЕЛЕ»\*.

## XVI

Привожу сохранившиеся два письма брата к брату Николаю:

### 1

*15 ноября 1916 года*

Милый Коля, наконец-то я добрался до Петрограда. Приехал на несколько дней. Я был в Оптиной Пустыни. Прожил там целую неделю и очень доволен этим. Господь сподобил меня Своей дивной милости — услышал молитвы обо мне православных — и по их молитвам допустил меня с верою приступить к Святым Христовым Таинам и опять приобщиться к живому Телу Христа, Его Православной, родной нам, Церкви. Я был в Оптиной Пустыни несколько раз принят дивным старцем ее — батюшкой о. Анатолием — и у него и исповедовался.

Все это так наполняет и радует меня сейчас, что я ни о чем другом сейчас говорить и писать не могу.

Господь да хранит тебя во всех путях твоих. Очень рад буду тебя видеть. Может быть, ты как-нибудь вырвешься и приедешь ко мне в Рязанскую, на мой хуторок со мной повидаться, хоть на один день. Батюшка о. Анатолий дал мне для тебя благословение, маленькую иконку. Она здесь. Не знаю, как ее тебе доставить.

Господь с тобой. Целую тебя крепко.

Леля

---

\* Выделено автором.

*Апрель 1917 года*

Дорогой Коля, Христос Воскресе!

Мама мне сообщила твой адрес, и я с радостью пишу тебе. В январе я был в Петрограде и там читал одно твое большое письмо, в котором ты посвятил несколько строк и мне.

Я стал православным и рад и благодарю Бога за это, и удивляюсь Его Промыслительным путям, что стал я православным накануне таких событий, которые очень чреватны всякими последствиями для Православия. Время трудное. Я не смотрю особенно радостно на предстоящие впереди события. Впрочем, отношение мое к подобным историческим переворотам определилось уже давно, еще в ту революцию, в которой я сам был участником. Его могу кратко тебе передать: жалеть самодержавие — как жалеют о нем многие (и очень глубокие мыслители из православных), я не жалею, мне кажется, они ошибаются. Православие — вера, православие — религия, и вовсе она не связана ни с какими государствами и народами в отдельности — тем более с государственными формами.

Если бы чувствовать в себе силы и благословение Божие на это, я бы охотно выступал в защиту этой своей мысли и в печати. Но пока, может быть, не время, — и может быть, и скорее всего, лучше меня это скажут другие. Самодержавие, мне кажется, именно поэтому и пало, что оно отождествило себя с религией, почти святотатственно: царь — земной бог и т. д. (вершитель судеб Церкви с Петра Великого и т. д. и т. д.). Это грех пред Богом; вот Господь и показал ему, что он — не бог. Я твердо, конечно, верю, что ничего на земле не совершается без живой Воли Бога. Потому и ищущу в каждом событии нравственного урока. Но что же дальше, после того как кара Божия постигла царя и самодержавие?.. Дальше ничего хорошего не будет, потому что, увы! — религия колеблется в народе, а без религии ни земля, ни воля — мира и счастья никому не принесут.

Даже и земельный вопрос, который теоретически так прекрасно решается словами: земля Божья, она никому не должна принадлежать в отдельности, никому — больше, никому — меньше, должна быть общей — даже и этот вопрос практически лучше всего решается в монастырских земле-владельческих общинах, и именно монастырских, т. е. православных (сектантские — в том числе толстовские — все

распадались). А почему в православных? Потому что только в православии правильно толкуется и понимается с в о б о д а ч е л о в е к а\*, которая прежде всего есть свобода от своих страстей, свобода от с в о е й\* воли (которая то одно, то другое хочет); свобода, которая (как это дико звучит для интеллигента!) проявляется прежде всего в беспрекословном послушании старшим, т. е. в отказе от своей воли.

Вот, где все так живут, там и порядок, там и мир! А можно ли этого ждать у нас — в миру — в безрелигиозности? Мир как был, так и будет всегда метаться и потрясаться то войнами, то революциями, то глухим недовольством против всех и вся!.. Вот мой взгляд, в котором кратко, кажется, заключено все.

У нас тут сравнительно спокойно (очень хорошо, что Р[афаил] в имени). Пока на первых порах в М[уравине] в местные правители попали просто хулиганы. Но, может быть, это еще упорядочится.

В общем же, хотя у меня и есть соблазн выступать, говорить в такие минуты, как нынешние... но внутреннее свое делание перед Богом я ставлю выше всего, по слову Евангельскому: «ищите прежде всего Царства небесного и это все приложится вам»<sup>52</sup>. И как рад, как доволен я, что Господь долго — терпит мне и дает мне мир и покой. Земли мне моей довольно; и ее, я думаю, от меня не отнимут. А если и отнимут, то разве я не жил уже без нее, ничего не имея... Пока же здесь так тихо у меня, так далеко от всех шумов мира. Сегодня прекрасный весенний, солнечный день, Пятница на Святой...

Сегодня в первый раз выехал в поле. Сеял горох. Так хорошо в поле! Земля, лошадки, друзья... чужих никого...

Со мной живет брат А. В., раньше тоже толстовец, теперь православный, как и я. С(оня) — мой верный друг — крестьянская девушка, православная и много старавшаяся, чтобы обратить меня в православие; еще Гриша, беженец 16-ти лет из Гродненской губернии.

У меня три лошади, корова, от нее телушка 6 недель. Вот и все мы. Мы каждый день молимся вместе — молимся и обо всех близких, которые на войне; каждый день молимся и о тебе, утром и вечером, чтобы Господь охранил тебя своими Святыми Ангелами и вернул бы к нам целым, здоровым и невредимым и дал бы нам сладкое свидание с тобой.

---

\* Выделено автором.

Целую тебя крепко. Господь да хранит тебя. У тебя есть сильный покровитель — на небе твой святой — Великий Николай, Угодник Божий. Я ему очень верю.

Твой брат немощный и многогрешный

*Леонид Сем.*

---

У одного из отцов Церкви довелось прочесть, что те, кто не узнает, не отличит современного, встретившегося на пути жизни праведника, в тех нет залога настоящей, спасающей веры. Почти все близкие брата не прошли мимо него, смирялись перед ним и хотя бы его одного почтили тем чистым, самоотверженным вниманием, с каким Евангелие учит относиться ко всем. В немалой степени благодаря брату Леониду мой отец, мать, старший брат и младшая сестра, все измученные страданиями нашей эпохи, до последних дней своей жизни крепили в вере и терпении и скончались с мирным упованием на Бога. Моей матери, прежде очень избалованной и боявшейся даже слова «смерть», перед тяжелой кончиной дано было даже ясное сознание наступления смерти и смиренная готовность ее принять.

Когда-то странными, не очень понятными казались слова брата о духовной жизни в противоположении жизни душевной, но его нередко молчаливое только присутствие, без всякой философии тогда, учило, что в мире есть действительно что-то нравственно абсолютное, чего нарушить нельзя, учило тому, что есть дух. Учило тем, что к нему-то в основе отношение было нравственно абсолютным.

Например, нам нельзя было и представить со своей стороны и легкой насмешки над братом, и даже самое легкое недоверие к его чистоте со стороны посторонних мучило, как оскорбление.

Присутствие же брата Леонида многим впервые наглядно показывало, что самое ценное обитает только в живой личности и через нее познается, как и то, что дух, ищущий Бога, всегда сила.

Брат прежде всего был для нас сильным человеком, может быть, самым сильным из всех, кого довелось тогда близко знать. И с тех пор стали казаться ложными слова

---

\* Выделено автором.

тех, кто, как Ницше, называли Христианство религией слабых, религией рабов.

Знавшим брата открывалось, что единственная истинная Сила это любовь. И что она есть огонь, который не обманывает. Темной ночью она освещает путь к Вечному, Единому, Неугасимому Свету, Солнцу Вселенской Церкви, Господу Иисусу Христу.

### Примечания

<sup>1</sup> В тексте опечатка. Л. Д. Семенов родился 19 ноября / 1 декабря 1880 г. в семье старшего сына П. П. Семенова-Тян-Шанского Дмитрия Петровича (1852—1917), председателя отдела статистики Русского географического общества. Он был женат на Евгении Михайловне Заблоцкой-Десятовской (1855—1920). Кроме Леонида и Александра у них было еще пятеро детей: Рафаил (1879—1918), Михаил (1882—1942), Вера (1883—1983), Ариадна (1886—1920) и Николай (1888—1974).

<sup>2</sup> *Пяст* Владимир Алексеевич (1886—1940) — поэт, переводчик, стиховед, мемуарист. В книге воспоминаний «Встречи» (М., 1997) в главе «Вошел в круг» он следующим образом описал внешность Л. Семенова: «[...] прихрамывавший, косивший, — но необыкновенно вместе с тем красивый, с большой, черной, вьющейся, но отнюдь не напоминавшей дьяконовскую, шевелюрой, — с пронзительным взлядом косых своих черных глаз [...]» (С. 29).

<sup>3</sup> *Гиллиус* З. Поэма жизни. (Рассказ о правде) // Сегодня. 1930. 29 июня.

<sup>4</sup> *Соловьева* Поликсена Сергеевна (1867—1924) — поэтесса, писательница; дочь историка С. М. Соловьева и сестра философа, поэта В. С. Соловьева.

<sup>5</sup> *Семенова* Ольга Петровна (1863 — 1906) — художница, писательница.

<sup>6</sup> С 1917 г. Русский музей.

<sup>7</sup> Имеется в виду Рафаил.

<sup>8</sup> *Гиллиус* З. Поэма жизни.

<sup>9</sup> *Никольский* Борис Владимирович (1870 — 1919) — профессор права Петербургского университета, поэт, публицист.

<sup>10</sup> «Литературно-художественный сборник» (СПб., 1903) включил стихотворения студентов Петербургского университета под редакцией Б. В. Никольского с иллюстрациями студентов Академии художеств под редакцией И. Е. Репина. В нем приняли участие более пятидесяти студентов. Леонид Семенов выступил с одной из самых больших подборок стихотворений, четыре стихотворения опубликовал брат Рафаил. Дебютировали же братья в «Литературном сборнике, изданном студентами Императорского С.-Петербургского университета в пользу раненых буров» под редакцией профессора И. Н. Жданова (СПб., 1900).

<sup>11</sup> *Кондратьев* Александр Алексеевич (1876—1967) — поэт, прозаик, переводчик.



<sup>12</sup> Поляков Виктор Лазаревич (1881—1906) — поэт; учился на юридическом факультете Петербургского университета.

<sup>13</sup> В упомянутой статье З. Гиппиус пишет: «А однажды [Л. Семенов] попросил позволения привести ко мне Полякова (тоже поэта, но у нас неизвестного). Это был студент, — громадный, черный, костлявый и страшный. Говорил утрюмо (Л. Семенов все время молчал). И в стихах этого Полякова было что-то страшное».

<sup>14</sup> У порога неизбежности // Шиповник. 1909. Кн. 8. С. 11.

<sup>15</sup> Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944) — филолог-классик, профессор Петербургского, а с 1921 г. Варшавского университетов.

<sup>16</sup> Перцов Петр Петрович (1868—1947) — поэт, публицист, литературный критик; издатель и соредактор З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского по общественно-политическому и литературному журналу «Новый путь». Журнал выходил в 1903—1904 гг. и давал возможность выразиться тем новым течениям, которые возникли в обществе с пробуждением религиозно-философской мысли.

<sup>17</sup> Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, критик, публицист, философ.

<sup>18</sup> Автор ошибочно называет вышедшую в 1905 г. книгу Л. Семенова «Собрание стихотворений» (СПб., 1905) по первому циклу — «Ожидания».

<sup>19</sup> Анализируя стихотворения поэта, З. Гиппиус указывает, что «в стихах и писаниях Леонида Семенова было нечто, что его отличало: было *предотражение* всей его жизни, как она потом им оказалась сложенной. Двадцатилетний студент, конечно, этого не знал. А в стихах — *знал*. Говорил иногда о будущем в прошлом времени, как мог бы сказать через 15 лет» (Гиппиус З. Поэма жизни.)

<sup>20</sup> Добролюбова Мария Михайловна (1880—1906) — педагог, общественная деятельница. Окончила Смольный институт и педагогические классы при нем; в русско-японскую войну служила сестрой милосердия; в 1905 г., вернувшись в Петербург, примкнула к эсерам. В 1906 г., получив место земской учительницы в Богородицком уезде Тульской губернии, распространяла среди крестьян прокламации и агитационную литературу.

<sup>21</sup> Добролюбов Александр Михайлович (1876—1944) — поэт, представитель раннего символизма. Интерес к нему современников объяснялся не столько его стихами, сколько «уходом в народ». После 1898 г. Добролюбов отказался от литературного творчества, странствовал по России, вел сектантскую деятельность. К 1906 г. в Поволжье образовалась секта «добролюбовцев», среди которых Добролюбов жил как глава до 1915 г.

<sup>22</sup> Ср.: «Светлые косы вокруг головы, лицо неземной тихости и красоты. Настоящее лицо мадонны или идеальной русской революционерки (мне ее показывали в Рел[игиозно]-Фил[ософских] Собраниях)» (Гиппиус З. Поэма жизни.)

<sup>23</sup> 1-я Государственная Дума прекратила свою деятельность 8 июля 1906 г. В этом же месяце Л. Семенов был задержан в Курской губернии и заключен в тюрьму. Он обвинялся в том, что «а) 5 декабря 1905 г. в селе Средних Опочках Старооскольского уезда распространял среди сельского населения суждения, возбуждающие к ниспровержению существующего

в государстве общественного строя, убеждал крестьян в необходимости отобрания у помещиков земли, предлагал крестьянам присоединиться к Всероссийскому крестьянскому союзу, б) 29 июня 1906 г. в селе Любимове Рыльского уезда произнес публичную речь, в которой призывал своих слушателей крестьян к борьбе с правительством...» (цит. по: *Азаговский К. М. Раннее творчество Н. А. Клюева // Русская литература. 1975. № 3. С. 197*).

<sup>24</sup> Стихотворение «Проклятие» было опубликовано в журнале «Трудовой путь», 1907, № 3.

<sup>25</sup> В августе 1906 г. по распоряжению Тульского губернского жандармского управления против М. М. Добролюбовой было возбуждено уголовное дело. 2 сентября она была арестована в Петербурге и отправлена в Тульскую тюрьму, где провела два месяца и 5 ноября была выпущена на свободу. Л. Семенов был освобожден 12 декабря, а 11 декабря М. М. Добролюбова умерла, по одной из версий, от сердечного приступа во время эпилептического припадка.

<sup>26</sup> Летом 1907 г. Л. Семенов жил в доме крестьянина-сектанта Григория Васильевича Еремина.

<sup>27</sup> Впервые Л. Семенов побывал в Ясной Поляне в июне 1907 г.

<sup>28</sup> Встречу Л. Семенова и епископа Антония (Флоренсова, 1847—1918) Андрей Белый описал в мемуарах «Начало века»: «Епископ Антоний, к которому он [Л. Семенов] заходил, раздраженный упорством Семенова, едко его обличавшего, встал, указав на дверь кельи; Семенов же, супясь: «А я не уйду, пока вы не ответите толком!» Антоний — на ключ от него; а Семенов утрюмо сидел перед запертой дверью: час, два; наконец объяснились они; после он рассказывал с доброй детской улыбкой: Антоний с размахом!» (М., 1990. С. 280).

<sup>29</sup> Сохранившиеся письма Л. Н. Толстого к Л. Семенову см.: *Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М., 1955—1956. Т. 77—80.*

<sup>30</sup> *Серафим Саровский*, св., преп. (П. Мошнин, 1760 — 1833) — монах Саровской пустыни, подвижник благочестия.

<sup>31</sup> *Гюго Виктор Мари* (1802 — 1885) — французский поэт, драматург, прозаик, публицист; *Метерлинк Морис* (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт, философ; *Джемс (Джеймс) Уильям* (1842—1910) — американский философ-прагматист и психолог; *Плотин* (204—269) — греческий философ-идеалист, основатель неоплатонизма; *Бёме Якоб* (1575—1624) — немецкий философ, мистик и пантеист; *Паскаль Блез* (1623—1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик; *Руисбрук (Рейсбрук, Рэйсбрук) Удивительный (Ян ван Рейсбрук)* (1293—1381) — голландский монах, теолог, автор мистических трактатов.

<sup>32</sup> Неточное цитирование. См.: *Белый Андрей. Начало века. С. 279—281.*

<sup>33</sup> Шиповник. 1909. Кн. 8. С. 9—48. «У порога неизбежности», последняя прижизненная публикация Л. Семенова, — сложное по жанру произведение, сочетающие прозаические лирические фрагменты, стихотворения и афоризмы «Листики»; предваряется авторским пояснением: «Эти отрывки — как бы оторванные листья от дерева. Автор просит читателей, чтобы они

не побоялись резкости высказываемых здесь мыслей и образов, а попробовали бы их приложить к себе, к своим личным переживаниям. Тогда, может быть, — и так верит автор, — они найдут и в себе то дерево, которое дало жизнь этим бледным и, здесь на бумаге, уже пожелтевшим и сухим, но все же дорогим для автора листьям» (С. 9).

<sup>34</sup> Рассказ Л. Семенова «Смертная казнь» был напечатан в журнале «Вестник Европы» (1908. Кн. 8. С. 599 — 612). Публикация предварялась письмом Л. Н. Толстого издателю М. М. Стасколевичу: «Посылаю вам отрывок рассказа Леонида Семенова. По-моему, это — вещь замечательная и по чувству, и по силе художественного изображения. Хорошо бы было ее напечатать и напечатать поскорее. Это желание мое напечатать поскорее напоминает мне мой давний разговор с Островским. Я когда-то написал пьесе «Зараженное семейство», прочел ее ему и говорил, что я желаю, чтобы она поскорее была напечатана. Он сказал мне: «Что же, или ты боишься, что поумнеют?» Слова эти были совершенно уместны по отношению той моей плохой комедии, но теперь это другое дело. Теперь нельзя не желать того, чтобы люди поумнели и прекратили эти ужасы, хотя и нельзя надеяться, и всякое искреннее слово, выражающее возмущение против совершающего, я думаю, полезно» (Там же. С. 599).

<sup>35</sup> Имеется в виду Ариадна.

<sup>36</sup> Цитаты из произведений Л. Семенова сверены и исправлены в соответствии с прижизненными изданиями.

<sup>37</sup> Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — с 1906 г. министр внутренних дел и председатель Совета министров.

<sup>38</sup> Рим., 8, 19—22.

<sup>39</sup> Иеромонах Анатолий (Потапов, ум. 1922) — один из учеников иеросхимонаха Амвросия (Гренкова), пользовался большою известностью как общепризнанный оптинский старец.

<sup>40</sup> Тихон Загонский, св. (Т. Соколов, 1724—1783) — епископ Воронежский и Елецкий, духовный писатель.

<sup>41</sup> Имеются в виду Михаил и Николай.

<sup>42</sup> Софья Григорьевна Еремина, дочь Г. В. Еремина, у которого снимал угол Семенов.

<sup>43</sup> *Ектенья* — протяжное моление, состоящее из отдельных прошений, которое поет священник или диакон.

<sup>44</sup> Грот Наталия Яковлевна (ум. 1918) — тетка Семеновых-Тян-Шанских по отцу, дочь вице-президента Академии наук академика Я. К. Грота и Н. П. Семеновой, сестры П. П. Семенова-Тян-Шанского.

<sup>45</sup> Иоанн Кронштадтский, св. (Сергеев; 1829—1908) — протоиерей Кронштадтского кафедрального собора имени св. Апостола Андрея Первозванного, духовный писатель.

<sup>46</sup> Тареев Михаил Михайлович (1866—1934) — философ и богослов, профессор Московской духовной академии.

<sup>47</sup> Сергей Рагонежский, св., преп. (1314 — 1392) — преобразователь монашества, подвижник благочестия.

<sup>48</sup> Имеется в виду Рафаил.

<sup>49</sup> См. примеч. 41.

<sup>50</sup> Поместный Собор Русской Православной Церкви открылся в Москве 15/28 августа 1917 г. в праздник Успения Пресвятой Богородицы. 5/18 ноября в храме Христа Спасителя был выбран патриархом митрополит Московский и Коломенский Тихон (1865—1925); интронизация патриарха Тихона состоялась 21 ноября/4 декабря в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы.

<sup>51</sup> Новый путь. 1904. № 2. С. 237—247.

<sup>52</sup> «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф., 6, 33).

## «МНЕ» ЭТА ВОЗНЯ НЕ КАЖЕТСЯ ЧЕМ-ТО СЕРЬЕЗНО ЛИТЕРАТУРНЫМ...»

*(Из дневника Вяч. Полонского. Март — апрель  
1931 года)*

Публикация И. И. Аброскиной

Публикуемые дневниковые записи принадлежат Вячеславу Павловичу Полонскому (Гусину; 1886 — 1932) — историку, журналисту, литературному критику.

Он изучал жизнь и деятельность Михаила Бакунина и издал несколько книг о нем; в годы гражданской войны руководил литературно-издательским отделом Политуправления Красной Армии; в 1921 — 1929 годах редактировал основанный им же журнал «Печать и революция», оставаясь председателем Высшего Военного редакционного совета (ВВРС); в 1926 — 1931 годах был редактором «Нового мира», членом редколлегий многих исторических и военных журналов, в 1925 — ректором Высшего литературно-художественного института им. В. Я. Брюсова; в 1919 — 1923 годах организовал Дом печати и председательствовал в нем; в 1929 — 1932 годах был директором Государственного музея изящных искусств — перечень можно продолжать. В редактируемых Полонским журналах периодически появляются его статьи — исторические, обзорные, полемические, а также «Заметки журналиста» и «Листки из блокнота». Он обладал широкой эрудицией, большими организаторскими способностями, энергией, умением привлекать авторов для своих изданий. Полонский не сомневался, что в скором времени искусство будет принадлежать пролетариату, которому уже сегодня нужно предоставить все возможности для овладения культурой. Но Полонский также был уверен, что писатели-«попутчики» будут переходить на позиции социализма, и их «перевоспитанию» придавал большое значение.

Его дневник передает сложную обстановку в мире советской литературы, и не только в тот короткий отрезок времени (с 12 марта по 15 апреля 1931 года), о котором рассказано на отобранных для публикации страницах, но отчасти воссоздает и атмосферу литературной жизни конца 1920-х годов (хотя записи Полонского, как и любой личный документ, носят достаточно субъективный характер).

Это было время перманентной борьбы литературных группировок: «Кузницы», ВАПП, МАПП, Лефа, Рефа, «Октября», «Молодой гвардии» и, наконец, РАПП.

В январе 1925 года состоялась 1-я Всесоюзная конференция пролетарских писателей, давшая путевку в жизнь Российской

ассоциации пролетарских писателей. Ее возглавил молодой и энергичный Леопольд Авербах — племянник Я. М. Свердлова и шурином наркома внутренних дел Г. Г. Ягоды. Печатным органом РАПП стал журнал «На литературном посту» (1926—1932). В состав редакции вошли, кроме Авербаха, Ю. Н. Либединский, В. В. Ермилов, В. М. Киршон, А. А. Фадеев и др. РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) почти полностью господствовала в литературе: в нее вошла литературная группа «Кузница»; «Перевал» добивали; конструктивисты распались, журнал «Красная новь» возглавил Фадеев; основные удары были направлены против Воронского; в РАПП вступил Маяковский. Ситуация в литературной жизни 1930—1931 года была иной, нежели в середине 1920-х годов. Через год, 23 апреля 1932 года, было издано постановление партии о роспуске литературно-художественных организаций, и направлено оно было в первую очередь против РАПП.

Если пролеткультовцы оценивали писателя с точки зрения его классовой принадлежности, то рапповцы, не расходясь в этом с ними, объявили себя проводниками партийного руководства литературой. Отсюда — их административные методы, в карикатурном виде копировавшие то, что происходило на партийных съездах и пленумах, нетерпимость, резкие выступления против так называемых писателей-«попутчиков», к которым относили и Горького и Маяковского (до тех пор, пока первый не вернулся в СССР в ореоле «великого пролетарского писателя», а последний сам не вступил в РАПП). Рефреном в прессе тех лет проходит идея: «Как не прекращается у нас классовая борьба вообще, так точно она не прекращается и на литературном фронте. В классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства» (Гуриштейн А. Проблемы пролетарской литературы // На литературном посту. 1930. № 20. С. 35). Попытка Е. И. Замятина опубликовать в СССР одно из самых своих значительных произведений «Мы» не увенчалась успехом, и он издал роман сначала в английском переводе (1924), затем на чешском (1927) и французском (1929) языках. Повесть Б. А. Пильняка «Красное дерево», не напечатанная в журнале «Красная новь» по цензурным соображениям и опубликованная за рубежом (1929), подверглась резкой критике в советской печати.

Оба эти события открыли рапповцам возможность для резких выпадов против любых чуждых им выступлений в печати. С этого момента начался распад в советской литературе.

Все было так же, как в ВКП(б), но в несравненно меньшем масштабе. Возникшая в 1930 году внутри РАПП оппозиционная группа «Литературный фронт», куда входили А. И. Безыменский, И. М. Беспалов, С. А. Родов, была разгромлена, и оппозиционеры изгнаны из ассоциации пролетарских писателей.

Особое место в этой борьбе литературных группировок занимают имена Вяч. Полонского и Александра Константиновича Воронского (1884—1937), литературного критика, писателя, редактора

журнала «Красная новь» и основателя литературной группы «Перевал». Полонский и Воронский не были единомышленниками, но оба отдавали предпочтение таланту писателя, а не его классовому происхождению или принадлежности к той или иной группировке. Но, разумеется, приверженность писателя идеалам социализма, определение «наш» это писатель или «не наш» — оставались главнейшим критерием.

В «Новом мире» в редакторской рубрике «Листки из блокнота» Полонский подчеркивал: «В резолюции Политбюро ЦК очень хорошо сказано: «По отношению к попутчикам необходимо иметь в виду: 1) их дифференцированность; 2) значение многих из них как квалифицированных «специалистов» литературной техники; 3) наличность колебаний среди этого слоя писателей» (Новый мир. 1929. № 2. С. 231).

Как Полонский, так и Воронский публиковали в своих журналах произведения И. Э. Бабеля, К. А. Федина, Ю. Н. Либединского, В. Иванова, А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, Артема Веселого, В. В. Вересаева, С. Н. Сергеева-Ценского, М. М. Пришвина, М. А. Волошина, Ф. В. Гладкова, Л. М. Леонова и др. Вяч. Полонский писал в своей книге «Очерки литературного движения революционной эпохи (1917 — 1927)» (М., 1928): «За А. К. Воронским в истории литературы должно укрепиться имя Ивана Калиты, собиравшего литературу по крупицам, когда она еще не представляла того богатства, какое имеем теперь». После высылки из СССР в 1928 году Л. Д. Троцкого одним из жупелов стал троцкизм. И, несмотря на то, что он квалифицировался как «левый уклон», а Воронский причислялся, вроде бы, к «правым», его обвинили в троцкизме. В уже цитировавшейся статье в журнале «На литературном посту» А. Гурштейн писал: «...установка Троцкого фактически отрицает классовую борьбу на литературном фронте. [...] Ликвидаторские позиции в отношении к пролетарской литературе, по существу, занимал и Воронский, который в своих теоретических высказываниях был рыцарем «общечеловеческого» и в своей литературно-организационной практике чрезвычайно утрировал значение попутнической литературы».

Медвежью услугу оказал Воронскому Борис Пильняк, посвятивший ему свою «Повесть непогашенной луны». 5-й номер «Нового мира» за 1926 год, где был помещен рассказ, прозрачно описывавший убийство по приказанию Сталина на операционном столе М. В. Фрунзе, поспешно изымался и заменялся другим, где вместо «Повести...» Пильняка была вставлена равная по количеству страниц повесть А. Сытина «Стада Аллаха» — о борьбе с басмачами. Но хотя читатели и не могли теперь обнаружить в 5-м номере «Нового мира» «клеветническое» произведение, Воронский в письме в редакцию в следующем, 6-м, номере спешил отмежеваться от Пильняка: «Ввиду того, что подобное посвящение для меня, как для коммуниста, в высокой степени оскорбительно и могло бы

набросить тень на мое партийное имя, заявляю, что я с негодованием отвергаю это посвящение». Впоследствии Пильняк был вынужден признать обвинения в клевете и согласиться с тем, что не только публикация, но и написание «Повести непогашенной луны» было ошибкой. Впрочем, от расстрела в 1938 году это его не спасло.

Установка напостовцев «воронщину необходимо ликвидировать» (см.: Литературное наследство. Т. 93. М., 1983. С. 538–539) оказала влияние и на ЦК партии. По его указаниям в 1927 году в редколлегию «Красной нови» были введены Ф. Ф. Раскольников и В. М. Фриче. С ними Воронский сработаться не мог и из журнала ушел. Главным редактором стал будущий дипломат-невозвращенец, а тогда ортодоксальный большевик Федор Раскольников.

Последовало исключение Воронского из партии и ссылка за троцкизм в Липецк (1928–1929 годы). Пока Воронский находился в ссылке, где его навещали бывшие авторы «Красной нови», Полонский в «Новом мире» печатал его автобиографический роман «За живой и мертвой водой» (Новый мир. 1928. № 9/12; 1929. № 1). Времена были, по словам Н. Я. Мандельштам, «сравнительно вегетарианские», для литераторов по крайней мере.

После возвращения из ссылки, ценой признания своих «ошибок и заблуждений», Воронский добился восстановления в партии. Он работал в Государственном издательстве РСФСР, редактировал собрания сочинений русских классиков. Но и партийная организация издательства в 1935 году вынесла решение: «За организованную помощь в 1931 году писателю Мирову, сосланному за антисоветскую пропаганду, за отказ сообщить фамилии участников этой помощи и сокрытие факта этой помощи на чистке 1933 года [...] исключить Воронского из партии» (цит. по: Вопросы литературы. 1995. Вып. 3. С. 269–292. Публ. Н. И. Дидушиной и Т. И. Исаевой), — после чего последовал арест. В 1937 году Воронский умер в лагере. К тому времени уже были ссыпаны в одну яму и «правые», и «левые», и троцкисты, и бухаринцы, и те, кто придерживался партийной линии, и те, кто от нее уклонялся, — в оттенках уклонов разбираться было некогда, да и незачем.

Резолюция ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года предоставила возможность Вячеславу Полонскому увидеть политику партии в области художественной литературы в действии. Он умер 24 февраля 1932 года. От руководства «Новым миром» Полонский был отстранен в 1931 году; последним номером, где стоит его подпись ответственного редактора, стал ноябрьский, одиннадцатый.

Весь дневник Полонского охватывает период с 12 марта 1931 года по 26 января 1932 года. Он хранится в РГАЛИ (ф. 1328, новое поступление). Полонский печатал свой дневник сразу на машинке, сокращая слова и фамилии персонажей (обычно до заглавной буквы). Для удобства чтения эти сокращения, не имеющие принципиального значения, раскрываются без оговорок. Публикатор-



ские конъектуры даются в квадратных скобках. В примечаниях характеристика деятельности писателей и принадлежность их к тем или иным группировкам дается на период до 1931 года.

### 12/III-31

Это поразительно, как быстро забыли Маяковского. Года еще нет, — а он позабыт, как будто его и не существовало<sup>1</sup>. Был он, нет его — не все ли равно. Несколько человек выются около его «наследства», издают «академическое» собр. соч. в двадцати, что ли, томах<sup>2</sup>, но то, что эти люди — Брики, какой-то Катанян, человек «внелитературный», Авербах<sup>3</sup>, никогда не бывший близким Маяковскому и вообще в литературе лихой налетчик, — эта возня не кажется чем-то серьезно литературным. Брики-то ясно: вступают в права наследства и хотят высосать из наследства все, что можно, и даже больше того, что можно. Они считают себя вправе делать это: ведь именно им приходилось терпеть всю жизнь от Володи. Сейчас они вздохнули свободно, вольной грудью.

В. И. Соловьев<sup>4</sup> — мрачен. Пришли те дни, которые я ему предсказывал. В ГИХЛе — прорыв, т. е. безалаберщина, разгильдяйство, глупое управление, незнание литературы, рвачество, создавшееся в недрах самого издательства, — все, что привело к скандалу: миллионы денег розданы по рукам, сотни договоров — а книг нет. А то, что есть — хлам. Всеобщий вопль: прорыв! Ищут виновника. А Соловьев — «зав» — «умывает руки» — как подписано в стенной газете в ГИХЛе под его изображением — без головы. Под этой карикатурой приведены и стихи из Грибоедова:

Обычай мой такой:

Подписано — и с плеч долой.

Это очень метко. Соловьев — лентяй, хочет сладко пожить, чтоб никто не мешал, не хочет работать, да и не умеет. А тут ему навязали ГИХЛ, дело огромное. Он сначала решил «меценатствовать» — пригласил писателей, преимущественно «правых» — Леонова<sup>5</sup>, Воронского. Раздавал обещания, авансы, снискивал себе «всеобщую любовь». — Еще бы! даром деньги раздавал. И думал, чудак, что это может пройти безнаказанно. Я его предупреждал: нет векселей, по которым не пришлось бы платить. Он смеялся. Сейчас

погрустнел. Он хочет жить со всеми в мире — за счет государственных денежек. Он «правый», т. е. сторонник правых теорий Воронского, он предпочитает правую попутническую прозу какой-нибудь другой. Он внутри любит «Ахматову» — и даже осмелился высказать это, предложив включить ее сочинения в «план». Он предложил Демьяну<sup>6</sup> написать предисловие к ее стихам. Демьян отказался. Но на словах он страшно «левый». В разговоре как-то в редакции он сказал: «Я с Воронским согласен на 75%, с вами — на 60, с Горбовым<sup>7</sup> — на 35». На деле же он не знает, с кем ему соглашаться, с кем нет. Он ничего, ровным счетом, не понимает в литературе. У него нет вкуса. Он не знает, что такое искусство, т. е. не понимает его, не ощущает его специфической силы. Так, приятное чтение, не больше. Естественно, что человек без точки зрения, без вкуса и без желания работать мог только довести «до ручки» сложную фабрику, вроде ГИХЛа.

Над Маяковским можно было властвовать лишь прикинувшись покорненьким, лишь подчинившись ему. Не здесь ли «сила» Брика. Он был во всем согласен с «Володей». Но тем не менее Володя был в руках Брика.

Маяковский ненавидел, когда с ним не соглашались. Пастернак был его давним «другом». Но Лефы<sup>8</sup> всячески поддерживали славу Пастернака. Им он нужен был как «леф». Но когда после моего столкновения с Лефом Пастернак взял мою сторону — они его возненавидели<sup>9</sup>. Помню вечер у Маяковского. Пьем глинтвейн. Говорим о литературе. Пастернак, как всегда, сбивчиво, путано, клочками выражает свои мысли. Он идет против Маяковского. Последний, в упор, мрачно, потемневшими глазами смотрит в глаза Пастернака и сдерживает себя, чтобы не оборвать его. Желваки ходят под кожей около ушей. Не то презрение, не то ненависть, пренебрежение выдавливается на его лице. Когда Пастернак кончил, Маяковский с ледяным, уничтожающим спокойствием обращается к Брику:

— Ты что-нибудь понял, Ося?

— Ничего не понял, — в тон ответил ему Брик.

Пастернак был уничтожен.

Но Пастернак был из тех немногих, кто настоящими слезами оплакивал Маяковского. Он любил его неподдельно.

Однажды, в Доме печати, в конце вечера, посвященного Есенину, Есенин с гармошкой стал петь свои частушки.

После ряда удачных он вдруг, лихо растянув гармошку, так что она взвизгнула, сжал меха и, тряхнув головой, повышенным голосом залихватски прокричал:

Эх, съшь, эх, жарь,  
Маяковский бездарь, —

и смотрел, смеясь, в глаза Маяковскому. Тот сидел во втором ряду. Позеленел, и желваки заходили под кожей на скулах.

Маяковский в редакции «Летописи», прочитав как-то стихи Натана Венгрова<sup>10</sup>, которые тот назойливо совал в руки каждому, разбрасывал по столам, как бы «забывая» их, — сказал ему:

«Знаете, Венгров, — есть суслики. Их много и они плодятся страшно. Есть и поэты, как суслики. Вот вы такой суслик».

Он говорил в глаза иногда страшно резкие вещи.

Горький объяснял его «наглую» манеру держаться его внутренней «застенчивостью». То же самое говорил А. Н. Тихонов<sup>11</sup>. Меня это не убеждало. Застенчивости я никогда в нем не замечал. Страшная развязность, безбоязненность и необычайное желание быть в центре внимания. Голод его честолюбия был неутолим. Им двигало чаще всего именно честолюбие и славолубие. Он был счастлив, когда гремели аплодисменты. Он мрачнел, делался черным — когда было обратное. Он не терпел конкурентов. Он требовал подчинения.

Маяковский приходил в редакцию «Нового мира», садился на конец стола и шумел, болтая ногой. Он приносил стихи и всегда хотел читать их. Я слушал с удовольствием, но ответа ему сразу не давал: в его способности читать была гипнотическая сила. Стихотворение, как бы плохо ни было, когда он сам читал его, — казалось прекрасным. Его удивительный голос, его манера произносить слова, — все это очаровывало, пленяло. Нельзя было сопротивляться этому впечатлению. Но нередко после его ухода, когда стихотворение прочитывалось как рукопись, обнаруживалось, что оно бледно, «халтурно», плоско. После нескольких опытов я стал отказываться давать сразу ответ. Это ему очень не нравилось. Но он примирился.

Самолюбие его было огромно. Обиды он помнил и мстил. Я его обидел несколько раз, именно возвращая стихи. Ему

это казалось недопустимым, но он мне ни разу об этом не сказал сам. Лишь однажды, по поводу Есенина, выразил это.

Я возвратил Есенину одну вещь. Есенин разбушевался и жаловался. На другой же день позвонил мне Маяковский. «Это правда, что вы вернули Есенину вещь?» — «Да». — «Да разве таким возвращают, Полонский, что вы. Надо было взять. Нельзя так». Но в голосе были странные нотки одобрения. Ему понравилось, что вещь была возвращена именно Есенину. Слава Есенина больно задевала Маяковского. Они ненавидели друг друга. Есенин бранил Маяковского как «бездарь», Маяковский издевался над Есениным как пастушком со свирелью.

---

Все они, попутчики, да и другие, охвачены жаждой приобретения. Денег и славы — это оголтело кричит в них. Отсюда их подхалимство перед сильными: может, что перепадет. В душе они против «сегодняшних властителей» дум. Но властители — «властны». Отсюда подхалимство. На днях у Фадеева на квартире была «пьянка». Так он начал свое редакторство в «Красной нови»<sup>12</sup>. Были только именитые. Малышкин<sup>13</sup> говорит: «Подхалимаж тонкой стружкой вился в воздухе». Пили за здоровье молодого редактора и т. п. А они его не любят и в душе не признают. Многие из них даже не читали «Разгрома»<sup>14</sup>.

По поводу «одемянивания» поэзии я на бульваре заметил Леонову: но ведь «одемянить» поэзию — значит «обеднить» ее. Он заржал от удовольствия. Каламбур пошел по рукам. Каждый будет выдавать за «свой».

«Перевальцы» — Слетов, Губер, Катаев<sup>15</sup> — величественно спокойны. Нападки они расценивают как всеобщее признание их превосходства. Они плюют на сущность того, что читал Рыкачев, и в один голос расценивают его «Повесть без диалогов» как «неудачу»<sup>16</sup>. Почему? Потому что вещь сделана не по их «творческому методу». По их методу вышло бы лучше: с биологизмом и гуманизмом. А без этого вещь — никуда. Такая узенькая, тупенькая точка зрения. Они вообще мало понимают в том, что происходит в литературе.

Ни одного остроумного слова не услышишь от них. Бедность мысли. И гонор — необычайный. Они уверены,

что «соль» литературы — это они. И «власть» ухаживает за ними именно потому, что боится будто бы их потерять. Отсюда — с одной стороны — «спесь», с другой — боязнь: а вдруг власть увидит, что они пустышки — и перестанет их «ласкать»?

А «ласки» им очень по нутру. Все они скрипят от недостатка «свободы». Писать им не дают то, что они хотят. А хотят они писать о маленьких, мокренских страстишках маленьких людишек. Им бы о любви, о распутстве, о том, что комсомолка родила, о том, что она «донесла» на отца; о том, как опустился на дно некий гражданин и т. п. Словом, хотят воспроизводить маленький и поганенький мещанский миришко. С упором на «биологизм», «стихийность», «подсознательное», на всякую дрянь, что водится там. А им мешают: требуют «идеологии», высоких материй. Они скулят: писать невозможно. Но, так как власть щедрой рукой дает им блага, они не так уж недовольны. После получения «пайка» Лидин<sup>17</sup> с улыбкой сказал мне в редакции: «А знаете, живется не так уж плохо». — «Да, — ответил я. — Но еще было бы лучше, если бы вы стали писать лучше». Он понял и спохватился: да, да, конечно, все дело в этом. Но слово не воробей. Дай такому «попутчику» денег побольше, икры, мануфактуры, — он будет считать себя счастливым. Это характерно не для одного Лидина. А по существу, — независимо от «икры» — вкуса к «революционным» идеям и характерам он не ощущает.

В «Новом мире» читает Рыкачев повесть «Андрей Полозов». Писатели собираются туго. Слушают нехотя. «Генералы» — Леонов, Лидин — засели в соседней комнате, едят бутерброды, пьют чай. Я вышел к ним: почему сидите задом к литературе? «Это вы обернулись к литературе задом», — отвечает Лидин. Он, очевидно, представляет дело так: он, Леонов — это литература. А всё то, что в соседней комнате — это «так». «Вы литераторы, — ответил я ему, — а «литература» там, где читается рукопись». Нужны ли такие собрания? Как будто нужны: писатели жалуются, что нет «общественности», нет встреч. А соберешь — скука непролазная. Они не нужны друг другу. Они не читают произведений друг друга. Вс. Иванов не читает Леонова. Но в глаза хвалит, а за глаза говорит: не верю, чтобы он хорошо писал: лицо у него глупое. Леонов не читает никого. Не читает журналов.

Разве что в журнале статья о нем. Эта статья единственная разрезается и прочитывается. Если критик хвалит — становится другом, умницей. Если бранит — дурак и прохвост. И так они все.

Они страшно невежественны. Они ничему не учатся. Даже в пределах своего ремесла корчат из себя самоучек. Никандров<sup>18</sup> уверял, будто никогда не читал Гоголя. «Тарас Бульба»? — переспросил он однажды. — Не знаю, не читал». Скифская форма «гениальничания».

13/III-31

Когда Малышкин начал печатать «Севастополь» в «Новом мире» — в «На литературном посту» его стали всячески хвалить<sup>19</sup>. Он испугался. Герой «Севастополя» Шелехов (альтер эго Малышкина) вовсе не предполагал сделаться большевиком. Шелехов — сам Малышкин. А Малышкин не большевик и честно говорит это. Может ли он сделаться большевиком? Он не знает. И по замыслу его Шелехов должен был остаться где-то около большевизма. После похвал «На литературном посту», в которых сквозило ожидание: «Шелехов обязательно станет большевиком» — Малышкин испугался. Сократил «Севастополь», выбросил главы, где Шелехов предавался «страстям» (все сексуальные сцены убрал), — и в конце концов, не зная, как быть, закончил роман тем, что Шелехов уходит с матросами куда-то — из Севастополя драться за революцию. Конец понравился, и сам автор доволен.

Вс. Иванов в особой чести. Когда его ввели в редакцию «Красной нови» — он не знал, откуда такая благодать. Себя он сам считает писателем контрреволюционным. Когда он откровенничал с Воронским, он заявлял Воронскому: «Все вы попадете Бонапарту в лапы». И вообще, его ставка была на Бонапарта. Но Бонапарт не приходил. А тем временем партия делалась все сильнее. Ему пришлось перестраиваться. Но как? Изнутри он далеко не красный. Его «Тайное тайных»<sup>20</sup> обнаружило в нем глубочайшую реакционную сердцевину. Стал «прикидываться». Говорит «левые слова», и этими левыми словами как бы покупает себе право писать «правые» вещи. Человек хитрости большой и лукавства.

2 марта был сбор писателей в редакции «Литературной газеты» — в Доме Герцена. Доклад С. Буданцева «Бегство

от долга». Буданцев предупреждал: скажет правду. Какую правду он мог сказать? Смысл его доклада сводился к тому, что писатель пишет не о том, о чем хочет. Ему мешают писать о том, о чем хочет. Он хочет о страстях, о любви, а должен писать о пятилетке. Дайте нам писать, о чем хотим, — вот смысл доклада<sup>21</sup>.

Были — Леонов, Иванов, Пастернак, Малышкин, Инбер, Зелинский, Авербах. Ермилов и Киришон<sup>22</sup> пришли после доклада. Селивановский<sup>23</sup> успел прослушать часть доклада. Больше всех возражал Авербах, доклада не слышавший. Говорил остро, стоя, поставив ногу на стул, упрекал попугачиков в отсталости, — и справедливо упрекал. Пытался сказать слово Леонов. Говорить не умеет, нервничает (или симулирует искренне взволнованного). Смысл выступления: в литературе неладно. А в чем дело? — объяснить не мог. Во время речи Авербаха, когда тот коснулся его заявлений, Леонов, испугавшись, стал отмежевываться от самого себя. Довольно паскудно выходило.

После того, как взял слово Селивановский и указал на «правый» смысл доклада Буданцева, Леонов прислал мне записку: «Влип Буданцев». Записка была чуть что не ликующая.

Вс. Иванов хитро выступил, приветствовал ударническое движение, обругал Пильняка, вообще заявил себя левым из левых. Его похвалит Авербах. Этого-то Иванову и нужно. Это значит — он сможет напечатать еще рассказ вроде «Особняка»<sup>24</sup>.

Чуковский, когда его детские вещи оказались под запретом, решил иммунизировать себя от нападков. Он напечатал в «Литературной газете» статью, в которой заявлял, что его прежние вещи детские никуда не годны, или в этом роде что-то, что он был в колхозе, видел, как строится новая Россия, — и отныне он будет писать о деревне, о новом строительстве, о социализме. Впрочем — это была не статья, а письмо Халатову<sup>25</sup>. Халатов сопроводил это письмо своим письмом, в котором говорил примерно так: вот знаменательный поворот — и все прочее, что полагается. Чуковский выдал так обер-вексель. Вероятно, он полагал, что векселя этого достаточно. Но не тут-то было. Книжки его все-таки оставались под замком. Он мне говорил, что зав. в Ленгизе так-

таки ему и заявил: «Когда будут обещанные колхозные вещи?» Но колхозных вещей он писать не может. Он ограничился лишь очерком «Бобровка на Саре» — о детском санатории туберкулезном в Крыму<sup>26</sup>. Там он славил коллективизм. Очень надоедал мне, чтобы статья шла в «Новом мире» как можно скорей. Я взял ее, не зная, что она ему необходима как свидетельство о благонадежности. Он сам проговорился: Халатов ждет этой статьи. Статья вышла. Но он и здесь рассчитал понапрасну. Ее недостаточно.

Он ходит к Демьяну, вообще втирается помаленьку. Производит впечатление. Соловьев заметил мне на нашей редколлегии: «Обаятельный человек! Очень интересный».

— Еще бы! — заметил я. — Как его любил Иосиф Гессен. Ведь был присяжным критиком «Речи»<sup>27</sup>. — Соловьеву это, очевидно, не было известно.

Чуковский отвратителен лестью и ложью. Если бы был менее льстив, его можно терпеть. Но как только раскусишь его — он становится невыносим. Хвалил мне в глаза мою статью, которую не читал. Да и на кой ему черт читать мои статьи?

Заходил я как-то к Пиксанову<sup>28</sup>. В разговоре о современной литературе я обнаружил, что он ничего не читает и не знает. Не читал Артема Веселого, Бабеля, Олешу. Не знает Багрицкого. Поразительно — до того чужда им современность. А ведь втираются, говорят левые слова. Левые из левых.

Когда я получил «Новый мир» — Воронский был недоволен. Когда я реформировал журнал и из маленького и паршивенького сделал большой — он кипел негодованием. Он запретил Казину<sup>29</sup> и печататься в «Новом мире». Возбуждал он против журнала и других писателей. Тогда он стоял во главе «Красной нови». — Я рассердился и написал ему письмо, в котором упрекал в мещанском отношении к литературе. Литература не частные хозяйства собственников. Будем вместе делать общее дело. Он ничего не ответил. Отсюда — его как будто нелюбовь ко мне. Он ничего не высказывает открыто, но искусно, тонко, незаметно делает свое дело. Это я иногда чувствую. Где-то рождаются какие-то слухи, возникает недоброжелательство. Кто-то что-то



сказал, — и не знаешь, откуда это. Замошкин<sup>30</sup> рассказывает: пили где-то в компании и Багрицкий, подвыпив, заявил: «Нет у Полонского врага больше, чем Воронский». А в то время мы были «друзьями». — Возможно, что и история с Горбовым — от него.

Во время его пятилетнего юбилея — он был еще в силе<sup>31</sup>. Попутчики, которых он собрал, которых кормил, которых расхваливал, хотели видеть в нем силу, которая победит. Они поэтому ставили ставку на него. Когда собирались подписи под адресом, Ив. Евдокимов<sup>32</sup> бегал из редакции в редакцию, от писателя к писателю — уговаривал, принуждал, советовал. Подписи были собраны. Юбилей был отпразднован. Юбилейный комитет, которым руководили друзья Воронского, сделал все, что мог. Меня упросили быть председателем на чествовании. Но когда вскоре после чествования Воронский полетел вниз, когда они увидели, что их «лошадь» вовсе не фаворит и к старту не придет и он<sup>33</sup>, его друзья стали от него уходить пачками, стали продавать его расписочно и навынос. И один из первых — Евдокимов. Дальше Вс. Иванов, Леонов и прочие. Одна Сейфуллина осталась верна: но и то потому, что почти что перестала писать.

15/III-31

Заседание государственной закупочной комиссии. Приобретает картины Богородского с его выставки<sup>34</sup>. Предлагается лучшая из его работ: изображает трех женщин, несущих на голове кувшины с вином. Картина хороша: и остроумная композиция, [и] хорошие краски. Есть содержание. Рядом с этой картиной небольшой этюд, изображающий двух женщин, несущих корзины с навозом. Этюд — слабей. Я предлагаю первую. Трифонов (или Трофимов?), зав. Музеем Красной Армии<sup>35</sup>, предлагает этюд. Просим мотивировать.

— Видите ли, — говорит он, — я не знаю, какое значение сейчас имеет в Италии виноделие и вообще какую роль играет вино у итальянских трудящихся. У нас вино также не играет большой роли. Так что эта тематика нам далека. Навоз же нам ближе. Он ближе к советской тематике.

Походит на анекдот.

Иосиф Уткин<sup>36</sup> — пролетарский поэт — подбривает себе брови. Этаким херувим: похож на парикмахерскую куклу.

Обижается, когда выражают сомнение в пролетарском естестве его поэзии. Ту же операцию с бровями проделывает Иван Макаров — крестьянский писатель<sup>37</sup>. И «перевалец» Лев Нитобург<sup>38</sup>. Заботятся о красоте. Мелочь — но ведь говорит о внутренней гнильце.

18/III-31

Павел Радимов<sup>39</sup> в музее, около Рембрандта (подмигивает мне глазом и кивает головой в сторону картин): «Люблю гениальных стариков, которые не умели писать»<sup>40</sup>.

Тут и «гениальничание», и невежество, и эдакая разнuzданная скифская самовлюбленность. Он, Радимов, умеет писать! Это та самая черта, которая проявилась в Никандрове: «Гоголь? Не читал, не слышал».

Невежество и беспечность наших художников и беллетристов поразительны. Они ничем не интересуются. Если что знают, то понаслышке. Книг не читают. Полагаются на «нутро». Убеждены, что это и есть та «кривая», которая их вывезет. В этом смысле теории Воронского о «вдохновении», об уме, который надо заставить замолчать в искусстве, — вредны. Да и просто неумны<sup>41</sup>. Противнее всего претенциозность невежд и самоучек. Здесь и то и другое. А в итоге — море никчемных вещей. Они умирают, едва появившись на свет. Но так как критика наша страдает всеми недостатками писателей, и даже в большем масштабе, то дрянь цветет, процветает, размножается, культивируется. Сейчас даже такие заштамповавшиеся в безграмотности критики, как Ермилов, кричат на всех углах: «Наша критика ничего не понимает! Мы безграмотны!» — т. е. он вместо «мы» говорит «они», т. е. критики, — но всякий понимает, что это лирика. Да и прием стареет: «держите вора». — Но всякому известно, что он самый вориска и есть.

Они все пишут о «вдохновении»: когда осенит вдохновение — пишу хорошо. Когда нет «вдохновения» — не пишется. А ведь надо думать, что происходит все наоборот: именно потому и ощущается «вдохновение», что пишется «хорошо». А почему пишется «хорошо»? Тут много причин: и то, что материал знаком, любимый материал, внутренне близкий, «свой». — При работе над «чужим» материалом не может быть «удачи», внутреннего удовольствия, сознания хорошо идущей работы. Это комплекс ощущений сознаваемой

«удачи» и есть то, что называется «вдохновением». — Оно не «причина» удачных достижений, не «источник» их, а спутник. Есть «удачи» — они и ощущаются как «вдохновение».

Маяковский ходил гигантскими шагами. Всегда очень быстро, точно отмахивая расстояния. «Версты улиц взмахами шагов мну»<sup>42</sup>. Ему трудно было ходить по тротуару: люди сторонились и смотрели на него боязливо. Он часто поэтому шагал по мостовой. Обдумывая что-то, бормоча строки, с папиросой, висящей в углу рта — он шел, как трактор. Его голова. Он на целую голову был выше толпы. Перед ним сторонились, давали дорогу, отступали в сторону. Он шагал, ничего не замечая.

20/III-31

В «Печати и революции» в заметке о «Климе Самгине» М. Полякова неодобрительно отозвалась об этом романе. Горький прислал мне холодное письмо. Без «дорогой», — даже полностью имени и отчества не выписал. Просто «В. Полонскому». Писал, что рецензент не понимает, что я пропускаю такие рецензии, словом — рецензия его задела. Но он тут же пишет, что цену себе знает и нисколько не обижен. Подписал также холодно: «А. Пешков». Самолюбие у него, очевидно, уязвлено<sup>43</sup>. В статейке в книге «Как мы пишем» он целый абзац посвящает «рецензентам», к мнениям которых он будто бы равнодушен. «Рецензии никогда и никак не влияли», — пишет он. И тут же, не называя меня, бросает упрек редакторам, которые «невнимательно» читают эти рецензии. Ох, злющий старик!

Я хотел опубликовать письма Горького к Брюсову. Просил его о разрешении. Он мне ответил, что против того, чтобы опубликовывались письма живых людей. «Вот погодите, умру — тогда печатайте, сколько хотите»<sup>44</sup>. Откуда это в нем нежелание видеть свои письма опубликованными до смерти? Правду ли он пишет своим корреспондентам? Не лжет ли он в них, как Лука в «На дне»?

Горький пишет писем множество — особенно молодым писателям, открывает в них бездну всяких талантов, сыплет комплиментами, — но упорно не хочет, чтобы эти молодые, открытые им таланты поведали миру о горьковских похвалах. Когда Вс. Иванов, получивши от Горького письмо, полное похвал, тиснул это письмо в газете — уж очень хвалебное, — Горький запротестовал в печати<sup>45</sup>.

В мае приедет Горький. Ему подготавливается особняк<sup>46</sup>. ВОКС<sup>47</sup>, занимавший его, переведен в другое помещение — поменьше и похуже. «Воксисты» бранятся, как будто Горький сам захотел этот особняк. Но заботливость о нем — приятна. В какой другой стране правительство так будет заботиться о писателе?

Вчера был у М. И. Калинина. Зашел к нему, чтобы узнать, будет ли он защищать «Новый мир» от всяких неприятностей. Бумажный кризис — ходит слух о новых сокращениях объема. Поговаривают в писательской среде о том, чтобы передать его [журнал. — И. А.] в ВССП<sup>48</sup>. «Красная новь» передана ФОСПу<sup>49</sup>. Очередь как будто за «Новым миром». Когда я сказал ему об этих возможностях, он, нахмурившись, категорически заявил: «Ни под каким видом. Погубят. Не дадим».

Старик удивительно приятный. Ясная голова. Прост. Многим интересуется. Любит журнал, литературу, искусство. Когда узнал, что я директор Музея изящных искусств, улыбнулся:

— При других обстоятельствах — это работа на всю жизнь.

Взгляд у него сквозь очки острый, пронизательный. Поседел. Но еще много волос на голове. Жив. Бодр. Все время ходил по кабинету.

Никакого самоупоения властью. Таким он, вероятно, был и двадцать лет назад.

Хорошо играет в шахматы. Я с ним сыграл несколько партий в Гаграх. Хорошо соображает. Обыгрывал меня почти сплошь. Нападает быстро. Всегда в наступлении.

Прост и Молотов. В Гаграх, в доме ВЦИКа, где мы жили летом, играли в домино. Тогда он улыбается, шутит, советует.

Звонил Мордвинкин из Главлита. Недоволен: в «Новом мире» анонсирован рассказ Воронского «Федя — гверильяс». Рассказ этот запрещен Главлитом в «Федерации». Я объяснил, что ведь мы-то не знаем: анонсируем много вещей еще до написания. Ну, а если нецензура — напечатаем другую. Успокоился.

«Гверильяс» вещь вообще плохая. Под Вс. Иванова, под Бабеля. Игра на «подсознательных» порочных инстинк-

тах. Вообще Воронский как беллетрист куда слабей, чем мемуарист<sup>50</sup>. Но он пишет усиленно, печатает повесть в «Звезде»<sup>51</sup>. Я взял у него два рассказа из цикла «воспомина- тельных». Это ему удастся больше — почти мемуары. Я был против «Гверильяса». Но Соловьев и Мальшкин настояли. Я уступил. Что рассказ не будет напечатан — это будет Воронскому только на пользу. Плохая вещь<sup>52</sup>.

В «Литературке» из номера в номер обстреливают ГИХЛ<sup>53</sup>. Обвиняют «руководство». В разговоре со мной В. Соловьев говорит: «Заметили? Стрельба, не называя имени». Я говорю: «Но все ведь знают и без имени». — «Ну, что ж, — отвечает. — Зато не треплют». Как началась работа «бригады» и стало ясно, что все безобразия получают возда- ние — Соловьев моментально схватил «грипп», заперся в квартире, никуда не показывается. «Чистка» и всё прочее происходит как бы без него. Но в издательстве действительно — хаос.

Я оказался пророком. Когда Соловьев получил назначе- ние, я предрекал ему: при ваших методах, раздавая векселя направо и налево, желая всем угодить и больше всего забо- тясь о собственном спокойствии — вы месяцев шесть про- держитесь, — и затем сломаете себе шею. Он продержался что-то около четырех. В издательстве мрак. Денег нет, авто- рам не платят по договорам: исчерпаны все средства. Бумаги нет, — исчерпан весь листаж. Только три месяца прошло — принято рукописей больше, чем положено на целый год. При этом процентов 90 — барахло, как признается сам Соловьев. Типография забита рукописями для набора, но бумаги нет. Набор происходит в беспорядке, без контроля и учета — поэтому тянется долго. Моя книжка о Маяковском — два ли- ста — сдана в набор в октябре [1930 г.], сейчас еще не вышла. Книги лежат, как мертвая кладь — без движения.

Бригада, обследовавшая финансы ГИХЛа, была поражена, узнав, что член правления Леонов успел заключить договор на переиздание всех своих книг — по 300 руб. за лист, все- го на 40 000. Гонорар чудовищный — [за] переиздание боль- ше 150[-ти] платить нельзя. Кроме того: все его книги еще на складах, не распроданы.

Мне говорили, Леонов шумел в издательстве, когда с ним медлили заключить договор. Сейчас, заключив, едет в Италию, встретить Горького.

Я был на днях у Лидина в гостях. Новая квартира в кооперативном доме. Стоила ему тысяч двадцать пять. Обставлена красным деревом, увешана картинками, часы с музыкой, гравюрки. Вкус небольшой, картинка так себе — Григорьев, Алекс. Бенуа<sup>54</sup>, книг очень мало, только свои, — да еще старые в хороших переплетах. Читает, очевидно, мало. Журналов не читает: книжки «Нового мира» не разрезаны.

Был Леонов с женой. Жена — Сабашникова<sup>55</sup> — старозаветная купеческая дочка, тихая, скромная, под башмаком у мужа — но «хозяйка». Вместе с мужем «гонят» монету, собирают «имущество», строят жилье. В том же доме, что и Лидин — новая квартира с «обстановкой».

Леонов едет за границу один. Ей очень хочется. Когда зашел разговор, что муж-то будет в Италии веселиться, — она с женским кокетством стала игриво намекать, что и она тоже здесь будет веселиться.

Леонов изменился в лице и грубовато, и даже угрожающе глядя на нее, сказал мне:

«Вы не думайте, Вячеслав Павлович, что [если] она говорит «такие» вещи, то она такая...»

Словом — чуть что не процитировал из Домостроя. Она смутилась. Купчина. На днях был Пастернак. Как всегда — с беспокойным, блуждающим взглядом. С клочковатой, отрывистой речью. Говорит странно: иногда в середине фразы, а то и слова, задумается, слегка раскрыв рот, потом встрепенется и протягивает гласный звук — «а-а-а» или «э-э-э...», пока не вспомнит, о чем говорил. Бросил жену с мальчиком<sup>56</sup>. Сначала путано и непонятно объяснял, что это для чего-то «надо», что Женечка (жена) должна что-то «преодолеть», и что это для ее же счастья и т. п. Я думал, что он хочет ее освободить от себя, дать ей свободу для творчества, для работы. Она тяготилась своей несамостоятельностью. Оказалось, все чепуха: ушел к другой женщине, к жене товарища<sup>57</sup>, который поехал куда-то в Сибирь. Женя страдает, я видел ее — бледная и худая.

Приходил Асеев. Написал статью о том, как работал Маяковский<sup>58</sup>. Станный человек: внутри, я убежден, он страшно неудовлетворен: хочет писать лирические стихи. Но делает вид, что идет «в ногу с веком». Приспособляется, как может, пишет агитки, в глазах серая грусть. Заговорили о Маяковском: я сказал, что вот жил Маяковский — и мы как-то недооценивали его. Я лично чувствую свою вину. Он прервал: «Если бы я, — говорит, — чувствовал, что вы

действительно виноваты перед ним — я бы не подавал вам руки. Вы к Маяковскому относились лучше, чем многие его друзья. Что ж, что дрались. Мы все дрались».

31/III-31

Вчера вечером позвонил мне Стецкий<sup>59</sup>. В чем дело? «Прошу вас, вызовите Георгия Шенгели<sup>60</sup> и, если можете, дайте ему какую-нибудь работу, переводы, что ли... Он писал Вячеславу Михайловичу<sup>61</sup>, надо ему что-нибудь сделать. Переговорите, потом позвоните мне...»

Очень странно. Ничего не понимаю. Стецкий — зав. Культпропом ЦК. У него ГИЗ, ГИХЛ, все редакции. Почему обратился именно ко мне? Что я могу дать Шенгели в «Новом мире»? Я сказал, что переводов у меня нет. «Все равно, переговорите и позвоните».

Я вызвал Шенгели. В самом деле, бедняга. Поэт, правда посредственный, переводчик Верхарна, читал в Брюсовском институте и затем в Симферополе в Педагогическом институте — курс истории новейшей русской литературы, историю критики. Сейчас — ушли его отовсюду. Пристроился в Гостехиздате и редактирует техническую литературу: слесарное дело и пр. Настроение подавленное. Не может писать. То, что написано — не печатают. Слава у него дурная: враждовал с пролетарской поэзией. Был два года председателем Союза поэтов. Что с ним делать? Вообще грамотный, даже образованный человек. Поручить ему обзоры поэзии в «Новом мире» невозможно! И я с ним во многом не соглашусь, да и заклюют его. Печально: у человека много сил, 37 лет. Крепок, умное лицо, хорошая голова — развернутый, крупный лоб. Горячие глаза. Как будто со способностями, и мог бы работать — а вот поди ж ты — партизан, одиночка, не находит верной линии.

2/IV-31

У Новикова-Прибоя секретарь — бывший адмирал царского флота<sup>62</sup>. Знает несколько языков, превосходный знаток морского дела и истории. Помогает Новикову-Прибою, собирает материал для романов, дает советы. Когда Новиков-Прибой обращается к нему с вопросом — он почтительно встает со стула. Отвечает стоя.

На одном из заседаний в Главнауке (обсуждался план издательства ГАИСа) был зачитан один из трудов: всеобщая

история искусства под ред. А. В. Луначарского<sup>63</sup>. Представитель Изогиза усомнился в идеологической доброкачественности издания. Имя Луначарского его не удовлетворило: «Мы хорошо знаем т. Луначарского, — сказал он, — целый ряд изданий под его редакцией оказался никуда не годным».

Он прав. Дело в том, что т. Луначарский дает имя, ничего не редактируя. Он редактирует все: десятки журналов, обе энциклопедии (литературный отдел БСЭ и Литературную энциклопедию), редактирует собрания сочинений Толстого, Короленко, Чехова, Достоевского, Гоголя, главный редактор издательства «Академия», — и еще много изданий. К сожалению, он везде получает гонорар, но редактировать времени у него нет. Он как бы обложил налогом редакции и издания. Даже свои собственные стенограммы он не правит: это делает секретарь Игорь Сац<sup>64</sup>. Отредактирует — хорошо. Забудет — не будет стенограммы. Отсюда чудовищные промахи в работах, которые публикуются под именем Луначарского.

Е. Гнедин<sup>65</sup> рассказывает, что Луначарский дал свое имя под одну из его статей, опубликованных в иностранной печати. Это бы ничего: политически имя Луначарского значительно. Но он не отказался от гонорара в свою пользу. А это уже...

В «Новом мире» он числился редактором несколько лет. Ничего не делал. Если я посылал ему статью, чтобы [он] дал свое мнение — ответа он не давал, и рукопись, обычно, терялась. Но регулярно, каждый месяц, приходил Сац с доверенностью на получение жалования. В этом году контора как будто перестала ему выплачивать деньги. Не по этой ли причине он стал на меня дуться?

Недавно в Музее изящных искусств вернисаж выставки картин Юона<sup>66</sup>. Прихожу — какие-то люди проводят шнуры, устанавливают машины. Что такое? Оказывается — Радиоцентр будет транслировать. Кто разрешил? Ссылаются на мое разрешение. Говорят — будет Луначарский говорить. Он, действительно, уже на выставке, ходит сумрачный, с Розенель<sup>67</sup>. Поздоровавшись, спрашивает: «Скоро начнем?» Пришлось примириться с трансляцией: мне не хотелось. Во-первых: нет смысла транслировать речи на открытии. Во-вторых — выставку картин Богородского не транслировали. В-третьих — остальные художники, которых будем



выставлять, потребуют того же. Ну, раз дело сделано — надо транслировать. Луначарский, поговорив минут пятнадцать, уехал. Говорил я, Никитина<sup>68</sup>. Юон был доволен. На другой день я потребовал, чтобы выяснили: кто давал разрешение на трансляцию. Юон отказывается: я, говорит, ничего не знал. Сергиевский высказал предположение: а не Луначарский ли? Не состоит ли он сотрудником Радиоцентра на жаловании? Предположение оказалось правильным.

Следующая выставка Павла Кузнецова<sup>69</sup>. Когда я был у него, он сказал мне: «Луначарский, как увидел картины, объявил: «Ну, тов. Кузнецов, о ваших картинах есть о чем поговорить».

Значит — опять будет трансляция.

Я сообщил Стецкому свою беседу с Шенгели. Объяснил, что надо Шенгели изъять из Гостехиздата и дать ему работу в литературном ГИЗе. «Куда бы лучше? В «Академию»?» — спросил он. — «Направьте в ГИХЛ», — посоветовал я. — «Спасибо, — говорит. — Подумаю».

Любопытно: сделает что-нибудь для него?

Сегодня в «Вечерке» новый выпад: оказывается, «Новый мир» тем плох, что не переделывает попутчиков в пролетарских писателей. Перечисляя ряд прекрасных вещей, напечатанных в 1930 г. («Соть», «Гидроцентральный», «Петр I»), автор — некий Агапов или Арапов (неразборчиво «г») — заключает: «Новый мир» должен перестать быть заповедником попутничества, а должен перестраивать попутчиков.

Прежде «Новый мир» был плох потому, что печатал «уклончивые» вещи. Теперь, когда он, бесспорно, лучший журнал в Союзе, он плох тем, что, будучи лучшим, не является фабрикой для переработки попутчиков. Вот и угоди этим критикам.

6/IV-31

Десятилетний юбилей журнала «Каторга и ссылка» в Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев<sup>70</sup>. Прислали приглашение. После доклада на фабрике «Москвошвей» (о технике) я пошел на юбилей. Пришел часам к десяти. Столы — вино, закуски. Люди подвыпили. Речи. За председательским столом — Теодорович (председатель), Шумяцкий, Фроленко, Сажин, Вера Фигнер, Диковская, Шебалин<sup>71</sup> и др. Речи вокруг журнала, успехов. Похвалы, комплименты, как полагается. Шумяцкий в своем слове как-то задел Сажина, коснувшись Парижской коммуны<sup>72</sup>. Сажин взял слово и,

как всегда горячась, бледнея, выпив несколько глотков вина, в речи своей рассказал, как Лавров<sup>73</sup> писал статьи о свайных постройках, никогда не выдав их, и как он хотел уехать из Парижа, когда начиналась Коммуна. Он обругал затем историков, которые изучают историю по книжкам. Начал он свою речь словами: «Я не историк, не писатель, не оратор...» Речь его была [не] безобидной, чего же ждать от старика 86[-ти] лет, сохранившего нетронутыми свои старые взгляды. Надо было нейтрализовать его выступление, но его не раздражая. Я знаю манеру Сажина: старик бешеный, когда его заденут — совсем теряет голову. Может наговорить черт знает чего: задерживательные центры слабы, старик вспыльчив. Я взял слово и в шутливой форме, мягко, иронически сказал речь. Насколько я могу восстановить, сказал я следующее:

«Товарищи! М. П. Сажин явил собой верх скромности. Он сказал, что он не оратор — и мы слышали его остроумную и полемическую речь. Он сказал, что не писатель — но мы знаем, что его перу принадлежит книга интересных воспоминаний. Он говорит, наконец, что он не историк, — но мы знаем, что он принадлежит к той породе историков, которые не изучают историю по чужим книжкам, но делают ее. У таких историков, как Сажин, т. е. делающих историю, есть преимущество перед историками, только изучающими ее по книжкам. Когда совершает ошибку такой историк, его только прорабатывают — и сдают в архив, — если не в «Красный»<sup>74</sup>, то в какой-нибудь другой. Когда же совершает ошибку историк типа Сажина, его не только прорабатывают, но изучают. Он, кроме того, не сдается в архив, но становится исторической фигурой. Несмотря на свои ошибки, а, может быть, именно благодаря своим ошибкам. Это не значит, что следует ошибаться. Это значит только, что нельзя, делая историю, застраховать себя от ошибок. Ошибки неизбежны. Все дело лишь в том, чтобы стараться их избежать. А это делается теоретическим изучением истории. Мы знаем М. П. Сажина как живого участника Парижской коммуны, — и, несмотря на его ошибки, именно как участника приветствуем на сегодняшнем юбилее. И юбилей журнала «Каторга и ссылка» тем и замечателен, что журнал этот единственный в мире: сотрудниками его являются не историки, изучающие прошлое по книжкам, но историки, делавшие историю. Это редкое соединение, мыслимое только в нашей стране. Делать историю и изучать историю — вот идеал, к которому следует

стремиться, потому что книжное изучение — есть одна теория без практики, делание истории без изучения — есть одна практика без теории. Мы отрицаем такой отрыв теории от практики. Потому я предлагаю тост за такого историка, который не только бы делал историю, но также теоретически изучал ее. Тогда такой историк сумеет избежать ошибок своих предшественников».

Речь моя имела сильный успех. Аплодировали чуть ли не все, несколько раз прерывали аплодисментами. После речи — чокались с разных сторон, подходили и т. п. Но, через трех-четырех ораторов, взял слово Теодорович и, полемизируя со мной, считая, что я не раскритиковал ошибок Сажина по существу, стал обнаруживать его ошибки, указывая на его непонимание Парижской коммуны, и непонимание диктатуры, и его непонимание марксизма и т. д. Сажин уже в продолжение его речи взбеленился, встал, побледнел, стал стучать кулаками по столу, прерывать. После Теодоровича он возвысил голос и прокричал: «Слава Богу, достигли мы счастья, — мы ходим без штанов, мы голодны, босы, у нас ничего нет, — вот до чего довел ваш марксизм. А вы говорите: мы, мы, истина у нас!»

Конечно, скандал. Выступление безобразное и буквально контрреволюционное. Старик ничего не соображает, доведенный буквально до бешенства. Зачем было делать это? После окончания Теодорович выговаривал мне: я-де совершил ошибку, надо было напасть на Сажина. Я-де «смазал» и т. д. — а сам вызвал старика на глупое, антисоветское и контрреволюционное выступление. Некоторые говорили: Полонский поступил правильно, вырвал почву из-под возможности развертывания скандала. Хуже всего то, что после скандального выступления Сажина Теодорович ничего не нашелся сказать: «Не будем полемизировать с Сажиним», — сказал он. Хотя тут-то бы и надо было старику сказать несколько горячих слов.

Весь журнал делает «тихий» Б. П. Козьмин<sup>75</sup>. Незаметно, где-то за кулисами, — строит журнал, невидимый и неслышимый. Вспомнили и его: выпили за него. После банкета выпившие стали плясать. Плясали русскую, танцевали вальс. Кое-кто перепил.

Почему Теодорович стал отмежевываться? Ему кто-то сказал, что у меня «уклон». Не сумев вовремя отмежеваться в свое время от Кондратьева<sup>76</sup>, он решил, пока не поздно,

наверстать на мне. Его выступление продиктовано подлой трусостью. Он готов поэтому утопить меня, приписать мне черт знает что, лишь бы о нем дурно не подумали. Отмежевался! Он обнаружил ошибку!

#### 7/IV — 31

Союз писателей достроил дом<sup>77</sup>. Ужасающие сцены при занятии квартир. Голодный<sup>78</sup> получил по списку квартиру в 2 комнаты. Утром придя, он застал в ней поэта Арского<sup>79</sup>. Тот вломился в его квартиру ночью со скарбом. Когда Голодный запротестовал, Арский стал грозить: убью, а не впусу. Голодный передавал, что квартиры захватывались с бою. Один размахивал кирпичом: голову раскрою всякому, кто станет отнимать от меня мою площадь.

Писатели не голодают. Зарабатывают больше, чем писатели в любой стране. Никогда писатель не был в такой чести, как теперь. За ними ухаживают. Выдают пайки. Обеспечивают все, что надо. Особенно попутчики: эти — постоянные именинники. Недавно выдали 70[-ти] писателям, во-первых — пайки: икра, колбаса, всякая снедь из совнаркомовского кооператива, все, чего лишены простые смертные. Сверх того по ордеру на покупку вещей на 300 руб. по дешевой цене. Многие получили квартиры в кооперативном доме писателей, т. е. выстроенном на деньги правительства. Леонов зарабатывает тысяч до 50[-ти] в год, Пильняк — не меньше. Никифоров<sup>80</sup>, пролетарский писатель, немногим меньше. Новиков-Прибой — говорит Н. П. Смирнов<sup>81</sup> — тысяч сто в год. Гладков около того. Но несмотря на это — все они недовольны. Им кажется, что их жмут. Всякую попытку фининспектора обложить налогом в пользу государства считают покушением на карман и кричат «караул».

#### 8/IV-31

Отвратительная публика — писатели. Рваческие, мещанские настроения преобладают. Они хотят жить не только «сытно», но жаждут комфорта. В стране, строящей социализм, где рабочий класс в ужаснейших условиях, надрываясь изо всех сил, не покладая рук работает — ударничество, социалистическое соревнование, — эта публика буквально рвет с него последнее, чтобы обставить квартиру, чтобы купаться в довольстве, чтобы откладывать «на черный день». При этом они делают вид, что страшно преданы его, рабочего,

интересам. Пишут-то они не для него: рабочий их читает мало. Что дает их творчество? Перепевы или подделку. Они вовсе не заражены социалистическим строительством, как хотят показать на словах. Они заражены рвачеством. Они одержимы мещанским духом приобретательства. Краснодаревцы не только Пильняк<sup>82</sup>. То же делает и Лидин, и Леонов, и Никифоров, и Гладков. Все они собирают вещи, лазят по антикварным магазинам, «вкладывают» червонцы в «ценности».

Малышкин рассказывал: иду, говорит, вижу — Леонов шагает по улице. Сбоку, по дороге, на саночках два человека везут красного дерева шифоньерку. На углу Леонов глазами и головой, чтобы не заметили, делает им знаки: свернуть. Заметив, что они поняли, как будто он ни при чем, пошел дальше, поглядывая по сторонам. «Волок» шифоньерку в гнездо. При этом торгуется из-за десятирублевки: взвинчивает себе гонорар по-купечески.

Среди них оригинал Бабель<sup>83</sup>. Он не печатает новых вещей больше семи лет. Все это время живет на «проценты» с напечатанных. Искусство его вымогать «авансы» — изумительно. У кого только ни брал, кому он ни должен, — всё под написанные, готовые для печати новые рассказы и повести. В «Звезде» даже был в проспекте года три назад напечатан отрывок из рукописи, «уже имеющейся в портфеле редакции», — как объявлялось в проспекте. Получив с журнала деньги, Бабель забежал в редакцию на минутку, попросил рукопись «вставить слово», повертел ее в руках и, сказав, что пришлет завтра, — унес домой, и вот четвертый год рукописи «Звезда» не видит в глаза. У меня взял аванс по договору около двух с половиной тысяч. Несколько раз я пересрочивал договор, переписывал заново, — он уверял, что рукописи готовы, лежат на столе, завтра пришлет, дайте только деньги. Он в 1927 г., перед отъездом за границу, дал мне даже заглавие рассказа, который пришлет ровно 15[-го] августа. Я рассказ анонсировал — его нет по сие время. Под эти рассказы он взял деньги — много тысяч — у меня, в «Красной нови», в «Октябре», в «Звезде» и еще в разных местах. Ухитрился даже забрать под рассказы пять тысяч в Центросоюзе. Везде должен, многие имеют исполнительные листы, — но адрес его неизвестен, он живет не в Москве, где-то в разъездах, в провинции, под Москвой, имущества у него нет, — и неуловим, и неуязвим, как дух. Иногда пришлет

письмо, пообещает на днях прислать рукопись и исчезнет, не оставив адреса.

В Париже в 27 г. он однажды, перед моим отъездом, пришел ко мне, уже задолжав две с половиной тысячи, и попросил, чтобы я поставил свое имя на его обязательстве Пятакову<sup>84</sup>, который, под мою гарантию, обещал ему 300 долларов. Я отказался. Бабель обиделся и даже провожать меня не пришел. А до того мы с ним видались часто, шатались по театрам.

Я его печатал в 1918 г. в «Вечерней звезде» после первых его рассказов в «Летописи». Я его тогда выручил. Когда он встретил меня в 1922 г. в Москве, — он привез тогда свою «Конармию» — он буквально повис на моей шее и уверял, что он приехал в Москву именно ко мне, что он меня искал и т. д. Врал, конечно.

Почему он не печатает? Причина ясна: вещи им действительно написаны. Он замечательный писатель. И то, что он не спешит, не заражен славой, говорит о том, что он верит: его вещи не устареют и он не пострадает, если напечатает их попозже. Но он знает, что он пострадает, если напечатает их раньше. Я не читал этих вещей. Воронский уверяет, что они сплошь контрреволюционны. Т. е. они непечатны: ибо материал их таков, что публиковать его сейчас вряд ли возможно. Бабель работал не только в Конной. Он работал в Чеке. Его жадность к крови, к смерти, к убийствам, ко всему страшному, его почти садистская страсть к страданиям — ограничила его материал.

Он присутствовал при смертных казнях, он наблюдал расстрелы, он собрал огромный материал о жестокости революции. Слезы и кровь — вот его материал. Он не может работать на обычном материале. Ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный. Ведь вся «Конармия» такова. А все, что у него есть теперь, — это, вероятно, про Чека. Он и в Конармию-то пошел, чтобы собрать этот материал. А публиковать сейчас — боится. Репутация у него — попутническая.

Не так давно в какой-то польской литературной газете какой-то корреспондент опубликовал свою беседу с Бабе-

лем — где-то на Ривьере. Из этой беседы явствовало, что Бабель настроен далеко не попутнически. Бабель протестовал. Мимоходом он заметил в «Литературной газете», что живет он в деревне, наблюдает рождение колхозов и что писать теперь надо не так, как пишут все, в том числе и не так, как писал он. Надо писать по-особенному, — и вот он в ближайшее время напишет, прославит колхозы и социализм — и так далее. Письмо сделало свое дело. Он перезаключил договоры, получил в ГИЗе деньги — и «смылся». Живет где-то под Москвой, в Жаворонках, на конском заводе, и изучает конское дело. Пишет мне письма, в которых уверяет в своих хороших чувствах, и все просит ему верить: вот на днях придет свои новые вещи. Но не верится. И холод его меня отталкивает. Чем живет человек? А внутренне он очень богат. Это бесспорно. Старая, глубокая, еврейская культура.

Как-то по телефону я защищал один отрывок Леонова, который резал Главлит. Лебедев-Полянский<sup>85</sup>, отстаивая «жестокость» своих цензоров, заметил мне:

— Вы не думайте, что теперь можно печатать то, что мы печатали несколько лет назад. Сейчас мы не пропустили бы «Конармию» Бабея. Не пропустили бы и «Пережной» Сейфуллиной и «Голый год» Пильняка. Теперь эти вещи — контрреволюционны.

Он не совсем не прав. В этом смысле много верного в свое время наговорили напостовцы, когда «крыли» попутчиков.

Воронский во многом был не прав. Он не видел или не хотел видеть тогда еще зародышей нынешнего попутнического разложения. И Маяковский был прав в своей ненависти к «краснодеревцам»<sup>86</sup>.

Сейфуллина перестала писать не только потому, что «таланта» не хватило. Она хочет писать антисоветские вещи. Она хочет писать про то, как большевики, по ее мнению, «раздевают деревню». А ей не дают. Она поэтому пьет. Все они внутренне протестуют против коллективизации и индустриализации, и против всех мер, стремящихся к «ликвидации кулачества».

Как-то раз Пильняк, встретив меня, сказал: «Что же делают с нашей Россией?» Когда я удивленно поднял брови, он, смутившись, попытался как-то разъяснить, что он хотел сказать.

Инертность, равнодушие, индифферентизм среди писателей — ужасающий. Собраний в Союзе они не посещают. Знать ничего не хотят. Ни на какой доклад их калачом не заманишь. Единственное место, где они оживленно собираются — это в «секублите», секции улучшения быта писателей, где они получают пайки и ордера, да еще около издательских касс. Плохо посещаются и заседания правления Союза. Недавно на одном закрытом собрании фракции Павленко<sup>87</sup> рассказывал, как он «уламывал» Вс. Иванова войти председателем в какую-то секцию народов — при журнале национальностей<sup>88</sup>. Иванов отказывался: какое мне дело? Павленко уговорил: ты же ничего не будешь делать. Ты будешь только «председатель» — ну, там, представлять, дать интервью. Смидович<sup>89</sup> — председатель — и ты председатель. Ну, встретитесь, поговорите. «А, если так — согласен», — сказал Иванов.

Вот это желание быть «председателем», ничего не делая, но лишь «представительствуя», давая «интервью» и «портреты» — этим одержимы «знаменитые» и об этом мечтают «начинающие».

Что же касается до «работы» — дудки. Какое мне дело! Недавно ФОСП организовала доклад В. Милютина<sup>90</sup> о положении на фронте пятилетки. Очень важный вопрос. Пришло 15 чел. — да и то, вероятно, из лиц административных — нельзя не прийти. Доклад не состоялся. Это — правило. Ни одна «секция» Союза не работает.

В. И. Соловьев рассказывает о ловкости Авербаха. Он подражает тому, что делается в ЦК. Рапповские резолюции «строются» по резолюциям ЦК, по резолюциям съездов. Они и свою литературную организацию строят применительно к тому, как строится партийный аппарат и государственные организации. В последнее время при СНК создана комиссия исполнения: они при РАППе тоже создают комиссию исполнения. ЦК призывает [повернуться] лицом к технике. РАПП следом также зовет: лицом к технике. Это [не] проведение в массы постановлений ЦК — это было бы и хорошо, и понятно. Перед нами метод, выдающий за «свое» всю ту политику, которая списывается с постановлений ЦК. При этом они пользуются всеми средствами, чтобы связать как-нибудь постановления власти со своими домогательствами. Когда выяснилось, что Лебедев-Полянский «снимается» с Главлита, Авербах поднял целую кампанию за «снятие»:



он хотел к моменту снятия создать представление, будто это они, рапповцы, настояли на отстранении Лебедева-Полянского. Они писали «записку» в ЦК и собирали «материал», поднимали «вопрос» об его «снятии», — и все это после того, как обнаружилось, что его снять решено. Но вот два дня назад прошел слух, что «наверху» решили его оставить. Вся возня в РАППе моментально стихла. Нет разговоров, записки залезли «под сукно», Лебедев-Полянский опять стал «приемлемым». Сейчас они «вывели» из секретариата РАППа Безыменского, со всеми теми аксессуарами, которыми сопровождается «выведение» из политбюро оппозиционеров<sup>91</sup>. А литература? Литература, что ж, — литература подождет.

#### 10/IV-31

Встретил около музея Лебедева-Полянского. Затащил в музей. Показал ему Форнарину Романо<sup>92</sup>. Разговорились о литературе, РАППе. Он настроен антирапповски. Ждет их «свержения». «На днях, — говорит, — в «Правде» будут их ругать — за философскую дискуссию»<sup>93</sup>. Устроив у себя «философскую дискуссию», они занялись, главным образом, реабилитацией Гроссмана-Рощина<sup>94</sup>. Лебедев-Полянский того мнения, что «время» рапповцев подходит к концу. Победили всех, разогнали всех, противники устранены. Осталось только «двигать литературу». А вот тут-то и закавыка, литература двигаться не хочет. Он говорит, что не сегодня завтра вопрос о «делах», а не «словах» станет в порядок дня. Нельзя много лет подряд «обещать», надо что-то «дать». Он не верит, что «раппы» способны что-нибудь дать. В этом смысле они, по его мнению, безнадежны. Их журнал, первый номер «РАПП» — убог<sup>95</sup>. Теоретиков у них нет. Но он воздаёт должное их «ловкости»: «Это мастера! Политиканы!» Действуют ребята, действительно, ловко. Но, правда, надолго ли их хватит?

Горбова, выброшенного, в числе прочих, из Института Маркса и Энгельса, направляют на работу в Главлит. Он, как будто, доволен. Ему не хватало какой-нибудь «власти». Его все «жали». Теперь уж он «пожмет» сам. Он шутя говорил уже Соловьеву: «Теперь вы у меня в руках».

Замошкин рассказывает — видел М. М. Пришвина. Он был на Урале, видел строительство — рассказывает в восторге<sup>96</sup>. «Он прямо сделался большевиком», — говорит Замошкин. «А пишет что-нибудь?» — спросил я. Нет,

ничего. Вот то-то и оно: на словах они все делаются «большевиками», как видят успехи наши. А написать об этих успехах — не пишут. Что-то «мешает». А казалось бы: если восторг у тебя «настоящий», если это тебя действительно «радует» — тут-то бы и писать. Ан — нет! не выходит!

Пришвин ко мне приходил и, с выгаращенными глазами, говорил: «Что делается! Гибнет хозяйство!» Он мелкий собственник. Но деляга и хозяин. Дом себе выстроил, живет охотой, на отшибе, с литераторами водится только либо со «стариками», вроде Иванова-Разумника, Белого, либо «современниками», вроде Воронского. Чужд современности в глубокой степени. «Коллективизация» задела и его: ему стало страшно, а ну как до него самого доберутся? Поехал смотреть. Видит — строят большевики дело. Явные успехи. Как быть? Он наскоро «перестраивает» фронт, т. е. приспосабливается. Но не забывает прежде всего своих интересов. Видя, что до него «добираются» в журналистике, он объявил себя «ударником». В чем же его ударничество? Заключил договор с «Молодой гвардией», чтобы ему платили пятьсот руб. в месяц, а он будет писать повесть для молодежи. Деньги получает. Пишет. Помню, он письмом в редакцию «Литературной газеты» даже еще кого-то вызвал: Горького, Серафимовича. По крайней мере — пышно вышло<sup>97</sup>.

#### 11/IV-31

Вчера в клубе ФОСП — литературный вечер. Воспоминание об истекшем литературном сезоне. Назначено на 11.30 вечера. Начался в 1 ч. ночи. Истосковавшаяся по развлечениям писательская публика набила зал. Пропуск в зал — с предосторожностями. У входа милиция проверяет повестки. Дальше повестка обменивается на билет с указанием номера места. Многие писатели, не получившие повестки, пошли домой. Иначе и нельзя: помещение тесно. Набьется до отказа — тоже плохо. Те же, кто попал в помещение, чувствуют себя удобно: приличный буфет — чай, кофе и всевозможные бутерброды, печенье, фрукты, шоколад. Все очень дешево. Внимательность к писателю — чрезвычайная.

Спектакль, состряпанный «юмористами», скучен и бездарен. Соль его в том, что писатель, «герой», трактуется как болван, жадный до «бутербродов». Выведено «заседание» ФОСПа — центр в горе бутербродов, которые пожираются с упоением.

Писатели отказываются ехать в колхоз. Ловят в очереди около «секублита» — единственное место, где писателя можно найти. «Фиксируют» его ударами палки по шее: у писателя пухнет голова, и он делается сговорчивым. Дальше показан писатель в колхозе, писатель делает отчет о своей поездке — все тускло, без остроты, скучно. Два-три куплета остроумны, хорошо спародирован Луначарский, говорящий речи, как граммофон, по любому поводу, и Гроссман-Рошин. И только. Всеобщее разочарование. Никакой «соли». Все острые места литературного сезона обойдены молчанием. Подхалимски был показан «Халатов» — очень похоже. И занавес.

Карикатура Кукрыниксов: изображены — в центре Халатов, рядом Горький, Авербах, Либединский, Кольцов, Вс. Иванов — кажется, все. Это и есть «литература» — с Халатовым во главе. Были еще песенки о «секублите», все направлено на выявление писательской «заботы» о чреве. Но малоостроумно — нудно, без выдумки, дешево.

Есть остроумцы. Но «остроты» их хороши только тогда, когда передаются с уха на ухо. Передавать же гласности свое остроумие — опасаются. А вдруг кто-нибудь обидится? Т. е. если обидится человек малозначительный, не «властный» — это наплевать. Но вдруг в какого-нибудь «властного» попадешь? Тогда беда!

Самый ходкий вид шаржа — дружеская пародия, т. е. откровенный подхалимаж. На эту тему у меня был спор с Кукрыниксами и Архангельским. Им интересно было знать мое мнение об их книжке<sup>98</sup>. Я им ответил: талантливо, но поверхностно и дешево. Смехачество, зубоскальство, удары по безответным мишеням. Работа по указке редакции.

Они это понимают и соглашаются. Просят «критиковать». Но, вместе с тем, видно, что словами их не проймешь.

Моор хотел издать свои замечательные антирелигиозные рисунки. Сдал их ГИЗу — около 150. Там их затеряли — и будто бы найти не могут<sup>99</sup>. Хороший способ борьбы с антирелигиозной пропагандой. Написал Халатову ругательное письмо.

12/IV-31

Вчера в Доме Герцена — второй «декадник» ФОСПа. Затея хорошая: встречи писателей с политиками и экономи-

стами. Говорил Ломов<sup>100</sup> об успехах строительства. Рассказывал о новых могучих электростанциях, которые уже достраиваются, о гигантах заводах, которые в этом году пускаются в ход. Говорил о трудностях, о перспективах. Указал на планы оросить пустыни, отопить тундру, об использовании новых источников энергии, только теперь открываемых, как-то: разница температур на поверхности воды и в глубине Ледовитого океана и т. п. Захватывающе, грандиозно. Говорит Ломов слабовато, не красочно, но самый материал, перспективы — потрясающие. Наши писатели рты раскрыли: какими они кажутся жалкими «книжниками», «теоретиками», делающими крошечное, комнатное «свое» дельце в своих кабинетиках в дни такого строительного размаха. Были здесь Л. Гроссман, и Эфрос, и Сельвинский, Гладков, Никулин, Слетов и оба Катаевы — Иван и Валентин<sup>101</sup>. Слушали внимательно, с некоторым подобострастием, аплодировали с некоторой долей подхалимажа — как и полагается в этой среде писателей, чувствующих себя пенсионерами. Когда после доклада Слетов сказал мне: «Вот материал для романа», — я заметил ему: «Этот материал только тогда будет превращен в искусство, когда пройдет «сквозь» человека, т. е. будет им не только «продуман», но и «пережит», станет его «личным», «сердечным», «как любовь». — «Да, — согласился Ив. Катаев, — он должен стать фактом его биографии». Я думаю, лет через десять из среды теперешних техников, инженеров или простых рабочих — участвующих сейчас в этом строительстве — лет через десять из этой среды появится писатель, который даст нам книгу — роман — повесть — строительство — это будет настоящая книга. А нынешние писатели, которые не могут перестать быть «дачниками» или «гастролерами» — на такое произведение не способны. Только гений мог бы преодолеть эту черту, отделяющую материал «чужой» от своего. Но сейчас что-то гения не видно. Гений обязательно созревает где-нибудь именно в самой гуще строительства и борьбы.

Вспоминается Чапыгин<sup>102</sup>. — Когда я был в Ленинграде — в январе — он пришел ко мне в гостиницу. Номер «Европейки», дрянной и грязный, с клопами и крысами — это «Европейская»! — хотя и дорогой. Но что ж делать! лучшие отданы иностранцам. Этот грязный номер, с тусклым светом, серыми, в пятнах, обоями и двумя широчайшими постелями,

как-то гармонировал с мерзостными признаниями Чапыгина. Пришел он какой-то взвинченный, взволнованный — и какой-то скверный. Старик за шестьдесят — он тщательно бреет голову, сбрил усы и бороду — чтобы «помолодеть». Года полтора [назад], на пленуме крестьянских писателей<sup>103</sup>, он произвел на меня плохое впечатление: как-то похабно-сластолюбиво поглядывает на девочек, на грязном пальце с ужасающими ногтями — перстенок с «брильянтом», бархатная широкая блуза, — а сам корявый, морщинистый, желтый, подержанный. Пришел он, чтобы «предупредить» меня против Игоря Поступальского<sup>104</sup>, который «роет» против него. Из рассказа выяснилось, что у Поступальского молодая жена. Денег у Поступальского мало. А ей хочется и чулочки шелковые носить, и платье по моде, и кутнуть. Жили они в Доме литераторов — на Карповке. Молодой, но бедный писатель и молодая, жаждущая наслаждений жена, и старый холостой, но богатый писатель, «богатый старичок», как сказал о себе Чапыгин. Он и «увлек» женщину. «Отбил» ее у него, — как выразился Чапыгин, отбил деньгами, зная, что она его не любит. «Она безумно любит его, — говорит Чапыгин. — Но я старичок богатый, и ей жить со мной выгодно, пока у меня есть деньги. Ну — и того...» Она любит молодого, но бедного мужа, кабинетного ученого, но уходит к «богатому старичку», который дает ей деньги. Старая история — паскудная и тогда, когда совершается купчиком, и когда совершается «крестьянским писателем» Чапыгиным. Так вот, он ждет мести со стороны Поступальского. Поступальский хочет-де объявить его, Чапыгина, кулацким писателем. Поступальский где-то написал о нем, или хочет написать о нем, — так вот я, Полонский, должен это иметь в виду и не верить Поступальскому.

В рассказе была непередаваемая мерзость его самодовольства. Хотя он и говорит о себе как о «богатом старичке», — но самодовольное, блудливое какое-то чувство сквозило в глазах и паскудной улыбке, когда он мне рассказывал это.

Что он «кулацкий писатель» с мистическим налетом — это бесспорно.

#### 14/IV-31

Любопытен Гронский из «Известий»<sup>105</sup>. Не верю его искренности. Проныра, карьерист, подхалим. Помню его появление в «Известиях» при Степанове-Скворцове<sup>106</sup>: почтительно изгибался, руки по швам, «слушаюсь». Но работяга:

работой завоевал доверие. Сейчас — кандидат в «редакторы». Вчера на собрании партколлектива он говорил уже таким голосом и тоном, что один из «смирных» партийцев не стерпел и бросил реплику: «Но есть партийная общественность, Иван Михайлович». Гронский говорил о том, что у него есть «власть» выбросить из «редакции» любого партийца — не спрашиваясь мнения партколлектива. Это уже нотки «барина», который угрожает. Стараются дружить с «сильными». «Друг» Демьяна Бедного. Сам он месяцев восемь не вносил партвзносов, задолжал «Известиям» несколько тысяч рублей, — платил себе за рецензию в пятьдесят строк — до 150 руб., — словом, «когти» показывал еще при Степанове-Скворцове. Когда на ячейке все это было обнаружено и пропечатано в «Рулоне» (газета типографии) — он все-таки вывернулся. Сейчас понемногу превращается в видную фигуру. Фактически он руководит газетой. Человек с талантом. Но бывший эсер, хвастун, втирающий очки рабочим насчет своего старого большевизма. Есть в его лице и повадке что-то крепкое, волчье. Хитер и умен. Говорит медленно, обдумывая каждое слово. Стараются не «спешить», а класть свою гирию на ту чашку, которая уже пошла вниз. Долго помнит зло и мстит, подбирая «документы», с чувством и толком. Парень кулацкой складки.

Будучи в Ленинграде в январе этого года, я зашел по делу к художнику Верейскому<sup>107</sup>. Он, оказывается, зять Н. И. Кареева<sup>108</sup>. Старик, узнав, что я у Верейского, попросил заглянуть к нему. Я зашел: маленькая, темная комнатуха, пропахшая пылью. Узенькая кровать за ширмочкой, жесткая, плоская, маленькая подушка, тонкое старое одеяло. Диван, промятое кресло, стол, заваленный книжками и бумагами. Темная лампочка с канцелярским абажуром. Старик в своем древнем «думском» сюртуке, с красным, точно обваренным, лицом, с тусклыми, без выражения, глазами, с гривой белых волос. — Кареев показался мне выживающим из ума стариком. Хотел он у меня получить рекомендацию к Рязанову<sup>109</sup>: Рязанов взял у него несколько лет [назад] для напечатания рукопись о Годвине<sup>110</sup> — и рукописи не печатает и не возвращает. Кареев несколько раз обращался к нему. «И вот, не могу добиться», — говорил старик. Я, смеясь, сказал ему, что мои отношения с Рязановым так плохи, что моя «рекомендация» может только ухудшить дело. Кареев забеспокоился: «А тогда не надо».

Соловьев — доволен. Уверяет, что «прорыв» в ГИХЛе его лично не коснулся. Напротив: будто бы «влиятельные товарищи» говорят ему ласковые слова, он-де ни при чем и как будто он «жертва». Почему дело так обернулось — непонятно. Но пока действительно остается в ГИХЛе.

Заходил Зарудин<sup>111</sup>. Его облаяли в «Комсомольской правде» за его рассказ «Неизвестный камыш», напечатанный в «Новом мире»<sup>112</sup>. Рецензент объявил его кулаком, классовым врагом, редакция напечатала карикатуру, в которой он изображен с обрезом в руках. Поводов для такой критики рассказ не дает. Обычный хулиганский налет, каких сейчас много. Курьезно то, что он пришел именно ко мне, думая получить защиту. Я напомнил ему, что совсем недавно Горбов напечатал статью, по существу мало чем отличающуюся от «приемов» этого рецензента. Я посоветовал ему написать письмо в «Литературную газету» и собрать несколько подписей «уважаемых» попутчиков. Он как будто не верит, чтобы эти «уважаемые» дали свои имена под протестом. Это возможно. Хотя каждый из них каждый день может оказаться в таком же положении (совсем недавно в таком положении была Ел. Тагер<sup>113</sup>), «уважаемые» побоятся дать имя в защиту «перевальца».

Правда, «перевальцы» жнут то, что посеяли. Упорно стоят на своей реакционной, мещанской позиции. И травля, в сущности, потому и происходит, что очень ребята упорны. Ив. Катаев, коммунист, заявил на дискуссии Коммунистической академии, что одна ошибка Горбова ему дороже, чем все разглагольствования Гельфанда. Разглагольствованиям его, правда, грош цена. Но ошибки Горбова ведут его в объятия Айхенвальда<sup>114</sup>, Замятина, прямо в контрреволюционный яму. Катаеву на это наплевать. Его собственный «коммунизм» поэтому вызывает опасения. Если «перевалец» коммунист — то непременно с реакционным душком.

Буквально нельзя написать строки, чтобы не обругали, чтобы не пытались использовать для дискредитации. Что им надо? По поводу моих «Концов и начал» Селивановский в «Литературной газете» написал гнуснейшую и лживую статью, с передержками, клеветой. Озаглавил: «Старик обожал искусство», снабдил двумя карикатурами, мерзейшими<sup>115</sup>. Статья [моя] хороша, содержательна, политически правильна — это отзывы знающих людей. Но именно

потому, что она может произвести хорошее впечатление, налитпостовцы и стремятся забросать грязью. Вчера на пленуме ЛОКАФа<sup>16</sup> Авербах коснулся ее: в «Литературной газете» в отчете что-то гнусное: берегитесь данайцев, дары приносящих, — говорит он по поводу этой статьи, — и еще пишет что-то о последователях Воронского, «делающих хорошую мину при плохой игре». При чем тут игра и почему я последователь Воронского? Они меня хотят сделать его «учеником», чтобы я платил по его вексялям. Это ясно. В Литературной энциклопедии Вал. Полянский в статье «Критика» причисляет меня к «идеологам» «Перевала», хотя добавляет, что я формально в «Перевале» не состоял. Тоже ложь, продиктованная тайными побуждениями. В каждом моем слове, статье, выступлении ищут уклон. Даже беспартийная какая-нибудь дрянь, клоп, вроде искусствоведа Варшавского, и тот, хитро прищуриваясь, хотел на мне «заработать»: после моего выступления в Доме печати на диспуте о плакате он мне «возражал» с ехидством.

Про Маяковского нельзя было сказать, что он был крупен. Он был огромен. Все пропорции в нем были преувеличены. Его плечи были шире, чем это надлежало по его росту. Его руки были длинные и узловаты, казались необычайными. Черты лица его были крупны, широкий, мятый рот, широкие скулы, широкий нос — от этого голова его на широких плечах казалась головой Голиафа. Все в нем превышало меру, выходило из ряда, переступало границы, как его голос, его жесты, движения. Он очень метко сказал о себе: «Версты улиц взмахами шагов мну». Он в самом деле мямлил их взмахами шагов. Вспоминаю один из вечеров в Большом театре. Доклад об искусстве. Маяковский в партере. Его очередь говорить. Как пройти на сцену? Очень просто: он, даже не сгибаясь, перемахнул одну ногу через барьер в оркестр, достал ногою какой-то там стул, перекинул другую и, как по ступенькам, перемахнул на сцену.

Щербиновский, тоже гигант, с любопытствующим восхищением подошел, посмотрел в оркестр, смерил глубину и покачал головой: это — да!

В нем была природная монументальность. Какая-то уверенность в себе. Нельзя было подумать, чтобы он мог колебаться, раздумывать. Он был стремителен, порывист, угловат. Движения его резки и грубы. Когда он спешил, с его пути



испуганно сторонились люди. Он шел как трактор. Он не мог затеряться ни в какой толпе: голова его и плечи. Его широчайшие гнутые плечи несли его голову, как на носилках.

Я впервые увидел его в 14 году. Познакомились у Венгорова. Он пришел с женщиной, так удивительно им воспетой<sup>117</sup>. Небольшая, ослепительная, сверкавшая волосами, глазами, зубами — она казалась рядом с ним маленькой игрушкой. Огромный, мощный, мрачный, но смиренный и тихий, он был подобен укрощенному громадному зверю. В ее присутствии он затихал, был даже скромнен. Скромность не шла к нему. Это было для него необычно.

Было в нем что-то гремящее, гремучее. Его слава началась со скандалов. Он оскорблял буржуазную толпу, которая ему рукоплескала. Она ему мстила. Он был в вечном негодовании. Бешенство он постоянно носил в себе. Оно прорывалось во всех его выступлениях. Он наслаждался злобой, какую возбуждал. Он дразнил толпу, играл ею, раздражал. В этом была проба сил. Он хотел власти. Он эту власть имел. Позже, в годы революции, он научился играть с толпой, любовно, смешливо, раздражая ее и забавляя. Но иногда он бросал аудиториям оскорбительные слова: аудитория затихала.

Сегодня год, как он застрелился. В газетах — статьи. Вездесущий Авербах. Доклады Авербаха, Лелевича, Когана, Луначарского, какого-то Шнейдера, Динамова<sup>118</sup>.

В «Литературной газете» на первой странице, под портретом Маяковского напечатаны строки из «Во весь голос», — и нагло перевернаны. У Маяковского:

Над бандой поэтических рвачей и выжиг, —

а в «Литературной газете»:

Над бандой поэтических пролаз и выжиг.

Какой-то «рвач» из «Литературной газеты» решил, что не следует давать Маяковскому возможности на страницах «Литературной газеты» квалифицировать так его братию. Ну — и исправил, разумеется.

Я позвонил Асееву, обратил его внимание. Он согласился, что возмутительно.

Читал он изумительно. Первый раз я слушал его при первом же знакомстве. У него темнели глаза, и все движения его делались ритмическими. Влияние его голоса, его манеры было несравненно. Голос могучий, мягкий, густой и зычный, гулкий — при отчетливой дикции производил неотразимое впечатление.

Ему подражали, — безуспешно. Его стихи трудно было слушать в исполнении актеров, даже крупных. Качалов казался фальшивым декламатором. И сам Маяковский не любил, когда актеры читают его вещи. И он был прав. В актерской манере — холод и внешнее восприятие стиха. Маяковский как-то на вечере «Нового мира» стал передразнивать Качалова — при нем же: получилась подчеркнутая декламация, с завываниями. Это было в точку. Качалов смутился.

#### 15/IV-31

Глаза Маяковского темнели, когда он волновался. Его взгляд становился упорным, магнетическим. Он вообще обладал гипнотической силой. Люди, бывшие около него, не могли противиться его влиянию. Он магнетизировал взглядом, зычностью голоса, размашистостью, монументальностью своей. Когда он читал «Войну и мир» — первый раз — Горький плакал. Впрочем, Горький вообще не прочь капнуть слезой. Но у многих — с крепкими нервами, у меня тоже — сжимался ком в горле.

Я испытывал эту власть Маяковского. Поэтому я с ним ссорился. Когда он начинал убеждать, широко улыбаясь, скаля зубы — его рот делался широким — он посмеивался как-то басом, спорил, прерывая, не давая говорить, как-то наседая, внушая, убеждая тембром густого голоса, тоном, увещевая, подчиняя себе — и действительно убеждал. С ним нельзя было спорить, когда он хотел убедить в хорошем качестве своих стихов. Он мог убедить в чем угодно — но во мне всегда подымался протест, когда он вот так именно «наседал», убеждая меня. На него жаловались: черт его поberi, придет, уговорит, всучит, — а потом окажется, что чепуха. Поэтому лично с ним спорить боялись — и в редакциях, и в ГИЗе, и особенно в Торгсекторе, куда он иногда заглядывал,

чтобы «продвигать» свои книги. Там его боялись, как огня. И действительно, если он приходил, добивался, чего хотел.

Он ездил по всей стране с лекциями, докладами и читал свои стихи. После его чтения публика требовала его книжек: стихи ей казались замечательными. Он привозил поэтому свои книжки. Позднее он догадался — заходил в ГИЗ, требовал, чтобы книги его посылались в те города, где он будет читать. Книги, действительно, шли. Он иногда после вечера делал надписи на купленных экземплярах — публика расхватывала книжки. Так он сам «продвигал» себя в массы. Но нередко, прослушав его стихи в его исполнении, а потом почитав книжку — читатель бросал ее, недоумевая: когда сам читал, — было хорошо и понятно, жаловались мне иногда. А как читаю глазами — ну ничего не понимаю. И красоты нет. Многие не могли привыкнуть к его ломаной, короткой строке. В редакциях и конторах были уверены, что строчку он дробил из-за «гонорара».

Он, действительно, требовал себе оплаты сначала за каждую строку. Но когда в «Новом мире» в конторе запротестовали, указав ему, что у него в каждой строке по два-три слова, а иногда и по одному, — он предложил гонорар: полтинник за слово.

Гонорар он собирал, как дань, как налог. И сам не любил фининспектора.

Проживал он много, играл в карты, не отказывая себе ни в чем. Зарабатывал много. И всегда как-то нуждался. Много стоили ему Брики.

Когда в 19—20 г. он в РОСТе организовал «Окна», он собрал небольшую компанию — он сам, Лиля Брик, Левин, Лавинский, Осип Брик, — и сообща «мазали» плакаты<sup>119</sup>. Получали что-то с кв. метра, — писали плакаты все — подписи делал Маяковский. Выколачивали большую монету. Помню — с ними трудно было работать: когда я в ПУРе<sup>120</sup> пытался привлечь их, — оказалось не под силу. Слишком большие денежные аппетиты были у этого колхоза. Но делали дело талантливо, с блеском.

Когда он спорил с кем-нибудь и чувствовал силу спорщика, то сердился, глаза делались как угли, он с ненавистью смотрел в лицо противника, точно хотел его уничтожить, проглотить. Спорщик, если робкий, терялся, пасовал. Знавшие

его говорили о нем: Маяковский внутренне нежный, тихий. Это снаружи — он крикун, горлан, забияка. Возможно, так и было. В его стихах, сквозь ропот бунтаря, сквозь скандал и бунт и браваду сквозят удивительные строчки. Он прятал нежность. Стыдился? Он ведь бросил однажды:

Хорошо, когда в желтую кофту  
Душа от осмотров укутана.

С этой стороны мы его не знаем совсем. Да и вообще: знаем ли мы Маяковского? Признаюсь: я его только сейчас, после его смерти, и начал понимать.

Луначарский в своем вчерашнем докладе в Коммунистической академии повторил мою мысль о «двух Маяковских». Это — основа его доклада<sup>121</sup>.

Маяковский до «Войны и мира» — необычайно личен. И в «Войне и мире» лирика. Но до «Войны» он имел дело только с собой. После «Войны» — с внешним миром. Как бы переместился угол зрения. Он «заметил» мир. Революция еще дальше потянула его от «себя». А он «скучал», и его все тянуло обратно, «внутри» своего собственного трагического мира. Маяковский — лирик, трагик, себялюбец, индивидуалист — требовал слишком многого от Маяковского — горлана главаря. Горлан наступал «на горло» этим требованиям. Вообще борьба этих двух и погубила его. Луначарский на вечере памяти Маяковского в Коммунистической академии сегодня коснулся взгляда Троцкого на смерть Маяковского. «Троцкий, — говорит Луначарский, — сказал, что Маяковский умер потому, что революция не пошла по его, Троцкого, пути. А вот если бы революция пошла по его пути, тогда все было бы прекрасно и был бы жив Маяковский. Ну, конечно, такая точка зрения — точка зрения политической лавочки, обнищавшей и прогоревшей. Троцкий, говоря так, солидаризируется со всем, что есть враждебного в мире по отношению к нам». — Сказал очень мягко. Можно было бы куда жестче квалифицировать<sup>122</sup>.

Вересаев зашел в книжную лавку издательства «Недра». Там с ним обошлись без достаточной вежливости, как ему показалось. Он стучал палкой и кричал: «Я вас научу разговаривать с Вересаевым!»

Встречаю пролетарского писателя Г. Никифорова. Почему, спрашиваю, вы не протестуете, когда вас «Вечерка» лишает права называться «пролетарским писателем»?

— А она лишает меня этого права?

— Да.

— Ну, и слава Богу, — отвечает.

Он — один из тех, кто увлекается «гонорарами» — и, кстати, «красным деревом». Когда встал вопрос об обуздании «аппетитов» писателей-коммунистов, — он доказывал, что писатель должен «сберегать» про черный день. Сегодня — печатают, а завтра?

18/IV-31

Луппол передает беседу с Б. Малкиным<sup>123</sup>. Создан Изогиз. Поэтому ликвидировали наши музейные издательства. Нам предложили составить наши планы — издавать нас будет Изогиз. Последний давал всевозможные обещания, сулил золотые реки. Планы составили, заявки подали, понадеявшись на обещания, развернули работу. В частности, у меня в музее готово около восьми работ. Заказано еще много — по «плану», утвержденному Изогизом. Когда встал вопрос о заключении договоров, Малкин сообщает Лупполу, что Изогиз печатать будет не все, а только то, что находит нужным: путеводители и открытки, — т. е. единственно «хлебные» издания. Выходит, что Изогиз задушил нашу музейную работу, чтобы «выкачать» из нас «доходные» издания — и плюнуть на все: музеи остались без необходимых, но мало доходных изданий. Малкин, кроме того, говорил о «бригадах», об ответственности, которую несет он, и брехнул о том, что в музеях работают литераторы, «снятые» с литературы. Камень в мой огород. Луппол возмутился: что вы говорите о Полонском, он назначен ЦК директором, он редактор «Нового мира»! Почему его редакция вас не удовлетворяет?

А Малкина я не удовлетворяю. Бывший эсер, никогда не бывший коммунистом, богемец, друг имажинистов, друг лефов, в свое время превративший «Центропечать» в клоаку, сжигавший вагонами литературу вместо того, чтобы «распределять», снятый с работы в «кино», — он хочет прежде всего «застраховать» себя от упреков. Он не хочет себя «скомпрометировать» — он боится за «себя», и поэтому душит музейную работу.

Сегодня в музее, на вернисаже Павла Кузнецова, предложил Луначарскому выступить. Не хочется. Почему? Да

мне Кон<sup>124</sup> выразил недовольство: выставки, говорит, устраивает Наркомпрос, — а вы не выражаете нашей точки зрения. Неудобно выходит.

Бедняжка! Разговорившись, он бросил несколько фраз о том, как трудно ему работать, как его не любят просто за культурность, за его знания, за то, что он головой выше многих.

У него, очевидно, потребность говорить в аудиториях. Выступает он где только можно. Вчера читал лекцию в Политехническом музее — «Культура буржуазная и пролетарская». Начал около девяти. Я слушал по радио. Бросил. Часа через полтора верчу ручки — Луначарский продолжает. Я ушел. Возвратился домой. В половине первого ночи включаю радио — Луначарский. Продолжает свою лекцию — молодым, свежим, не уставшим голосом.

Розенель — красавица, мазаная, крашенные волосы, — фарфоровая кукла. Играет королеву в изгнании. Кажется — из театров ее «ушли». Ее сценическая карьера была построена на комиссарском звании мужа. Сейчас — отцвела, увяла. Пишет какие-то пьески, — в Ленинграде добилась постановки, но после первого же спектакля сняли<sup>125</sup>. Прошли счастливые денечки!

20/IV-31

Третий декадник ФОСПа. Доклад Ларина<sup>126</sup> о новом быте и социалистическом строительстве. Как и предыдущий — привлек писателей. Почти те же. Руководит вездесущий Эфрос — проныра, пролаза, деляга. Правый, трижды проштемпелеванный, он упорно дерется за место под солнцем. Изгнали из правления Союза писателей — он тем не менее около Союза, хлопочет, организовывает, проявляет инициативу, «работает» и... в итоге — побеждает.

Вожжи как-то у него в руках. При старом правлении он как будто руководил, выступал, когда надо, направлял. Теперь он вне правления, тем не менее его тень витает над Союзом. И здесь он нечто вроде «хозяина». Сидит около председателя (Г. Коренева<sup>127</sup>), приглашает публику входить, садиться, предлагает не шуметь и т. д. — он на виду — Эфрос здесь, Эфрос там — у всех на глазах. Куда до Эфроса, скажем, Кореневу — его не видно и не слышно.

Доклад популярен, как бы для детского возраста. Намеченные изменения в быту — положение женщины, разруше-

ние семьи, труд как основа жизни, конец буржуазного индивидуализма, отсюда — новый быт и т. п. Писателям, впрочем, многое было новым. Хотя энтузиазма, как предыдущий доклад Ломова — Ларин не вызвал. Было несколько вопросов (Эфрос, главным образом): какие изменения произведет все это в писательском ремесле и как вообще изменится тип писателя. Ларин ответил что-то вроде того, что писателю придется посещать фабрики и заводы, знакомиться с новым бытом и описать его.

Читал затем Сельвинский поэму «Электрозавод»<sup>128</sup>. В сущности — передовка в стихах. Об энтузиазме — но без энтузиазма, об электроэнергии — но без энергии. Сухо, вяло, казенный какой-то стих, видно — писал «по заказу». — Вещь нудная и тяжелая, хотя благонамеренная сверх меры. Вот судьба: он хочет занять место Маяковского, пыжится изо всех сил — и нельзя упрекнуть — много труда и энергии убивает в это дело. Но он чужой революции, чужой пролетариату. По его лицу (надутый, самовлюбленный, с плутовскими глазами, честолюбец), по манерам, по образу жизни, вплоть до шубы из белого какого-то меха, по его жене, раскрашенной, в мехах, красивой женщине — всё говорит против его пролетарских симпатий, т. е., что симпатии эти навеяны временем, показные, фальшивы. Ему бы работать в учреждении, заколачивать монету, иметь свой авто и текущий счет в банке, — а он старается во славу пролетарской революции писать, воспевать «электрозавод». Не находит слов, образов, — все вымученно, чуждо, мертвенно. Его цыганские песни «звучали». «Уляляевщина» — махновская, анархическая, интеллигентская вещь — также была сильна. Уже «Пушторг», где он был «идеологичен» до кончика ногтей и, сверх того, одержим идеей о господстве технической интеллигенции, — уже «Пушторг» был вял, скучен, нуден и тягуч. «Командарм-2» был таков же. Теперь «Электрозавод» — ничтожная, никчемная вещь. После чтения — ни одного хлопка, ни одного возгласа одобрения. Смущенное молчание, покашливание, взгляды в пол. Он, в смущении, стал читать дальше какие-то материалы. Среди них сатира на печать — вызвала смех.

## 21/IV-31

И Артем Веселый, и Гладков — оба были у Горького в Италии — бранят его. Артем рассказывает: быт Горького ужасен. Встают поздно — завтракают. Часа через два — едят. Часа через три — обед. Длится несколько часов —

собирается много народа. Вино. Разговоры о пустяках. Когда же он работает? Черт его знает: урывками. Оба утверждают, что он мало читает, что все ответы на письма — по кратким резюме. Рядом с его виллой — дом для гостей. — Живет широко, многих кормит, кто приезжает. Но живет «для себя».

Статья Горького — об издательской работе, о недобросовестности и пр. в «Правде» и «Известиях» — вызвала шум в писательской среде<sup>129</sup>. Он справедливо вздул и ГИЗ и ГИХЛ — за безобразную работу, за неграмотных редакторов, за «прорывы» и пр. Но мимоходом он обругал нескольких писателей — так, [за] здорово живешь, походя, — среди них некоторых зря. Обругал, между прочим, и А. Окулова<sup>130</sup>. На заседании правления Союза он обрушился на Горького с бранью и упреками, говорил о том, что Горький гадил на революцию<sup>131</sup> и т. д. Лидин — председательствовал — был в замешательстве и панике. Что делать? Выручил Эфрос, он внес предложение такого характера, что Союз не станет вмешиваться, что Окулов должен подать заявление, написать в газету — словом, что-то в этом роде. Но писательская публика — на стороне Окулова. Странная вещь: писатели Горького не любят, не терпят. О нем со злобой говорит Пришвин. С иронией — Сергеев-Ценский. С завистью и недоброжелательством — остальные. А друзья — кто они?

28/IV-31

Асеев «двурушничает». Малышкин рассказывает, как в ЦК, во время беседы делегации Союза писателей со Стецким, лишь только упоминалось имя «Нового мира», Асеев неизменно врывается в разговор с недоброжелательными замечаниями. А приходит в редакцию — любезен, просителен, как ни в чем не бывало. Человек с камнем за пазухой.

Вчера, на вечере в «Новом мире», он читал поэму про ОГПУ<sup>132</sup>. Четко сделанная вещь, даже с блеском, но холодная, головная. Он, очевидно, идет по стопам Маяковского: наступают на горло собственной песне. Внутренне лирик, чуждый пафосу индустриальной революции. Но других путей нет, а хочет быть «всеми». После Маяковского — считает себя «первым». Берет себя в руки и заставляет себя делать вещи, которые, по его мысли, «нужны» эпохе. Выполняет «социальный заказ». Но выходит холодно, без огня.



М. И. Калинин подметил это. Читали стихи Антокольский, Асеев, Кирсанов, Молчанов<sup>133</sup> и, последним, Пастернак. Про первых четырех Калинин заявил: не поэзия это, а рифмованная публицистика. Особенно он напал на Кирсанова: последний прочитал вступление к поэме «Золотой век». Здесь он, похлопывая по плечу Платона, сверху вниз смотрел на античную культуру, козырял именами софистов, неоплатоников, стоиков и т. д. Вещь поверхностная, сделанная с налету. Калинин заявил ему: «Знания не видно, желания учиться не видно. Послушают такие наши вещи и скажут — «невежды». Как вы пишете о Платоне? А читали вы Платона? Легкомысленно, поверхностно выходит все это...» Он после того, как уже оделся, стал разговаривать о поэзии. Его обступили кружком. Он заявил: я консерватор. Я считаю поэзией то, что можно петь. А ваши стихи, и вообще последние стихи — петь нельзя. Это не поэзия. Вот Гейне — поэт. Каждую вещь его можно петь. «Левый марш» Маяковского можно петь. А у нас пишут стихи — от головы, без музыки. В стихе первое дело — музыка. Надо от души, от сердца петь. Раз меня Есенин спросил: «Поэт я или нет». Я ответил: не поэт, потому что не знаю, что тебя поет народ. Вот напиши так, чтобы народ стал тебя петь, тогда поверю, что ты поэт.

Он не понимает современных исканий формы. «Я за старую форму. Вот, говорят про нашу музыку: а своей оперы мы не создали. А то, что создали — дрянь. А старая — слушай, всегда приятно».

Эти высказывания задели многих. Когда он сказал Кирсанову: «Прежде такие поэмы писали раз в десять лет. Надо поучиться», — Асеев бросил: «Да, конечно, к шестидесяти годам тогда напишет поэму». Лицо Асеева, когда он слушал Калинина о «публицистичности» прочитанных стихов, стало серым и злым. Он как будто внутренне говорил: «Сволочь, для тебя стараюсь, а ты морду воротишь».

Прекрасен был Пастернак — прочитал тонкие, лирические вещи, малопонятные, но захватившие всех. Есть в них глубочайшее, действительно как музыка, чувство. Даже Калинин, когда его спросили о Пастернаке, ответил: «Ну, что ж, о Пастернаке я не говорю. Он лирик». Это значит — Пастернак ему понравился больше. Говорю Вс. Иванову, что думаю написать о новых вещах его «Из записок бригадира Сеницына»<sup>134</sup>. Эти вещи он выполнял по «социальному

заказу». На «индустриальные темы». — Отставил свой стиль «Тайного тайных», т. е. свою настоящую манеру, и пытался потрафить напостовской критике. Взмолился: не надо писать, ну, чего вам! Случай мог бы показаться удивительным, если бы он действительно не боялся привлечь лишнее внимание именно к этим вещам: а вдруг все увидят, что это «подделки», — что в них, внутри, сквозь материал социалистического строительства — проглядывает все тот же Иванов из «Тайного тайных». — Боится потерять «командную высоту».

Один из писателей задал вопрос Калинин: «А как вы находите Пастернака?» Калинин ответил: «У него большое достоинство: он пишет кратко».

### Примечания

<sup>1</sup> В. В. Маяковский покончил с собой 14 апреля 1930 г.

<sup>2</sup> Первое Собрание сочинений Маяковского в 10 томах выходило в 1927—1933 гг. «Литературная газета» 9 декабря 1930 г. сообщала об издании Полного собрания сочинений Маяковского. После смерти поэта, вплоть до известной резолюции Сталина на письме Лили Брик, его произведения печатались сравнительно мало.

<sup>3</sup> Названы: Брик Лили Юрьевна (1891—1978) — переводчица, любимая женщина Маяковского, его муза, и Осип Максимович (1888—1945) — писатель, литературовед, один из идеологов Лефа-Рефа (см. примеч. 8); Катанян Василий Абгарович (1902—1980) — литературовед, киносценарист. Занимался изучением творчества Маяковского, подготовил «Хронику жизни и деятельности» поэта (5-е изд. — М., 1985); Авербах Леопольд Леонидович (1903—1937) — литературный критик, журналист, руководитель и теоретик РАПП, редактор журнала «На литературном посту».

<sup>4</sup> Соловьев Василий Иванович (1890—1939) — директор Государственного издательства художественной литературы (ГИХЛ).

<sup>5</sup> Леонов Леонид Максимович (1899—1994) — писатель.

<sup>6</sup> Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов; 1883—1945) — поэт.

<sup>7</sup> Горбов Дмитрий Алексеевич (1894—1967) — литературный критик, переводчик. Редактор издательства «Земля и фабрика» (впоследствии — ГИЗ), теоретик «Перевала».

<sup>8</sup> Леф (Левый фронт искусств) — литературно-художественное объединение, существовало в 1922—1929 гг. Возглавлялось Маяковским и по его инициативе было преобразовано в Реф (Революционный фронт искусств).

<sup>9</sup> Эстетические расхождения и различие мироощущений Б. Л. Пастернака (1890—1960) и группы Леф во главе с Маяковским восходят к началу

1920-х гг. и, пройдя сложную эволюцию, привели к тому, что в середине 1927 г. Пастернак снял свою фамилию из списка сотрудников «Нового Лефа».

В статьях Полонского того времени выражалось негативное отношение к Лефу и лефовцам. Исключение делалось для Маяковского: «Я не хочу сказать, будто Маяковский — Хлестаков русской поэзии. Это было бы чудовищной недооценкой поэтической роли, сыгранной Маяковским... Я предлагаю лишь отделить в поэзии Маяковского то, что есть в ней лучшего и настоящего, от «маяковщины»» (см.: Полонский В. П. Леф или блеф // Известия. 1927. 25 и 27 февр.; Критические заметки. Блеф продолжается // Новый мир. 1927. № 5). Подробнее об этом см.: Встречи с прошлым. Вып. 7. М., 1990. С. 340 — 348, 364 — 365, а также предисловие к публикации писем Б. Л. Пастернака Полонскому (Литературное наследство. Т. 93. М., 1983. С. 685).

<sup>10</sup> «Летопись» — литературно-научный и политический журнал (1915 — 1917), основанный Горьким в Петрограде. Редактором был А. Н. Тихонов.

*Венгров Натан* (псевд. Вейнграва Моисея Павловича; 1894 — 1962) — поэт, прозаик, автор стихов для детей, специализировался в области педагогики.

<sup>11</sup> Тихонов Александр Николаевич (1880 — 1956) — писатель, литературный деятель.

<sup>12</sup> *Фадеев Александр Александрович* (1901 — 1956) в марте 1931 г. стал редактором «Красной нови». Вместе с ним в состав редколлегии вошли Л. Леонов, Вс. Иванов, П. Горохов (см.: Литературная газета. 1931. 9 марта). Таким образом «попутнический» журнал превращался в «рапповский» (в 1926 — 1932 гг. Фадеев входил в руководство РАПП).

<sup>13</sup> *Малышкин Александр Георгиевич* (1892 — 1938) — писатель.

<sup>14</sup> Отдельным изданием «Разгром» Фадеева вышел в марте 1927 г. (Л.: Прибой); главы из романа печатались в журналах «Октябрь» и «Молодая гвардия».

<sup>15</sup> Перечислены писатели: *Слетов Петр Владимирович* (1897 — 1981); *Губер Борис Андреевич* (1903 — 1937); *Капаев Иван Иванович* (1902 — 1939). Повесть последнего «Сердце» (1928), по словам критика А. З. Лежнева, считалась программной вещью «Перевала».

<sup>16</sup> *Рыкачев Яков Семенович* (1893 — 1976) — писатель. Речь идет о его произведении «Величие и падение Андрея Полозова. Повесть без диалогов» (Новый мир. 1931. № 5).

<sup>17</sup> *Лугин* (наст. фам. Гомберг) *Владимир Германович* (1894 — 1979) — писатель.

<sup>18</sup> *Никандров Николай* (псевд. Шевцова Николая Никандровича; 1878 — 1964) — писатель.

<sup>19</sup> Отрывки из повести А. Г. Малышкина (1892 — 1938) «Севастополь» публиковались в «Новом мире» в 1929 (№ 1-3) и 1930 (№ 11, 12). Отклики в журнале «На литературном посту» в 1929 г.: *Н. Н. По журналам* (№ 3); *Фадеев А. А. О «Севастополе» А. Малышкина* (№ 6); *Селивановский А. П. Александр Малышкин* (№ 17) и др.

<sup>20</sup> «Тайное тайных» (1927) — сборник рассказов Вс. Иванова. Подвергся ожесточенной рапповской критике, учувшей не только фрейдистский, но и «контрреволюционный» душок. В то же время Горький оценил «Тайное тайных» чрезмерно высоко, поставив рассказы Вс. Иванова выше

бунинских. Любопытно свидетельство Вс. Иванова: «Рассказы цикла «Тайное тайных» критика отвергла. Рассказы этого же цикла, помещенные в сборник, названный «Дикие люди», — проходили» (цит. по: *Иванова Т.* Писатель обгоняет время // Иванов Вс. Кремль. М., 1990. С. 521).

<sup>21</sup> Доклад писателя Сергея Федоровича *Буганцева* (1896—1941) «Бегство от долга», написанный в январе 1931 г., сохранился в его фонде в РГАЛИ (Ф. 2268. Оп. 2. Ед. хр. 29. Л. 13—38). Содержание его значительно шире, чем пишет Полонский.

<sup>22</sup> Среди названных литераторов: *Инбер* Вера Михайловна (1890—1972) — поэтесса; *Зелнский* Корнелий Люцианович (1896—1974) — критик, литературовед, один из основателей и теоретиков Литературного центра конструктивистов; *Ермилов* Владимир Владимирович (1904—1965) — критик, литературовед, известный своим циничным приспособленчеством и беспринципностью, в то время секретарь РАПП; *Киришон* Владимир Михайлович (1902—1938) — драматург, секретарь РАПП.

<sup>23</sup> *Селивановский* Алексей Павлович (1900—1937) — критик, один из руководителей РАПП, член редколлегии журналов «На литературном посту», «Октябрь» и др. По мнению Н. Я. Мандельштам, был «одним из самых мягких из рапповской братии» (*Мандельштам Н. Я.* Вторая книга. М., 1990. С. 433).

<sup>24</sup> «Особняк» (Журнал для всех. 1928. № 1) — повесть Вс. Иванова, подобно «Тайному тайных», ставшая объектом напостовской критики.

<sup>25</sup> Корней Иванович *Чуковский* (1882—1969) в то время испытал множество нападок против своих произведений для детей, в русле общего пересмотра тенденций детской литературы. См., напр., статью Н. К. Крупской против «Крокодила» (Правда. 1928. 1 февр.). Горький выступил в защиту Чуковского (Правда. 14 марта), однако значения директивы его слова тогда еще не имели. Появился даже термин «чуковщина». Заявление Чуковского в ГИЗ от 10 декабря 1929 г. было опубликовано внутри статьи А. Б. Халатова «К спорам о детской литературе» (Литературная газета. 1929. 30 дек.).

*Халатов* Артемий (Арташес) Богратович (1896—1938) — советский, партийный деятель, в 1927—1932 гг. председатель правления Госиздата и ОГИЗ РСФСР.

<sup>26</sup> См.: *Новый мир*. 1931. № 2. С. 128—137.

Бобровка — санаторий им. проф. Боброва.

<sup>27</sup> «Речь» — орган партии кадетов, редактировалась *Иосифом* Владимировичем *Гессеном* (1866—1943) — одним из лидеров «Партии народной свободы», депутатом 2-й Государственной Думы от конституционных демократов, после революции эмигрировавшим и издававшим в Берлине многотомный «Архив русской революции». Чуковский был постоянным сотрудником «Речи».

<sup>28</sup> *Ликсанов* Николай Кирьякович (1878—1969) — историк литературы, член-корреспондент АН СССР с 1931 г.

<sup>29</sup> *Казин* Василий Васильевич (1898—1981) — поэт. В те годы печатался, главным образом, в изданиях, руководимых Воронским («Красная новь», альманах «Круг»).

<sup>30</sup> *Замошкин* Николай Иванович (1896 — 1960) — литературный критик.

<sup>31</sup> В Доме Герцена 21 февраля 1926 г. отмечался пятилетний юбилей журнала «Красная новь», ответственным редактором которого все эти годы была Воронский (см. газетный репортаж: Вечерняя Москва. 1927. 22 февр.).

<sup>32</sup> *Евдокимов* Иван Васильевич (1887 — 1941) — писатель.

<sup>33</sup> Речь идет об исключении Воронского в феврале 1928 г. из партии по обвинению в троцкизме и его ссылке в Липецк. Как пишет хорошо его знавший старейший русский переводчик Николай Любимов, «в 28-м году заместитель председателя ОГПУ Агранов сфабриковал «дело Воронского», и только в последнюю минуту Орджоникидзе добился для него замены концлагеря недолгой высылкой в Липецк» (*Любимов Н. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний.* Т. I. М., 2000. С. 80). Позднее Воронский отошел от оппозиции и был восстановлен в ВКП(б).

<sup>34</sup> *Богородский* Федор Семенович (1895 — 1959) — художник. Его выставка открылась 1 марта 1931 г.

<sup>35</sup> *Трофимов* Владимир Кузьмич (1899 — ?) — начальник Музея Красной Армии.

<sup>36</sup> *Уткин* Иосиф Павлович (1903 — 1944) — поэт.

<sup>37</sup> *Макаров* Иван Иванович (1900 — 1940) — писатель.

<sup>38</sup> *Нитобург* Лев Владимирович (1899 — ?) — писатель.

<sup>39</sup> *Рагимов* Павел Александрович (1887 — 1967) — поэт, художник.

<sup>40</sup> Внизу страницы К. П. Полонской, вдовой писателя, приписано: «“Рисовать”. К. П. (Ошибка. При этом я была)».

<sup>41</sup> См. об этом работу Воронского «Искусство видеть мир» (1928).

<sup>42</sup> Из поэмы Маяковского «Флейта-позвоночник» (1915).

<sup>43</sup> 25 марта 1928 г. Горький пишет Полонскому, как редактору «Печати и революции», что рецензия М. М. Поляковой на «Жизнь Клима Самгина» (Печать и революция. 1928. № 1) необоснованна, т. к. автор делает ряд категорических выводов о произведении, еще не знакомом ему в целом. «Если Вы подумаете, что я «задет» рецензией Поляковой, — это будет неправда, обидная для меня...» (Архив А. М. Горького. Т. 10. Кн. 2. М., 1965. С. 105).

<sup>44</sup> 13 марта 1928 г. Полонский обратился к Горькому с просьбой разрешить опубликовать в «Печати и революции» 10 писем Горького В. Я. Брюсову. 25 марта Горький ответил отказом, мотивируя тем, что письма общественных деятелей не принято печатать при их жизни (см.: Архив А. М. Горького. М., 1965. Т. 10. Кн. 2. М., 1965. С. 103 — 105).

Несмотря на запрещение Горького, его письма Брюсову все же были опубликованы (Печать и революция. 1928. № 5).

<sup>45</sup> 15 декабря 1926 г. Горький поздравил Вс. Иванова с хорошо написанным рассказом «На покой» (Новый мир. 1926. № 12) и рекомендовал в таком же духе написать повесть или роман. Это одобрительное письмо Горького было опубликовано внутри статьи М. О. Ольшевец «Писатель в одиночестве. Почему?» (Известия. 1927. 1 янв.). В связи с недовольством Горького фактом этой публикации Вс. Иванов 22 января 1927 г. отправил письмо с извинениями и получил ответ 30 января (подробнее см.: *Иванов*

Вс. В. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., 1985. С. 34–36).

<sup>46</sup> Горький окончательно возвратился в Москву после своего 9,5-летнего пребывания за границей 14 мая 1931 г. Ему отвели б. особняк Рябушинского, построенный архитектором Ф. О. Шехтелем, на Малой Никитской, д. 6 (там сейчас Музей А. М. Горького).

<sup>47</sup> Всероссийское общество культурной связи с заграницей.

<sup>48</sup> «Новый мир» был изданием «Известий ВЦИК и ЦИК СССР». Органом Союза писателей стал с января 1947 г.

<sup>49</sup> ФОСП – Федерация объединений советских писателей. Создана 21 ноября 1927 г., объединила Всероссийскую ассоциацию пролетарских писателей (ВАПП), Всероссийский союз писателей (ВСП) и Всероссийское общество крестьянских писателей (ВОКП).

<sup>50</sup> Под мемуарами Воронского подразумеваются автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927).

<sup>51</sup> Имеется в виду повесть Воронского «Глаз урагана» (Звезда. 1931. № 1-3).

<sup>52</sup> Рассказ «Федя – гверильяс» в «Новом мире» опубликован не был. Вошел в сборник Воронского «Рассказы и повести» (М., 1933).

<sup>53</sup> Имеются в виду следующие статьи в «Литературной газете» в марте 1931 г.: «ГИХЛ задерживает выход журнала РАПП», «Прорыв в ГИХЛ» (9 марта); «На ликвидацию прорыва», «Общественность мобилизуется» (14 марта); «Ликвидировать прорыв в ГИХЛ» (24 марта) и др.

<sup>54</sup> Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939), Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) – художники; после революции в эмиграции.

<sup>55</sup> Сабашникова Татьяна Михайловна, дочь М. В. Сабашникова (1871–1943), одного из основателей знаменитого Издательства братьев Сабашниковых (вместе с С. В. Сабашниковым).

<sup>56</sup> Первая жена Б. Л. Пастернака – Евгения Владимировна (1898–1965), сын – Евгений Борисович (р. 1923).

<sup>57</sup> Второй женой Б. Л. Пастернака стала Зинаида Николаевна Нейгауз (1894–1966), в первом браке бывшая замужем за пианистом Генрихом Густавовичем Нейгаузом (1888–1964).

<sup>58</sup> Статья Н. Н. Асеева (1889–1963) «Работа Маяковского» (о творческом методе поэта) была опубликована в «Новом мире» (1931. № 4).

<sup>59</sup> Стецкий Алексей Иванович (1896–1938) – советский, партийный деятель. С 1930 г. заведовал агитпропотделом ЦК ВКП(б).

<sup>60</sup> Шенгели Георгий Аркадьевич (1894–1956) – поэт, переводчик, стиховед.

<sup>61</sup> Молотову.

<sup>62</sup> Литературным помощником А. С. Новикова-Прибоя во время работы над романом «Цусима» (начал печататься в мае 1930 г.) был лейтенант царского флота (отнюдь не адмирал) Л. В. Ларионов, служивший на броненосце «Орел». Он жил в Ленинграде и провел большую работу по сбору архивных и др. материалов для автора «Цусимы».

<sup>63</sup> Главнаука – Главное управление научными, музейными и научно-художественными учреждениями Наркомпроса РСФСР. ГАИС – Государ-

ственная академия искусствознания. Упомянутое издание осуществлено не было.

<sup>64</sup> Сац Игорь Александрович (1903–1980) — литератор. Многолетний секретарь А. В. Луначарского.

<sup>65</sup> Гнедин (Гельфанд) Евгений Александрович (1898–1980) — публицист, дипломат. До ареста в 1939 г. — заведующий Отделом печати НКВД; печатался в «Новом мире».

<sup>66</sup> Выставка картин Константина Федоровича Юона (1875–1958) была открыта 21 марта 1931 г.

<sup>67</sup> Луначарская-Розенель Наталья Александровна (1902–1962) — актриса. Жена А. В. Луначарского.

<sup>68</sup> Вероятно, Никитина Евдоксия Федоровна (1895–1973) — историк литературы, председатель кооперативного издательства «Никитинские субботники» и организатор одноименного литературного объединения.

<sup>69</sup> Открытие выставки Павла Варфоломеевича Кузнецова (1878–1968) состоялось 18 апреля 1931 г.

<sup>70</sup> «Каторга и ссылка» — журнал Общества бывших политкаторжан и ссыльпоселенцев. Выходил в 1921–1935 гг., публиковал воспоминания участников освободительного движения. Закрыт вместе с разгоном Общества. Подготовленные к печати, но оставшиеся неопубликованными рукописи, оставшиеся в портфеле редакции, хранятся в РГАЛИ (Ф. 1744, Собрание воспоминаний народовольцев).

<sup>71</sup> Перечислены: Теодорович Иван Адольфович (1875–1937) — редактор «Каторги и ссылки» в 1929–1935 гг., генеральный секретарь Крестьянского Интернационала; Шумяцкий Борис Захарович (1886–1938) — советский государственный и партийный деятель, с 1930 г. — председатель Союзкино; Фроленко Михаил Федорович (1848–1938) — революционер-народник, шлиссельбуржец; Сажин Михаил Петрович (1845–1934) — революционер-народник, сподвижник М. А. Бакунина, с 1920 г. служил в Центрархиве; Фигнер Вера Николаевна (1852–1942) — деятельница революционного движения, писательница, член Исполкома «Народной воли», 20 лет провела в одиночном заключении в Шлиссельбурге; Диковская Анна Васильевна (1856–1942) — деятельница революционного движения, член Исполкома «Народной воли»; Шебалин Михаил Петрович (1857–1937) — революционный деятель, шлиссельбуржец, директор Музея П. А. Кропоткина в Москве.

<sup>72</sup> В марте 1871 г. в дни Парижской коммуны Сажин выехал из Швейцарии в Париж и, принимая активное участие в борьбе коммунаров, попал там до подавления восстания.

<sup>73</sup> Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — философ, социолог, публицист, идеолог народничества.

<sup>74</sup> «Красный архив» (1922–1941) — научный исторический журнал Центрархива РСФСР, публиковавший архивные документы по истории России.

<sup>75</sup> Козьмин Борис Павлович (1888–1958) — историк, редактор «Каторги и ссылки», составитель биобиографического словаря «Писатель современной эпохи».

<sup>76</sup> *Кондратьев Николай Дмитриевич* (1892 – 1938) – экономист. Под несвоевременным «отмежеванием» Теодоровича от Кондратьева, возможно, имеется в виду содействие Теодоровича и А. В. Чайнова освобождению арестованного в 1920 г. Кондратьева, который после этого еще дважды арестовывался.

<sup>77</sup> В это время был введен в эксплуатацию первый кооперативный дом Всероссийского союза советских писателей (ул. Фурманова, 3/5; дом не сохранился. См. стихотворение Осипа Мандельштама «Квартира».)

<sup>78</sup> *Голодный Михаил* (псевд. Эпштейна Михаила Семеновича; 1903 – 1949) – поэт.

<sup>79</sup> *Арский Павел* (псевд. Афанасьева Павла Александровича; 1886 – 1967) – поэт, драматург, участник революции 1905 года.

<sup>80</sup> *Никифоров Георгий Константинович* (1884 – 1939) – писатель, член литературного объединения «Кузница».

<sup>81</sup> *Смирнов Николай Павлович* (1898 – 1978) – писатель, критик. Примакал к литературной группе «Перевал».

<sup>82</sup> Имеется в виду громкий скандал, вылившийся в травлю Б. А. Пильняка за опубликование за границей повести «Красное дерево» (Берлин: Петрополис, 1929). См. примеч. 86.

<sup>83</sup> Страницы дневника Полонского, посвященные И. Э. Бабелю (1894 – 1940), опубликованы в кн.: Воспоминания о Бабеле. М., 1989.

<sup>84</sup> *Пятаков Георгий Леонидович* (1890 – 1937) – советский, партийный деятель, в 1927 г. был торгпредом СССР во Франции.

<sup>85</sup> *Лебедев-Полянский Павел Иванович* (псевд. Валериан Полянский; 1881/82 – 1948) – критик, литературовед. С 1922 по 1931 г. был главным цензором страны – начальником Главного управления по делам литературы и издательств Наркомпроса РСФСР (Главлита).

<sup>86</sup> 2 сентября 1929 г. в «Литературной газете» под общим заголовком «Против буржуазных трибунов под маской советского писателя. Против переключки с белой эмиграцией» наряду с другими была напечатана заметка «Наше отношение», подписанная от Рефа «т. Маяковским»: «Повесть Пильняка [...] не читал [...], но сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов [...] это равно фронтовой измене» (*Маяковский В. В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 12. М., 1959. С. 196). О своем отношении к поступку Пильняка (отметим, что повесть «Красное дерево» была передана автором берлинскому издательству легально и вполне официально, через ВОКС) Маяковский также говорил на Втором расширенном пленуме правления РАПП (см.: Там же. С. 382–384).

<sup>87</sup> *Павленко Петр Андреевич* (1899 – 1951) – писатель.

<sup>88</sup> Вероятно, имеется в виду журнал «Литература народов СССР», решение об издании которого было принято Всесоюзным объединением ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП) и объявлено в журнале «На литературном посту» (1931. № 3), однако упомянутый журнал так и не вышел.

<sup>89</sup> В. В. Вересаев (наст. фам. *Смигович*; 1867 – 1945) в то время был председателем Всероссийского союза писателей.

<sup>90</sup> *Милютин Владимир Павлович* (1884 – 1937) – советский, партийный деятель. С 1928 г. возглавлял ЦСУ, был зам. председателя Госплана СССР.



<sup>91</sup> 9 марта 1931 г. «Литературная газета» в редакционной статье «О выводе т. Безыменского из состава секретариата РАПП. Резолюция пленума РАПП принята единогласно» сообщала: «Имея свою собственную литературно-политическую платформу, в ряде важнейших моментов созвучную с линией право-«левацкого» и антипартийного блока, группировка «Литфронта» заявляла, однако, о существовании только творческих разногласий. Эта маскировка литфронтовцев была разоблачена. [...] Занимая в «Литфронте» наиболее непримиримую по отношению к РАПП позицию, т. Безыменский и после роспуска этой группы продолжает борьбу против линии РАПП и рапповского руководства. [...] В настоящее время [...] пленум постановил вывести т. Безыменского из состава секретариата РАПП».

<sup>92</sup> «Форнарина» — картина итальянского художника Джулио Романо (1499 — 1546).

<sup>93</sup> Против основных творческих принципов и установок РАПП («теории непосредственных впечатлений», лозунгов «показа живого человека», «срывания всех и всяческих масок», «углубленного психологизма») выступили: И. М. Беспалов, Г. Е. Горбачев, М. Гельфанд, А. Камегулов и др. Дискуссия приняла научно-философский характер, и рапповцам трудно было противостоять ученым, обвинявшим своих противников в невежестве, незнании трудов философов и классиков марксизма. Пик дискуссии пришелся на 3-ю конференцию Ленинградского отделения РАПП (май 1930 г.), в которой приняло участие все рапповское руководство и противостоящие им ученые (см.: На литературном посту. 1930. № 12).

<sup>94</sup> Гроссман-Роштин Иуда Соломонович (1883 — 1934) — литературовед, член РАПП, бывший анархист.

<sup>95</sup> Органом Российской ассоциации пролетарских писателей стал журнал «На литературном посту» (1926 — 1932). В 1931 г. начал выходить журнал «РАПП» (до ликвидации ассоциации вышло 3 номера).

<sup>96</sup> М. М. Пришвин (1873 — 1954) по заданию редакций газеты «Известия» и журнала «Наши достижения» ездил на Урал, Дальний Восток, затем на Беломорканал, Хибины и Соловки, что нашло отражение в его творчестве (опубликованный посмертно в 1957 г. роман «Осударева дорога» о Беломорканале). В дневнике Пришвин записал 1 марта 1931 г.:

Только на Урале я понял посредством глубокого чувства, что новое строительство значительно именно тем, что это строительство не «дело» в том смысле, как далось мне это понятие: что истинно железные люди, которые стали во главе этого строительства только потому <нрзб.> что совершенно отрицают старое «дело». Ближе всего это «недело» к войне, потому что, во-первых, как на войне, тут действуют массы.

(Наше наследие. 1990. № 2. С. 58).

<sup>97</sup> См.: Пришвин М. М. Ударник детской литературы. Открытое письмо издательству «Молодая гвардия» // Литературная газета. 1931. 14 янв.

В порядке соцсоревнования Пришвин предлагал «пойти в детскую литературу» М. Горькому, А. Н. Толстому, В. Я. Шишкову и др.

<sup>98</sup> Речь может идти об одной из двух книг пародиста Александра Григорьевича Архангельского (1889 — 1938), вышедших в издательстве ЗиФ в 1930 г.: «Пародии» или «О Бабеле, Gladкове, Жарове, Зориче, Зоценко,

Инбер; Клычкова, крестьянском поэте; Луговском, Никифорове, Олеше, Орешине, Романове, Радимове, Светлове, Сельвинском, Третьякове, Уткине, Шкловском». Обе книги иллюстрировали Кукрыниксы.

<sup>99</sup> Книга была издана. См.: Безбожник. X лет. Антирелигиозный альбом-книга. М., 1932. Художественное оформление Дмитрия Стахивевича Моора (1883 — 1946).

<sup>100</sup> Ломов-Оппоков Георгий Ипполитович (1888 — 1938) — партийный, советский деятель. В 1931 — 1933 гг. — зам. председателя Госплана СССР.

<sup>101</sup> Среди перечисленных Полонским: Гроссман Леонид Петрович (1888 — 1965) — литературовед, поэт; Эфрос Абрам Маркович (1888 — 1954) — литературный критик, переводчик, искусствовед; Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899 — 1968) — поэт, один из вождей Литературного центра конструктивистов; Глазков Федор Васильевич (1883 — 1958) — прозаик, член литературной группы «Кузница»; Никулин (наст. фам. Ольконицкий) Лев Вениаминович (1891 — 1967) — писатель; Катаев Валентин Петрович (1897 — 1986) — писатель.

<sup>102</sup> Чапыгин Алексей Павлович (1870 — 1937) — писатель, автор романа «Разин Степан» (1925 — 1926; опубл. в 1927 г.).

<sup>103</sup> Расширенный пленум Центрального совета Всероссийского общества крестьянских писателей проходил 15 — 17 мая 1928 г.

<sup>104</sup> Поступальский Игорь Стефанович (1907 — 1990) — поэт, переводчик, критик.

<sup>105</sup> Гронский Иван Михайлович (1894 — 1985) — редактор «Известий ВЦИК» в 1928 — 1934 гг., а с 1932 до 1937 г. также и «Нового мира». В 1932 — 1933 гг. был председателем Оргкомитета Союза советских писателей. 30 сентября 1959 г. выступал перед сотрудниками ЦГАЛИ с воспоминаниями о крестьянских писателях (стенограмма опубликована французским историком литературы М. Никё: Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. М., 1992. С. 139 — 171).

<sup>106</sup> Скворцов-Степанов Иван Иванович (1870 — 1928) — советский государственный, партийный деятель, публицист, редактор «Известий ВЦИК» с 1925 г.

<sup>107</sup> Верейский Георгий Семенович (1886 — 1962) — художник-график.

<sup>108</sup> Кареев Николай Иванович (1850 — 1931) — историк, академик.

<sup>109</sup> Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870 — 1938) — директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса в 1921 — 1931 гг. Приобрел за границей для Института рукописи и письма Маркса и Энгельса; по возвращении был исключен в 1931 г. из партии по обвинению в связях с заграничными меньшевиками. Позднее был репрессирован.

<sup>110</sup> Годвин Уильям (1756 — 1836) — английский писатель, философ, автор трактатов «Рассуждение о политической справедливости», «О собственности».

<sup>111</sup> Зарудин Николай Николаевич (1899 — 1937) — писатель, член литературной группы «Перевал».

<sup>112</sup> Речь идет о подписанной криптонимом «М.» заметке «Знакомый гость из неизвестных камышей» (Комсомольская правда. 1931. 8 апр.). В заметке курсивом были выделены слова: «Для Зарудина коллективизация — гибель человечества, гибель природы, гибель всего живого».

<sup>113</sup> *Тагер Елена Михайловна* (1895 – 1964) – писательница, мемуаристка.

<sup>114</sup> *Айхенвальд Юлий Исаевич* (1872 – 1928) – литературный критик. Был выслан из Советской России в 1922 г. вместе с большой группой интеллигенции.

<sup>115</sup> См.: *Селивановский А. П.* Старик обожал искусство. О статье Вяч. Полонского «Концы и начала» // Литературная газета. 1931. 19 марта. Речь идет об опубликованных в «Новом мире» (1931. № 1), по определению Селивановского, «заметках о реконструктивном периоде советской литературы». Селивановский писал: «Вячеслав Полонский относится к числу критиков, не торопящихся со своими высказываниями по спорным вопросам литературы. Он обычно предпочитает мудро молчать, выслушивать других и лишь после этого выносить свое решение. [...] Основное внимание наш автор уделил проблемам буржуазной и попутнической литературы».

<sup>116</sup> *ЛОКАФ* – Литературное объединение Красной Армии и Флота. Было образовано 29 июля 1930 г.

<sup>117</sup> Полонский мог увидеть Маяковского вместе с Л. Ю. Брик не раньше июля 1915 г. (время их знакомства).

<sup>118</sup> Среди названных: Г. Лелевич (псевд. Калмансона Лабори Гилелевича; 1901 – 1937) – литературный критик, один из руководителей и теоретиков РАПП; *Коган Петр Семенович* (1872 – 1932) – историк литературы, критик, президент ГАХН; *Шнейгер Александр Карлович* (1889 или 1890 – 1938) – литературный критик, переводчик; *Динамов Сергей Сергеевич* (1901 – 1938) – литературовед, переводчик, редактор журнала «Интернациональная литература».

<sup>119</sup> Маяковскому не принадлежала инициатива «Окон сатиры» РОСТА, он присоединился к работе над ними в октябре 1919 г. со второго «Окна».

<sup>120</sup> *ПУР* – Политическое управление РККА. Полонский в гражданскую войну был председателем Высшего Военного редакционного совета (ВВРС), руководил Литературно-издательским отделом Политуправления Красной Армии.

<sup>121</sup> По Луначарскому, в Маяковском жили «две личности» – «поэт-трибун» и «сентиментальный лирик», победа которого и привела к трагической гибели. Размышления Полонского, вероятно, вызваны строками Маяковского «Я, / душу похерив, / кричу о вещах, / обязательных при социализме» («Вопль тела») и – «Но я / себя / смирял, / становясь / на горло / собственной песне» («Во весь голос»).

<sup>122</sup> Луначарский говорил: «Троцкий [...] больше не товарищ, как мы, Маяковскому металлическому, а товарищ Маяковскому-двойнику. Троцкий пишет, что драма Маяковского заключается в том, что он, правда, как мог, полюбил революцию и, как мог, шел к ней, – да революция-то не настоящая, и путь не настоящий. [...] В сущности говоря, уверяет Троцкий, Маяковский убил себя потому, что революция пошла не по-Троцкому; вот если бы по-Троцкому – она такими бы расцвятилась бенгальскими огнями, что Маяковскому и в голову не пришло бы после этого стреляться» (*Луначарский А. В.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1964. Т. 2. С. 498 – 499).

<sup>123</sup> *Луппол Иван Капитонович* (1896 – 1943) – литературовед, историк, философ. *Малкин Борис Федорович* (1890 – 1942) – советский работник,

в нач. 1920-х гг. заведующий Центральным агентством ВЦИК по распространению печати (Центропечать), был председателем акционерного общества «Межрабпом-Русь» (киностудия).

<sup>124</sup> *Кон Феликс Яковлевич* (1864–1941) — зам. председателя Интернациональной контрольной комиссии, член ВЦИК и ЦИК СССР.

<sup>125</sup> Пьес, написанных Н. А. Розенель, выявить не удалось.

<sup>126</sup> *Ларин Юрий* (псевд. Лурье Михаила Зальмановича; 1882–1932) — советский государственный деятель, член Президиума ВСНХ, ВЦИК, ЦИК СССР.

<sup>127</sup> *Корнев Геннадий Ефимович* (1896–1960) — поэт.

<sup>128</sup> Речь идет об «Электрозаводской газете» — поэме Сельвинского, написанной в форме стихотворной газеты. Ср. свидетельство Н. Любимова, слышавшего чтение Сельвинского на вечере в клубе ФОСП: «Сельвинский читал так, что даже его стихи из «Электрозаводской газеты», в которых я потом не мог отличить, где же кончается графоман и где начинается халтурщик, слушатели принимали восторженно» (*Любимов Н. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Т. I. М., 2000. С. 280–281*).

<sup>129</sup> В январе 1931 г. Горький получил письмо от А. Б. Халатова, где говорилось о трудности работы ОГИЗа из-за недостатка бумаги и тому подобных проблем. В ответном письме (24 января 1931 г.) Горький указывал, что ОГИЗ и «Федерация» выпускают много ненужных книг. 19 апреля 1931 г. дуплетом в «Правде» и «Известиях» (выступления Горького обычно печатались одновременно в обеих главных газетах страны) появилась статья «О работе неумелой, небрежной, недобросовестной и т. д.», продолжавшая тему ответа Халатову.

<sup>130</sup> *Окулов Алексей Иванович* (1880–1939) — писатель, член группы «Перевал».

<sup>131</sup> Вероятно, имеется в виду цикл статей Горького 1917 года «Несвоевременные мысли» в газете «Новая жизнь».

<sup>132</sup> Поэма Н. Н. Асеева «ОГПУ» целиком не издавалась. 14 апреля 1931 г. в «Литературной газете» был напечатан отрывок.

<sup>133</sup> *Молчанов Иван Никанорович* (1903–1984) — поэт.

<sup>134</sup> Речь идет о цикле очерков Вс. Иванова «Повести бригадира М. Н. Силицына, рассказанные им в дни первой пятилетки» (1930–1931).

## РОБЕРТ ФАЛЬК В ПАРИЖЕ

*(Лекция Р. Р. Фалька 1943 года «Влияние современного искусства Парижа на художественную промышленность Франции»)*

Публикация М. В. Золотовой

С 1928 по 1937 год Роберт Рафаилович Фальк жил и работал во Франции. К концу 1920-х годов он уже достиг известности как художник, о нем писали, у него состоялись две персональные выставки. С 1918 года Фальк — один из самых популярных профессоров Первых государственных свободных мастерских (впоследствии ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН), где он был деканом факультета живописи. Но административные обязанности мешали сосредоточиться на сложнейших задачах живописи, встававших перед художником. Лирико-философскому складу этого человека недоставало уединения студии, атмосферы углубленного поиска. Он решил уехать туда, где его никто не знал, никто не ждал. В юности он совершил поездку в Италию, в зрелые годы выбрал Париж.

Поездка за границу затянулась, и вместо полугода Р. Р. Фальк провел во Франции около десяти лет. Очарование Францией и Парижем художник сохранил на всю его оставшуюся жизнь. Много позже, в своих воспоминаниях о Фальке, его жена А. В. Щекин-Кротова (1910 — 1992) напишет:

О Париже Фальк вспоминал очень часто и рассказывал очень много, и не только мне одной, а художникам, друзьям, знакомым, ученикам. Друзья приводили своих друзей, знакомые знакомых. Всем хотелось посмотреть картины Фалька и послушать его рассказы. Париж в конце 1930-х и позже казался нам всем другой планетой, а Фальк, проживший там чуть ли не десять лет, как бы пришельцем из других миров. Рассказывая об одном и том же, Фальк всегда находил новые краски, новые детали. Для разных слушателей были у него разные темы. Художникам он рассказывал об искусстве, выставках, о художниках. Женщинам — о модных домах, магазинах, городе. Друзьям — о своей жизни в Париже и своих переживаниях, надеждах и огорчениях. Рассказчик он был неутомимый, и впечатления его, казалось, были неистощимы. Он не выдумывал, он умел видеть, наблюдать и четко, конкретно вспоминать, когда ему этого хотелось. Что бы он ни говорил: о своем одиночестве в Париже, о

трудной жизни художников, об экономическом кризисе 30-х годов в Европе, все-таки Париж вспоминается как нечто прекрасное, как вспоминают трудную и большую любовь. Париж на всю жизнь околдовал Фалька.

(Ф. 3018. Оп. 1. Ед. хр. 229. Л. 54 – 55).

В 1943 году, в эвакуации в Самарканде, Фальк прочел для студентов Высшего художественно-промышленного училища цикла лекций, на которые, как вспоминала Щекин-Кротова, «...пришли со всех художественных школ, эвакуированных из Москвы и Ленинграда» (Там же. Ед. хр. 134). Сделанные ею записи этих лекций вошли в состав созданного в РГАЛИ в 1984 году фонда Р. Р. Фалька. Публикуем одну из них (Там же. Ед. хр. 135).

Тема моей лекции шире, чем указано в названии. Я буду говорить о взаимодействии искусства и города, о влиянии искусства не только на художественную промышленность, но и на лицо, на облик города, улицы. Таким образом, речь будет идти не только о художественной промышленности, но и о многом другом.

Как я уже раньше говорил, французы темпераментный, пластически одаренный народ. Эта его одаренность проявляется не только в пластических искусствах, в танце, но во всем его обиходе: как он умеет носить платье, как движется, как умеет радоваться жизни, наслаждаться. У них все получается грациозно, изящно: как идут по набережной грузчики в запачканных костюмах, как ест рабочий в столовке своей. Едят они немного, но с большим вкусом и умеют хорошо рассказать о еде.

Улица Парижа наполнена темпераментным, веселым, шумным народом. Он шутит, смеется – живет. Это умение наслаждаться простой жизнью присуще французам и в искусстве. В наше время и в XIX веке только одно французское искусство сохранило радость цвета и линии, умение наслаждаться ими. Всюду искусство стало изобразительным, во Франции оно, кроме того, доставляет эстетическое наслаждение. Не случайно Франция последние двести лет была гегемоном в изобразительном искусстве – пластическая одаренность французского народа – одно из условий этой гегемонии.

Непрерывное взаимодействие искусства и жизни характерно для французского искусства. Искусство обогащалось жизнью, и, наоборот, жизнь обогащалась искусством. Как я

уже говорил ранее, XX век по сравнению с XIX — упадок искусства. Художественная промышленность конца XIX и начала XX века находилась в грустном состоянии. Я был неприятно поражен тем, что мне пришлось увидеть в музее декоративного искусства при Лувре. Но после войны, Версальского мира — когда жизнь как-то стала входить в норму — мы видим подъем художественной промышленности. В ней отразились все основные течения французского современного искусства. Многие из этих течений, ведущие в «большом», как говорят французы, искусстве, на мой взгляд, искаженную линию, для художественной промышленности оказались оплодотворяющими.

Кубисты — дали новую орнаментику, построенную на динамических ритмах и цветном пятне.

Искусство Пикассо, Брака, Леже оказало воздействие на производство обоев, плакатов, тканей, на издания и т. д.

Ван-Донген оказал воздействие на... женский грим (но об этом позднее расскажу подробнее).

Теперь я немного отвлекусь в другую область. Вечерами на улицу Парижа отовсюду: из кафе, из ресторанов — несет музыка, джаз. Мы здесь не имеем понятия об истинном джазе. Джаз построен на музыке американских негров, очень оригинальной, своеобразной по ритму и по созвучиям. Во Франции исполнителями джаза часто бывают сами негры или французы, а французы куда ближе по темпераменту, по ритмическим ощущениям к создателям джаза неграм, чем мы. И вот джаз оказал ценное воздействие на современную музыку — дал новую ритмику (например, подчеркнутую синкопичность), новое звучание. Вы знаете, как в свое время народные мотивы, русский фольклор и фольклор различных народов России оказали воздействие на музыку Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова. В Европе музыка издавна использовала фольклор и уже к нашему времени исчерпала его, и притупилось ощущение новизны от этого. Музыка негров обновила восприятие, открыла новые возможности. Так же и в пластическом искусстве многие новые течения оказались плодотворными в неожиданных областях. У нас принято целиком отвергать многие течения в искусстве за «формализм», за непонятность массам. Но было бы вульгарно понимать лозунг «Искусство — в массы» как элементарную его общедоступность. Одно искусство непосредственно доходчиво для всех, другое доходит до масс как бы косвенным путем — оно дает толчки к новому другим областям

искусства, которые в свою очередь идут опять-таки в массы. Вот, хотя бы, искусство кубистов само по себе интересно и доступно лишь немногим, но через его воздействие на художественную промышленность оказалось доступно широким массам. Таким образом, надо с осторожностью выбрасывать за борт те или иные течения в искусстве. В большом народном хозяйстве все может пригодиться. Искусство XIX века достигло огромной высоты, но его принцип — изобразительный рассказ — не мог оплодотворить промышленность. XX век создал меньше ценностей в большом искусстве, но зато дал новые толчки, новый материал для развития художественной промышленности. Постараюсь по порядку рассказать вам о различных сторонах Парижа, где выявляется взаимодействие искусства и жизни.

**Реклама.** Мы даже не можем себе представить, какую огромную роль играет в капиталистическом мире реклама. Это основное оружие в борьбе конкуренций, а конкуренция решает вопрос «быть или не быть» тому или иному производству. Реклама в Париже занимает огромное место в облике улицы. Часто вся улица сплошь, все стены 6—7-этажных домов заняты огромными рекламами — плакатами. Вначале мне было от этого беспокойно, но потом я стал находить в них свое очарование. Идешь по большим парижским бульварам, сквозь листву платанов мелькают большие цветные пятна рекламы — синие, желтые, голубые. Многие рекламы сделаны очень остроумно, привлекают внимание, как бы цепляют глаз прохожего и остроумным приемом заставляют его прочесть рекламу до конца. Вот, например, есть там напиток, вроде ликера Дюбоне. На плакате — сначала бросается в глаза часть слова — первый слог Дю, часть руки и лица. Постепенно прирастают ключи и изображение, и внизу вы видите уже полный текст и фигуру с рюмкой в руке. Таким образом, реклама здесь заинтересовывает, как бы загадку, ребус задает. Все это сделано очень ритмически, орнаментально, на цветном пятне.

Остроумно очень бывает разработана реклама так называемых сэндвичей. Сэндвич (бутерброд) — название человека, разносящего рекламу. Обычно сэндвичи ходят по улицам не в одиночку, а целыми группами в 15—20 чел. Какая-либо фирма нанимает целый штат сэндвичей для рекламы нового фильма, или сапожного крема, или выступления в цирке. Группа сэндвичей, из которых каждый вооружен полотнищем на шесте с текстом или каким-либо изображением, с



частями текста или частями изображения. Группируясь, они соединяют полотнище, и взорам прохожих предстает какая-нибудь занятная, остроумная реклама, веселая, активная, построенная на цветном пятне, ритмичная.

Неверно думать, что реклама такого рода развилась во Франции за последние 20 лет. Уже Тулуз-Лотрек (конец XIX века — начало XX века) делал рекламы, плакаты. У него есть замечательные цирковые рекламы, большого размера, очень броские, острые, декоративные. Это вовсе не увеличенная картинка, а специфическое искусство — быстрое, доходчивое. Картина рассчитана на длительное вживание зрителя, а реклама должна действовать моментально.

Французы очень жадный до зрелищ народ и очень талантливы к зрелищам, к организации зрелищ. В Париже с пригородами 40 районов. Каждые две недели в двух районах из сорока устраиваются ярмарки увеселений. Чего-чего только там нет. И русские (или американские) горы, карусели, тир, балаганы. Я видел на одной из таких ярмарок дрессированных блох, они везли карету, изображая лошадей, до тех пор же я думал, что такое зрелище доступно лишь в сказке, в фантазии Гофмана<sup>1</sup> и т. д.

Пестрая толпа фокусников, жонглеров, гадалок, предсказателей, борцов сливается с толпой гуляющих. Раздаются шутки, смех. Все весело, пестро и очень грациозно и мило, обольстительно. Я был совершенно очарован этими зрелищами и сделал в начале своего пребывания там целую серию картин на эти сюжеты, но потом я их все почти уничтожил (как я ранее говорил, вначале я не нашел там правильного пути в живописи).

На улицах Парижа иногда сплошными рядами стоят продавцы цветов: живых, искусственных, фруктов. Это очень красивое зрелище, веселое, изящное, гармоничное.

В центре почти все нижние этажи домов заняты кафе. Характерно для парижского кафе, что оно, главным образом, расположено на самой улице. Примерно внутри помещения 20 столиков, а снаружи, на тротуаре перед кафе — 200. Мебель в таких кафе окрашена в яркие цвета: желтый с синими полосами, розовый, зеленый с красным. Сифоны голубые, синие. Навесы из разноцветных ярких тканей.

Все это, вместе с сидящей публикой, спящими прохожими, представляет красочную, оживленную картину. Дома же серого, иногда даже почти черного цвета. Яркие красочные пятна особо акцентируются на их фоне.

Я забыл раньше, когда говорил о выставках (в 1-й лекции), рассказать о выставках уличных художников. Они передвижные, переносятся из района в район, как ярмарки увеселений. Организуется такая группа уличных художников очень просто. Желая вступить в нее уплачивает вступительный взнос и затем заказывает или сам сооружает ширмы, на которых и развешивает картины свои. В высоту они могут быть какого угодно размера, а с ширмы берется плата. С 3-х метровой — 50 фр., больше — дороже. Ширмы могут иметь любое количество створок. Один тащит эти ширмы на себе, другой имеет помощников, которые ему тащат. И вот на этих ширмах разворачивается уличная выставка. Авторы тут же, возле ширм, торгуют своими произведениями. В большинстве случаев это халтурщики, ремесленники. Один свитер работает только в одном жанре, на один сюжет. Наблюдал я там художницу, которая рисовала только кошек. Другой — цветущее дерево, из года в год одно и то же, тем же приемом сделанное — по шаблону. Многие очень сентиментально их жалеют, но они часто зарабатывают гораздо лучше, чем художники, выставяющиеся в серьезных организациях. На удочку этих уличных ловкачей частенько попадают приезжие, главным образом американцы. У них вроде спорта — открывание новых талантов. Купит какую-нибудь дрянную картинку у такого художника и воображает, что приобрел ценное художественное произведение, за которое он через 20 — 30 лет сможет получить много тысяч франков.

Как я уже говорил, Париж очень населенный город. В центре все нижние этажи домов заняты кафе. Немного в стороне от центра — в нижних этажах идут все магазины. Они располагаются по районам: целые улицы зеленых магазинов, затем идут мясные лавки, фруктовые. Я испытывал особое наслаждение, бродя по улицам и рассматривая витрины. В них все так хорошо, так прекрасно расположено, что испытываешь просто эстетический подъем от созерцания их. В витринах зеленых лавок овощи сгруппированы по цвету, по форме так гармонично и так непринужденно, что нельзя достаточно налюбоваться. Обычно мясные лавки представляют собою мало эстетическое зрелище. А в Париже мясные туши так хорошо разделаны, развешаны, разукрашены какими-то бумажками цветными, лентами, что получается очень красиво. Внешний вид мясных лавок очень своеобразен: стены окрашены в голубой, зеленый. Лавки,

где продается конина, цвета темного вина, например, бургундского. Вывески — самые разнообразные, броские, яркие. И много осталось от средних веков — сапог, крендель.

Поневоле напрашивается сравнение с другим крупным западноевропейским центром — Берлином. Там в витринах все очень безвкусно, сухо, бездарно расставлено. Стремление к элементарному равновесию, симметрии свидетельствует об элементарности вкуса. У французов композиция как здесь, так и в большом искусстве построена на принципе прекрасной случайности. Отсюда ее необычайная легкость, гибкость, ощущение жизни, ее дыхания. Я написал целый ряд картин с сюжетом — витрины. Они все были проданы там, и сюда я ничего не привез.

К празднику парижская улица, и без того праздничная и нарядная, еще приукрашивается. Праздники там двоякого рода — церковно-бытовые (Рождество, Пасха) и революционные (взятие Бастилии). Ко дням праздников приурочиваются особо интересные выставки в витринах. А многие торговые дома, имеющие возможность затратить на праздничное оформление в витринах большие средства, устраивают целые театральные постановки, развертывая их в 5—10 окнах подряд (витрины там часто сливаются в одну сплошную стеклянную стену). Сюжеты таких постановок: провинциальная свадьба, подъем воздушного шара в деревне — в шутовском стиле. Или заседание суда в духе карикатур Домье<sup>2</sup>, поимка вора. Действуют куклы-марионетки, они приводятся в движение сложными механизмами, говорят, поют, играет музыка. Все очень театрально, художественно. Как ни странно, но во французском театре я не видел ничего подобного.

Совершенно замечательно устроены витрины галантерей, например, галстуков, материй, ботинок. Здесь сказался как природный вкус народа, так и воздействие художников современности — Матисса, Дерена. Витрины галстуков, материй — это какие-то цветущие, прекрасные сады: переливы цвета, оттенков, игра шелка, бархата, струение тяжелых и легких тканей, каскады складок. От этого испытываешь эстетическое наслаждение, радость. Иные витрины построены на сближенных цветах (например, галстуки от нежно-голубого до темно-синего), другие на цветовых контрастах. Нам следовало бы поучиться этому делу у французов. Это сложно, как постановки в театре.

Большую роль в продукции Парижа играют духи. Франция издавна занимает первое место по выработке

духов. И не только духи там прекрасны, но и их подача — упаковка, флаконы, витрины, магазины. Французы умеют показать товар лицом. Витрины духов оформлены очень красиво и даже поэтично. Например, — витрина должна изображать весну, осень, морской берег. И впечатление весны или морского берега достигается не каким-нибудь изображением, картиной, на фоне которой расставлены флаконы. Нет, эффект достигается не изобразительными приемами. Например, морской берег — чередование цветных тканей, цветного стекла создает впечатление морской пены, воды, неба, настроение простора.

Весна — в цвете драпировок, в форме их складок, в цвете и форме флаконов, ощущение легкости, радости, весеннего трепета. Пышные краски осеннего увядания также даны игрой оттенков и материалов.

Однажды шел я по улице и возле одной из витрин обувного магазина увидел скопление народа. Подошел и увидел: на 3/4 витрина занавешена, открытой осталась нижняя часть и там маршируют ноги. Женские ноги — только ноги до колен демонстрируют дамские чулки и ботинки. Наиболее эффектные ботинки останавливаются, поворачиваются так и этак, давая возможность зрителям оценить их вполне, затем снова прохаживаются. Это было очень эффектное зрелище.

В начале XX века материи были добротные по качеству, но бесцветные, неинтересные, бестемпераментные. Затем наступил расцвет в смысле расцветки материй. Всем известен шотландский рисунок — полосы горизонтальные и вертикальные, образующие клетку. Так вот, во Франции было такое количество вариантов расцветки этого простейшего рисунка, что рассказать об этом невозможно. Издавна славятся лионские шелковые материи. Шелк всевозможных качеств, сортов, оттенков, рисунков. Я имел удовольствие для некоторых заказных дамских портретов собственноручно выбирать материи по своему вкусу, из которых заказывали по моему рисунку платья для моих моделей. Большое наслаждение я испытывал, роясь в разноцветных волнах этих шелков, любясь их сверканием, струением, шелестом. Моды — давнишняя монополия Парижа. Считалось хорошим тоном заказывать дамские туалеты в Париже, а мужские в Лондоне. (Помните, как у Пушкина: «Как dandy лондонский одет...») мода может влиять на производство моделей пагубно и плодотворно. В XIX веке мода длилась дольше, могла дозреть, стиль ее менялся постепенно. Одно платье можно

было носить несколько лет, и бывало так, что материнские переходили в наследство дочери, а бабушкины — внучке, и их можно было переделать, подправить, носить дальше. Теперь нормально мода живет один лишь год, даже сезон (для каждого времени года своя мода). Конкуренция в смене моды играет решающую роль. Вот пример: предположим, существует мода на страусовые перья, на перья экзотических птиц. Появляется целая птичья промышленность. Разводятся целые страусовые фермы, где-нибудь в Южной Америке, наряжаются охотничьи экспедиции в Азии, Африке, Америке, истребляющие массу птиц. И вдруг эта мода вытесняется модой на... стеклярус. Закулисная сторона такого переворота: конкурирующая промышленность (стекляруса, в данном случае) в союзе с модным домом, конкурирующим с другим модным домом, особо успешно зарабатывающим на модах с перьями, выпускает новые модели (для этого нанимаются специальные костюмные художники), где на месте перьев выступает стеклярус. Это влечет за собой катастрофу для всей птичьей промышленности, для торгового дома по птичьим перьям, для модного дома, построившего свой успех на перьях. Разоряются фермеры, лишаются заработка охотники, дохнут страусы и т. д. Затем стеклярус вытесняют меховые опушки и т. д. Дело костюмных художников очень сложное, требующее большого опыта, знаний портняжного ремесла, тщательности исполнения. Я видел рисунки художников мод — они выполнены с таким тщанием и совершенством, что казались напечатанными. Правда, Ван-Донген своей живописью повлиял и тут — появились рисунки мод, сделанные в стиле быстрых этюдов, эскизов, построенных на большом цветном пятне.

Когда я приехал в Париж и ходил по улицам, меня восхищали витрины готового дешевого платья. Мне казалось, что все платья замечательные, и это просто капризы богатых модниц, что они не покупают себе платья за несколько франков в конфекционе<sup>3</sup>, а заказывают тысячные платья в модных домах. Постепенно я стал кое в чем разбираться, и под конец моего пребывания там стал уже привередлив к дамской одежде. Зато с другой стороны научился лучше ценить достижения в этой области и работу модных домов.

Мы, как и в отношении красок, здесь живем устарелыми репутациями. У нас известны Ворт, Ротферн<sup>4</sup>, но в Париже шелк заказывают только приезжие из Америки, из Китая. Сами же парижанки заказывают в других домах, более пере-

довых, более модных. Каждый модный дом два раза в год устраивает у себя показ моделей. Такие просмотры и показы создают моду будущего сезона. На эти показы труднее попасть, чем у нас на премьеру в лучшем театре, на закрытый просмотр. Пускают на эти показы людей с большим разбором. Ведь там демонстрируют новые идеи моды, а они представляют собой большую ценность, и их можно продать, купить, а также можно украсть и продать конкурирующему дому. Боязнь конкуренции и заставляет с таким разбором допускать людей к этому таинству. Я заручился многими солидными рекомендациями, и мне удалось проникнуть на эту церемонию. На ней присутствовали представители модных домов со всего мира (из Европы, Америки, Австралии, Китая и т. д.). Показ происходил в помещении, разделенном занавеской на две части. Из-за занавески появлялись манекенщицы в модельных костюмах. Это очень красивые, стройные, высокие, иногда слегка полные, иногда худощавые девушки разных мастей и оттенков: блондинки, брюнетки, рыжие, смуглые, белые и т. д. Манекены долго перед нами не задерживались, — чтобы не удалось зрителям тщательно рассмотреть и тем более срисовать. Однако, при желании, я бы мог дома по памяти точно воспроизвести наиболее понравившиеся мне туалеты. Я не воспользовался, конечно, своей зрительной памятью во вред модному дому. Сначала демонстрируется целая серия утренних туалетов, туалетов для визитов, для улицы, для прогулки, чайных, обеденных, вечерних. Помню, в 27-м году модно было носить юбки выше колена. Это редко идет женщинам. В Берлине эта мода имела страшный вид, в Париже — намного лучше. Но гораздо больше шли женщинам вечерние туалеты этого же времени — длинные платья со шлейфами. Женщины в них кажутся выше, бедра стройнее, ноги тоньше и длиннее. На одном показе я просмотрел 120 моделей, на другом — 180. Могу вас заверить, что это нелегкое зрелище. На другой день после него я встал с постели, словно весь основательно избитый.

Нужно сказать, что на 100% лучших моделей в лучших домах только 10% в самом деле интересных моделей, 50% — посредственных, а 30 — 40% — неплохих, с отдельными интересными деталями.

Что, по моему мнению, очень мешает художникам моды — это то, что они все заглядывают в историю костюмов и выуживают оттуда детали. Глядишь и видишь: здесь рукав

XIII века, а лиф — XVIII, [некоторые] части одного и того же [костюма] относятся к одной эпохе, другие к другой, а в целом он рассчитан на современную жизнь. Нет целостного современного стиля, вполне выросшего из современности. В этом сказывается одичалось вкуса, его падение. Костюм должен быть так же гармоничен, как произведение природы. У березы — ствол, листва, ритм ветвей — органичны. Таким же органичным должен быть и стиль костюма. А то часто на березовом стволе растут листья клена и т. д. Получаются какие-то модные гибриды. Даже привлечение к делу лучших художников не спасает положения: если сравнивать качество костюма XX века хотя бы с 80-ми, 60 — 50-ми годами XIX — то увидим большое снижение качества. Мне пришлось видеть там выставку костюмов XIX века — турнюров и кринолинов. Очень высокого качества и стиля костюмы.

Больше всего из современных костюмов удовлетворяли меня меховые изделия: пальто, костюмы, муфты и т. д. Выработка, подбор меха, понимание кроя для выразительности женской фигуры просто поразительны. Некоторые меховые костюмы вызвали во мне переживания прекрасного.

В Париже я познакомился с одной известной портнихой. Она приехала в Париж из Шанхая, когда там началась японская интервенция. Оказалась очень способной, деловой. Я дал ей новую идею. Почему-то все манекены — это стройные, красивые, худощавые женщины. На журнальных же картинках и вовсе какие-то безмерно вытянутые фигуры — голова укладывается в туловище 12 раз! Клиентки же часто бывают сложены совсем иначе. Представьте себе женщину низенькую, коротконогую, широкую, толстую, с большим бюстом. И если ее нарядить в платье фасона высокой и стройной, то получается страшная картина. Я предложил моей знакомой организовать при модном доме что-то вроде клинического подотдела, где работали бы люди с очень острым зрением, с опытом и талантом определять, какой фасон идет для той или другой фигуры. Это вполне возможно. Я старый работник театра и знаю, что есть много средств совершенно изменять костюмом фигуры. Из низенькой делать высокую, из худой — толстую и наоборот. Самому же неоднократно всякие такие штуки приходилось проделывать. Мода же очень безжалостна, она совершенно не считается с разнообразием человеческих типов, с индивидуальностью, а рассчитана только на каких-то идеальных существ. Да, а

несмотря на это, парижская улица кажется полной почти идеальными существами — так умеют одеваться парижанки. И лучше всего одета простая парижанка — мидинетка<sup>5</sup>, продавщица в магазине, швея. Здесь сказывается высокий народный вкус. Покупает бедная парижанка свои платья в магазине готового платья или на дешевой распродаже, но умеет так ловко их приспособить к своей фигуре, внести такие детали, что получается все замечательно. Тут пригнет, загнет поля шляпки, там бантик приколет, тут вставку сделает, и все приобретет неповторимый отпечаток изящества, грации. Я говорил вам раньше о том, что лучшие букеты составляли для меня консервированные цветы. У французской женщины безошибочный глаз — всегда верный, гармоничный подбор цвета.

Немудрено, когда хорошо одета богатая дама — у нее все возможности для этого: художники, портнихи, деньги. А все-таки лучше богатых одеваются бедные. Никогда самый изысканный костюм богатой не отличается такой органичностью, как у простой француженки. Парижанки, кроме того, замечательно умеют носить костюм. Тело их пластически неразвито, ненатрено, спорт женский не моден во Франции, но двигается француженка удивительно свободно. Парижанка мало интересна, часто бесцветна, имеет плохую кожу, неважно сложена. Мне ведь в Париже много моделей приходилось писать. Куда красивее тело у американок, шведок, полек. Но когда парижанка в костюме — она сложена идеально, прекрасно. Интересно мне было наблюдать парижскую улицу. Одно время носили малюсенькие шляпки на самой макушке. Вот идет женщина. Шляпка у нее в два раза еще меньше, чем полагается, и торчит где-то уж над макушкой. Это русская, — мы имеем склонность преувеличивать моду. У немки шляпа будет на макушке, а на затылке — все наоборот. Американки одеваются вполне корректно, но у них не хватает чуть-чуть, того «чуть-чуть», с которого, по словам Толстого, и начинается искусство.

Шляпное дело во Франции — отдельная отрасль. Рассказать о парижских шляпах невозможно. Меня это дело интересовало, я тоже проник в шляпные дома. Удивительно там разнообразие головных уборов. Можете целые дни ходить по улице и не встретить двух одинаковых шляп. В этом деле покончено со всеми предрассудками в смысле материала. Всё пускают в ход! Не только ткани, фетр, солому, но и дерево, и кожу, и стекло, и камень, и веревки.



Используют сами недостатки материала как достоинства. Я видел пояс [на шляпе] из совершенно мохнатой веревки — ее мохнатость была использована очень умело. Другой очень красивый пояс был составлен из английских булавок, соединенных цветной проволокой. Для украшения шляп используют все мыслимое и неммыслимое.

В ювелирном деле — большой упадок. Вошла в моду плоская грань, форма камня в виде кубика. Игры нет. Камень ценится только по количеству каратов.

Зато на огромной высоте стоят духи. Я не говорю даже здесь о самих духах, а лишь об их подаче: флакон, коробочка, бумага, в которую коробку заворачивают, — все это сгармонировано с запахом и названием духов. В оформлении сильное влияние оказала живопись современных художников.

На женский грим оказала сильное влияние живопись Ван-Донгена. Это уже не помощь природе, а подчеркнутый, откровенный грим. Очень выделены губы, затенены большими пятнами глаза, ярко окрашены щеки. Так, по Ван-Донгену, раскрашенные женщины придают улице своеобразный вид. Сначала мне это мешало, а потом наоборот — стал находить в этом своеобразное очарование. Ведь все это увязывается со стилем костюма, построенного на цветном пятне, со стилем улицы, витрин, реклам.

В Париже существует целая индустрия украшения лица и тела, улучшения их. Существуют целые учреждения — институты красоты, а многие мастера этого дела работают как «кустари-одиночки». Много среди этих кустарей и не кустарей, больших знаменитостей, но часто слава их незаслуженна. Клиентура состоит главным образом из приезжих, богатых американок, богачек из колониальных стран. В институтах имеются целые хирургические отделения, где производят разные сложные операции: подтягивают кожу лица, чтобы уничтожить морщины, убирают второй подбородок, вырезают жир из тела. У меня была знакомая в Париже, настолько толстая, что уж не на шкаф была похожа, а на целый буфет. Потом ей сделали операцию удаления жира, и я едва ее узнал: она уменьшилась в размере втрое, но все же еще оставалась достаточно жирной. Существуют каталоги носов, вы можете себе выбрать оттуда форму носа, и вам его сделают на вашем лице. Только все-таки надо выбирать, учитывая форму носа, т. е. необходимы известные предпосылки для той или иной формы. Несколько лет тому назад в этой промышленности женской красоты появились идеи,

которые чуть ли не катастрофическими показались для всей бесконечно разнообразной продукции кремов, мазей, притираний и т. д. Это модные идеи витаминов. Было установлено, что самые безвредные и самые полезные средства для улучшения и питания кожи и цвета лица — это соки фруктов, овощей. Сок томатов, клубничный сок и т. д. Если раньше светская дама на ночь мазала лицо одним кремом, утром — другим, а вечером — третьим, то сейчас она ночью лежала обвязанная томатами, утром — выдавливала на лицо клубнику и т. д. Но косметическая промышленность быстро приспособилась — они стали изготавливать соки и пасты натуральных продуктов, надушивали их, изящно упаковывали. Ведь не стали бы многие дамы употреблять средства для своей красоты из зеленой лавки или с рынка непосредственно! В витринах магазинов косметики или в витринах институтов красоты можно было увидеть блюдо помидоров — и тут же надпись, что из этого готовится ваш ночной крем; блюдо каких-нибудь фруктов — для утреннего крема и т. д.

Правило парижской улицы — все должны казаться молодыми. Никто не имеет права показывать миру озабоченное мрачное лицо. В этом, если хотите, есть известный смысл, — такая подтянутость оказывает обратное действие на вашу психику. Там о молодости, о возрасте другое понятие, чем у нас. Старая-престарая актриса Мистингет<sup>6</sup> выступает в костюмах «почти без никому», как говорила одна моя знакомая иностранка, поет, прекрасно двигается. Я случайно узнал секрет одной моей знакомой дамы — ей можно было дать не больше 40 лет, а оказалось, ей 70! Достигаются такие чудеса режимом, тренировками, и весьма суровыми. Во-первых, дамы очень мало едят, боясь утратить свою «линию» (так называется известная подчеркнутость фигуры, некоторая худощавость и стройность). Не едят хлеба, не ужинают и держат строгую диету. Жизнь, можно сказать, каторжная. Ночь проводят в повязках, забинтованные, затянутые. Утром проделываются разные гимнастические упражнения против ожирения, для эластичности мускулов, кожи. Затем — визит в институт красоты, где подвергаются массажу, втираниям, вливаниям и еще Бог знает чему. Потом визит к модистке, к портнихе, где тоже не скоро и не просто отделаешься. Потом — гигиеническая прогулка. Потом тысяча светских обязанностей, визитов, обедов, прогулок, концертов, балов и т. д. В недолгие часы отдыха от этих светлых дел они вознаграждают себя тем, что ходят в

кино — раза по 2 — 3 в день. Конечно, такой образ жизни ведут богатые бездельницы. Бедные же и трудящиеся женщины стараются лишь тянуться за ними по мере своих сил. Диету держать, отказываться от ужина им приходится еще и по другим причинам — оклады у служащих и работников во Франции очень низки, жизнь трудящейся женщины очень трудная.

Теперь я расскажу о двух отраслях художественной промышленности, которые находятся в большом упадке: о гобеленах и керамике.

Севрский знаменитый фарфор совершенно выродился. Формы используются старые, но отнюдь не самые лучшие, наиболее как раз невыразительные. В украшении, то есть раскраске — полная одичалость. В основном характерна идеализация фотографии. Не считаясь ни с формой, ни с цветом, ни с назначением предмета, его украшают картинками с фотографии. Я видел много современного севрского фарфора, видел сервиз, который преподнесло французское правительство сотрудникам нашего полпредства в подарок. Сервиз расписан, как сводными картинками, фотографическими изображениями официальных празднеств — смотр войск, праздник авиации и т. д.

Когда-то прекрасное, поднимавшееся до высот настоящего большого искусства, производство гобеленов также совершенно пало, выделяются скучные тканые ковры. Я думаю, что причина этого упадка лежит в экономике. Оба этих производства состоят на государственном бюджете, содержатся правительством. Их постоянный дефицит покрывается из года в год. Ведают ими чиновники, абсолютно не заинтересованные в подъеме производства, не проявляющие никакой инициативы и не подхлестываемые конкуренцией к заботам о сбыте, о лучшем качестве. Залежалые товары просто списываются со счета и выбрасываются.

Зато поразило меня производство мебели. Совершенно по-новому зазвучал материал дерева — удивительно умеют теперь подчеркнуть его свойства, достоинства, безразлично — драгоценна или не драгоценна его порода. В старину также умели выявить, заставить звучать свойства драгоценного дерева. Теперь же любое дерево используется всесторонне — все его качества: материал, цвет, структура — рассматриваются как нечто ценное, и на основе этого создаются замечательные вещи. В мебели применяется металл, стекло. Форма вначале была при этом неуклюжая, неудобная, но

теперь все совершенствуется в этом направлении. Принцип формы — обтекаемость. Здесь сказывается воздействие мощной промышленности — автомобильной. Автомобили — это основной признак парижской улицы. Берлинская улица кажется пустой рядом с парижской. Движение оживленное, часто бывают пробки. Приходится прорывать туннели специально для проезда автомобилей. Перед войной разработан был проект сквозных подземок для автотранспорта. Автомобили самых разнообразных размеров, марок, форм, цветов. Французы в этой новой эстетике нашли самые совершенные формы и окраску. Американцы переняли у них их достижения в этом направлении и... вернули их еще более усовершенствованными.

Во Франции я познакомился с одним очень интересным инженером — конструктором самолетов и яхт. Он много мне рассказывал о конструкции яхт. Это очень увлекательное дело и очень сложное. Огромная плоскость парусов уравнивается глубоко сидящим в воде килем. Необходим очень сложный расчет профиля киля, формы судна, парусов, мачт, учет силы сопротивления волн, ветра и т. д. И вот на верфи у этого инженера работали и инженеры, способные самым тончайшим математическим способом сделать эти расчеты, и кроме них были кадры старых мастеров-практиков, которые чертили профиль киля от руки, на глазок. Многократно проводили нужную линию, и затем этот выбор подвергался строгой математической проверке. Обычно результаты совпадали. Таким образом, наиболее красивая линия оказывалась и наиболее конструктивной. Этого закона совпадения эстетики и конструктивности, говорил мне инженер, он строго придерживался, и если новая модель не удовлетворяла его чувству красоты, он не мог считать ее достаточно совершенной с точки зрения конструкции.

Каждые два года в Париже устраивались салоны, т. е. выставки автомобилей, в Большом Дворце, там же, где устраивались и художественные выставки, только, конечно, в других залах. Иногда одновременно открывались и выставка картин, и выставка автомобилей. Я очень любил их посещать. В них наиболее ярко выражаются принципы новой эстетики быта. Французские марки в этом отношении очень интересны, также некоторые марки Америки (не дешевый «форд», а люксы). Немецкие автомобили очень грубые. Зато они давали самые мощные, чудовищно страшные машины,

скорее похожие на танки, чем на автомобили. Интересны совсем маленькие, словно игрушечные, английские одноместные автомобили типа детской колясочки. Раскраска их очень разнообразна и тоже словно игрушечная.

Я говорил о различных сторонах парижской улицы, о ее красочном, интересном, оживленном виде. Но одна сторона — современная архитектура — никак не удовлетворяет меня. Вот здесь эстетика еще не слилась с конструктивностью. Вернее сказать, что современный конструктивизм в архитектуре антиконструктивен. Примером могут служить дома постройки Корбюзье, Люрса<sup>7</sup>, многих американских, голландских архитекторов. Форма их не оправдана назначением, основной закон массы — сила тяжести массы — разрушен, искажен. Помню, как-то у меня был спор с одним конструктивистом в художественной промышленности. Он показал мне «конструктивную» рюмку. Я взял ее в руки и сейчас же уронил. Рюмка, лишённая украшений, не стояла прямо, держать в руках ее было неудобно. Я рассказал ему, что украшения на ножке рюмки «неконструктивного» типа имеют настоящее конструктивное значение — ножка витая, чтобы не скользили пальцы, зарубочки узоров на донце, чтобы крепче стояла на столе. Конструктивисты же отвергают «лишние украшения» якобы ради конструктивности, но не понимают того, что украшения часто бывают конструктивного значения. И вообще современные конструктивисты не выводят эстетику из конструкции, а наоборот, возвели в эстетику отказ от эстетики, будто бы ради конструктивности, не поняв ничего в ней.

Кое-какие интересные детали есть, конечно, и в современной архитектуре. Например, устройство окон на теневой стороне дома: они, для большего использования света, ставятся или боком в нише, то есть повертываются плоскостью к свету, или выдвигаются фонарем. Высокие дома строятся террасами, на террасах развиваются сады (при определенной широте улицы в Париже запрещены дома-небоскребы, поэтому нашли такой выход).

## Примечания

<sup>1</sup> Имеется в виду повесть Э.-Т.-А. Гофмана «Повелитель блох» (1822).

<sup>2</sup> Домье Оноре (1808 – 1879) – французский график-карикатурист, живописец и скульптор.

<sup>3</sup> Магазин готового платья.

<sup>4</sup> Ведущие модельеры нач. XX в., имевшие свои дома моды в Париже.

<sup>5</sup> От фр. *midinette* – мастерица.

<sup>6</sup> *Мистингет* (наст. имя Жанна Буржуа; 1873 – 1956) – французская эстрадная певица.

<sup>7</sup> Ле Корбюзье Шарль Эдуард (1887 – 1965), Люрса Андре (1894 – 1970) – французские архитекторы и теоретики архитектуры.

## «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» А. А. ВАНОВСКОГО: СУДЬБА АВТОРА И СУДЬБА КНИГИ

Публикация Е. В. Бронниковой

В мае 1926 года в Генеральное консульство СССР в Японии обратился человек, который просил восстановить его в советском гражданстве и заявил о своем намерении вернуться в Москву к жене и дочери. Он был выходцем из России, бедным и одиноким. Сочувствием и большой симпатией к этому человеку прониклись поверенный в делах СССР в Японии Г. З. Беседовский<sup>1</sup>, генеральный консул К. Лигский, секретарь консульства В. Д. Бубнова. Судьба одного из представителей немногочисленной русской диаспоры в Японии — Александра Алексеевича Вановского (Вановского) — довольно драматична и типична для русского интеллигента конца XIX — первой половины XX века, что вызывает интерес и желание познакомиться с ним поближе<sup>2</sup>.

А. А. Вановский родился в 1874 году, его детство прошло в Туле. Отец был старшим адъютантом начальника Тульского гарнизона, позже — получил чин подполковника и состоял смотрителем Николаевской богадельни в селе Измайлове под Москвой<sup>3</sup>. Мать Виктория Ивановна занималась воспитанием детей — Виктора, Александра, Зинаиды, Екатерины, Ольги. Как многие мальчики из небогатых дворянских семей, Александр получил образование на казенный счет в военных учебных заведениях (3-м Московском кадетском корпусе и Киевском пехотном юнкерском училище), но оставил военную службу в чине подпоручика и в 1896 году поступил на химический факультет Императорского Высшего Московского технического училища. В студенческие годы он с увлечением занялся изучением марксизма и революционной деятельностью. Вера Владимировна Вановская (урожд. Яковенко, дочь известного психиатра, в то время молоденькая гимназистка, сочувствовавшая марксистам) вспоминала о первых впечатлениях от встречи со своим будущим мужем: «Это был стройный, с военной выправкой, совсем еще молодой юноша, голубоглазый блондин, очень живой, общительный и подвижный. Он тут же завладел всеобщим вниманием и стал, как говорится, «душой общества». [...] Его разговорчивость происходила из неиссякаемой энергии, он кипел идеями, фантазиями, как действующий вулкан, все это переклестывало через край, он просто не мог держать все это в себе — ему необходимо было делиться с другими»<sup>4</sup>. Старший брат Александра —

Виктор Алексеевич (1867 – 1934) был одним из инициаторов создания и руководителем «Московского союза борьбы за освобождение рабочего класса». Вместо Виктора, находившегося под надзором полиции, Александр ездил в конце февраля 1898 года в Минск на Всероссийский съезд социал-демократических организаций. Брат снабдил его «подробными инструкциями с просьбой больше молчать, дабы не обнаруживать свою неподготовленность к обсуждению важных вопросов партийной программы»<sup>5</sup>. Таким образом, А. А. Вановский стал одним из девяти отцов-основателей РСДРП.

По воспоминаниям В. В. Вановской, со съезда Александр вернулся в приподнятом настроении, полный энергии и энтузиазма. «Съезд состоялся, — сказал он нам, — положено начало великому делу объединения!» Это «великое дело» борьбы с существующим строем не позволило Александру продолжать учебу в техническом училище и получить диплом инженера. В начале апреля весь Московский комитет РСДРП был арестован. Александр на допросах сначала отрицал свое участие в работе I съезда РСДРП, но из опасения навредить кому-либо из своих товарищей в конце концов назвал себя. После 14-месячного тюремного заключения он был выслан до объявления приговора в Воронеж. К нему летом 1899 года приехала Вера Яковенко и стала его женой. В 1900 году Александр узнал о своей дальнейшей участи — ссылка на три года в Вологодскую губернию. К месту отбывания наказания он, как опасный преступник, был отправлен этапом. Вера ждала ребенка и мужа сопровождать не могла. Однако вскоре после рождения дочери Ксении она также приехала в Вологду.

В этом городе была многочисленная колония политических ссыльных, которая жила интенсивной общественной жизнью. Одновременно с Вановским отбывали ссылку А. В. Луначарский, Б. В. Савинков, А. М. Ремизов, Н. А. Бердяев, П. Е. Щеголев, А. А. Богданов, А. А. Малиновский и др. По воспоминаниям А. В. Луначарского, вологодская ссылка отличалась взаимной выдержкой, отсутствием атмосферы сплетен и обывательщины<sup>6</sup>.

Семья Вановских пробыла в Вологде недолго, Александра отправили дальше — в небольшой городок Сольвычегодск. «В Сольвычегодске, — вспоминала Вера Владимировна, — в те времена было политических ссыльных человек 15, интеллигенции и рабочих. Большинство рабочих в ссылку попало за стачки. Среди интеллигенции было много студентов, некоторые попали за студенческие беспорядки, другие — за участие в комитетах РСДРП. Было несколько поляков. Количество ссыльных постепенно увеличивалось и к зиме почти удвоилось». Ссыльные жили довольно бедно и трудно. Александру, бывшему студенту Высшего технического училища, посчастливилось устроиться земским техником. По словам Веры Вановской, он осматривал школы и больницы уезда, определяя, в каком ремонте они нуждаются, а позже составлял планы новых построек школ и больниц и руководил их строитель-



ством; жалованья получал 100 руб., в то время как казенное пособие ссыльным дворянам составляло 6 руб. в месяц, а крестьянам — 3 руб. 50 коп. Сам Вановский с большим удовольствием вспоминал ссылку: «Это было хорошее время. Я служил техником в земстве [...], а между делом занимался охотой на уток, к чему питал большую страсть. Принимал также участие в бесконечных диспутах о задачах революции, насколько не подозревая, что когда-нибудь она так обманет все наши большие ожидания». В Сольвычегодске Вановский написал, по-видимому, первое литературное произведение — притчу-сказку «Наследие XIX века» о зловещем «человеке-скорпионе», получившем с помощью изобретенного им синего яда небывалое господство над миром, которое неизбежно вело к всеземной катастрофе. В марте 1901 года Вановский отправил свой литературный опыт в редакцию столичного журнала «Жизнь», последний номер которого вышел в апреле того же года. Поэтому остается только догадываться, какое впечатление произвела сказка А. Вановского на сотрудников редакции и намеревались ли они ее опубликовать<sup>7</sup>.

К концу ссылки супруги Вановские и трое их друзей объединились в социал-демократическую группу «Воля»<sup>8</sup>, целью которой была борьба за установление демократической республики. Главное средство борьбы — организация типографии и печатание в России нелегальной литературы в целях пропаганды своих идей. Оборудование было куплено за границей, а типография организована летом 1903 года на Волге, под Рыбинском (где после окончания срока ссылки обосновался Александр Вановский с семьей), а затем в Ярославле. Типографии, связанной с Северным комитетом РСДРП, удалось продержаться около 7 месяцев, после чего Вера и Александр Вановские и их друзья были арестованы и заключены в Ярославскую губернскую тюрьму. Вера в тюрьме тяжело заболела, была выпущена через несколько месяцев под залог и жила с дочерью у родителей под Москвой, а Александр провел в тюрьме около 2-х лет<sup>9</sup>.

В ноябре 1905 года Александр Вановский принимал активное участие в Киевском восстании саперов, в декабре приехал в Москву как представитель Московского меньшевистского комитета по организации восстания в войсках и боевых дружин среди рабочих, вошел в общемосковский Революционный комитет, в котором значительное влияние имели большевики. Его сближение с большевиками было связано с их более принципиальным и более серьезным, чем у меньшевиков, отношением к подготовке вооруженного восстания. Вановский долгое время жил на нелегальном положении и обдумывал возможность эмигрировать из России. Он писал в 1906 г. одной киевской знакомой в связи с этим: «[...] братья [т. е. товарищи по партии] настаивают на том, чтобы я выехал за границу, дают деньги. Последнее не в моем расчете: зачем туда я поеду, что буду там делать. И в то же время оставаться здесь [в Курске] нельзя, надо куда-нибудь выехать дальше, а куда — пока еще не решил [...] Пока в голове бродят такие предположения: каковы

приговоры по «нашему делу»... если моя голова осуждена к виселице, то — за границу, если нет — останусь здесь в России»<sup>10</sup>. Александр Алексеевич остался тогда в России.

Во время революции 1905 года, по словам Вановского, перед ним впервые возник вопрос «о моральной ответственности партии за жертвы революции», что послужило в дальнейшем источником всей его духовной эволюции. Александр узнал, что в Киеве во время столкновения на Еврейском базаре было убито и ранено около 200 рабочих. «За несколько минут был истреблен цвет рабочего класса, составлявший надежду партии», — ужаснулся Вановский. Позже у него состоялся разговор с В. И. Лениным, который рассказал об успешной борьбе французских рабочих в Лионе с правительственными войсками и добавил, что «со временем и русские рабочие научатся драться не хуже французских». Ответ большевистского лидера не удовлетворил Вановского: «Не то, чтобы он говорил общие фразы, вроде неизбежности жертв в революции, но тон, которым он говорил о потерях французских рабочих, заставил меня подумать: на нем «не тело, а бронза». Смотрели мы на восстание одинаково, но чувствовали его различно: он — со стороны успеха, я — со стороны потерь». Вановский встречался с Лениным несколько раз, прибегая для конспирации даже к помощи своей маленькой дочери. Так, для того, чтобы перевезти через границу рукопись своей статьи «О подготовке к вооруженному восстанию» к Ленину в Куоккалу (Финляндия), Александр Алексеевич взял с собой в поездку Оксану, спрятав рукопись под платьем девочки. Оксана, по воспоминаниям матери, была хорошим конспиратором: «Она привыкла к тому, что папа ее принимает различные облики: что он бывает то рыжим, то отпускает бороду, то стрижет ее, и все эти метаморфозы ей казались в порядке вещей»<sup>11</sup>.

В 1910-е годы А. Вановский постепенно отошел от партийной борьбы, работая в Переселенческом управлении. Его все более интересовали проблемы возникновения культуры, история литературы и особенно — творчество У. Шекспира. По сведениям Н. Зернова, в 1912 году Вановский вышел из партии<sup>12</sup>. «Отходя от партии, — писал впоследствии Вановский, — я надеялся вновь вернуться к ней в конце моих исканий, но с новым запасом идей».

В эти годы он много читал: тексты Священного Писания, богословскую литературу, книги по истории религии, изучал произведения У. Шекспира, их переводы на русский язык и прежде всего — трагедию «Гамлет». Большое впечатление на Вановского, по-видимому, произвело трехтомное издание «В. Шекспир. Трагедия о Гамлете, принце Датском», подготовленное великим князем Константином Константиновичем (К. Р.) и появившееся в 1899—1901 годах (т. 1 — текст трагедии на английском языке и параллельный перевод на русский язык, выполненный К. Р.; т. 2 — материалы и исследования о сценической истории трагедии и др.; т. 3 — примечания и критика; 2-е издание — 1910).

В январе 1912 года А. Вановский увидел в Московском Художественном театре новую постановку «Гамлета», осуществленную К. С. Станиславским и английским режиссером-новатором, художником Генри Эдуардом Гордоном Крэггом (1872 – 1966)<sup>13</sup>.

По воспоминаниям Л. А. Сулержицкого, Г. Крэг утверждал, что «Шекспира не интересовали ни бытовые, ни исторические подробности, что же касается ремарок, то он доказывал, что они явились лишь в позднейших изданиях и что у самого Шекспира их не было вовсе. Гамлет для Крэга был мистерией. Гамлет олицетворял собой борьбу духа с материей»<sup>14</sup>. Режиссер одним из первых предпринял попытку «отойти от этой мрачной фигуры со скрещенными руками, от этого печального Гамлета, от этого черного Гамлета и перейти к идеалу человека». Гамлет – «торжество любви», «идеал человека»<sup>15</sup>. Крэг сближал Гамлета с Иисусом Христом. «Как Христос пришел очистить мир, так Гамлет прошелся по всем залам дворца и очистил его от накопившейся в нем гадости», – говорил Крэг в беседе с труппой МХТ<sup>16</sup>. Всего этого не мог знать А. Вановский, но ему, как чуткому зрителю, удалось проникнуть в замысел спектакля. Более всего Вановского в постановке Крэга-Станиславского привлекло то, что Гамлет был дан вне определенной эпохи, среди абстрактных декораций, т.е. это был фактический уход «от датской ситуации», а некоторые сцены спектакля были поставлены в греко-римском стиле (например, сцена, когда выступают солистки, развлекающие королеву игрой на арфе и др.)<sup>17</sup>. Все это в значительной мере нашло позже отражение в книге Вановского об иудейском сюжете «Гамлета». Замысел этой книги, по словам автора, возник в 1915 году и определил всю его дальнейшую жизнь.

С началом первой мировой войны А. Вановский был поставлен перед выбором: с одной стороны, отрицательное отношение к войне, а с другой – боязнь, что «германский империализм превратит Россию в свою колонию» и «Россия из кулика самодержавия попадет в рожжку германского рабства». Хотя Вановский жил в то время в Москве по чужому паспорту, под чужой фамилией и имел возможность избежать мобилизации, он во имя будущего России явился к воинскому начальнику и был призван в армию.

7 ноября 1914 года он прибыл в 84-й пехотный запасный батальон, получив должность младшего офицера 7-й роты. В январемарте 1915 года командовал 8-й и 10-й ротами этого же полка. С 1 апреля был отправлен в распоряжение дежурного генерала Северо-Западного фронта по искровым частям, находившегося в г. Седлеце (Польша) и определен в 28-й радиоотряд, где служил на Главной радиостанции фронта. 8 марта 1916 года, несмотря на юношеские увлечения политической борьбой и два ареста, А. А. Вановский был награжден орденом Анны III степени с мечами и бантом. С 12 марта по 18 июня 1916 года он обучался радиотехнике в Петроградской офицерской электротехнической школе.

По окончании школы Вановский получил назначение на военную радиостанцию в Хабаровск. В 1916—1918 годах он несколько раз бывал в Москве. Виделся с семьей, бывал на литературных собраниях в доме своего давнего знакомого — Н. А. Бердяева, благодаря которому еще в Вологде перед Вановским раскрылась бездна «гносеологии». Только вот новой встречи с партией, которой было в прошлом отдано столько сил, энергии, здоровья, не произошло. Вановский после прихода большевиков к власти не захотел возобновить свои встречи с В. И. Лениным, А. А. Богдановым, А. В. Луначарским, Л. Б. Каменевым, Л. Б. Красиным, А. Д. Цюрупой<sup>18</sup>. К этому времени Вановский уже прошел путь «от Маркса к Шекспиру и от Шекспира к Христу» (так назовет он позже свою автобиографическую книгу) и стал «паладином Христа», как нарекла его однажды Лидия Юдифовна Бердяева — жена философа<sup>19</sup>.

В Хабаровске, куда он приехал в июле 1917 года, Вановский служил начальником искровой военной радиостанции. Благодаря отмене цензуры ему удалось опубликовать свою давнюю работу «Развитие стачечной революции 1905 года». Московский прокурор в свое время отдал распоряжение уничтожить ее, но, по словам Вановского, «рукопись, как феникс из пепла, вместе со свободой печати вновь возродилась к жизни»<sup>20</sup>. После Октябрьской революции Вановский был избран членом Хабаровского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Еще при Временном правительстве было принято решение передать радиостанцию из военного ведомства почтовому. После установления на Дальнем Востоке Советской власти это постановление было подтверждено, и в июне 1918 года Вановский завершил передачу радиостанции представителям почтового ведомства. Осенью Хабаровск был занят Белой армией, в городе утвердилось правительство А. В. Колчака.

Вановский не ушел с частями Красной Армии, он боялся потерять при отступлении свой литературный архив, в котором накопилось много материалов о Шекспире. Управление инспектора инженерной части Приамурского военного округа провело на радиостанции ревизию и убедилось в правильности передачи имущества. Вановскому как боевому офицеру предложили занять место в штабе этого управления, но он категорически не хотел служить в Белой армии и поэтому подал прошение об отставке. Кроме того, у него начались проблемы со здоровьем. Комиссия врачей при хабаровском лазарете 5 апреля 1919 года признала Вановского совершенно неспособным к службе и подлежащим увольнению. Большое влияние на его дальнейшую судьбу оказало давнее сновидение, которое он считал пророческим: огромный город, сверкающий огнями, извержение вулкана, люди с черными волосами и желтоватым цветом лица... — все это он счел предзнаменованием того, что когда-нибудь попадет в Японию. По рекомендации врачей Вановский решил отправиться на лечение в эту

страну. Для оформления заграничного паспорта он приехал во Владивосток, где прожил три недели. Из владивостокского порта Вановский отплыл 7 июня 1919 года, а 9 июня вступил на японскую землю<sup>21</sup>.

В 1919 — 1921 годах Вановский жил в Йокогаме, перебиваясь случайными заработками, хотел было переехать в США, но получил предложение стать преподавателем русского языка и литературы в университете Васэда (Токио), где открылось русское отделение. В университетской библиотеке была обширная подборка книг по шекспироведению, что позволило ему продолжить работу над книгой о «Гамлете». Ему удалось через знакомую в Харбине возобновить переписку с женой. Его отчаянно тянуло домой — в Россию, к семье. Вера Вановская стала врачом, работала в амбулатории в Москве, а жила на станции Никольское Нижегородской железной дороги вместе с дочерью.

Весной 1925 года у А. А. Вановского произошел новый нервный срыв: из-за сильных головных болей он не мог ни писать, ни говорить, не мог выносить никакого шума и присутствия людей. Несколько месяцев жил отшельником вдали от людей в палатке на острове Хоккайдо. Затем попал в больницу доктора Сано в Токио. Одиночество, тоска по родине и близким, безденежье, болезнь привели его в Генеральное консульство. Не имея заработка, Вановский не мог оплатить расходы по ведению дела о восстановлении его в гражданстве СССР; анкеты с его слов заполняла В. Д. Бубнова, а Александр Алексеевич с трудом смог их подписать. Генеральный консул К. Лигский очень хотел помочь бывшему соотечественнику. «По личному впечатлению, — писал он в заключении по делу о восстановлении в гражданстве, — это человек с тонкой нервной организацией, болезненно реагирующий на все более или менее крупные внешние явления [...] Временами производит впечатление настоящего ребенка, со всей непосредственностью последнего. Временами настораживается и болезненно прислушивается, приглядывается, точно ожидая откуда-то удара. [...] Производит впечатление человека, который не любит пускать слов на ветер и говорит правду». К. Лигский считал, что восстановить Вановского в гражданстве нужно как можно быстрее. В. В. Вановская обещала материально поддержать мужа по возвращении в СССР и обеспечить за ним уход.

Явным недоброжелателем Вановского оказался 2-й секретарь консульства Л. Сверчевский, исполнявший также функции резидента ГПУ в Японии. Вероятно, по его инициативе был запрошен председатель Приморского губисполкома и Дальревкома Я. Б. Гамарник, который ответил, что Вановский якобы был белым офицером и заведовал белогвардейской радиостанцией во Владивостоке в бухте Воевода, откуда будто бы бежал при отступлении Колчака. Сверчевский беседовал с Вановским в консульстве в течение полутора часов и в своем заключении по его делу подробно охарактери-

зовал политические взгляды одного из первых российских социал-демократов. Вановский и в зрелом возрасте остался верен своему юношескому идеалу — марксизму. Однако в 20-е годы он считал, что революция и революционные методы борьбы себя не оправдали; революция — это прекрасное орудие разрушения, но в ней невозможно созидание. «Существует целый ряд *иррациональных величин*, — говорил Вановский Сверчевскому, — которые толкают революцию по заранее намеченному пути, и все усилия и искренние желания вождей революции вывести из этого последнего некоего заколдованного круга — остались тщетными и останутся таковыми и впредь». По мнению Вановского, трагедия Ленина, несмотря на его несомненную гениальность, состояла в том, что он не учитывал этих иррациональных величин, и поэтому революция пошла далеко не по тому пути, который намечал пролетарский вождь в октябре 1917 года. Вановский не отрицал, что утверждение существования в природе высших, не поддающихся человеческому пониманию разумных сил непосредственным образом граничит с верой в предопределение свыше и с верой в Бога, только вот в понятие Бог он вкладывал свое содержание. Вановский считал себя до конца своих дней человеком православным, но у него всегда был свой, парадоксальный взгляд на христианские догматы и тексты Священного Писания, схожий со взглядами антитринитариев, не принимавших один из основных догматов христианства — догмат Троицы, и некоторых других еретических учений, что отразилось на концепции двух его книг — об иудейском сюжете «Гамлета» и об Апокалипсисе. Вановского можно назвать «мистическим» или «христианским» марксистом. Он верил, что возрождение России возможно только через обновленное христианство.

Все это, по мнению Л. Сверчевского, делало его возвращение на родину опасным для СССР: «Мистическая «поправка» к учению Маркса и Ленина, несомненно, может прийтись по вкусу и найти себе аудиторию среди некоторых интеллигентских групп, полуинтеллигентских и мещанских кругов, принявших революцию...» Вановский заявлял, что «Японии он совершенно не знает», поэтому по возвращении на родину в этом вопросе полезен быть не может; он категорически отказался работать по своей бывшей, вынужденной военно-технической специальности. Единственная его цель — литературная деятельность в области шекспироведения, где, как полагал, он обладает множеством оригинальных, неизданных материалов.

Пока в Москве решали судьбу Вановского, он начал выздоравливать. В конце 1926 года совершил восхождение на Фудзияму — вулкан, «стоящий на страже счастья и покоя японского народа». Об этом восхождении он написал небольшой экспромт «Японский богатырь», который в январе 1927 года отправил в редакцию парижского журнала «Звено»<sup>22</sup>. Поднимаясь на Фудзи-сан, он пережил минуты подлинного счастья, а находясь на вершине вулкана, почувствовал себя «странником по мирам вселенной, впервые уз-

ревшим лицо Земли». Он обратился к Земле: «О Земля! Ты дала мне жизнь, дала возможность наслаждаться величием космоса — как мне не благодарить тебя! И когда моя душа, точно пойманная птица, билась в сетях отчаяния, ты дарила мне лучшие розы, что цвели в твоём саду — как мне не любить тебя! Ты сама, со всеми своими полями, горами и морями, единственный, несравненный цветок, распустившийся по воле Творца в беспредельности эфира — как мне не славить тебя!»

Известие о том, что постановлением ЦИК СССР от 11 мая 1927 года Вановский восстановлен в правах гражданства СССР и ему в июне разрешен въезд в СССР, он получил на Хоккайдо, где вновь проводил лето. Вановский обратился в советское консульство в Хакодате, но там не спешили выдавать ему советский паспорт, отправив запрос в Генеральное консульство в Токио. Оттуда был получен ответ, что поскольку А. Вановский в СССР с Хоккайдо выезжать не собирается, следует рекомендовать ему подождать с получением документов до возвращения в Токио. Сразу на родину Вановский уехать не мог, в Токио находилось его самое большое сокровище — собранные им в течение десяти с лишним лет материалы изучения трагедии «Гамлет». В сентябре 1927 года он вернулся в японскую столицу. Можно только предполагать, какой разговор состоялся в Генеральном консульстве (где к этому времени успело смениться руководство и обязанности генерального консула временно исполнял Звонарев), какие гарантии в том, что Вановский не будет в СССР пропагандировать свой «мистический марксизм», от него требовали, на какие уступки он должен был пойти для того, чтобы вновь обрести родину, семью, близких. Человек правдивый, прямолинейный, вулканического темперамента, Вановский не мог согласиться на компромиссы. Не случайно он задавал в Генеральном консульстве вопрос: «А не посадят ли меня по возвращении в СССР в ГПУ?» Нетрудно себе представить, какая печальная участь могла ожидать его на родине. Мечта о литературном труде вряд ли была осуществима. Даже такая далекая от политики область, как шекспироведение, в 30-е годы обрела политическую окраску. Все «нестрадфордские» уклонения (т. е. гипотезы о том, что литературное наследие Шекспира не принадлежит перу актера Уильяма Шекспира из Страдфорда-на-Эйвоне, что это только маска, за которой скрывается другое лицо или лица) были названы ненаучными и враждебными советскому литературоведению, а сам так называемый «шекспировский» вопрос в течение долгих десятилетий вообще не обсуждался<sup>23</sup>. Вановский, будучи «нестрадфордцем», да еще имея далеко не традиционный подход к трагедии Шекспира «Гамлет», вряд ли получил бы в те годы в Советском Союзе возможность спокойно заниматься литературоведческими изысканиями и обнаружить их.

В Японии Вановский прожил около 50 лет. Продолжал преподавательскую деятельность; изучал японскую мифологию, сопос-

тавляя ее с Библией; работал над книгой о «Гамлете»; начал новую работу — об Апокалипсисе... Вановский, оставаясь революционером и на литературном поприще, в течение многих лет бился над решением задачи неразрешимой — постижением «утаенной дохристианской эпохи жизни Христа». Он сторонился враждовавших друг с другом русских эмигрантских организаций. Занимаясь изучением творчества Шекспира, он, вероятно, не интересовался работами японских шекспироведов и не поддерживал связей с Шекспировской ассоциацией в Японии, созданной в 1930 г. Увлечшись своими изысканиями, он порой совершенно отставал от жизни; ничего, не относящегося к теме его исследований, не читал, даже газет, а новости узнавал от знакомых. Жил один, вел, как мог, свое скромное хозяйство, не имея ни материальной возможности, ни желания нанимать прислугу. Старался поддерживать связи с русскими эмигрантами в Европе (с Н. А. Бердяевым и его женой и др.), радовался редким встречам с приезжавшими в Японию выходцами из России. Вместе с японским народом перенес тяготы и лишения второй мировой войны. В послевоенный период Вановский печатался в японских изданиях, сотрудничал с русскими эмигрантскими газетами в США<sup>24</sup>. В 1941 году закончил работу «Вулканы и солнце. Новый взгляд на мифологию Кодзики» (вышла в свет на японском языке в 1955 году, на английском — в 1960), в 1962 году была опубликована на английском языке его книга о трагедии «Гамлет», в 1965 году на русском языке — «Третий завет и Апокалипсис».

А. А. Вановский дожил до 50-летней годовщины Октябрьской революции, им даже заинтересовались советские корреспонденты, но никаких материалов об одном из основателей РСДРП им опубликовать не удалось. Правда, на родине его имя все-таки вспомнили: в 1967 году в 10-м томе «Советской исторической энциклопедии» в числе делегатов I съезда РСДРП была помещена фотография молодого Вановского.

Александр Алексеевич умер 16 декабря 1967 года в больнице Божьей Матери «Сэйбо бэйн» в Токио.

Читателям сборника «Встречи с прошлым» мы предлагаем познакомиться с небольшими извлечениями из книги А. А. Вановского «Сын человеческий. Выявление скрытого иудейского сюжета трагедии Шекспира "Гамлет"». В РГАЛИ рукопись этого произведения поступила в декабре 1990 года из Союза советских обществ дружбы Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными странами, в архиве которого она была обнаружена среди статей, написанных в 1942—1955 годах для зарубежных издательств. В РГАЛИ рукопись вошла в состав «Собрания рукописей» (ф. 1345).

Замысел книги возник у Вановского еще в 1915 году; в августе 1945 года он завершил работу по систематизации собранных за 30 лет материалов и назвал свое произведение «Сын человеческий...» (именно эта рукопись хранится в настоящее время в РГАЛИ). Но работа на этом не закончилась. Более 15 лет понадобилось



Вановскому для того, чтобы подготовить новую редакцию книги и найти возможность ее издать. Книга о «Гамлете» была напечатана небольшим тиражом на английском языке под названием «Путь Иисуса от иудаизма к христианству. Разыскание скрытого иудейского сюжета трагедии "Гамлет"» (Токио, 1962). Издание состоялось благодаря финансовой поддержке С. Г. Виштака<sup>25</sup>. В связи с тем, что книга вышла в Токио, ее рассматривают в ряду японской Шекспирианы<sup>26</sup>.

Мы не имеем сведений о том, как книга была встречена шекспироведами. Вановский, безусловно, ждал откликов на труд всей своей жизни. В конце 1950-х годов он пытался установить контакты с Шекспировским обществом США, писал в СССР поэту Б. Л. Пастернаку, автору одного из лучших переводов на русский язык «Гамлета»; послал свою книгу крупнейшему советскому шекспироведу А. А. Аниксту. Однако остается неизвестным, какую реакцию вызвала эта парадоксальная книга.

Для Вановского Гамлет был «самым загадочным и непостижимым образом, когда-либо появлявшимся на подмостках сцены». Литература об этой великой трагедии огромна, ее рассматривают с различных, подчас противоположных, позиций<sup>27</sup>. Попытка Вановского подойти к «Гамлету» с религиозной точки зрения вполне традиционна. Многие исследователи находили в трагедии утверждение христианского взгляда на жизнь, при этом одни (и их большинство) считают ее выражением католицизма, другие — протестантизма. Некоторые писали о религиозном индифферентизме Шекспира в «Гамлете».

Вановский подходит к «Гамлету» как к «драме воплощения Логоса», причем Логоса христианского. Во вступлении к книге, которое публикуется ниже, исследователь приводит имена тех, кто сближал Гамлета с Иисусом Христом (причем этот перечень можно продолжить). Оригинальность концепции Вановского заключается в том, что он пытается проникнуть в тайну «Гамлета» с помощью иудаизма и видит в главном герое трагедии «утаенного» Христа или какого-то другого человека, прошедшего вслед за Спасителем сложный путь от иудаизма к христианству. Гамлет, по мнению Вановского, мыслит как иудей или как иудейский апокалиптик, а поступает как христианин. В «Сыне человеческом» отсутствует идеализация иудаизма. Автор книги считал исторически несостоятельной идею избранности еврейского народа.

Вановский считал, что большим препятствием при изучении творчества Шекспира является то, что трудно установить, кто же так искусно скрывается на протяжении нескольких столетий под маской человека из Стратфорда («Нет автора — нет биографии»). В книге о «Гамлете» он упоминал о своем намерении в будущем попытаться раскрыть подлинное имя автора гениальных творений. Путь к этому Вановский видел в текстологическом анализе шекспировских произведений.

Гипотеза о скрытом иудейском сюжете «Гамлета» сложилась у Вановского под влиянием древнейшего апокрифа — «Книги Еноха», или псевдо-Еноха, поскольку автором этого сочинения не мог быть «благочестивый» Енох (потомок Сифа, отец Мафусаила, 7-й патриарх от Адама), который был настолько праведен, что Бог освободил его от вызванной грехами прародителей смерти и «взял» живым на небо (Евр. XI, 5). Апокриф принято относить ко II в. до н.э., он был чрезвычайно распространен среди иудеев, ранние христиане почитали его как каноническое сочинение. Позднее «Книга Еноха» была в числе других апокрифов объявлена «тлетворной и враждебной истине». «Бегайте учения их, чтобы не сделаться вам причастными наказанию тех, кои написали на обольщение и погибель верных и непорочных учеников Господа Иисуса», — предостерегали в «Постановлениях Апостольских»<sup>28</sup>.

В «Книге Еноха» Вановского заинтересовали прежде всего два рассказа. Первый — о том, как 200 сынов неба спустились когда-то на землю к дочерям человеческим, пленившись их красотой и возжелав их. От падших ангелов и их потомства — демонов-исполинов — распространилось развращение по всей земле. Ангелы были низвергнуты Богом в бездну тьмы, где должны обретаться до Страшного суда (гл. VI—VIII «Книги Еноха»). Второй рассказ — о том, как ангелы показывали Еноху пределы Земли, в том числе и место вечного мучения падших ангелов и жен, через которых они пали. Енох увидел также места, где находятся души умерших людей до наступления суда: одно — для праведников, другое — для грешников, третье — для тех, кто погиб насильственной смертью, остался без покаяния, но все-таки не потерял надежды на помилование при последнем суде. Енох услышал проникновенный голос одного из страдальцев. Ангел Руфаил объяснил, что это дух Авеля, убитого братом Каином, не может обрести успокоения до тех пор, «пока семья Каина не будет изглажено с лица Земли» (гл. XXII «Книги Еноха») <sup>29</sup>. В «Гамлете» А. Вановский увидел аналогии с древним иудейским апокрифом: загробные муки Духа и мольба об отмщении, страх главного героя трагедии стать «падшим ангелом» из-за любви к земной женщине и т. д. Вообще вся идеология «Гамлета» якобы основана на «Книге Еноха», а в тексте трагедии есть множество перифразов из этого апокрифа.

Истоки иудейского сюжета «Гамлета» Вановский находил у древнееврейского историка Иосифа Флавия. Вановского заинтересовала история царствования Ирода Великого. Одной из его жен была Мариамна (= Мариамма), происходившая из рода Хасмонеев и приходившаяся внучкой последнему царю Иудеи Гиркану II (63—40 годы до н. э.), убитому по приказу Ирода. Ирод Великий был страстно влюблен в Мариамну, но, заподозрив в заговоре, убил ее в 29 году до н. э., ее тело приказал забальзамировать в меду и долгое время держал во дворце и не разрешал предавать земле, продолжая разговаривать с ней как с живой. В личной драме

Ирода Вановский находил мотивы «Отелло» и «Макбета», а в одном из сыновей Ирода и Мариамны — Александре он увидел прообраз отца принца Гамлета. Правда, Александр вместе с братом был удушен по приказанию самого Ирода в конце его правления (ок. 7 года до н.э.). Женой принца Александра была Глафира, дочь каппадокийского царя. После смерти мужа она вместе с сыновьями была отправлена Иродом обратно в Каппадокию. Глафира вторично вышла замуж за ливийского царя Юбу, после смерти которого вновь вернулась домой. В нее влюбился сводный брат ее первого мужа Архелай, сын Ирода Великого от самаритянки Малатки, этнарх Иудеи с 4 года до н. э. по 6 год н. э. По отзывам Иосифа Флавия, Архелай был жестоким тираном, достойным сыном своего отца. Архелай, удалив от себя свою прежнюю жену, женился на Глафире. Принц Александр якобы явился к ней и сказал: «Ты могла бы удовлетвориться замужеством в Ливии. Но не довольствуясь этим, ты возвратилась в мой родительский дом, взяла третьего мужа, и кого — о дерзкая! — моего брата. Этого позора я тебе не прощу. Хочешь не хочешь, а я унесу тебя!» Через два дня Глафира умерла<sup>30</sup>.

А. А. Вановский высказал предположение, что Александр, сын Глафиры и Александра, внук Ирода Великого, был прообразом принца Гамлета, Архелай — Клавдия, Глафира — Гертруды. В Полонии Вановский видел иудейского первосвященника и т. д. Место действия трагедии он предлагал перенести из Дании в Палестину.

Среди общепризнанных источников «Гамлета» мы не встретим ни «Книги Еноха», ни «Иудейской войны» Иосифа Флавия<sup>31</sup>, однако Вановский оказался прав в своих предположениях, что при написании трагедии «Антоний и Клеопатра» Шекспир использовал сочинения древнееврейского историка<sup>32</sup>.

Рукопись книги Вановского «Сын человеческий» довольно объемна — 672 страницы машинописного текста с многочисленными дополнениями и вставками. Несмотря на 30-летний срок работы над книгой, это лишь черновой, предварительный ее вариант. Книга состоит из 2 частей. В первой части (19 глав) дается характеристика «Книги Еноха», обосновывается «идеология» трагедии, исходя из указанного апокрифа. Вановский предлагает свое, оригинальное толкование наиболее спорных, темных мест «Гамлета», обращая большое внимание на аутентичность переводов пьесы на русский язык. Вторая часть книги (8 глав) начинается главой «Александр, принц Иудейский» и в целом посвящена соотношению сюжета шекспировской трагедии со скрытым иудейским сюжетом. В ней приводится характеристика места действия «Гамлета» и делается попытка обосновать перенесение его из Дании в Палестину. В конце книги Вановский предлагает схему переделок текста трагедии в плане иудейского сюжета и дает рекомендации режиссеру, который, опираясь на его идеи, попробовал бы поставить трагедию в иудейских декорациях.

В рамках данной публикации мы старались избежать критических оценок исследования Вановского, видя свою задачу прежде всего в знакомстве читателей с его необычной судьбой и парадоксальными взглядами, которые выходят далеко за рамки традиционных толкований «Гамлета». В связи с этим невольно вспоминаются слова Нильса Бора: «Ваша идея безумна, вопрос только в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть истиной».

Для публикации выбраны два фрагмента: первый — «Вместо предисловия» — приводится целиком, второй представляет собой извлечение из главы XIII «Быть, или не быть?». Знаком [...] обозначены сделанные в тексте купюры. Начальный лист второго отрывка имеет дефекты, слова, заключенные в квадратные скобки, прочитаны предположительно. Библиографические ссылки Вановского, приводимые в подстрочных примечаниях, по возможности были проверены, уточнения публикатора взяты в квадратные скобки.

Выражаем глубокую признательность И. М. Гилюву, И. П. Кожевниковой, А. А. Литвину, а также сотрудникам Российского государственного архива социально-политической истории за помощь при подготовке публикации.

## Вместо предисловия

Мои друзья, познакомившись с содержанием настоящей работы, советовали мне обратить особое внимание на предисловие к ней. «Ваш подход к вопросу, — говорили они, — так своеобразен, что читатель, просмотрев две-три главы, захлопнет книгу и скажет: «Все это выдумка автора. Никакого иудейского сюжета нет. Шекспир был актер и драматург, а совсем не богослов, чтобы писать на подобную тему». При таком отношении Ваша книга провалится и Вам не удастся поставить «Гамлета» в своем толковании на сцене какого-либо театра. Поэтому Вы должны показать в предисловии, что в уме поэта мог зародиться иудейский сюжет и как именно он возник и получил развитие. Тогда читатель, убедившись в том, что вы действительно раскрываете Шекспира, а не фантазируете, запасется терпением и одолеет вашу книгу».

Совет показался мне дельным, и я решил ему последовать. Но тут я наткнулся на такие трудности, что оказался вынужденным положить перо. Вот если бы я задумал выявить тот путь, каким Достоевский пришел от изображения «униженных и оскорбленных» к титанам, выступающим в его последующих романах, то я имел бы в своем распоряжении не только все литературные звенья писателя, но также

и его подробнейшую биографию, его записные книжки, черновики и даже каталог его библиотеки<sup>33</sup>. Пользуясь всем этим материалом, я мог бы придать своей гипотезе вполне правдоподобный и убедительный характер. В данном случае совсем иное дело. Даты литературных звеньев спорны, ибо из того, что та или другая драма Шекспира была напечатана в таком-то году, нельзя еще установить время ее зарождения и написания. А главное — неизвестна личность поэта. Можно лишь утверждать, что актер Шекспир не был автором «Гамлета». Но если не он, то кто же тогда?

Бэкон<sup>34</sup>? Роджер Мэнгер — второй граф Рэтландский<sup>35</sup>? Лорд Стэнли<sup>36</sup> — предок графа Дарби<sup>37</sup>? Уолтер Рэли, сложивший свою голову на плахе<sup>38</sup>? Михаил Анжело Флорио — итальянец, спасшийся в Англии от преследований католической церкви<sup>39</sup>? Эдуард Вэр — семнадцатый граф Оксфордский<sup>40</sup>? Быть может, кто-нибудь из них, а быть может, никто из них. Правда, иудейский сюжет дает нить, что может привести к открытию подлинного автора «Гамлета», но, к сожалению, в Японии, за отсутствием необходимых справочных пособий, нет возможности ее использовать. Нет биографии, и потому нет возможности проследить духовный путь поэта, приведший его к «Гамлету». Самое большое, что можно сделать, это высказать кое-какие предположения, исходя из того же подпольного сюжета, но прежде два слова о сущности всего настоящего труда.

В основе его лежат следующие мотивы. — В лице Гамлета Шекспир вывел иудейского принца Александра — сына главы асмонеяского дома, также носившего имя Александра, и его жены — греческой царевны Глафиры. Таким образом, подлинным героем трагедии «Гамлет» является внук Ирода Великого и Мариамны, наследницы асмонеяской династии царей Иудейских.

Но если так, то зачем понадобилась поэту датская ширма? Почему он прямо не озаглавил своей пьесы — «Александр, принц Иудейский»?

Дело в том, что, по его мнению, принц Александр, пережив религиозную драму, превратился из эллино-иудея в первого христианина. Короче говоря, названный Александр — это Иисус дохристианский.

Соединительным звеном между двумя этими лицами, или, лучше сказать, между двумя состояниями одного и того же исторического лица, служит Логос, открывающийся ему в образе его родного отца, казненного тем же Иродом и

выступающего у Шекспира под видом Духа. В силу этого можно сказать, что содержание трагедии «Гамлет» сводится к воспроизведению процесса воплощения Логоса в ее героя.

В главе XX мы касаемся вопроса об исторической достоверности гипотезы Шекспира<sup>41</sup>, причем возлагаем надежды на грядущие успехи археологии, могущие то ли подтвердить ее, то ли опровергнуть. Возможно, конечно, что Шекспир и ошибается, и не принц Александр, а какое-то другое лицо, пережившее воплощение Логоса при сходных условиях, является историческим Иисусом. Но это допущение не умаляет значения метафизико-психологической основы драмы. Неумирающее значение иудейского сюжета «Гамлета» заключается не в отождествлении Иисуса с принцем Александром, а в изображении процесса воплощения Логоса в человека, в его внутреннем правдоподобии, в картине нравственного обновления и возвышения личности.

Поэт жил в эпоху великих открытий и изобретений, что, расширив духовный горизонт человечества, в то же время породили в смелых умах дерзновенное стремление проникнуть в глубочайшие тайны истории. И весьма вероятно, конечно, в тайну личности Спасителя мира. Свободные богословы, философы и художники бились над этой великой проблемой, расчищая и подготавливая почву для ее решения. В. Розанов, со свойственной ему пронизательностью, подчеркивает внутреннюю связь между догматом о чудесном рождении Христа и его внешним обликом, как он писался художниками: «Да, — вековой наклон живописи все показывает нам одно и одно: *девство*, нежность, женственность, просвечивающую сквозь мужские признаки... [Художники] линиями разъяснили то, что казалось *невероятным и неправдоподобным* в рассказе... они *утвердили рассказ* и вместе *догмат*. Отца вовсе нет, и в сына могли перейти единственно черты матери-девы»\*.

Писатель умалчивает о творчестве Леонардо да Винчи, хотя его «Вакх» и «Иоанн Креститель»<sup>42</sup> как раз в данном случае представляют большой интерес.

Скептически настроенный художник делал опыты о догмате<sup>43</sup>, но так как в то время было опасно называть вещи их настоящими именами, то он и заместил Иисуса этими лицами. И действительно: если догмат справедлив, то Иисус в

---

\* Розанов В. В. Люди лунного света (метафизика христианства). СПб., 1913. [С. 189 – 190].

силу своей односторонней наследственности должен был бы иметь такой же явно женоподобный вид, какой придан художником Вакху и Иоанну Крестителю. Но женоподобный Иисус противоречит мужественному Иисусу, вступившему в жестокую борьбу с адептами старой религии и пострадавшему в этой борьбе. А раз догмат оказывается несовместимым с евангельскими фактами, то, значит, он неверен. В. Розанов не делает этого вывода, но Леонардо и Шекспир, изучавший творения художников Ренессанса, наверное, его сделали.

В то время был в ходу метод вживания в христологические проблемы и события из жизни Христа, как это можно заключить хотя бы из «духовных упражнений», принятых в иезуитском ордене. Так, в них говорится, что «о тайне воплощения не надо размышлять и созерцать ее как нечто прошедшее, но как нечто совершающееся в настоящее время».

И вот тут навстречу поэту шли новые адоптиане\*, развивавшие учение Павла из Самосаты<sup>44</sup>, осужденное на третьем Вселенском соборе в 268 году<sup>45</sup>. Их учение о воплощении Логоса легко могло навести Шекспира на мысль понять названную тайну как длительный психологический процесс, процесс трагедии, получающий свое завершение в новом рождении.

Сущность адоптианской доктрины сводится к следующему: Христос лишь по божеской своей природе единосущен Отцу, по человеческой же природе он только усыновлением Сын Божий, ибо родился обычным путем, подобно всем людям. Он был земным человеком, но в него, посредством вдохновения, вселился свыше Логос, так что Логос стал его «внутренним человеком». Противники Павла, бывшего тогда митрополитом Антиохийским, возражали ему, что идея двойственности Сына Божия — усыновленного и предвечного — несовместима с единством личности Христа, что человеческую природу нигде нельзя себе представить отдельно от его божеской природы.

В качестве реалиста-художника и изобразителя движения страстей и вообще динамики человеческого духа, Шекспир принял адоптианскую идею об усыновлении Спасителя, но углубил и развил ее при помощи метафизической психологии. По Шекспиру, двойственность личности Иисуса лишь этап в процессе воплощения в него Логоса, каковой процесс

---

\* От слова *to adopt*, что значит усыновить.

носит характер трагедии. В ее результате усыновление сменяется полной единосущностью, ибо выступает новая личность, в которой божеское и человеческое органически слиты. Логос действительно был одно время «внутренним человеком» усыновленного Иисуса, но в дальнейшем раздвоение прекратилось, и этот «внутренний человек», вытеснив все чуждые ему душевные элементы, стал единой его богочеловеческой личностью.

Адоптиане, полагая, что божеское и человеческое разделено в Иисусе, отрицали его полное единство с Отцом.

Церковь, исходя из положения, что божеское и человеческое органически слиты в личности Спасителя, утверждала его полное единство с Отцом.

Последнее принимал и Шекспир, отрицая лишь догмат о чудесном физическом рождении Иисуса и выдвигая вместо него путь трагедии, в итоге которой «Слово стало плотью»<sup>46</sup>.

Не будет преувеличением сказать, что реформаторское движение, ведшее борьбу с церковной схоластикой и все время пытавшееся опереться на данные метафизической психологии, нашло в Шекспире свое завершение. Он далеко опередил реформаторов своей эпохи, да и современным богословам его религиозно-философские воззрения дадут много нового. Живя в протестантской Англии, он мог бы открыто высказать христологические взгляды, если бы только не почитал Иисуса внуком Ирода Великого. Подобного утверждения не простили бы поэту и протестанты. Именно отсюда и возникла необходимость прибегнуть к шифру датской легенды.

Признав семью Иосифа и Марии не родной семьей Иисуса, Шекспир очутился перед вопросом — кто же, в таком случае, были его подлинными родителями. Сквозь все Евангелие проходит неясный слух о его царском достоинстве. То ли потому он царь, что является Мессией, то ли потому, что царского рода?

Ученики, именуя его царем, не дают на этот счет разъяснений. «Равви! — восклицает Нафанаил — Ты — Сын Божий, Ты — Царь Израилев» (Иоан. I, 49). Враги обвиняют его в том, что он «запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем» (Лук. XXIII, 2). Пилат, что-то раньше слышавший об Иисусе, еще до обвинений его фарисеями, в упор задает ему вопрос, в котором слово Царь явно употребляется в политическом смысле: «Ты Царь Иудейский?» (Иоан. XVIII, 33). В то время не было другого царского рода, кроме потомков



асмонеиской династии, и потому вопрос Пилата равносильно вопросу: «Ты асмонеи?»

Весьма возможно, что подобные мысли бродили в уме поэта, когда он вплотную взялся за книги Иосифа Флавия<sup>47</sup>, открытого еще во второй половине XVI века. Изучая хронику царствования Ирода Великого, он, надо полагать, был удивлен, что историк, столь пунктуальный в описании ужасов того времени, ни единым словом не обмолвился о Вифлеемском избиении младенцев. Штраус<sup>48</sup>, заключив отсюда, что никакого Вифлеемского избиения не было, замечает, что «один автор IV века по Р. Х. связал рассказ о казни одного из сыновей Ирода, очевидно, состоявшейся по повелению последнего, с рассказом об избиении младенцев, изложенным в Евангелии Матфея»\*. Возможно, что Шекспир читал этого автора, хотя он и сам мог прийти к тому же сопоставлению. Из него логически вытекало, что Ирод искал Мессию не в Вифлееме, а в Иерусалиме, в своей собственной семье.

После казни мужа Глафира покинула Иерусалим и вскоре вышла замуж за ливийского царя Юбу и уехала в Египет. Вполне можно допустить, что, оставляя маленького Александра на попечении Ирода, она беспокоилась за его судьбу, так как прекрасно знала, что вся родня царя ненавидит этого наследника асмонеев, видя в нем опаснейшего конкурента и будущего мстителя за кровь отца. Вот эти два мотива и могли послужить канвой для евангельского рассказа о бегстве св[ятого] семейства в Египет. Так или иначе, но поэт пришел к мысли, что за Иисусом скрывается принц Александр. И утвердившись в своем предположении, он получил возможность приступить к иудейскому сюжету, который надобно было бы озаглавить — «Александр, принц иудейский», или — «Иисус дохристианский».

В общем, можно сказать, что все эти мотивы сыграли свою роль в происхождении драмы, но взаимоотношение их могло быть иным. В связи с иудейским сюжетом поэт должен был основательно познакомиться с эпохой Августа<sup>49</sup>, ко времени которого относится его действие. И он действительно изучил ее, на что указывают его последующие драмы — «Юлий Цезарь», а также «Антоний и Клеопатра». Таким образом, между иудейским сюжетом «Гамлета» и названными драмами существует внутренняя связь по эпохе.

Сознаюсь, что все это слишком схематично и требует развития, но предисловие не может заменить книги. К воп-

\* Штраус Д.-Ф. Жизнь Иисуса. [Лейпциг;]СПб., 1907. Кн. 2. [С. 39].

росу о путях Шекспира я еще не раз буду возвращаться в последующих изысканиях. *Последующие изыскания!* Автор обычно радуется, когда его труд обогащается новыми мотивами, но для меня это постоянное расширение рамок работы было сущим мучением, так как отодвигало желанный конец в неопределенную даль, что ломало все мои планы и житейские расчеты. Как я завидовал писателям, у которых все было ясно и рассчитано! Со мной же все было как-то наоборот, и не я владел темой, а тема владела мной, что придавало всей моей работе какой-то стихийный характер. Напрасно я, подобно Гамлету, взывал к Сфинксу трагедии — «Стой, я далее не иду!» Он не обращал внимания на мои протесты и продолжал увлекать меня все далее и далее в пучину своих загадок. В результате я пережил сумбурную полосу и много лет проплавал в хаосе идей и чувствований, пока, наконец, не ступил на твердую почву.

В прошлом я готовился быть инженером, но еще на студенческой скамье примкнул к социал-демократическому движению, с чего началась моя революционная карьера, приведшая меня в эпоху революции 1905 года в ряды большевистской фракции. Тогда я изучал Маркса и занимался организацией восстаний, не подозревая, что когда-нибудь засяду за Шекспира и уйду с головой в сферу его идей.

Но вот потухли огни революции и наступило политическое затишье. Для меня настала полоса раздумья. Что даст грядущая революция народу? Прежде всего, отомкнув бездну духа, она развяжет страсти, даст ход подавленным желаниям и вызовет к жизни скрытые силы. В конечном счете вся эта душевная пертурбация может привести — или к обеднению и снижению коллективной личности, или к ее обогащению и возвышению. Материальное благосостояние, которое принесет с собой социальный переворот, нужно, конечно, но не менее нужно рождение нового, более совершенного человека, способного создать более разностороннюю и высокую культуру, чем прежняя. В нем, в этом новом человеке и заключается смысл и оправдание жертв революции. «Бытие определяет сознание», но как именно происходит это самое определение? Как в душе человека зарождается новая личность, творящая культуру? Надо изучить процесс преобразования личности, чтобы быть в состоянии помочь новому человеку появиться на свет. В силу какой-то внутренней логики я начал свои искания с легенды о восстании первого Ангела против Бога. Мифы и легенды, думал я, представляют

собой отображение тысячелетнего опыта человечества, и потому, чтобы лучше понять вечную сущность, проявляющуюся в жизни, надо обратиться к соответствующему мифологическому материалу.

Что подвинуло первенца творения нарушить гармонию рая и поднять знамя восстания? Честолюбие, зависть, гордость, желание стать равным Богу? Так думали богословы, а за ними и поэты. Мильтон, Байрон, а также Ибсен в своей «Борьбе за престол»<sup>50</sup> развивали все одну и ту же богословскую точку зрения, и только Достоевский держался какого-то своеобразного взгляда на природу сатаны, который тогда мне был еще не ясен. В общем, мотив непомерного честолюбия меня не удовлетворил, и я, от богословов и художников пера, обратился к художникам кисти. Как мог безгрешный ангел, созданный с влечением ко всему прекрасному, дать место в себе таким низким чувствам, какими являются чувства зависти и гордости? Нет, тут играла роль какая-то другая причина, но какая? Как-то, бродя по Третьяковской галерее в поисках картины на занимавшую меня тему, я напал на «Поверженного демона» Врубеля. Это творение гениального художника произвело на меня сильнейшее впечатление. Вглядываясь в него, я обратил особое внимание на лазорево-синие пятна и узоры, напоминавшие собой не то павлиньи крылья, не то небесные цветы, не успевшие еще завянуть на чуждой им земле. Какую мысль вложил художник в эти дивные васильки, рассыпав их щедрой рукой по суровому и величественному фону снеговых гор? И почему, наряду с непреклонной волей, нечто дионисиевское чувствуется в измученном лице падшего ангела? Бог Дионис, бог «веселий грозных», бог влюбленности и радостей жизни, охотно рядился в дорогие ткани и украшал чело венком изумрудного плюща. И не изобразил ли художник в лице своего «Поверженного демона» солнечного Диониса, павшего через любовь к женщине? Иначе говоря, не в любви ли к женщине кроется источник падения светозарного ангела? И не потому ли художник наделил его прекрасными павлиньими крыльями, чтобы лучше подчеркнуть его влюбленность? То обстоятельство, что действие небесной драмы относилось к тому времени, когда не только женщин, но и самой земли еще не существовало, как-то мало меня смущало.

Читая поэму Мильтона, в которой пожар премирной революции бросал зловещий отблеск на судьбы человечества, я заинтересовался его идеей о связи восстания

Люцифера с введением во вселенную Сына Божия. Смутная догадка о том, что падение первого ангела и возвышение Христа представляют собой не что иное, как две стороны одного и того же процесса — процесса борьбы за личность, зародилась в моем уме. Короче говоря, «Потерянный рай» навел меня на мысль, что подобную драму пережил Иисус по пути от иудаизма к христианству. Он, рассуждал я, родился в еврейской семье и получил еврейское воспитание и образование, а затем, когда ему было лет тридцать, явился в мир с проповедью новой религии. Возможно, что истины христианского учения он получил путем озарения, но ведь тут одного вдохновения мало. Нужна была огромная работа мысли, чтобы согласовать новое со старым, нужно было преодолеть в себе чувства, несовместимые с предстоящим мессианским служением, и, прежде всего, чувство мести, а также чувственное влечение к женщине. В эту переломную эпоху Иисус должен был пережить напряженную внутреннюю борьбу, своего рода революцию, о которой повествует легенда. Возмутившийся ангел — это Иисус-иудей, восставший против Иисуса-христианина и потерпевший поражение.

Приблизительно в это время я уже начал работать над «Гамлетом», почувствовав, что именно в нем скрывается ответ на занимавший меня вопрос о возрождении личности. Откладывая мести, искание какой-то новой правды, и вообще все впечатление от духовно-нравственного облика героя побудило меня рассматривать его переживания в свете приведенных выше отвлеченных рассуждений о критической полосе земной жизни Иисуса. В итоге я пришел к заключению, что под видом Гамлета поэт изобразил Спасителя, когда он переживал жестокую борьбу иудея в себе с нарождавшимся христианином. Однако никакими объективными данными, основанными на тексте драмы, я не мог тогда похвалиться. Интуиция хорошая вещь, думал я, но нельзя ограничиваться догадками, намеками, аналогиями и цитатами, как это часто делает Мережковский<sup>51</sup>. Нужны доказательства, а раз их нет, то лучше махнуть рукой на гипотезу, чем заниматься фантастикой.

И я было решил отложить работу в сторону, как мне пришло в голову поискать в критической литературе о «Гамлете» подобных воззрений. Не может быть, чтобы герой трагедии произвел только на меня такое впечатление. Ничто не ново под луной, и, наверное, нечто подобное было высказано кем-нибудь раньше. Однако, обнаружить

предшественника мне не удалось. Предшественника не нашел, но наткнулся на юношеское письмо Гёте от 1774 года, в котором он, по выражению Махалова<sup>52</sup>, «приравнял веру в Христа к преклонению перед Гамлетом» (ob sie an Christ glauben oder an Hamlet — веруют ли они в Христа или в Гамлета, нем.). Это сближение Гамлета с Христом крайне меня ободрило, и я решил не бросать своих изысканий. Если такой глубокий поэт, как Гёте, думал в одинаковом со мной направлении, то, значит, я на верном пути. Все же у меня не было никаких доказательств, на которые можно было бы опереться, и я по-прежнему продолжал витать в области догадок. Мои друзья тогда предостерегали меня от участи героя Достоевского, которого, как известно, «съела идея». Временами я снова впадал в уныние, и работа валилась у меня из рук.

Нужен был толчок, который дал бы более реальное направление моим изысканиям и, тем самым, положил бы предел всяким колебаниям. Этот желанный толчок дал мне Художественный театр своей постановкой «Гамлета» по рисункам английского художника Гордона Крэга.

Первая сцена с Привидением, блуждавшим в лабиринте серых ширм, ничего не сказала мне нового. Более интересной оказалась декорация откровения, когда Дух вещал сыну с вершины горы, у подножия которой синело море. Что-то вроде Нагорной проповеди. Но что поразило меня, так это сцена с отправлением послов. Король и королева, облеченные в порфиры из тяжелой золотой парчи, казались золотой горой, возвышавшейся над пропастью, в глубине которой едва виднелась траурная фигура принца, почти сливавшаяся с окружающим ее мраком. Гамлет — действительно падший ангел, или, лучше сказать, в его душе разворачивается трагедия такового ангела, вступившего в борьбу с Гамлетом-Христом во имя любви к женщине, — заключил я, следуя Врубелю. Мысль эта и раньше приходила мне в голову, но тут она приняла в высшей степени убедительный и неоспоримый характер.

Вникая в трагедию под свежим впечатлением спектакля, я обратил внимание на сцену «О рыбаке», в которой Гамлет ведет разговор с Полонием с какой-то книгой в руках. Что это за книга и не содержит ли она сказания о падении ангела через любовь к женщине? И если так, и если в то же время подлинным героем трагедии является Иисус, то подобное сказание должно иметься среди литературы эпохи

Цезаря Августа. Надо поискать. И я начал искать. Не раз обращался к своим друзьям, но безуспешно. Они отшучивались, говоря, что женщина не только ангела, но и самого черта вокруг пальца обернет. И вот как-то в то время, когда меня уже начало брать сомнение в основательности всего моего построения, я увидел в витрине одного книжного магазина брошюрку Берса «Естественная история чорта»<sup>53</sup> и купил ее, соблазнившись заглавием. Тут я впервые узнал о существовании иудейского Апокалипсиса Еноха, как раз повествующего о падении ангелов вследствие любви к «прелестным дочерям человеческим». Каково же было мое удивление, когда я увидел, что идеология этой книги является истинным ключом ко многим темным местам «Гамлета». Наконец-то я добыл объективные данные в самом тексте произведения и, таким образом, получил возможность, рассматривая его в свете эпохи Августа, продолжать свои поиски «сокровенной манны» шекспировских идей. Так постепенно, штрих за штрихом, начала вырисовываться картина иудейского сюжета.

С мироощущением революционера подошел я к Шекспиру, и оно поддерживало меня в борьбе с веками, ревниво оберегающими свои тайны. Я понял трагедию как революцию духа, в которой Логос, стремясь к воплощению в героя, выступает в качестве новатора, разрушающего древний храм иудаизма и воздвигающего новый храм христианской религии.

Но достигнута ли цель, во имя которой предпринималась вся эта работа? Правда, содержание иудейского сюжета носит религиозный характер, но отсюда совсем не следует, что он представляет интерес только для религиозно мыслящих людей. Нет, он имеет значение для всякого культурного человека, стремящегося подняться на более высокую ступень духовного развития, так как разворачивает перед ним картину перехода от узкого, эгоистического национализма, напоминающего современный «нацизм», к универсальному мироозерцанию, дает картину рождения гения из состояния внутренней борьбы и недр подсознания.

По своей наивности я рассчитывал через два-три года выпустить небольшую книжку об иудейском сюжете «Гамлета», а затем, распростившись с его автором, снова начать потрясать «гнилые столпы самодержавия», но поэт Вячеслав Иванов, с которым я как-то встретился на литературной вечеринке у Бердяева, огорошил меня, сказав, что для подобной темы и двадцати лет мало. Он оказался пророком, ибо

наш разговор был в 1915 году, а теперь, когда я пишу эти строки, идет 1945 год!

Все же работа кончена и кончена в такое время, когда в широких слоях советского общества появился интерес к Шекспиру, когда репертуары театров пестрят его пьесами, и в Москве возникло Шекспировское общество<sup>54</sup>, насчитывающее уже третий год своего существования. Время от времени в той же Москве устраиваются съезды шекспироведов, на которых читаются доклады и обсуждаются вопросы, связанные с переводом и изданием произведений поэта. Москва, победив немцев на полях сражений, того гляди сравняется с ними или даже перегонит их в области шекспироведения, в котором они, к слову сказать, видят свое право на гениальность. По крайней мере, один немецкий писатель, говоря о почитании Шекспира в своем отечестве, заключает, что коль скоро немецкая натура способнее постигать и ценить гениального Шекспира, то, значит, и она сама гениальнее природы других народов, на основании слов Гёте, что «коль скоро мы способны ценить чье-либо достоинство, то это значит, что и в нас самих скрываются его следы»\*.

Когда-то поэт Майков писал о Шекспире:

Ты наш — по ширине могучего размаха,  
Ты наш затем, что мы пред правдой не дрожим,  
И смотрим в пропасти без страха  
И в даль уверенно глядим...  
Ты, строгий сердцевед, ты истиной обильный,  
Как свой ты на Руси пришелся по сердцам!<sup>55</sup>

Верно, Шекспир «наш», но не только по размаху и широте своего творческого захвата, так удивительно отвечающего широкой русской натуре, а также потому, что он, по выражению Лиронделя, оказался у нас «воспитателем чувства правды и возбудителем жизнедеятельности», не говоря уже про то, что от него пошел Пушкин и с ним тесно связано окрыление гения Достоевского\*\*.

Несмотря на все это, в дореволюционной России не было того Шекспировского движения, что развивается теперь в Москве. Мои сведения о нем далеко не полны, ибо обстоятельства военного времени лишают меня возможности списаться с соратниками по Шекспиру, а также принять посылы-

\* *Oëchelhaeuser W. von. Shakespeareana. Berlin, 1894.*

\*\* *Lirondelle A. Shakespeare en Russie (1748 — 1840). Paris, 1912. [P. 216].*

ное участие в общей культурной работе\*. Из своего далека я могу только пожелать им успеха в их трудах на благо Советского Союза, возглавляемого маршалом Сталиным, спасшим народы России и Европы от угрожавшего им нацистского\*\* рабства.

## Быть, иль не быть?

Монолог этот, как известно, пользуется особенной популярностью среди почитателей великого поэта, и [Аверкиев]<sup>57</sup> верно замечает, что «он всем известен, его все твердят; всякий любитель непременно укажет на него; всякий желающий похвалит ум английского драматурга, приведет его же»\*\*\*.

Но вот в этой несомненно глубокой и поэтической сцене критика находит ряд противоречий, что дает [основание] М. Lewis<sup>58</sup> и Stoll<sup>59</sup> считать ее произведением «не

---

\* Вскоре после того, как была закончена настоящая работа, нам попался номер «Литературной газеты» (1945. №19 [(1130). 5 мая. С. 4]), в котором советский писатель М. Ильин дает предварительное сообщение о своей новой книге, посвященной человеку, «познающему и преобразующему мир». В сущности, речь идет о целой серии книг, как это ясно из следующего: «Уже не первый год я пишу в соавторстве с Еленой Сегал большую книгу, или, вернее, серию книг, объединенных общей темой и общим названием: «Как человек стал великаном»<sup>56</sup>. Это рассказ о том, как человек возник, как он учился работать и мыслить, как он шел к знанию и к власти над природой». Весьма вероятно, что названный автор исходит из Маркса, согласно которому в процессе производства изменяется и сам производитель. Однако наряду с подобной, сравнительно медленной трансформацией личности, совершающейся на протяжении ряда поколений, существует еще новое рождение, составляющее предмет трагедии.

Тема М. Ильина сродни нашей — он говорит о том, «как человек стал великаном», мы же о том, как человек стал Богом. Это совпадение сюжетов поистине знаменательно, ибо дело не только в том, чтобы стать великаном, а каким именно — *человечным* или *бесчеловечным*. Великаном, пользующимся своей властью над природой для целей истребления целых народов или для целей их устройства и духовного возвышения.

Замысел М. Ильина и Елены Сегал поэтичен, глубок и чрезвычайно интересен. Но нас лично увлекает «романтика борьбы со стихией» внутреннего мира. Мира подсознательного, из которого выходят религиозные гении, обновляющие нравственную природу человечества, а также бездушные вредители, увлекающие его в бездну отчаяния и ужаса.

Наш герой — это человек, познающий благие цели мирового Разума, чтобы получить возможность сознательного и свободного служения человечеству. В этом, моральном смысле наша тема дополняет тему М. Ильина, и Шекспир дополняет Маркса.

\*\* Так у Вановского. (Примеч. публ.).

\*\*\* Аверкиев Д. В. О драме. [2-е изд. СПб., 1907. С. 91].



[глубоким]». Goldsmith<sup>60</sup> выражается более резко и говорит, что [упомяну]тый монолог не что иное, как «куча абсурдов». [...]

Но обратимся к обвинительному акту против Шекспира, что начал составляться еще во времена Coleridge<sup>61</sup>, когда его сын Hartley<sup>62</sup> указал на несообразность слов Гамлета о «путнике»<sup>63</sup>.

1) Гамлет признан наследным принцем. Окружающие относятся к нему с той изысканной почтительностью, с какой принято относиться к особам царствующего дома. Король еще недоумевает и ограничивается лишь тем, что подсылает к нему своих ищеек. Почему же он тогда плачется на свою «жестокую судьбу» и жалуется на какое-то «море бедствий»? Это значит, что самое «Быть, или не быть?» недостаточно мотивировано.

2) Монолог этот находится между разговорами о «дурных снах»<sup>64</sup> и «Гонзаго»<sup>65</sup>. Гамлет соблазняется идеей самоубийства перед названным спектаклем, долженствующим определить его положение. Выходит, что все его рассуждения о самоубийстве преждевременны. Значит, нет согласованности событий в драме.

3) Гамлет, еще до явления Духа, думал лишиться себя жизни, но отказался от своего намерения, вспомнив о божественном запрете самоубийства. Почему же теперь он не вспоминает эту заповедь, а ссылается на безвестность за гробом?

4) Герой отождествляет смерть со сном — «умереть — уснуть». Но из рассказа Духа, сообщившего ему, что днем он обречен страдать в чистилище, а ночью скитаться на земле, следует как раз обратное представление о смерти: смерть не сон, а скорей бессонница. Почему же сын игнорирует слова призрака-отца?

5) Гамлет называет смерть «неоткрытой страной», из пределов которой никто не возвращался обратно, но раньше ему являлся с того света Дух. Опять-таки несогласованность различных мотивов трагедии.

С точки зрения датской ситуации нет возможности разъяснить все эти противоречия, но углубить их можно. Взять хотя бы «умереть — уснуть». Критика пыгается отразить упрек, ссылаясь на сомнения принца в честности Духа. Он полагает, что в образе отца ему являлся сатана, и потому не придает значения словам Видения. Верно. Но ведь христианскому принцу должно быть известно, что души умерших не спят на том свете, а томятся в аду или проходят чистилище,

или, наконец, блаженствуют в раю. Он не верит словам Духа, но ученье церкви, надо думать, принимает и в Виттенбергском университете проходил богословие. Почему же он обнаруживает незнание самых элементарных понятий христианской веры, что известны каждому ученику церковноприходской школы?

Что касается «путника», то Куно Фишер<sup>66</sup>, возражая немецким критикам, обвиняющим Гамлета в забывчивости, граничащей со слабоумием, замечает, что принц, очевидно, имеет в виду не привидения, а воскресших мертвецов<sup>67</sup>. Верно. Но опять-таки, в качестве христианина, он должен знать, что «путники», как это ясно из евангельского рассказа о воскрешении Лазаря, возвращались с того света обратно, и люди видели их не духовными очами, а плотскими. Что же получается — христианский принц, а не имеет понятия ни об учении церкви, ни о самом Евангелии?! Но ведь это тот же самый вопрос, что мы ставили раньше, когда приводили мнение Владимира Соловьева о незнании Гамлетом евангельской заповеди, запрещающей месть<sup>68</sup>. Какой же он после всего этого христианин?! Итак, если Гамлет христианский принц, то монолог «Быть, иль не быть?» и вообще вся трагедия действительно «куча абсурдов». Но мы знаем уже, что он не христианин, а эллино-иудей эпохи Августа, когда еще о христианстве не имели понятия. При этой установке все противоречия улетучиваются и драма (исключая, конечно, датских прибавок, вроде убийства Полония и дуэли<sup>69</sup>) оказывается перлом художественного творчества.

Будем следовать тем же пунктам —

1) Дело не столько в давлении внешней среды, сколько в столкновении со средой потусторонней. Дух внедряется в сына, поселяя в его душе мучительный разлад и вызывая распад личности. Божеское вытесняет все то человеческое, с чем оно не может слиться, и эллино-иудей уступает место под солнцем нарождающемуся христианину. Отсюда борьба героя за сохранение своей личности, на почве которой и возникает вопрос — «Быть, иль не быть?».

2) Где же место разбираемому монологу? Hunter связывает этот вопрос с положением монолога в Q<sub>1</sub><sup>70</sup>, где он непосредственно следует за словами короля — «Посмотрите, он идет бледный, печальный, с книгой» («fee where hee comes roging vppon a booke» — строка 810). Критик полагает, что Шекспир сделал промах, перенеся монолог из второго акта в третий, благодаря чему он потерял в своей убедительности.

В  $Q_1$  монолог произносится под свежим впечатлением явления Призрака, взволновавшего до дна душу сына. Кроме того, можно думать, что содержание монолога основано на книге, которую принц держит в руках. И, наконец, то, что мы уже приводили раньше, сомнительно, чтобы мысль о самоубийстве могла родиться в душе человека, только что составившего себе план действия с целью положить конец всем своим сомнениям.

Наше мнение как раз обратно. Монолог возникает на почве борьбы за личность, и потому нужно время, чтобы последствия воплощения Духа стали осязаемы и дошли до сознания героя. Он должен крепко почувствовать всю странность откладывания мести, чтобы сообразить, что тут замешалась «жестокая судьба». Поэтому монолог об актерах должен предшествовать монологу «Быть, иль не быть?», а не следовать за ним, как это имеет место в  $Q_1$ . Нельзя также «Быть, иль не быть?» поставить после «Гонзаго», ибо оправдание Духа настолько усиливает его влияние, что рассуждать о том — «быть или не быть» — уже поздно. Место монологу как раз там, где он и находится в  $Q_2$ . Тем более что «дурные сны» объясняют нам исключительную чувствительность принца к сновидениям, о которых он говорит в том же монологе. Айхенвальд<sup>71</sup> верно замечает, что бояться посмертных сновидений может лишь человек, жизнь которого суть страшный сон, полный грозных сновидений [...]

3) Гамлет помнит, конечно, о заповеди, запрещающей самоубийство, но он не упоминает о ней, так как она не подходит к данному случаю. Но почему? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны сделать маленькое отступление и сказать несколько слов о религиозном состоянии Палестины в эпоху Августа. [...]

Г. Гольман<sup>72</sup> [...] обращает внимание на то обстоятельство, что между религией иудеев в эпоху Иисуса и тем итогом долгого религиозного развития, которое представляет нам Ветхий Завет, слишком большая разница. Так, древняя вера в ангелов, совсем было оттесненная пророками, ко времени Иисуса достигла высшей точки процветания и усовершенствования. Они выдвигаются перед Богом, который отодвигается вдаль. Всюду видели тайное вмешательство ангелов и им объясняли действия людей и разные события, даже самые заурядные. Но, выдвигая ангелов на первый план, евреи не приписывали им желания воплотиться в человека. Вообще, как замечает Э. Ренан<sup>73</sup>, воплощение божества

было чем-то кощунственным для евреев. Кроме того, говорит тот же Гольман, вера в темные силы, в демонов была всеобщей в эпоху Иисуса. Сатана из прислужника Бога, каким он является в Ветхом Завете, превращается в Вельзевула, князя бесовского, владыку царства зла, под началом которого находятся легионы злых духов. Иисус борется с сатаной и его царством, замечает Гольман. Это были для него не символы зла и его силы, но вполне реальные, страшные величины.

Всякое страдание, как душевное, так и физическое, иудеи склонны были объяснять влиянием бесов. Так, думали, что головную боль причиняет бес Кардаикус, а бес Асиман делает детей, рождающихся в субботу, припадочными. Бесы входили в человека, причем последний становился тогда бесноватым. Но вселение это не носило характера полного слияния с человеческой природой, а представляло собой «одержимость». Бес, хотя и говорил устами человека, но от своего имени. Борьба с влиянием бесов составляла важный вопрос для иудеев. Были знахари, которые разными средствами изгоняли бесов. Так, Иосиф Флавий говорит про некоего Елеазара, который изгонял демонов при помощи заклинаний, приписываемых мудрому Соломону, а также корня Ваорас, отождествляемого обычно с мандрагорой\*. В Евангелии немало рассказов об исцелении бесноватых и изгнании бесов, причем Спаситель достигал того и другого единственно силой своего слова, что, по мнению Ф. В. Фаррара<sup>74</sup>, должно было особенно поражать евреев.

Заметим еще, что древний иудей верил в предопределение судьбы. Но при всем том он полагал, что человек обладает свободой воли в сфере нравственных и безнравственных отношений. Ветхий Завет, к слову сказать, не давал вполне ясного ответа на этот вопрос, ибо, с одной стороны, все совершающееся в жизни приписывал Богу, а с другой — признавал за людьми свободу воли (Исход VII, 3—4, Второз. XXX, 19).

Вера в единого Бога помешала вырасти вере в судьбу до таких размеров, до каких она выросла у греков. У Эсхила Прометей жалуется на всемогущий Рок: «Мы все — ничто перед волею Судьбы!» У Софокла Рок пользуется для своих целей вспыльчивостью Эдипа, а также Сфинксом, открывающим ему дорогу к новому преступлению. Сфинкс — это

---

\* Иосиф Флавий. [Иудейская] война. Т. I. Кн. VII. Гл. VI. § 3.

орудие Рока, высшее торжество которого, по выражению проф. Ф. Зелинского<sup>75</sup>, сказывается в тот момент, когда обреченный, сам того не подозревая, проклинает себя своими собственными устами\*. «Жестокая Судьба» в своих различных и сложных формах является в трагедии, как замечает Шлегель<sup>76</sup>, в виде исполинского Сфинкса, грозящего увлечь в бездну сомнений всякого, кто не в состоянии разрешить ее страшной загадки.

Гамлет, чувствуя себя связанным какой-то нечеловеческой силой, неустанно бьется над тайной ее природы. С самого начала он подозревает Духа, видя в нем свою судьбу:

Мне судьба повелевает и силу льва немейского моим малейшим жилам придает, Он все зовет! (Призрак манит) (I, 4 – 84).

Но мертвенный облик Видения смущает его:

Как объяснить, что ты,  
Труп бездыханный, вновь, окован сталью весь,  
В сиянии лунном бродишь, наполняя  
Ночь ужасом (I, 4 – 52).

Он готов верить в переселение душ и принять, что душа живущего может перейти в мертвое тело и оживить его. Но он никак не может представить себе обратного явления, чтобы душа умершего вселилась в тело живого человека. Правда, Дух обладает двойственной природой, но это обстоятельство не облегчает, а еще больше затрудняет и осложняет решение вопроса. И вот тут проще простого было герою обратиться к общенародной вере в демонов и, исходя из нее, пытаться проникнуть в тайну Видения. Дух — не призрак ангело-человека, а сатана, принявший подобный образ, чтобы легче было завладеть им. Догадка эта, надо думать, возникла раньше монолога «об актерах»<sup>77</sup>, но «дурные сны» перебили ее. Дух начал оживать в сновидениях сына, и это пробудило былые подозрения, что можно заключить из его ответа на слова Полония о сквозном ветре:

В могилу? (II, 2 – 205).

Ветер [...] является символом Духа, и потому укрыться от сквозного ветра в могилу значит избавиться от страданий, вызываемых Духом, путем самоубийства. Тут уже зародыш — «умереть — уснуть»... В этом монологе он не говорит прямо о Духе, а также не вспоминает своей догадки насчет сатаны. Иная мысль завладевает им, и он жалуется на «жестокую

---

\* [Зелинский Ф.Ф.] Мира. [Идея рока в древней и новой трагедии] // Русская мысль. 1913. Кн.10. [С. 1 – 28].

судьбу», насылающую на него «море бедствий». В этом плане Дух представляется орудием беспощадного Рока, своего рода Сфинксом, задающим ему новую загадку о человеке, неизмеримо более трудную, чем та, что была когда-то задана мудрому Эдипу<sup>78</sup>. Принято думать, что Гамлет укрепляется в мысли о кознях сатаны. Нет, он строит ряд предположений, причем все время колеблется, не зная, на каком из них окончательно утвердиться. И это продолжается вплоть до «Гонзаго». Дело тут не в слабости его характера, а в состоянии распада и роста, что он переживает, а также в превращениях Духа, которые неизменно отражаются на его глубинных настроениях.

Тут мы должны подчеркнуть, что все его гипотезы едва ли не одинаково безотрадны. И действительно: если мертвая сущность воплотится в него, то он окажется прикованным к живому мертвецу, из окон глаз которого на мир и людей будет смотреть сама смерть, враждебная всему живущему на земле. Подобное положение, к слову сказать, развито Леонидом Андреевым в его глубоком рассказе «Елеазар», героем которого является воскресший Лазарь.

С другой стороны — если сатана, то ему грозит превращение в тень... даже не бесноватого, а воплотившегося беса, что еще ужасней. То же самое можно сказать и о свирепом Роке, издавна привыкшем делать из людей «слепцов природы» и заставляя их, помимо их воли и сознания, совершать такие деяния, от которых само солнце отворачивает свой сияющий лик (I, 4 — 54).

Чувствуя всю безвыходность своего положения, он, естественно, приходит к мысли о смерти. Но можно ли говорить тут о заповеди, запрещающей самоубийство? Ведь, прерывая нить своей жизни, он, строго говоря, убивает не себя, а того нечеловека, который получился в результате завладения его телом той или другой сущностью. В данном случае самоубийство принимает характер убийства, к которому нельзя отнести и заповедь «не убий», ибо убивается существо, отличное от человека. Вот поэтому-то он и не упоминает о божественном запрете самоубийства. Он готов жить на земле, чтобы творить волю Бога, но влачиться жалкой тенью за каким-то чудовищем, в котором искажена вся его личность, он не может и не хочет. Он вправе разорвать такое сочетание, и Творец не осудит его за это. «Гонзаго»? Но ведь он не знает, что тогда Дух окончательно сбросит с себя узы смерти и воплотится в него в качестве живого отца, а не мертвого. [...]

4) «Умереть — уснуть»... Douce<sup>79</sup> и Hunter<sup>80</sup> полагают, что Шекспир, вероятно, имеет тут в виду книгу Cordru's «Comforte» (1576 г.), в которой говорится, что Св. Писание сближает смерть с состоянием сна — «смерть — это такой сон, в котором нет сновидений». Верно, Спаситель, воскрешая дочь Иаира, замечает: «она не умерла, но спит» (Лук. VIII, 52). Но эти слова характерны не для христианских воззрений на смерть, а для древнеиудейских. Древний иудей именно отождествлял смерть со сном, называя умерших «рефаимами», что значит «спящие». Так, Иов говорит об умершем — «до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего» (Иов. XIV, 12). Подобное же сопоставление мы находим у Исаяи в его иронических словах о падении царя Вавилонского:

«Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоём; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли» (Ис. XIV, 9).

Гамлет лишь развивает эту библейскую идею, связывая смертный сон со сновидениями. Что касается безвестности за гробом, то мысль эта опять-таки идет от древнеиудейских представлений о смерти. В древних книгах нет прямых указаний на бессмертье души. Моисеев закон ничего не обещает человеку после смерти. Все же душу евреи признавали, но только не успели выработать учение о ее бессмертье. Это понятно, если мы примем во внимание, что вообще иудейская религия интересуется жизнью на земле, а не загробным бытием или небытием. Правда, у пророков встречается понятие о шеоле, о подземной области, в которую нисходят души умерших. Но оно больше употребляется как поэтический образ, как символ смерти или могилы, но не как представление о реально существующем предмете. Поистине загробный мир у древних иудеев — это «неоткрытая страна». В дальнейшем начинает складываться вера в продолжение индивидуальной жизни за гробом, что можно заключить из явления тени пророка Самуила царю Саулу. Однако вера эта не связывалась с идеей возмездия. И лишь с возникновением апокалиптической литературы родилось представление о чистилище, что получило распространение в эпоху второго храма, когда под шеолом стали понимать геенну как место очищения грешных душ\*. Однако представление

---

\* Генкель Г. Представления о загробной жизни у древних евреев // Будущность. 1900. № 17 — 19, 40 — 43; Мировоззрение Талмудистов [свод религиозно-нравственных поучений в выдержках из главнейших книг раввинской письменности / Сост. С. И. Фин и Х. Л. Каценеленбоген]. Т. 1 — 3. СПб., 1876.

это не было устойчивым, что можно заключить из евангельской притчи о Лазаре, в которой проводится мысль: если даже мертвый воскреснет, чтобы рассказать живущим о загробных муках, то и ему не поверят (Лук. XVI, 23—31).

Гамлет, усомнившись в честности Духа, вместе с тем усомнился и в книге Еноха, в которой впервые развивается понятие о чистилище. В душе его естественно родилась тяга к древнему закону, к древним представлениям, из каковых он и исходит в своих рассуждениях о смерти. У Вергилия Эней, проникнув в Аид, видит там тоскующие тени самоубийц, что вызывает у него восклицание:

Как бы желали они возвратиться к милому свету!  
Как бы терпели безропотно прежнюю бедность и горе!

Герой Шекспира опасается очутиться в подобном печальном положении:

И мы скорей снесем земное горе,  
Чем убежим к безвестности за гробом.  
Так всех нас совесть обращает в трусов,  
Так блекнет в нас румянец сильной воли,  
Когда начнем мы размышлять.

(Перев. А. Кронеберга — III, I, 81—85)

В сущности, тут диалектика, ибо тот, кто хочет и может покончить счеты с жизнью, не устрасится «безвестности за гробом». Гамлет безусловно хочет, смерть для него «исход многожеланный». Больше того, он даже чувствует себя в некотором роде обязанным уйти с постылого света, чтобы не стать окончательно жалкой игрушкой «жестокой судьбы». Но он не может, ибо то не соответствует видам Духа, завладевшего его волей. Хочет мстить и не может, хочет любить и не может, хочет лишиться себя жизни и не может. Но новатор хочет и может, так как он хочет только того, что желательно Духу.

5) Гамлет прав, когда говорит, что с того света никто не возвращался обратно, ибо древние не знали случаев воскрешения мертвых. Правда, Орфей пытался вывести свою Эвридику из Аида, но это ему не удалось. Овидий, рассказывая о знаменьях кончины Юлия Цезаря, упоминает о явлении мертвецов:

Говорят, ночью на форуме, возле домов и храмов  
богов, выли псы и блуждали тени умерших.

(«Превращения», кн.15)



У Шекспира Гораций повторяет Овидия:

Перед тем, как пал могучий Юлий, гробы  
Разверзлись, в саванах с невнятным бормотаньем  
По римским улицам бродили мертвецы (I, I—115).

В Библии говорится о явлении пророка Самуила царю Саулу, но все это тени, а не «путники» во плоти. В общем, можно сказать, что при обращении к иудейскому сюжету все противоречия монолога действительно сходят на нет.

Некоторые критики подозревают в словах принца о «путнике» цитату: так Steevens<sup>81</sup> обращается к Catullus<sup>82</sup>, у которого мы читаем:

Кто теперь идет по мрачному  
пути, откуда возвращался кто-либо\*.

Douce сомневается в убедительности этого сопоставления. Более вероятно, что Гамлет имеет тут в виду слова из предсмертного наставления псалмопевца своему сыну Соломону, что мы находим у Иосифа Флавия:

«Я, сын мой, собираюсь теперь отойти к своим предкам, и мне приходится пуститься в общий всем нам как ныне, так и в будущем, путь, с которого еще никогда никто не возвращался, чтобы узнать, что делается тут среди живых»\*\*.

У Шекспира:

Неоткрытая страна, из-за пределов которой  
Не возвращался еще ни один путник.

В Q<sub>1</sub> то же самое:

Когда мы пробуждаемся  
И являемся перед Вечным Судией  
В ту неоткрытую страну,  
Откуда ни один путник  
Не возвращался еще (стр. 820).

Вряд ли можно сомневаться в том, что перед нами слегка измененная цитата из приведенной выше речи царя Давида. И так как в основе «умереть — уснуть» кроются библейские

---

\* Furness H. H. A new variorum Edition of Shakespeare. — 5 ed. Philadelphia, 1905. V. I. P. 214.

\*\* Иосиф Флавий. Иудейские древности. Пер. с греческого Г. Г. Генкеля. Т. I. Кн. VII. Гл. 15. § 1.

мотивы, то можно сказать, что ссылка на предсмертное обращение выдающегося библейского пророка вполне уместна и понятна [...]

В драме «Король Джон», вышедшей в свет в 1596 – 1598 годах<sup>83</sup>, мы находим намек на Иосифа Флавия:

Филипп

незаконнорожденный В присутствии монархов я решаюсь  
Дать мой совет: как те бунтовщики,  
Что в Иерусалиме примирились,  
На время сблизьтесь [...] (II, 2)

Бунтовщики – это Иоанн из Гискалы и Симон-бар-Гиорас – вожаки двух еврейских партий, примирившиеся для борьбы с римлянами. Критика полагает, что Шекспир использовал тут перевод псевдо-Иосифа, сделанный П. Морвингом в 1558 году. Отсюда можно заключить, что во второй половине девяностых годов поэт уже собирал материал для иудейского сюжета «Гамлета».

Дух для новатора – отец родной. Он растит его, питает хлебом своих откровений и охраняет от всяких напастей. Но для его антагониста он свирепый вепрь, отправивший когда-то прекрасного Адониса, возлюбленного Венеры, в царство теней. Сознующий Гамлет разбирается в переживаниях любовника, но бытие новатора премудро сокрыто от него до поры до времени. Он узнает о нем лишь урывками из загадочных речей Духа, которые ему приходится комментировать, следуя тому же любовнику. И только после «Гонзаго», когда последний окончательно сходит со сцены, он начинает все ясней и ясней осознавать лицо новатора. В этом смысле монолог «Быть, иль не быть?», можно сказать, является лебединой песней элино-иудея, вытесняемого христианином. Исходя отсюда мы и даем ниже связное изложение названного монолога в плане иудейского сюжета трагедии.

«Быть, иль не быть?»

Быть ли мне целостной личностью или стать безвольным спутником какой-то темной Сущности, постепенно, но неуклонно завладевающей мной? Вот в чем вопрос. Что благородней: покорно сносить удары ее пращи и уколы ее стрел или повести с ней решительную борьбу за сохранение своей личности? Благородней, конечно, последнее; но беда в том, что выступаю я против узурпатора Давидова престола или

не выступлю, сила эта все равно будет продолжать свою разрушительную работу. Она почти подчинила себе мою волю и уже заметно подбирается к дару речи. Временами я чувствую, что говорю не свои слова, и притом нечто такое сумбурное, что все эти придворные губки, всасывающие милости своего повелителя, хихикают себе в кулак, принимая меня, очевидно, за помешанного. И даже Полоний, этот старый шут, дерзает дурачить меня.

Овидий, певец «Превращений»! Ты поведал нам много историй о том, как боги, карая людей, превращают их в разных зверей, птиц и даже чудовищ. Ты учил также, следуя мудрому Пифагору, о переселении душ в разные тела. Но ты и не подозревал возможности такого превращения, когда душа заживо вытесняется из своего собственного тела, в которое, как в опустевшее жилище, входит какой-то таинственный захватчик и начинает в нем новую жизнь. И несчастной изгнаннице остается только плакаться на свою горькую участь и возмущаться цинизмом мирового порядка, при котором возможны такие вещи.

Да, дело зашло слишком далеко... Случится так, что когда я, низвергнув коронованного сатира и поразив языческие народы, подойду к порогу строительства мессианского царства, то от моей личности останется только одна тоскующая тень, а творить новый мир за меня и в моем облике будет та же губительная Сущность. В веках я буду отвечать за ее деяния и мое имя будет поноситься и трепаться негодующими потомками. Это невыносимо...

Кажется, единственный выход, что оставляет мне моя жестокая судьба, так это — смерть. И я уже наложил бы на себя руки, если бы только не божественное запрещение самоубийства. Но подходит ли оно к такому исключительному случаю? Ведь скоро я могу оказаться в положении призрака, неспособного действовать в реальном мире. Действовать будет уже то Существо, но оно будет творить не мою, а свою волю. Правда, я буду в состоянии мыслить, но мыслить — это еще не значит существовать. Прибегая к помощи кинжала, я всего только порву нашу связь. Бог не осудит меня за это, ибо оно явно ведет линию, противную религии моих предков.

Умереть — уснуть, так думали древние, называя умерших спящими. Но быть может, в смертной дремоте будут сниться сновидения? Какие? При жизни я изнываю под гнетом мучительных сновидений, и что если после смерти меня

будут терзать еще более ужасные сны?! Вот что смущает меня и в то же время является причиной долговечности людских страданий. Стал бы раб терпеть бич и глумление своего господина, если бы он не страшился чего-то за гробом?

Ведь если отбросить книгу Еноха, в которой много странного и сомнительного, а также подкрепляющие ее слова Духа, с явления которого и начались мои муки, то придется признать, что мы ровно ничего не знаем о загробной жизни.

Смерть — это неоткрытая страна, из которой, по выражению царя и пророка, «еще никогда никто не возвращался, чтобы узнать, что делается тут среди живых». «Но тише! Там Офелия... О нимфа! Грехи мои в молитвах помяни!»

«Быть, иль не быть?» — это вершина человеческого самосознания героя, понявшего всю неизбежность рокового исхода своей борьбы за личность. Он остается страдать на земле, объясняя свое решение боязнью замогильных сновидений. Но это только диалектика, ибо истинная причина его отказа от самоубийства кроется в Духе, которому нужна жизнь сына, а не смерть. Человеческое борется с божеским, борется во мраке душевного подполья подобно тому, как Иаков боролся с Ангелом Иеговы в ночной темноте<sup>64</sup>. Не видел ли Шекспир в помянутой выше борьбе Иакова прообраз духовного борения Иисуса с воплощающимся в него Логосом, что он, по мнению того же поэта, пережил в дохристианскую пору своей земной жизни?

\* \* \*

Сижу в своем японском домике из дранок и бумаги, а на сердце скребут кошки — если бомба упадет по соседству, что тогда — «Быть, иль не быть?» Это маленькое отступление пришлось кстати, так как оно напомнило мне, что некоторые переводчики и критики понимают цитированную выше строку в смысле — «Жить или не жить?» Станиславский, комментируя эскиз Крэга к названному монологу, на котором «не быть» представлено в виде красивой, светлой фигуры женщины, нежно манящей к себе, замечает, что это значит «не существовать в этом гнусном свете»\*. В действительности содержание «не быть» гораздо сложнее, чем это представлялось Крэгу — Станиславскому, давшим в свое время едва ли не самую интересную постановку трагедии на сцене.

---

\* Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 1931. С. 593.

Возбудителем монолога является не отвращение к жизни, рождающее меланхолию, влекущую к самоубийству, как то полагает доктор Бриер де Буамон<sup>85</sup>, а сознание невозможности жить полной жизнью\*. Отсюда и мысль о самоубийстве. Он питает отвращение не к жизни, как таковой, а к призрачному бытию, что его ожидает. Меланхолия не причина желания самоубийства, а то и другое являются следствием душевного состояния, вызываемого воплощением Духа. Но Гамлету, поскольку Дух все глубже и глубже внедряется в него, присущ не только пессимизм, но и великий оптимизм, оптимизм нарождающегося новатора.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Г. З. Беседовский приехал в мае 1926 г. в Японию, где обострилась его «наследственная неврастения», что, по-видимому, способствовало сочувственному отношению этого дипломата к Вановскому.

<sup>2</sup> Предисловие написано на основании следующих материалов, ссылки на которые далее опускаются: РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 2. Ед. хр. 20 (Личное дело А. А. Вановского о восстановлении его в гражданстве СССР. 1926—1930 гг.); РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 113033 (Послужной список А. А. Вановского); *Кожевникова И. П.* Жизнь и труды Александра Ванновского // *Проблемы Дальнего Востока.* 1993. № 5. С. 171—179; № 6. С. 147—158; *Бронникова Е. В.* Рассказ А. А. Вановского «Японский богатырь» и два письма к Н. А. Бердяеву // *Российский архив.* М., 1994. Вып. V. С. 503—512.

<sup>3</sup> ГАРФ. Ф. 102 (ДП). Оп. 00, 1898 г. Д. 166. Л. 4.

<sup>4</sup> РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 15. Ед. хр. 343 (*Вановская В. В.* Мои воспоминания. 1958 г.). Л. 2; см. также: *Яковенко М. М.* Владимир Иванович Яковенко. М., 1994. С. 77—78.

<sup>5</sup> Пролетарская революция. 1921. № 1. С. 84.

<sup>6</sup> РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 3. Ед. хр. 845. Л. 2—3.

<sup>7</sup> Там же. Ф. 170. Оп. 1. Ед. хр. 180.

<sup>8</sup> Позже членом «Воли» стал и Виктор Вановский, бежавший из сибирской ссылки.

<sup>9</sup> См. дело Департамента полиции «О порядке содержания арестованных в Ярославской тюрьме»: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 00, 1903 г. Д. 645.

<sup>10</sup> ГАРФ. Ф. 102. Оп. 00, 1898 г. Д. 166. Л. 32.

<sup>11</sup> Более подробно об участии Вановского в революции 1905 года и его встрече с В. И. Лениным см.: *Проблемы Дальнего Востока.* 1993.

---

\* К. Р. в 3-м т. (с. 120—121) своих примечаний к «Гамлету» приводит выдержку из статьи названного писателя.

№ 5. С. 173—174; в газете «Пролетарий», для которой предназначалась рукопись, статьи за подписью Вановского выявить не удалось.

<sup>12</sup> *Зернов Н. М.* Русские писатели эмиграции: биографические сведения и библиография их книг по богословию, религиозной философии и православной культуре. 1921—1972. Бостон, 1973. С. 25.

<sup>13</sup> Премьера спектакля состоялась 23 декабря (по ст. ст.) 1911 года. Об этом спектакле см.: *Чушкин Н. Н.* Гамлет — Качалов. М., 1966; *Бачелис Т. И.* Шекспир и Крэг. М., 1983 и др.

<sup>14</sup> Запись Ю. В. Соболева беседы с Л. А. Сулержицким о работе Г. Крэга над «Гамлетом» хранится в РГАЛИ (Ф. 860. Оп. 1. Ед. хр. 76. Л. 3—4).

<sup>15</sup> Там же. Ф. 2358. Оп. 1. Ед. хр. 185. Л. 1 об.

<sup>16</sup> См.: *Чушкин Н. Н.* Гамлет — Качалов. С. 30.

<sup>17</sup> *Вановский А. А.* Сын человеческого. Гл. XXVII.

<sup>18</sup> О своем знакомстве с этими людьми А. А. Вановский рассказал советскому генеральному консулу К. Лигскому в 1926 г.

<sup>19</sup> Звезда. 1995. № 10. С. 152.

<sup>20</sup> Брошюра сохранилась в личном деле Вановского в РГАСПИ.

<sup>21</sup> Вановский не намеревался навсегда покидать Россию. Например, выезжая из Хабаровска, он снял со своей сберкнижки 1000 руб., оставив на своем счете 203 руб. 33 коп., которые так никогда и не были востребованы. Сберкнижка, переданная владельцем в Советское генеральное консульство в Японии, сохранилась в его личном деле.

<sup>22</sup> «Японский богатырь» в журнале «Звено» опубликован не был, позднее он вошел в сборник «На Востоке» (Токио, 1935).

<sup>23</sup> О шекспировском вопросе в СССР более подробно см.: *Гишлов И. М.* Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса. М., 1997. С. 203—210.

<sup>24</sup> Наиболее полную библиографию произведений А. А. Вановского см.: *Кожевникова И. П.* Ванновский и Япония // *Acta Slavica Japonica*. Sapporo, 1995. Т. XIII. Р. 149—166.

<sup>25</sup> *С. Г. Виштак* — выходец из России, один из молодых людей, поддерживавших А. А. Вановского в последние годы жизни.

<sup>26</sup> См., например: *A Shakespeare bibliography*. The catalogue of the Birmingham Shakespeare Library. Mansell, 1971. P. 2. V. 7. P. 2525. № 667826.

<sup>27</sup> См. статью А. А. Аникста с кратким обзором литературы о «Гамлете»: *Шекспир У.* Полн. собр. соч. М., 1960. Т. 6. С. 571—627, а также книгу *Комаровой В. П.* Шекспир и Библия: Опыт сравнительного исследования. СПб., 1998. С. 65—72.

<sup>28</sup> Постановления Апостольские. Казань, 1864. Кн. 6. Гл. 16. С. 187.

<sup>29</sup> См.: *Порфирьев И. Я.* Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 198—231; *Смирнов А.* Книга Еноха. Историко-критическое исследование, русский перевод и объяснение апокрифической книги Еноха. Казань, 1888.

<sup>30</sup> См.: *Иосиф Флавий.* Иудейская война. М.; Иерусалим, 1993. С. 122; *Иеромонах Иосиф.* История иудейского народа по Археологии Иосифа Флавия. Сергиев Посад, 1903.

<sup>31</sup> Narrative and dramatic sources of Shakespeare. V.VII. London; N.Y., 1973.

<sup>32</sup> Ibid. London; N.Y., 1964. V.V. P.219.

<sup>33</sup> Каталог библиотеки Ф. М. Достоевского, составленный в последние годы жизни писателя его женой А. Г. Достоевской, был разыскан Л. П. Гроссманом и издан им в 1919 г. в Одессе.

<sup>34</sup> Бэкон Фрэнсис, барон Веруламский, виконт Сент-Альбанский (1561 — 1626) — английский философ-материалист, с 1613 г. государственный прокурор, в 1618 — 1621 гг. — лорд-канцлер Англии, уволен с министерского поста за взяточничество. Гипотеза о том, что Бэкон является автором (или соавтором) произведений У. Шекспира, была выдвинута в сер. XIX в. в работах Дэлии Бэкон и У.-Г. Смита. Она стала одной из первых «нестрадфордских ересей». Бэкон якобы скрывал свое авторство, опасаясь, как бы столь низменное занятие не повредило его служебной карьере, но для потомков он зашифровал в тексте произведений свое имя, придумав для этого разные комбинации букв и слов, а также изменения типографского шрифта (так называемый шифр Шекспира — Бэкона).

<sup>35</sup> Речь идет о Роджере Мэннерсе, пятом графе Рэтленде (1576 — 1612), одном из образованнейших людей своего времени, ученике Ф. Бэкона, пользовавшемся покровительством короля Иакова I, поэте, любителе театра. Рэтлендская теория была впервые высказана в конце XIX в. нью-йоркским адвокатом Г. Цейглером, а затем поддержана бельгийским преподавателем литературы С. Демблоном, а в России — А. В. Луначарским и Ф. Шипулинским. Русский эмигрант-правовед П. С. Пороховщиков сделал важное открытие: определил, что рукописный вариант песни из «Двенадцатой ночи», обнаруженный в конце XIX в. в родовом имении Рэтлендов, является первоначальным и написан рукой Роджера Мэннерса. Современный российский шекспировед И. М. Гилилов, являясь сторонником группового авторства, считает Роджера Мэннерса одним из главных претендентов на шекспировское наследие, а других авторов, причастных к его созданию, предлагает искать в окружении Рэтленда (См.: Гилилов И. М. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса. М., 1997, а также критический анализ предложенной концепции в кн.: Балашов Н. И. Слово в защиту авторства Шекспира. М., 1998). Ошибочное написание имени и титула графа Рэтленда А. А. Вановским свидетельствует о поверхностном знакомстве с этой гипотезой.

<sup>36</sup> Стэнли Уильям, шестой граф Дерби (1561 — 1642) — младший брат Фердинандо Стэнли, лорда Стренджа, пятого графа Дерби (ум. 1594), содержавшего актерскую труппу, в которой начал свою карьеру У. Шекспир. У. Стэнли был блестящим аристократом, крупным представителем придворной знати, он изучал законоведение, много путешествовал, сам писал для труппы, опекаемой его братом. Вановский, скорее всего, был недостаточно знаком с дербианской теорией, обстоятельно изложенной в 1918 г. французским шекспироведом А. Лефраном.

<sup>37</sup> Речь идет об Эдуарде Джеффри Смите Дерби (*Derby*), лорде Стэнли (1799 — 1869), известном английском политическом деятеле, премьер-министре Великобритании в 50 — 60-х гг. XIX в.

<sup>38</sup> Рэли (*Raley*) Уолтер (ок. 1552 — 1618) — английский мореплаватель, поэт, драматург, историк, фаворит королевы Елизаветы I, завез в Европу из

Америки табак; был заключен в Тауэр по обвинению в заговоре против Иакова I, казнен после неудачной экспедиции в Северную Америку, где он пытался основать английскую колонию. Предположения о соавторстве У. Рэли с Ф. Бэконом при написании шекспировских произведений были высказаны в XIX в. Д. Бэкон.

<sup>39</sup> Речь идет о Микеланджело Флорио (сер. XVI в.) – итальянском писателе, еврее по происхождению, принявшем католичество и вступившем в орден францисканцев, затем под влиянием идей Реформации перешедшем в протестантизм и переехавшем в Англию, где он стал домашним учителем леди Джейн Грей. Гипотеза о принадлежности ему шекспировских произведений была высказана итальянским шекспироведом С. Паладино, полагавшим, что написанные по-итальянски шекспировские произведения на английский язык перевел сын Микеланджело Флорио – Джиованни (Джон) Флорио (ок. 1553 – ок. 1625), известный филолог.

<sup>40</sup> *Вер Эдуард де, семнадцатый граф Оксфордский* (1550 – 1604) – английский аристократ, близкий к королевскому двору, воспитывавшийся в доме министра Елизаветы лорда Берли и унаследовавший титул лорда-камергера; поэт, покровитель нескольких актерских трупп. Оксфордская теория была обоснована английским шекспироведом Т. Луни (1920), она получила широкое распространение в Англии и в США и в настоящее время является главенствующей в среде ученых, которые считают, что шекспировские произведения не были написаны Шекспиром из Стратфорда-на-Эйвоне.

<sup>41</sup> В XX главе книги (в экземпляре, хранящемся в РГАЛИ, отсутствует начало главы) А. А. Вановский подробно излагает историю царствования Ирода Великого и рассказывает об одном из его сыновей – принце Александре и о внуке Александре.

<sup>42</sup> Имеются в виду две картины Леонардо да Винчи (1452–1519) – «Вакх», переделанная в 1510–1513 гг. из незаконченной картины «Иоанн Креститель в пустыне», и одна из поздних работ художника – «Святой Иоанн Креститель», законченная его учениками. Картины в настоящее время хранятся в Лувре. См.: *Tout l'oeuvre peint de Leonard de Vinci*. Paris, 1968. P 1. LX, LXIV.

<sup>43</sup> Имеется в виду Халкидонский догмат, принятый в 451 г. на IV Вселенском соборе, входящий в Символ Веры и определяющий отношения между двумя естествами Иисуса Христа. Догмат провозглашает, что Христос – совершенство в Божестве и совершенство в человечестве, истинно Бог и истинно человек, в двух природах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемый, эти два естества гармонично сочетаются в одной ипостаси, в одной сущности вследствие Боговоплощения.

<sup>44</sup> *Павел Самосатский* (III в.) – еретик-антитринитарий, пользовавшийся особым расположением сирийской царицы; публичный ритор и софист в Антиохии, ок. 260–262 г. занял там епископскую кафедру, в своей епархии нарушил многие дисциплинарные и догматические установления: отменил древние церковные напевы, гимны в честь Спасителя заменил гимнами в свою честь, учил о земном происхождении Сына Божьего. Его учение рассматривалось на трех соборах в Антиохии (264, 267, 269 гг.),



на последнем Павел был лишен епископства, однако при поддержке царицы Зиновии оставался в епископском доме. В 272 г. был удален силой, учение его признано ересью, крещения, им совершенные — недействительными.

<sup>45</sup> III Вселенский собор был созван в Эфессе в 431 г. Вероятно, Вановский имеет в виду третий собор Антиохийской церкви 269 г.

<sup>46</sup> См.: Иоан. I, 14.

<sup>47</sup> *Иосиф Флавий* (ок. 37—после 100) — автор фундаментальных сочинений «О войне иудейской», «Древности иудейские» — единственных источников по истории евреев с эпохи Маккавеев до завоевания Иерусалима римлянами.

<sup>48</sup> *Штраус Давид Фридрих* (1808—1874) — немецкий философ, теолог, в сочинении «Жизнь Иисуса» (т. 1—2, 1835—1836, рус. пер. 1907), отрицающая достоверность Евангелий, считал Иисуса исторической личностью.

<sup>49</sup> *Август* (до 27 до н. э. — Октавиан; 63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император с 27 г. до н. э.

<sup>50</sup> Имеются в виду: философско-символическая драма «Каин» (1821, русский перевод 1907 г. И. А. Бунина) Джорджа Ноэла Гордона Байрона (1788—1824), поэма «Потерянный рай» (1667) Джона Мильтона (1608—1674), драма «Борьба за престол» (1864) Генрика Ибсена (1828—1906).

<sup>51</sup> Речь идет о книге Д. С. Мережковского «Иисус Неизвестный», опубликованной в 1932—1934 гг. в Белграде.

<sup>52</sup> Письмо И. В. Гёте процитировано в книге «Фантазии на трагедию Гамлет» (М., 1900. С. 296) Сергея Дмитриевича Разумовского (псевд. *Махалов*; 1864—1942) — драматурга, литературного критика.

<sup>53</sup> Речь идет о небольшой брошюре «Естественная история чорта (его рождение, жизнь и смерть). Религиозно-историческое исследование», изданной в Петербурге в 1908 г. на средства автора, Александра Александровича Берса (1844—1921), тульского помещика, полковника в отставке, музыканта-любителя, мемуариста, родственника жены Л. Н. Толстого.

<sup>54</sup> Шекспировского общества в СССР никогда не существовало. Вероятно, А. А. Вановский из газет узнал о создании в 1939 г. в связи с празднованием 375-летия со дня рождения Шекспира при Всероссийском театральном обществе Кабинета Шекспира и западноевропейской классики. ВТО регулярно, даже в годы войны, проводило Шекспировские конференции, посвященные главным образом театральным постановкам пьес Шекспира в СССР и переводам его произведений на русский язык.

<sup>55</sup> Цитируется стихотворение А. Н. Майкова «Юбилей Шекспира», впервые прочитанное в 1864 г. на 300-летнем юбилее Шекспира (см.: *Майков А. Н.* Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 2. Кн. 4. С. 211).

<sup>56</sup> Речь идет о научно-популярной книге для детей и юношества «Как человек стал великаном» (Кн. 1. М.; Л., 1940; Кн. 2. М.; Л., 1946), написанной М. Ильиным (Ильей Яковлевичем Маршаком; 1895—1953) в соавторстве с женой Еленой Александровной Сегал; 1905—1980). Книга посвящена покорению человеком природы и развитию техники.

<sup>57</sup> *Аверкиев Дмитрий Васильевич* (1836—1905) — писатель, театальный критик, один из русских переводчиков «Гамлета» (1895).

<sup>58</sup> Вероятно, указанная Вановским оценка шекспировского «Гамлета» принадлежит Чарлтону Минеру Льюису (Charlton Miner Lewis; 1866–1923) — американскому историку литературы, издателю, профессору Йельского университета.

<sup>59</sup> *Стол* Элмер Эдгар (Stoll Elmer Edgar; 1874–1959) — американский критик, историк литературы, шекспировед, автор книг «Hamlet» (1919), «Hamlet the man» (1935) и др.

<sup>60</sup> *Голдсмуг* (Goldsmith) Оливер (1728–1774) — английский писатель, один из первых критиков творчества Шекспира, полагавший, что для славы Англии и чести Шекспира было бы лучше, если бы многие из его пьес, с их вымученным юмором, натянутым самодовольством и неестественными преувеличениями, были бы забыты. См.: *Ингер А. Г.* Вопросы драматургии и театра в раннем творчестве Голдсмита. [Чита, 1962].

<sup>61</sup> *Колридж* (Coleridge) Сэмюэль Тейлор (1772–1834) — английский поэт и литературный критик, считавший, что Шекспир был пророком и гением; вместе с тем первым публично в своих лекциях о Шекспире (изд. 1849) выразил сомнение в достоверности и полноте биографических фактов: «Спросите Ваш здравый смысл, возможно ли, чтобы автором таких пьес был невежественный, беспутный гений, каким его рисует современная литературная критика?»

<sup>62</sup> *Колридж* Хартлей (1796–1849) — английский писатель.

<sup>63</sup> Имеются в виду слова Гамлета:

«В неведомой стране, откуда ни единый  
Не возвращался путник...»

(Акт III. Сцена 1. Строки 78–79)

Все цитаты из трагедии в работе А. А. Вановского, кроме особо оговоренных случаев, и отсылки в комментариях приведены по изданию К. Р.

<sup>64</sup> Имеется в виду разговор Гамлета с Гильденстерном и Розенкранцем, в ходе которого Гамлет говорит:

«Боже мой, я бы и в ореховой скорлупе считал  
себя властелином необъятного пространства, если б  
только не дурные сны».

(Акт II. Сцена 2. Строки 249–254).

<sup>65</sup> «Убийство Гонзаго» — так называлась пьеса, показанная приезжими актерами по просьбе Гамлета (Акт III. Сцена 2).

<sup>66</sup> *Фишер* Эрнст Куно Бертольд (1824–1907) — немецкий историк философии, профессор Гейдельбергского университета, автор работ о Гёте, Лессинге, Шиллере, Шекспире, некоторые из которых переведены на русский язык и были довольно популярны в России в начале XX века.

<sup>67</sup> См.: *Фишер К.* Гамлет Шекспира / Пер. с нем. А. Страхова. М., 1905. С. 68.

<sup>68</sup> В работе «Жизненная драма Платона» (1898) Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) писал о шекспировском «Гамлете», что «...хотя драма происходит после многих веков христианства, она имеет смысл только на почве чисто языческого понятия о родовой мести, как нравственном долге» (Соловьев В. С. Собр. соч. СПб., [1906]. Т. 8. С. 263). По мнению Соловьева, Гамлет фактически принадлежит к христианству, однако искренне верит в обязательность для себя кровной мести.

<sup>69</sup> А. Вановский считал сцены убийства Полония и дуэли лишь ширмами для датской ситуации, конец трагедии ему виделся другим (Клавдий-Архелай узнает о прибытии из Рима нового правителя Иудеи — прокуратора).

<sup>70</sup> Q<sub>1</sub> (Quarto 1) — первое издание трагедии «Гамлет», осуществленное в 1603 г., Q<sub>2</sub> — второе издание трагедии 1604 г. Об этих изданиях см.: Аникст А. Первые издания Шекспира. М., 1974.

<sup>71</sup> Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928) — литературный критик, публицист, переводчик на русский язык произведений А. Шопенгауэра. Вановский, вероятно, имеет в виду его статьи «Трагедии Шекспира» (Айхенвальд Ю. И. Этюды о западных писателях. М., 1901. С. 17) и «Самоубийство» (Айхенвальд Ю. И. Похвала праздности. М., 1922. С. 61—62).

<sup>72</sup> См.: Религия и церковь в свете научной мысли и свободной критики. Кн. 6; Гольман Г. Религия иудеев в эпоху Иисуса / Пер. с нем. Е. М. Никольской. М., 1908.

<sup>73</sup> Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1860), автор известных сочинений «История происхождения христианства» (в 8 т.) и «Жизнь Иисуса» (рус. пер. 1911), где Иисус Христос изображен исторически существовавшим проповедником.

<sup>74</sup> Фаррар Вильям Фредерик (1831—1903) — английский историк церкви, проповедник, автор популярных сочинений, переведенных на русский язык и выдержавших несколько изданий — «Свидетельства в доказательстве истории Христа», «Жизнь Иисуса Христа».

<sup>75</sup> Зелинский Фадей Францевич (1859—1944) — польский филолог-классик, переводчик на русский язык произведений Софокла, Овидия, Цицерона.

<sup>76</sup> Шлегель Август Вильгельм (1767—1845) — немецкий историк литературы, поэт-переводчик, в 1797—1801 гг. перевел и издал 17 драматических произведений Шекспира.

<sup>77</sup> Речь идет о монологе Гамлета, которым завершается 2-й акт трагедии. Гамлет называет себя ничтожным человеком в сравнении с актером, который «одним лишь вымыслом, одною мнимой страстью» умеет так преобразиться, что заставляет поверить зрителей в этот вымысел (Акт II. Сцена 2. Строки 523—581).

<sup>78</sup> Имеется в виду загадка, которую загадывал всем прохожим в Фивах Сфинкс-чудовище с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы:  
«Есть существо на земле: и двуногим, и четвероногим  
Может являться оно, и трехногим, храня свое имя.  
Нет ему равного в этом во всех животворных стихиях.  
Все же заметим: чем больше опор его тело находит,  
Тем в его собственных членах слабее движения сила».

Не сумевшего правильно ответить Сфинкс убивал, и только Эдип, сын фиванского царя, смог эту загадку о человеке разгадать.

<sup>79</sup> Даус (Douce) Фрэнсис (1757—1834) — английский шекспировед, антиквар, издатель.

<sup>80</sup> Хантер (Hunter) Джозеф (1783—1861) — английский шекспировед, антиквар, издатель.

<sup>81</sup> *Стивенс (Steevens)* Джордж (1736 – 1800) – английский шекспировед, издатель полного собрания пьес Шекспира.

<sup>82</sup> *Катулл (Catullus)* Гай Валерий (87 или 84 до н. э. – после 54 до н. э.) – римский поэт.

<sup>83</sup> Трагедию Шекспира «Король Джон» принято относить к 1596 – 1598 гг., основываясь на ее стилистических особенностях, но это не дата ее выхода в свет.

<sup>84</sup> Ср.: Быт. XXXII, 24 – 29.

<sup>85</sup> *Бриер де Буамон* Александр Жак Франсуа (1797 – 1881) – французский врач, К. Р. ссылается на русский перевод его статьи «Типы умопомешательства в драмах Шекспира» (Архив судебной медицины и общественной гигиены. СПб., 1871. № 4. Отд. II. С. 80 – 108).



---

**ОБЗОРЫ  
ФОНДОВ**

---



## АРХИВ СКАЗОЧНИКА

Обзор К. Н. Кириленко

«А я вот — сказочник, и все мы — и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники — все мы работаем, и все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди».

*Слова Сказочника из пьесы  
Е. Л. Шварца «Снежная королева»*

20 октября 1996 года исполнилось сто лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца — автора пьес «Голый король» (1934), «Снежная королева» (1939), «Тень» (1940), «Дракон» (1944), «Обыкновенное чудо» (1956), киносценариев «Золушка» (1947), «Дон Кихот» (1955) и др.

Годы, прошедшие со дня их создания, показали, что творчество писателя заняло достойное место в истории литературы, или — шире — в истории культуры. Пьесы Шварца идут на сценах русских и зарубежных театров, фильмы по его сценариям зрители смотрят с прежним интересом и в кинотеатрах, и на телеэкранах. «Уж лучше сказки писать, — говорил Шварц. — Правдоподобием не связан, а правды — больше» (Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 10. При дальнейшем цитировании документов из фонда Е. Л. Шварца повторяющийся номер и указание «там же» опускаются).

И вот эту самую правду дарил драматург зрителям в своих пьесах-сказках, которые посвящались таким вечным темам, как любовь, дружба, деспотизм, предательство, доброта, трудолюбие. Он писал их очень простым, доступным и по-настоящему литературным языком. Этим объясняется почти вековая жизнь его произведений.

Несколько городов оспаривали право считаться родиной Гомера, два города хотели удостоиться права считаться родиной Шварца — Ростов-на-Дону и Казань.



Даже в официальных документах повторяется этот разнобой: военный билет, трудовая книжка, личная карточка члена Союза писателей, некролог, напечатанный в «Литературной газете» 18 января 1958 года, указывают местом рождения Ростов-на-Дону.

В одном машинописном экземпляре автобиографии красным карандашом рукой неустановленного лица Ростов исправлен на Казань. Причем в аналогичном экземпляре автобиографии, правленном автором, оставлен Ростов-на-Дону. В «Литературной энциклопедии» местом рождения значится Казань. Но родиной своей души сам Евгений Львович считал южный город Майкоп, где он с родителями Львом Борисовичем и Марией Федоровной Шварц поселился весной 1902 года. Здесь он научился читать и писать. Увлекался чтением сказок в издании И. Д. Сытина. И еще в детстве создал свой собственный сказочный мир.

В песчаной котловине обрывистой части майкопского городского сада он поселил воображаемого коня, которого в случае необходимости звал к себе «особым свистом сквозь зубы и отпускал девятикратным свистом обыкновенным, губным. В свободное от службы время конь мог превращаться в человека, путешествовать, где ему захочется, больше по Африке и по Индии, есть колбасу, каштаны, конфеты, вообще наслаждаться жизнью, но по условному свистку он мгновенно переносился в песчаную котловину, а оттуда летел ко мне. И я садился на него верхом и ехал в библиотеку, в лавочку, в булочную [...] — словом, всюду, куда меня посылали, соблюдая осторожность, чтобы встречные не угадали по походке, что я еду верхом» (Ед. хр. 52. Л. 64).

Темноту Женя Шварц населил существами враждебными и таинственными. Кроме коня-друга появилась лошадь-привидение. «Она шла на задних ногах. На спине ее болтался мешок, который она придерживала копытами». Он, по собственному признанию, «ужасно боялся лошади с мешком» (Л. 64 об.).

И вот появилась армия маленьких человечков, которые жили ночью под Жениным одеялом и охраняли его от всех привидений. Он нарочно ложась спать и закутываясь, оставлял им место под одеялом. «Жили они так же счастливо, как мой друг конь: ели колбасу, пирожные, шоколад, апельсины, читая за едой сколько им вздумается, имели двухколесные велосипеды. Путешествовали. Но при малейшей опасности они выстраивались на одеяле и на постели и отражали врага» (Л. 65).

Об этих первых сказках, созданных будущим писателем исключительно для себя и державшихся им в абсолютной тайне вплоть до 1951 года, мы узнаём из его дневников, речь о которых пойдет ниже.

Кроме места рождения была на долгие годы перепутана и дата рождения сказочника. В своем дневнике 1950 года сам Шварц пишет: «Пришел и день моего рождения, по старому стилю 8 октября 1902 года» (Ед. хр. 51. Л. 60 об.), но при переводе на новый стиль ошибочно прибавили 13 дней, как для XIX века, а надо бы 12. Поэтому правильная дата рождения Евгения Шварца 8 (20) октября 1896 года.

Творческое наследие Шварца состоит из сказок, пьес-сказок, сценариев-сказок для детей и взрослых, признанным мастером которых он становится. Но Главрепертком почти во всех его пьесах усматривал иносказания, намеки, «аллюзии». Отсюда постоянные запреты, требования переделок, поучения. Желая, чтобы его пьесы увидели сцену, Шварцу приходилось править то, что он считал хоть сколько-нибудь возможным для себя. Но и это зачастую не помогало. Его пьеса «Дракон» на тему о деспотизме, написанная в 1943 году и поставленная в Ленинградском театре Комедии в 1944 году, была сейчас же запрещена и по-настоящему увидела свет рампы в том же театре только в 1962 году.

Неоценимую услугу в изучении творческой лаборатории писателя оказали рукописи Шварца.

По признанию автора, он писал очень медленно, с большим трудом. По его рукописям мы и сейчас, полвека спустя, можем проследить, как тщательно он подбирал нужные слова, чтобы наиболее точно выразить смысл фразы, не просто фразы, а сказочной фразы. В сценарии «Золушки» он меняет только одно слово, и фраза преобразуется: «Вбегают, строго сохраняя строй, роскошно одетые музыканты» (Оп. 2. Ед. хр. 32. Л. 2). Слово «роскошно» он меняет на слово «пышно», и фраза мгновенно меняет свой характер — из «опереточно-одесской» превращается в сказочную.

А иногда Шварц переписывает заново целый акт или его менее удачную часть. Но это авторские правки, поиски лучшего текста. Мучительнее и дольше шла работа, которая делалась по требованиям цензуры.

Рукописи Шварца сохранились далеко не полно. Первая пьеса — «Ундервуд» — представлена в его фонде только одним машинописным экземпляром с пометкой автора: «28 г.» (Оп. 2. Ед. хр. 1), а 2-й экземпляр — это уже режиссерская разработка Б. В. Зона с пометами А. А. Брянцева.

Вторая пьеса — «Клад» — состоит из небольшого отрывка автографа, дополненного вырезкой текста из газетной публикации и брошюрой, изданной ЦЕДРАМ.

Далее в фонде идет почти полный набор пьес и сценариев Шварца, но разной степени сохранности и в разных видах — иногда это автографы (в отрывках), иногда — машинопись с правкой автора, редактора или режиссера.

В некоторых случаях сохранились варианты одной и той же пьесы с авторской правкой.

Полнее всего представлены в фонде те рукописи, к работе над которыми автор неоднократно возвращался — «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Два клена», «Одна ночь», «Повесть о молодых супругах», «Золушка», «Дон Кихот».

Накануне премьеры спектакля «Медведь» Театр-студия киноактера, боясь, что это название не привлечет зрителя, обратилась к Шварцу с телеграммой: «Выпускаем спектакль, афишу. Дирекция, художественный совет, режиссер просят Вас утвердить новое название пьесы Вашего спектакля «Это просто чудо», скобках «Медведь». На обороте телеграммы рукой Шварца написаны варианты названия пьесы: «Веселый волшебник», «Послушный волшебник», «Обыкновенное чудо», «Безумный бородач», «Непослушный волшебник» (Оп. 1. Ед. хр. 280. Л. 72 и об.). Выбор был сделан. Спектакль стал называться «Обыкновенное чудо».

Творческое наследие Шварца разнообразно. Кроме пьес, здесь и мемуарные рассказы («Белый волк» — о К. И. Чуковском, «Превратности характера» — о Б. С. Житкове), и статьи, и даже либретто цирковой пантомимы «Иван Богатырь».

Уже в 10-летнем возрасте Евгений Шварц вел дневник. В одной из своих тетрадей он писал: «Дневник этот являлся первой в моей жизни попыткой написать нечто по собственной воле» (Ед. хр. 53. Л. 41 об. — 42).

Когда Шварц начал свой «взрослый» дневник, он работал в Ленинграде редактором детского отдела Госиздата и издательства «Радуга». Там выходили в свет детские книжки с рисунками известных художников В. М. Конашевича, А. Ф. Пахомова, А. А. Радакова, а Шварц делал к рисункам стихотворные подписи. Работал Евгений Львович и на радио: готовил детские передачи, в которых сам принимал участие.

Дневники Шварца — серия уникальных документов, огромная, совершенно особая часть творческого наследия писателя, состоящая из 37 толстых конторских книг, ведшихся им почти с самого начала своей творческой деятельности —

с 1926 года: Вначале нерегулярно, а с июня 1950 года ежедневно, Шварц заполнял две большие страницы книги. Без этой записи он не мог провести ни дня. Если он уезжал, тетрадь путешествовала с ним. К сожалению, дневники о жизни молодой советской литературы и рождающегося нового театра, о суровых днях блокады Ленинграда не сохранились. Покидая в декабре 1941 года Ленинград по решению исполкома горсовета в крайне тяжелой степени дистрофии, он сжег свои дневники 1926 — 1941 годов, не имея возможности взять их с собой и не желая оставлять на произвол судьбы в осажденном городе.

Как только Шварц попал из блокады на Большую землю, в город Киров, он возобновил свою творческую работу и заключил договоры на написание новых пьес, постановку пьес прежних лет. А вскоре приступил вновь к ведению дневника, стремясь возобновить утраченное. Ведя его, драматург ставил перед собой две задачи: учился писать прозой, что считал очень важным для себя, и стремился «поймать миг за хвост», то есть найти наиболее точные слова для передачи обстановки, чувств, событий и настроений в тот или иной момент жизни. Основным условием было писать только правду, «не врать, не перегруппировывать события», не допускать никаких позднейших исправлений.

Структура дневника сложна. В нем содержатся и заметки, характерные для записных книжек писателя, — отдельные услышанные слова, выражения, обратившие на себя внимание, например, «зенитка ока», или эскизы характеров для будущих пьес: «Надо в новой пьесе попробовать написать роль человека, скрытного до чудачества. Он все скрывает, не то от застенчивости, не то из брезгливости. Каждое свое движение. И все ходит он в баню, все моется, моется» (Ед. хр. 48. Л. 28). И наряду с этим чисто дневниковые записи о событиях текущего дня.

С 1950 года содержание дневника становится еще сложнее — изо дня в день в них проходит тема воспоминаний. В результате выстраивается подробная автобиография писателя. Причем дневниковый ее характер дает возможность остановить внимание читателей на каких-то, казалось бы, мелочах, которые зачастую придают особый колорит большому событию или явлению, тогда как в официальной автобиографии такие акценты невозможны.

Шварцевская автобиография отличается именно художественным изложением своей жизни, начиная с первых

детских впечатлений: поездок к родным в Жиздру или с мамой в Одессу. Эти поездки оставили разные, но одинаково неизгладимые впечатления: « с Жиздрой связана любовь к церкви, колокольному звону, садам, сосновому бору». Не меньшую роль сыграла в его жизни поездка в Одессу. Он «полюбил корабли, лодки, порт, запах смолы и научился мечтать» (Ед. хр. 52. Л. 20). Такие события формировали душу сказочника.

В дневниках Шварц рассказывает об отроческих годах с их первой любовью, увлечением цирком, синематографом. В те годы он и сам изобретал целые представления с куклами, игрушками, декорациями. Читатели узнают и о выступлениях Жени с мелодекламацией на вечерах в реальном училище, где он учился с 1905 по 1913 год.

Фиксируются здесь и такие события, как встреча впервые в жизни с писателем — И. С. Шмелевым — летом 1909 года или первое посещение оперы — «Садко» — в Екатеринодаре летом 1911 года. Шварц рассказывает о том, что твердое решение самому стать писателем, определившее всю его жизнь, пришло в годы ранней юности в Майкопе. Здесь, в глубокой тайне даже от самых близких людей, были написаны первые стихи. Шварц не считал себя поэтом, но свою литературную деятельность начал со стихотворений, которые сейчас хранятся среди его рукописей.

Читатель узнает из этой автобиографии о годах учебы на юридическом факультете Московского университета, о поступлении актером в Театральную мастерскую в Ростове-на-Дону, о приезде в составе труппы этой мастерской в Петроград в 1921 году, о знакомстве со столичными писателями, об интересе, возникшем у Шварца к литературной группе «Серапионовы братья», основанной незадолго до его приезда, 1 февраля 1921 года. В дневниках Шварц рассказывает обо всех участниках этой группы, о К. И. Чуковском, у которого он работал некоторое время секретарем после закрытия Театральной мастерской, о своих первых книжках и пьесах.

С 19 января 1955 года структура дневника еще более усложняется — появляется целая рубрика, введенная автором и названная им «Телефонная книжка». Это уникальная форма воспоминаний, впервые примененная Шварцем в мемуарной литературе. Основой записей явилась старая потрепанная черная алфавитная книжка, которая много лет была постоянно под рукой. К ней почти ежедневно обращался Шварц, записывая телефоны тех, с кем творческая

или человеческая судьба связывала его, или набирая номера телефонов писателей, артистов, режиссеров, художников, кинооператоров, в содружестве с которыми ставились спектакли, снимались фильмы, обсуждались проблемы литературно-театральной жизни. В «Телефонной книжке» запечатлена галерея литературных портретов современников, написанных правдиво, лаконично и ярко. За этими миниатюрами встает целая эпоха общественной и культурной жизни страны. Не только людям посвящены записи, иногда «действующими лицами» становятся целые учреждения: творческие союзы, театры, издательства, вокзалы.

В записи от 24 марта 1955 года Шварц сформулировал цель ведения своей «Телефонной книжки»: «Я еще вчера испытал некоторое смущение. Я пишу о живых людях, которых рассматриваю по мере сил подробно и точно, словно явление природы. Мне страшно с недавних пор, что люди сложнейшего времени, под его давлением принимавшие или не принимавшие сложнейшие формы, менявшиеся незаметно для себя или упорно не замечавшие перемен вокруг — исчезнут. Нет, проще. Мне страшно, что все, что сейчас шумит и живет вокруг — умрет, и никто их и словом не помянет — живущих. И это не вполне точно. Мне кажется, что любое живое лицо — это историческое лицо — и так далее, и так далее. Вот я и пишу, называя имена и фамилии исторических лиц».

В результате этих рассказов о людях и учреждениях складывается портрет самого Шварца, по определению И. Г. Эренбурга, «чудесного писателя, нежного к человеку и злого ко всему, что мешает ему жить» (Ед. хр. 275. Л. 79).

Шварц вел записи «Телефонной книжки» с 19 января 1955 года по 11 октября 1956 года. Он исчерпал алфавиты ленинградской и московской книжек. Рассказал обо всех знакомых, включенных в эти алфавитные книжки. Доведена до конца и автобиография. Последняя запись в дневнике сделана 4 января 1958 года, за одиннадцать дней до смерти. Рассказана целая жизнь, искренно, без прикрас, с чрезмерно строгим отношением к себе.

В 1986 — 1989 годах в ЦГАЛИ автором этих строк были подготовлены к печати дневники Шварца, в 1990 году издательство «Советский писатель» (Ленинградское отделение) издало большую книгу под названием «Евгений Шварц. Живу беспокойно... Из дневников».

В 1997 году издательство «Искусство» выпустило в свет построенную на материале дневников писателя «Телефон-

ную книжку» (Шварц Евг. Телефонная книжка. М., 1997). Если в книгу «Живу беспокойно» были включены лишь отдельные, иногда сокращенные, записи из рубрики дневников «Телефонная книжка», то в новую книгу они вошли все и без купюр. Оба издания снабжены комментариями и именными указателями.

Дневники Шварца изданы далеко не полностью. Осталась неопубликованной примерно одна треть текста. А его дневниковые записи читаются легко, с захватывающим интересом. Написаны они особым шварцевским стилем, органически соединяющим лирику и юмор.

В годы подготовки дневников к изданию не все темы еще освещались в печати, да и отбор записей для печати диктовался возможностями издательства выпустить в свет книгу определенного листажа.

Конечно, в сборник включались наиболее значительные записи, но остались неопубликованными не менее интересные, если в них содержалось хоть малейшее повторение предыдущих. Поэтому не вошли многие воспоминания о светлом, солнечном периоде жизни — майкопской юности, путешествиях в компании молодежи по окрестностям города и в горы, с ночевками у костров, с обязательной полевой кашей и путевыми происшествиями. Эти походы производили большое впечатление на будущего драматурга-сказочника. Часть их отразилась в пьесе «Клад», а на основе путешествия лета 1915 года Шварц написал заявку на киносценарий о детях-туристах «Неробкий десяток», над которым должен был работать с Н. Н. Кошеверовой (поставившей «Золушку»), но, к сожалению, сценарий написан не был, и фильм не снят.

Вот отрывки из дневника 1952 года, в которых Шварц вспоминает это путешествие:

Лето 15 года провел я в Майкопе. Мы снова пошли в горы, нас было десять человек. Шли мы через заповедник, нас сбивали олени тропы, но егеря великокняжеской охоты ставили зарубки на деревьях, так мы и шли от зарубки к зарубке.[...] На альпийских лугах дорожка совсем исчезла в низеньком густом травяном ковре. И Юрка [Соколов, друг Шварца. — К. К.] вел нас, нащупывая дорожку в траве, как бы скользя, а мы за ним гуськом. В охотничьем домике пахло известкой, печкой. Вдоль стен тянулись нары. На выбеленной стене углем ясно и грамотно написал некто: «Егеря!

Мы тут были, застрелили двух оленей и козла. Браконьеры». Стоял этот домик за альпийскими лугами на крутом склоне горы, кажется, Абаго. Далеко-далеко внизу между горами синели заросли леса — долина реки Лабы? Во всяком случае — не Белой. Прошел дождь, облака поползли вниз. У наших ног, между горными вершинами, кипел туман — вздымался и падал — белый, сизый, красный — солнце заходило, опускалось в этот котел. Мы шли без проводников. Егерь великокняжеской охоты, бывший некогда спутником погибшего в начале века географа Воробьева, слишком дорого запросил. О Воробьеве он рассказывал, что тот был «вроде как бы смелый». Желая отговорить нас пускаться в путь самостоятельно, рассказал егерь, что при всей своей опытности «пять дней видел Красную Поляну, а подойти к ней не мог». Рассказал о трех старушках, шедших через перевал из монастыря. Они заблудились, ослабели, одна из них умерла. Они обрядили подругу, легли возле и стали ждать смерти. Тут их нашел и спас егерь. Однако рассказы его не устроили нас, и мы пошли в путь. Было нас десять человек, и прозвали мы себя «неробкий десяток». Шли по карте. [...] Когда, расставшись с егерями, пошли мы через горы, я заболел ангиной. Нашего путешествия это не оставило. [...]

Мы шли через Главный Кавказский хребет, через Псебайский перевал, если я опять не путаю названий. Даже тогда, в горах, я, по странности мышления своего, как бы боялся узнавать и запоминать названия. [...]

Ангина моя прошла. Я вспомнил, что в каком-то переводном французском романе доктор предписал героине глотать кусочки льда как лекарство от ангины. И я пил глоточками ледяную воду из всех встречных источников. После охотничьего домика с браконьерской надписью ночевать мы предполагали в карантинном бараке — там жила осенью комиссия, осматривающая скот, который гнали с альпийских пастбищ. На карте обозначен был этот барак на нашей стороне реки Уруштен, или Черной речки. И мы радовались. После дождей река



вздулась и в самом деле стала похожа на Черную. Вброд ее перейти стало невозможно. Но мы шли да шли, а бараков все не было. Зарядил дождь. Стемнело. Мы уперлись в непроходимую гряду скал.

Карта соврала — бараки были, видимо, на той стороне реки. Мы поднялись вверх, из лиственного пояса в хвойный. Хвоя горит и мокрая, и там развели мы костры, и там и ночевали у огня. Серым утром спустились мы вниз к реке. Ножам и кинжалами — топорик забыли на одном из ночлегов — срубили березу, и она легла поперек реки. По этому мосту и перебрались мы на ту сторону, где карантинные бараки нашлись. Пришли мы к Уруштенскому леднику, где, кажется, погиб Воробьев лет за десять до нашего путешествия. Вот это был настоящий ледник, как я его себе представлял: чистый лед, синеватый, стоял стеной, круто шел вниз с Черных гор. Здесь и начиналась Черная речка.

Большой табун без пастуха, увидев людей, двинулся к нам осторожно. Став на высокий плоский камень, я обратился к нему с речью. Лошади меня слушали, все подступали ближе и ближе. Я стал плясать на камне, и они шарахнулись всем табунном, кинулись в горы. А Юрка с кем-то разбирал карту. Здесь Черная речка была еще синего цвета и не похожа на реку — ручьи, множество широких, но мелких ручьев бежали по каменистой долине, и мы перешли их вброд, вода была ледяная, ноги ломило. Черкес прошел мимо — первый человек, которого увидели мы с тех пор, как расстались с егерями. Было это дней десять назад? Или неделю? Мы любовались тем, как легко и красиво шел черкес. Будто танцевал. На перевале люди попадались чаще. Прошла арба, запряженная буйволами. Мы снова попали в облака, они так и кипели вокруг. Здесь уже было подобие дороги — может быть, тут Абаза и начал прокладывать шоссе на Майкоп. Когда рассеялись облака, мы увидели знакомые крыши Красной Поляны. В первый раз я подходил к ней не с моря, а с гор.

(Ед. хр. 58. Л. 87 об., 88, 89 об. — 91.)

В издании 1990 года были опущены очень точные и выразительные характеристики его коллег — писателя Л. Н. Рахманова и литературоведа В. Н. Орлова:

Сегодня я с утра печатал на машинке. Кончил рассказ «Белый волк». Вчера читал Орлову и Рахманову, и несмотря на то, что они хвалили, у меня сегодня смутное чувство. И не читать нельзя, и, когда прочтешь, на душе подобие похмелья. Рахманов понимает все, после того как читаешь ему, похмелья не испытываешь. Орлов же человек другой категории. Для Рахманова книга — явление личной его жизни. И своя, и чужая. Встречи с великими писателями — события опять-таки личной его жизни. Он знает, что книга кем-то сделана, замечает законы, по которым ее делали, но, вместе с тем, в глубине души считает ее живым существом и оскорбляется, когда ее бранят, словно оскорбили близкого ему человека. Орлов же, увы, видит только, как сделана книга, и считает это самым главным. Больше ничего и не видит. Не в силах увидеть. Ничего тут не поделаешь. Приходится помнить это его свойство и обходить эту его сторону. Читать вслух — нездорово. Разве только — пьесы, произведения устные. Здоровее всего — печатать. Отзывы приходят, когда работаешь уже над новой книжкой.

(Ед. хр. 59. Л. 35—36.)

Не вошла и грустная запись о юбилее актрисы ЛенТЮЗа А. А. Охитиной:

Я получил приглашение. Не знаю, ехать ли? Как-то нехорошо отказываться от праздника артистки, игравшей в первой моей пьесе и во второй. В «Кладе». И жутко идти в ТЮЗ. Еще поверишь в старость. [...]

Вчера был в ТЮЗе. Тридцатилетний юбилей Шуры Охитиной. И из полукруглых круглых рядов зала, и из закулисных переходов что-то словно выдохлось, как из комаровских дорожек. [В Комарове у Шварца была дача. — К. К.]. Сказал со сцены два-три слова. Все было бедновато, годилось бы

скорее для пятилетнего юбилея. Расширившаяся книзу Верочка с худенькой мордочкой. Макарьев с томно-просительным, но и злым лицом. [В. А. Зандберг — актриса ЛенТЮЗа; Л. Ф. Макарьев — актер и режиссер этого же театра, ее муж. — К. К.]. Незначительность и прогорклость.

(Л. 36, 39.)

Не включались в издание и записи, подобные следующим:

Вечером 1 декабря 34 года раздался стук в дверь, словно судьба постучала. Вестником оказался бледный, золотушный, тощий, страшный в своей слабости Евгений Люфанов. Полный скорби, а вместе с тем оживления, как человек, приносящий удивительные, хоть и страшные, новости. Он сообщил, что сегодня в Смольном убит Киров и в чьей-то квартире или в конторе собрание всех жильцов надстройки. Все были растеряны. Никто ничего не понимал.

Кто-то произнес речь, что это, наверное, диверсия, и скорее всего финской разведки. На похороны, точнее, на прощание с телом Кирова, выставленным в Таврическом дворце, шли мы вечером по улице Воинова. Чем ближе к дворцу, тем теснее, страшнее. Никакой попытки установить порядок. Вскрикивают женщины. Брань. Сплошное человеческое месиво. Ходынка! Я еле протискался в сторону, в боковой какой-то переулочек. И бежал от ощущения безнадежности, смерти, безумия толпы, которая сама себя душит. Вышел на Неву, отбиваясь от этого ощущения, но оно не проходило, хоть шагал я по набережной в одиночестве. Так и не видел я страшного зрелища: убитый в гробу, над гробом Правительство и бюро горкома. Члены бюро, попадая в почетный караул, плакали. И безостановочно, по четыре в ряд,двигающиеся ленинградцы, косящиеся на гроб в цветах, на Сталина, на плачущих членов горкома. Как всегда в роковые для города дни, вдруг ударил небывалый мороз. Когда увозили тело Кирова в Москву и начались аресты бывших дворян и вообще бывших, а потом не понятные никому в первые недели аресты членов горкома, тех самых, что плакали над гробом. В эти самые

роковые дни подготовлен был к открытию Дом писателей имени Маяковского. Решено было открыть его под Новый год. Сначала думали, что, по случаю траура, открытие отменят, однако последовало распоряжение — открывать. Собралось городское начальство — и все оно исчезло навеки через несколько дней. Так шла жизнь в большом мире, еще тенью только падая на наш, малый.

(Ед. хр. 79. Л. 35—36.)

Прошло сто лет со дня рождения писателя, и настало время издать Полное собрание его сочинений. Думают об этом давно, однако осуществить эту задачу никто не берется. Отчасти можно понять эту робость перед колоссальной работой — объем одних только дневников 185 печ. л. (4450 с.), но большая часть ее уже проделана, можно заняться просто расклейкой уже изданного и дополнить еще не видевшим света.

Чтобы закончить разговор о рукописях Шварца, необходимо сказать, что в РГАЛИ хранятся тексты его выступлений на совещаниях. Они отложились не только в архиве самого писателя, но и, например, в фонде Комитета по делам искусств. В будущем собрании сочинений следует поместить и их. Как образец таких неизвестных текстов Шварца приведем выступление сказочника на конференции по подведению итогов смотра театров юного зрителя 29 ноября 1940 года. Стенограмма содержит авторскую правку:

Тема моего выступления — сказка в детском театре.

Каково основное свойство сказки? Сказка, прежде всего, серьезна. Сказка настоящая — серьезна до наивности. Все, что утверждается в сказке, — утверждается (если это не специально юмористическая сказка) всерьез. Писатель, который пишет настоящую сказку, должен твердо верить во все, о чем он говорит.

Что вредит основному свойству сказки — серьезности? Стилизация, инсценировка и подмигивание в сторону зрителя: вы, мол, имейте в виду; я вам сейчас покажу злого волшебника, но злых волшебников не существует. Как только появляется подмигивание, исчезает злой волшебник, но исчеза-

ет и вся великолепная серьезность и наивность сказки. Стилизация нехороша, потому что всякая стилизация — это нечто производное в искусстве.

Почему нельзя инсценировать? Потому что, если вещь решена рассказом, литературной сказкой, а вы ее пытаетесь сделать пьесой и при этом сохраняете все, что есть в рассказе, то губите и рассказ, и пьесу.

Каким образом можно инсценировать? Один только способ есть, но это уже не инсценировка. Вот он, этот способ. Необходимо вообразить, что на свете действительно существует некая сказочная страна, в которой живут данные сказочные герои. О них уже слышал Андерсен и рассказал то, что он слышал. Мне же удалось достать новые сведения об этой стране. Допустим, я говорю о «Снежной королеве». Андерсен случайно ничего не знал о Советнике. Мне удалось добыть некоторые данные об этом лице. Кое-какими фактами, рассказанными Андерсеном, я пользуюсь. Но еще больше фактов добыто непосредственно мной из этой воображаемой, но в воображении реально существующей страны. Сказка имеет свою реальность, необычайно строгую. Не помню, кто в предисловии к «Упырю» Толстого сказал замечательно, что фантазия очень строгая вещь. Если написать, что в окно влетел золотой ангел, украшенный алмазами, это не фантазия. Это очень легко придумать. А когда у А. Толстого человек говорит, что сегодня на балу очень много упырей, т. е. в чисто бытовой обстановке появляются эти упыри, вот тут-то и начинается фантазия. Следовательно, сказка опирается на глубоко реальные вещи и подчинена законам реальности не менее, если не более точно, чем быт. Вот образец настоящей сказочной реальности у великого мастера этого дела, у Андерсена. У него рыбы едут в вагоне на всемирную выставку в Париж. Рыбы рассказывают: «Нас везли очень хорошо, бочки были прекрасные, вода была очень хорошая. Но мы так страдали от сухопутной болезни». И это совершенно естественно, что рыбы страдали в вагоне от сухопутной болезни. Рыбы, как только заговорили, приобрели целый ряд реальных,

очень точных, но вместе с тем сказочных и в высшей степени выразительных свойств.

Основное и первое свойство сказки — серьезность и наивность. Второе — законы сказочной реальности необычайно строги.

У Макаренко есть замечательная фраза, которую необходимо запомнить раз и навсегда тому, кто воспитывает ребят. Он говорит, что, воспитывая, мы забываем о естественном нежелании человека быть воспитываемым. Ему не хочется этого. Даже когда мы тысячу раз правы, все-таки воспитываемый ощущает некоторое насилие над собой. И Макаренко говорит: для того, чтобы воспитывать как следует, нужно овладеть педагогической техникой.

И вот сказка — это один из способов овладения этой педагогической техникой. А у сказки есть третье великое свойство, которое позволяет действовать свободно — она лишена бытового сора. Сказка дает возможность непосредственно говорить о чем хотите, об общих вопросах, о вопросах морали, об острых политических вопросах, и говорить так, чтобы бытовой сор не мешал. А сказочная серьезность и наивность делают все эти вопросы необычайно убедительными. И сказочная реальность, которая вам, при известном опыте, подчиняется, подтверждает, подчеркивает то, что вы говорите. Все это педагогу и писателю в высшей степени ценно.

Вот почему сказка в высшей степени важный жанр в том деле, которым мы занимаемся.

Я не отрицаю такой возможности, что сказка — это только путь к созданию еще более простых и великолепных вещей. Вот А. Я. [Бруштейн] вчера, затем товарищ из Киевского ТЮЗа [Н. Талалаевский. — К. К.], потом тов. Серин [зам. начальника Управления театров. — К. К.] и очень многие выступающие упрекали нас и даже удивлялись, почему это мы не хотим изобразить сегодняшний день и наше время. И действительно, на первый взгляд это непонятно. Почему мало чисто современных пьес? Ведь мы сами только этого и хотим. Человек делается писателем именно потому, что

время и окружающая жизнь производят на него то или иное впечатление и он на это впечатление *должен* ответить. Только отвечая на сегодняшнюю жизнь своими произведениями, он участвует в жизни и не чувствует себя из жизни выброшенным. Только так и образуется писатель. Но чем добросовестнее писатель, тем *точнее* его ответы на то, что его окружает. Жизнь требует серьезного ответа на вопросы, которые она ставит, и тут каждый обязан выработать свою технику, каждый обязан выработать свою форму и каждый, если он честный писатель, тут будет немного формалистом.

Совершенно неправильно поставлен вопрос об «уходе» писателя из взрослой литературы в детскую и из детской литературы во взрослую. Такие вещи невозможны, если мы говорим о писателе. А серьезный писатель — это тот, который пишет о том, что его действительно волнует. Я не представляю себе писателя, который садится за стол и рассуждает: «О чем бы мне сегодня писать?» Толстой говорил, что он лично пишет только тогда, когда он не может не писать...

Не случайно писатели пришли в детский театр, не случайно в детском театре работаю я и целый ряд других товарищей. Есть у меня сегодня ряд вещей, которые мне интересно рассказать детям, — я их рассказываю; завтра мне кое-что захочется рассказать взрослым, которые тоже люди.

Скажу несколько слов о зрителе.

Вчера Александра Яковлевна [Бруштейн] совершенно правильно сказала, что зритель идет в детский театр, как на праздник. И именно поэтому он склонен скорей переоценивать, чем недооценивать спектакль. Он идет в театр, как на праздник. Ему нравится все.

Очень характерен в этом отношении случай с дочерью писателя Каверина. Когда ее в первый раз повели в цирк и потом спросили, что ей больше всего понравилось, она сказала: «Все понравилось: и львы, и люди, которые летали под потолком, и тот, который стоял у двери и кричал: «Программу, программу». (Смех.) Для нее было все одинаково великолепно, потому что она шла на праздник. И то

же самое происходит в театрах для детей. Дети готовы съесть все. Пользуясь их великолепным аппетитом, мы не смеем кормить их недоброкачественной пищей. Больше того — ожидание праздника в театре — это законное ожидание. Театр должен быть праздничным. В театре должны происходить чудеса, хотя бы в самых бытовых пьесах. Чудеса не волшебные, а такие, чтобы любой зритель почувствовал, что мир — это не плохая погода, мир — это не хлюпающие калоши, мир — это не бытовой сор, который заслоняет от нас великолепнейшие вещи, окружающие нас, а мир — это действительно настоящее чудо и праздник. *(Продолжительные аплодисменты.)*

(Ф. 962. Оп. 7. Ед. хр. 782. Л. 111—119.)

**Переписка** фондообразователя — незаменимый источник сведений о его жизни. Правда, переписка Шварца сохранилась далеко не полностью, но все же ее крайние даты — 1910—1958 годы.

Сначала обратимся к письмам самого Шварца. Самая ранняя открытка от 17 июля 1910 года прислана родителям М. Ф. и Л. Б. Шварц из Красной Поляны.

Далее — юношеские письма друзьям майкопских лет Варваре Васильевне Соловьевой и ее сестрам Наталии (в замужестве Григорьевой) и Елене.

В начале 1910-х годов все изменилось в доме Соловьевых — любимом доме Жени Шварца, где раньше собиралась молодежь — читали, играли на рояле, пели. Старшие девочки уехали учиться в Петроград. Сам Женя закончил реальное училище и уехал учиться в Москву — сначала в Университете А. Л. Шанявского, затем — на юридическом факультете Московского университета. В Майкопе осталась только одна из подруг его детства — Варя. Он писал ей подробные письма о своей безалаберной, неустроенной студенческой жизни, с пристрастием расспрашивал о жизни родного города, по которому тосковал.

Началась первая мировая война. Студента Шварца призвали. Сначала он служил в пехоте, затем в автомобильном батальоне, и университет ему не пришлось окончить. В связи с тем что его отца как врача мобилизовали, Евгений Шварц должен был уехать в Екатеринодар, где жили тогда его мать и брат.



Сохранилась его связь с майкопской семьей Крачковских. Первая юношеская любовь — Милочка (Людмила Поликарповна) Крачковская тоже уехала учиться. Из Москвы он будет приезжать в Петербург, чтобы повидаться с ней.

Письма к ее сестре, Александре Поликарповне Крачковской, начинающей поэтессе и писательнице, позволяют нам увидеть еще одну грань талантливой натуры Шварца — он выступает в этих письмах как учитель и строгий критик. Она прислушивалась к его советам. Ее стихи печатались в журналах «Молодая гвардия», «Огонек», включались в сборники детских песен, сказок, стихов и рассказов, выходявших отдельными изданиями в Детгизе. В поздние годы писательница посылала свои рассказы на отзыв Шварцу. И письма ее не оставались без ответа.

Другом юности Шварца был Василий Поликарпович Крачковский. Сохранилось несколько писем к нему, они относятся к 1913—1914 годам. В это время Крачковский был студентом Института инженеров путей сообщения в Петербурге. Женя Шварц писал ему из Майкопа о приметах наступающей весны — появлении фиалок, пыли в городе, прогулках за реку Белую и, самое главное, — о надвигающихся выпускных экзаменах в реальном училище; затем, в следующих письмах, — об учебе в Университете Шанявского в Москве, о посещении спектаклей оперы С. И. Зимина и Московского Художественного театра, от которых он был в восторге (особенно от «Вишневого сада»), о поездке в Петербург, где гостил десять дней и полюбил этот город, как оказалось впоследствии, на всю жизнь.

«Ты не можешь себе представить, как тянет меня на острова иной раз. Москва меня раздражает — мы не сошлись с ней характерами» (Ф. 2215. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 8 об.).

К сожалению, письма к Людмиле Поликарповне Крачковской, которые Шварц писал ей в течение всей жизни и которые она собиралась передать на хранение в РГАЛИ, бесследно исчезли после ее смерти. Удалось получить только 7 тетрадей ее воспоминаний о Шварце.

Письма Шварца к жене, Екатерине Ивановне, кроме эмоционального потока чувств содержат описание поездки группы ленинградских писателей по Грузии с 22 июля по 15 августа 1935 года. Главными целями поездки были: участие в праздновании 15-летия установления советской власти в Грузии; сбор материалов для будущих произведений; перевод на русский язык произведений лучших грузинских писате-

лей и поэтов. В состав группы входили: Ю. П. Герман, Я. Л. Горев, Л. И. Левин, В. М. Саянов, Е. Л. Шварц и А. П. Штейн. Они осматривали консервный и ферромарганцевый заводы, винодельческий колхоз в деревне Свири, Рионскую ГЭС, видели, как разматывают коконы и получают шелковые нити; осмотрели древний грузинский монастырь Гелаты (XII век), чайные плантации, чайную фабрику, наблюдали за работой по осушению болот, были на концерте грузинской музыки — и все это подробно описано в письмах к Е. И. Шварц.

Письма Шварца к единственной дочери Наталье (в замужестве Крыжановской) окрашены большой отцовской нежностью и любовью, доверительностью, тревогой за ее судьбу. Начиная с 1947 года он посвящает ее в свои грустные и радостные творческие дела. Их основная переписка относится к периоду замужества Наташи и ее переезда в Москву. Письма дочери содержат первые впечатления о Москве, о новой жизни, так же полны любовью к отцу, тревогой о его здоровье. Затем семья Крыжановских возвращается в Ленинград, и переписка прекращается.

Сохранившиеся письма к Шварцу относятся в основном к военным и послевоенным годам. Необходимо сказать о переписке Шварца со своим подлинным другом, отличные отношения с которым сохранились до самой смерти сказочника. Это был писатель Леонид Антонович Малюгин.

Шварц близко познакомился с ним в Кирове. Когда Шварца эвакуировали в этот город, там находился ленинградский Большой Драматический театр им. Горького, литературной частью которого заведовал Малюгин. Он очень хорошо встретил Шварца, надеялся поставить в БДТ его пьесу «Одна ночь», над которой Шварц тогда работал. Возникшая между ними дружба помогла Малюгину очень серьезно отнестись к рождающейся пьесе, он слушал в чтении драматурга отдельные сцены, делал свои замечания. А когда пьеса была готова, хлопотал о разрешении ее поставить. Но вот настала разлука. 11 февраля 1943 года БДТ возвратился в Ленинград, Малюгин оставался в должности заведующего литературной частью. Через пять дней, 16 февраля 1943 года, он пишет большое письмо Шварцу, спешит сообщить ему подробности жизни их любимого города после снятия блокады:

Ленинград встретил нас не очень гостеприимно, но в этом меньше всего виноваты ленинградцы. К месту расквартирования мы прибыли

глубокой ночью — так что города, по существу, не видели.

О городе писать вам нет смысла, так как вы его знаете. Вы знаете — я даже его представлял примерно таким же, но все-таки видеть его очень больно. Он стал удивительно тихий, кажется даже, что и люди разговаривают вполголоса, и громкий смех кажется нелепостью. Но все же это очень волнительно — ходить по ленинградским улицам. И приятно то, что город старается изо всех сил приобрести молодцеватый вид и старается облегчить жизнь своих жителей. Снег убирается почти моментально, тротуары посыпаны песком. В бане вам дают кусочек мыла и полотенце. Парикмахерские работают идеально. Хлеб можно получать в любой булочной безо всякой очереди. Продукты выдаются аккуратно и в весьма высоких нормах. Существуют даже такие вещи, как продажа кипятка. В столовых тоже порядок. Вообще, я полагаю, что в этом, прорвавшем блокаду, но еще осажденном городе мы сумеем поправиться.

Театр наш представляет собой нечто среднее между холодильником и фабрикой-кухней. Для того, чтобы превратить этот холодный дом в театр, потребуется еще много времени и сил. Открытие намечено на 6 марта, и если это осуществится, то будет то самое чудо, которое иногда удается нашему патрону. Наши разговоры о преждевременности, пожалуй, основательны. Но сейчас надо шагать вперед, ибо мосты позади сожжены. Положение у нас сложное и трудное. Работать очень трудно, жаловаться нельзя, и далеко не все коллеги, в частности, относятся доброжелательно. Психологически это понятно. Единственным нашим оправданием может служить то, что мы приехали в тот момент, когда здесь еще не цветут розы. Они еще не цветут. И бывают дни, про которые даже самые испытанные ленинградцы говорят: «сегодня серьезно». (Оп. 1. Ед. хр. 194. Л. 5 и об.)

Не было ни одного крупного события в творческой жизни Шварца, на которое не откликнулся бы Малюгин, поэтому ниже будут приведены еще два его письма. В конце мая

1943 года Шварц, участвовавший в совещании драматургов Москвы, созданном Комитетом по делам искусств, пишет Малюгину в Ленинград, прося дружеского совета:

Дорогой Леонид Антонович! Сижу в Москве и раздумываю, как Гамлет какой-нибудь: закрепляться здесь, или все-таки ехать в Сталинабад. Здесь Юнгер, которая описала мне, как там хорошо и как там ждут нас.

Со мной в номере живет Дрейден. Он шутит, орет даже во сне, пишет письма! Потом на полуслове бросает и звонит по телефону, а я смотрю на него и люблюсь: у нас в Кирове таких не бывает.

Прошло совещание интересно, говорили Юзовский, Бояджиев, Дикий. Вообще было интереснее, чем можно было ждать. Попросите Рудника, чтобы он изобразил Вам, как выступал Охлопков. Описать это нельзя. Это можно только сыграть.

Мы с Екатериной Ивановной постоянно вспоминаем Вас. Письма Ваши и посылки нас ужасно радуют и трогают.

Ну, желаю Вам избавиться от всех огорчений. Целую Вас. Ваш *Евг. Шварц*.

Так что же мне делать? Закрепляться или уезжать?

(Оп. 2. Ед. хр. 73. Л. 11.)

Письма 1942 — 1943 годов посвящены, главным образом, розыску ленинградских писателей, актеров, режиссеров, разбросанных во время эвакуации по различным городам. О своем местопребывании и работе в новых условиях сообщали А. Я. Бруштейн — из Новосибирска, Е. Г. Гаккель — из Казани, Ю. П. Герман — из Архангельска, В. А. Каверин, М. Э. Козаков и М. Л. Слонимский — из Молотова, В. Н. Орлов — из Тбилиси, Л. Н. Рахманов — из Котельнича, Б. М. Эйхенбаум — из Саратова. В письме историка и писателя Владислава Михайловича Глинки содержится непосредственная реакция на прорыв блокады: «P. S. Урра! Блокада прорвана!» (Оп. 1. Ед. хр. 132. Л. 9.)

В послевоенные годы преобладают письма творческого характера, позволяющие проследить за теми или иными деталями работы драматурга над пьесами или же работы режиссеров и актеров над их воплощением на сцене (Н. П. Аки-

мов, О. П. Беюл, Б. В. Зон, А. П. Грипич, Е. С. Деммени, В. Г. Комиссаржевский, О. И. Пыжова, А. Я. Таиров и др.).

Николай Павлович Акимов был постоянным режиссером и оформителем спектаклей по пьесам Шварца в Ленинградском театре Комедии. Из их переписки можно узнать об истории постановок или несостоявшихся спектаклей «Наше гостеприимство», «Тень», «Дракон». Письма Бориса Вульфовича Зона, постановщика многих пьес Шварца в Ленинградском и Новом ТЮЗах, относятся к периоду эвакуации театра в Анжеро-Судженск и Новосибирск. Они посвящены жизни театра в эти годы, мечтам о воссоединении его со своим автором.

Письма Ольги Павловны Беюл, игравшей в годы эвакуации в спектаклях по пьесам Шварца «Клад», «Далекий край», «Снежная королева», сообщают об изменениях в составах старых спектаклей, о гибели на фронте под Ленинградом актеров С. Н. Емельянова и А. М. Семенова.

С этими письмами перекликаются письма артиста и драматурга Леонида Соломоновича Любашевского и Александры Уваровой. Режиссер Театра им. М. Н. Ермоловой Виктор Григорьевич Комиссаржевский из города Черемхово под Иркутском, где в 1942 — 1943 годах гастролировал эвакуированный из Москвы театр, просит прислать пьесу «Голый король» и торопит с окончанием пьесы «Одна ночь».

В письмах актера и педагога Зиновия Сажина, всю жизнь посвятившего детскому театру, — мечты о создании нового театра, о постановках в нем пьес Шварца. Общим лейтмотивом писем от театральных режиссеров является просьба присылать все новые и новые пьесы.

Письма кинорежиссеров свидетельствуют о том, как трудно было Шварцу творить в атмосфере бесконечных запретов и указаний: даже всепонимающая Надежда Николаевна Кошеверова, снявшая фильм «Золушка», писала ему в период работы над сценарием:

...решили следующее: изложить Вам тему переделок. Дело сводится к следующему: вся вещь целиком должна нести в себе очень четкую и ясную мораль — советскую мораль, вложенную в уста наших положительных персонажей. Зачатки всего этого у нас есть, но надо подчеркнуть яснее, что несет в себе каждый наш персонаж. О чем мы можем говорить? О воспитании благородных

чувств, о желании стойко и упорно трудиться, о любви чистой, благородной, могущей быть примером для нашей молодежи.

Дать Золушке больше возможности активно проявлять себя в труде. Какие идеи могут нести наши персонажи?

1) Золушка — труд целеустремленный. Отношение к своей работе не как у подневольного раба, а как у человека, который знает, что, если он будет трудиться, он победит и достигнет своей цели.

В каких сценах это можно показать? Очевидно, в «Спальне», которая никогда не была перлом Вашего гениального пера.

2) Принц и Золушка — отношения двух юных существ, могущих быть примером для нашей молодежи. Их мечты? Где это можно показать: «Волшебная страна» (в первую очередь), «Лес» и весь комплекс дворца.

3) Фея — из дамы, которая занимается в основном только линиями и модами и сведением счетов с мачехой, должна дать направленную мораль, совершенно четкую и ясную — о том, что награждать нужно тех, кто трудится, кто благороден, верен и чист. Под этим углом зрения нужно очень серьезно пересмотреть всю сцену «*In sadu*». Там есть очень подозрительные рассуждения о том, что «мальчуганам *полезно безнадежно влюбляться, они тогда начинают писать стихи*». Я думаю, сами понимаете? Объяснять не стоит. Подозрительна вся концепция о том, что мальчик влюбился из-за того, что «*платье сидит безукоризненно*».

Вы знаете, дорогой автор, ужасно трудно объяснить все на расстоянии. Мне переделка этой сцены совершенно ясна, и, по-моему, поговорив о ней полчаса, переделать ее Вы бы могли в течение двух часов.

Я Вам посылаю сценарий с тем, чтобы Вы его *внимательно* перечитали и подумали о том, что и где переделать. Кроме того, надо очень серьезно думать о сокращениях. Мы не влезем в метраж, нам положенный. Посмотрите, чем относительно безболезненно можно пожертвовать?

4) Принц, по-моему, один из самых благополучных героев — он очень ясен. Может, в каких-то

отдельных репликах нужно подчеркнуть, что он любит Золушку не только за красоту, а также и за «кое-что другое»!

5) Король должен быть обобщающим началом — в нем должны быть обобщены все тенденции наших героев. Нужно сильно очистить лексикон — в смысле «к черту», болваны, дураки и т. д. В первую очередь, нам нужна сцена «Леса» и «Волшебной страны». Далее «Лестница». Очень сильно надо пересмотреть (и, очевидно, *сократить*) па-де-труа в галерее. Он там говорит нечто весьма негалантное о своих братьях — подозрительный мотивчик! Боюсь, что эта сцена — кандидат на вылет. Для сюжета она неважна. Там, конечно, оживление картин, — но, с другой стороны, чем-то жертвовать надо. Конечно, также надо сокращать разглагольствования Феи в саду.

В саду хватает «чудес» — сцену надо сильно сократить. Например, повторения Феей текста махечи («розы», «мышки», «фасоль» и т. д.) легко поддается замене и сокращению. [...] В особенности «Лес», ибо мы с него начинаем. Тоже идите по линии ужатия, т.к. одна песенка занимает около 80 метров. И что-нибудь глубоко идеологическое вложите в уста принцу. Он говорит, что «принцессы ломаки» — может, что-нибудь о душевных качествах Золушки? В общем, умоляю, поскорее и получше.

(Ед. хр. 178. Л. 1—2 об.)

В конце 1940-х — середине 1950-х годов Александр Артурович Роу, признанный мастер киносказки, сообщает о судьбе фильма по сценарию Шварца «Марья-искусница», который вышел на экраны уже после смерти драматурга, в марте 1960 года.

Письма кинорежиссера Ильи Абрамовича Фрэза в основном относятся к наименее известному периоду его жизни — работе на студиях научно-популярных фильмов — и посвящены книге «Наш завод» и сценарию по ней. К написанию такой книги и сценария Фрész хотел привлечь Шварца после выпуска на экраны фильма «Первоклассница», который он вспоминает с нежностью. В более поздних письмах (1951 — 1953 годов) он сообщает, что заскучал на технических

фильмах и что ему удалось «выкарабкаться вновь на художественные фильмы» в киностудию им. Горького.

Соавтором Шварца хотел стать Владимир Григорьевич Легошин, который начинал ставить в кино «Снежную королеву», но завершить этот фильм помешала начавшаяся война. В роли Маленькой Разбойницы у него снималась Я. Б. Жеймо. В начале 1950-х годов В. Г. Легошин хотел, чтобы Шварц написал для кино сказку о борьбе за мир. Замысел не воплотился в жизнь.

Известный композитор Юрий Сергеевич Милютин хотел написать в соавторстве с Шварцем оперетту или музыкальную комедию и обратился к нему с предложением о совместной работе 10 декабря 1947 года. Но это соавторство тоже не состоялось.

И наконец, композитор и дирижер Гавриил Яковлевич Юдин очень хотел создать в стиле «Opéra comique» оперетту по пьесе «Обыкновенное чудо». Но Шварц не любил, когда написанные им произведения переделываются из одного жанра в другой, тем более не им самим. И это сотрудничество не состоялось. Да и идея возникла у Юдина только в дни 60-летнего юбилея Шварца, незадолго до его последней болезни.

Театральный критик и педагог, одна из основательниц советского театра для детей Ленора Густавовна Шпет написала Шварцу 15 апреля 1954 года о спектакле «Два клена» в МТЮЗе. Ее поздравления относились к пьесе, в спектакле же ей далеко не все нравилось.

«... Я Вас поздравляю с премьерой, с тем, что после очень все-таки долгого времени опять на сцене идет Ваша новая пьеса, — и будем надеяться, что у МТЮЗа окажется легкая рука и что «Клены» зашумят своими верхушками во всех театрах, а Вы совсем скоро напишете еще одну новую пьесу. Одним словом, — пусть начнется новая жизнь!» (Ед. хр. 264. Л. 6.)

Есть письма, начинающиеся с обращений к Шварцу и его жене, как к героям его сказок. Ольга Федоровна Бергольц пишет: «Мои дорогие, любимые, добрые волшебники...» (Ед. хр. 106. Л. 1); Эраст Павлович Гарин в период постановки «Обыкновенного чуда» в Театре киноактера пишет: «Здравствуйте, дорогой Вы наш волшебник Евгений Львович и дорогая хозяйка Катерина Ивановна!» (Ед. хр. 125. Л. 1).

Некоторые письма содержат «шварцевские» цитаты, например, письмо Семена Ханаановича Гушанского заканчи-



вается так: «Обнимаю, снип, снап, снурре, пурре и т. д.» (Ед. хр. 145. Л. 2).

Отдельная тема — письма о постановках пьес Шварца за рубежом. Начальник отдела культуры Управления пропаганды Советской военной администрации в Германии Александр Львович Дымшиц присылал отзывы прессы о спектаклях «Тень» и «Снежная королева» в Камерном театре (филиал Немецкого театра им. М. Рейнхардта, режиссер Г. Грюндгенс) и писал сам (апрель 1947 года): «Рад сообщить Вам, что «Тень» прошла в Берлине с успехом поистине великолепным. Я, впрочем, был в этом совершенно уверен, быв неоднократно на репетициях. Но премьера и дальнейшие спектакли превзошли даже мои ожидания. Билеты на «Тень» перепродаются неподалеку от театра по «черным» ценам. Даже реакционная пресса («Тагесшпигель», «Телеграф», «Курир») и то не сумела развернуть в этом случае все свои клеветнические возможности: прошипела вполголоса» (ед. хр. 150. Л. 3).

Ему вторит Роман Тимофеевич Пересветов — тогда заведующий отделом литературы и искусства Советской военной администрации. Он отмечает, что после «Тени» «артистов вызывали к рампе 44 раза» (Ед. хр. 212. Л. 1 об.).

Анатолий Георгиевич Каранович посылает отзывы о постановке в Берлинском театре «Сказки о потерянном времени».

С. Марвич (Соломон Маркович Красильщиков) 23 декабря 1956 года сообщает Шварцу о спектакле «Тень» в Потсдамском театре.

Мариан Невяровский — о постановке «Красной шапочки» в его переводе на польский язык в Катовицах в 1957 году.

Ежи Помяновский пишет о постановках «Тени» и «Снежной королевы» в Польше в 1955 году.

О пьесе «Тень» и переводах на польский язык других произведений Шварца пишет ему переводчик Роберт Штиллер.

В частной переписке Шварца можно встретить большой официальный отзыв о его произведении. Так, к письму крупного специалиста по западноевропейской литературе Константина Николаевича Державина от 24 мая 1955 года приложен его отзыв о сценарии «Дон Кихота». Приводим отрывок из письма:

«Сцена чтения Дон Кихоту рыцарских романов получилась блестящей. Она сразу задаст тон всему дальнейшему. Вообще же все очень хорошо, интересно, свежо и значительно. От души поздравляю Вас с этой работой и лишний раз радуюсь, что

она попала именно в Ваши руки и в руки Григория Михайловича [Козинцева]» (Ед. хр. 148. Л. 2).

И в заключение отзыва: «Резюмируя сказанное, считаю необходимым подчеркнуть, что Е. Л. Шварцем осуществлена большая и плодотворная работа, которая может служить надежной литературной базой для будущего фильма «Дон Кихот». Из всех существующих обработок материала романа для театра и кино она представляется мне как испанисту наилучшим вариантом, вряд ли могущим вызвать возражения у любого знатока и ценителя «Дон Кихота».

Старший научный сотрудник Академии наук СССР

К. Державин. 22 мая 1955 года» (Л. 8).

1956 год радует Шварца обилием поздравительных писем. И, как эхо, они переходят на начало 1957 года. Было несколько серьезных поводов для поздравлений: во-первых, идущий с большим успехом фильм «Дон Кихот»; во-вторых, поставленный Э. П. Гариным в Театре-студии киноактера спектакль «Обыкновенное чудо»; в-третьих, вышедший сборник пьес и сценариев «"Тень" и другие пьесы», в-четвертых, награждение Шварца орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской литературы; в-пятых, 60-летний юбилей писателя.

Классифицируем письма к Шварцу отдельно по каждому из поводов, имея в виду, что это не просто отписки «для галочки», а серьезные мини-рецензии.

Кинорежиссер Григорий Михайлович Козинцев, снимавший фильм «Дон Кихот», пишет:

Дорогой Евгений Львович!

Злой волшебник Шварц околдовал меня, очаровав своим прекрасным сценарием, и, вместо того, чтобы быть на Вашем юбилее — я, скованный по рукам и ногам чарами выполнения плана, — снимаю написанную Вами сцену.

И вот сейчас в библиотеке ламанчского рыцаря мы все с любовью и признательностью думаем о Вас и от всего сердца поздравляем.

Очень трудно в коротком письме сказать все то, что так хочется сказать Вам. Но вот что кажется главным:

У Вас *Добрый* талант.

Разная бывает доброта.

Вы наделены добротою — *Мудрой*.

И все те, кто соприкоснулись с Вашим добрым и мудрым искусством — стали богаче.

Спасибо Вам за это!

Г. Козинцев. 20. X. 56 г.

(Ед. хр. 176. Л. 9.)

И вот фильм уже снят. «Дон Кихот» идет в Москве с огромным успехом. Билетов не хватает. «Милиция хватает перекупщиков, — пишет Шварцу критик, театровед, литературовед Симон Давыдович Дрейден, — адм[инистрато]р «Художественного» мне говорил, что ни один широкоэкр[анный] фильм не имел такого успеха. На «Пролог» [фильм Е. Л. Дзигана о революции 1905 года. — К. К.] тащили на аркане, и то в зале можно было кататься на роликах» (Из письма 8 июня 1957 г. Ед. хр. 149. Л. 25).

Не было ни единого крупного события в творческой жизни Шварца, на которое не откликнулся бы его близкий друг — писатель Леонид Антонович Малюгин. Вот его отзыв от 27 марта 1957 года:

Дорогой Женя!

Вчера смотрел «Дон Кихота» и получил огромное наслаждение. Это из таких впечатлений, когда хочется рассказывать друзьям, немедленно звонить по телефону, писать письма. А главное — размышлять. Какая грустная вещь о том, как настоящий человек мечется по свету и все время натывается или на надменных неискренних людей, или просто на свиные рыла. Твоя работа — первоклассная, слова отобранные, литые. Мы пишем сценарии, как письма, а ты — как телеграмму, каждое слово — тридцать копеек! Молодчина! И Козинцев — молодец, — это настоящий кинематограф, какого мы давно уже не видели! Черкасов мне, признаться, понравился мало — в нем нет ни настоящей трогательности, ни смешного, где-то он на ближних подступах к образу. Но Толубеев — экстра-люкс-прима, как говорили поляки в 39 году во Львове. И все остальные хороши, даже бессловесные персонажи, впечатление такое, как будто близко познакомился с сотней людей.

Большое тебе спасибо — это такое счастье прикоснуться к настоящему искусству...

(Ед. хр. 194. Л. 35.)

О том же фильме пишет В. Н. Орлов 3 мая 1957 года:

Дорогой Женя,

только что вернулся с просмотра «Дон Кихота» и чувствую настоятельную потребность написать тебе несколько слов самой горячей, искренней благодарности за полученное истинное и большое наслаждение.

Картина получилась во всех отношениях отличная. Более того: вся она, с начала до конца, в целом и в деталях, артистична в самом прямом и точном смысле этого слова. А ведь мы так отвыкли от артистизма, от того, чтобы большое искусство дышало в каждой мелочи.

Как все понимают, в этом есть громадная доля твоего таланта и вкуса, твоего доброго и великодушного сердца, твоего писательского умения и труда.

Приятно было слышать все те хорошие, добрые слова, которые сегодня говорили в твой адрес. В общем, от души поздравляю тебя с большим заслуженным настоящим успехом. Уверен, что люди, которые и не читали «Дон Кихота», а может, и не прочтут никогда, узнают и полюбят его благодаря тебе и Козинцеву...

(Ед. хр. 208. Л. 3—4.)

Много писем посвящено спектаклю Театра-студии киноактера «Обыкновенное чудо». Причем некоторые письма так переполнены восклицательными знаками, что готовы вот-вот взорваться от восторга. Это письма писательниц Фриды Абрамовны Вигдоровой и Любови Федоровны Воронковой. Письма Эраста Павловича Гарина, Александра Александровича Крона и Леонида Антоновича Малюгина Шварцу об этом спектакле опубликованы в примечаниях к книге «Евгений Шварц. Живу беспокойно... Из дневников» (Л., 1990. С. 731, 737).

Журналистка Татьяна Николаевна Тэсс написала:

Я хочу сказать Вам, что пьеса Ваша «Обыкновенное чудо», которую видела я несколько дней назад, — чудесна. Слушая ее текст, я испытывала такое наслаждение, какое могу сравнить только с ощущением, какое испытываю, когда в концерте

слушаю новое, незнакомое мне музыкальное произведение очень любимого и близкого мне композитора. Я сравниваю это потому, что, только слушая музыку, бывает такое чувство, когда стремишься угадать следующую фразу, развитие мелодии и одинаково радуешься и тому, когда угадала, и тому, когда это развитие идет совершенно неожиданным для тебя путем, ибо все вместе подчинено такой прекрасной, светлой, свободной граммонии, что у тебя светлеет душа.

Ваша пьеса не только отлично написана с точки зрения профессиональной. Лично для меня в ней есть особое, дорогое для меня очарование. Как известно, очарование — это именно та самая вещь, которую невозможно объяснить. Но если попытаться все же это сделать, то окажется, вероятно, что для меня в данном случае это очарование заключается в необыкновенном соединении задумчивой ироничности, поразительного изящества, простоты, веселого лукавства, спокойной мудрости, воплощенной в ту легкую и свободную форму, в которую облечена Ваша пьеса.

И еще есть в ней одна важная для меня вещь. Это — немного грустная и бесконечно человеческая поэтичность, которой она освещена, поэтичность, заставляющая зрителя откликнуться на нее той стороной своего сердца, в которой запрятано многое, о чем хочется призадуматься, вспомнить, а иногда и взгрустнуть. [...]

Будьте здоровы и благополучны, желаю Вам всяческого счастья. Удивительно, что мы нигде и никогда с Вами не встретились. Признаться, я очень жалею об этом

14/IV. 56.

*Татьяна Тэсс*

(Ед. хр. 247. Л. 1—2 об.).

Критик и литературовед Виктор Андроникович Мануйлов пишет в телеграмме: «Как хорошо, что есть на свете необыкновенный автор "Обыкновенного чуда"» (Ед. хр. 196. Л. 1).

В сборник Шварца «"Тень" и другие пьесы» вошли пьесы для детей: «Два клена», «Снежная королева»; пьесы для

взрослых: «Тень», «Одна ночь», «Обыкновенное чудо» и сценарий «Золушка». Писатель и критик Александр Ильич Зонин восторженно отзывается о нем в письме к Шварцу от 14 августа 1956 года:

«Вы правда кудесник. Чем условнее Ваши персонажи, тем они жизненнее и реалистичнее. И какая *свобода* выражения, на первый взгляд, однако ж, явно достигнутая точнейшим осознанием точнейшей, почти абсолютной *формы*» (Ед. хр. 161. Л. 1).

Благодарностей и поздравлений с выходом этой книги Шварц получил немало: от А. А. Крона, А. П. и Л. П. Крачковских, О. А. Образцовой-Шагановой, Н. К. и М. Н. Чуковских, Л. Г. Шпет и др.

И вот опять слово Малюгину:

Дорогой Женя!

Спасибо тебе за книжку — она меня порадовала и внешним видом — толстенькая, наши пьесы обычно выходят какими-то жалкими брошюрами, никак не соответствующими ни нашему возрасту, ни внешнему виду, и дарить-то их совестно.

Я прочитал ее сразу, что редко бывает с книгами, которые нам дарят. Читал и наслаждался — все это тонко и умно, что нынче несколько смешно и странно. И когда подряд читаешь твои вещи — очень важен, при богатстве и разнообразии характеров, — общий тон автора, то, что у нас в драматургии почти совершенно исчезло. Как-то давно, по-моему, еще в Кирове, ты говорил, что Городничий начинает разговаривать, как Гоголь. Вот это удивительное умение — не выйти из характера и сохранить свой голос — я почувствовал в этой книге. И поэтому это не собрание пьес, а книга!..

(Ед. хр. 194. Л. 32.)

С. Д. Дрейден, поздравляя Шварца с награждением орденом, прислал ему шуточную телеграмму в стихах:

Благослови тебя Творец,  
Орденосец Е. Шварец!  
Все поздравления приносятся  
Тебе, жена-орденосица!

И восклицает весь народ,  
Семью приветствуя с обновой:  
«Каким же должен быть год Новый,  
Коль так закончен старый год!»

(Ед. хр. 149. Л. 23.)

С этим событием поздравлений шел целый поток, писали Е. И. Чарушин, С. Чиковани, М. Н. и Н. К. Чуковские, И. В. Шток и многие другие.

20 октября 1956 года в Доме писателей им. Маяковского состоялся вечер, посвященный 60-летию Шварца.

Вечеру предшествовало письмо К. И. Чуковского в Юбилейную комиссию:

Дорогие товарищи.

Я не специалист по юбилеям и не знаю, в какие формы должно вылиться чествование Евг. Шварца. Шварц не только ленинградский писатель, он писатель всесоюзного значения, и мне кажется, что юбилей нужно сделать широким, народным. Нельзя забывать, что Шварц в своей области *классик*. Его лучшие вещи безупречны по форме, по своему высокому мастерству. При этом он один из самых оригинальных советских писателей, создатель своего — особого — стиля и жанра, которые доступны лишь ему одному. Его долго не признавали, унижали, не замечали, замалчивали — тем громче и звонче должен быть его юбилей. Это нужно не Шварцу, а нам, нужно литературе, которая имеет все основания гордиться творчеством Шварца. Я болен, и вряд ли мне удастся приехать в Л[енингра]д, чтобы приветствовать лично этого талантливого, благородного, феноменально скромного мастера; я могу только издали радоваться, что современники наконец-то начинают понимать, кого они так долго отвергали.

Ваш К. Чуковский

(Ед. хр. 258. Л. 1 и об.)

Вечер открыл В. Н. Орлов, С. Л. Цимбал рассказал о творческом пути писателя. Вечер был очень теплым и торжественным. Юбиляр получил письма и телеграммы от друзей, адреса от театров, издательств, творческих союзов и обществ. Вот в них-то и вылился поток самых искренних,

самых добрых чувств и признаний к современному сказочнику.

Далее следуют письма Чуковского Шварцу, юбилейные и послеюбилейные:

Дорогой Евгений Львович,  
конечно, сегодня Вам не раз сообщат как приятную и веселую новость, что Вы обладаете редкостным даром прелестной, причудливой, светлой фантазии, что своим обаятельно-милым, уютным, своеобразным, поэтическим юмором Вы уже многие годы согреваете бесчисленные сердца соотечественников, и все это, конечно, превосходно, но было бы, пожалуй, еще превосходнее, если бы это же самое (так же громко и естественно) Вам сказали лет двадцать, или хотя бы десять, назад, вместо того, чтобы шельмовать и язвить Ваш (право же, несколько не вредный) талант.

Ваш старинный почитатель и друг

*Корней Чуковский*

20 окт. 1956

28. X 56

[...] А между тем, изо всех писателей, на которых Вы тогда, в 20-х годах, смотрели снизу вверх, Вы, дорогой Евгений Львович, оказались самым прочным, наиболее классическим. Потому что кроме таланта и юмора, такого «своего», такого шварцевского, не похожего ни на чей другой, Вы вооружены редкостным качеством — *Вкусом* — тонким, петербургским, очень требовательным, отсутствие которого так губительно для нашей словесности. И, может быть, хорошо, что Вы смолоду долгое время погуляли в околотературных «сочувствователях»; это и помогло Вам исподволь выработать в себе изошренное чувство стиля, безошибочное чувство художественной формы, которое и придает Вашим произведениям такую абсолютность, безупречность, законченность...

А святые двадцатые годы вспоминаются и мне как поэтический Рай. И неотъемлем от этого Рая молодой, худощавый, пронзительно остроумный, домашний, родной «Женя Шварц», обожаемый в



литературных кругах, но еще неприкаянный, не нашедший себя, отдающий все свои дарования «Чукоккале». [В период секретарства у Чуковского Шварц ведал его книгой для собирания автографов известных лиц. Этот рукописный альманах издан, сейчас уже вторым изданием. — К. К.]

20-е годы, когда мы не думали, что Вам когда-нибудь будет 60, а мне 75 и что те времена станут стариной невозвратной. И Дом Искусств, и «Серапионовы братья», и Тынянов, и Зощенко, и Олейников, и Миша Слонимский, и Генриетта Давыдовна [Левитина — сотрудник детского отдела Госиздата. — К. К.], и Маршак (тоже худощавый, без одышки, без денег) — все это так и ползет на меня, стоит мне только подумать о Вас и о Вашей блистательной литературной судьбе.

Любящий Вас

К. Чуковский (прадед)

До скорого свидания.

Дорогой Евгений Львович!

Ничего не подозревая, перелистываю свежую книжку «Невы» и вижу, к своему изумлению, портрет некоего Корнея Чуковского и Ваши прелестные, поэтические, добрые строки о нем, коих я так и не мог дочитать, ибо заревел, как дурак.

Обнимаю Вас, дорогой друг, и желаю Вам спокойно и радостно дожить до моей Мафусаиловой старости; уверяю Вас, старость — это большое счастье, и мы оба его заслужили, хотя бы потому, что нам так долго и целеустремленно мешали дожить до нее.

Любящий Вас

К. Чуковский

16 марта 57.

А «Неву» я полюбил всей душой, раньше всего потому, что в ней нет ни грамма московской расхлябанности.

(Там же. Л. 3—7 об.)

Писатель Лев Абрамович Кассиль прислал поздравительную телеграмму в стихах:

Продолжает Ваше перо  
Дело Андерсена и Перро,  
Вы и сами  
Начинены чудесами.  
Их Вы дарите нам не жалея,  
Что отметим мы в день юбилея,  
Но попробуй, представь себе Шварца  
На посту юбилейного старца.  
Не стареете Вы, хоть тресни,  
Дорогой Вы мой, мудрый чудесник!  
(Ед. хр. 172. Л.1.)

В РГАЛИ в фонде Л. А. Кассиля хранится и ответное письмо Шварца на эту телеграмму: «Дорогой Лев Абрамович! Спасибо за телеграмму. Очень тронут, что по случаю моего вступления в пенсионный возраст Вы заговорили стихами.

Они имели очень большой успех — телеграмму читали вслух.

Еще раз большое Вам спасибо.

22. X. 56

Ваш *Е. Шварц*».

(Ф. 2190. Оп. 2. Ед. хр. 379. Л. 1.)

Писательница Вера Казимировна Кетлинская, бывшая секретарем Ленинградского отделения ССП в дни блокады Ленинграда, написала: «Нежно от всего сердца поздравляю Вас, хотя считаю Ваш подсчет годов явной ошибкой, и шлю привет самому молодому, талантливому и глубоко современному сказочнику наших дней, светлому волшебнику слава!» (Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 6.)

Писатель и литературовед Александр Леонидович Слонимский написал по случаю юбилея целый адрес:

Милому и хорошему  
Евгению Львовичу Шварцу, —  
поэту-драматургу, —  
который обладает магическим даром превра-  
щать реальность в волшебную сказку, а волшебную  
сказку в живую реальность, —  
который так пишет «детские» пьесы, что они  
смотрятся с равным удовольствием и старым, и  
малым, —  
который ни разу не позволил себе в угоду об-  
стоятельствам ни единого фальшивого слова и

всегда оставался верен правде и «чувствам добрым», —

который знал и знает, что пьеса есть пьеса, а не «естественно-разговорное представление», и у которого поэтому нет ни одной рыхлой, безличной реплики, а всякая реплика пронизана, как молнией, драматическим нервом, и всякая фраза есть речевой жест, —

который сумел сохранить всю нежную ткань андерсеновской сказки, сделав ее своей собственной сказкой при переводе на язык театра, —

о котором не скажешь всего, что можно сказать, и в десятках «которых» «100 К» — — —

Жаркий привет от старшего современника, который гордится, что был свидетелем его первых триумфов и имеет право именовать его давним другом, — с пожеланием еще долгих лет поэтического труда —

на радость театра и всех нас.

*Александр Слонимский*

Москва.

(Ед. хр. 229. Л. 1 и об.)

Д. Д. Шостакович поздравил с орденом, с юбилеем, сообщил, что не сможет написать музыку к фильму «Дон Кихот».

Как бы дальним отзвуком сказочно-педагогической темы, проходившей в переписке Шварца с А. П. Крачковской, звучат письма известного композитора Венедикта Венедиктовича Пушкиова, исполненные глубокой благодарности Шварцу за внимание и заботу о родной сестре композитора — слепой сказочнице Антонине Венедиктовне Юстус, которой Шварц помогал подготовить к выходу в свет книгу «Боб хвостун. Сказки» (Л., 1956). Сама Юстус сообщала Шварцу в этом же году из Крыма, что она пишет новую сказку, о сплетнице-медузе.

Любимый учитель Шварца Самуил Яковлевич Маршак всегда очень много работал, ему не хватало времени для писем. Разве чтобы походатайствовать о приеме молодого поэта Юрия Капралова в Союз писателей. Он пишет об этом нескольким писателям, в том числе и Шварцу. В основном в архиве сказочника хранятся поздравительные телеграммы, где Маршак называет Шварца дорогим другом, умным и

добрым писателем, а последняя телеграмма от 31 декабря 1957 года кончается словами: «Хочу увидеть тебя в Новом году здоровым, веселым за любимой и счастливой работой» (Ед. хр.199. Л.10).

Увы, это пожелание не осуществилось. Шварц умер 15 января 1958 года.

Самый большой массив писем Шварца опубликован в книге «Житие сказочника» (сост. Л. В. Пашковская и Е. М. Биневич. М., 1991), куда их включено 75, к разным адресатам. Отрывки из писем к Н. Е. Шварц публиковались в журнале «Вопросы литературы» (1967, № 9), к А. П. Крачковской — в журнале «Детская литература» (1976, № 10). Отрывки из переписки Шварца с писателями Л. А. Малюгиным и А. А. Кроном опубликованы в журнале «Вопросы литературы» (1977, № 6). Помещенные в данном обзоре тексты писем публикуются впервые.

Кроме личной переписки, в фонде Шварца хранится большое количество писем к нему самых различных учреждений. Это не только письма Комитета по делам искусств, издательств, редакций журналов, театров и киностудий, посвященные его творческим делам, или вызовы на совещания драматургов. Современный сказочник был еще и общественным деятелем, о чем свидетельствуют извещения исполкома Дзержинского района Ленинграда депутату Шварцу о сессиях райсовета или Кировского обкома ВЛКСМ о необходимости присутствовать на заседании жюри конкурса на лучшую пионерскую песню, марш, пьесу.

Хранятся в фонде Шварца афиши и программы его спектаклей, в том числе премьер, на русской и иностранной сценах. Много рецензий на его спектакли на русском, немецком, польском, латышском и французском языках.

Фонд Шварца дополняют стихи М. И. Алигер, О. Ф. Берггольц, Н. А. Заболоцкого и других, посвященные ему, а также дипломные работы студентов о его театральных сказках.

Много в архиве Шварца фотографий, но абсолютно неизвестных его изображений нет. Все снимки вошли в изданные посмертно книги Е. Л. Шварца «Живу беспокойно... Из дневников» (1990), «Телефонная книжка» (1997) и «Мы знали Евгения Шварца» (1966).

Много групповых фотографий раннего, майкопского, периода, а также с крупнейшими, в основном ленинградскими, писателями, поэтами, артистами, учеными-литературоведами.

Хранятся фотографии родных Шварца, друзей, артистов в ролях из спектаклей разных театров по пьесам Шварца, с дарственными надписями ему.

По фотографиям из фонда Шварца можно познакомиться со сценами из спектаклей разных театров по его пьесам, кадрами из фильмов по его сценариям.

Не совсем обычный документ — стенгазета Ленинградского театра Комедии, посвященная возобновлению спектакля «Тень». Выпущенная после смерти автора, в 1960 году, она подводит как бы итог целого шварцевского периода жизни театра. Этот спектакль, поставленный впервые 11 апреля 1940 года, стал таким же символом для Театра Комедии, как в свое время «Чайка» для Художественного театра и «Принцесса Турандот» для вахтанговцев.

Шварц не был таким идеальным архивистом, каким, например, был А. А. Блок, который содержал свой архив в безукоризненном порядке, ставил на письмах своих корреспондентов дату получения и ответа, или как В. В. Вишневский, не потерявший во время ленинградской блокады ни одного листа из своих дневников, сохранивший все варианты рукописей, датировавший аккуратно свои письма. Но все же, несмотря на трудности периода эвакуации и неоднократные переезды, Евгений Львович не забывал о сохранении своего архива.

Вот его запись в дневнике от 3 декабря 1950 года:

...вечером, около девяти часов, я начинаю приводить в порядок свой стол. Я купил в городе серые папки, ценою в 40 копеек штука, на которых напечатано крупно «ДЕЛО». «Пониже № и еще ниже: «начато... 195... окончено 195... г. На ... листах». Вид у этих папок суровый, но я все нуждаюсь в черновиках. И вот теперь все разложено, упорядочено. Варианты второго акта [«Медведя»], как я подсчитал сегодня, заняли двести с лишним страниц на машинке! То есть три пьесы! Это меня не огорчило, напротив. Просмотрев черновики, я даже почувствовал к себе подобие уважения. Прежде я, несомненно, остановился бы на первом варианте 2-го акта. Ободрил меня и написанный до половины третий акт «Медведя». Я над ним работал только в те дни, когда совсем не шла сказка для МТЮЗа [«Два клена»].

(Ед. хр. 52. Л. 27.)

Эту запись можно считать началом упорядочения архива. В РГАЛИ он складывался самыми разнообразными путями, причем нельзя не отметить активную работу архивистов по собиранию этого фонда. Основной материал — рукописи, письма Шварца и письма к нему, — передала вдова драматурга Е. И. Шварц в 1961 году. Фотографии — дочь Шварца Н. Е. Крыжановская, переписка Шварца с дочерью передана его внучкой М. О. Крыжановской. Материалы майкопского периода — рукописи, письма, фотографии получены от друзей юности Шварца В. В. и Н. В. Соловьевых, А. П. и Л. П. Крачковских.

В 1963 году архив приобрел у Е. И. Шварц дневники писателя. По этим дневникам публикатор подготовил две упомянутые выше книги, причем в период работы над ними архив получил в дар более шестисот документов. Отдельные документы передали в РГАЛИ друзья и знакомые писателя: один из вариантов «Дракона», подаренный ему Шварцем в годы эвакуации в Сталинабаде, передал М. В. Войно-Ясенецкий, письма драматурга к нему — Л. А. Малюгин.

Таким образом, РГАЛИ располагает наиболее полным фондом драматурга-сказочника (642 ед. хр.). К нему часто обращаются исследователи творчества самого Шварца и истории русской литературы.



---

**ДНИ  
НАШЕЙ ЖИЗНИ**  
(Из хроники РГАЛИ)

---



– 2 апреля 1997 г. Президентом России Б. Н. Ельциным был подписан Указ № 275 о включении, среди других, Российского государственного архива литературы и искусства в «Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации».

В связи с президентским указом и постановлениями Правительства Российской Федерации № 919 от 30.11.92 г. «Об особо ценных объектах культурного наследия народов РФ» и № 719 от 17.07.95 г. «Вопросы деятельности особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации» должны быть улучшены условия хранения документального собрания РГАЛИ и его материально-техническое обеспечение. Уже сейчас повысилась зарплата архивистов, отпускаются деньги на другие нужды: ремонт, отопление, оплату прочих коммунальных услуг. Отремонтирован читальный зал архива, некоторые рабочие кабинеты, фасад и крыша здания. Можно жить!

– РГАЛИ продолжает пополнять свое собрание, хотя делать это в настоящее время труднее, чем когда бы то ни было. Вот уже 10 лет РГАЛИ не получает денег на приобретение архивов у владельцев. Поэтому приходится отказываться от ценных материалов, которые затем, как правило, продаются хозяевами на аукционах и исчезают, таким образом, из научного и культурного оборота. Так, в 1997 г. пришлось вернуть зарубежному владельцу материалы И. Е. Репина, которые он готов был за известную плату передать архиву. В то же время комплектование за счет безвозмездных даров не останавливается. Ежегодно в РГАЛИ создаются новые фонды. Из образованных в последнее время наиболее интересными представляются фонды ныне здравствующего поэта и переводчика С. И. Липкина и недавно скончавшегося кинорежиссера В. В. Катаняна, которые сами начали

передавать свои рукописи в РГАЛИ, кинорежиссера Ларисы Шепитько, писателя Л. И. Лиходеева, артиста Р. Я. Плятта. Поступили документы из личных архивов К. М. Азадовского, И. Л. Андроникова, К. Д. Воробьева, Б. Л. Пастернака и др.

Создан фонд кинорежиссера Михаила Швейцера, ученика Эйзенштейна, создателя фильмов «Воскресение», «Время, вперед!», «Золотой теленок», «Крейцера соната», «Маленькие трагедии». В составе фонда есть и материалы по неосуществленным постановкам «А вы могли бы?» (по Маяковскому), «Ich Strebe» (по Чехову) и др. Образован также фонд Сергея Юрского, замечательно сыгравшего у Швейцера главные роли в «Золотом теленке» и «Время, вперед!».

От Н. Б. Соколовой, дочери писателя Бориса Пильняка, получены его письма к родным и жене (за 1906 – 1933 гг.), письма к К. И. Чуковскому, А. М. Ремизову, Н. Н. Никитину, К. А. Федину, Ю. Н. Тынянову (за 1918 – 1930 гг.), авторизованная машинопись его последнего романа «Соляной амбар» (1937), фотографии путешествия по Японии.

От наследников поэта Б. А. Чичибабина поступил ряд ценных документов (автобиография, справки о реабилитации), его письма к родным из ссылки, письма к Борису Чичибабину от Б. А. Ахмадулиной, А. М. Володина, А. А. Галича, С. И. Липкина, Л. Е. Миллер, Д. С. Самойлова, Б. А. Слуцкого и др., а также творческие рукописи, среди которых «Воспоминания об Эренбурге».

Во вновь образованном фонде музыковеда Д. В. Житомирского займут свое место его интересные, охватывающие более чем полвека, мемуары «Материалы к биографии».

В 1997 г. РГАЛИ получил из-за рубежа 285 документов – из них 190 подлинников и 95 ксерокопий. Автобиография создателя «Летучей мыши» Н. Ф. Балиева и рукописи архитектора-конструктивиста К. С. Мельникова дополнили фонд «Собрание рукописей деятелей искусства». Образованный еще до эмиграции архивный фонд Р. Д. Орловой (жены Л. З. Копелева) пополнился ксерокопиями писем переводчицы и правозащитницы к американским писателям Артуру Миллеру, Харперу Ли, Тенниси Уильямсу и др. и письма к ней от Эрскина Колдуэлла, Нормана Мейлера, Роберта Пенна Уоррена.

Жорж Шерон из Калифорнийского института технологии передал архиву письма от русских литераторов-эмигрантов А. А. Биска, Р. Я. Якобсона, В. В. Вейдле, М. В. Вишняка, Р. Н. Гринберга, Р. Б. Гуля, М. М. Карпо-

вича, Ю. К. Терапиано к критику и историку литературы В. Ф. Маркову.

Большое количество (более тысячи единиц хранения) документов небольшого поэта и занимавшего высокие посты в Союзе писателей крупного литературного функционера А. А. Суркова за 1906—1980 гг. были подобраны (в самом буквальном смысле слова — ненужные бумаги просто выбросили на улицу) английским журналистом А. Киммером, который позвонил в РГАЛИ. Среди спасенных документов — рукописи Суркова, его записные книжки, письма Ж. Амаду, А. А. Вознесенского, Д. А. Гранина, В. С. Гроссмана, В. П. Некрасова, К. М. Симонова, М. А. Шолохова, Н. А. Заболоцкого, Б. А. Лавренева и др.

Живущий в Роттердаме протоиерей Григорий Красноцветов передал в дар РГАЛИ переписку И. С. Шмелева с О. А. Бредиус-Субботиной (свыше 600 документов) с тем, чтобы этот выдающийся эпистолярный памятник был опубликован на родине писателя. На подготовку этого издания получен грант Президента Российской Федерации на 2000 год.

Фонд драматурга Александра Володина пополнился рукописями его пьес и сценариев («Фабричная девчонка», «Мать Иисуса», «Беженцы», «Ящерица», «Семь жен Синей Бороды», «Петруччо», «Портрет», «Возвращение» и др.), его прозаическими заметками и набросками, а также интересными письмами из Америки сына драматурга В. А. Лифшица (их около 250).

— Очень насыщенным оказалось четырехлетие со времени выхода в свет предыдущего сборника «Встречи с прошлым» различными научными конференциями. Перечислим важнейшие из них:

18—19 июня 1997 г. в Москве прошли IV Международные Шаламовские чтения, приуроченные к 90-летию со дня рождения писателя. С докладами и сообщениями выступили: профессор МГУ Е. В. Волкова, профессор НИИ искусствоведения Е. С. Громов, адъюнкт Гданьского университета Францишек Апанович, профессор университета Ниццы Мирей Биругги, секретарь Союза писателей России Г. О. Иванов, научный ассистент университета Нового Южного Уэльса Е. Михайлик, журналист В. В. Есипов, зам. директора РГАЛИ И. П. Сиротинская, преподаватель русской литературы Майкл Никольсон (Оксфорд) и др.

В докладах и сообщениях наблюдался новый подход к изучению творчества В. Т. Шаламова как художественного

явления, «эстетического феномена», как сказала Е. В. Волкова. Если раньше преобладал исторический подход — «достоверное свидетельство о сталинских лагерях», то теперь исследователи оценили литературное новаторство писателя.

Материалы Чтений, при поддержке РГНФ, были опубликованы отдельным сборником. На Чтениях состоялась также презентация Фонда В. Шаламова, президентом которого является И. П. Сиротинская.

Целями Фонда является подготовка научного собрания сочинений В. Шаламова, а также поддержка исследовательских работ, посвященных ему.

1 октября 1997 г. ИМЛИ, совместно с Союзом писателей России, Российским благотворительным фондом имени С. А. Есенина и Всероссийским писательским Есенинским комитетом, провел международную научную конференцию «Издания Есенина и о Есенине (до и после столетия): Итоги. Открытия. Перспективы». Сотрудник РГАЛИ С. В. Шумихин выступил на конференции с докладом «Есенин в мемуарной литературе».

27–28 ноября 1997 года в Москве силами Федеральной архивной службы России, Российского общества историков-архивистов, Отделения истории Российской Академии наук, Международного совета архивов (МСА) была проведена международная научная конференция по теме: «Историки и архивисты: сотрудничество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и будущего».

В конференции приняли участие 230 ученых и архивистов из России, стран СНГ, а также Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, Польши, США и др.

В числе 46 сообщений и выступлений в дискуссии прозвучало и сообщение директора РГАЛИ Н. Б. Волковой «Сотрудничество историков и архивистов в области литературы и искусства».

Кроме основной темы — взаимодействие историков и архивистов, общность и различие в их деятельности, — много внимания было уделено проблемам доступа исследователей к архивным материалам, необходимости разработки законодательных актов о праве граждан на информацию, а также ответственности за ее неправомерное использование, процессам развития информатизации и компьютеризации архивов.

Вопрос о доступе к архивной информации стал и предметом заседания «круглого стола». На обсуждение был

также вынесен, по предложению Совета Европы, «Проект рекомендаций по стандарту европейской политики в отношении доступа к архивам», подготовленный МСА. В результате обсуждения документ был принят, с учетом сделанных предложений и поправок по отдельным статьям.

В качестве итогового документа конференции была принята «Московская декларация историков и архивистов 27 – 28 ноября 1997 года». В ней констатируется, что огромный опыт, накопленный современной цивилизацией, сохраняется в архивах. Обращение к исторической памяти не только необходимо при изучении прошлого, но и полезно в поиске ответов на вопросы, волнующие человечество сегодня. Взаимодействие историков и архивистов, повышение их общественного статуса помогает сохранить наше документальное наследие и будет способствовать развитию гуманитарных наук как части мировой культуры.

В июне 1999 г. в Риме на международной конференции «Десять лет после падения Берлинской стены» (среди участников Е. Гайдар, Ю. Афанасьев, В. Буковский, Л. Валенса, Р. Конквист, Г. Попов и др.) с сообщением «Варлам Шаламов. Взгляд в будущее» выступила И. П. Сиротинская.

26 – 28 ноября 1999 г. в гор. Мышкине Ярославской области прошли Десятые Опочининские краеведческие чтения, посвященные памяти академика Д. С. Лихачева. С сообщением «Е. И. Якушкин и его работа по этнографии Ярославского края» на Чтениях выступила главный специалист РГАЛИ Е. В. Бронникова.

Российский фонд культуры в июне 1998 и в мае 1999 гг. посвятил два вечера из цикла «Литературные собрания РФК» жизни и творчеству А. Вановского. В них участвовали вице-президент фонда, главный редактор альманаха «Российский архив» А. Л. Налепин, заместитель директора ИМЛИ РАН П. В. Палиевский, профессор В. М. Медиш (США), лично знавший Вановского, племянница Вановского М. М. Яковенко, японовед И. П. Кожевникова. От РГАЛИ на Чтениях выступила Е. В. Бронникова, чья публикация фрагментов книги Вановского представлена в данном выпуске «Встреч».

18 – 19 апреля 2000 г. в Московской государственной консерватории прошла Третья международная научная конференция «Русские музыкальные архивы за рубежом и зарубежные музыкальные архивы в России». С докладом «Из края в край... История в письмах музыканта-самоучки

Н. А. Медведева» выступила сотрудник РГАЛИ Т. М. Коробова. Темой для доклада послужили письма, переданные в ЦГАЛИ еще в 1964 г. Б. А. Воробьевым.

На Международной научно-практической конференции, проведенной Росархивом и посвященной 55-летию победы в Великой Отечественной войне, доклад по документам фонда писателя и общественного деятеля С. С. Смирнова (письма к нему бывших узников немецких концлагерей) сделала сотрудник РГАЛИ Е. В. Бронникова.

В июне 2000 г. в Вологде прошли «Дни памяти Варлама Шаламова». С большим вниманием к памяти земляка отнеслась администрация Вологодской области и культурная общественность. В помещении мемориального дома писателя прошла встреча общественности с участниками «Дней памяти», которую открыл вице-губернатор И. А. Поздняков, а затем силами актеров Вологодского камерного драматического театра был дан спектакль «Отче наш» по мотивам произведений Шаламова.

— Ничуть не снизилась за истекшие 4 года и выставочная работа архива. Одно перечисление наших выставок займет немало места. Так, на вечере памяти русского писателя Бориса Зайцева (1881 — 1972), который состоялся в Библиотеке Русского зарубежья 27 января 1996 г. и в котором принял участие архив, была развернута выставка автографов Б. К. Зайцева из фондов РГАЛИ.

Выставка документов РГАЛИ была открыта в Союзе кинематографистов во время проходившей весной 1996 г. конференции, посвященной 100-летию кинематографа.

Во время декабрьских 1996 г. вечеров в Государственном Музее изобразительных искусств наш архив подготовил и показал выставку документов Д. Д. Шостаковича. Одновременно шла работа по подбору документов для воспроизведения в CD-Rom'e «Дмитрий Шостакович», ныне изданном во Франции.

В Центральном Доме литераторов в декабре 1996 г. состоялся вечер, посвященный 95-летию А. А. Фадеева, сопровождавшийся выставкой документов из РГАЛИ. В 1997 г. в рамках выставки «Семья Маяковского» в Государственной Третьяковской галерее также были представлены, кроме прочих, и документы из фондов РГАЛИ. Выставка «Ф. М. Достоевский за рубежом», организованная по инициативе посольства Германии, прошла в помещении Российского фонда

культуры на Гоголевском бульваре в мае 1998 г. С марта по июнь 1998 г., в открывшемся после ремонта и реконструкции Государственном Историческом музее работала выставка «Канцлер А. М. Горчаков – 200 лет со дня рождения», где среди прочих были широко представлены и документы РГАЛИ.

Самое активное участие принял РГАЛИ в выставке «Пушкин в московских архивах», развернутой к 200-летию поэта в Государственном музее А. С. Пушкина.

Кроме документов современников Пушкина из собрания РГАЛИ, там были представлены и автографы поэта.

Небольшие выставки архивных документов РГАЛИ постоянно разворачиваются в Российском фонде культуры в рамках цикла «Литературные собрания Российского фонда культуры» (из них можно отметить выставки, посвященные Константину Леонтьеву, 150-летию В. М. Васнецова, Оптиной пустыни, презентации книги воспоминаний Р. В. Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки»).

Назовем также выставки, в которых РГАЛИ принимал участие наряду с другими партнерами: «Андрей Платонов. К 100-летию со дня рождения» в Государственном Литературном музее, «Последний русский царь. Семья Романовых» в Троице-Сергиевой лавре (Сергиев Посад), Нижнем Новгороде, Славянском центре культуры в Москве и в Ливадии (Крым). Последняя выставка, созданная из копий архивных документов, в год 2000-летия христианства и ожидаемой канонизации последних Романовых превратилась в постоянно действующую и передвижную, чему прежде примеров не бывало. Выставку и ее передвижение по стране финансирует благотворительный фонд «Православное видео». В то время, когда пишутся эти строки (июнь 2000 г.), выставка проходит в Перми, а затем отправится в Екатеринбург.

Немало выставок прошло за рубежом. Документы РГАЛИ экспонировались на проходившей в Венеции выставке «Архитектурная утопия» и на выставке «Искусство полета» в Фридрихсхалене (Германия), в Музее графа Цепелина. В последней участвовали также наши коллеги из Третьяковки, Музея архитектуры, Российской государственной библиотеки.

В марте 1999 г. в Риме была развернута выставка «Искусство движения», где, в числе прочих экспонатов, были представлены фотографии балетных артистов из фонда известного фотографа Н. Свищева-Паоло в РГАЛИ. А в

США и Канаде с успехом демонстрировались рисунки С. М. Эйзенштейна (это уже не первая выставка графики выдающегося кинорежиссера, и всегда его рисунки вызывают огромный интерес). Первоначально выставка «Графические циклы Сергея Эйзенштейна», приуроченная к 100-летию режиссера, демонстрировалась в течение февраля 1998 г. в московском Музее личных коллекций.

Следует упомянуть также такие выставки, в которых участвовал архив, как «Сто лет архитектуры» в Японии и Мексике; «По абстрактному кабинету. Эль Лисицкий», побывавшей в Германии, Испании и Португалии.

В последний год XX века РГАЛИ вступил со следующими выставками (организованными архивом, либо РГАЛИ — в числе участников): «Человек пластический» в Государственном Центральном театральном музее им. Бахрушина, «П. Шумов. Русский парижанин» в Библиотеке Русского зарубежья и «Россия — Финляндия. Культурные взаимоотношения в XIX — XX вв.», развернутой в июне 2000 г. в Хельсинки.

— Телевидение Голландии снимало документы РГАЛИ для биографического фильма о голландском кинорежиссере-документалисте Йорисе Ивенсе. Программы РТВ и НТВ отечественного телевидения в двух передачах, посвященных Фаине Георгиевне Раневской, также использовали документы РГАЛИ.

Документы личного фонда Ивана Мозжухина заняли видное место в документальном фильме «Дитя карнавала» (режиссер — Галина Долматовская) о замечательном русском киноактере, оказавшемся после революции в эмиграции. Премьера прошла в Доме кино под аплодисменты зала. В титрах выражена благодарность главному хранителю РГАЛИ Н. А. Молотовой.

— В 1997 — 2000 гг. в свет вышло немало изданий, подготовленных силами сотрудников РГАЛИ. В серии «Марина Цветаева: Неизданное» издательством «Эллис Лак» выпущены «Сводные тетради» и «Семья: История в письмах» М. И. Цветаевой (подготовка текста и комментарии первой книги Е. Б. Коркиной в соавторстве с И. Д. Шевеленко, вторая подготовлена одной Е. Б. Коркиной, нашим сотрудником, специалистом по творческой биографии Цветаевой). «Телефонная книжка» Евгения Шварца, над которой много



лет работала К. Н. Кириленко, вышла в издательстве «Искусство». Отклики на эти издания появились в «Ex-libris НГ» (приложение к «Независимой газете»), «Общей газете», «Русской мысли» (Париж) и др. периодике.

Из Италии (изд-во Дж. Эйнауди) поступили 800 экз. тиража «Записных книжек» Анны Ахматовой (о подготовке этого издания, ставшего для нашей сотрудницы К. Н. Суворовой ее последним трудом, мы писали в «Хронике» предыдущего, 8-го выпуска «Встреч»). Сейчас тираж полностью распродан.

Вышли в свет «Духовные основы русской революции» — вторая книга неизданного наследия Н. А. Бердяева (о первой — «Истина и Откровение» — также писалось в хронике к предыдущему выпуску «Встреч»). Оба издания подготовила Е. В. Бронникова.

Издательство «Эллис Лак», с которым у РГАЛИ наладилось плодотворное сотрудничество, выпустило в свет объемистый том переписки сестер Лили Брик и Эльзы Триоле (этот том — плод трудов, занявших не один год, нашей сотрудницы И. И. Аброскиной). Кроме того, на основе архивных фондов РГАЛИ тем же «Эллис Лак'ом» подготовлены шеститомное издание собрания сочинений Анны Ахматовой и двухтомник Сергея Клычкова.

Петербургское издательство Ивана Лимбаха выпустило 1-й том дневника Михаила Кузмина (записи за август 1905 — декабрь 1907 гг.). Всего предполагается издать 4 тома, куда войдут все тетради этого дневника, хранящиеся в РГАЛИ. Текстологическая подготовка, вступительная статья, подробные комментарии, аннотированный указатель имен к дневнику принадлежат нашему сотруднику С. В. Шумихину и историку литературы, филологу Н. А. Богомолу.

При содействии Русского библиографического общества издан 7-й том «Путеводителя по фондам РГАЛИ». Он включает, кроме прочего, информацию о документах, находившихся раньше на так называемом «специальном хранении» и многие десятилетия пребывавших практически в неизвестности. От института «Открытое общество» (фонд Дж. Сороса) архивом получена первая часть гранта (сумма будет выплачиваться поэтапно) на подготовку очередного, 8-го выпуска «Путеводителя». Сотрудниками РГАЛИ значительная часть работы уже сделана, так что в начале 2002 года, если не раньше, новый «Путеводитель» будет готов к изданию — и тогда на повестку дня встанет вопрос об изыскании средств для этого.

При участии РГАЛИ в 1998 г. вышел в свет капитальный, прекрасно изданный сборник «В. Э. Мейерхольд. Наследие. Автобиографические материалы. Документы». Это первая часть широко задуманного коллективного труда нескольких научных учреждений. С Мейерхольдом связано еще одно солидное и столь же весомое (61,5 печ. листа) издание — 2-й выпуск Мейерхольдовского сборника, озаглавленного «Мейерхольд и другие. Документы и материалы» (М.: ОГИ, 2000). Первый выпуск этой неперIODической серии увидел свет еще в 1992 г.

На основе хранящегося в РГАЛИ машинописного текста Н. А. Роскиной, которая около 30 лет назад расшифровала дневник А. С. Суворина, после сличения ее текстологической расшифровки с подлинником, изданы все сохранившиеся фрагменты этого ценного дневника редактора «Нового времени», влиятельнейшей правой газеты дореволюционной России (совместное издание лондонской «The Garnet Press» и издательства «Независимой газеты»).

Публикации сотрудников РГАЛИ в эти годы появлялись в выпусках альманаха «Минувшее», в специальном, приуроченном к 850-летнему юбилею основания Москвы, выпуске «Археографического ежегодника», журналах «Отечественные архивы», «Знамя», «Новое литературное обозрение», «Россия», в «Независимой газете», «Российской исторической газете» (ныне, увы, уже не существующей) и парижской «Русской мысли». В книгу Евг. Бенья, в прошлом сотрудника архива, «Не весь реестр» (М., 2000) вошла и его публикация «Поэт и ученый. Воспоминания о В. Я. Брюсове, В. Ф. Саводника и письма к нему В. Я. Брюсова», впервые появившаяся в 6-м выпуске «Встреч» (М., 1988).

## IN MEMORIAM

### Андрей Дмитриевич Зайцев

8 марта 1997 г. внезапно оборвалась жизнь бывшего заведующего публикаторским отделом РГАЛИ, историка, энциклопедиста, архивиста, замечательного человека Андрея Дмитриевича Зайцева (1951 — 1997).

Андрей Дмитриевич работал в РГАЛИ с 1973 г., после окончания Московского государственного историко-архивного института, был научным сотрудником, заместителем заведующего, затем заведующим отделом публикаций. В 1982 г. он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1989 г. издал монографию, посвященную историографу, археографу и библиографу П. И. Бартеневу, издателю журнала «Русский архив». В 1988 г. Андрей перешел на работу в издательство «Советская энциклопедия» (с 1992 г. — издательство «Большая Российская Энциклопедия»), где в 1988 — 1995 гг. возглавлял редакцию Отечественной истории, а с 1991 г. был членом Научно-редакционного совета этого издательства. Андрей был в числе инициаторов издания и членом редколлегии альманаха «Русский архив», продолжающего традиции бартеневского «Русского архива». Андрей Зайцев ушел от нас в расцвете сил, полный нерастратченной энергии, замыслов и идей. В памяти, в сердцах и душах всех, кто его знал, он — так много не успевший и так много сделавший — будет жить всегда.

### Галина Дмитриевна Эндзина

Всего две недели отделяют безвременную смерть А. Д. Зайцева от другой тяжелой утраты, которую понес наш архив. В том же марте 1997-го скончалась Галина Дмитриевна Эндзина, начальник отдела описания фондов личного происхождения.

Галина Дмитриевна родилась в 1929 г. В 1952 г. она окончила Московский государственный историко-архивный институт и с 1953 г. связала свою трудовую, профессиональную судьбу с ЦГАЛИ. С 1974 г. и до последней, смертельной болезни она возглавляла отдел научного описания личных фондов — один из важнейших отделов архива. Работа над научным описанием архивных документов — сложная, кропотливая, требующая многочисленных и разносторонних знаний, внимательности, терпения. И лучше, чем это делала Галина Дмитриевна, с этой работой никто не справлялся. Ее усилиями были введены в научный оборот документы личных архивов таких деятелей культуры, как В. Ф. Комиссаржевская, М. Ф. Андреева, П. И. Гайдебуров, А. А. Остужев, П. В. Вильямс, Б. М. Эйхенбаум и др. Успешно занималась Галина Дмитриевна историей кино; ее практический опыт нашел отражение в ее выступлениях на международных конференциях, посвященных творчеству С. М. Эйзенштейна (в Москве и в Риге), на Международном симпозиуме кино в Москве, в публикациях в сборниках и периодической печати. Появлялись публикации Г. Д. Эндзиной и на страницах сборника «Встречи с прошлым», начиная с его первых выпусков. В 1992 г. Г. Д. Эндзина была удостоена почетного звания заслуженного деятеля культуры Российской Федерации.

Галину Дмитриевну отличали, кроме высокой квалификации, требовательность к сотрудникам, сочетающаяся с внимательностью к их нуждам и запросам. Настоящий, непоказной авторитет, которым она пользовалась в коллективе, был заслужен ею по праву. Галина Дмитриевна была просто очень хорошим человеком — отзывчивым, чутким, добрым, щедро делящимся своими знаниями. Много внимания и сил отдавала она передаче своего бесценного опыта молодежи. Архивная работа полна специфических тонкостей и нюансов, которые невозможно освоить ускоренными темпами, в «ударном порядке». Документ надо чувствовать, иногда многие вещи приходится угадывать, но архивная интуиция — не следствие какого-то озарения, а результат огромного накопленного опыта, и нужны десятилетия, чтобы человек стал настоящим архивным «асом». Таким специалистом высочайшей квалификации была Галина Дмитриевна Эндзина. У сотрудников архива навсегда сохранится светлая память о ней.

- Аброскина И. И. 284—339, 456  
 Август Октавиан, имп. 376, 381, 385, 400  
 Авель (библ.) 369  
 Авербах Л. Л. 285, 288, 294, 311, 314, 319, 320, 329  
 Аверкиев Д. В. 383, 400  
 Агранов Я. С. 332  
 Адам (библ.) 369  
 Адлерберг В. Ф. 18, 79, 109  
 Азадовский К. М. 281, 449  
 Айхенвальд Ю. И. 318, 338, 386, 402  
 Акимов Н. П. 427, 428  
 Аксаков И. С. 79  
 Александр, принц, сын *Ирога* и *Мариаммы* 370, 399  
 Александр, внук *Ирога* 370, 372, 373, 376, 399  
 Александр Зилонский, еп. — см. Семенов-Тянь-Шанский А. Д.  
 Александр Николаевич — см. Бенуа А. Н.  
 Александр I 22, 30, 34, 37, 39, 46—48  
 Александр II (до 1855 — вел. кн. Александр Николаевич, наследник цесаревич) 24, 25, 41, 42, 50, 58, 95, 102, 103, 122  
 Александр III 165, 167, 174, 221  
 св. кн. Александр Невский 119, 260  
 Александра Федоровна, имп. 18, 24, 25, 37, 41, 50—52, 102  
 Алексеева (Алексеева-Фальк) К. К. 211, 213  
 Алексей Михайлович, царь 141  
 св. Алексей, митр. 163
- Алигер М. И. 443  
 Алмагро (Almagro), гр. — см. Долго-руков П. В.  
 Альбер (Алберт) А. М. 77  
 Амаду Ж. 450  
 о. Амвросий (Гренков) 282  
 о. Анатолий Оптинский (Потапов) 134, 257—261, 264, 265, 267, 268, 275, 282  
 Андерсен Х. К. 420, 441  
 Андреев Л. Н. 246, 389  
 св. Андрей Критский 189  
 Андроников И. Л. 449  
 Аникст А. А. 368, 397, 402  
 Антокольский П. Г. 328  
 Антоний Марк 370  
 Антоний, еп. 180  
 Антоний (Флоренсов), еп. 236, 281  
 Антонин (Грановский), еп. 190  
 Апанович Ф. 450  
 Апраксин П. П. 27, 28  
 Апрельев, д. ст. сов. 27—31  
 Апрельева, его сестра 29  
 Аракчеев А. А. 27  
 Аргутинский (Аргутинский-Долго-руков) В. Н. 206, 213  
 Арндт (Арндт) А. Ф. 37  
 Арнольди Ю. 122  
 Арсеньев С. М. (Арсентьич) 140, 189  
 Арский Павел (Афанасьев П. А.) 10, 307, 335  
 Артем (А. Р. Артемьев) 137, 179, 190  
 Архангельский А. Г. 314, 336  
 Архелай, сын *Ирога* и *Малатки* 370

---

\* Указатель составлен С. В. Шумихиным. В связи с частыми упоминаниями библейских персонажей и существенным значением их для таких публикаций, как «Сын человеческий», они также включены в указатель, чего в прежних выпусках «Встреч с прошлым» не делалось.

- Асеев Н. Н. 301, 327, 328, 333, 339  
 Афанасьев Ю. Н. 452  
 Ахмадулина Б. А. 449  
 Ахматова А. А. 289, 456  
 Бабель И. Э. 286, 295, 299, 308–310, 335, 336  
 Багратион П. И. 52, 53  
 Багрицкий Э. Г. 295, 296  
 Баевский В. С. 217  
 Байрон Дж. Н. Г. 378, 400  
 Бакст (Розенберг) Л. С. 205, 212  
 Бакунин М. А. 284, 334  
 Балабин В. П. 105, 112  
 Балашов Н. И. 398  
 Балиев Н. Ф. 449  
 Бальзак О. де 30  
 Барaboшкин, гимназист 159  
 Баратынский Е. А. 110, 123  
 Бартенев П. И. 21, 112, 172, 458  
 Бачелис Т. И. 397  
 Бедный Демьян 289, 317, 329  
 Безыменский А. И. 285, 311, 336  
 Бек (урожд. Столыпина, во 2-м браке Вяземская) М. А. 116  
 Белый Андрей 10, 225, 236, 245, 281, 313  
 Бем М. С. 99  
 Бёме Я. 243, 281  
 Бенкендорф А. Х. 9, 20, 25, 26, 67, 68  
 Бенуа А. Н. 191, 196, 212, 300, 333  
 Бень Е. М. 457  
 Беранже (Beranger) П. Ж. 94  
 Берберова Н. Н. 214  
 Берг В. 70–77  
 Берггольц О. Ф. 431, 443  
 Берд, сахарозаводчик 44  
 Бердяев Н. А. 359, 363, 367, 381, 396, 456  
 Бердяева Л. Ю. 363  
 Берли, лорд 399  
 Бернандт Г. Б. 114  
 Берс А. А. 381, 400  
 Беседовский Г. З. 358, 396  
 Беспалов И. М. 285, 336  
 Бетховен Л. ван 105, 176, 221–223, 241  
 Бейол О. П. 428  
 Биневи́ч Е. М. 443  
 Бирутти М. 450  
 Биск А. А. 449  
 Благово Д. 107  
 Блан Л. 110  
 Блок А. А. 9, 10, 217, 224, 225, 444  
 Блудов Д. Н. 120, 123  
 Бобринский А. Г. 110  
 Бобринский В. А. 81, 82, 91–93, 110  
 Богданов А. А. 359, 363  
 Боголюбов А. П. 126  
 Богомолов Н. А. 456  
 Богородский Ф. С. 296, 303, 332  
 Боккаччо Дж. 10  
 Болговский Д. Н. 78  
 Болдырев А. В. 35  
 Болдырев, ген. 85  
 Бонч-Бруевич В. Д. 111, 115  
 Бор Н. 371  
 Борис Годунов 181, 190  
 Боровиковский В. Л. 160  
 Бородин А. П. 342  
 Боткин С. П. 191  
 Боткина (в замуж. Нотгафт) А. С. 205, 212  
 Бояджи́ев Г. Н. 427  
 Бравич К. В. 141, 142  
 Брак Ж. 42  
 Бредюс-Субботина О. А. 450  
 Бриер де Буамон А. Ж. Ф. 396, 403  
 Брик Л. Ю. 191, 320, 322, 329, 338, 456  
 Брик О. М. 289, 329  
 Брики 288, 322  
 Бромлей Ф. И. 165  
 Бронникова Е. В. 116, 358–403, 452, 453, 456  
 Бруштейн А. Я. 421, 422, 427  
 Брюсов В. Я. 135, 136, 172, 189, 284, 298, 332  
 Брянцев А. А. 409  
 Бубнова В. Д. 358, 364  
 Буданцев С. Ф. 10, 293, 294, 331

- Буковский В. К. 452  
 Булгаков А. Я. 9, 10, 13, 17—112  
 Булгаков К. А. (Костя) 70, 71, 83, 84, 90, 91, 93, 94, 97—101, 103, 111  
 Булгаков К. Я. 19, 21, 78, 112  
 Булгаков М. А. 10  
 Булгаков П. А. 18, 84  
 Булгаков С. Н. 137, 171, 172, 189  
 Булгакова (урожд. Ограновичева, в 1-м браке Мацнева) Э. А. 82, 110  
 Булгаковы, братья 18  
 Бугарин Ф. В. 114, 118, 119  
 Бунин И. А. 400  
 Буренин В. П. 121  
 Буслаев Ф. И. 116  
 Бутурлин М. Д. 114  
 Бэкон Д. 398  
 Бэкон Ф. 372, 398, 399  
 Вагнер Р. 177, 221, 224  
 Валенса Л. 452  
 Ван-Донген — см. Донген Ван К. 342, 348, 352  
 Вановская (Ванновская, урожд. Яковенко) В. В. 358—360, 396  
 Вановская В. И. 358  
 Вановская Ксения (Оксана) А. 359—361  
 Вановский (Ванновский) А. Алексеевич 11, 358—403, 452  
 Вановский В. А. 358, 359, 396  
 Вановские (Ванновские): А. Александрович, З. А., Е. А., О. А. 358  
 Варшавский Л. Р. 319  
 Васильев А. А. 126  
 Васильев Р. А. 126, 129, 132, 133  
 Васильев Ф. А. 11, 125—133  
 Васильева Е. А. — см. Шишкина Е. А.  
 Васильева О. Е. 125—128, 130—131  
 Васильчиков Д. В. 45  
 Васильчиков И. В. 34, 45  
 Васнецов А. М. 141  
 Васнецов В. М. 139, 140, 454  
 Вацуро В. Э. 20  
 Вейдле В. В. 449  
 Вейтбрехт П. А. 83  
 Вельзевул (библ.) 387  
 Венгров Н. (Вейнгров М. П.) 290, 320, 330  
 Вергилий П. М. 391  
 Верди Дж. 105  
 Верейский Г. С. 317, 337  
 Веревкин, камергер 45  
 Вересаев (Смидович) В. В. 311, 323, 335  
 Верхарн Э. 142, 143, 175, 302  
 Веселовский Ю. А. 111  
 Веселый Артем 286, 295, 326  
 Вигдорова Ф. А. 435  
 Виельгорский Мих. Ю. 58, 59  
 Виктор Эммануил II 63, 105  
 Вильямс П. В. 459  
 Виноградов В. А. 214  
 Виргилий — см. Вергилий П. М.  
 Витберг (Витберх) А. Л. 46, 47, 108  
 Вишневский В. В. 444  
 Вишняк М. В. 449  
 Виштак С. Г. 368, 397  
 Владимир Александрович, вел. кн. 126, 128  
 св. Владимир, кн. 219  
 Вознесенский А. А. 12—14, 450  
 Войно-Ясенецкий М. В. 445  
 Волков П. Я. 188  
 Волков, чиновник 119  
 Волкова Е. В. 450, 451  
 Волкова Н. Б. 451  
 Володин А. М. 449, 450  
 Волошин М. А. 136, 137, 181, 286  
 Воробьев Б. А. 451  
 Воробьев К. Д. 449  
 Воробьев, географ 415, 416  
 Воронкова Л. Ф. 435  
 Воронский А. К. 285—289, 293, 295—297, 299, 300, 309, 310, 313, 319, 331—333  
 Воронцов М. С. 84, 111  
 Воронцов С. М. 84, 111  
 Ворт Ч. 248  
 Врубель М. А. 378  
 Вэр (Вер) Э. де 372, 399

- Вяземская (урожд. Корсакова) А. Н. 37, 107
- Вяземская В. Ф. 59
- Вяземская Н. П. (Nadine) 59
- Вяземский А. Н. 37, 38, 107
- Вяземский П. А. (также «князь») 9, 17—21, 44, 45, 58—60, 67, 85, 96—98, 108, 111, 115—118, 120—122, 124, 167, 189
- Вяземский П. П. 113—133
- Гааз (Haas) Ф. П. 86—89
- Гагарин Ф. Ф. 61, 97
- Гайдар Е. Т. 452
- Гайдебуров П. И. 459
- Гаккель Е. Г. 427
- Галич А. А. 449
- Гамарник Я. Б. 364
- Гамсун К. 142, 143, 175
- Гарин Э. П. 431, 433, 435
- Гебель Ф. 113
- Гедике А. Ф. 184—186
- Гедике П. Ф. 183—188
- Гедике Ф. К. 183
- Гейне Г. 328
- Гельфанд М. С. 318, 336
- Геништа И. И. 111
- Генкель Г. Г. 390, 392
- Генрих IV 42
- Герасимов Ю. К. 217
- Герман Ю. П. 425, 427
- Гермоген (Ермоген), патриарх 137, 178, 190
- Герцен А. И. (Искандер) 9, 99, 101—103, 106, 108, 109, 124, 173, 293, 314, 332
- Гессен И. В. 295, 331
- Гёте И. В. 380, 382, 400, 401
- Гизо Ф. 61, 77
- Гилюлов И. М. 371, 397, 398
- Гиллельсон М. И. 20
- Гинсберг А. 12
- Гиппиус З. Н. 13, 216, 219, 223—225, 227, 268, 279, 280
- Гиркан II 369
- Гладков Ф. В. 10, 286, 307, 308, 326, 336, 337
- Глафира, жена принца *Александра* 370, 376
- Глинка В. М. 427
- Глинка М. И. 106, 118, 122
- Глинка Ф. Н. 175, 190
- Гнедин (Гельфанд) Е. А. 303
- Гоголь Н. В. 118, 293, 297, 303, 437
- Годвин У. 317, 337
- Голдсмит О. — см. Goldsmith О.
- Голиаф (*библ.*) 92
- Голицын А. Н. 19, 46, 66, 107
- Голицын В. С. 72, 75
- Голицын Д. В. 27, 31, 47, 67, 88, 89
- Голицын С. В. 72
- Голицын Ю. Н. 69
- Голицына (урожд. Толстая) А. М. 117, 122
- Голицына, кн-ня 24
- Головин Е. А. 107
- Головин И. Г. 110
- Головина (урожд. Фонвизина) Е. П. 36
- Головков, костромской предв. дворянства 44
- Голодный Михаил (Эпштейн М. С.) 307, 335
- Голохвастов Д. П. 80, 109
- Гольман Г. 386, 387, 402
- Гомер 407
- Гончаров И. А. 114
- Гончарова Н. С. 203, 205, 209, 210, 212
- Гораций 392
- Горбачев Г. Е. 336
- Горбов Д. А. 289, 296, 312, 318, 329
- Горбунов И. Ф. 137, 141, 179, 189
- Горев Я. Л. 425
- Горголи И. С. 42, 108
- Горохов П. 330
- Горчаков А. М. 454
- Горький М. (Пешков А. М.) 214, 285, 290, 298, 299, 300, 313, 314, 326, 327, 330, 332, 333, 336, 339
- Гофман Э. Т. А. 344
- Гранин Д. А. 450
- Грасси, скрипач 71
- Грей Дж. 399



- Грибоедов А. С. 139, 140, 142, 288  
 Григ Э. 221  
 о. Григорий (Красноцветов) 450  
 Григорович Д. В. 128, 132  
 Григорьев Б. Д. 301, 333  
 Григорьева (урожд. Соловьева) Н. В. 445  
 Гринберг Р. Н. 449  
 Грипич А. П. 428  
 Гриценко Л. П. 205, 213  
 Громов Е. С. 450  
 Гронский И. М. 316, 337  
 Гроссман В. С. 450  
 Гроссман Л. П. 315, 337, 398  
 Гроссман-Роцин И. С. 312, 313, 336  
 Грот Н. Я. 262, 264, 267, 268, 282  
 Грот Я. К. 21, 282  
 Грюндгенс Г. 432  
 Губер Б. А. 291, 330  
 Гужон Ю. П. 165  
 Гуль Р. Б. 449  
 Гумилев Н. С. 214, 215  
 Гурштейн А. Ш. 285, 286  
 Гурьева (в замуж. Дорохова) 37  
 Гушанский С. Х. 431  
 Гюго В. М. 37, 243, 281
- Давид, царь (библ.) 48, 392  
 Давид (библ.) 92  
 Давыдов Д. В. 9, 52–54, 108  
 Даль В. И. 106  
 Данилевский Г. И. 56  
 Д'Алмагро — см. Долгоруков П. В.  
 Д'Аннунцио Г. 180  
 Дарби — см. Дерби Э. Д. С.  
 Даус Ф. — см. Douce F.  
 Делянов, ген.-адъютант 25  
 Демблон С. 398  
 Деммени Е. С. 428  
 Дерби (Derby) Э. Д. С. 372, 398  
 Дерен А. 346  
 Державин Г. Р. 190  
 Державин К. Н. 432, 433  
 Джеймс (Джемс) У. 243, 281  
 Джемс В. — см. Джеймс У.  
 Дзиган Е. Л. 434  
 Дикий А. Д. 437
- Диковская А. В. 304, 334  
 Дикушина Н. И. 287  
 Динамов С. С. 320, 338  
 Дмитриев И. И. 38, 39, 107  
 Дмитриев, его племянник 39  
 Дмитриев М. А. 138  
 Добролюбов А. М. 216, 226, 246, 251, 252, 264, 280  
 Добролюбова М. М. 226–229, 231, 232, 246, 280, 281  
 Долгоруков А. С. 86, 90, 111, 112  
 Долгоруков В. В. 25  
 Долгоруков В. П. 67  
 Долгоруков М. П. 67  
 Долгоруков Н. А. (Коко, Никоша) 18, 63, 104, 105, 112  
 Долгоруков П. В. 26, 67, 68, 108, 109  
 Долгоруков П. П. 67  
 Долгорукова О. А. 18, 62, 63, 85, 86, 96, 100–102, 106, 109, 112  
 Долгорукова Е. А. 86, 90  
 Долматовская Г. Е. 455  
 Домье О. 346, 357  
 Доницетти (Донизетти) Г. 60  
 Дондуков — Корсаков М. А. 25  
 Дорохов И. С. 37  
 Дорохов, его сын 37, 38, 107  
 Достоевская А. Г. 398  
 Достоевский Ф. М. 134, 219, 223, 263, 275, 303, 371, 378, 380, 382, 398, 453  
 Дрейден С. Д. 427, 434, 437  
 Дубельт Л. М. 36  
 Дубенский, гимназист 159  
 Дункан А. 203, 212  
 Дурьлин С. Н. 10, 13, 134–190  
 Дурьлина А. В. 153  
 Дымшиц А. Л. 432  
 Дюма-отец, А. 9, 82, 103, 104  
 Дюма-сын, А. 82  
 Дягилев С. П. 193, 196, 203–205, 209, 210, 212, 213
- Евдокимов И. В. 296, 332  
 Екатерина Александровна — см. Облакова Е. А.  
 Екатерина II (Великая) 81, 110, 173

- св. Екатерина 221  
 Елагин Н. В. 119, 123  
 Елена Павловна, вел. кн. 118, 122  
 Елизавета I Тюдор 398, 399  
 Ельцин Б. Н. 448  
 Емельянов С. Н. 428  
 Енох (*библ.*) 369, 381, 391, 395, 397  
 Еремеев В. И. 156  
 Еремин Г. В. 281  
 Еремина С. Г. 259, 277, 282  
 Ермилов В. В. 285, 294, 297, 331  
 Ермоген — см. Гермоген  
 Ермолов А. П.  
 Ермолова М. Н. 139  
 Есенин С. А. 289, 291, 328, 451  
 Есипов В. В. 450  
 Ефремов, домовладелец 138  
 Ечкин А. К. 155, 157
- Жадимеровская Л. 83, 84, 110  
 Жадимеровский, купец 83  
 Жанна д'Арк 221, 226  
 Жаров А. А. 336  
 Жеймо Я. Б. 431  
 Жданов И. Н. 279  
 Жиркевич И. С. 33  
 Житков Б. С. 410  
 Житомирский Д. В. 449  
 Жихарев М. И. 106  
 Жобар А. 20, 26, 27, 33, 34  
 Жуковский В. А. 9, 17, 18, 21,  
 50, 58—60, 109, 118, 123, 124
- Заблочкая-Десятковская Е. М. —  
 см. Семенова-Тян-Шанская Е. М.  
 Заболоцкий Н. А. 443, 450  
 Загоскин М. Н. 50, 108  
 Загряжский А. П. 97  
 Зайцев А. Д. 458  
 Зайцев Б. К. 453  
 Зайцева И. А. 110  
 Закревская А. Ф. 82, 83, 110  
 Закревская Лидия — см. Нессель-  
 роде Л. А.  
 Закревский А. А. 83, 110, 173  
 Замошкин Н. И. 296, 312, 332  
 Замятин Е. И. 285
- Занд Георгий — см. Саңд Ж.  
 Зандберг В. А. 418  
 Зарудин Н. Н. 318, 337  
 Захарьин (Якунин) И. Н. 109  
 Звонарев, и. о. генконсула в Японии  
 366  
 Зелинский К. Л. 294, 331  
 Зелинский Ф. Ф. 216, 224, 280,  
 388, 402  
 Зернов Н. М. 361, 397  
 Зимин С. И. 424  
 Зиновия, царица 400  
 Золотова М. В. 340—357  
 Зон Б. В. 409, 428  
 Зонин А. И. 437  
 Зорич А. 336  
 Зоценко М. М. 336, 440
- Иаир (его дочь) (*библ.*) 390  
 Иаков (Яков) I 398, 399  
 Иаков (*библ.*) 48, 395  
 Ибсен Г. 158, 378, 400  
 Иван IV (Грозный) 107, 165  
 Иванов Вс. В. 286, 292, 293, 294,  
 296, 298, 299, 311, 314, 328—  
 333, 339  
 Иванов Вяч. И. 176, 177, 190, 381  
 Иванов Г. О. 450  
 Иванова Т. В. 331  
 Иванова, начальница Симбирского  
 дома трудолюбия 33  
 Иванов-Разумник Р. В. 313, 454  
 Ивенс Й. 455  
 Иегова (*библ.*) 395  
 Иисус Христос 232, 234, 255, 274,  
 279, 362, 363, 367, 368, 372—376,  
 379, 380, 386, 387, 390, 395, 399,  
 400, 402  
 Иконниковы Е. И., Я. М. 133  
 Ильин М. (И. Я. Маршак) 383  
 Императрица — см. Александра  
 Федоровна  
 Инбер В. М. 294, 331, 336  
 Ингер А. Г. 401  
 Иноземцев Ф. И. 93, 111  
 Иоанн Креститель (*библ.*) 373, 374,  
 399

- св. Иоанн Кронштадтский (Сергеев) 218, 262, 282  
 о. Иоанн (Шаховской), архиеп. 219  
 св. Иоанн, ап. 375, 400  
 Иоанн из Гискалы 393  
 Иов (библ.) 390  
 св. Иона, митр. 163  
 Иосиф (библ.) 375  
 Иосиф Флавий 369, 370, 376, 387, 392, 393, 397, 400  
 Иосиф, иером. 397  
 Ирод Великий 369, 370, 372, 375, 376, 399  
 Исаева Т. И. 287  
 Исаяя (библ.) 390  
 Искандер — см. Герцен А. И.
- Каверин В. А. 422, 427  
 Казин В. В. 295, 331  
 Каин (библ.) 369  
 Кайсаров В. С. 52  
 Калинин М. И. 299, 328, 329  
 Калита Иван 286  
 Камегулов А. Д. 336  
 Каменев Л. Б. 124, 363  
 Канцеленбоген Х. И. 390  
 Капралов Г. (Ю.) А. 442  
 Карамзин Н. М. 123  
 Каранович А. Г. 432  
 Караулов Н. Д. 96, 97  
 Кареев Н. И. 317, 337  
 Карпович М. М. 449  
 Кассиль Л. А. 440, 441  
 Катаев В. П. 315, 337  
 Катаев И. И. 291, 318, 330  
 Каталани А. 18  
 Катанян В. А. 288, 329  
 Катанян В. В. 448  
 Катиныкка — см. Соломирская Е. А.  
 Катков М. Н. 121, 123, 124  
 Катулл (Catullus) Г. В. 392, 403  
 Качалов В. И. 397  
 Кель, пианист 99, 101  
 Кетлинская В. К. 441  
 Кетчер Н. Х. 106  
 Киммер А. 450  
 Кириленко К. Н. 407—445, 456
- Киров С. М. 418  
 Кирсанов С. 238  
 Киршон В. М. 285, 331  
 Клеопатра 370  
 Клеопин Н. А. 133  
 Клычков С. А. 337, 456  
 Ключев Н. А. 281  
 Ключевский В. О. 116, 139, 140, 141, 169  
 Кобылина (в замуж. Апрелева) 27  
 Кобылинский Л. Л. (псевд. Эллис) 245  
 Ковалевский Е. П. 96  
 Ковалевский П. М. 126  
 Коган П. С. 320, 338  
 Кожевников В. А. 171, 172  
 Кожевников В. Ф. 126, 133, 190  
 Кожевникова И. П. 371, 396, 397, 452  
 Кожевникова (урожд. Полинцева) Л. Е. 125—126  
 Козаков М. Э. 427  
 Козинцев Г. М. 433, 434  
 Козьмин Б. П. 306, 334  
 Коко — см. Долгоруков Н. А.  
 Кокорев В. А. 156  
 Колдуэлл Э. 449  
 Колошин, А. С. С. 45  
 Колридж С. Т. — см. Coleridge S. T.  
 Колридж Х. — см. Coleridge H.  
 Колчак А. В. 364  
 Кольцов М. Е. 314  
 Комарова В. П. 397  
 Комиссаржевский В. Г. 428, 459  
 Кон Ф. Я. 325, 339  
 Конашевич В. М. 410  
 Кондратьев А. А. 224, 279  
 Кондратьев Н. Д. 306, 335  
 Конквист Р. 452  
 Константин Константинович, вел. кн. — см. К. Р.  
 Константин Павлович, вел. кн. 42  
 Коонен А. Г. 197, 212  
 Копелев Л. З. 449  
 Корбюзье — см. Ле Корбюзье Ш.  
 Корнев Г. Е. 324, 339  
 Коркина Е. Б. 455

- Коробова Т. М. 453  
 Короленко В. Г. 303  
 Корольков Д. Н. 148  
 Корсаков, прапор. — см. Римский-Корсаков А.  
 Корф М. А. 80, 119, 123  
 Корш Е. Ф.  
 Кошверова Н. Н. 414, 428  
 Кошкина, нач. Симбирского дома трудолюбия 33  
 К. Р. (вел. кн. Константин Константинович) 361, 396, 401  
 Краевский А. А. 119, 123  
 Крамской И. Н. 132  
 Красильщиков (Марвич) С. М. 432  
 Красин Л. Б. 363  
 Крачковская А. П. 424, 437, 442, 443, 445  
 Крачковская Л. П. 424, 437, 445  
 Крачковский В. П. 424  
 Крон А. А. 435, 437, 443  
 Кроненберг А. И. 391  
 Кропоткин П. А. 334  
 Крупская Н. К. 331  
 Крыжановская М. О. 445  
 Крыжановская (урожд. Шварц) Н. Е. 425, 445  
 Крылов И. А. 39  
 Крэг Г. Э. 362, 380, 395, 397  
 Кудашев, кн. 52  
 Кузмин М. А. 456  
 Кузнецов П. В. 304, 324, 334  
 Кукрыниксы 314, 337  
 Кулешов Л. В. 191  
 Кулиджанов Л. А. 192  
 Кусевицкий С. А. 158, 189  
 Кутузов (Кутузов-Смоленский) М. И. 108, 113, 115, 117, 118  
 Кутузова (урожд. Бибикина, в 1-м браке Тизенгаузен) Е. И. 108  
 Кутузова (в замуж. Толстая) П. М. 113  
 Кюстин А. де 104, 112  
 Лаблаш Л. 64  
 Лавинский 322  
 Лавренев Б. Л. 450  
 Лавров П. Л. 305, 334  
 Лазаревские, семья 133  
 Лазарь (библ.) 385, 389, 391  
 Ламартин А. 77, 110  
 Ларин Ю. (Лурье М. З.) 325, 326, 339  
 Ларионов Л. В. 333  
 Ларионов М. Ф. 11, 13, 191—213  
 Латыпова Т. Л. 216—283  
 Лафонтен Ж. де 38, 39  
 Лебедев-Полянский П. И. (Валериан Полянский) 310—312, 319  
 Левин А. С. 322  
 Левин Л. И. 425  
 Левитина Г. Д. 440  
 Левицкий Д. Г. 189  
 Леганье, авиатор 158  
 Легошин В. Г. 431  
 Лежнев А. З. 330  
 Ле Корбюзье Ш. 356, 357  
 Леде А. 70, 72  
 Леже Ф. 342  
 Лелевич Г. (Калмансон Л. Г.) 320, 338  
 Леман, владелец балагана 23  
 Ленау Н. 109  
 Ленин В. И. 361, 363, 364, 396  
 Ленин М. Ф. 141  
 Ленорман (Lenormand) М. А. А. 69, 75, 109  
 Лентовский М. В. 166  
 Леонардо да Винчи 46, 373, 374, 399  
 Леонов Л. М. 286, 288, 291, 292, 294, 296, 300, 301, 307, 308, 310, 329, 330  
 Леонтьев К. Н. 134, 454  
 Лермонтов М. Ю. 110, 116, 137, 138, 169, 176, 186, 224, 235  
 Лесков Н. С. 134  
 Лессинг Г. Э. 401  
 Лефран А. 398  
 Ли Х. 449  
 Либединский Ю. Н. 285, 286, 314  
 Лигский К. 364, 397  
 Лидин (Гомберг) В. Г. 292, 301, 308, 327  
 Лимбах И. Ю. 456

- Липкин С. И. 448, 449  
 Лисицкий Л. М. 455  
 Лист Ф. 18, 61  
 Литвин А. А. 371  
 Лифшиц В. А. 450  
 Лихачев Д. С. 452  
 Лиходеев Л. И. 449  
 Ломов-Оппокос Г. И. 315, 326, 337  
 Лонгинов М. Н. 94, 111  
 Лотман Ю. М. 17  
 Луговской В. А. 337  
 Лужин И. Д. 72, 73, 80, 83  
 св. Лука, ап. 375, 390, 391  
 Луначарский А. В. 134, 303, 304,  
 314, 320, 323 — 325, 334, 338,  
 359, 363, 398  
 Луни Т. 399  
 Луппол И. К. 324, 338  
 Льюис Ч. М. — см. Lewis С. М.  
 Любашевский Л. С. 428  
 Любимов Н. А. 139, 140  
 Любимов Н. М. 10, 332, 339  
 Любовь Павловна — см. Гриценко  
 Л. П.  
 Людовик XIV 41, 42, 111  
 Людовик-Филипп 77  
 Люрса А. 356, 357  
 Люфанов Е. Д. 418  
 Люцифер (*библ.*) 379
- Мазурин К. М. 145  
 Майков А. Н. 176, 382, 400  
 Майков-Доброхотов, купец 43  
 Макаренко А. С. 421  
 Макаров Е. К. 132, 133  
 Макаров И. И. 297, 332  
 Макарьев Л. Ф. 418  
 Макаровский Д. Ф. 160  
 Маккавеи, династия 400  
 Маковский С. К. 219  
 Малатка, жена *Ирога* 370  
 Малиновский А. А. 359  
 Малкин Б. Ф. 324, 338  
 Малышкин А. Г. 291, 293, 294,  
 300, 308, 327, 330  
 Малюгин Л. А. 425, 427, 434,  
 435, 437, 443, 445
- Мамонтов С. И. 137, 144  
 Мандельштам Н. Я. 287, 331  
 Мандельштам О. Э. 335  
 Мануйлов В. А. 436  
 Марвич С. — см. Красильщиков  
 С. М.  
 Мариамна (*Мариамна*) 369, 370  
 Мария, Богоматерь (*библ.*) 375  
 Мария (*библ.*) 266  
 Мария Александровна, имп. 132  
 Маркелов, ст. сов. 44, 45  
 Маркс К. 9, 312, 337, 365, 377,  
 383  
 Марков В. Ф. 450  
 Мартынов Н. С. 110  
 Марфа (*библ.*) 266  
 Маршак С. Я. 440, 442  
 Матисс А. 346  
 св. Матфей, ап. 376  
 Мафусаил (*библ.*) 369  
 Махалов — см. Разумовский С. Д.  
 Мацнев И. М. 82  
 Мацнев М. М. 82  
 Мацнев М. Н. 110  
 Маяковский В. В. 191, 285, 288 —  
 291, 298, 300 — 302, 310, 319 —  
 323, 326 — 330, 332, 333, 335,  
 338, 449, 453  
 Медведев Н. А. 453  
 Медведева, актриса 43  
 Медиш В. М. 452  
 Мейер, управ. заводом *Берга* 44  
 Мейерхольд Вс. Э. 457  
 Мейербер Дж. 122  
 Мейлер Н. 449  
 Мельников К. С. 449  
 Ментенон (*Maintenon*), маркиза  
 (Ф. Д'Обинье) 94, 112  
 Меншиков А. С. 85, 95, 111  
 Мережковский Д. С. 216, 280, 379,  
 400  
 Мережковские 245  
 Мерзляков А. Ф. 136  
 Мерлин, член Английского клуба 81  
 Метерлинк М. 243, 281  
 Метнер Н. К. 136, 183, 184  
 Метнер Э. К. 177

- Меттерних (Метерних) К. 34, 61, 77
- Мечев А. 134
- Мещерский, кн. 190
- Миллер А. 449
- Миллер И. 113
- Миллер Л. Е. 449
- Миллер, полицмейстер 38
- Милютин В. П. 311, 335
- Милютин Ю. С. 431
- Мильтон Дж. 378, 400
- Минц З. Г. 217
- Мистингет (Буржуа Ж.) 353, 357
- Митрофания, игум. (Розен П. Г.) 139, 189
- Михаил Павлович, вел. кн. 18, 24, 40—42, 93, 122, 124
- Михайлик Е. 450
- Мозжухин И. И. 191, 455
- Моле Л. М. 77
- Молотов В. М. 299, 333
- Молотова Н. А. 455
- Молчанов И. Н. 328, 339
- Монигетти И. А. 132
- Монигетти, влад. книжной лавки 64, 65
- Монферран (Монферан) А. А. 28, 29, 32, 106
- Моор Д. С. 314, 337
- Мопассан Г. де 171
- Морвинг П. 393
- Мордвинкин, цензор 299
- Морни Ш. О. 89, 90
- Моцарт В. А. 105
- Мусин-Пушкин В. А. 45
- Мусин-Пушкин М. Н. 123
- Мусина-Пушкина (урожд. Шернваль) Э. К. 45
- Мусоргский М. П. 114, 182, 342
- Мухин, надвор. сов. 101
- Мэнгер Р. — см. Мэннерс Р.
- Мэннерс Р. 372, 398
- Мясин Л. Ф. 203, 205, 206, 209, 212
- Надеждин Н. И. 35
- Найденовы, купцы 160
- Налепин А. Л. 452
- Наполеон I Бонапарт 43, 54, 145, 170, 293
- Наполеон III 101
- Наследник, государь цесаревич — см. Александр II
- Нарышкин Д. П. 103
- Нафанаил (библ.) 375
- Невяровский М. 432
- Нейгауз Г. Г. 333
- Нейгауз З. Н. 333
- Некрасов В. П. 450
- Некрасов Н. А. 113, 115, 123
- Немурский, герцог (Орлеанский Л. Ш. Ф. Р.) 77
- Несвицкий М. Я. 105
- Нессельроде (Несельроде) К. В. 54, 108
- Нессельроде (Несельроде) Д. К. 82, 83, 110
- Нессельроде (Несельроде; урожд. Закревская) Л. А. 82, 83
- Нестеров М. В. 136
- Нестор, летописец 38, 39
- Нецветаев А. С. 130, 133
- Нижинский В. Ф. 203, 205, 212
- Никандров Николай (Шевцов Н. Н.) 293, 297, 330
- Никё М. 337
- Никитин Н. Н. 449
- Никитина Е. Ф. 304, 334
- Никифоров Г. К. 10, 307, 308, 324, 335, 337
- св. Николай Мирликийский 278
- Николай Николаевич, вел. кн. 132, 133
- Николай I (также «государь», «его величество», «его императорское величество») 9, 18, 23—26, 28, 33—36, 40—42, 45, 47, 49, 50, 52—55, 58, 61, 66, 68, 78, 79, 81, 89, 102, 111
- Николай II 163, 167, 260, 454
- Николсон М. 450
- Никольская Е. М. 402
- Никольский Б. В. 224, 279
- Никоша — см. Долгоруков Н. А.
- Никулин (Ольконицкий) Л. В. 315

- Никулина Н. А. 141, 189  
 Нитобург Л. В. 297, 332  
 Ницше Ф. 224, 279  
 Новиков-Прибой А. С. 302, 307, 333  
 Новосильцов П. П. 168  
 Норов А. С. 96, 106, 119, 123  
 Норова — см. Панова Е. Д.
- Облакова Е. А. 202, 212  
 Образцова-Шаганова О. А. 437  
 Овидий 391, 392, 394, 402  
 Одоевцева И. В. 214  
 О'Коннель Д. 81, 110  
 Окуджава Б. Ш. 10, 110  
 Окулов А. И. 327, 339  
 Олейников Н. М. 10, 440  
 Оленина А. А. 110  
 Олехнович, врач 128, 132  
 Олеша Ю. К. 295, 337  
 Ольшевец М. О. 332  
 Оом О. Н. 110  
 Опочинин Е. Н. 116  
 Орешин П. В. 337  
 Орлов А. Ф. 80  
 Орлов В. Н. 417, 427, 435, 438  
 Орлов Г. Г. 110  
 Орлова Р. Д. 449  
 Орлов-Денисов Н. В. 18, 85, 111  
 Орлова-Денисова, графиня 85, 86  
 Орловский А. О. 167, 189  
 Островский А. Н. 139, 141, 142, 282  
 Остужев А. А. 459  
 Отрепьев Г. (Самозванец, Лжедмит-  
 рий I) 164, 181, 190  
 Охитина А. А. 417  
 Охлопков Н. П. 427
- св. Павел, ап. 254  
 Павел Самосатский 374, 399, 400  
 Павленко П. А. 311, 335  
 Павлов Н. Ф. 81, 109  
 Павлов, убийца Апрелева 28—30  
 Павлов, его отец 30  
 Павлова, его сестра 30  
 Павлова К. К. 109  
 Паганини Н. 61  
 Паладино<sup>1</sup> С. 399
- Палиевский П. В. 452  
 Панаев И. И. 118, 123  
 Панова Е. Д. 106  
 Панфилов А. 214  
 Панютин Ф. С. 81, 109  
 Парижский, граф (Орлеанский  
 Л. Ф. А.) 77  
 Паскаль Б. 243, 281  
 Паскевич И. Ф. 81, 109  
 Пастернак А. Л. (Антигона) 179,  
 190  
 Пастернак Б. Л. 10, 12, 13, 136,  
 137, 179, 180, 189, 289, 294,  
 301, 328—330, 368, 449  
 Пастернак Е. Б. 301, 333  
 Пастернак Е. В. 301, 333  
 Пастернак Л. О. 158, 179  
 Пахомов А. Ф. 410  
 Паччини Дж. 60, 62  
 Пашковская Л. В. 443  
 Пересветов Р. Т. 432  
 Переплетчиков В. В. 141  
 Перовская (урожд. Булгакова) С. К.  
 109  
 Перовский Б. А. 71—73, 109  
 Перовский В. А. 18, 54—58, 108, 109  
 Перовский Л. А. 109  
 Перро Ш. 441  
 Персиани Ф. 64  
 Перцов П. П. 225, 280  
 св. Петр 46  
 Петр I (Великий) 165, 169, 180, 182,  
 276, 304  
 Пигаревы, семья 134  
 Пикассо П. 342  
 Пиксанов Н. К. 295, 331  
 Пилат Понтий 375, 376  
 Пиль Р. 61  
 Пильняк Б. А. 285, 286, 287, 294,  
 307, 308, 310, 335, 449  
 Пифагор 394  
 Платон 328, 401  
 Платонов А. П. 454  
 Плевако Ф. Н. 139—141, 189  
 Плетнев П. А. 120, 123  
 Плещеев А. П. 105  
 Плотин 243, 281

- Плятт Р. Я. 449  
 Поздняков И. А. 453  
 Полетика П. И. 39  
 Полонский Вяч. (Гусин В. П.) 10, 284—339  
 Поль А. И. 96  
 Полинцева — см. Кожевникова Л. Е.  
 Поляков В. Л. 224, 280  
 Полякова М. М. 298, 332  
 Полянский Валериан — см. Лебедев-Полянский  
 Помяновский Е. 432  
 Попандопуло, морской офицер 31  
 Попандопуло, знакомый А. Я. Булгакова 71  
 Попов В. М. 36, 37, 107  
 Попов Г. Х. 452  
 Пороховщиков П. С. 398  
 Порфирьев И. Я. 397  
 Поступальский И. С. 316, 337  
 Похвиснев И. Ф. 45  
 Придворов Е. А. — см. Бедный Демьян  
 Пришвин М. М. 286, 312, 313, 327, 336  
 Прокопий Устюжский, юродивый 185  
 Прокофьев С. С. 212  
 Прусский король (до 1840) — см. Фридрих-Вильгельм III  
 Прусский король (с 1840) — см. Фридрих-Вильгельм IV  
 Прянишников Ф. И. 44, 108  
 Пуанкаре Р. 210  
 Пугачев Е. И. 49  
 Пушкин А. С. 9, 17, 20, 25—27, 31, 32, 38, 106, 108, 110, 113, 117, 121—124, 138, 141, 142, 143, 147, 159, 173, 183, 189, 347, 382, 454  
 Пушкин В. Л. 39  
 Пушкин (Бобрищев-Пушкин?) Л. А., кн. 25  
 Пушкина Э. К. — см. Мусина-Пушкина Э. К.  
 Пушкина, фрейлина — см. Трубецкая  
 Пушков В. В. 442  
 Пыжова О. И. 428  
 Пяст В. А. 216, 219  
 Пятаков Г. Л. 309, 335  
 Рабле Ф. 10  
 Равель М. 212  
 Радаков А. А. 410  
 Радимов П. А. 297, 332, 337  
 Радова А. Д. 107  
 Разин С. Т. 192, 337  
 Разумовский А. К. 25  
 Разумовский (Махалов) С. Д. 380, 400  
 Раймонди Н. 113  
 Раневская Ф. Г. 455  
 Ранчин А. М. 112  
 Раскольников Ф. Ф. 287  
 Рафаэль Санти 172  
 Рахманов Л. Н. 417, 427  
 Рахманов М. Ф. 101  
 Рашель 18  
 Рашковская М. А. 134—190  
 Регенти (Regenti) Л. 74, 75, 76  
 Рейсбрук Удивительный (Я. ван) 243, 281  
 Рейтерн (Reitern; в замуж. Жуковская) Е. Г. 58, 59, 109  
 Рембо А. 13  
 Рембрандт Х. Р., ван 297  
 Ремизов А. М. 359, 449  
 Ренан Ж. Э. 386, 402  
 Репин И. Е. 133, 279, 448  
 Репнин (Репнин-Волконский) Н. Г. 25  
 Репнина (урожд. Разумовская) В. А. 25  
 Решетникова И. Л. 125—133  
 Римский-Корсаков А. 73  
 Римский-Корсаков Н. А. 342  
 Родов С. А. 285  
 Рожков Н. К. 162  
 Розанов В. В. 134, 136, 225, 280, 373, 374  
 Розен Е. Ф. 114  
 Розенель (Луначарская-Розенель) Н. А. 303, 325, 334, 338  
 Роскина Н. А. 457



- Романо Дж. 312, 336  
 Романов П. С. 337  
 Романовы, царская семья 454  
 Ропс Ф. 170  
 Россини Дж. 105  
 Ростислав — см. Толстой Ф. М.  
 Ростопчин Ф. В. 53  
 Ротферн, кутюрье 348  
 Роу А. А. 430  
 Рубини (Rubini) Дж. 18, 60—65  
 Рудник Л. С. 427  
 Рулье К. Ф. 105  
 Румянцев-Задунайский П. А. 32  
 Руссо Ж.-Ж. 60  
 Руисбрук — см. Рейсбрук  
 Рыкачев Я. С. 291, 292, 330  
 Рюмин, член ОЛДР 93  
 Рэли (Ралей) У. 372, 398, 399  
 Рэтленды, род 398  
 Рязанов (Гольдендах) Д. Б. 317, 337  
  
 Сабашников М. В. 333  
 Сабашников С. В. 333  
 Сабашникова Т. М. 301  
 Савинков Б. В. 359  
 Саводник В. Ф. 457  
 Садовский М. П. 137, 139—141  
 Садовские, актеры 139, 141  
 Садовской Б. А. 182  
 Сажин З. А. 428  
 Сажин М. П. 304—306, 334  
 Салиас де Турнемир А. 68, 69, 75  
 Салиас де Турнемира Е. В. — см.  
 Сухово-Кобылина Е. В.  
 Салтыков А. Д. 105  
 Салтыков Н. И. 27  
 Самозванец — см. Отрепьев Г.  
 Самойлов Д. С. 449  
 Самуил (*библ.*) 390, 392  
 Сан-Джованни, художник 116  
 Санд Ж. 37  
 Сапогов В. А. 217  
 Сапожников В. Г. 212  
 Сапожникова Н. В. 199, 212  
 Сардинский король — см. Виктор  
 Эммануил II  
 Саул (*библ.*) 390, 392  
  
 Сац И. А. 303, 334  
 Саянов В. М. 425  
 Свербеев Д. Н. 106  
 Свердлов Я. М. 285  
 Сверчковский Л. 364, 365  
 Сверчков 37, 107  
 Светлов М. А. 337  
 Свищев-Паола Н. И. 454  
 Сегал (Маршак) Е. А. 383  
 Сейфуллина Л. Н. 296, 310  
 Селивановский А. П. 294, 318,  
 330, 331, 338  
 Сельвинский И. Л. 315, 326, 337, 339  
 Семашко И. 120, 123  
 Семенов А. М. 428  
 Семенов А. П. 216  
 Семенов П. М. 266, 267  
 Семенова Н. П. 282  
 Семенова О. П. 221, 279  
 Семенов Л. Д. 10, 13, 216—283  
 Семенов-Тян-Шанский А. Д. (еп.  
 Александр Зилонский) 10, 13,  
 216—283  
 Семенов-Тян-Шанский Д. П. 217,  
 256, 267, 278, 279  
 Семенов-Тян-Шанский М. Д. 279,  
 264—266, 282  
 Семенов-Тян-Шанский Н. Д. 258,  
 275—279, 282  
 Семенов-Тян-Шанский П. П. 216,  
 234, 235, 256, 279, 282  
 Семенов-Тян-Шанский Р. Д. 217,  
 222, 264, 277, 279, 282  
 Семенова-Тян-Шанская А. Д. 217,  
 246, 258—260, 266, 268, 278, 279, 282  
 Семенова-Тян-Шанская В. Д. 279  
 Семенова-Тян-Шанская (урожд.  
 Заблоцкая-Десятковская) Е. М. 217,  
 231, 265, 276, 278, 279  
 Сенковский О. И. 114  
 Сенявин И. Г. 67  
 св. Серафим Саровский (Мошнин  
 П.) 218, 240, 254, 257, 281  
 Серафимович 313  
 Сервантес Сааведра М. де 10  
 св. Сергей Радонежский 263, 282  
 Сергеев-Ценский С. Н. 286, 327

- Сергиевский И. В. 304  
Серин, чиновник 421  
Серов В. А. 157, 191  
Серт Х. М. 206, 213  
Сеславин А. Н. 52  
Симон-бар-Гиорас 393  
Симонов К. М. 450  
Сиротинская И. П. 191—215, 450, 451, 452  
Сиф (библ.) 369  
Скаррон П. 99, 111, 112  
Скабичевский А. М. 126, 132  
Скворцов-Степанов И. И. 316, 337  
Скриб Э. 64  
Скрипицын В. В. 120, 123  
Скрябин А. Н. 189  
Славинский Ф. (Т.) 212  
Слетов П. В. 291, 315, 330  
Слонимский А. Л. 441, 442  
Слонимский М. Л. 427, 440  
Слуцкий Б. А. 449  
Смидович — см. Вересаев В. В.  
Смирнов А. 397  
Смирнов Н. П. 307, 335  
Смирнов С. С. 453  
Смит У. Г. 398  
Снытко Н. В. 22, 112, 113—133  
Соболев Ю. В. 397  
Соболевский В. М. 175  
Соколов Ю. В. (Юрка) 414, 416  
Соколова Н. Б. 449  
Соддатенков К. Т. 145  
Соловьев В. И. 288, 295, 300, 311, 312, 318, 329  
Соловьев В. С. 140, 190, 279, 385, 401  
Соловьев С. М. 245, 279  
Соловьев Т. 24  
Соловьева В. В. 423, 445  
Соловьева Е. В. 423  
Соловьева Н. В. — см. Григорьева Н. В.  
Соловьева П. С. 219, 279  
Сологуб Ф. К. 216  
Соломирская (урожд. Булгакова) Е. А. (Катинька) 18, 94, 111  
Соломон, сын царя *Давида* 35, 48, 387, 392  
Соня — см. Еремина С. Г.  
Сорос Дж. 456  
Софокл 387, 402  
Сталин И. В. 286, 329, 383, 418  
Станиславский К. С. 191, 212, 213, 362, 395  
Стасов В. В. 114, 116, 125  
Стасюлевич М. М. 282  
Стахеев Н. Н. 145  
Степанов-Скворцов — см. Скворцов-Степанов И. И.  
Стецкий А. И. 302, 304, 327, 333  
Стивенс Дж. — см. Steevens G.  
Столл Э. Э. — см. Stoll E. E.  
Столыпин А. А. (Монго) 116  
Столыпин П. А. 254, 282  
Столыпин П. Г. 31, 32  
Стравинский И. Ф. 198, 203, 210, 212  
Страхов А. 401  
Строганов (Строгонов) П. С. 79, 80, 109  
Строганов С. Г. 132  
Стэнли У. 372, 398  
Стэнли Ф. 398  
Суворин А. С. 457  
Суворова К. Н. 456  
Сулержицкий Л. А. 397  
Суриков В. И. 137, 181  
Сурков А. А. 450  
Сухово-Кобылин А. В. 109  
Сухово-Кобылина (в замуж. Салиас де Турнемир, псевд. Евгения Тур) Е. В. 68, 70, 75, 109  
Сытин А. П. 286  
Сытин И. Д. 181, 190, 408  
Тагер Е. М. 318, 338  
Таиров А. Я. 197, 202, 209, 210, 212  
Талалаевский Н. 421  
Тальони (Таллиони) М. 61  
Тамбурины А. 64  
Тареев М. М. 262, 282  
Тася — см. Боткина (Ноттафт) А. С.  
Татарина Е. Ф. 36, 107  
Татищев Д. П. 17  
Твардовский А. Т. 10

- Теодорович И. А. 304, 306, 334, 335  
 Терапиано Ю. К. 450  
 Тизенгаузен (Tisenhausen) Ф. 51  
 Тизенгаузен (Tisenhausen) Е. Ф. 51, 52, 117, 121, 122  
 Тимашев А. Е. 120, 123  
 Тихон (Белавин В. И.), патриарх 190, 267, 283  
 св. Тихон Задонский (Соколов Т.) 257, 282  
 Тихонов А. Н. 290, 330  
 Толстов К., гимназист 148  
 Толстой А. К. 420  
 Толстой А. Н. 286, 336  
 Толстой И. М. 118, 122  
 Толстой Л. Н. 111, 217, 232, 236—238, 240—243, 245, 252, 256, 257, 261, 274, 281, 282, 303, 351  
 Толстой М. Ф. 113  
 Толстой Н. М. 117, 122  
 Толстой П. А. 31, 32  
 Толстой П. М. 117, 122  
 Толстой Ф. М. (Ростислав) 11, 113—133  
 Толубеев Ю. В. 434  
 Тон К. А. 48  
 Тормасов А. П. 42, 108  
 Третьяков П. М. 125, 191, 192, 213  
 Третьяков С. М. 337  
 Тришка, разбойник 49—51  
 Трофимов В. К. 296, 332  
 Троицкий Л. Д. 286, 323, 338  
 Трояновская А. И. 199, 212  
 Трояновский И. И. 210, 212  
 Трубецкая, княжна (в замуж. графиня Морни) 89, 90  
 Трубецкая, кн. (урожд. Мусина-Пушкина), жена С. В. Трубецкого  
 Трубецкой Е. Н. 137, 172, 190  
 Трубецкой Н. И. 49, 97  
 Трубецкой С. В. 10, 83, 84, 89—91, 101, 106, 110, 111  
 Трубецкие, семья 133  
 Трубецкой, смоленский ген.-губ. 49  
 Тулуз-Лотрек А. де 344  
 Тур Евгения — см. Сухово-Кобылина Е. В.  
 Тургенев А. И. 9, 17, 33, 37, 38, 66—68, 87, 106, 124  
 Тургенев Н. И. 66, 88, 110  
 Тургенев И. С. 120  
 Тынянов Ю. Н. 440, 449  
 Тьер (Тиер) А. 77, 110  
 Тэсс Т. Н. 435, 436  
 Тютчев Ф. И. 45, 134  
 Тютчева Э.Ф. 45  
 Уварова А. 428  
 Уварова (урожд. Разумовская) Е. А. 25  
 Уварова П. С. 147  
 Уваров С. С. 25—27  
 Уильямс Т. 449  
 Уитмен У. 12  
 Уланова Г. С. 191  
 Уоррен Р. П. 449  
 Урусов М. А. 45  
 Уткин И. П. 296, 332, 337  
 Ухтомский Д. В. 145  
 Уэллс Г. Дж. 142, 164, 175  
 Фадеев А. А. 285, 286, 291, 330, 453  
 Фальк Р. Р. 11, 13, 189, 340—357  
 Фаррар (Феррар) В. Ф. 387, 402  
 Федин К. А. 449  
 Федор Борисович, царевич и вел. кн. 190  
 Федоров Н. Ф. 172, 190  
 Федоров, офицер 83, 110  
 Федотова Г. Н. 139  
 Фигнер А. С. 52  
 Фигнер В. Н. 304, 334  
 Фикельмон (урожд. Тизенгаузен) Д. Ф. 121, 124  
 Фикельмон Ш.-Л. 51, 124  
 Филарет (Дроздов В. М.), митр. 37, 47, 48, 79, 80, 100, 112, 121, 124  
 Филипп — см. Людовик-Филипп  
 св. Филипп (Колычев Ф. С.), митр. 163  
 Фин С. И. 390  
 Фишер Э. К. Б. 385, 401  
 Флоренский П. А. 134

- Флорио М. 372, 399  
 Флорио Дж. 399  
 Фокин М. М. 198, 212  
 Фридрих-Вильгельм III 42, 50, 170  
 Фридрих-Вильгельм IV 78, 84, 110  
 Фриче В. М. 287  
 Фроленко М.Ф. 304, 334  
 Фролов, отставной офицер 68—70, 75, 76  
 Фрунзе М. В. 286  
 Фрэнз И. А. 430  
 Фукс Л. 113  
 Фурманов Д. А. 335
- Халатов А. Б. 294, 295, 313, 331, 339  
 Хантер Дж. — см. Hunter J.  
 Харкевич В. К. 190  
 Хасмонеи, род 369  
 Хилков, кн. 71  
 Хитрово (Тизенгаузен-Хитрово)  
 Е. М. 51, 108, 121, 124  
 Хитрово Н. М. 51  
 Хивинский хан 55  
 Хованский В. А. 97  
 Хомяков А. С. 79, 176, 186  
 Хохлова А. С. 11, 13, 191—213  
 Хохлова Е. С. 192  
 Христос — см. Иисус Христос
- Цветаева М. И. 455  
 Цейглер Г. 398  
 Церетелев Д. Н. 114  
 Цимбал С. Л. 438  
 Цицерон 402  
 Цюрупа А. Д. 363  
 Цынский Л. М. 35  
 Цявловская Т. Г. 124
- Чаадаев П. Я. 9, 34, 35, 40, 81, 106  
 Чайковский П. И. 221  
 Чапыгин А. П. 315, 316, 337  
 Чарушин Е. И. 438  
 Чаянов А. В. 335  
 Черейский Л. А. 122  
 Черкасов Н. К. 434  
 Чернышев А. И. 52  
 Чертков А. Д. 91, 92
- Чехов А. П. 141, 154, 155, 175, 176, 180, 183, 186, 188, 190, 303, 449  
 Чиковани С. 438  
 Чиркова (в замуж. Давыдова) С. Н. 53  
 Чичерин В. Н. 97  
 Чичибабин Б. А. 449  
 Чуковская М. Н. 437, 438  
 Чуковский К. И. 113—115, 123, 294, 295, 331, 410, 412, 438—440, 449  
 Чуковский Н. К. 437, 438  
 Чулков Г. И. 216  
 Чушкин Н. Н. 397
- Шаламов В. Т. 450—453  
 Шаляпин Ф. И. 191  
 Шаховская Н. Н. 268  
 Шаховская С. А. 44  
 Шаховской С. Н. 268  
 Шварц В. Л. 423  
 Шварц Е. И. 424, 425, 427, 431  
 Шварц Е. Л. 9, 407—445, 455  
 Шварц Л. Б. 408, 423  
 Шварц М. Ф. 408, 423  
 Шварц Н. Е. — см. Крыжановская Н. Е.  
 Шварц Ф. Э. 106  
 Швейцер М. А. 449  
 Шебакин М. П. 304, 332  
 Шевеленко И. Д. 455  
 Шевырев С. П. 79, 91—93, 143, 172, 189  
 Шекспир У. 11, 361, 362, 366, 368, 370, 371—377, 379—385, 390—403  
 Шенгели Г. А. 302, 304, 333  
 Шепитько Л. Е. 449  
 Шеппинг Д. О. 86  
 Шереметева (урожд. Вяземская) Е. П. 116  
 Шереметев С. Д. 116  
 Шереметев Д. Н. 25—27  
 Шереметевы, графы 174  
 Шернваль, графиня (мать Э. К. Мусиной-Пушкиной) 45

- Шехтель Ф. О. 333  
 Шерон Ж. 449  
 Шиллер Ф. 49, 221, 401  
 Шипов, адъютант вел. кн. *Михаила Павловича* 45  
 Шипулинский Ф. 398  
 Шишкина (урожд. Васильева) Е. А. 125—133  
 Шишкин И. И. 125, 126, 128, 132  
 Шишков В. Я. 336  
 Шишкина Л. И. (Лидочка, Лидя, Лидюша) 128, 131, 132  
 Шкловский В. Б. 337  
 Шлегель А. В. 388, 402  
 Шмелев И. С. 412  
 Шмеман А. 217  
 Шнейдер А. К. 320, 338  
 Шолохов М. А. 450  
 Шопен Ф. 221  
 Шостакович Д. Д. 442, 453  
 Шпет Л. Г. 431, 437  
 Штейн А. П. 425  
 Штиллер Р. 432  
 Шток И. В. 438  
 Штраус Д. Ф. 376, 400  
 Шукшин В. М. 192  
 Шульгин А. С. 42, 43  
 Шульгина А. А. 43  
 Шумихин С. В. 17—112, 451, 456  
 Шумов П. И. 455  
 Шумяцкий Б. З. 304, 334
- Щеголев П. Е.** 110, 359  
**Щекин-Кротова А. В.** 340, 341  
**Щербатов А. Г.** 68, 76, 78—81, 110  
**Щербиновский** 319
- Эдвардс М.** 206, 213  
**Эйзенштейн С. М.** 191, 449, 455  
**Эйнауди Дж.** 456  
**Эйхенбаум Б. М.** 427, 451  
**Эзоп** 39  
**Эль Лисицкий** — см. Лисицкий Л. М.  
**Эльслер (Ельслер) Ф.** 61  
**Энгельс Ф.** 312, 337
- Эндзина Г. Д.** 458, 459  
**Эренбург И. Г.** 413, 449  
**Эсхил** 387  
**Эфрос А. М.** 315, 325—327
- Юбу, ливийский царь** 370, 376  
**Юдин Г. Я.** 431  
**Юзовский Ю. (И. И.)** 427  
**Юлий Цезарь** 376, 391  
**Юнгер Е. В.** 427  
**Юон К. Ф.** 303, 304, 334  
**Юрский С. Ю.** 449  
**Юрьевич С. А.** 45  
**Юстус А. В.** 442  
**Юсупова З. И.** 52
- Яблочкина А. А.** 137, 141  
**Ягода Г. Г.** 285  
**Языков Н. М.** 79  
**Якобсон Р. Я.** 449  
**Яковенко В. И.** 396  
**Яковенко М. М.** 396, 452  
**Яковлев И. Я.** 99  
**Яковлев Л. А.** 99  
**Якушкин Е. И.** 452  
**Ямпольский И. М.** 114  
**Янькова Е. П.** 107
- Veranger** — см. Беранже П. Ж.  
**Bravura, mad.** 83
- Catullus** — см. Катулл  
**Colerige S. T.** 384, 401  
**Coleridge H.** 384, 401  
**Cordnus** 390  
**Douce F.** 390, 392, 402
- Falcon, mad.** 103, 104  
**Furness H. H.** 392
- Hundius, домовладелец** 90  
**Hunter J.** 385, 390, 402
- Goldsmith O.** 384, 401
- Lewis C. M.** 383, 401  
**Lirondelle A.** 382

**Maintenon** — см. Ментенон

**Steevens G.** 392, 403

**Stoll E. E.** 383, 401

**Oëchelhaeuser W. von** 382

**Tisenhausen** — см. Тизенгаузен

## СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии.....	9
Андрей Вознесенский. Архи-век.....	12

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«У ТЕБЯ ЦЕЛЫЙ САН-ФРАНЦИСКО В ТВОЕМ АРХИВЕ...» (Из «Современных записок и воспоминаний...» А. Я. Булгакова. Записки 1836—1859 гг.) Публикация С. В. Шумихина .....	17
ЖАЛОБЫ РОСТИСЛАВА (Письмо Ф. М. Толстого к П. П. Вяземскому. 20 июля 1880 г.) Публикация Н. В. Снытко .....	113
«КАК ТЯЖЕЛО НАДОЛГО РАССТАВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ БЛИЗКИМИ...» (Письмо Ф. А. Васильева к Е. А. Шишкиной) Публикация И. Л. Решетниковой .....	125
С. Н. ДУРЫЛИН. МОСКВА Публикация М. А. Рашковской.....	134
«ЕСЛИ ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ СЧАСТЬЕ – ЭТО ЛЮБИТЬ ВАС...» (Письма М. Ф. Ларионова А. С. Хохловой. 1915—1925 гг.) Публикация И. П. Сиротинской .....	191
«СВЯТОЕ БЕЗУМЬЕ МОЕ...» (Неизвестное стихотворение Николая Гумилева) Публикация И. П. Сиротинской .....	214
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ (Воспоминания А. Д. Семенова Тянь-Шанского) Публикация Т. Л. Латыповой .....	216
«МНЕ ЭТА ВОЗНЯ НЕ КАЖЕТСЯ ЧЕМ-ТО СЕРЬЕЗНО ЛИТЕРАТУРНЫМ» (Из дневника Вяч. Полонского. Март-апрель 1931 года) Публикация И. И. Аброскиной .....	284
РОБЕРТ ФАЛЬК В ПАРИЖЕ (Лекция Р. Р. Фалька 1943 года «Влияние современного искусства Парижа на художественную промышленность Франции») Публикация М. В. Золотовой .....	340
«СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» А. А. ВАНОВСКОГО: СУДЬБА АВТОРА И СУДЬБА КНИГИ Публикация Е. В. Бронниковой .....	358

### ОБЗОРЫ ФОНДОВ

АРХИВ СКАЗОЧНИКА Обзор К. Н. Кириленко .....	407
---	-----

### ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

(Из хроники РГАЛИ)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН .....	460
----------------------	-----

УДК 82  
ББК 83  
В 85

**Встречи с прошлым: Вып. 9. — М.: РГАЛИ, Русская  
В 85 книга, 2000. — 480 с., 16 ил.**

В 9-й выпуск сборника «Встречи с прошлым» вошли впервые публикуемые архивные материалы из фондов РГАЛИ по истории отечественной культуры. Это письма композитора, музыкального критика Ф. М. Толстого к П. П. Вяземскому, художника Ф. А. Васильева к Е. А. Шишкиной, художника М. Ф. Ларионова к актрисе А. С. Хохловой, «Современные записки и воспоминания» А. Я. Булгакова, воспоминания А. Д. Семенова-Тян-Шанского (епископа Александра Зилонского) о своем брате поэте Леониде Семенове, мемуары историка литературы и театра, археолога и этнографа С. Н. Дурылина, часть дневника 1931 г. главного редактора «Нового мира» Вяч. Полонского, рассказ о жизни А. А. Вановского и глава его книги «Сын человеческий», лекция Р. Р. Фалька, обзор фонда писателя Е. Л. Шварца.

Книга иллюстрирована редкими архивными фотографиями.

ISBN 5-268-00506-5

УДК 82  
ББК 83



## **ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ**

### **Выпуск 9**

**Редактор Т. И. Киреева**  
**Художественный редактор И. А. Шляев**  
**Технический редактор И. И. Павлова**  
**Корректор Н. Д. Бучарова**  
**Компьютерная верстка Е. Г. Метченко**

Лицензия на издательскую деятельность  
ЛР № 010058 от 23.10.96

Подписано в печать с оригинала-макета 15.11.2000. Формат 84x108 1/32

Бумага писчая. На вкл. офсетная. Печать офсетная

Усл. печ. л. 26,88 (в т. ч. вкл. 1,68)

Уч.-изд. л. 28,27 (в т. ч. вкл. 1,39). Тираж 1500 экз. С – 34

Изд. инд. НА – 72. Заказ № 2459

Издательство «Русская книга» Министерства  
Российской Федерации по делам печати,  
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  
123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., 38

Отпечатано в ГУП Издательско-полиграфический комплекс  
«Ульяновский Дом печати»  
432601, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

